ЕВГЕНИЯ ГЕРЦЫК

ВОСПОМИНАНИЯ

ЕВГЕНИЯ ГЕРЦЫК

Е. К. Герцык. 1907 г.

ЕВГЕНИЯ ГЕРЦЫК

ВОСПОМИНАНИЯ

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
1996

ББК 84(0)6
Г41

Составитель, текстолог,
автор вступительной статьи и комментариев
Т. Н. Жуковская

Рецензент
кандидат филологических наук
М. В. Михайлова

Художник
Михаил БОЯРСКИЙ

Г $\frac{4702010203 - 3}{М172(03) - 96}$ Без объявл.

ISBN 5-239-0191-5

ЕВГЕНИЯ ГЕРЦЫК

Книга эта, составленная из записей разных лет и разных эпох на протяжении одной жизни, отражает ход нашей противоречивой истории и судьбу человека в ней. Диалоги в письмах, монологи в дневниках и, как синтез их, главы "Воспоминаний" — еще одна дань серебряному веку нашей культуры.

Автор, по рукописям которой составлена эта книга, Евгения Казимировна Герцык, в разные периоды жизни подходила к решению этой задачи. Еще перед первой мировой войной возникали у нее мысли о написании книги воспоминаний.

Из дневниковых записей, VI, 1914 г.: "Книгу написать: "Около моей книги". Я женщина и вот захотела написать книгу самую верную — значит, женскую,— о женщине — значит, мужскую"*.

В то время замыслы ее выразились в автобиографической прозе "Мой Рим".

Позже, уже к концу тридцатых годов, пройдя несравненно более тяжкую часть жизненного пути, испытав много потерь, приобретя горький опыт, Евгения Казимировна пишет свои "Воспоминания", которые, хотя по времени повествования и ограничиваются серебряным веком, но впитывают весь пережитый опыт. Особенность этих "Воспоминаний" в том, что в центре стоит не "я" и его отдельность от других, как в большинстве мемуаров, а как бы сама эпоха.

Из письма В. С. Гриневич к Е. К. Герцык, V, 1939 г.: "У тебя все личное, даже самое интимное растворено в человеческом бытии, слито и проникнуто духом эпохи"**.

В книгу включены также дневники и письма Евгении Казимировны разных лет.

Судьба Евгении Герцык в чем-то типична для людей, переживших ломку, казалось, устоявшейся жизни, в чем-то совер-

* Выдержки из писем и дневников, хранящиеся в составе архива Герцык у родственников, далее будут приводиться без сносок.

** Начальные главы своих мемуаров Е. К. посылала своей подруге В. С. Гриневич в Париж.

шенно особенна, как, впрочем, и всякая судьба. В зените своей жизни она примыкала к элитарным столичным философско-литературным кругам, была дружна с Л. Шестовым, Вяч. Ивановым, Н. Бердяевым, М. Гершензоном. Вторую, довольно продолжительную, часть своей жизни (1917 — 1944) ей пришлось прожить в провинции, в тяжелейших материальных условиях, совершая свой жизненный подвиг по уходу за тяжело больной родственницей.

Почти все друзья после революции эмигрировали или были высланы, и, конечно, она ловила каждое известие об изгнанниках, мысленно все те годы была с ними.

Из письма Л. Шестову, 1924 г.: "...Конечно, эти годы не поколебали, а, напротив, укрепили сознание духовной осмысленности жизни... Я рада, что Н. А. [Бердяев. — *Т. Ж.*] в Париже, и буду зимой в своем невероятном одиночестве представлять вас вместе и в городе, где так многое старое мне дорого"*.

Русские эмигранты с интересом читали ее сообщения о жизни на родине, о чем свидетельствуют публикации в "Современных записках" (1936 — 1938 гг.) выдержек из ее писем и полемика, развернувшаяся вокруг них.

Из статьи М. Вишняка "На родине и на чужбине": "Письма документ не только психологии, они и памятник эпохи — России тридцатых годов XX столетия. Личная драма получает в них свое полное разрешение — в подвиге просветленной любви. Общественная же драма России — объективно остается неразрешенной, хотя автору порой и мнится, что его индивидуальное решение может иметь и более широкое значение"**.

Родилась Евгения Казимировна Герцык 30 сентября 1878 года в городе Александрове Владимирской губернии, в семье инженера-путейца Казимира Антоновича Лубны-Герцык (1843 — 1906). В гербовнике дворянских родов, изданных польским герольдиком Коспром Несецким, дано следующее описание герба Ястржембец рода Лубны-Герцык: "Щит голубого поля, на нем черный орел без короны с распростертыми крыльями и ногами, на груди орла золотая подкова шипами вверх, посреди его крест, шлем украшен короною, и на ней такой же, как в щите, орел с подковою и крестом на груди". Что имел в виду изобретатель символического герба? Видимо, то, что мужчины рода были в основном военными, получив дворянство еще в XVI веке от польского короля. Но к концу XIX века "...обрусели, забыли бесследно горечь национальной обиды, как забыли язык", — пишет Е. К. о представителях этой семьи.

Росла Евгения со своей старшей (на четыре года) сестрой Аделаидой (Адей), будущей поэтессой Аделаидой Герцык, и были они дружны всю жизнь. Сестры рано лишились матери Софьи

---

* Герцык Е. Воспоминания. Ymca-press, 1973. С. 166, 168.
** Современные записки, 1936. Кн. LXI. С. 358.

Максимилиановны (в девичестве Тидебель), но девочки продолжали воспитываться окруженные любовью и вниманием новой жены отца Евгении Антоновны (в девичестве Вокач), которая впоследствии увлеклась теософским учением и печаталась в "Теософском вестнике".

В семидесятые — девяностые годы семья Лубны-Герцык жила главным образом в Александрове, где Казимир Антонович участвовал в строительстве Ярославской железной дороги, затем был начальником участка и где построил для семьи большой вместительный дом. В этом доме принимали гостей, среди которых были и семья художника Л. Ф. Лагорио (жена художника была родной сестрой Казимира Антоновича), и актриса О. Л. Книппер. На домашней сцене разыгрывались спектакли. Впоследствии Казимир Антонович строил ветку на Иваново, в связи с чем один год семья провела в Юрьеве-Польском. Романтическая мечта отца о юге, море, уходившая корнями в его детство и юность (дед сестер А. К. Лубны-Герцык — защитник Севастополя 1854 — 1855 гг.), привела к переезду семьи в 1891 — 1894 годах в Севастополь и к покупке дома в Судаке. Вот здесь-то и начало живой связи с античной и раннехристианской культурой: Херсонес, византийские базилики, генуэзские крепости в Инкермане, Феодосии, Судаке... И обещание Бобрищеву-Пушкину увидеть архипелаг Греции с горы Алчак над морем не такое уж несбыточное. Земля заговорила языком истории и призывала к разговору. И она влекла поэтов.

Там родина моя, где восходил мой дух,
Как в том солончаке лоза, где откипела
Кровь трудная моя, и окрылился слух,
И немощи своей возрадовалось тело.
Там в душной музыке, в скрипении цикад
Мне мнился треск земли, надтреснутой от зноя,
И был губам моим прохладный виноград
Как бы причастие святой голубизною...

(С. Парнок. "Судак")

В 1900 году, когда Е. Герцык было уже за двадцать, она поступила на вновь открывшиеся после перерыва Высшие женские курсы В. Герье, на историко-философское отделение. На курсах читали лекции и вели семинары блестящие профессора Московского университета: Н. Ключевский, А. Веселовский, В. Герье, И. Цветаев, П. Новгородцев. К этому времени относится знакомство и начало дружбы с Софьей Владимировной Герье (в дневниках Соня), в будущем деятельницей Теософского общества и переводчицей с итальянского языка.

В первые годы века завязывается переписка Евгении Казимировны с философом и писателем Л. Шестовым, приведшая к знакомству и дружбе с ним. К этим годам относятся и первые дневниковые записи ее, включающие и размышления над студенческим исследованием об Э. Канте.

Из письма А. Герцык к Е. К., XI, 1909 г.: "На днях нашла у Дмитрия [Жуковского.—*Т. Ж.*] твою диссертацию о реальном мире у Канта и, просматривая ее, обрадовалась, что уже тогда, до всего, в тебе была религиозность и у тебя встречаются совсем мистические фразы (против которых Новгородцев поставил вопросительные знаки) и приведены стихи Вяч [еслава Иванова]".

Еще раньше над ее мыслями властвовал Ф. Ницше, которого они с сестрой переводили, о значении и влиянии которого на формирование взглядов поколения Евгения Казимировна рассказывает в "Воспоминаниях".

Из записей Е. Герцык, тридцатые годы: "И вот только сейчас, в минуту последнего — навсегда — расставания, мне вдруг открылась вина моя, наша — перед ним. Да, конечно, Ницше был великим водоразделом. Отсюда вся жизнь моя пронизана пафосом. Навсегда вошло в сознание: "Мир глубок". Но достаточно ли это? Ведь каждая мысль Ницше, — о Боге ли, о добре и зле, о красоте — была прямым зовом к творчеству над жизнью, к перестройке жизни, а мы упивались словами, в словах переживали экстазы, от слов рождали слова и пальцем не пошевелили, чтобы образ не оставался только образом. Он-то сумел погибнуть, untergehen, но из-за того образ не ожил, а друзья его и вправду хуже врагов предали его. А ведь мы настоящей любовью любили его! Впрочем, там именно, где любишь, — там только опознаешь вины своей глубину всю. Конечно, он споткнулся где-то (в своем порыве) — да и как было не споткнуться? И из этого спотыканья пошло все ницшеанское, зоологическое, вплоть до фашистского".

Античность, Ницше, Кант, Рескин... Это познание, это опыт... У Аделаиды Герцык в сонете "Учителя" отражены духовные искания современниц:

Как много было их — далеких, близких,
Дававших мне волнующий ответ!
Как долго дух блуждал, провидя свет,
Вождей любимых умножая списки,
   Ища все новых для себя планет
   В гордыне Ницше, в кротости Франциска,
   То ввысь взносясь, то упадая низко!
   Так все прошли, кто есть, кого уж нет,
Но чей же ныне я храню завет?
Зачем пустынно так в моем жилище?
Душа скитается безродной, нищей,
Ни с кем послушных не ведя бесед.
И только в небе радостней и чище
Встает вдали таинственный рассвет.
1912 г.

Это поколение ищущих себя: среди друзей и знакомых Евгении Казимировны есть теософы — С. В. Герье, Е. А. Герцык; антропософы — М. В. Сабашникова, Л. Л. Квятковский, А. Белый; перешедшая из православия в католичество Л. Ю. Бердяе-

ва. Поиски истины Евгения Казимировна переживает очень болезненно, касаясь одного, другого учения, не находя гармонии, снова возвращаясь к исходному, вступая в спор с собой, с окружением.

В 1911 году в письме к Вячеславу Иванову она сообщает о своем переходе из лютеранства, полученного по наследству от матери, в православие. И дневники этого времени — лета 1911 года — представляют собой монологи на темы христианства. Полемика с теософами, антропософами продолжается, и иногда они склоняют ее на свою сторону, как было летом 1913 года в Мюнхене, когда она под влиянием русских в антропософском центре вступает в Антропософское общество. Но Бердяев, с которым она встретилась, вернувшись в Россию, "отвоевывает" ее и на этот раз. Об этом — в дневниках, воспоминаниях.

Эта напряженная духовная жизнь сестер Герцык была заметна со стороны.

Из книги Ф. Степуна "Бывшее и несбывшееся": "Сестры Герцык принадлежали к тем замечательным русским женщинам, для которых жить значило духовно гореть"*.

К концу 1905 года относится знакомство Евгении Казимировны с Вячеславом Ивановичем Ивановым. Их встреча происходит во время одной из поездок в Петербург, где Е. К. сотрудничала в журнале "Вопросы жизни", а также переводила тексты философских книг для изданий Д. Е. Жуковского** (известно об ее участии в переводах книг Куно Фишера, Гомперца).

Знаменитые ивановские "среды на башне" (Таврическая, 25, ныне — 35) описывали едва ли не все их бывшие посетители. Здесь у Евгении Казимировны завязались многие знакомства и дружбы: с М. Волошиным, А. Белым, М. Кузминым, здесь осенью 1907 года переживала она смерть Лидии Зиновьевой-Аннибал — жены Вячеслава Иванова, здесь же пережила она счастливые и тяжелейшие моменты своей духовной и личной жизни. Отношения ее с Вячеславом Ивановым были длительны и сложны, и это прослеживается при чтении воспоминаний, дневников, писем. Вячеслав Иванов в свою очередь также посещал герцыковские дома в Москве, в августе — октябре 1908 года жил в их доме в Судаке, сохранившем память о прошлых культурах, знатоком которых он был. В начале 1913 года Евгения Казимировна по просьбе Вяч. Иванова посещает его в Риме, где он обосновался со своей новой семьей. Это была ее последняя поездка в

---

* Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Нью-Йорк, 1956. Т. 1. С. 280.

** Д. Е. Жуковский, по образованию биолог, был членом "Союза освобождения", финансировал журнал "Освобождение". В 1902 г. был одним из авторов сборника "Проблемы идеализма". В 1905 г. стал издателем журнала "Вопросы жизни". Но главным делом его было издание философской литературы, прежде всего переводной с немецкого. В его издательстве вышло около двух десятков книг, в частности "История современной философии" Куно Фишера.

Рим (первая состоялась в 1906 году). Рим — это особая, любимая тема Евгении Казимировны, которую можно подметить в ее автографах. В 1914 — 1915 годах она описывает свои римские впечатления в эссе “Мой Рим”, которые представляют собой художественную прозу, но при этом в Викентии прозрачно виден Вячеслав Иванов, а в Вайолет — С. В. Герье, подруга Е. К.

Из письма к брату: “Древний Рим — самый любимый, и я должна сознаться, что совсем не люблю Папский Рим. Каждый раз, как мы побываем в Ватикане, мы возвращаемся больные от папской гордости, настроившей такие непомерно длинные переходы, такие высокие лестницы”.

Вяч. Иванов посвятил Е. Герцык стихи «Fata morgana», опубликованные впервые в альманахе «На рассвете» в 1910 году, позднее включенные в сборник «Cor ardens»*.

Так долго с пророческим медом
Мешал я земную полынь,
Что верю деревьям и водам
В отчаянье рдяных пустынь,
Всем зеркальным фатаморганам,
Всем былям воздушных Сирен,
Земли путеводным обманам
И правде небесных измен.

Видимо, в последний раз Евгения Казимировна увидела облик стареющего поэта на фотографии в кабинете М. О. Гершензона в Москве; сам поэт был уже за границей (они не виделись с весны 1917 года).

Из письма Л. Шестову 1924 г.: “...старого старичка лицо, с уже не завивающимися, а падающими прямо белыми волосами — Вячеслава. Не нужно уже называть его Великолепным. По-другому красит приближение конца и Правды”**.

Но позже до нее доходят стихи Вяч. Иванова, его “Римские сонеты”, присланные парижскими друзьями, и это вновь и вновь вызывает в памяти реминисценции и воспоминания...

“Счастливая моя дружба” называет Евгения Казимировна свои продолжительные отношения с Н. А. Бердяевым, начавшиеся в 1908 году и продолжавшиеся до его отъезда за границу. Он тоже ценил эту дружбу.

Из письма Бердяева к Вяч. Иванову, март, 1910 г.: “Когда же приедет в Москву мой любимый друг Евгения Казимировна? Передайте, что очень жду и очень остро чувствую ее отсутствие”***.

Позже в своих воспоминаниях “Самопознание” Бердяев пишет о ней: “Для меня имела значение дружба с Евгенией Казимировной Герцык, которую я считаю одной из самых замечательных женщин начала XX века, утонченно-культурной, проникну-

---

* Иванов В. Cor ardens. Кн. 2, 1911.

** Герцык Е. Воспоминания. Ymca-Press, 1973.

*** Новый мир, 1990, № 1.

той веяниями ренессансной эпохи. Ее связывала также дружба с Вяч. Ивановым. Ей принадлежат "Письма оттуда" в "Современных записках", которые, впрочем, не дают о ней вполне верной характеристики. Мои долгие интимные беседы с Е. Г. вспоминаются как очень характерное явление той эпохи. Русский ренессанс, по существу романтический, отразился в одаренной женской душе"*.

Неоднократно бывал Николай Александрович в гостеприимном судакском герцыковском доме, в их московских квартирах. Первый визит Бердяева в Судак состоялся осенью 1909 года.

Из письма Е. Герцык к В. С. Гриневич, IX, 1909 г., Судак: "В один мучительный ночной разговор Бердяев сказал, что он сознает, что единственный значительный соперник вере в Бога — не человекобожество, или демонизм, или критическая мысль — а только доброта, жалость, жажда по-человечески подойти к людям... Я люблю его очень, его огромный ум, его волю к Богу и даже его хаос — но, правда, как-то не для себя. Но эта драма была скрытная и почти без слов — а внешне он всегда оживлен, горячо говорит, смеется, и темы, разговоры лились без конца. Я не знаю никого умнее, трезвее и свободнее его — и странно нам обоим, как необычайно мы гармонизируем друг с другом, несмотря на кажущуюся несхожесть. И так мы расстались — без нежности, без обещаний — но он глубоко взволнованный и изменившийся. Думаю, что мы еще нужны друг другу — он мне "выпрямляет" мысль, я же действую, хотя и трагически, но освобождающе на его эмоциональную жизнь. И вот я опять одна сегодня в моей горькой победной свободе!"

Ранней весной 1912 года состоялись их совместные прогулки по Риму и Флоренции — получены новые впечатления от Рима.

Из письма Е. К. Герцык, 1912г., Рим: "Бердяевы уехали три дня назад... И все эти последние дни я почти с утра до вечера проводила за городом то с Эрнами, то с Муратовыми, и на этот раз самое сильное впечатление у меня не музейное, не художественное, а от земли римской, которая точно сама родит те осколки барельефов и мрамора, которые разбросаны вокруг города на десятки верст, и потому, вероятно, так бесплодны хлебом. Удивительное у меня впечатление от одного монастыря delle tre fontane, где по преданию отсекли голову апостолу Павлу, и она три раза отскочила от земли, и забили три ключа... В отдельности так многое в Риме отталкивает — грубое римское искусство, папство, римский ренессанс, но, должно быть, в том, что здесь скрестились все эпохи, и все святыни так мирно сплелись — в этом единственность и обаяние Рима".

Перед высылкой Бердяева с семьей за границу в 1922 году Евгения Казимировна жила некоторое время в их московской

* Бердяев Н. Самопознание. М., 1990. С. 153.

квартире в Большом Власьевском переулке, 4, и на их даче в Барвихе. Это был ее первый выезд из Крыма после революции, будто какие-то силы свыше позаботились, чтобы дать им увидеться, ей — проводить изгнанников из Москвы. Впоследствии оставалась лишь возможность переписки. В архиве сохранились письма Л. Ю. Бердяевой к Евгении Казимировне.

Из письма Л. Ю. Бердяевой, XII, 1923 г.: "Начну с Италии... На этот раз видела ее в необычайном одеянии фашизма. Увы! Наряд этот так не идет ей... Мы приехали в разгар фашистских празднеств и были оглушены шумом, суетой... Если ты бывала на карнавалах, то нечто подобное, но в военном стиле происходило на тихих улицах Флоренции, на строгих площадях Рима... Тот Рим, который мы любим, на время как бы отошел в сторону, брезгливо сторонясь чуждого ему духа. И я с жадностью искала его там. Ведь он вечен. Но признаюсь, так мешала эта атмосфера, что, как дурной запах, всюду проникала, все отравляла... Были сильные впечатления от службы на гробнице Св. Петра, от службы в доминиканском монастыре, где мощи Св. Екатерины Сиенской, от посещения мощей Св. Магдалины де Пацци... Итоги Рима и Италии — жажда уйти в тишину, в себя, в свое... Итальянцы так мило, по-детски ласково и просто принимали, угощали, жадно слушали... Чувствовали мы, что есть у нас друзья, что это не официально, а подлинно".

Письма Евгении Казимировны к Бердяевым, сохранившиеся в архиве Н. А. Бердяева, переданном по его завещанию в 1962 году на родину, приведены частично в приложении. Они еще раз убеждают, что ностальгия по прошлой России связана не только с территориальной отторженностью от нее, но и с лишением привычного духовного комфорта.

Из письма Е. К. Герцык к Л. Ю. Бердяевой, без даты, Судак: "...То письмо, дорогая, я получила вместе с другими, когда шла на холмы наши пустынные, где толпа девочек вела хоровод и пела какие-то старинные песни про "царевну": солнце огромное, вечернее висело над лазоревым небом, и этот хоровод — что-то было эллинское в этом, точно языческая весна земли была передо мной. А в письмах, которые я читала, во всех чувствовался христианский **конец** земли... Впервые в этом году, вслушиваясь в рождественскую службу, я услышала в ней мотив скорби, которой я не подозревала раньше в этом считающемся радостным и светлым празднике..." *

Во время первой мировой войны, накануне революции накал от встреч, бесед, диалогов достиг апогея. В споры включались Л. Шестов, Н. Бердяев, С. Булгаков, М. Гершензон, Вяч. Иванов... Обсуждали, полемизировали... И для Евгении Казимировны это были последние годы таких живых, отвечающих ее требовательной мысли бесед. К сожалению, собеседники из арбатс-

---

* РГАЛИ, ф. 1496, оп. I, ед. хр. 422.

ких и поварских переулков рассеялись по всей Европе, мало кто остался в России — и всех ждала тяжелая участь.

Но Евгения Казимировна осталась здесь, на земле, которую она ощущала своей. Она разделила участь страны. Революция застала семью Герцыков в Судаке, где и были пережиты наиболее тяжелые и смутные времена. Эти годы в Крыму же переживали и М. Волошин, и А. Цветаева, и С. Парнок, и И. Шмелев... Это был своеобразный остров творчества — несмотря на ужасы, творившиеся вокруг. Аделаида Герцык, отсидев в 1921 году три недели в подвале-тюрьме, написала замечательные "Подвальные очерки" и цикл стихов "Подвальные". В ее стихах послереволюционного периода (1918—1925 гг.), представляющих собой как бы развернутую цепь переживаний души, отразились бедствия, голод и другие испытания, обрушившиеся на семью, на русских людей, на всю Россию.

Евгении Казимировне в эти апокалиптические годы близок образ Эдгара По. Она пишет ряд статей — единое исследование, где Эдгар По представлен не только как поэт и писатель, но в первую очередь как мыслитель.

Из рукописи об Эдгаре По: "Да, наше внутреннее, высшее "я" есть наша совесть, но вместе с тем это есть образ нашей духовной судьбы, нашего индивидуального пути. И в этом-то образе своей духовной судьбы узрел По такой беспримерный ужас, что он бежал от того знания..."

Среди стихов С. Я. Парнок, написанных в те годы в Судаке, два посвящены Е. К. Герцык. Вот одно из них:

И вот по мановенью мага
Волшебный мой распался сад,—
И нет тебя, иссякла влага,
И снова в жилах треск цикад.
Прохлада милая! Сибилла!
В руках простертых — пустота...
Так не было того, что было?
Единственная! Ты — не та?
Но нет, нет, тлеет плащ твой вдовий
От искры моего костра,
По духу,— по небесной крови —
Сестра!

И снова образ сестры, как и в отношениях с Вячеславом Ивановым, называвшим Евгению Казимировну по-итальянски sorella — сестра.

Пореволюционные годы отражены в этой документальной книге дневниками 1921 года, письмами.

События развивались трагически: в 1921 году в тюрьме оказались трое из семьи Герцыков — брат сестер Владимир Казимирович, Аделаида Казимировна и ее муж Д. Е. Жуковский. И хотя на этот раз все обошлось, надо было принимать какие-то решения. В своем доме они уже не хозяева, постоянно угрожает арест. Поэтому, несмотря на трудности, связанные с переездом, принимается решение оставить Крым.

В 1925 году неожиданно умирает Аделаида Казимировна, дети остаются без матери. Еще через год отправлен в ссылку в Вологодскую область отец детей — Д. Е. Жуковский, работавший к тому времени в Таврическом университете. Все эти события впрямую касались Евгении Казимировны, все эти годы она, опора семьи, воспринимает заботы о больных и беспомощных как свой долг.

С 1927 года Евгения Казимировна с семьей брата поселяется на Северном Кавказе (Кисловодск, Батолпашинск, ст. Зеленчукская), где прожито одиннадцать тяжелых лет. Жизнь в начале тридцатых годов отражена в выдержках писем "Оттуда", адресованных В. С. Гриневич. В целях конспирации при опубликовании их в "Современных записках" имена всех живущих в Советском Союзе изменены, сама Евгения Казимировна обозначена как госпожа X. Публикуя выдержки писем "Оттуда" так, как они даны в журнале, мы по возможности расшифровали зашифрованное. Удивляет мужество и в какой-то мере даже вера в идею строительства нового общества, хотя не могла Е. К. не знать о все нараставшем терроре. Но не себя ли и своих друзей в изгнании пытается она примирить с действительностью, хоть на мгновение поверив в грядущее? Или это дань цензуре? Ведь в те же дни написанные письма местного назначения вовсе не содержат патетических нот.

Из письма родным, VII, 1933 г.: "...проезжаем мимо детских мест, и меня огорчил вид нашего старого дома [александровского. — *Т. Ж.*] — все вокруг вырублено — и сад большой, папой насаженный, и роща позади, и аллея перед домом. Стоит голый, ненужный... Столько ужасных рассказов (и не рассказов, а правд) про Украину, что жить не хочется".

Из письма Д. Д. Жуковскому, 1936 г., по поводу реабилитации некоторых тем в литературе: "Наша милая страна, которая с восторгом молодых варваров заново все открывает!"

Во всяком случае, письма, опубликованные в "Современных записках", вызвали среди русских эмигрантов острый интерес, породили много догадок.

*Из статьи В. Руднева "По поводу писем "Оттуда"**: "...первое, что поражает нас в рассказах госпожи X о России, это прежде всего она сама и ее собственный, особый путь примирения с современностью. Пожилая уже женщина, она сумела пронести через испытания этих двадцати лет нетронутой свою способность жить напряженной духовной жизнью, твердо верить в конечное торжество добра, без отчаянья смотреть не только в будущее России, но и на ее смутное настоящее. Г-жа X стоит в стороне от политики и общественной активности. Она не боец, а созерцатель, склонный к религиозно-мистическому восприятию мира человеческих отношений. Мрачную советскую действительность

* Современные записки. 1936. Кн. 54. С. 353 — 354.

она приняла прежде всего как "крест, на всех нас возложенный", от несения которого никто не вправе уклониться. В этом, по-видимому, основной источник ее особого, если еще не примиренного, то свободного от ожесточенности отношения к советской действительности. Но с ней происходит и дальнейшая эволюция. От покорности общей жестокой судьбе, как свыше посланному испытанию, г-жа X, повторяя роковой путь Блока, постепенно приходит уже к религиозному оправданию современности в плане общественном".

Упоминает о письмах "чудом дошедших" Г. Федотов *, а статья Г. Адамовича "Туда" **, риторически обращенная от эмиграции к автору писем "Оттуда", как бы призывает к диалогу. Но вряд ли тогда этот спор-диалог был возможен. Эту дискуссию можно было бы продолжить только теперь. И уже в 50-е годы Г.Струве, обобщая историю русского литературного зарубежья, предполагал, что "для будущего историка революции и ее духовных процессов эти письма представляют большой интерес, а для историка эмиграции будут интересны отклики на них с этой стороны"***.

Бытовые условия жизни в 20 — 30-х годах были очень тяжелы, мучило безденежье, отсутствие элементарных удобств, но тем благотворней, спасительнее была активная духовная жизнь, размышления о судьбах культуры.

Из письма Д. Д. Жуковскому, март, 1936 г.: "Блок и символизм вообще для меня сейчас громадно вырос, и, конечно, свести его к пассивности мироощущения не могу. У него был так огромен волевой запрос к жизни, что он мог быть только одним "всецелым утолен" — то есть в отдельности его не могли бы утолить ни та глубина, которая открылась символизму, ни то жизненное творчество, которое сейчас совершается. Будет когда-нибудь синтез, и тогда утолится "Блоковская тоска" (может быть, через 50 лет!), а пока нет острее, проблематичнее и потому нужнее лица в русской поэзии".

Через очень короткое время получивший эти строчки Даниил, сын Аделаиды и Д. Е. Жуковского, математик и поэт, оказался за решеткой. Он погиб в заключении. В вину ему вменялось распространение стихов М. Волошина. Жизнь продолжала наносить удары.

В 1938 году семья перебралась под Курск, где в заповеднике устроился на работу лесничим В. К. Герцык. Жизнь на природе несколько скрашивала и трудный быт, и отсутствие свободы. Е. К. полюбила степь, которая напоминала ей простор моря, о чем читаем в письмах к Н. Г. Чулковой. Но мечты о поездке в Москву так и остались неосуществленными — началась война.

---

* Федотов Г. Тяжба о России. //Современные записки. 1936. Кн. XII.

** Адамович Г. Туда. //Современные записки. 1937. Кн. XIV.

*** Струве Г. Русская литература в изгнании. Нью-Йорк, 1956.

Евгении Казимировне оставалось пройти еще одно тяжелейшее испытание — немецкую оккупацию, в которой оказалась Курская область. Осенью 1941 года заповедник эвакуировался, но Герцыки с тяжело больной, неподвижной Л. А. Герцык не могли решиться на такое передвижение. Они лишь перебираются вглубь от стратегической дороги и поселяются в глухой деревне у местных жителей. Почти сразу Евгения Казимировна делает краткие записи в тетради, которые тоже приведены в книге. Несмотря на их краткость, они передают настроения среди местного населения в этот трагический период.

Летом 1943 года Медвенский район Курской области был освобожден от немцев, и вновь полетели письма друзьям на восток.

Из письма В. А. Серейской, IX, 1943 г.: "Каждый день газеты приносят радость и радость".

...Но сил уже не оставалось, и в феврале 1944 года Евгении Казимировны не стало. Ее похоронили на степном кладбище рядом с деревней, где она умерла, и где безбрежная степь так напоминает море, и где растет полынь сродни крымской...

Татьяна Жуковская

ВОСПОМИНАНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я начала писать эти воспоминания с мыслью рассказать о некоторых поэтах и писателях эпохи символизма, которых я и моя сестра, поэт Аделаида Герцык[1], знали близко и в течение долгого времени. Одни из них теперь забыты, умышленно или нет, другие даже опорочены, или же на страницах литературных воспоминаний их профили нарисованы карикатурно-искаженными (например, в книгах Белого[2]). Ни оправдывать, ни подкрашивать их в защитные цвета я не хочу — пытаюсь только дать их облик со всеми их особенностями, с той талантливостью, в которой им теперь готовы отказать, но и с теми нелепостями, которые я видела в них и тогда, как вижу теперь.

Но, перебирая тех, о ком я действительно могу что-то рассказать, я убедилась, что их очень немного, потому что минутные встречи с десятками других писателей среди шумихи литературных кружков не дают мне материала, чтобы сказать о каждом из них что-то свое, лично наблюденное. Главная причина этого в том, что как я, так и сестра моя, были глубоко интимными людьми камерного стиля. Все модернистские салоны всех толков, будь то кружок Мережковского[3], группа "Аполлона"[4] и т. д., были нам одинаково чужды, и мы избегали бывать в них. Быть может, причина здесь не только в нас, но и в характере тех кружков: всюду мне виделись только гримасничающие маски — хотя, ко-

нечно, за масками были и лица, одни — страдающие, другие — творчески вдохновленные. Так случилось, что я прошла, не остановившись, мимо того, кого теперь вижу в центре эпохи и "демоном" ее, — мимо Блока. Две всего встречи... безразличный вопрос блоковского голоса... неподвижность прекрасной маски — вот все, что запомнилось, — отталкивали от него. А ведь это был Блок, с той мятежной, мятущейся душой, которую мы теперь узнали и которая из того прошлого мира сейчас всех ближе. И вот — у меня нет Блока, услышанного моим ухом, почувствованного своей рукой.

Итак, я могу говорить только о тех, кого знала в интимной и душевной раскрытости, за рабочим столом, в творческих исканиях. Все эти встречи были вместе с тем историей моего жизненного пути. Вспоминая о них, я вместе с тем поневоле вспоминаю и о том, на какие духовные запросы они отвечали — или не отвечали. Какие же были мы — сестра моя и я — и почему мы были такие?

И вот я обратилась к истории нашего детства, нашей юности — до всех литературных встреч, чтобы среди многих текущих ручейков той эпохи найти свой, неприметный, но на других непохожий.

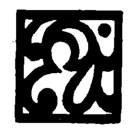
Поскольку это касается А. Герцык, занимавшей хотя скромное, но неоспоримое место среди поэтов-символистов, это, конечно, оправданно. Но я, зачем <...> * И однако, я не ищу этому оправдания. Вернее, оправдание в том, что как сестра моя, так и я отражали свое время — перевал веков.

Не будучи типичными в том смысле, что было много таких, как мы, наоборот, везде, на курсах сперва, в литературных кружках позднее, я тоскливо переживала одинокость, непохожесть свою на других, неслиянность с ними. Но эта-то одинокость и была приметой эпохи, ее движущей силой и ее немощью. И она сводила с другими, столь же одинокими. И возникавшие отношения потому и были так интенсивны, глубоки и длительны... Только одинокие по-настоящему знают дружбу.

Значение их всех (и нас) в том, что мы уже тогда, в первые года века, пришли к переоценке идеалов гуманизма, либерализ-

* Пропуск в рукописи (Примеч. — *Т. Ж.*).

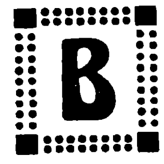
ма, всего высокого и прекрасного, добра и справедливости (Шестов[5], потом "Вехи"[6], "Проблемы идеализма"[7], Бердяев[8]), к которым герои Фейхтвангера и других антифашистов — и не только герои, а и они сами пришли — приходят только сейчас, когда перед ними оскалилась страшная пасть...



ДЕТСТВО

Глава I

1



В трех часах к северу от Москвы леса, сплошь леса: то сквозные, березовые, то чаща замшелая, где ветвистые ели сплелись с осиной; что ни станция, то историческое имя: Троице-Сергиево, Хотьков монастырь, совсем уже сказочное Берендеево, Александровская слобода Грозного — Александров. В этом Александрове и прошло наше детство, сестры и мое, отсюда начало воспоминаний.

Но семья наша пришлая, не имеет в этой земле корней, хотя прожила здесь долгие годы. Отец — инженер, строил участок этого пути к северному морю и так и остался заведовать им. Сам же он и построил этот просторный уютный дом, где мы жили. Вознесенный над железнодорожным полотном, там, где оно пролегало в глубокой выемке, стоял дом — точно на высоком берегу реки. Кругом цветник, аллеи, вновь разбитый английский сад, многочисленные службы. Широко, по-усадебному раскинулись,— но не усадьба с ее сельскими работами, сложными отношениями к крестьянам, с нудными заботами о сроках закладной. Легче жили, собранней, может быть, чуточку не по-русски: не объедались, не опивались, не закармливали гостей до отвала. Девочкой, попадая в чужие дома, я всегда удивлялась, как много там едят. “В гостях едят ужасно много и в гостях всегда чем-то пахнет”, — отмечаю я, с детства сверх меры восприимчивая ко всем чувственным впечатлениям. В старинном доме соседей-помещиков я принюхиваюсь к запахам — столетним — штофной мебели, из стеклянной горки — какими-то задумчивыми ананасами, которых давно уж не выращивают в их заброшенной оранжерее... Наш дом — мой сверстник или чуть постарше: в нем нет старой мебели, нет застарелых запахов. Но нет и прадедовских секрет [еров], кресел с львиными руками. Мебель удобная, без вычур. Это восьмидесятые годы, время художественного одичания России, опустошения слова, вкуса в убранстве, в одежде. Но на об-

становке это пока не отразилось: мебель еще мастерят по солидным английским образцам.

2

Семья отца польского рода. Когда-то владели землями — я раз всего мельком взглянула на родословное дерево, восходящее к XV веку,— не было спеси — от недомыслия, не было любопытства к этому; не знаю, и уж теперь не узнаешь, с каких пор лишились всего и остались служить царям. Обрусели, забыли бесследно горечь национальной обиды, как забыли язык. Но донесли и сохранили в каком-то уж поколении нерусские черты. Многочисленные братья и сестры отца связаны были влюбленной дружбой. Съезжались, шумно смеялись, грохотали за обеденным столом, целовались без конца. Фривольные разговоры, легкие безобидные вольности и — крепкая, нежнейшая семейственность. Когда женился один, братья и сестры тотчас же влюблялись в его жену. Служа, не добивались чинов, всюду сохраняли некоторую независимость. Не от духовной свободы, от беспечности и барственного пренебрежения к карьеризму. Но служаки были исправные. Те, кто жили в Петербурге, царя называли государем-императором, возмущались нигилистами. В этом не было корыстного реакционерства, тем менее — идейного: к отвлеченному мышлению были совершенно не способны, мысль вообще была не по них. Позже, взрослой, обходя их петербургские квартиры, я тщетно искала хотя бы одной книги. Зато были музыкальными по слуху, то и дело заливались итальянскими ариями, а то и скороговоркой французской оперетки. В женщинах еще играла щебечущая польская прелесть, мужчины в глубине хранили черты рыцарственности, все из той же "отчизны". Такой рыцарственный жест — смерть меньшего брата отца уже в мировую войну. Он командовал полком, и в самые первые, еще июльские, дни его артиллерия дала залп по своим. Он не был виновен, не подлежал ответственности, но — честь... Он застрелился. После Октября никто из них не эмигрировал — доживали, доголадывали, рассеянные по стране, усыновившей их.

Милое, без следа исчезнувшее племя, какой-то мелькнувший поворот человеческого лица, ни в чьей уж памяти не запечатленный...

3

В характере моей матери отзвук германских ее предков. Неясная, глубоко чувствующая мечтательница — эта рано умершая мама, так рано, что зримого образа мне не оставила, бормотала — только в крови свою песнь, несхожую с окружающим. От большой любви и тихости она вся растворилась в муже, и после ее смерти нигде в доме, в вещах, в безделушках нельзя было

найти ее — я не знаю ее любимого цветка, книги, мечты... Отец любил ее восхищенной любовью. Любя, задаривал, украшал. Но в дарах — он, не она. Этот дом, который он с обдуманной заботой строил для нее и детей, отразил только его вкус. Через всю жизнь отца прошла романтическая мечта о юге и море. Детские воспоминания о Севастополе осажденном: в морских пейзажах на стенах и цветной литографии "Эсмеральда с козочкой", которые под грохот артиллерии были вывезены из полуразрушенной Константиновской батареи; юношеские годы военной службы: Тифлис, увлечение итальянской певицей, разъезды с зятем и другом, художником Лагорио, по незамиренному Кавказу — все это оставило следы в виде акварелей, оружия с чернью, итальянских песенных альбомов и рассказов, слышанных нами с детства. Талантом жизни обладал отец: голос его, отчетливая походка, смех, ласка, гнев — все повышало для окружающих тонус дня. Ничего от мысли, никакого философствования — вкус к жизни в ее простых проявлениях: к труду и развлечению, к усталости и отдыху. Во внешнем облике отца некоторая элегантность: одеваться любил у первого портного Москвы. С женщинами галантен — безразлично, с важной ли гостьей или с женой старшего рабочего, когда она, вырядившись, приходила поздравить в праздник. Рабочими был любим, несмотря на бешеные вспышки. Отступая в прошлое до его туманной грани, нащупываю первый зрительный образ отца: в дождевом плаще, с которого ручьями стекает вода, на паровозе вернулся со строящегося моста, где разливом снесло быки. Эти необычайные быки в реке, поразив, запомнились. Отец хороший инженер, увлечен делом. Однако он не продвинулся выше, оставаясь всегда как-то в стороне от начальства, от общества путейцев. Его ближайший приятель — молодой фабрикант, вывезший из-за границы либеральные идеи организации труда, а позже — владевший фабрикой по старинке. Ему в лад либеральничает и отец, громит Каткова, Победоносцева. Раз даже у нас несколько дней укрывался кто-то нелегальный. Но это все несущественный налет, а под этим другая — не Libertas *, не гражданская — свобода полного пульса, счастливой любви, свобода наездника, когда он с конем одно.

Счастливая любовь! Ее излучение в какой-то час еле заметной убыли становится магнитом. В один осенний вечер к нам в дом попала помещичья дочка, красивая, избалованная успехом девушка. Как не похожи облики хозяев на знакомые ей уездные типы! Грациозная хозяйка за роялем, с нежностью оглядывающаяся на мужа, он — у фисгармонии, старинные итальянские церковные секстеты. А над фисгармонией гравюра: зичиевский демон распластал крылья над встревоженной Тамарой. Гостья, покинув в тот вечер наш дом, едучи беззвездной ночью, вся пронзена патетикой этого демонского образа, будто он, а не встреча с

---

* Свобода (*лат.*).

отцом, надвое переломил ее жизнь. Начались для двоих годы подавляемой страсти, радости и муки, и для одной — годы муки и отречения.

Мои первые шатающиеся шажки, первые завоевания мира жадными ручонками уже встречены улыбкой боли. Но такова была выдержка тогдашних людей, что ничто в быту дома не выдавало... По-прежнему бодр и ласков отец, не нарушен порядок дня, только чаще появлялась в доме новая знакомая, только счастливей загорались глаза отца, только таяла мать. Тяжело проболев больше года, окруженная покаянной заботой отца, она умерла. Я ничего не помню из этих трагических и значительных событий — смерть матери и через год (целый год колебаний и пиетета) вхождение в дом новой жены. Или по-своему, непонятно для нас, расценивается важное и неважное в детском сознании. Или же, как говорят психоаналитики, память из самозащиты оттесняет все больное в подсознание. Вернее и то, и то.

Во всяком случае, наша детская жизнь мало изменилась. Бережно сохраняя ее распорядок, мачеха не сделалась для нас никем, ни близкой, ни далекой. Злое это слово никогда не приходило нам на ум, звали ее мы просто, как звали раньше, Женечкой, и так и относились к ней, как к привычной нарядной гостье.

Жизнь моя шла с нею рядом — не сливаясь — долгие годы, и встретились мы внутренно только в очень поздние наши годы. Только когда она стала бабушкой, самоотверженнейшей бабушкой-забавницей, весь долгий путь озарился для меня одним смыслом, и я восприняла его со всеми его изломами, в его прекрасной пламенной цельности.

4

Адя. Старшая дочь. Гордость отца. В три года уже читает. Семейное предание о том, что при юбилейном чествовании деда-генерала, поставленная на нарядный, в хрустале, стол, она произнесла поздравительную речь от имени всех детей его. И не сбилась, не оробела среди обступивших ее старичков в трясущемся серебре эполет. Было ей пять лет. В платьице, усеянном множеством бантиков, с панталончиками, по обычаю висящими из-под платьица, коротенькая, некрасивая. Да, некрасивое, умное лицо со складкой напряженной мысли между бровями — такая она на своих самых ранних фотографиях. И от этого, может быть, медленно росла — долго была коротенькая, квадратная, коренастая. Помню, говорили о ее сходстве с портретом Бетховена — вот этим взглядом исподлобья, волевой складкой сжатых губ.

Погруженная в свою какую-то внутреннюю работу, не замечала окружающего. Смеясь, вспоминали старшие: отец в отпуску, уже две недели как уехал. Садятся за стол. Девочка рассеянно обводит глазами стол, спрашивает: “А папа не придет?” Была неласковая, скрытная.

“Я не помню,— говорит она в своих воспоминаниях, — когда именно я разочаровалась в больших. Постепенно во мне укоренилось убеждение, что от них не только нельзя ждать ничего нового и важного, но, напротив, нужно защищать все ценное, любимое — скрывать, спасать его от их прикосновения. Их отношение к вещам — самоуверенное, спокойное — возмущало меня. Они думали, что знают все, и давали всему оскорбительно простое объяснение, лишая мир красоты и тайны. Вот за это, за неумение пользоваться миром, за слепоту и спокойную уверенность, не любила я их. И они были все такие!”[1]

Застав ее за разглядыванием карты полушарий, кто-то из взрослых спешит удовлетворить любознательность девочки. Хмуро слушает она и попросту отгоняет скучное объяснение. Эти кружочки, волнистые линии должны же значить что-то еще другое, настоящее, интересное! “В каждой исписанной бумажке, в каждом пятне на обоях был смысл, была тайна, над которой надо было думать и трудиться. И все книги, которые мне дарили, надо было прочесть двояко: то, что в них напечатано для всех, легкое и неважное, что я поглощала ужасно скоро, пропуская половину, и то другое, главное, что требовало всего напряжения мысли и внимания”. Игры ее обыкновенно заключались в том, что она “неподвижно сидела и думала”. Вот она стоит посреди нашего двора и преображает его в немецкий средневековый городок, придумывает, чем может быть каретный сарай, прачечная, спешит переименовать все. Старичок садовник — это знаменитый ученый-астролог — слава города. “К Степанычу подходила кухарка, и я повернула в другую сторону, чтобы не видеть их встречи. Сейчас они заговорят, и это будет **неправда**: он угрюм и особенно избегает женщин”[2] . Жизнь всегда перегоняет игру, и не успеваешь ее вместить туда, а главное, исправить, потому что она вся неверная.

Вдруг затосковала по своей прежней няне — немке, жившей в Ярославле за немцем-машинистом. И задумала со мною, четырехлетней, идти к ней. В течение нескольких дней мы накапливали кусочки хлеба и жили в восторженной тайне. В летний вечер, когда нас уж уложили и большие в зале занимались музыкой, она подняла меня, одела. До станции (а Ярославль по ту сторону станции) было четверть версты, и это расстояние мы кое-как прошли в темноте, но тут я забоялась, расплакалась, стрелочник взял меня на руки и, сопровождаемый смущенной Адей, уже крепко спящую, внес меня на балкон. Нас еще не хватились, и переполох был велик.

Это маленькое приключение показывает, что у сестры был не только дар фантазии, но и воля к осуществлению задуманного. Она не была безвольной, как сама говорит в своих воспоминаниях, через призму лет окрашивая себя, прежнюю, в преобладающие тона себя, позднейшей. Много упорства проявляла в учении. В детской у нас висела гимнастика — трапеция, кольца — и Адя

в течение нескольких месяцев проделывала самые трудные упражнения, настойчиво добиваясь того, что не давалось ей сразу, развивала мускулы, руки огрубели, покрылись мозолями. Кончилось это трагически: с большой высоты она сорвалась и ударилась головой о железную ножку кровати. Закрыв глаза, вижу и сейчас светлые подстриженные волосы, постепенно — мгновенно — окрашиваемые красным. Мой отчаянный крик созвал весь дом. Она лежала без сознания, а струйка крови бежала уж через всю комнату. Были наложены швы, долго она ходила забинтованная. Кажется, кости черепа не пострадали, но, может быть, сила удара отозвалась позднее в ослаблении слуха.

Узнают ли в этой нелюдимой, всегда напряженно думающей девочке ту, которая сама о себе говорила: "Мне блаженно мое незнание", ту, которая была чудесно чутка к болям окружающих душ, владела даром говорить с каждым,— узнают ли в ней легкую нашу, болтливую, лукавую Адю? Но может ли детство — завязь всего будущего человека — обмануть?

Глава II

1

Рано дни наши налились стихами. Было это так. По летам гащивали у нас Лагорио, жена и дочь художника [3]. Дочь с русой косой и лучистыми глазами — юная консерваторка. С нею на смену старой итальянщине хлынуло увлечение русской оперой, русским романсом. Ходила всегда в вышитом русском костюме, звеня монистами. Сильным своим, но детонирующим меццо-сопрано пела по нашим рощам из "Руслана" и "Демона", из только что появившегося "Онегина" или с театральными жестами декламировала монологи Василисы Мелентьевой. Потом восторженно бросалась к грибку, выглядывавшему из-под листьев, как к атрибуту русского фольклора. Так впервые через либретто, издалека, искаженным дошел до нас волшебный стих... Подражая кузине, мы по памяти воспроизводили те же сцены. Сестра, драпируясь в чью-то шаль и собирая брови, которых не было, в полутемной беседке соблазняла меня сокровищами: "Я опущусь на дно морское..." А я, прилегши на скамью, равнодушно подавала реплики: "Не могу я уснуть" и добавляла от себя: "Попробую". По моему глупому возрасту (пять-шесть лет) давались мне мало славные роли: отвергнутым Онегиным я обнимала гордые колени сестры, пока она, закусывая губы в ознаменование глубины чувств, нравоучила меня. "Умные дети, замечательные дети!" — восхищались родственницы, накрыв нас за этим делом. Но круг поэтических вкусов двоюродной сестры был узок, и с неизменностью часов повторялись каждый день все те же фразы. Стоило кому-нибудь сказать: "Темнеет, уж восьмой", как у нее автоматически

вылетало: "Девятый, ах, амур проклятый!" И Онегина обращала она в такое же крошево присказок, бессмысленно сопровождавших течение дня. Потом восторженно добавляла: "Душка Пушкин! Вы, нынешние, ну-тка! И точка".

Так она и дожила до старости, моложавая и лучистоглазая, восторженно и бескорыстно живя жизнью Мариинки.

Для нее же свои первые вирши стала писать Адя, и, конечно, не здесь было услышать критику банальности их. С чего бы они были такие банальные? Должно быть, от бездарнейшего того десятилетия.

Но, во всяком случае, благодаря Ольге Лагорио мы впервые потянулись к черным золототисненым томам Пушкина и Лермонтова, дремавшим за стеклом книжного шкафа. Переписывая из них, я училась писать, и до сих пор меня умиляют страницы с чернильными пятнами пятидесятилетней давности. К пушкинским сказкам я относилась свысока и выискивала себе детские стихи по разным внешним признакам.

Думается, что развертывание характера и судьбы исполняет по отношению к обетованиям детства двойную функцию: диалектически опрокинуть, вычеркнуть их, но вместе с тем, раскрыв, полностью выявить таящееся в них. Пути же свои детские, одиноко-волевые и умственные, душа отвергла целиком, с такой крайностью, что образ ее, взрослой, стал во всем противоположен тому детскому, который я здесь по крупинкам собрала.

2

Сестре шел десятый год, когда в доме завелся старичок учитель, карел, маленького роста гном, весь поросший седым волосом: ягелем лохматились на голове, пучками взлетали из бровей. Какие дальние дороги завели его к нам? Был в чем-то замешан, сидел, стал поэтом-народником: веселой строчкой "Конька" в двух напечатанных его книжках — "Золотая рыбка" и "Клад" — рассказывал он о судьбах крестьянского мальчика и о благе просвещения. Живя у нас, писал и переделывал драму из крестьянской жизни в стихах.

В мезонине рядом с комнатой учителя устроена классная. Очередное увлечение отца: черная доска, глобус, целый ряд наглядных пособий при изучении физики и космографии — Земля и планеты, вращающиеся вокруг Солнца, прибор, объясняющий фазы Луны, и так далее. Любимые игрушки, которые мы с азартом пускали вертеться вскачь, но которые навряд участвовали в образовании сестры. Начинался урок: наспех с одинаковой скукой порешав задачи, учитель и ученица переходили к русскому языку. "Вот, напиши-ка, Аденька, это упражнение", и сам зарывался в ворохи своих бумаг. Дымил папиросой. Кончив упражнение и подождав, Аденька тоже бралась за свое. Когда мне позво-

ляли звать их к обеду, я радостно мчалась по лестнице, зная, что много прибавилось к "Соне и Алеше" — рассказу, совсем как в Bibliothèque rose*. Открываю дверь — от дыма почти нельзя разглядеть, где Адя, где Михаил Андрианыч.

Было у него другое пристрастие. С весны на коленях возится в грядках, пререкаясь со стариком садовником. Но цветник нам и впрямь разводил чудесный. Летом каждый день связывал малюсенькие букетики-бутоньерки, где всего было понатыкано, и перед обедом торжественно подносил всем дамам и девочкам. Из какой это стародавности? Схваченные винтообразной булавкой в наших легких детских платьицах, эти бутоньерки то и дело кувыркались и повисали вверх стеблями, что вызывало долгую воркотню. А уж не дай Бог, бегая, потерять!

Из любви к естествознанию ходил с сачком на болото и вылавливал тритонов и водяных паучков. Ни цветочного, ни этого пристрастия не разделяла Адя и скучающе стояла рядом. Поворчав обидчиво, отпускал тритонов на волю. Но ученицу свою любил последней старческой нежностью. В ее альбомчике каждый год был отмечен посвященным ей стихом. Первое:

Милая Аденька, первый десяток
Ты без забот прожила.
Есть в тебе доброго славный задаток,
Мыслью головка светла...

и т. д.

А последнее начиналось:

Сегодня вам тринадцать лет...

И дальше говорилось о распускающейся розе. С этого дня он решил говорить ей "Вы". Он и любил и уважал девочку. В тринадцать же лет она поступила в Московский пансион, кое-как проскочив через экзаменационные барьеры. А он перекочевал к другу отца, фабриканту, якобы разбирать библиотеку — синекура! Дальше — одинокая старость, чуть скрашиваемая редкими встречами с любимицей.

Не думаю, чтобы литературные вкусы старика Карлина сколько-нибудь повлияли на сестру. Разве только переняла она у него самую привычку сочинительства, и вымыслы, прежде гнездившиеся в голове, морщившие ей лоб, теперь легче сбегали по пальцам на бумагу.

3

Пока они там, наверху, в клубах дыма "творят", внизу, в нашей детской, я вычерчиваю первые нескладные буквы, а со мной рядом Мисочка [4]. Еще до смерти мамы, когда заплаканные тети,

---

* Розовая библиотека *(фр.)*.

забежав в детскую, то затевали с нами игру, то бросали нас на полуигре, привезли нам на смену кратковременным и неудачным француженкам девятнадцатилетнюю девочку из семьи московских немцев. Молчаливое мое недоверие она покорила сразу, рассказав нам сказку про Труллу. Среди бродячих сказок всех народов мне позже никогда не попадалось перепева этой германской Труллы, и она осталась одиночкой, неповторимым ключиком к детскому сердцу. За Труллу, за молодость ее, за мамину смерть я жалостно привязалась к новой гувернантке. Незаметно просунув палец в белый вязаный платок, накинутый у нее на плечах, там, где петли начинали распускаться, я старалась дальше продырявить, чтобы потом горячее и жалобней прижаться к ней. Нам сказали, что она знает еще и английский язык и научит нас ему,— языка так и не получилось, но ее мы звали miss — Мисочкой. Маленькая, миниатюрная, с крошечным ротиком, застенчивая, но с затаенной пылкостью, такая пришла она в наш дом,— дом, сделавшийся ей на всю жизнь единственным домом, единственным мирком ее.

Когда меня возили в Москву, мне не было большего удовольствия, как бывать в "Мисиной фамилии". Маленькие комнатки, а под потолком подвешены ряды кресел и диванов: отчим нашей гувернантки был одним из первых мебельщиков Москвы, пока не запил горькую. Мальчики, сводные братья ее, влезают туда и пробегают по качающимся креслам, вызывая во мне восторг ужаса. Эти сверстники наши нередко гостили у нас — благонравные, здоровые мальчуганы. Но всех их, их было четверо, когда они достигали восемнадцати лет, ждала гибель: одни впадали в буйное помешательство и идиотизм, другие умирали от чахотки. Так в этих комнатках мать, немецкая старушка с наколкой на голове, несла свою Ниобеину судьбу, растянутую на десятки лет. В мою детскую пору заболел еще только старший, еще не казался неотвратимым рок, но какую-то растравляющую жалость я всегда выносила из "Мисиной фамилии".

Лето. Перед сном сбегаю напоследок в цветник, где после заката опьяняюще раздышались ночные цветы: табак и маленький невидный цветок, весь день плотно сжатый,— никтириния, беленькая звездочка, будто покрытая коричневой паутинкой. Вечером она так остро и пряно пахнет! Я знаю, что это ее цветок, потому что ведь ее настоящее имя — Екатерина.

На одного за другим, на детей и первого, и второго поколения нашего дома, изливала она свой нерастраченный жар. Было у нее необычайное для воспитателя свойство: подслушав детскую фантазию, иногда случайный, кратковременный вкус к чему-нибудь, начать питать его, вздувая, преувеличивая. До чего была она изобретательна и неутомима в выискивании книг, игрушек, цветных бумаг и т. д., питавших этот каприз, а вместе с тем и тщеславие ребенка, вызывая всем этим к себе восторженную детскую привязанность. Сама, увлеченная своим воспитанником, она подчеркивала свое пренебрежение к другим детям, к их бездар-

ности. Но растущее существо постепенно начинало тяготиться своей односторонне взбухшей способностью, а окружавшие его предметы и всегдашняя ревностная слушательница держали его все на одном и том же. Так начинался детский бунт против нее.

Было и у меня пристрастие, взлелеянное ею, впрочем невинного свойства. Я никогда не любила кукол. Но во время какой-то моей болезни мне принесли лист бумажных вырезных кукол, и я не расставалась с ними. Видя мое увлечение, моя воспитательница скупала мне все, что находила в Москве,— сначала это были дети и одежда к ним, а потом листы с персонажами разных драм или опер. Были "Разбойники" Шиллера, моцартовская "Волшебная флейта". Пленил меня особенно Макс Пикколомини, молодой красавец с перьями, развевающимися из шлема, и я потребовала его историю. Мне было семь лет, когда моя Мисочка стала мне читать Шиллера по-немецки, терпеливо переводя чуть не фразу за фразой. Не она одна — и я была терпелива: Шиллер, с его десятками страниц благородства, не скрашенного и одной улыбкой! Но зимние вечера так долги, Адя учится уже в Москве, и было уютно раскрашивать всех этих рыцарей и дам под не очень понятное чтение или вышивать шерстями по канве — тоже занятие, которое не выносила моя творческая сестра. Когда маленький Гете увлекся кукольным театром, история вокруг него была жива — под самыми окнами цокали подковы конницы прусского короля, а потом его веселых нарядных неприятелей била Семилетняя война. В моем же детском окружении история так несомненно кончилась и вся легла в книги, уйдя из жизни. Тем с большей жадностью я потянулась к ней. Детские книги отброшены, мы читаем в пересказе Тьерри о королях Франции, какие-то немецкие хроники Дана. Конечно, все о героях и царях. Мое собственное творчество ограничивалось тем, что я, взяв какой-нибудь исторический эпизод и сообразуясь с наличием моих бумажных воинов и красавиц, придумывала им роли и исписывала их именами страницы тетрадей. На этом и заканчивала. Но мои первые сознательные годы — с семи до двенадцати — история была моим главным увлечением.

4

Я на четыре года моложе сестры. В противоположность ей учусь туго и поздно начинаю сама читать. Ленивая толстушка и баловень, я не люблю трудностей, не рвусь преодолевать их. Мои ранние дни целиком погружены в чувственные восприятия. Среди них большую роль играют осязательные, доставляющие мне страдания, но и наслаждения. Помню, как я вся мучительно содрогаюсь, случайно проведя рукой по обоям. Вообще не выношу шероховатой бумаги: уже не маленькой, чтобы не прикасаться к промокательным бумажкам, потихоньку уничтожаю их, и потом

их не оказывается в моих тетрадях. Несмотря на любовь к цветам, не копаюсь в наших детских грядках, чтобы не пачкать рук в земле. Зато наслаждаюсь, осязая плюшевый мох и составляя из кусков его, принесенных из лесу, зеленые и коралловые паркеты. Коробочка с гладкими и дымчатыми крымскими камушками — моя услада. Нанизываю бисер, распускаю, смешиваю, радуясь на цветистые струйки.

Остро, не по-детски страдаю от разных звуков — чинка карандаша, скрип грифеля по грифельной доске. Мои симпатии определяются главным образом тембром голоса да еще запахом, исходящим от человека — люблю одну тетю с мелодичным голосом и подолгу сижу, уткнувшись носом ей в плечо. Такая же я причудница и в еде — не только ничего острого, кислого, не выношу и ничего жирного: капля свежего масла на хлебе непереносима мне. Когда отец кончает ужин кусочком сыра, измышляю хитрости, чтобы не поцеловать его на ночь. Отовсюду подстерегают царапающие ощущения, от которых надо оберегаться. Можно подумать, что это маленький Эшер Эдгара По. Но с карточки глядит на меня упитанная девчурка с ясным и радостным лицом. Нрав у меня ясный, хотя и с взрывами гнева, жадности.

Влюбляюсь с трех лет. Помню: поздно вечером группа инженеров приезжает с осмотра моста и шумно ужинает в столовой. Я кручусь в своей кроватке и уверяю, что ни за что не усну, потому что "слышу его сладкий голосок". Когда это рассказывают отцу, он приходит и, завернув меня в одеяло, несет и сажает на колени моего избранника. Но настоящая и длительная влюбленность моя — это отец. Перед сном он носит меня по полутемной зале и напевает: "А как будешь вырастать, мы пойдем с тобой гулять, и цветочки будем рвать, и сухарики..." Всегда те же слова. Сколько мне могло быть лет? Не больше пяти. Но на дне моей памяти, как подземное озеро истинной любви, истинного сладострастия, залег след от этих вечерних часов.

Припадки беспредметной жалости, трудно выразимой в разумных терминах. Кто-то — и не из близких — подарил мне коробку с бездарной игрой. Я вежливенько поблагодарила, унесла; тот, подаривший, конечно, перестал и думать об этом. Но тут-то и начались мои муки. "Он думал, что я обрадуюсь, а я не обрадовалась" — так звучащая мысль буквально разрывала меня. Точно жалом своим она обращена была не на этот незначительный случай, а на угадываемое, предчуемое несоответствие в мире людских отношений... Вечер. Плачу так сильно, что один за другим собираются вокруг моей вечерней кроватки все большие. Долго не отвечаю и наконец, всхлипывая: "Не хочу умереть, не хочу быть старой!" Да, я жадна к жизни. Вширь, вдаль. Всегда хочу всего. Если нам, девочкам, дают что-нибудь выбрать, непременно выберу лучшее — лучшее яблоко, картинку самую красивую. Проснешься утром — рай! Еще в кровати перебираешь: снежок хрустящий, салазки, щенки, копошащиеся в сарае, папа,

обещанная поездка в город в санях на красавице нашей Звездочке... Почему же он сгинул так рано, мой детский рай, так бесследно?

5

Или иначе поставлю вопрос: что же дало нам наше детство и чего недодало, чего лишило нас?

Березовые рощи обступили дом. Те, что так прекрасны осенью, когда с каждой ветки льет золото. Ходишь по рощам, как в чисто убранном парке: ни валежника, ни пахучей лесной сырости. Никакое гнездышко в заросли не полоняло наше детское внимание, не отрывало от фантазий, которые лепились вне связи с окружающим. Не часты прогулки дальше от дома, на любимое мое болото, где так весело скакать по бархатным кочкам, еще дальше, в бор, к озерку в глубокой-глубокой котловине, называемому Ликауши. Почему Ликауши? Мы обегали его, выкликая жутко тревожившее название его. Редко-редко, гуляя, доходили до жнивья и тогда со страстью бросались на васильки. Ни разу не были ни в одной из соседних деревень, и я прожила до двенадцати лет в нашей северной полосе, не зайдя в избу, не видав ни одной из сельских работ. Вернуться вечером на возу с сеном, барахтаться в нем, глядеть, как брызжет зерно на гумне, — таких впечатлений у нас не было. Во всем, кроме названий цветов, мы были чудовищно невежественны, и по сей день я только смутно отличу колос ржи от пшеницы.

Мы не видели сельских работ,— мы не видели и народа в его нужде, грубости, пьянстве. Невольного сравнения своей барской жизни с бытом грязной деревенской детворы, которое иной раз занозой входило в душу помещичьих детей,— у нас его не бывало.

Прислуга? Лет десять домом у нас правил старик лакей Семен с женой, кухаркой Степанидой, Анигой — по-нашему, по- детскому. Он воркотней своей держал в страхе не нас одних, но и взрослых. Обхаживая накрытый стол и выравнивая ряд стаканов и солонок, зорко следил, чтобы кто проголодавшийся не отщипнул хлеба. В роще за домом вкопан стол со скамьей вокруг. Там в летнее время после обеда долгое чаепитие. Быстро и неинтересно выпив на балконе наш чай или молоко, мы невзначай пробегаем мимо. Анига подзывает и потчует нас ржаными лепешками: их груда на столе, и они теплые еще, а у нас только скучный французский хлеб. Семен с полотенцем на шее, самовар брызжется и заливается так громко, как у нас никогда, и косые лучи румянят и стол, и траву вокруг...

Отец крещен по-католически, мама — лютеранка, но, пиетистски настроенная, равнодушна к внешним формам. Церкви немецкой поблизости нет, в русскую никому не придет в голову нас повести. Нет няни, которая зажгла бы под праздник лампадку. Села далеко, мы не видим, как сверкнут хоругви под солнцем, не слышим церковного пения, ни песен хороводных под

Троицын день. Люблю, взобравшись на диван, слушать, как папа играет на фисгармонии протяжные напевы Бортнянского: "Коль славен..." и другие. Но никто не скажет мне, что это о том же, о чем вечером в кровати нужно полусонно пробормотать: "Vater Unser"*. Есть у нас маленькая Biblische Geschichte** с картинками; я быстро листаю, на минуту только задерживаясь на барашке в кусте, и нахожу картинку битвы: затоптанный израильским конем злой Моавитянин. Но он такой мелкий и так жалобно прикрыл голову согнутым локтем, что я считаю его девочкой и пронзительно жалею. Ничего другого от этой книжки не осталось. Помню такое: мама под наблюдением докторов лежит на подмосковной даче; нас привезли к ней. Едва-едва, как во мгле, вижу темные волосы, кажущиеся черными от белизны подушки и лица. Но зато с какой яркостью помнятся две девочки еврейки из нижнего этажа той же дачи. Поразили слова теть, что это евреи. Вместе играем у качелей. Я восхищена тем, что меньшую, как во французской книжке, зовут Розой. Сестра, отозвав меня, взволнованно говорит: когда их Melle*** уйдет, мы им скажем про Христа. Но Melle не уходит, и мы, забежав в кусты, в один голос шепчем: правда же, правда, был Христос — и все четыре, присев на корточки, удивленно смотрим друг на друга. Молчим. Наш секрет коротенький и слишком нам самим неясный. Разговоров о таинственном в доме не бывало. Все было слишком ясно. А детская душа хочет ритуала, таинственности, и вот попытки собственного творчества.

В тополевой аллее перед домом, среди ряда совсем одинаковых деревьев, одно — не простое дерево. Мы поклонялись ему, обвивали цветочной гирляндой, называли "царским", не находя слова, которое обозначило бы его магическую силу. Магическое было совсем близко: под балконом жила семья. Отец — Мурмурка — должно быть, достался нам от старой прислуги, пугавшей им, весь был мохнатый, из какого-то еще нечеловеческого пласта. Зато дети: прекрасная дочь l'Eté и два сына, один злой, другой дружественный, были интимно близки нам. Правда, мы их никогда не видели, они не привиделись нам как довольно-таки трезвым девочкам, но мы шептались о них, угадывали их воздействие в удачах или невзгодах нашего дня. О, как жарко иногда хотелось быть хорошей, чтобы улыбнулась l'Eté. Игра? Пожалуй. Но не игрой была вера в невидимое: в отличие от других игр здесь мы немели перед кем-то, что не мы, ждали знаков извне.

Также, спеша накрепко связать какие-нибудь случайные совпадения, мы творили обряды в нашей безобрядовой жизни. Сестра рассказывает, как невзначай просыпанный по полу сахар в утро Троицына дня отозвался в ней восторженной мыслью: бе-

---

* Отче наш *(нем.)*.

** Библейская история *(нем.)*.

*** Мадемуазель *(фр.)*.

резки, Троицын день, рассыпанный сахар — всегда это вместе! Всегда так должно быть! И мы года два благочестиво поддерживали это бедное суеверие...

Рано родился вкус к слову. Звуков народной речи не было вокруг нас, но как жадно мы ловили каждое непривычное, сочное корневое слово, произнесенное кем-нибудь чужим. Когда случалось нам по-детски оговориться, ошибиться, мы подхватывали, запоминали такое искаженное слово, и оно становилось как бы заклинанием. Повторяли без конца осколки слов, интересовала сама материя слова вне смысла его. Поэзия рано вошла в жизнь. Но об этом после.

Наше раннее детство пришлось на восьмидесятые годы. Глухое время. Испуг, тревога, реакция после 1 марта. На крепких ногах стал Александр III. Бурно растущая экономическая мощь страны. Уже писал свое чеховское, обличающее Чехов, но оно еще не доходило, не звучало. Что из этого отражалось в жизни дома? Жили вне всего этого. Может быть, никогда не было так легко отдельной семье выпасть из общей жизни страны. Зато детство не отяготило нас ни наследственным богатством, ни омертвевшей религиозностью или моралью. Не знаю, как от нас добивались, чтобы мы чего-нибудь не делали, может быть, папа попросту прикрикнет, но знаю наверняка, что морали нам никто не читал. Живя в постоянном общении с большими, мы незаметно перенимали их обычаи, а обычай, уклад нашего дома окрашен доброжелательством, легкостью в отношениях, отсутствием пересудов и семейных дрязг.

Ошибочно говорил Толстой, что счастливые семьи счастливы все на один лад, а несчастные — каждая несчастна по-своему. Наша благополучная семья была благополучна по-своему, имела ярко выраженное лицо,— даже говор у нас был свой, с чуть неправильными ударениями. И куда бы мы в детстве и позже, в юности, ни попадали, везде нам казалось “не так”: либо слишком умственно, либо слишком погруженно в матерьяльную сторону жизни, то светски-фальшиво, то простецки-грубо,— словом, не звучала та, своя, казавшаяся единственно верной нота.

И вот, взвешивая на строжайших весах свое детское прошлое, останавливаюсь недоуменно. Казалось, мы начинали жить свободнее, чем многие. Не нужно было тратить сил на стряхивание семейного гнета, привитых предрассудков. И был внутренний зов — через игры, через любовь к слову — к той полноте, насыщенности жизни, которая обнимает все, которая превыше имени. И однако, от раннего зова до сегодняшнего вечера, когда пишу эти страницы, сколько неверных блужданий, сколько тупиков, из которых все снова и снова надо было возвращаться вспять.

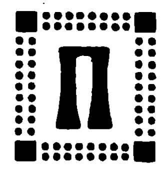
Быть может, сама эта ярко выраженная индивидуальность семьи, так мало связанной с окружающим миром, толкала нас по инерции идти и дальше путем обособления, неслияния с окружающим, путем индивидуализма, исходить все закоулки его, допить мутный осадок его.

Или же в самой этой легкости, огражденности от зла наших детских дней не было трамплина для прыжка вперед, в будущее? А полнота жизни — не добывается ли она только безоговорочной отдачей себя будущему?

В незаконченных строфах, писанных, вероятно, в первые годы века, сетует сестра:

У меня нет родины,
Нет воспоминаний.
Тишина ль осенняя
Мне дала название?
Нет начала, цели,
Нет зари, заката,
Я не знаю, с кем я,
В чем моя утрата...
Я жила безродно,
Без любви и гнева.
Оттого так бедны
Все мои напевы.
. . . .
Пробираюсь краем,
И кругом потемки.

СЕВАСТОПОЛЬ



оезд ныряет в тоннели, еще, еще и — море! Первое наше море. Всем домом, целым служебным вагоном, с грудой вещей, с молодым, веселым поваром, няней и горничной переезжаем в Севастополь. Первые сентябрьские дни: пока старшие заняты распаковкой ящиков, расстановкой мебели, мы с сестрой упоенно бегаем по городу. Ей — восемнадцать, я еще девчонка, но обеим одинаково ново и занимательно. Пленяет базар с невиданными горами винограда — даже розового! — с южной толчеей, стариками в чалмах, разноязычием: турки, греки... По крутому откосу, цепляясь за колючие травы, сверглись с набережной к Южной бухте, туда, куда никто не заглядывает, какие-то пещеры, тряпье, чумазые дети, запах гниющей рыбы. И отовсюду, с каждого холма — море, синие извилины: величавый рейд с меловым Инкерманом в глубине, с рядами военных судов. Забрели даже в Корабельную Слободку, куда не принято ходить; стоя в дверях своих хатенок, подружки матросов дерзкими глазами провожали "барышень". Но всего чудесней развалины: через сорок лет после обороны Севастополя город — точно вчера была бомбардировка. Ряды домов, полуразрушенных, таинственных и опасных. На ступеньках, ведущих в какое-то зловещее подполье, переглядываемся возбужденно: "Воровской приют из "Оливера Твиста"? Или что, что?.. Какую игру?.. Но игры никакой не вышло. Эти первые дни оборвались также внезапно — Адю захватила другая игра, а я... Но обо мне особо.

Чтобы попасть в свой желанный Севастополь, отец принял предложенное ему место, хотя совсем не по душе ему, но видное в Государственном Контроле. Это сразу ввело нас в круг заправил железнодорожного мира. Обмен визитами, приглашения. Впервые дом наш сделался светским. Еще молодая мачеха, так долго прожившая в глуши, со страстью, с тщеславием отдалась новой роли; у отцова начальника не было жены, и потому ответные обеды, приемы происходили в нашем доме.

Сестру, конечно, привлекают не эти чинные сборища, а вдруг открывшийся ей драматизм человеческих отношений, доселе зна-

комый только по романам. Это началось с первых же дней. Начальник отца не жил с женою, но у него в доме была именуемая его племянницей красивая и тонкая, как лоза, еврейка. Они, как и мы, только что переехали в Севастополь. Переехали из Варшавы. Одетая во все заграничное, она была элегантнейшей женщиной города. Но все чопорные гостиные были ей закрыты. Театра, кабаре не было, ей негде было красоваться, и это вызывало у нее припадки бешенства. Только в нашем скромном доме была она, да и то холодок хозяйки морозил ее. Тем с большей жадностью бросилась она на дружбу с сестрой. То и дело красивый старик с печальным и очень восточным лицом заходил за нею: "Голубушка, уж вы придите сегодня к нам. Раиса Александровна нервничает, а вы знаете, как она полюбила вас". Сестра шла, заставала истерику, вдохновенно утешала, потом утешенную забавляла своим неумением отличить фай от сюра и полным неведением кодекса светских обид и уколов.

Но интерес этого положения, слишком нехитрого, быстро исчерпался. Острее захватило сестру сплетение страстей в другой семье.

Дом красивой княгини Оболенской был в те годы любимым центром севастопольского общества. Но его всегда интересные журфиксы служили хозяйке главным образом для того, чтобы удержать близ себя последнюю свою, горькую любовь — петербургского денди, преждевременно пресыщенного и истощенного. Она поселила у себя его немолодую сестру, чтобы узаконить его частые посещения (существовал и князь, добродушный старичок). Женщины ненавидели друг друга, но нуждались одна в другой. Несмотря на все свое искусство светской женщины, княгиня с отчаянием видела, что ее Вениамин уходит от нее. Однажды она заехала к нам и, привычно обворожив всех, увезла с собой сестру под тем предлогом, что у ее приятельницы болезнь глаз, она скучает и было бы благодеянием часок почитать ей. Сама она принуждена составить партию бедному князю. По дороге она с первого слова (милое дитя ничего не поймет!) возложила на Адю поручение проследить за Вениамином Ивановичем (он служил в конторе, и они могли встречаться). Он много дней не заходил — сестра его тоскует. Как он там с этой еврейкой? Но сестре его, чтоб ее не волновать, ни полслова! Сидя в полутемной комнате больной, Адя выслушивала совсем другие конфиденции[1]. Посещения ее продолжались. Она сделалась необходимой обеим женщинам, а потом и он, третий, стал находить прелесть в откровенностях с этой девочкой, так много знающей и до странности ничего не хотящей для себя. Может быть, именно это бескорыстие вложило в ее руки нити всех отношений, и она, как любопытный ребенок над непонятным рукодельем взрослых, потянет то за одну, то за другую, круче закручивая страсти, или, наоборот, ослабляя напряжение... Отнюдь не холодное экспериментирование, не она играла — ею играли избыточные и лукавые силы.

Весь этот клубок страстей, эти банальнейшие маски: стареющ-

щая княгиня и ее любовник, озлобленная дева — точно целиком вышли из великосветского романа, приложение к "Ниве". Только Адю и ее роль в этом не мог бы выдумать автор. Да и во всем Севастополе кто мог ее выдумать? Поэтому о ней сложилась молва: сама наивность, простушка, сущий младенец, прелесть эта Адя Герцык! Без ухищрений светской девицы, в простеньком платье, но там, где она, мигом завязывался живой разговор, собеседник умнел, не замечая, что эта она умна, что она своим наивным вопросом дала разговору неожиданный и остроумный оборот.

Понемногу завязалось знакомство с хозяевами города — моряками. В доме у нас появилась элегантная молодежь с кортиками. Сестра с еще молодой, еще красивой мачехой стали ездить на танцевальные вечера в Морское Собрание. Мачеха танцевала прекрасно и со страстью. Сестра — плохо, но когда она, перепутав фигуры кадрили, возвращалась на свое место, тем оживленней звучал вокруг нее говор. На второй год жизни в Севастополе она сделалась невестой мичмана Ставраки, первого танцора, адъютанта и любимца командира порта. Влюблена она не была. Было любопытство: как это — невеста? Страх огорчить его; влюбленность в любовь, то есть в любимость, в Geliebtwerden*. Одновременно с этим расцветал другой роман. У отца здесь оказалась дальняя родня — тетушка Виктория: в ней еще чувствовалась порода, с достоинством несла седую голову и раскидывала в кресле сборы широченного платья, уже лет тридцать вышедшего из моды. Но от детей ее несло сильнейшим душком польского мещанства: молодые люди служили конторщиками в банке, франтоватые, картежники по маленькой, барышни, захлебываясь, сплетничали о видных лицах города. Знакомство не завязалось. Дамы чопорно обменялись визитами. Только Адя стала частой гостьей "под мостом" — так называлась улица, где жили Кучевские. То ли ее демократические вкусы, то ли польская мова что-то разбудила в крови, то ли ненасытность быть любимой... Броня, Эля облепляли ее на маленьком диванчике, душили поцелуями, расспрашивали о маскараде в Морском Собрании, распускали ее волосы и причесывали по-модному. Стах, Юльеш дурачились, смешили, рассказывая польско-еврейские анекдоты. Эдя, младший, был неудачником. Не кончил четырех классов и поступил кондуктором — вечная заноза в тетушкином сердце. Застенчивый мальчик сумасшедше влюбился в сестру. Тетушка загорелась мечтой соединить их, рассказывала ей о славном прошлом рода Кучевских, о нежном сердце Эди, уверяла, что русским в любви верить нельзя. Подарила брошку, на которой были соединены ни больше и ни меньше, как меч, щит и корона. Дома брошка была зло осмеяна, смеялась и сестра, задорно вертя ее перед изящными мичманами, случившимися здесь, но, собираясь к Кучевским, в передней тай-

* Стать любимой *(нем.)*.

ком прикалывала ее под пальто. И когда в Собрании она со Ставраки в первой паре кружилась в котильоне, ей весело было думать, что вот сейчас на площадке товарного вагона где-нибудь на глухой станции кондуктор с мыслью о ней машет в черную ночь фонарем...

Но бывали часы, дни, когда призрачность этой жизни мутила ее. Призрачность, потому что не было ни мысли, ни страсти, ни даже чувственности,— одни безудержные воображения. С кротким и виноватым лицом приходила ко мне, звала почитать вместе, переехать на лодке на северную сторону — прочь из города. Я ни на что не откликалась. Никогда после не бывало такого отчуждения между нами. Разница лет: она впервые взрослая, в увлечении этой своей взрослостью, я подросток, стесняющаяся, самолюбиво настороженная: обратятся, как к ребенку,— обидно, как к барышне — того хуже, потому что привлечет внимание и улыбку окружающих. Не участвуя в суете сестриной жизни, я выражаю ей полуискреннее-полупоказное пренебрежение. Сумерки, тихо в доме, хожу по зале, чуть светятся большие окна. В маленьком будуарчике Адя с мачехой гадают, то есть занимаются спиритизмом, — их новое увлечение. Но не загробные тайны влекут их — оживленный шепот: "Спроси, что он подумал вчера, когда сказал: "Есть вещи, о которых лучше молчать"? И еще спроси: "Сказать ли ему откровенно мое мнение?" Изобразив на лице презрение, я без нужды прохожу мимо.

Около этого времени я узнала, что Бога нет. Без потрясения. Однако все, намекающее на мир иной, на мир таинственного, беспокоило, царапало. До сердцебиения волновал вид церквей, если Бога нет, то есть самих этих зданий, на неправде замешенных и как же тогда не рушащихся? Была в то время злобно чувствительна к неправде, ненастоящести всего. Обрывала, смахивала недавние уютные радости своего утраченного рая: если не настоящие — не надо никаких. Все эти настроения пробирались в меня исподводь и, конечно, не заполняли всего дневного сознания: во внешней жизни по-прежнему училась, читала, встречалась со сверстниками, бегала с маленьким братом и Арапкой на любимом Историческом бульваре, где никогда нет гуляющих... Но подо всем этим горечь и сухость. Словно бы море схлынуло и обнажило дно: вчера еще плавно колыхавшиеся в голубизне водоросли сморщились уродливым комком, облепленным малюсенькими ракушками. Рыбы, застигнутые безводьем, бьют хвостом, задыхаются. Задыхаюсь. Не метафорически, а вправду. Почему бы у четырнадцатилетней здоровой девочки внезапный приступ астмы? Болезнь эта на протяжении всей моей жизни не раз повторялась, но никогда позже ее хватка не была так жестока. Ночь за ночью провожу сидя. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. Холодный пот на лбу, глаза таращатся. После — период долгой слабости. Сестра — вся жалость, целые дни готова сидеть около: забавляет рассказами, пересмеивает знакомых. Про себя заинтересованная, не показываю, однако, вида. Каменею. Несносная была девчонка! Наконец

и сестра выходит из себя: "Почему ты мертвая? Почему ничем не увлечешься?" Мы во всем невпопад друг другу, мы как два обратно выгнутых стекла. Но странно — больше, чем наше исключительное единомыслие, единочувствие других периодов, эта тогдашняя обратновыгнутость, контрастность убеждает меня в непростой связи. Стоит дозором, упрямо каждая на другом конце нашего единого царства.

Вечер. Гости. Сестра заглядывает и говорит, что Миша Ставраки просит повидаться со мной. (Ему, верно, шепнула: бедная больная сестренка — нужно развлечь ее!) Я отнекиваюсь, но польщена. Адя наскоро прихорашивает меня, приносит чай, печенье, суетливо усаживает его и убегает: ей вольней без него, с другими. Каштановая курчавая бородка, кошачья золотистость глаз — он и мне по сердцу. Мягко, вкрадчиво называет меня сестрой, говорит, как боится за свое счастье... Ему и впрямь было нелегко со своей неуемной невестой, и, верно, сквозь всю свою наивную самоуверенность он чувствовал, что не владеет и кончиком ее души. Из гостиной веселый смех. Он морщится.

Но не только с веселящимся обществом — сестра дружит и с самой передовой девушкой Севастополя. Петербургская курсистка, а теперь секретарь местной либеральной газетенки. Дружба в том, что Адя пылко сочувствует ее сетованиям на равнодушие чернокурчавого Спиро, редактора. Умилившись над поэтическими потугами приятельницы, пишет от ее имени стихи. Дань курсам — строки: "скорбь о родной стороне", а дальше о том, как понапрасну гибнут душевные силы, ненужные тому, кто рядом так же одинок... Третьесортный Надсон. Стихи ненароком забывались на редакционном столе. Спиро, значительно вздохнув, целовал руку своей сотрудницы и, взвалив на нее всю работу, спешил на Приморский бульвар.

Не ей одной — Адя разбрасывала свой песенный дар, как самое ненужное.

В семье пристрастились к спиритизму, водили блюдечко. Главный медиум — сестра. Повадился приходить к ним дух, по имени Емеля, в ответах придурковатый, но лихо катавший целыми страницами стихи. В стихах воспевались присутствующие дамы, с доподлинным знанием их секретов, сулился им успех в чувствах. Стих же его простодушно повторял все нехитрые приемы тогдашнего сестрина стихотворчества.

Что это? Почему для мистификации, для подруги хватало выдумки, рифм, какого-никакого лирического взлета — и ничего для того, чтобы вышептать собственную душу, чтобы отразить обуявший ее жизненный хмель? Правда, искусство ее еще ребячески бедно и бессильно, но зачем не колотиться о стену, не спотыкаться, не дерзать вместе? Зачем так слаба привязь между человеком и его поэтическим даром? И какая должна была ударить молния, чтобы наконец спаять их?

Если дать волю этим патетическим вопросам, неминуемо придешь и к основному: зачем вообще это бесплодное расточение

драгоценных молодых сил? Девятнадцать-двадцать. Годы блоковского видения зари, первых творческих восторгов, первой чистой любви и т. д. и т. д. Зачем? Но отвлеченный морализм, подсказывающий эти вопросы, что он смыслит в неисчислимом разнообразии и сложности душ?

Если же мы обратимся к конкретному, к поэзии сестры, зазвучавшей полным голосом много позднее, внимательно вслушаемся в нее, мы нередко встретим мотив раскола ее "я", раздвоения, поисков души своей, куда-то ушедшей, покинувшей ее... Мотив, сродный Блоку. В стихотворении "Две во мне" [2] она так определяет вторую:

Любит другая обманы,
Жадный бегущий миг...
Жадное сердце в тревоге —
Столько тропинок в пути...

Не случилось ли в жизненной судьбе сестры, в этой ее севастопольской весне, что сперва взяла верх другая, та, что "любит обманы"? Первая, главная пришла много позже, и, может быть, из-за этой другой, опередившей ее, из-за вины собственного опоздания на нее навсегда легла печать боли, недоумения, виноватости...

Я растеряла свою душу
  В низинах бытия,
Теперь не помню и не слышу,
  Где я.
Душа развеяна на части,
Пробита острием копья.
В мечтах? в служении? в несчастье?
  Где я?
С собой я тщетно жажду встречи,
Себя зову из забытья.
Ни эти возгласы, ни речи —
  Не я! [3]

Очевидно, трагизм внутреннего расщепления заложен был глубоко в ее духе, и знала она в нем что-то, чего не все знают, — свести его к случайностям житейских обстоятельств никак нельзя. Но если б он оставался только умозрительным, этот внутренний опыт, если б не был пережит со всей непоправимостью реальной жизни, конечно, она не нашла бы тех жалящих звуков, которые до сегодня волнуют в ее стихах. Да, пусть уродливо-пусто было окружающее ее общество, но она выхватила из него свой кусок опыта.

Но что же ее роман со Ставраки? — спросят меня.

Сцены ревности и попреки в несоблюдении светских условностей вконец досадили ей, и она взмолилась:

— Женечка, милая, скажите же ему вы, чтобы мы больше не были женихом и невестой!

— Но отчего же ты сама?..

— Я говорила, а он не хочет.

Ответом на это — долгое нравоучение на тему о неумении любить и о том, как нехорошо играть чужим чувством. Все же ему было сказано, и сказано энергично. Он перестал бывать в доме, но мстительно распускал о сестре какие-то темные слухи.

Вскоре мы уехали из Севастополя, и до самого последнего времени я ничего не знала о нем. Но вот в недавно вышедшей книге Паустовского “Черное море” [4] я встретила его имя — да, Михаил Михайлович Ставраки, он!

Остров Березань. Расстреливают Шмидта матросы — новобранцы с канонерской лодки “Терец”. Орудия “Терца” были направлены в упор на отряд, производивший расстрел. Командовал расстрелом лейтенант Михаил Ставраки.

Когда Шмидт проходил мимо него, Ставраки снял фуражку и стал на колени. Шмидт мельком взглянул на него и сказал:

— Прикажи лучше своим людям целиться прямо в сердце.

Вспоминаю — ведь они были товарищами.

Этот жест Ставраки, так напомнивший мне его мягко-льстивые повадки, возможно и искренний, все же больше был продиктован страхом общественного мнения. Он по-женски не терпел косых взглядов. А был тогда тот недолгий срок, когда общество было авторитетнее начальства...

О дальнейшей судьбе Ставраки так рассказывает автор. Бежав в восемнадцатом году из Севастополя, он под видом рабочего укрывался на Батумском маяке. Там был опознан и убит.

В оркестре развивается интимная тема, мирная журчит мелодия, свет и тени — все в пределах одинокой судьбы. И вдруг невесть откуда тревожные возгласы валторны. Сигнал бедствия! Рушатся грани между личным и неличным. Не уйти.

Так прозвучал для меня этот рассказ о человеке, когда-то близко пересекшем жизненный путь сестры, о его роковой роли в поворотный час русской истории. Роковой — потому что здесь, может быть впервые не риторически, а буквально, брат на брата, друг на друга поднял оружие.

СУДАК

В те дни в таинственных долинах...
А. С. Пушкин. "Евгений Онегин", гл. 8

Закрою глаза, открою. Они выплывают навстречу: сперва Тракташская — вся курчавая, веселая, под своей зубчатой скалой, с двумя по двум концам ее минаретами среди плоскокрыших домиков. А дальше — разлив садов, зеленое половодье, берега расступаются, уходя в море безлесыми, лиловеющими мысами, ширь Судака. Так въехала я в него в первый раз еще полудевочкой. Путь не близкий, чуть что не через весь полуостров: от Симферополя — степью, мелколистным горным лесом, перевалами. И даже не шоссе. Бездорожием укрытый, жил Судак своей особой жизнью, непохожей на праздничность Южного берега. К морю недоверчив: изредка мимо идущие пароходы, захочет — остановится, захочет — нет, а станет — так за версту в открытом море. Выезжали на баркасе встречать его турки-рыбаки. Головы обмотаны кроваво-красными платками, лодку бьет в борт парохода, злой галдеж на непонятном языке. Тебя хватает турок и бросает вниз, в темноту (всегда ночью), другому. Такого страху не натерпишься и высаживаясь на каких-нибудь людоедских Сандвичевых островах! К морю судачане недоверчивы: на всем широком взморье, по всему длинному полукружию бухты, ни одной дачи: низенькая гостиница в несколько номеров, да в жалкой хибарке пароходный агент, да рыбаки... Все великолепие единственного в Крыму пляжа пустынно. Сбегают к нему виноградники, нежные шевелятся усики лоз. Безлюдье.

Я говорю не о таких уж давних годах — о девяностых того века. Небылица! За семью печатями Судак. Только потому отец мой и смог на свои очень скромные сбережения купить здесь несколько десятин виноградника с домиком, собственно, с винодельней и помещением сторожа, которые он сам приспособил под дом, расширил, надстроил, окружил балконами. Все скромно, неказисто. Дом на крутом склоне, окна задних комнат в уровень с землею[1]. Перед домом через дорогу выступ с решетчатыми

перилами, обвитыми диким виноградом, он висит над бархатистой зеленью долины, и прямо напротив, по ту сторону ее, как изваянная рукою мастера — так соразмерна и стройна,— гора св. Георгия. На этом висячем балконе — в какие часы? Раннего ли утра? — Ай-Георгий голубой, тогда и долина серебрится в росе. В ночные? Небо в чеканных созвездиях, и Млечный Путь течет вдоль долины к морю,— на этом балкончике висячем меня осенили мои первые крылатые миги. Первый огонек духа на мою почти что не крещенную душу.

Так мне запомнилось. Но на самом деле, конечно, в разные мгновения дня: с поворота, откуда сразу увидишь море в утреннем блеске, в долине, в узорчатой тени, у источника — всюду по каплям пчела собирала свой мед. И поначалу на язык он не так-то и сладок. Ах, какая жаркая и пыльная дорога к морю — ни деревца, чтобы передохнуть в тени; бредем с купания, еле волоча ноги, от усталости ссоримся — наша милая, начинающая стареть и ворчать гувернантка корит нас с братом, что мы нарочно не поднимаем ног, чтобы всю ее запылить, а мы — пуще загребать носком сандалии белую пыль... Отец привез сюда нас троих (сестра с мачехой лечились и веселились где-то), и мы чувствовали себя немного потерянными: и обеды невкусны, и хлеб — ох, как кисел. Избалованные комфортом в этих свежеокрашенных, липнущих комнатах, мы не знали, куда приткнуться. Семья садовника, обслуживавшая нас, привыкла к единовластию и утесняла нас. Мы просим собрать нам черешен. В ответ равнодушное: "Сошли". Ах, а мы вчера только видели дерево все в заманчиво красных ягодах!..

Но потом — один миг — дуновение ветерка с сладко и горько зацветающей дикой маслины, и зерно к зерну лепится в душе медовая, восковая келейка...

Через месяц приехала сестра. Я уж, как знающая, гордо веду ее в одно место, в другое. Молчу и с вызовом гляжу на нее. Поймет ли? Поняла.

Вдруг села и написала жениху, севастопольскому мичману: пусть он не приезжает сюда, не надо... Нет, не навсегда не надо, совсем нет, а сюда не надо, не стоит... Потом как-то она говорит мне: "Как ты думаешь, что, если я сделаюсь писательницей, настоящей?" Судак наплывал на нас судьбою.

Кто скажет, что это значит — встретиться со своей судьбой? Быть охваченным счастьем? Нет. Внезапное озарение? Нет, нет. Распознать, в чем твои силы? И это нет. Ни на какой другой язык не перевести это событие — судьбу, а так как судьбиного языка и вовсе нет на свете, то и молчишь про это, несешь что-то, сам того не зная, через всю жизнь, может быть, этим одним и красен, и разве уж под старость проболтаешься, да так нескладно.

По всей долине одноэтажные белые домики, сложенные без затей, прячутся в садах, таких же неприхотливых: ни лавра, ни

магнолий — над черепичной крышей неизменно колышутся перистые айлантусы и акации, а поодаль плодовый сад, и едва взойдешь на ступеньки веранды — в нос бьет терпким многолетним запахом яблок. Миниатюрные усадебки — дачников не водилось в Судаке,— и быт их ни с каким другим не схож. Разноязычие. Разноплеменность. Отворяем калитку одного из таких крошечных владений: над виноградными кустами несколько татар, и среди них старуха, как и они, вооруженная мотыгой и покрывающая их говор зычной, без запинки текущей татарской речью. Завидев нас, бросает мотыгу, всплескивает тонкими старушечьими руками и затопляет нас приветствиями на чистейшем французском диалекте. Под ушами — седые букли, закручены бубличком и проткнуты шпилькой. Larghier — эмигрантка, дочь эмигранта из той, из якобинской Франции. В своей хибарке потчует нас какой-то жижей, но чашечки — сэвр! Портрет Байрона акварелью на фарфоре окружен веночком из иммортелей, "лорда Байрона", которого она девочкой, швейцарской школьницей, живым видела на Женевском озере. Девяностолетняя!

Эмигранты — французы, поляки, дети и внуки ученого шведа Стевен, описавшего флору Крыма да так и осевшего в нем, старинные роды греков, армян, караимов, среди них немногие русские семьи. Дворянские грамоты здесь не в чести. Судакский adel определяется по другому признаку: старый ли вы насельник Крыма, корнями ли в нем, или же из тех немножко презираемых пришельцев, которые завели моду строиться на юге и приезжать сюда на виноградный сезон. Нас не сочли за таких пришельцев: отцовы родичи еще доживали по глухим углам Крыма, и мы сразу приняты во внутренний круг.

Разноплеменность — разноверие. За именинным столом мирно беседует батюшка и армянокатолический патер, караимский начетник и даже старик мулла, пришедший из Таракташа почтить свою сверстницу и давнюю знакомку, в шестидесятый раз праздновавшую своего Ангела... У старосветского крылечка — вперемежку элегантные выезды и допотопные рыдваны, среди них и наша, всегда дребезжащая и скрежещущая линейка, запряженная белым конякой. На ней долговязый парень с кнутом — кумир маленького брата и его товарищей. Они облепили его на линейке, соблазны именинных тортов не могут оторвать их от разбойничьих историй, которым нет конца у изобретательного Коли. С завистью поглядываю на них сквозь гущу роз, обвивших веранду, а нам томиться среди людей с другой планеты! Впрочем, жизнь Судака изменилась на наших глазах в ближайшие же годы с проведением железной дороги до Феодосии и шоссе оттуда. В Судак хлынули новые люди, новые обычаи. Загромыхал по этому шоссе неуклюжий дилижанс, привозя даже демократические учительские экскурсии.

Мы застали здесь вечерний час какого-то отходящего быта, казалось, преемственно связанного с самыми древними наслоениями — с греками, с генуэзцами... Строитель высокой колокольни

нашей стройной ампирной церковки звался Медичи; наискосок от церкви мазанка, где жили еще его дети, внуки; вон кудлатая красавица развешивает белье — конечно, итальянка! Этот Медичи, наверное, простой итальянский каменщик, но пышное имя пахнет Ренессансом. А кладбище старое на выжженных холмах с такими древними крестами и плитами, что на многих из них уцелело лишь по нескольку глубоко врезанных греческих букв. Уж их-то выбили задолго до того, как Потемкин завоевал своей царице Крым.

Вечер, нет, ущербный день осени... Здешние старожилы то и дело вздыхают о том, что Судак не тот, что был, что сякнут источники, хиреют сады, нет больше сказочных урожаев. Ну, да старикам и Бог велел так говорить! Но отчего у нас в саду, у самого водоема, ряд могучих пирамидальных тополей — все с засохшими вершинами, отчего ветвистые орешины (их зовут здесь фундуками) год от году дают орехи все мельче и садовник пилит и пилит засохшие ветки? А потрескавшееся от суши русло реки, когда-то питавшей же эту буйную поросль ольхи, лоха, лиан?.. Я еще девочкой, пробираясь по винограднику, щипнув с одного куста, с другого, ловлю эти жалобные приметы, из которых каждая царапает мне душу. Даже сны мне снятся такие: иду к знакомому засохшему дереву, и — чудо — оно все зелено! Молчу. Ни с кем не делюсь. Сестре это нипочем; перегнувшись через плечо, читаю в ее письме поэтическое описание Судака: с легкостью, без запинки бежит перо, восполняя, приукрашая словом. Надуваю губы. Поэты! Не то, не то... Ах, эта трещинка в любви — как ею зреет, наливается любовь!

С верхнего балкона виден не только разлив садов да красавец Ай-Георгий, но вправо от него еще и глубь Капсельской пустыни, а на фоне ее — два длинных холма с совершенно плоскими, срезанными вершинами. Ни дерева, ни кустика. "Ах, какой мрачный вид отсюда!" — говорит кто-то из приезжающих с севера гостей. Мы с сестрой молчим. Мы знаем, что эта пустыня и эти столы, или богатырские могильники, — прекрасны. Но как это показать? Как самим поверить? Еще тяготеют над нами фальшивые каноны, еще не сбросить нам культа условной красивости...

К развалинам Генуэзской крепости[2] ведет тропинка, пересекающая ряды сухих осыпающихся холмов; то взбежит на них, открывая глазу ширь моря, то пробирается в замкнутом круге четко вычерченных на синеве волнистых горбов. Недавно открытая пленительная тропка,— придумываем и не надумаем ей имени по ней. Бестравные шиферные холмы — только белые звезды каперца пригвождены на них и стелют сухие стебли. Глаз учится различать все тонкие оттенки изнутри лиловатого шифера, переходящего в пепел и розу. Бежишь. В лицо ветер, пахнущий полынью и горными травами. Солнце, зной.

Но где же здесь упоение юга, романтического юга, с ароматами мирта, лавра, с пышной листвой, свисающей со скал, с тихо лепечущей под ногами водой? Ничего этого нет. Почему же это прекрасно? Почему так полюбилась эта тропинка?

А дальше? Поднявшись до полугоры, обернешься в просвет старой стены с гербами пышной Генуи: гряды и гряды холмов, и конусов, и предгорий, бурые, розовеющие, фиолетовые у горизонта, где массив Меганóма выдвинулся в море. Никакого покрова — Земля! Гея! И голубая тишь заливами охватывает и нежит ее. Молчишь, восхищенная.

Да, нужно было через десять лет встретиться с Волошиным, с живописью Богаевского, услышать миф о Киммерии[3], чтобы потом авторитетно утверждать, что у нашей земли свой закон красоты. Вот это искривленное ветром, почти оголенное дерево — только оно, а не какая-нибудь широколистная чинара — созвучно горному контуру на легком, на крымском небе. Но в этих наших декларациях зерно правды оплетено было литературностью и изысканностью. Скромнее и строже был творческий труд, который за много лет до того вслепую проделали мы, невежественные в искусстве девочки, наперекор всем канонам отстаивая полюбленное. И вправду, нет постижения красоты там, где она не родится прежде, чем всякие "почему", где она не опрокидывает запреты, не поборет непонятности. Судак накрепко врезал нам в душу опыт распознавания прекрасного. Как легко было после этого разгадать замурованную прелесть стиха Вячеслава Иванова! Или разом безошибочно обличить художественную фальшь Бёклина — такого все же сладостного для глаза.

Но ведь не только этой строгой выучкой — ах, мил нам Судак и тем, что нас, бездомных, он привязал к земле, врастил в эту не слишком тучную — как раз по нас — почву, что в сентябрьские дни весело нам, обегая маленький виноградник, прикидывать на глаз, каков будет урожай, жадничать: ах, побольше бы! И в поздние осенние ночи считать в тарапане эти рыжепенные ведра, отмечая их палочками на днище опрокинутой бочки. "Даля четвертая!" — кричит седобородый татарин с мускулистыми руками, по локоть в вине, и, раскачиваясь, бежит с двумя ведрами в глубь погреба. Иду за ним к тускло мерцающей в сырости лампочке. Мелом помечаю полную сороковедерку. Возвращаюсь. Ах, Адя, Адя — вижу, выстукивает мелком не счет ведрам — верно, сбилась! — а размер стихотворения, которое сегодня утром родилось в червонном саду:

Я знала давно, что я осенняя,
Что сердцу светлей, когда сад огнист...

И опять вечер, опять несменно, каждое на своем посту, давние верные созвездия. На площадке около дома шуршит под ногами гравий. Тихий говор. Темной стеной кипарисы. Кусты роз — красные не видны сейчас, проходя мимо, угадываешь их только по густому маслянистому аромату, зато белые таинственней выступают во мраке, покрывая весь куст сверху донизу. И лимоном тянет от одинокого белого цветка — юкки — на жестком стебле в пол человеческого роста. Нега и немножко печаль на душе. Прерывистыми, усталыми вздохами доносится из темноты кружение ветряка.

Мы — старше. Поотлюбили, отликовали, отстрадали и, ох, уж не опять ли влюблены, не опять ли волнение в крови и мысли? А рядом, вызывая в нас умиленную улыбку, зарождается молодая любовь, и в ней тоже повинны духи Судака, лукавые, но и строгие, зовущие.

От выси звезд и ночи темноты
И зрели, и тянулись выше лозы...

У моря, на скале, над могилой праведника-мусульманина треплются на ветру лоскутки — молитвенные приношения верующих: так Судак мой весь в певучих строфах — то важных, то наивных,— шелестят в памяти под ветром дней...

Тень от ветряка
  Над долиной кружит,
Тайная тоска
  Над сердцем ворожит.

Или еще:

...иду в тиши
И узнаю и свет, и тени,
И родину моей души
Приветствую сердцебиением.
Отлогий спуск. И поворот,
И три ступеньки к водоему.
— И вот, скиталица, и вот
Мы наконец с тобою дома.

С. Парнок

Умильные лоскуточки чающих исцеления! Тот праведник на горе, говорят, был разбойником. А если и так? Ведь и родина души корнями уходит в очень темную глубь, в очень злые страсти... Родина души не только сладость и отдохновение, но и всегдашний зов к подвигу.

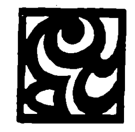
Вспоминаю последнее сестрино обращение к Судаку — итог жестоких лет, жестокого опыта.

Ах та знойная, холодная
  Страна!
Не дано мне быть свободной
  Никогда.
Пораскинулась пустыней
  Среди гор.
Поразвесила свой синий
  Ты шатер.
И все так же зной упорен.
  Сушь да синь.
Под ногою цепкий терен
  Да полынь.
Как бежать, твой дух суровый
  Умоля?
Полюбить твои оковы,
  Мать-Земля[5].

Что еще сказать? Давно-давно уж я в последний раз взглянула на Судак. Но знаю, слышала: ряды домов отдыха по всему взморью, площадки для волейбола, для спорта, молодая бронзовая веселая нагота. Всюду брызнула зелень, где была сушь. Хиревшие склоны Ай-Саввы — плантация казанлыкской розы, далеко несущей аромат... Теперь не в диковинку подслушать в вагоне, свесившись с верхней полки тому, кто внизу: "Ах, в Судак? Я там был в прошлом году... Да, отлично. Купанье мировое. Ну да, и горы, прогулки. Загорали... Да, больше военные, МВО... Да... Нет, струнный, симфонический... А я, знаете, в этом году в Теберду нацелился. Оттуда перевалить в Сванетию..."

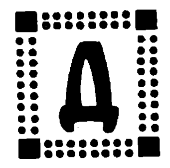
Ну что же? Разве Шекспир оттого меньше Шекспир, что его разыгрывают тясячи и тысячи актеров-ремесленников? Дарю вам, от полного сердца дарю Судак — купаться, загорать, а может быть, из ста одному проникнуть в тайну красоты глубже, плодотворней нашего.

А я... А мне — в последний бы мой час, последним отсветом убегающей земли — мелькнул бы тонкий, летучий зигзаг: берег, дальний мыс, клочок пены. И потухло бы...



АЛЕКСАНДРОВ

1



ом двухэтажный — не двухэтажный, а с мезонином, снаружи в веселой резьбе: петушки да городки. В мезонине большая в три окна комната — наша с сестрой. Уездный городок. Перезвон колоколов. Чистый-чистый снег хрустит под ногой. Отсюда отец строит железную дорогу через леса и топи на Иваново-Вознесенск. Жизнь жирной чертой делится на "наверху" и "внизу". Внизу — это гости или надоевшая, вдруг во всем ставшая помехой семья. Наверху — стихи, книги, письма к людям избранным, своим, мечты, метанья, маянья.

Я вся ушла в материалистов, эволюционистов. Без плана, без руководителя, перескакивая, недодумывая, читаю Дарвина, Геккеля с его монизмом, в котором все так пленительно-просто разрешается. Какая внутренняя закономерность пригнала сюда? Та ли, что палке, которая ушибла тебя, сперва — процвесть, а тогда уж отбросишь ее? Годы отрочества, омраченные потерей веры, смысла. И вот мой луч безверия зацвел. Пасусь, как молодой бычок на пышных травах, выхвачу сочную травинку и скачу на другой конец луга; жую, и зеленая пена бежит изо рта. В тетрадке-дневнике записываю почерком, только что себе выдуманным, вычурным, мысли из книг в собственном прихотливом пересказе. Играю ими, как мячом, перебрасываю сестре, которая, задумавшись, покусывает карандаш над еще белым листом — задумывает поэму... Через весь день пронесу возбуждение от того, что нет качеств — все они сводятся к количеству, и с блестящими от этой мысли глазами, пышная, беспокояще-здоровая встречу вечером гостей.

Мы — из дому никуда, но у нас постоянно кто-нибудь. Красивый следователь с немного обрюзгшим лицом — каждодневный наш гость. Между ним и нами двумя — глухая вражда, обмен шутливыми колкостями. Талантливый актер и чтец, он часто по вечерам читает нам Чехова. Как его героям, и ему случается ездить на вскрытие трупов, вернувшись, привозит по-чеховски тонкие рассказы или же в лицах изображает уездных барынь. Слу-

шаю, смеюсь — и бунтую. Материализм материализмом, вся жизнь, и духовная тоже, просто результат перемещения атомов, это, конечно, так, но Чехов — нет, Чехов — клевета на жизнь! Потому что там хоть и атомы, но эта громада в таком стремительном движении, такая мощь потока — дух захватывает! А Чехову — только бы ничего ни из чего не вышло. Болото. И он, Журавлев, такой же. Расскажет свой рассказ — и потянется пухлой рукой за стаканчиком белого вина — которым-то уж! — и красивые серые глаза посоловеют. Привлекательности нашего дома немало способствовали сорокаведерные бочки, присылавшиеся прямо из судакского виноградника. Но еще больше — прекрасные глаза хозяйки. Они и впрямь делались все прекрасней по мере того, как годы и болезни ее старили. Пережита большая страсть, любовь не кончилась, но затерялась в буднях, в обидах мимолетных измен мужа, а глаза все ярче, все зазывней. Сама она знает, чего хочет. И вот тешит и захватывает мысль поднять опустившегося человека, в меру в нее влюбленного, вырвать его из провинциальной тины, помочь раскрыться его таланту. Ей ничего не нужно — только восторженные взгляды, только — ненасытно — слова о том, что около нее он становится лучше, чище... Из вечера в вечер. С молодым цинизмом думаю: с сотворения мира это говорится женщине! И, улыбаясь, прохожу мимо, в соседнюю комнату, в гостиную, где сестра у рояля с офицером, знатоком музыки, просматривает партитуру Вагнера — его “Кольцо” впервые исполнялось в Москве немцами; и мы все только что прослушали его. Офицер — сапер. Эта саперная часть недавно расквартирована в городке, с вокзала шла по улицам с музыкой, точь-в-точь как позже в Художественном театре, когда мы с улыбкой узнавали свою молодость. Но не все, как в Художественном: сестры не мечтают о Москве — Москва под боком, доступна,— не кидаются от тоски в романы с офицерами, и все же — да: и тоска, и томления, и мечты...

В мундирах офицеры объездили всех в городе, перезнакомились, прозвенели шпорами, и произошло естественное расслоение: у нас стали бывать те, что посерьезней, не самые удалые, не провинциальные покорители сердец: одни готовились в Академию, сидели тихохонько за книжками, другие только что вернулись оттуда со значком...

От рояля раздается лейтмотив Фафнера — злой и лукавый,— <...> меча. Сидя в кресле-качалке, раскачиваюсь и болтаю с болезненным и печальным, ничуть мне не нравящимся капитаном. Но я знаю, что я ему нравлюсь, и молодой моей чувственности охота будить огонек желания... Следователь со всегдашним стаканчиком вина в руке подходит и молча останавливается рядом. Поощрительно-ласково поглядывает: молодец барышня! Я тоже улыбаюсь ему поверх собеседника: перемирие?.. Нет. У нас совсем другое... “Совсем то же, милая вы моя”... (Все это без слов.) “Нет, не то, не Чехов”.— “Чехов, милая вы моя, ничего другого и нет”.— “Есть, у меня есть, будет!” Почти что вслух, с гневом, а

дружелюбия, перемирия как не бывало. Сердито раскачиваюсь, сразу враждебная к обоим, ко всему вокруг.

На другое утро у нас наверху сестра, стоя передо мной с страдающим лицом. Наша жизнь ужасна. Вечер за вечером в пустой болтовне. Чем оправдать ее? Вот Вера опять пишет, убеждает ехать на курсы... Что сказать ей? Бедная Вера — как она разочаруется в нас... "Ну что же ты ничего не говоришь? Не понимаю, откуда у тебя это самодовольство?" Я мычу что-то, сосу орех в сахаре (только что посылала за ним Петьку, семилетнего прачкина сына, он тут же, лежа животом на ковре, рисует и тоже грызет). Сижу на низком креслице, ноги протянуты на другое, завалена книгами: поверх надоевшего Тимирязева уткнулась в роман Шпильгагена.

У сестры, старшей меня на четыре года, острее моего чувство неверности нашего существования. Нервная, нетерпеливая, вечно мучающаяся угрызениями... Неутоленность творческого инстинкта. Уже начался — неприметно, без внешних событий — долгий путь страдания, предсказанный ей однажды в крымскую лунную ночь.

Случались дни такие незадачливые: читаются только романы, между собой ссоримся, Вере как писать такими будничными? А внизу из-за пустяка — столкновение, прорвалась накопившаяся рознь. Мы: "Как можно мириться с такой пошлой жизнью, с такими пошлыми людьми?" Мачеха нам: "Вы эгоистки, вас подкупает только внешний блеск (это в огород Бобрищева-Пушкина), вы не понимаете, что в самом сереньком человеке может быть искра Божия". Вечером пришли какие-то гости, вот такие, с "Божией искрой", ни на что не нужные. Я опять за роман. Адя: "Выйди к ним ты. У меня голова болит". Я: "Пойди ты. Я всегда была в сто раз мрачнее тебя". Опять обмен резкостями.

А совсем поздно, когда мы пришли спать, костром вспыхнул — был у нас на туалете привезенный из Судака — большой сноп ковыля; вначале мы любовно ласкали его шелковые нити, потом перестали видеть его, он посерел от пыли и загорелся мгновенно, весь. Ахнули, вырвали его из вазы (рядом занавеси, фотографии): легкий, пылающий — летучий костер — он поскакал по комнате. Было и страшно, и упоительно. Догорел на полу. И мы присели на пол. Дуновение — и вся вязкая скука жизни сметена. Все это пройдет — что сейчас. Все это не важно. Настоящее другое. Пламя, Судак, звезды наши тамошние, стихи, все то, что там бывало, что будет... Помнишь: "Je suis belle et je l'aime, il viendra demain*. Это не о человеке, это о том высшем, для которого мы хотим быть прекрасней, будем прекрасны... Проговорили полночи... Утром с помощью прачки и весело суетившихся мальчиков — брата и Петьки — перевернули всю свою комнату, чтобы ни одна мебелина — на старом месте. Все наново! Новые перья в ручки, сели писать вдохновенные письма.

---

* Я красива, и я его люблю — он придет завтра *(фр.)*.

И не все костры прогорели так мгновенно. Бывали встречи, которые длительно держали нас в высоком напряжении.

Дневник Марии Башкирцевой [1]. Как рукой, схватила за сердце и не отпускает эта небрежная книга — эта быстрая судьба: артистическое детство, самовлюбленность, эстетизм, воображаемый роман с каким-то высочеством — и потом разом отречение от всей махровости, бешеным натиском через сужающиеся теснины в труд, в творчество. Любовь. Смерть. Рукой схватила за сердце и держит каждой страницей, и зовет, и обличает. Зачем я не такая? Зачем не бешеным натиском? Все окружающее вдесятеро ненавистней. На всех вымещаешь, что сама не такая.

2

И все же это весна. Два года, прожитые в этом уездном городке, запомнились мне в весеннем обличии. То ли, что мне восемнадцать-девятнадцать? Пройдешь десяток домов — улица кончится. Нежно зеленеют ранние луга. Цветут кусты персидской сирени у квадратной террасы, выходящей в наш сад, пряно пахнет черемухой в конце заросшей аллейки. Отношения с мужской молодежью, за зиму лениво тлевшие, нарушаемые то нашим замыканием у себя наверху, то их досадливыми поисками общества понепритязательней; отношения эти разгорались от близкой разлуки — им идти в лагерь под Ярославлем, от весеннего набухания соков земли... Книги заброшены, мы забегаем наверх, только чтобы взволнованно пересказать друг другу разговор, потолкаться перед зеркалом, по-необычному заинтересованы шитьем летних платьев, обсуждаем, примеряем с домашней портнихой, а вечером под нетемнеющей северной зарей, чуть не до встречной утренней,— парочками по саду. Но влюбленности и теперь нет. Игра вовсю, набегающее волнение, жадность услышать слова признания, еще, еще, и — так скоро! — радость освобождения, разлуки, облегченный вздох.

И все же влюбленность была — у обеих — бережно-нежная: льна курящегося не загасить, не для жизни, не в жизнь... Со скрипкой в руке он стоит около фисгармонии и поучает отца, как ему вести свою партию в трио. Обычно своевольный и нетерпеливый, отец, улыбаясь, послушно повторяет пассаж. Он стоит рядом, дирижируя смычком, к нам вполоборота. Накрепко и любовно запечатленный в зрачке силуэт: одно плечо выше другого, какая-то странная искривленность стана — не уродующая, нет,— от нее каждое движение его только выигрывает в выразительности. Или уж так чаровала его музыка — за что любовь? Точный, глубокий смычок, но без блеска, без гениальных вспышек, с некоторой немецкой педантичностью. Он — Нордгейм, при этом — фон. Бледен, светлые-светлые усы над горькой складкой губ, и такие же светлые глаза, временами тепло загорающиеся, временами — в раздражении — добела леденеющие. Благороднейшая грань той тевтонской по-

роды, которая в другом изломе дает самый, может быть, жестокий человеческий тип... Сестра ему: "Как это случилось, что вы, вы, Николай Васильевич, военный?" Он с горячностью: "Нет, почему же? Военное искусство увлекательно. Вы знаете, шахматы — моя страсть, да и вообще я в душе игрок заядлый. Ну, а стратегия — это венец всяческой игры: здесь и расчет тончайший, и риск..." Товарищи-офицеры недолюбливают его, при нем начеку, метко целит его насмешка. Н а ш а семья разом, вся, как-то заново слилась в любви к нему. Всем он по-разному мил и за разное. Брат десятилетний не отходит от него, и Нордгейм с ним прост и серьезен. Жаркий летний день: на окнах спущены соломенные шторы, и сквозь узкую щель между соломинками на стену падает отражение едущей по улице телеги — опрокинутое: лошадиные ноги бегут по воздуху. Нордгейм чертежом поясняет, по какому это оптическому закону. У мальчика, прижавшегося к его плечу, глаза разгораются: первое посвящение в чудеса физики. Помню толки об открытии Рентгена: с увлечением и обстоятельностью, не заботясь о том, интересно ли нам или нет, Нордгейм излагает нам его, и навсегда с γ-лучами примешались мне лучи любви.

Интересы его были разнообразны, мысль деятельна, но стоило ему на миг задуматься — и горчайшая тень ложилась на лицо. С нами двумя он делится своей внутренней безнадежностью всегда бегло, не рисуясь ею. В силу внутренних и внешних причин жизнь бессмысленна, бесплодна. Может ли разумное существо мириться с уничтожением? А нелепость общественного уклада?

Я жалобно:

— Неужели не может быть счастья?

— Отчего же? Счастье — это способность создавать себе иллюзии. Крепче держись за них, и будешь счастлив.

Улыбнувшись:

— Знаете, как старик Свифт сказал? Быть счастливым — значит вечно быть в состоянии человека, ловко околпаченного. Не очень-то это лестно!

— А искусство? — напоминаем.

— Да, искусство — это прекраснейший способ забыться. Музыка — это даже больше, чем забвение.

И, вдохновившись, излагает Шопенгауэра. "Мир как воля" — первая философская книга, читанная мною и, конечно, осененная Нордгеймом.

Но он не любит подолгу млеть над мыслью о безнадежности и, сам же осмеяв наши скорбные палинодии, вот уж показывает брату приемы гимнастики или настраивает скрипку — слышатся первые грозные ноты "Кориолана"...

Во всем страстный, он и в отношения с женщиной под внешним холодком дружбы вносил остроту: ловлю на нас обеих, чаще на сестре взгляд горячее дружеского, а то и гневно-ревнивый. Мы знали, что он, уже не любя, считал себя связанным с женщиной, оставившей ради него мужа и ждавшей его в Петербурге. И к тому же, то, что между нами тремя разве не лучше

страсти, которая как иллюзия слишком скоро развеется?

А мы? А нам, а нашей двойной судьбе такой-то он и нужен, такой-то он и осуществляет некоторый несознанный смысл — прекрасное, желанное — только марево, в жизни не осуществимое.

Вскоре он уехал совсем. Но едва прошел месяц-два, он, вырвавшись на три дня, приехал к нам из Петербурга, приехал радостный, и мы видели воочию, что нет ему ничего дороже нашей семьи. Та же музыка, те же разговоры об иллюзорности, та же щемящая нежность к нему. Несколько лет отношения наши не менялись и именно потому в изменчивой текучести жизни перестали быть тем, чем были. И на крутом повороте внутренней жизни мы его потеряли — разом, безоглядно. Точно и не было.

3

Протяжные паровозные гудки над снежной поляной. Пустынная станция (городок Юрьев-Польской — в версте). Сюда продвинулся рельсовый путь, и мы прожили здесь одинокую зиму. Занимаем большой, пахнущий свежим тесом дом. Верх — пять комнат в нашем распоряжении: мы две, брат, его учитель. Окна на четыре стороны встреч четырем ветрам — снежная даль, ни деревца. Крутят метели. После беспорядочных предыдущих лет как будто нашли себя в далеком от жизни парнасизме, до конца опутали себя эстетством. Мы ведь искали, мы метались — не увидели другой дороги: нельзя остановиться на культе "красоты" вообще. Уж если так — то до конца, до ненависти.

Окруженные миниатюрными томиками эльзевира, французскими критиками, звучанием французских строф, громоздим свою tour d'ivoire*, которую мы и назвать по-русски не умели.Сердце расширяется в восторге над какой-нибудь строчкой Эредиа[2]:

Il regardait d'un air stupide et grave
Les minarets pointus qui tremblent dans le Nil...**

Пленяет до слез самая эта бездейственность, статуарность, ненужность для жизни. Почему? Когда есть и молодость и полнота жизненных сил? Из своего сегодня, глядя на этих заточениц костяной башни, спрашиваю себя — зачем это? — забывая, напоминая себе и опять забывая, что эта бездейственность и внежизненность и были делом, взятым ими на себя. О, конечно, без ведома для себя.Через эстетическую аскезу иссушить, выпарить все обветшалое, косное, лживое, водянистое в слове, в понятиях, в формах быта, освободить в себе простор для рождения нового слова, нового Бога, новой жизни. Но, повторяю, и тени мысли об этом нет: загоняет сюда отвращение к окружающему — включая и

---

* Башня из слоновой кости *(фр.)*.

** С дурацким и серьезным видом он рассматривал остроконечные минареты, отражения которых колеблются в Ниле... *(фр.)*

всю тогдашнюю русскую литературу... Сестра переводит Аккерман — M-me Ackermann[3] — была такая старушка (на портрете, приложенном к томику стихов,— в кружевной наколке), воссылающая проклятья небу в звонких ale xendrins[4]. Шопенгауэрианка. Чтимая во французской поэзии, но как будто смешная в своем пафосе и в наколке. А как мы трепетали, десятки раз перечитывая пышные строфы ее од: Satan, Prométhée, le Luxe...* Строгой выдержанности вкуса у нас не было, и от пессимизма Аккерман с легкостью переходили к безмятежному скепсису дневника Гонкуров, и весь круг их друзей, превыше всего ценивших изысканный эпитет, был нам близок... Переживались интеллектуальные радости, а душа голодала. Маятником раскачивалась от эстетических восторгов в другое, в темень л и ч н о г о. Если в переживании искусства мы с сестрой дружно сливались, то, откачиваясь, откачивались, каждая в с в о и глухие дебри, к своим, неизбежно одиноким и неразделенным трудностям.

Сохранился дневник сестры за эти годы — 98, 99,— вот-вот наступит новый век, век страшный и великий; как мы ни далеко от большой дороги истории, записи отражают нарастающую тоску и метания. Дневник этот далеко не полностью передает многокрасочную и всегда погруженную в творческую игру душу Адел<аиды> Герцык. Но может быть, именно лирик, как никто, порой испытывает потребность рассудочно, нарочито буднично истолковать свои переживания.

Снова вспоминаю Блока и его интимные записи. Главные темы две: мучения в поисках новой литературной формы и страдание от своей отрезанности от корня жизни (религиозно, общественно, любовно). Привожу выдержки (из дневников сестры).

“Безумно хочется писать прозой — не знаю что,— ведь я сознаю свою несостоятельность, невозможность создать что-нибудь оригинальное... Иногда кажется, что я могла бы Бог знает что сделать, лишь бы найти несуществующую форму, узнать магические слова... Я предпочитаю, чтобы все во мне даром болезненно протрепетало и заглохло, чем писать так же банально, как вся наша журнальная беллетристика, и романы, и “психологические” очерки. Все, все вызывает во мне отвращение... А я могла бы написать и бульварный роман с хитросплетениями любовных интриг, и такой вот очерк с “психологией”. Воображения бы хватило, но форма, форма... искание новой формы продолжает преследовать меня... Начинаю, бросаю. Я бы, кажется, полжизни отдала за это “новое”. Понимаю Милля, который хотел покончить с собой из-за того, что нет новых комбинаций в музыке...”

“Вчера я долго ходила взад и вперед по всему дому и напряженно думала, что же — мое личное, незаимствованное. Я лирик по существу, узкий лирик с ограниченным миросозерцанием. Чего же я хочу? К чему эти бессильные порывания? То мне хочется написать исповедь в стихах, то в прозе совсем новым способом

* “Сатана”, “Прометей”, “Роскошь” *(фр.)*.

сказать хотя бы старую мысль. Ведь мыслей-то уж новых, безусловно, нет. Опять захватил меня Leconte de Lisle*. Поэт меньшинства — гордое, волнующее слово! Отчего у нас в России такого не может быть, отчего так бедны все мотивы?..

Ездили на неделю в Москву и с радостью вернулись сюда — в снега. Перевидала много людей, много говорили. Как отвратительны эти рамки, которые люди создают себе, эта узкая-узкая колея, с которой все боятся свернуть... Единственно, что меня увлекло,— это сеансы и разговоры с Далем, но бессоннице моей и он не помог".

Она рассказывает, как учитель брата поделился с нею своим желанием устроить в Юрьеве чтения для народа. "Я поддержала его, но что-то укололо меня, и стало грустно: отчего у меня так мало социального чувства? А ведь я не черства, и, помню, в детстве я вдруг решила помогать народу и два дня бегала в деревню Машково и тайком носила разные вещи из моего белья и платья... На днях Вера[5] радостно написала, что наконец ее долгие хлопоты увенчались успехом и в Полтаве устроен книжный склад для народа. Сознаюсь, что скучное чувство шевельнулось у меня в ответ... Всегда, когда я сталкиваюсь с народниками, говорящими об общей пользе, мне хочется с досадой крикнуть им: "Ведь это все давно известно! Это старо, и об этом больше не говорят и не думают, разве только отсталые люди! А передовые заняты культом красоты, пессимизмом..." Я предчувствую, я глубоко убеждена, что следующее умственное направление, которое сменит наше, будет возврат социальных идей... И, Боже, каким ненормальным, нездоровым покажется им наше поколение с его культом одной красоты! А все-таки стихотворение о блаженстве нирваны я напишу..." "Физически я чувствую себя все хуже. Шум в ушах все усиливается. Бессонница изводит. Еще я поняла, что люди для меня больше не существуют и не будут существовать. И любви у меня никогда не будет... Сегодня Настя, убирая комнату, целый час убеждала меня не разбирать больше и согласиться на первое предложение (как будто оно еще может быть!). И я, как Идиот Достоевского, с ней об этом с готовностью и участливостью говорила и соболезновала самой себе — но это было только для нее..." "На душе так гадко, так тяжело, как давно не было. Все помыслы направлены к тому, как сделать, чтоб уехать, чтоб не быть здесь, изменить жизнь... А изменить нельзя и уехать некуда..." "Уехать — единственное желание, единственная мысль... Лишь бы не быть здесь! Лучше бы всего — не быть нигде. Меня пугает раздражение, даже ненависть, которую вызывают во мне домашние..." "Единственное мое утешение — Григ. Играла его часами. Его "Hirtenknabe" и "Elegie"** волнуют до слез: грудь поднимается выше, выше — и не может вздохнуть!.. И кругом, и во мне самой все так полно диссонанса, и фальши, и некрасоты, что я

---

* Леконт де Лиль (*фр.*).

** "Пастушок", "Элегия" (*нем.*).

отдыхаю в его резких диссонансах, в его странной прелести... Стыдно жить, ничего не делая, а что делать? Сто раз вставал передо мной безответный вопрос, скучный, старый, стыдный. Но кажется, никогда он так меня не мучил. Так жить нельзя...” “Иногда с момента пробуждения я так ненавижу всех в доме, даже голоса их, шаги, что отворачиваюсь и не отвечаю, когда ко мне входят. Даже Женю я иногда ненавижу, и случайное прикосновение ее вызывает во мне отвращение. Что же это такое?..” “Вчера все сидели с гостями, я ушла в нашу комнату, где на столе горела свеча, тупо стала в дверях и начала думать о самоубийстве, в первый раз так серьезно и деловито и с чувством облегчения...” “В мае мы втроем с братом провели две недели на Волге, спускались до Самары... И чем прекрасней бывало кругом, тем больше чувствовался во всем этом вопрос, обращенный прямо ко мне, и на этот вопрос нигде кругом и во мне самой ответа не было, потому что е г о н е т! Нечего было уезжать, потому что от себя не уедешь. Всюду — я, я сама и вместе со мной моя до дна и навсегда мертвая душа”.

Возрастающая нервность. Бессонница. Ухудшение слуха. Сестра впервые за границей, лечится. Там знакомство с Пантелеевым Лонгин Федоровичем[6]. Требовательный и насмешливый старик, сперва сурово осуждавший ее за поверхностность суждений, потом умилился ее кротости и как-то по-старчески, ворчливо привязался к ней. Но конечно, весь он был мимо ее пути. После мы съезжаемся в Судаке, и опять одна из тех осеней, когда увлажненное сердце тонуло в любви к красоте. Об этом восторженные страницы в ее дневнике, но рядом такое: “Мне иногда кажется, что я обманываю себя, стараясь думать, что мне теперь так хорошо. Есть все, что я люблю, и все условности устранены. А может быть, именно это делает жизнь такой — до ужаса голой и пустой. Айлантусы перед балконом чуть качаются, три голубя ходят вокруг фонтана, Алчаг с мягкими тенями, с красными кустиками в лощинах... Балкон такой удобный, с новыми соломенными креслами... Весь дом — тихий и свободный. И все, что я люблю, есть у меня. И все же... Может быть, и прав Пантелеев, говоря, что я н и к о г д а н и ч е г о не любила и ничем не интересовалась по-настоящему. Une vie manquée! Rien que Ca*. Я помню, как этой зимой в тихом юрьевском доме вечером под лампой по поводу стихов Аккерман я стала объяснять Сильвии[7] мое пессимистическое мировоззрение, мое неверие. Она сначала спросила, потом замолкла и слушала с неприязненным любопытством в глазах. И наконец сказала как-то враждебно: “Я не понимаю, как ты можешь продолжать жить, если это твои убеждения”. Я что-то возражала, но мне было стыдно и скверно на душе... И вот теперь у меня такое же стыдное и скверное чувство...”

В эту осень 99-го года мы поселились — и уж на многие годы — в Москве. Это был период кратковременного “богатства”. Отец,

* Неудачная жизнь! Ничего другого *(фр.)*.

вовлеченный в орбиту Мамонтова[8], прямо-таки влюбленный в этого талантливого человека, отдавал все свои сбережения на какие-то акции, сулившие сказочные дивиденды. Все это через год рухнуло, но пока мы богатели. Мачеха с упоением заказывала плюшевые портьеры, дорогие меха, томила нас сидением у знатных портных. Мы с сестрой все это "презирали", но тоже с охотой устраивали свой розовый мраморный кабинет. Во всех комнатах стены были "под мрамор", и никогда у нас не было такого убогого, томительного года, как этот, среди мрамора. С переездом в Москву наш дом заполнили родственники и какие-то унаследованные из прошлого знакомые, все одинаково неинтересные. Людей общих с нами вкусов у нас не было. Уже бегали тогда переулками бодлерианцы, ницшеанцы, собирались в папиросном дыму где-нибудь у Эллиса[9], но мы их не знали и позже не узнали, да и были мы с ними разного духа. Но любопытно то, что наши вкусы складывались вне всякой среды — и все же в единении с какой-то мыслимой средой. Случалось, вдруг забеспокоит нас какое-нибудь имя, и мы ходим по книжным лавкам, требуя его книг, ищем в журналах статей о нем — нигде ничего! А через несколько месяцев это имя зазвучит повсюду.

Возвращаюсь к дневнику. "Шум в голове все увеличивается, слышу все хуже. Иногда я к этому поразительно равнодушна, иногда думаю, что ведь от этого вся жизнь должна измениться. Мою статью о Рескине[10] напечатают, но отчего это меня совсем не радует? Что мне нужно? Я только морщилась от боли, читая Верины восторги по поводу моего первого успеха... Да, я, может быть, буду писать статьи, даже набью себе руку на этом, но все, все будет всегда бездарно, безлично... "Заводная машинка", как меня в раздражении назвал Александр Михайлович[11]... И вообще для чего это? Тригорин говорит в "Чайке", которую мы видели вчера: "Но ведь я не пейзажист только, я гражданин, я чувствую, что, если я писатель, я обязан говорить о народе, о его страданиях, о будущем, о науке... Но я умею писать только пейзаж, во всем остальном я фальшив и бездарен. Это ужасно". Да, это ужасно...

Три дня провел у нас милый, бледный Нордгейм. Мы год не виделись и вот опять подпали под его обаяние, и знакомая мучительная грусть стояла на душе у меня неподвижно и тяжело. Он был так же далек и так же близок... Весь последний месяц — ежедневно — люди, люди, ненужные, скучные. Усталость и тоска от них. И потом это прикосновение к жизни вскрывает столько тяжелого вокруг... Нордгейм прав был, когда, стоя в передней, облокотившись на стеклянную дверь, когда я уходила, сказал: "Теперь было бы естественней и человечней выскочить на улицу, кричать на весь мир "караул!", увлечь за собой толпу, ломать, уничтожать все, чем сидеть мирно дома, изучать искусство, разыгрывать фуги Баха"... Отчего так гадко? отчего стыдно? Кажется, я никому не лгала, и если была возбуждена с П., то это искренно. И потом, это не то. Я опять

не спала всю ночь напролет. У меня такое изможденное, немолодое лицо. Но и это не то... Вообще ничего нет и ничего не может быть, потому что ничего не бывает... Вот я сейчас сижу за столом, за закрытой дверью в кабинете папа дремлет на тахте, Женя сидит, безучастно уставившись куда-то в одну точку, а И. скорбно и влюбленно смотрит на нее. И все-таки, кроме меня и этого стола, ничего нет. Страшно, страшно, голо все. Совсем ничего нет. Только мелкие житейские события, разговоры еще жужжат надо мной, как мухи, и я вижу, что, кроме них, вокруг меня ничего нет... Какой страшный упадок, какое нежелание жить — и у обеих! Еще недавно Женя чуть не плакала от восторга, узнав таблицу Менделеева, потом целые дни с увлечением рисовала с гипсовых голов, а теперь она в отчаяние приводит — она сама не сознает, как она вся распустилась, в ней нет воли к жизни — она не ест, не причесывается, не отвечает... А я? Я опять ничего не люблю, ничего не делаю. У меня есть Rossetti, Sizeranne[12], Milsand — всех надо читать, готовиться к статье... Много любимых книг, прошлых и настоящих, переплеты, которые мы заказываем по своему вкусу. Прекрасная белая Ниобея в углу... Есть свобода заниматься чем хочу, есть время... Есть даже лекции по философии, которые мы устроили на дому..."

Через много лет, в 21-м году, она напишет:

Когда-то любила я книги,
Блаженные годы и миги!
Были мне ближе людей —
В сафьяновой мягкой коже...
Любила картины я тоже
И много других вещей.
Живее живых созданий —
Вазы и мягкие ткани.
Все в жизни вокруг
В плену меня сладком держало.
Теперь предметов не стало —
Распался волшебный круг.
Иду и рассеянным взором
Последний снимаю покров.
Иду, как пустым коридором,
И слушаю гул шагов.
. . . .
Жестокое бремя свободы
Подъяла душа и несет.
Простите, ненужные ныне,
Без вас в этой строгой пустыне
Мне легче идти вперед.

Но насколько увлажненней, живительней была ей эта новая пустыня, чем та, давняя, в вазах и сафьянах...

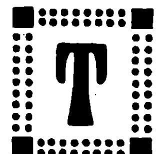
Последний отрывок:

"Эти дни у нас жила Марья Валентиновна Кош. Эта маленькая некрасивая женщина с большими бледными губами и с неугасающей бодростью в глазах совсем заговорила нас. Вот когда

наконец не стыдишься, а радуешься, что знаешь хоть что-нибудь, что читала, думала... А потом пошли неизбежные укоры нам, "уродливости" нашей жизни, нашей любви к "дальнему", к Альбатросам, к langsam Augen*, укоры нашей нежизненности. Все это было, было столько раз! Она — марксистка. С удовольствием пишу это слово — все это бурное движение, кипучие споры в журналах захватили даже меня. Точно всколыхнулось что-то, и вдруг выступила, зазвучала, загремела жизнь: ропот финского народца, студенческое движение,— а голод, голод! И сейчас мне понятно, что Мария Валентиновна, проглядывая мой перевод книги для Пантелеева, воскликнула: "Что это — свобода веры? Неужели же вы не знаете термина "свобода совести"? Не знаете таких насущных жизненных вещей, а восхищаетесь Бодлером и стараетесь доискаться смысла в ницшевских бреднях!"

* Остановившиеся глаза (*нем.*).

НИЦШЕ



очно неспроста на этом имени обрывается тетрадь. Отсюда все пошло по-иному. Ночным веянием пронеслось над нашими жизнями: die Welt ist tief* — мир глубок,— и возврата к плоскому скептицизму уже не было.

Бредни? Ну нет. Ницше — оселок. Им испытывается, кто какого духа, с кем нам по пути. Ницше для нас великий водораздел: другая земля, другие склоны, другие звери и люди стали нам встречаться по ту сторону.

Услышали мы о нем впервые от того же Нордгейма: у рояля, натирая канифолью смычок, он привел нам как-то несколько мыслей из Geburt der Tragödie**, которую переводил в то время его приятель. Всполошил голос, непохожий на все другие. Я пошла в немецкий книжный магазин, где никогда не бывала, принесла домой Заратустру. Маленькие странички, манерно обрамленные гирляндой; с сомнением листаем, выхватываем фразу там, здесь, и сразу, надолго, полновластно поселился он у нас — не книгой, а живым владыкой наших дум. Да я и вправду не уверена, что он не сиживал в нашем кабинетике на Собачьей площадке, что не его голосом произнесенными услышала я в первый раз эти изречения, многократно отмеченные в моем стареньком Заратустре — подчеркиванием, восклицательными знаками, звездочками на полях...

В лето первого нашего увлечения Ницше мы за границей, в Дрездене. Купили два тома его (он почему-то был запрещен весь, кроме Zarathustra***), на границе с волнением распластали каждая у себя на груди по толстому тому и так, с неимоверно выросшим бюстом, ввезли его. Золотой судакской осенью на балконе, прочтя первые острые страницы о “Кармен” Бизе, о Вагнере, не вникая в суть ницшевской тяжбы с Вагнером, с жаром принялись переводить. Это было время нашего обеднения и жажды заработка. Нам сразу посчастливилось: один рыночный издатель,

---

* Мир глубок (*нем.*)

** Рождение трагедии *(нем.)*.

*** Заратустра.

ловивший все ходкое, вплоть до порнографии, нюхом учуял, что Ницше "пойдет", взял наш перевод и заказал еще[2]. Мы засели за Götterdämmerung*. Мы беднели. Мы были счастливы. Идиллическая мечта сестры о "двух комнатках и клеенчатом диване" не сбылась, но все же из мраморной квартиры мы переехали в старинный дом на Собачьей площадке, где комнаты были теснее, с высокими порогами между и коридор с закоулочками. Сюда-то Ницше сразу вселился с нами. Портрет мальчиком (из биографии сестры) на письменном столе, портрет большой подальше на стене. Смущало немного его лицо, большущие усы, прусская военщина — не нравилось. Утешались тем, что чем-то напоминает папу,— в папу же мы обе сызмальства влюблены. Что-то польское в чертах. Ведь он и сам вел свой род от Ницких — поляков. И конечно, он не только немец — он непременно и славянин. Разве немец мог бы так все опрокинуть? С таким дерзновением?

Сколько ядовитых, веселивших нас слов о филистерстве ученых: "Так сидят они и вяжут чулки для духа", о моралистах, которые учат людей wachen um gut zu schlafen**: так, мол, бодрствуйте, чтоб потом хорошо спать,— в этом, а не в чем ином смысл морали. "Ах, и от духа становится мне иной раз тошно, как посмотрю я, что и чернь (Gesindel***) духовна!"

Мы радовались, мы кичились: ведь и мы так думали, и мы так чувствовали... Но дальше... Дальше он посягал на то, что казалось нам единственно священным, — на наше понятие красоты и отрешенности. И, будто разгадав нас, он насмешливо покачивал головой: "Да, друзья,и вас спугнет моя дикая мудрость, пожалуй, и вы покинете меня вслед за недругами моими. Хоть бы суметь мне приманить вас пастушьей свирелью, хоть бы мудрость моя, львица, научилась нежно рычать..." Ох и нежно, и сладостно же рычала его львица, даже и тогда, когда слова Заратустры метили прямо в нас, злостно пародировали нашу Шопенгауэрову, парнасскую отрешенность: "Нет ничего выше, как без желания глядеть на жизнь, не уподобляясь псу с висящим из пасти языком... Блаженствовать в созерцании, с отмершей волей, без похоти, без когтистой хватки, с телом, холодным, как остывшая зола, и только с лунной пьяностью в глазах. Непорочным познанием мира называю я то, что мне ничего от него не нужно — так вот только зеркалом стооким стлаться перед ним".

Послушным и восторженным юношей сам Ницше шел когда-то на поводу у этих учителей пессимизма, потому теперь и горечью обиды, и отвращением звучит его голос. Weissheit macht mude****— к усталости приводит мудрость — нет ничего, что бы стоило чего-нибудь,— ты не должен желать: "Нынче

* Сумерки богов *(нем.)*.
** Бодрствовать, чтобы хорошо спать *(нем.)*.
*** Сброд, чернь *(нем.)*.
****Мудрость утомляет *(нем.)*

уж и на базарных площадях увидишь прибитой эту новую скрижаль. Разбейте же, разбейте, братья мои, эту скрижаль! Усталые от жизни проповедники смерти прибили ее,— а также и (работорговец) ведь это вместе с тем и проповедь рабства".

"Но теперь-то уж Заратустра разгадал их — конец лунному блуду! — солнце встает — солнцевой любви к земле пришло время — невинности и жажда творчества в этой любви".

Но почему "невинность"? Невинно, непорочно только то познание, которое родит новое,— Ницше парадоксально перекувыркивает привычные понятия: в мире только зачатие может быть непорочным, только творчество. Однако и творчество его — это не то, что мы привыкли звать им. Красота? Красота лишь там, "где я всею волей волю", где "творящий готов погибнуть, чтобы образ не оставлять только образом". В интонации слов Ницше о красоте и творчестве слышится такое глубокое волнение, что мы, и не понимая, настороженно прислушиваемся, чтобы образ не оставался только образом. Но разве дальше прекрасного образа есть еще что-нибудь?

"В камне спит мое видение, всех видений моих высшее. Нужно же ему спать в таком твердом, в таком уродливом камне! И вот мой молот неистовствует против его тюрьмы. От камня брызжут осколки. Что мне до того? Довершить хочу я, ибо однажды мелькнула мне тень, нежнее, неуловимее всех вещей мира,— красота сверхчеловека тенью мелькнула мне..." И Заратустра прибавляет с печалью: "Вправду, друзья мои, я хожу среди людей, как среди человеческих осколков и разрозненных членов людских. Нынешний человек — только мост к будущему... Я же, Заратустра, я — угадчик, я — творец, заклинатель этого будущего, я — само это будущее и мост к нему, но — ах! — и калека-горбун на этом мосту..." Вот это признание делало его таким близким, таким жалостно-любимым. Калека-горбун! И всюду: едва лишь Заратустра взнесется до высшего пафоса — сейчас же вслед за этим взгрустнет, осмеет себя же. Был бы один только пафос, одни львиные ухватки — он не вошел бы нам в душу такой щемящей занозой.

Но полно, не сегодняшними ли глазами я читаю его? А ведь я затеяла воскресить Ницше 1900 года, Ницше нашей юности. Что нам было тогда до будущего? Мы вообще не чувствовали грозного потока времени. Доходили ли эти слова до нас? Не знаю. Вижу только все их густо подчеркнутыми, вспоминаю только, как сердце (говоря его же словами) поднималось до самой глотки при звуке этих именно немецких речений... А Ницше — разве сам он знал до конца смысл своего пафоса? Что несет в себе, что обещает сверхчеловек? Смутно, порой противоречиво его пророчествование. И все же — не раз, и не два, на все лады: "По-настоящему люблю я только землю детей моих, неоткрытою, в далеких морях лежащую, — ее искать шлю я свои паруса". Где речь о Kinderland*, всегда веет у него морской солью, надувается парус.

* Страна детства *(нем.)*.

Море, и паруса, и "золотое весло, которым на закате гребет и самый нищий рыбак",— ах, как близок был нам лиризм этих образов! А горные тропинки? Весь процесс познавания зашифрован им в ощущениях странника в горах: подъем, перевал, скольжение, висенье над бездной... Ногами своими, со страстью избегавшими судакские скалы, мы перекликались с этим опытом.

Но я захлебнулась, единым воздухом перелистав всю книгу. Нужно простить мне, простить нам: ему сто лет (через три-четыре года), мне шестьдесят (еще скорей), и мы, конечно, встретились в последний раз. Как же нам не кинуться с головой в воспоминания: еще это, вот это... Все бы помянуть: чем он когда-то одарил меня и чем я одарила его, взяв, сумев взять у него. С шестидесятилетним кокетством напоминаю ему: "О, одиночество всех дарящих! Немота всех святящих! Только вы, темные, жаждущие, только вы в тепло обращаете мой свет..." Не так ли?

Но он, ничем не отозвавшись (и в сто лет так же суров с женщиной — или застенчив?), замечает:

— Если уж говорить о дарах, то дар в том, что вы обе тогда не увидели в моих книгах ницшеанства.

Припоминаю:

— Ницшеанство?

— Да, да...

— Нет, не заметили.

— Ну, аморализма.

— Аморализма? Ах, это, должно быть, об этом: "...что добро и что зло — этого никто не знает, кроме одного только творящего... Тот, кто сотворит человеку его назначение и земле — ее смысл, тот и сотворит, чему быть добром и чему злом".

— Жестокости...

— Да, я знаю: werdet hart*. О великой любви к дальнему: "Ради нее не щади ближнего..." Еще сказано: "Мы первенцы, а первенцы всегда приносятся в жертву". И еще: "Творящие жестки, как алмаз".

— Безбожия, наконец...

Здесь мне, вероятно, следовало бы восславить его подвиг — убийство старого Бога, а я, покачав головой, как из забытого сна, вызываю сказанное им однажды: "Бог — великое дерзновение. Я же хочу, чтобы ваше дерзание не залетело далее того, куда досягает ваша творческая воля". Значит, пока не научимся, как боги, волить, творить, любить, о Боге — молчок? Der alte Gott ist todt** — понимай: старый почитатель Бога умер — придет новый. Так ведь?

И по-старомодному — это казалось нам тогда верхом тонкости — шепчу ему: "Wusstest du auch das schon?"*** Шепчу...

---

* Будьте тверды *(нем.)*.

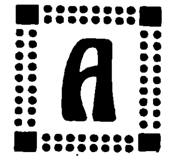
** Старый Бог умер *(нем.)*.

***Знаешь ли ты также об этом? *(нем.)*

Мы сошлись с ним сегодня в его горной пещере, в той, где он жил когда-то со своими зверями (звери давно истлели), куда он однажды зазвал к себе римского папу без тиары, королей без королевств, высшего человека — не помню уж, без чего... (Но ведь и мы с ним немножко папы, немножко короли, немножко высшие человеки...) Стою у входа: издавна знакомая картина — гряда лесистых кряжей, синеющих к горизонту, и таких же поросших лесом ущелий вглубь.

Но почему эти горные дали больше не манят, почему тускла чахлая их зелень? Почему встреча не радует? Я обегала ближние вершины, как серпом посрезала острия мыслей Заратустры, и вот они сушью парадоксов рассыпаются у меня в пальцах. Где она, та плещущая изменчивая зыбь, которая вынесла их на поверхность? А ведь именно не в отточенных мыслях-афоризмах, а в переплесках между ними, там, где дух снова приникает к своим почти бессловесным недрам, пьет из них, — там неповторимая значительность, там бродило этой единственной книги.

БОБРИЩЕВ-ПУШКИН



вгустовское знойное утро. Море не дохнёт. Стекло. Лежим на песке и смотрим, как скачут по нем солнечные иглы. Над нами — близоруко подняв книгу к глазам, черноволосый, чернобровый, вчера или немного раньше, чем вчера, незнакомый, непохожий на все наше, а сегодня — друг, вдохновитель. Читает "морем рокочущие" — meerdurchrauschende — страницы гейновской "Nordsee"*[1]. Так проводим мы третье утро, а всего-то мы в Судаке столько же дней: еще по дороге сюда нашего возницу обогнала коляска, оттуда окликнула нас дама, мало нам знакомая родственница отца. На полпути остановка — татарская кофейня: низкий потолок, засиженное мухами лубочное изображение Стамбула, чашечка сладкого с гущей кофея, запахи неподдельные, крымские — волнение души, заслышавшей родину. Здесь — знакомство; с нею муж и две дочери, старшая мне ровесница — нам по восемнадцати. Красивый, большой, в элегантном дорожном костюме, через очки сверху, посмеиваясь, смотрит: "Ну, будем знакомиться. Кто здесь поэт, сознавайтесь! Товарищ, руку!"

Мы-то знаем, слышали, что Бобрищев-Пушкин вовсе не поэт, а прокурор. Прокурор — это что-то чужое, мужское, о чем в кабинете... Но вот случилось иначе. Мы, никогда в жизни не встречавшие человека, влюбленного в поэзию, остро и ново толкующего ее, изумлены, упоены. Да и где были они, такие, в девяносто каком-то году?

Его забавляет сочность, гротеск гейновских образов: елью из лесов Норвегии, окунув ее в кратер Этны, писать на небе имя своей Lottchen... schwarze Sonne in meiner Brust... ** Ослепленная зноем, обернувшись к нему, я будто у него в груди вижу это черное, пышущее, мохнатое солнце. Ух, страшное!

Жара разморила нас, перебираемся в тень турецкой фелюги, выволоченной на песок, почти прижимаемся к ее высоким просмоленным бокам; запах смолы, черно вычерченная на

---

* Северное море *(нем.)*.

** Лотхен... черное солнце в моей груди *(нем.)*.

песке тень от мачты и рей внезапно больше говорят нам о море, о древнем море, чем само оно, сегодня такое остекленевшее, непахучее. "Талатта, талатта!" — повторяем восклицание Гейне. Бобрищев-Пушкин, сняв шляпу и вытирая потный лоб, говорит: "Заметьте, какое ликующее название для моря было у греков, а у более сухопутных римлян — а от них и у нас всех — опасливое, недоверчивое: mere — море, точно затаило оно угрозу, смерть, mors". Не филолог, нет, но щеголяет чувством языка, языков.

И главное — море незаметно привело нас к Греции, а здесь он неисчерпаем. Да, встреча с Бобрищевым-Пушкиным была так же первым нашим прикосновением к античности — правда, к традиционной античности пышных мифов, яркой телесности. Но ведь не это одно — еще сатирья полнота жизненных соков... А вечерняя грация "Римских элегий"[2]! К этой книжечке Александр Михайлович постоянно возвращался, перечитывал нам несколько строк:

... листаю творения древних
К делу привыкшей рукой — с новым восторгом всегда.
Ночи же все напролет Амуром я иначе занят,—
В два раза меньше учен, вдвое зато и счастлив.

И дальше про то, как Гете на спине возлюбленной высчитывал стопы гекзаметра... А то вдруг, хитро улыбнувшись, прикроет страничку своей большой красивой рукой: "Нет, Kinder*, это не про вас!" — это нам с Ниной, его дочери, а сестре — поэту, подсев к ней ближе, таинственно прочитывал все якобы рискованные места.

Он в то время точно впервые заметил свою подросшую дочь, залюбовался ею и ревниво отвоевывал у захвативших ее революционных веяний. Хорошенькая, его же типа, но измельчавшего, Нина, хмуря низкий лобик, упрямо повторяла писаревские наскоки на "чистое" искусство. Отец через нас хотел привлечь ее к тому, что сам страстно любил, но зажигал только нас, не побеждая дочернего сопротивления.

Отвлекшись от нашего молодого, не знавшего границ восхищения, стараюсь сейчас восстановить его образ в самом для него существенном.

Сколько-то столетнее дворянство. Порода. Над Окой заложенная-перезаложенная Егнышевка, по имени сидевшего там встарь разбойника Егныша. Много кровей смешалось: от бабки, кавказской княжны, пышен и черен волос, польская спесь от матери, есть и татарской сколько-нибудь. Смеясь, он преображался в фавна — брови выгибались крутой дугой, в сузившихся глазах, в смеющемся рту мелькало что-то дикое, лешье. Лешье — а затянул себя в прокурорский мундир, не пошел по более свободной дороге адвокатуры, хотя общность вкусов сближала

* Дети *(нем.)*.

его, уж конечно, с ними, с теми передовыми — Урусовым, Куперником, в те годы внедрявшими у нас европеизм, новаторство мысли. Общий с ними барский либерализм питался семейными традициями: дядья — известные декабристы.

В те годы реакции, когда вовсю шло наступление на новые суды, Бобрищевым-Пушкиным была написана книга в защиту суда присяжных, где без демагогии, одним подбором фактов он доказывал строгую, отнюдь не сентиментальную справедливость решений присяжных. Другая его книга была направлена против дел о совращении в сектантство.

Эта сторона его интересов тогда как бы и не существовала для нас. Мы так привыкли к тому, что ему всего ближе наши темы, что с сомнением смотрим, как он разговаривает с нашим соседом — юристом. Нет, у него совсем нескучающее лицо, и ни взгляда в нашу сторону... "Процессуальный порядок", "сенатское решение"... Мы вытеснены. У юриста жена, у Александра Михайловича жена, дамы заводят поодаль дамский разговор. Все стало, как везде бывает, больше не волшебно. Мы вытеснены. С детворой нашей и хорошенькими юристовыми девочками нехотя затеваем "кошки и мышки" на площадке у балкона. Но издали я замечаю, что А. М. так и не выпускает из рук маленький томик Мюссе, из которого он читал нам.

Утром заходим к ним в приморскую гостиницу — позвать Нину купаться. Встречаем Бобрищева-Пушкина в коридоре. Нет, сегодня он не хочет стихов. Стоит покачиваясь, рассеянный, с рукой, заложенной в книгу. Любопытствуем. Милль, логика Милля[3].Что такое Милль? Он многозначительно: "О!" Приносит книжечку дешевого издания "Автобиография Милля", побуждает нас прочесть. В тот же день мы с Ниной в саду под старой орешиной добросовестно принимаемся за чтение. Но едва мы доходим до того, что Милль в три года читал по-гречески, припадок безудержной молодой веселости валит нас вместе с книгой в густую траву. Лежим и беспричинно хохочем. Дремавший щенок — овчарка — принимает это за приглашение к игре, барахтается в траве, рычит, хватает книжку зубами. Мы еле спасли ее, но дальше уже не читали и так больше ничего и не узнали про этого господина с бачками, с наитрезвейшим наианглийским лицом.

А Александр Михайлович — он вдохновителен. В его комнате на столе разграфлены и полуисписаны листы: давно вынашиваемые им схемы человеческого мышления, типов его заблуждений и уклонов он сверяет с законами миллевской логики. С нетерпимостью преследует все скороспелые, штампованные суждения, которыми пестреет речь всех вокруг. Обычно шутливо-ласковый со своей хорошенькой и бесцветной женой, как же он зло высмеивает подслушанные у нее моральные сентенции!

Встречаем его возбужденно: "Вот вы вчера сказали... А мы думаем..." Он, подняв брови, смотрит на нас по очереди: "Мы? Кто это — мы? Мы — не думает. Мы — мычит".

В один из ближайших дней мы с сестрой приняли муже-

ственное решение провести день врозь с Пушкиным. Были именины у дальних соседок, и нужно было сделать традиционный каждогодний объезд всех судачан. Мы входили в дома, зажженные с в о и м весельем, говорили, не слушая ответов... Дома, вернувшись поздно вечером, у горящей лампы на веранде находим исписанный лист: "Мое милое Мы...", и дальше на трех страницах большого писчего листа ни одного слова, не начинающегося не с "М": "Миную ли, мимо идя, манящий мезонин — мирок моих мечтательниц? Мелькают миндали, мимозы машут, млеют мальвы, молчанье..." и т. д. И в конце нарастающий пафос: "Мысль — могучий монолог, м о н о с морям мерцает маяком. Мысль мчится мимо, мимо, минуя мглу монотонно мыкающих Мы..." Спотыкаясь, разбираем незнакомый еще почерк, радостно взволнованные тем, что он, может быть, часы провел с мыслью о нас, нанизывая нам забаву. Но и тревога неясная: ведь он вбивает между нами клин! Тут же Адя берет карандаш и начинает ответное послание: "Нет, никогда никому не нарушить накрепко натянутых нитей нашей, наших..." Ах, но что смастеришь с негативной этой буквой,— не, не, когда сердце бьет полноводно, всему— да! Да и правда ли: никому, никогда? Спускаемся с балкона в сад. Долина еще вся темна. Оранжевым черенком высовывается из-за Алчака убывающий месяц. Молчим. Но обе думаем, как полна жизнь, как многое сулит — и тревожное, и счастливое...

И как же тешило нас, когда мы в чем-нибудь чувствовали себя сильнее нашего нового друга. Мы завели его на самый мыс Алчака, не тропинкой — прямо по каменному хребту горы. Близорукий, он неуверенно переступает, останавливаясь, вытирает потный лоб, ворчит: "Варварство — такая растрата работы сердца!" Мы только смеемся, опьяненные горным ветерком, изумрудной глубиной, куда скатываются из-под ног камушки. Обещаем ему там, у края, лиловеющие мысы — видение архипелага, Греции. Ах, но ему ведь все равно не увидать их! Он берет красоту на ощупь. Любит сослаться на Гете: зрящей рукой осязаю. Природа ему: ноздрями вдыхать сырость вечерних лугов, врыться телом в обжигающий песок... А море? Борьба с волной, со стихией.

Он страстный пловец: в дни, когда море неспокойно, мы с берега, трепеща, следим за черной головой, то исчезающей, то поднимающейся не за ближней волной — за целой грядой их... Придет с купания весь влажный, подхлестнутый — фавн, не привычный наш, умный Александр Михайлович; зло издевается над девическим жеманством, что не соглашаемся купаться вместе...

Между утрами у моря и вечерами у нас на завитой виноградом террасе ходим, как в тумане. Дела не делаются, не пишутся письма, чемоданы с приезда стоят полуразобранные. Садовник приходит и добивается: "Как барыня приказала насчет катавалаков? и питомника? Отвезли тачанку в кузницу?" — "Да, да, катавалаки,— беспомощно переглядываемся: ведь нам что-то было поручено! —

да, питомник, завтра, непременно завтра пойдем посмотреть. А вот, пожалуйста, нельзя ли к вечеру собрать персиков? А груши какие поспели — бер? Мари-Луиз?"

Аделаида берется за перевод поэмы Леконт де Лиля — задание Александра Михайловича. Но дело не спорится. Задумывается, улыбается, нахмурится чему-то про себя. Я без дела слоняюсь мимо, мешаю ей. "Слушай, а как он вчера прочел Пушкина,— ты знала такого Пушкина?" Приношу истрепанный том, и мы обе, подперев головы, молча уставляемся глазами:

Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток.

Воспроизводим в памяти, в слухе вчерашние интонации: привычный такой, домашний Пушкин зазвучал вдруг непонятной нам мужской горечью, аккордом недобрых и манящих страстей...

Вечер. Со свечой в руках Бобрищев-Пушкин роется в нашем книжном шкафчике, где все вверх дном. О, вот что у них есть! Выволок несколько неразрезанных томиков Мопассана и со вкусом, мастерски стал читать, выбирая те рассказы, где Мопассан с особенным упоением обнажает пошлость жизни. В тот вечер он был зол, ревниво раздражен. Нина, возбужденная и радостная, поехала верхом со студентом, местным Дон-Жуаном, и, кажется, только наши помрачневшие от Мопассана лица развеселили его. Да, жизнь вся такова! Затем и поэзия, чтобы забыться, уйти... В другой раз он прочел нам Horlà. Захваченный близкой ему вещью, уже не щеголял произношением — читал просто и веско. Позднее мы узнали, что и у него бывают полосы сумасшедшей тоски — размахом не уже мопассановской,— тоже граничащей с душевным заболеванием. Тоска, от которой он спасается чувственным угаром. Ему душно в границах, которые он очертил вокруг себя. Если три крайние точки треугольника условно обозначить позитивизмом Милля, "Римскими элегиями" и Мопассаном, то в него целиком вместятся умственные интересы Бобрищева-Пушкина.

Мало? Бедно? Так я думала из позднейшей своей кичливой мистики. Но нынче, совсем издалека вглядываясь, оцениваю серьезность, скупую полноценность каждого его утверждения. Он-то уж не был "слов кощунственным творцом", как столь многие позже. Его всегдашний призыв: быть равным самому себе — не больше. Гордясь своей нелюбовью к обману, он каждой женщине, вовлекаемой им в игру, спешил прочесть свое стихотворение-манифест "Das Ewig — Weibliche" * — "Что мне лицо твое?" А в следующей строфе: "Что мне душа твоя?" Желанна не единственная, избранная, нет:

... пусть женский облик твой
Отбросит гордо личности оковы.

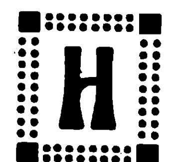
* Вечность — женственность *(нем.)*.

И тогда я, поэт, благоговейно склонюсь перед женственностью, воплощенной в “мраморе бедр”, в “блистанье плеч покатых”. Стихи были не Бог весть какие в дубоватой своей программности. Впрочем, не хуже обычных тогда журнальных стихов, но много ниже уровня его собственного тонкого понимания поэзии. А душевный холод их, верно, не раз ранил любивших его... Но эта сторона его жизни тогда едва угадывалась нами, возбуждая лишь полусознательное любопытство.

... Сентябрьским утром мы с Аделаидой на повороте шоссе. Прислушиваемся. Дальний топот копыт. Вот и коляска, и он в ней. Останавливается, соскакивает. Целует нам руки. Непривычно растроганно заглядывает каждой в глаза, дольше задерживает взгляд на сестре. Что-то говорим все трое... Шоссе запылило. Мы одни.

Чем он вошел в нашу жизнь? Не на один год — на многие дан был им импульс к совсем новому, пристальному вниканию в поэзию, к упоенному культу красоты, к парнасизму. Перешагнули через порог и навсегда оставили за собой серые будни тогдашней литературы. Но красота — только изысканность формы и не связана со смыслом жизни. И вот бесплодный скептицизм, и без того копошившийся в нас обеих, питается и растет воздействием того же Бобрищева-Пушкина.

ЗЕНГЕР



о история той осени здесь не кончилась. И продолжалась она непосредственно с того же перекрестка на шоссе. Возбуждение упало. Усталые, мы побрели к морю проведать Пушкиных. Как всегда, застали их на пляже. У Марьи Александровны, жены его, припухшие от расставанья глаза. "Жизнь Милля" сиротливо на песке. В стороне мы заметили незнакомую мужскую фигуру в какой-то заграничного вида шляпе. Уставился биноклем на зубчатые башни на скале. Нина шепчет: "Старый профессор... приехал ночью на пароходе с женой..." — "Маня! — окликнула Бобрищева-Пушкина младшую дочку немного ноющим голосом. — Ну что ты целое утро ничем не занимаешься. Милль в твои годы..." Профессор обернулся на эти слова (о, совсем не старый, красивый — с проседью, правда), и тень улыбки скользнула по губам. Поднялся (высокий, худощавый) и как-то очень легко пошел по сыпучим прибрежным пескам в сторону Генуэзской крепости. На другой день мы застали его не уходящим, а возвращающимся оттуда. Обменялся с нами взглядом и, подсев ближе, поделился впечатлениями, прочел из записной книжки списанную им латинскую надпись и перевел ее. Мы уже знали, что его фамилия — Зенгер и что он профессор Варшавского университета, латинист. В этот день и в следующие, подсаживаясь к нам, он всегда сразу, легко воодушевляясь, говорил на самые разнообразные темы. Наткнувшись в "Новом Времени" на критический выпад, произнес блестящую речь в защиту французского символизма. Всего чаще темой была история, остроумные и неожиданные исторические параллели: о героях древности, о любимом Цезаре рассказывал, как об интимных знакомцах. Однажды, припоминая все славные в истории прыжки, молодо вскочил на камень, вокруг которого плескался прибой и колыхались зеленые бороды. Казалось, он говорил так просто, и только после, вспоминая отдельные фразы, мы подмечали скрытые ораторские приемы. Нервно вздрагивали тонкие

брови. Серые глаза загорались на миг, но чаще смотрели не на нас, а куда-то поверх нас... Потом, изысканным, каким-то нерусским жестом приподняв шляпу, вставал и шел к жене, сидевшей дальше от моря, в тени акаций гостиничного садика.

Мы оставались восхищенные, но неутоленные: мы ведь не успели ответить, возразить... Дразнила безличность его обращения.

— Он, верно, даже не заметил, две ли мы или три...

— Нет, это правда нелепо: что ему делать одному целый день? Надо, чтоб он пришел вечером к нам в долину, там вот будем говорить по-настоящему...

Мысль зазвать его к нам захватила нас. Но как это сделать? Под каким предлогом? И как быть с женой?

— Вообще глупо, что он женат. Она как-то совсем ни к чему, — заметила Нина.

Они как раз спускались по лестнице, и мы с недоброжелательством посмотрели на ее высокую полную фигуру и неспешную походку. Обменялись с ней издали поклоном и ждали его. Он действительно подошел, но, не присаживаясь, сказал, что уговорил жену пройтись. Она долго болела и легко утомляется, а сегодня не жарко.

— А не скучает она здесь? — спросила сестра, вдруг раскаявшись в недобрых наших чувствах.

— Если и скучает, так разве по музыке. Она очень любит играть, а в гостинице и рояля нет...

Мы вскочили и стояли перед ним раскрасневшиеся: вот, вот! Одна подталкивала другую...

— Мы... у нас есть пианино... Мы были бы так рады... Совсем недалеко отсюда... Ваша жена играла бы, как у себя дома.

Он улыбался:

— Но может быть, это неудобно? Ваши родители...

— У нас нет родителей! — радостно воскликнула я. — То есть здесь нет.

Он опять улыбнулся:

— Я очень благодарен. Но не знаю, что скажет Елена Николаевна. Это от нее зависит.

— Можно ее сейчас попросить. — И мы бегом бросились к ней.

Она подняла на нас большие, какие-то далекие глаза. Она гораздо моложе, чем мы думали. И волос у нее много-много: массивной пепельной короной лежат на голове и тяжелят ее. После долгих уговоров Елена Николаевна как-то застенчиво согласилась, и в тот же вечер — они впервые у нас. Елена Николаевна играла очень хорошо, с благородной сдержанной силой. Зенгер стоял рядом и с блестящими глазами слушал. Когда она кончила, мы горячо и спешно поблагодарили ее, все такую же молчаливую, и потом, забыв о ней, окружили нашего профессора.

Мне памятен один день. В то утро мы читали Ибсена, до тех пор нам незнакомого. Это любимый писатель Зенгера, но с собой у него оказался только недавно вышедший "Маленький Эйольф". Тонкая сеть дождя закрывала посеревшее море и отодвинула вдаль прибрежные скалы. Мы пережидали дождь в гостинице на широкой террасе, и втроем с Ниной, сжавшись на маленьком диванчике, читали... Новый, небывший мир открывался и уводил, но уводил будто на родину. Вероятно, многие в те годы так встречались впервые с Ибсеном.

К вечеру совсем прояснело. Было особенно благоуханно и тихо в нашем саду. Пришли Зенгеры. Сидим на темнеющем балконе. Из комнаты — музыка.

— Ну что? — тихо спросил Григорий Эдуардович.

— Замечательно, замечательно!

— Но знаете что, — робко начала сестра, — гибель Маленького Эйольфа, и образ крысоловки, и эта могила на дне моря — все это так значительно, что перед этим бледнеет, разочаровывает конец — решение родителей делать добрые дела... Это так ненужно, так мало — их добро...

— Да, — согласился он, — страдание всегда неизмеримо больше, чем тот смысл, который ему хотят придать. И даже скажу: если бы оно, все мировое страдание, было оправдано этим, ему была бы поставлена запруда, и оно не исполнило бы своей миссии.

— Какой миссии? — чей-то тихий вопрос.

— Вам, юным, чистым, трудно понять вот хотя бы в этой вещи Ибсена, какое зло было в неукротимой похоти Риты, как она неизбежно погубила бы и мужа, и сына. И это только одно из проявлений зла... Стихийная, бесцельная жестокость и жестокость корыстная — этим пронизана вся жизнь. Человечество давно задохнулось бы от собственного зла, если бы поток страдания не уносил, не смывал его в бездну. История человечества учит нас тому, что именно после опустошительных войн, чумы, величайших бедствий наступает культурное цветение страны... Нужны бесконечные жертвы...

И снова широкие исторические картины. Мы слушали, завороженные.

Вдруг под самым балконом прогрохотали колеса и остановился экипаж. Негодующе мы оглянулись. Сестра, преодолевая досаду, встала навстречу гостье. Совсем молоденькая женщина, нарядная и неестественно худая, залепетала какие-то пустячки о том, что заехала на минутку на огонек, что все ее на пикнике и ей стало скучно и душно дома. Мы неприветливо молчали, и только Бобрищева-Пушкина скучно поддерживала скучный разговор. Гостья говорила о своей болезни:

— Ах, не все ли это равно, когда гибнут и должны гибнуть целые народы!

Вдруг она мучительно долго раскашлялась. Ей предложили войти в дом от вечерней сырости. Она только мотала головой:

— Ах, я теперь ничего не боюсь — я все равно умру скоро.

Это было сказано так легко, что мы все взглянули на нее.

— Не принято, кажется, так говорить. Но мне все равно. У меня туберкулез в третьей степени, и мне двадцать три года: все чахоточные умирают в эти годы.

Она говорила без умолку, все повторяя: "Мне все равно", но слова звучали как рыданье.

— Простите, — мягко заговорил Зенгер, — но никто так не заблуждается, как больные... Тут большая доля нервности...

Она опять отчаянно закашлялась и, приложив платок ко рту, торжествующе показала уж прямо ему — розовое пятно:

— Нервы? Нет, почему-то надо, чтобы больные не сознавали своего положения... Ну, а я не хочу быть слепой! Да и стоит ли жизнь того, чтобы так цепляться за нее? Вот только мальчик мой маленький — ему всего три года. Я уж отучаю его от себя. Ищу мужу моему такую жену, чтоб и мальчику было хорошо... Право, я не шучу. Он уж и ухаживает за ней — вот они и сегодня верхом...

Говоря все это с надрывом, взглядывая то на одного, то на другого, она вертела своей будто птичьей головкой, неправдоподобно худой в нелепо-нарядной шляпе. И все ответные слова вызывали в ней только раздражение:

— Нет, нет, не говорите, я все уж перепробовала, всюду ездила... Ах, я вас только расстроила — у вас, кажется, было весело. Пожалуйста, забудьте все, что я наговорила... Я сейчас уеду.

И, суетливо поправляя сползавшую с плеч накидку, она протягивала нам холодную, влажную руку...

Минуту спустя мы опять сидели одни вокруг стола, сдвинувшись ближе. Притихли, охваченные жалостью и стыдом. Таким острым вопросом встал этот жизненный факт... Мы искали взгляда Зенгера. Но он молчал в задумчивости. Елена Николаевна ушла в дом и сначала долго шуршала, перебирая ноты, потом заиграла что-то безысходно-скорбное, но вместе с тем неслыханно-человечное, почти говорящее с л о в о м.

— Что это?..Что это?..

Но Григорий Эдуардович поднял руку, призывая к молчанию. Кажется, в первый раз мы услышали Adagio из Шестой симфонии Чайковского, — все было в первый раз в тот вечер. Не дыша слушали мы и, когда и смолкло, все еще молчали.

Первым заговорил он:

— Вы видите, что и в искусстве все прекрасное рождено страданием...

— Ах, красота, искусство — это не то... — И я с решимостью отчаяния заговорила: — А в жизни это совсем не прекрасно, а только жалко. И зачем умирать такой молодой? И зачем ребенок будет без матери?

Зенгер радостно улыбнулся:

— Я ждал этого вопроса... Милые! Вы думаете, что я несостоятелен перед жизнью? Нет, я с ней считаюсь, с жизнью. Но что

мы знаем о каждом отдельном случае? Чем была бы жизнь вот этой бедной женщины и ее мужа без того жала страдания, которое точит ее? Вероятно, они прожили бы свой пустой светский век, ни над чем не задумавшись, а теперь это несчастье, конечно, пробудило их души. Говорить о других всегда трудно и ответственно. Но, правду говоря, много ли мы знаем о смысле даже собственной своей жизни? Кроту, роющему свой подземный ход, встреченные толстые корни кажутся нелепыми препятствиями и мешают ему, а если б он мог прозреть и подняться наверх, он понял бы, что эти препятствия дают жизнь могучему дереву. Надо уметь видеть, надо уметь выходить из своего слепого, подземного мира!

Я робко:

— Но ведь кроту это п р а в д а помеха, и ему не нужно дерево...

— Вот-вот! — почти восторженно воскликнул Григорий Эдуардович. — Ему не нужно дерево! У каждого свой мирок, и ему не нужен чужой мир, и все они только больно сталкиваются между собой. Но так ли это? Может быть, разрешение мировой трагедии в том, что нам н у ж н ы все другие миры так же, как наш собственный? И может быть, человечество против воли страданием влечется к осознанию этого? Может быть, впереди ждет нас совсем другое мирочувствие? Ибсен, о котором мы с вами сегодня говорили, называл это "третьим царством", верил в приход его. Надо только расстаться с иллюзией изначального добра, бесстрашно посмотреть вокруг себя... Я мог бы сказать о себе словами Ибсена: "Я крайний пессимист, поскольку не верю в благородство человеческой природы. Но я же и оптимист, потому что верю в неизбежное движение и творчество нового..."

Почти все сказанное Зенгером в тот вечер я привожу дословно, по записи, сделанной тогда же, может быть на другое утро, неустановившимся семнадцатилетним почерком. Речь лилась вдохновенно, перебиваемая лирическими восклицаниями: "Милые... верьте мне!.. Да разве же я..." Говорил не ученый, а пророк. То, что всегда казалось недвижным, будто тронулось с места, потекло... Дохнуло — временем. Дохнуло — музыкой. Будет то, чего никогда не было. Вот, вот это загорелось в тот вечер для нас впервые папоротниковым своим цветом. Цвет этот непрочен, осыпается мгновенно, если только он не рожден собственной волей, внутренним зовом. Он и забылся нами тотчас же, забылся на десятки лет, но, когда случалось ему вспыхнуть при новых, несхожих условиях, всегда оживал в памяти этот вечер на судакском балконе, завитом виноградом, и мысль удивленно обращалась к Зенгеру.

У меня нет ключа к его духовному миру. В то время мы, ни в чем не разбираясь, просто упивались его красноречием. Не знаю даже тем его научных работ, не знаю школы, к которой он принадлежал. Не знаю, в какой связи с его историческими или философскими концепциями стояла эта идея "третьего царства", в котором раскроются связи всех со всеми. По всей вероятности, она была у него оторвана от жизни, а в жизни он придер-

живался не столь дерзновенных взглядов. Помню, как однажды он утверждал необходимость религиозных форм для народа, для детей, хотя сам и перестал верить в личного Бога. Вероятно, именно такие компромиссные взгляды способствовали его возвышению. Через несколько лет после описываемой осени ему, тогда уже ректору Варшавского университета, удалось во время студенческих беспорядков, не прибегая к военной силе, одним вдохновенным словом утишить студенческую бурю. Эта несчастливая удача привлекла на Зенгера внимание правительства, и вскоре он был назначен министром просвещения. Пробыл он на этом посту очень недолго. Был ли он слишком хорош и благороден по тому времени, был ли просто слаб и несостоятелен? Витте так высказался о нем Суворину: "Человек необычайно увлекательный, поэт классицизма, но администратор никудышный" (Дневник Суворина). Потом — почетная ссылка в Государственный Совет. Не знаю даже, продолжал ли он свою научную работу, — у человека с таким определенным ораторским даром она ведь более всего питается общением с живой загорающейся аудиторией. Но все это было после, а сейчас вернусь к нашим крымским дням.

Шоссе поднимается, огибая лесистую гору, замыкающую нашу долину. Позади — широкий разлив осенних виноградников, а перед нами — пустынные холмы. Прощальная поездка в татарскую деревню Кутлак. Впереди в коляске дамы и дети, а позади — мы три и Григорий Эдуардович, на линейке. С описанного вечера прошли еще дни, и между нами установилась большая простота. А это быстрое движение еще сближает нас. Говорим наперебой. Перевал, поворот, и нам открылось море, широко и печально. Мы замолчали. "Неужели это правда последний день?" — мелькнула мысль.

— Знаете что, вы нам скажите, что нам делать, как жить, чтоб было хорошо, — тихо сказала Нина.

Он ласково и мечтательно улыбнулся:

— Что делать? Я вас сейчас удивлю своим ответом: Поменьше думать о книгах и знании, не в них видеть смысл жизни, а в людях, в живых душах. Вот вы все мечтаете об учении, а задумывались ли вы над тем, действительно ли женщине нужно высшее образование, и не тщеславие ли толкает ее к нему?

О! Мы бурно возражаем.

— Позвольте... Рескин — вы не знаете его? — он как-то сказал: пошлость образованного человека не имеет себе равной. Простите мне грубость, но я именно это скажу об образованной женщине. Нет, область женщины — в сфере души, мужчине дорога ее мягкость, наивность, любовь, а эти качества так легко утрачиваются от того поверхностного знания, которое могут вам дать курсы.

— Да, это все для вас, для мужчин, а для нас, для женщин?

Он положил руку на руку бунтующей Нины:

— А ваша жизнь в нас. Милая, и разве это мало? Знать, что вами дышит человек, что вы спасение его, — я ведь говорю не об эгоистической любви, — вспомните Соню Мармеладову... Мечтательно: Сольвейг... Да, вы не знаете Сольвейг...

Тихо, проникновенно, укрощая наши протесты, он говорил о любви, жертвенной любви:

— Надо любить до боли...

И бунт сменялся в нас взволнованной разнеженностью, и Адя уж задавала лукавые вопросы:

— Так что, если вся жизнь уйдет в любовь — это ничего? Это не стыдно?

— Стыдно? Боже мой, это прекрасно!

А кто-то:

— Но мы все-таки еще не слишком умны?

Он переводил с одной на другую смеющийся взгляд:

— Нет, нет, не чересчур, не безнадежно. В вас во всех еще много этой милой наивности и женственной прелести...

Мы не заметили, как наш возница остановился посреди дороги у фонтана, где ждали нас остальные: вокруг домики с плоскими крышами, а над нами пустынные зубцы култакских скал.

— Как вы отстали, а пыль какая была, — сказала Бобрищева-Пушкина.

— Пыль?

Мы стояли перед ними, ничего не понимая, и, только встретившись с утомленными и недоумевающими глазами Елены Николаевны, встрепенулись. Старались потушить безмерность возбуждения. Зенгер говорил с дамами, сестра присоединилась к ним, мы с Ниной отошли, окруженные толпой ребятишек.

Григорий Эдуардович нагнал нас и, взяв руку Нины, вложил в нее пригоршню серебра:

— Раздайте им...

— Вы сами лучше.

— Нет, нет, именно вы — это дело женщин: обласкать, одарить...

И он не выпускал ее руки с монетками, горячо смотря на нее. Нина пылала.

Знакомый татарин, отделившись от группы стариков, сидевших перед мечетью, зазвал нас к себе, и вот мы все на низких тюфяках в прохладе татарской горницы, и уж вьется перед нами пар над чашечками кофея. Девочки с кирпичными косками, сидя на корточках, щупают наши платья и хихикают. Хозяин, прислушавшись к их болтовне, сказал, что дочка его зовет нас в сарай, где сложены груши и айва. Мы с Ниной радостно поднялись. Выйдя на двор, остановились.

— Слушай... Ты думаешь, это что? Нет, скажи... Он удивительный, правда? И потом, помнишь, как он взял меня за руку... Ты уверена, что он не смеется над нами?

— Нет, нет, ведь он сам волновался, он у ж а с н о волновался... Нина, он любит тебя!

— Ты с ума сошла! — Она опять вспыхнула до бровей. — И не меня, а вообще...

Мы, должно быть, давно стояли на пороге сарая, устланного грушами и золотистой айвой, и маленькая Айше, присев на земле, давно во все глаза смотрела на нас...

Что было потом? Мы поднимались по крутой узенькой лестнице на минарет, и Григорий Эдуардович протягивал нам по очереди сверху руку:

— Осторожней, ради Бога, держитесь за меня.

И там, наверху, на круглом балкончике, широким жестом обводя и море с бледно засеребрившейся дорожкой, и тихую землю, все дарил нам, все обещал...

Когда мы собрались ехать обратно, Елена Николаевна вдруг отделилась от своих спутниц, садившихся в экипаж, и тихо, но решительно сказала:

— Пожалуйста, поезжайте, я сяду с ними, — и подошла к нашей линейке.

Мы молча посторонились. Ах, зачем? Все было испорчено. В молчании поехали. Зенгер как-то вяло, ища слов, стал говорить о лунном свете, о влиянии его на душу, припомнил рассказ Мопассана. Все молчали. Разговор упал. Сестра умоляюще смотрела на нас.

— Просто не хочется верить, что уж завтра вы уезжаете, — робко обратилась она к Елене Николаевне. — И вдруг мы никогда, никогда не увидимся!

— Отчего никогда? — подхватил Зенгер. — Будем верить, что мы встретимся, но, может быть, при совсем других условиях. Вы все будете замужем...

— Я никогда не выйду замуж, — буркнула Нина и вся покраснела.

— Отчего?

Она не отвечала.

Опять выручая нас всех, сестра заговорила с деланным оживлением:

— Ужасно страшно выходить замуж, правда, Елена Николаевна?

Та серьезно кивнула головой:

— Да, страшно, потому что очень мало счастливых браков, почти нет.

— Да, но почему это, почему? — радовалась сестра. — И что надо сделать, в чем вина?

— Что сделать, вы спрашиваете? — заговорил Зенгер. — Прежде всего изменить систему воспитания: знаете ли, что чуть не с десятилетнего возраста мальчикам внушается волчье отношение к женщине. — И он, не обходя рискованных подробностей, стал описывать разврат, царивший в кадетском корпусе, где он воспитывался.

— Но как же, как же жить тогда?! — воскликнула почти что с отчаянием Нина.

Елена Николаевна засмеялась ее горячности и тихо сказала:

— Нужно, чтобы, кроме увлечения, была глубокая вера, уважение друг к другу.

Она взглянула на мужа, он на нее, и с минуту они помолчали. Потом Зенгер порывисто к нам:

— Вот мы говорили о темных сторонах жизни. Но чтоб вам не так страшно было глядеть в будущее, дайте мне рассказать о себе, о нас. — Он дотронулся до руки жены и просительно посмотрел на нее. — Знаете ли вы, что женщина любовью, всепрощением может совершенно переродить человека...

И вопреки молчаливому протесту Елены Николаевны ("Ничего, они чистые, хорошие, они поймут так, как надо"), он с таким же воодушевлением и красочностью, как, бывало, описывал нам римлян, стал рассказывать о своей жизни, о своих падениях, быть может, приукрашая их в сторону зла. О первой жене своей, которую он сперва мучил изменами, а в конце концов толкнул на такой же путь разврата. Она умерла.

— И вот пять лет назад... Нет, больше — ведь целый год я не решался сделать этот шаг, вовлечь ее, чистую, в мою темную орбиту... Помнишь, как я изо дня в день приходил и сидел, и слушал твою игру?

Против воли захваченная воспоминаниями:

— Да, сидел в углу, за роялем, на круглом диванчике.

— И вот, на первое мое нерешительное слово — ведь она мне в дочери годится! — она не колеблясь ответила согласием.

— Какие же колебания? Ведь я была уверена в себе.

— Вот, вот, — торжествующе воскликнул Зенгер. — Вы слышите — "я была уверена в себе"! Вот эти слова в устах женщины отгоняют всех демонов. Уверенность в себе — цельность. С тех пор вся моя жизнь изменилась, — о, конечно, основа осталась та же, и нередко вожделение по-прежнему охватывает меня, но всегда вовремя, нежной рукой она останавливает меня, спасает меня.

Он говорил "она", как будто обращаясь к нам, сейчас они оба, переживая свое прошлое, забыли о нас, очарованных, пристыженных девочках, — рука его лежала на ее, лицо ее (о правда же, молодое!) было омочено слезами. Лошади наши на вечернем холодке бежали быстрее, быстрее, дорога поворотами, зигзагами спускалась к залитой месяцем долине. Мы подъехали к гостинице. Было заранее условлено, что мы будем ужинать у Зенгер, и, пока он пошел хлопотать, Елена Николаевна позвала нас в свою комнату поправить волосы. Едва мы очутились в темноте, мы обступили ее: "Елена Николаевна, вы чудная! Ах, зачем мы не знали раньше, зачем вы не сказали нам, что вы такая!" Сестра обнимала ее: "Зачем вы не сказали нам, что вы такая молодая — ведь вы почти такая же, как мы. Ах, как стыдно!" "Вы сами милые, славные девочки", — она продолжала водить рукой по столу, ища спички, и голос ее улыбался в темноте и был таким

милым, этот голос, к которому мы никогда не прислушивались. Теперь все наше восхищение обратилось на нее, а его мы судили с молодой беспощадностью. Это были часы, дни такой неподдельной, глупой молодости, поэтому задерживаюсь на них с благодарностью, на них и на образах обоих Зенгер.

Ужин кончен. Ласково поблескивая глазами, Григорий Эдуардович напоследок чокается с нами. Выходим на террасу. Он припоминает строчки Лермонтова, любимого поэта, и свои латинские переводы из него. А месяц все так же полон и недвижим. От него холод и грусть. Зябко вздрагиваю, и Григорий Эдуардович кутает меня в свое пальто, другим приносит шали жены. Все последние дружеские слова сказаны, и сказаны в ответ тоном выше. Больше нечего... Сестра ему:

— Скажите нам еще одно на прощанье — вы это можете, Григорий Эдуардович, разгадайте нам, ч т о с нами будет, с каждой, в жизни.

Он не улыбнулся, не отрекся от приписанного ему дара. По очереди брал наши руки, но не смотрел на ладонь, просто держал в своей, вслушивался в нее, а глаза его, опять мечтательные и далекие, устремлены мимо, вдаль.

— Что будет? — Он держал руку Нины. (И как по-другому, чем там, в Кутлаке!) — Самая активная среди нас, воля, гордость. Моложе всех, да? А судьба определится скорее всех, очень скоро. Прямая и цельная натура, и жизнь ее будет такой же цельной. Возьмет себе счастье. Если и будет страданье, оно придет извне, не изнутри.

Улыбнулся:

— Вы думаете, что я ворожу, как цыганка? Может быть. Милые! Но ведь я же вас чувствую... Адя. О, в ней так явственно преобладает поэтический элемент, воображение, что не хитро быть пророком. Да, поэт. И жизнь видит сквозь ею созданную пелену. И все же будет страдать, всю жизнь страдать...

Всего труднее определить меня. Критическое отношение к людям и идеям, самостоятельность мышления (Нина, например, думает готовыми доктринами), и в то же время из всех трех наиболее склонна подчиняться влиянию — влиянию человека в целом, не идеям. Будет в жизни резкий переворот — повлияет встреча, человек...

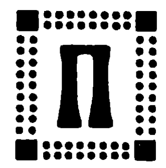
Все эти предсказания были записаны тогда же, и тетрадочка эта уцелела среди гибели стольких и лежит передо мною; как это ему, будто не слышавшему за собственным голосом н а ш и голоса, как ему удалось провидеть что-то существенное?

Скажу в двух словах, как судьба Нины подтвердила его гаданья. Прошел месяц с отъезда Зенгер. Глухая осень, задул северяк. Манит уж городская жизнь. Бобрищева-Пушкина болела, и муж, чтобы облегчить им переезд, прислал за ними студента, горняка Пальчинского, который был как-то с ним связан; помнится, рано осиротев, он был как бы под опекой Бобрищева-Пушкина. Накануне отъезда, укутанная в меха матери, Нина пришла с ним

к нам. Резко выдающийся волевой подбородок, твердость во взгляде. Под завывание ветра мы в тот вечер шутя занялись внушением, и Петр Иоакимович Пальчинский поразил нас, сразу подчиняя своей воле тех, на кого налагал руку. Нина была непривычно молчалива в тот вечер. Через месяц она написала мне, что выходит замуж. Потом его участие в студенческих беспорядках, ссылка, несколько лет их жизни в Сибири, потом долгая эмиграция. Встретилась я с нею впервые через восемнадцать лет нежданно в Ватикане. Прямо из галереи поехала к ним. Они жили оседло в Риме. Нужда и трудности были позади. Они жили культурной, деятельной жизнью в большом, счастливом согласии друг с другом. Еще годы прошли — лето 17-го. Он — товарищ министра, редактор геологического журнала, широкие замыслы. Дальше — бурные годы, теряю их из вида, и в 28-м году — весть о его расстреле. С нею я больше не встречалась[1].

А Зенгер? Было у нас еще несколько встреч: случайная — на Рижском взморье[2], в Петербурге — в годы его возвышения в министерской квартире, среди мебели с золочеными ножками. Попрежнему утонченная простота обращения, милая улыбка. Но значительного не возникало. Наши переходившие грани приятности литературные и философские тревоги, может быть, тяготили его. Знакомство не оборвалось — затерялось в песках... Как прошли над ними грозовые годы, дожил ли до них Григорий Эдуардович, узнал ли в них жестоких вестников своего чаемого Третьего Царства — не знаю.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ



ервая любовь. Лето 1900 года. Верчу в руках маленький паспорт с непривычной пометкой: "Ohne Religion"*. Я зашла на Арбат к уютным нашим тетушкам — у них иногда снимали комнату иностранцы, приезжавшие обучаться русскому, и вот только что они прописали молодого профессора — швейцарца. "Ohne Religion" — слова эти говорят мне сейчас не об атеизме, не о том, что мир безбожен, наоборот, вместо будничных загонов "православный", "римско-католик" мне вдруг привиделся человек лицом к лицу — без забрала — с огромностью космоса. Все это один миг — с паспортом в руках, сердце расширилось.

Нас познакомили на летнем Брестском вокзале. Подошедший поезд выбросил толпу дачников со снопами цветов. Вечерние газеты. Читаем о смерти Вл. Соловьева в Узком. Я не знала тогда ни строчки его, но, взволнованная смертью, путаясь, по-французски, рассказываю иностранцу о странностях нашего философа. Внимательный, вопрошающий, острый взгляд. Тонкие красивые черты. Очень молод. Нет, он не швейцарец, или не только. Мать австриячка, воспитывался в Англии, окончил Кембридж. Родина? Просто Европа, вся.

Родственницы, очарованные своим постояльцем, привезли его как-то к нам на дачу. Он экономист — чужое... Впрочем, с ним легко: у него английская непринужденность в обращении. И вместе — галльская живость. Водим его по Останкинскому парку, нащупываем темы. Французская поэзия? Модернизм? Нет. Вдруг — Ницше, античность — загорелось.

На сентябрь все мои уехали в Крым. Поступив на только что открывшиеся курсы, я осталась одна на городской квартире. Velleman тоже доживал последние недели в Москве. Пришел ко мне вместе с тетушками на другой день один, на другой — опять. Все значительные люди, встречавшиеся мне до сих пор, были насквозь скептиками, пессимистами, и так нова мне его ясная уверенность в смысле жизни и работы на общее благо — bien

* Без религии (*нем.*).

commun*. А от русского студента — идеалиста — отличает его внутренняя крепость, стальной скелет, ощутимый и под гибкостью и широтой суждений. И светлое чувство меры. То-то любовь к Греции!

В кармане его неизменная "Капитанская дочка" с подстрочником, и, когда в разговоре нашем что-то слишком значительное вспыхивает, пугая нас самих, он, улыбнувшись лукаво, примется читать. Старательно произносит, а я, глуша волнение, поправляю ошибки.

Гуляя, мы забрели в Кремль мимо облетавшего Александровского сада, — в Кремль, и мне вдруг ставшим заморским, сказочным, из "Царя Салтана", которого я вчера только читала ему, — и как мы смеялись веселой парности рифм, а я краснела, толкуя ему, что значит "царица понесла"... Но полно — близки ли мы внутренно? Мы утверждаем одно и то же, а стрелка указывает разные направления. Е г о безверие — подвиг, и стоило ему разрыва с любимым отцом — католиком. Мне, русской, оно далось даром и уж томит, — только вот сейчас, с ним, с Веллеманом, играет последним дерзким весельем. Ницше? Для него — это бунт против затхлости, узости университетских школяров, для меня — первые зарницы нового закона надо мной, беззаконной. Для него... Для меня... Но что в том — сегодня мы сливаемся. Рождение любви — у обоих первой.

В день отъезда, зайдя ко мне утром, Веллеман в волнении не садится, ходит по моему кабинетику, притрагивается к разбросанным книгам, гравюрам. Начинает говорить, обрывает... Остановился за плечом у меня, сидевшей в низком кресле, и на своем любимом, на языке души, почти без звука: "I love you, I love you... "** — и смотрит ждущим, радостно-уверенным взглядом. Молча, снизу смотрю на него в нестерпимом блаженстве.

Вечером среди других под осенним дождем провожала его на Брестском вокзале. Настойчиво вопрошающий взгляд. Сбивчивые слова: "Я напишу...", "Вы напишите...".

Потянувшиеся дни одиночества, жестоко преждевременного, минуты ужаса перед чем-то, сухие губы, горячечные глаза, — все это не обманней того мига счастья говорит мне, что — да, это любовь. Как незрячая брожу по дому, встречаю вернувшуюся семью, хожу на лекции, каждым нервом, каждым толчком пульса жду падения письма в ящик в передней. О, это ожидание, этот звук, затемненный извилинами мозга на все будущие тысячелетия! Упало. И сердце тоже... Идешь, замедляя шаги, — не то письмо. Всегда не то. Дни, недели — сколько их? И вот оно — через полтора месяца: большой лист, кругом исписанный нетерпеливой его, решительной рукой. Рукой, властно повернувшей наш роман по нерусской стезе, по иностранной, — с сыновьим

* Общественное благо (*фр.*).
** Я вас люблю, я вас люблю (*англ.*).

долгом, с нерушимостью слова. Читаю. Еще по дороге к Вене его встретила весть о железнодорожной катастрофе, при которой погиб его отец. Все это время он в разъездах. Мать, после похорон опасно заболевшая. Распутывание семейных дел. "Чтобы вы верно поняли меня, я должен ввести вас в некоторые детали, касающиеся меня и моей семьи. Мне придется теперь спуститься в низменные сферы жизни (into lower spheres)*, на годы и годы отказаться от творческой научной работы, и я больше не вправе рассчитывать на внимание с вашей стороны. Говорю это не потому, чтобы я считал свои страдания заслуживающими большего сочувствия, чем страдания миллионов вокруг меня, но исключительно для того, чтобы вы сохранили обо мне дружескую память и простили меня, если я обманул ваши ожидания".

О, как безнадежно... Он рисует образ отца, умного, талантливого изобретателя, но слепо приверженного католической церкви. Когда Velleman юношей отошел от религии, это поселило раздор между ними. Кому-то была выгодна их вражда — замешалась клевета. Отец-фанатик поверил, что сын, отойдя от церкви, способен на всяческую низость, и написал ему жестокое письмо, на которое Веллеман ответил негодующим протестом. На этом переписка оборвалась. Это было два года назад.

"Это вам объяснит, почему внезапная смерть отца была мне так невыразимо горька. Ведь наши последние слова друг к другу были полны озлобления. Его обезображенное лицо преследовало меня по ночам, не давая покоя. Все это, dearest friend**, касается моих личных чувств. Вы, пожалуй, найдете в них оттенок средневековья, может быть, это и так, но я ничего с этим не могу поделать. Но есть еще и другая сторона". Взяв на себя приведение в известность отцовских дел, он выяснил, что долги значительно превышают состояние. "Это на многие годы обречет меня на рабство: долги должны быть выплачены, а чтобы выплатить их, нужен жестокий труд — и не для человечества, не для себя, а для денег, которых занятия наукой не дадут. Такова, по-видимому, моя судьба на ближайшие годы: вместо светлых надежд, с которыми я покидал Москву, надвигается ночь, и ночь будет долгой, и темной, и одинокой, и беззвездной..." Суровой простоты письма, в котором не было ни красивых фраз, ни философских взлетов, я не прочувствовала. Не расслышала в нем и обращенного ко мне такого бережного и вместе с тем гордого вопроса. Он мало любит, если пишет обо "всем таком" и ничего — о нашей встрече... Говорилось встарь, что человеку на его пути многие предстоят испытания и что каждый испытывается по-разному, каждый — тем, что ему всего чужеродней... Перечитав сегодня это письмо, так никогда и не проникшее в мой слух, я вижу, что в нем мне было испытание простотой. И испытания этого я не одолела. А непреодоленное испытание отбрасывает человека

* В более низкие сферы (*англ.*).

** Самый дорогой друг (*англ.*).

назад, замыкает его в том свойстве, через которое он не смог перешагнуть. Меня — на долгие годы в непростоте. Но здесь я забегаю вперед.

Я ответила Веллеману письмом, в котором и нежности, и возвышенных мыслей хоть отбавляй, но не было одного, что ему было нужно.

Молчание. Молчание. Опять прислушивание к падающему письму. Вся жизнь — в полуяви. На вторичное мое письмо — открытка сквозь стиснутые зубы: "Dearest friend, я так занят..."

Крепче утвердилась мысль: "Он и не любит, и не любил".

Самоуверенности вообще у меня не было: я некрасива, в обществе не находчива, и всякий раз вызванное мною чувство меня удивляло и было мне неожиданно.

Безрадостно, пустынно тянутся зимние месяцы. И вдруг — немецкое, бисерным почерком письмо. Подпись смешная: "Зук". Читаю: сквозь дебри философской превыспренности, под аркадой имен из Канта, Фихте — дверь в рай. После пространных восхвалений друга, вернее, учителя своего, мой незнаемый корреспондент говорил: "Там, где я вижу два равно высоких существа, питаю я для друга своего больше надежд, чем он сам". Поэтому дерзаю сказать: Herr dr. Velleman любит вас в той же мере, в какой он чтит вас. Не встретив ответа с Вашей стороны, он со скорбью, но стоически отказался от надежды соединиться с Вами. Он замкнулся, он молчит. Но я твердо знаю, что и сейчас..." и т. д. Зук заверял меня, что Веллеман ничего не знает об этом письме и не узнает, если я соблаговолю ответить ему, Зуку. Он не мог поверить, чтобы женщина отвергла его прекрасного друга, он надеялся, что это недоразумение... Трогательная, геттингенская дружба, во имя которой этот юноша, трепеща, нарушал все правила немецкой благопристойности! Из всего этого я восприняла одно, блаженное: он любит. И в благосклонном моем ответе я великодушно разрешила показать мое письмо Веллеману, который и без того не может не знать, как велико мое чувство уважения, симпатии, дружбы... Мне казалось, что мой ответ очень горд и за него, и за меня и что мы и впрямь два Übermensch'a*, стоящие на разных концах Европы. И главное, мне хотелось дления сладостного "любит" и не хотелось того да-да, нет-нет, которого требовало нерусское, чуждое психологических ухищрений чувство Веллемана.

С лица моего еще не успела сойти улыбка счастья, как пришло — необычайно скоро — взбешенное письмо Веллемана, взбешенное, конечно, на не в меру усердного друга, за которого злыми словами он приносил извинения мне. Но холодным своим гневом оно ушибло м е н я. Все навсегда кончено...

Есть улицы в Москве, которые до сегодня окрашены для меня мыслью о Веллемане. С курсов, чтобы не идти домой, дольше не видеть своих, сворачивала на Поварскую, малолюдную, засажен-

---

* Сверхчеловек (*нем.*).

ную деревьями улицу; туда занесла семя своего несбывшегося и ходила потом на безрадостные встречи. Впрочем, не только безрадостные: молодая боль, что овес, весною посеянный в ящике, чуть не на глазах прорастает, нежно зеленеет.

Лето. Мы с сестрой в Швейцарии. Втихомолку задуманная ею поездка: часами сидела за переводом, копя нам деньги. Встретить нас в Берн приехал Веллеман. Вырвался на несколько часов. Он уже больше не профессорствует — забился в крошечный городок в Locle, где в колледже преподает по двенадцать часов в день, долбит что-то мальчишкам. Ночами подводит финансовые балансы своего кантона. Money-making*. Побывать вместе мы сможем только, если приедем туда, но смеет ли он звать нас в такое неинтересное место? О, конечно, мы приедем. И вот, наспех осмотрев все самое прославленное: зубчатки, ползущие среди елей, гремучие потоки, голубизну глетчеров, через две недели мы в Locle. Живут там только часовщики, тикают на каждом доме снаружи часы. Да еще огромный, на всю Швейцарию, коммерческий колледж. А он, Веллеман? Прошлогоднего юношеского облика нет. Этих как ни у кого сверкающих глаз. Весь поблекший. Приветлив, ровен, безличен. Оживляется только, говоря о подготовляемой им лекции самого демократического направления: égalité en matière d'impôt** — последний научный праздник, как он говорит. С материнской нежностью — ах, пусть хоть impôt, лишь бы светлел!

Раз мы зашли к нему. Смутили его. Крошечный cabinet d'études*** — с полу до потолка книги. Над столом неаполитанский барельеф — Вакх и запрокинувшая голову вакханка. Долго смотрю. Любимая им эллинская радость жизни! По стенам приколоты эскизы карандашом, сангиной — быстрой, смелой рукой набросанные портреты. Наш интерес к этой его, для нас неожиданной способности, оживил его, он вытащил запыленные папки. Ведь все это далеко в прошлом... Потом показывает семейные фотографии. Лукавая, давно забытая улыбка на губах. Сидя на двух фолиантах, у моих ног (чуть-чуть с иронией: "Офелия"), положил мне на колени фотографию молодой женщины. Я: "I like her"****. Кто это? И отложила. Деланное равнодушие. Он упорно снова придвигает фотографию и смотрит на меня: как смотрит?

Вечером сижу на открытом окне в маленьком салончике нашей гостиницы, он с папиросой рядом на стуле, Аделаида за пианино разбирает какие-то венские вальсы. Разговор мучительно вихляет, то подступив вплотную к жгучей точке, то снова отхлынув... Поздно. Адя встает. Я умоляющим взглядом возвра-

---

* Зарабатывание денег (*англ.*).

** Равенство в отношении налогов (*фр.*).

*** Кабинет для занятий (*фр.*).

**** Мне нравится она (*англ.*).

щаю ее к клавишам. И говорю, наконец, свое "люблю", таимое год. Он каменеет и потом голосом, звучащим издалека: "Поздно... поздно... Если б я и хотел, я не могу вам ответить. Я связан словом". И стремительно уходит. Всю ночь лежу с широко раскрытыми в темноту глазами: покой отречения, нет, вся боль раскаяния, нет, бунт: что это такое — связан? Что за рабство — связан!

,Утром рано он ворвался к нам. Какое перышко сдунуло с его черт этого вчерашнего Веллемана? Сдунуло весь этот год? Юный-юный, как в Москве. "Сегодня не будет колледжа, сегодня я весь день с вами — можно? Я не помню, что вы уедете". И я, сразу и без остатка счастливая: "Я не помню, что я уеду". Втроем идем гулять — идем во Францию. Четверть часа хоть бы — и граница, дружелюбно переговариваясь, друг против друга, на двух концах мостика швейцарский и французский часовые. Француз шутливо осматривает корзиночку с завтраком, взятым нами из отеля. Лесистая юра уступами, зелеными каскадами ниспадает, открывая к западу синеющие дали лугов, перелесков, вьющихся ручьев. Дальше островерхие колокольни, позвякивание дальних коров. Июльская тишь. Лежим на скошенном французском сене. Счастливая Франция!

На другой день: "Сегодня опять во Францию?" "Да, о да". Сестра мне: "Что с ним? Что с вами?" Молчу. Не говорим мы с ним больше ни о лекции его, ни о чем, что будет, пугливо сторонимся будущего, — о букашке, ползущей по стеблю, о воспоминаниях детства. Смеемся. Пробираемся в зарослях, не спешим, высвобождая один другого из цепких веток, без нужды переходим ручей, раз и другой раз, третий, протягивая друг другу руку. Не скажешь, конец ли, начало? Только вдруг его острый взгляд: о, захоти же! И недоуменно-тихо скажет: "Какая вы странная, какая..." Да, я не захотела бороться за него. Конечно, не ради английской девушки, с детства любившей его и в этот страшный для него год неизменной преданностью завоевавшей свое счастье. Да он и не нарушил бы, не мог бы нарушить слово "энгеджмент": не того он закала, но был бы весь восторг, вся мука борьбы за свою любовь. Мне же слаще "не помнить"... Так в призрачном блаженстве прожили мы до минуты расставания.

Поезд врывается — в который раз — в туннель. Грохочет в темноте. Сестра гладит мне руки, оглядываясь на сидящих в вагоне, гладит лицо.

— Скажи же что-нибудь, не молчи так. Ты бы задохнулась в этой швейцарской дыре.

Я:

— Да, да.

— Да не смотри такими страшными глазами. Мы каждый год будем приезжать сюда. Ты будешь его вдохновительницей... У тебя еще все-все в жизни будет — такое небывалое.

— Да, да...

Я слишком скоро изжила боль разлуки. Молодость ли? Значительность новой встречи? Годы искания своего пути? Но толь-

ко когда через два года мы всей семьей проводили лето в Швейцарии, я едва вспомнила, что здесь где-то Веллеман. Ни тогда, ни позже и не мелькнуло у меня сожаление, что я не соединилась с ним, что жизнь пошла иначе. Ведь на одной стороне — верность своей внутренней линии, связь с людьми одного со мной духа, с судьбой родины... Все полновесно. А на другой что? Зарождающаяся страсть, простое человеческое чувство, может быть и не имевшее будущего. Позже я переживала и любовь, и страдание, и восторг. Не неверна была жизнь, не незначительна. Так у каждого есть свой внутренне-логический путь, — с в о й, включающий и свои ошибки, повторности... Да, но ведь можно же взять ему наперерез, наперерез самому себе, ускоренно скачками — к правде, большей, чем своя. Сближение людей различных рас, разной намагниченности, разных духовных возрастов, отсюда сильное взаимное влечение, но и неизбежность борьбы, — все это как будто копило скрытую энергию.

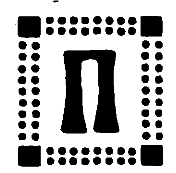
Но худо ли, хорошо ли — я не пошла наперерез себе.

Написав эти страницы, заново пережив прошлое, я неудержимо, упрямо, романтически захотела знать, жив ли Веллеман и что он. В наши дни найти человека в Европе — что песчинку на морском берегу! Но — непонятная удача — передо мной письмо, печатные рецензии. Из письма незнакомца к моим друзьям узнаю, что Веллеман жив, составил себе имя в научном мире, но не как экономист, а как лингвист. Воссоздал какой-то исчезнувший язык в Швейцарии, составил словарь его. Другие печатные труды. Последние годы специализировался на старинной испанской литературе, профессорствовал в Мадриде, где у него "роскошно обставленная квартира". Эту зиму пережидал войну в Женеве, а в настоящее время едет с какой-то научно-дипломатической миссией в испанскую Африку — в Испанию Франко.

Так. Вот одна из европейских кривых. И кажется, почти неизбежных. Здесь ставлю последнюю точку моей молодой любви.

Весна, 1938 г.

РОЖДЕНИЕ ПОЭТА



По-иному трагично и мучительно пережила любовь Аделаида. Но и по-иному плодотворно. Как бы оберегая муки души от слишком сестрина, по-молодому безжалостного взгляда, внешние условия разъединяли нас в эти два жестоких для нее года. Мы жили врозь: я в Москве, увлеченная курсами и новой дружбой, сестра — у подруги в Царском, где в одной школе читала ряд лекций по фольклору. Потом, проведя несколько недель дома, вся надломленная пережитым, ехала ранней весной к той же подруге на Украину. Лето тоже врозь. Съезжаясь, мы больше молчали о главном, но она читала у меня в глазах: если неверна, если несовершенна любовь, как можно мириться с нею? Неумная логика молодости.

В памяти у меня воспаленные от бессонницы веки, усталость в опадающей линии плеч. Что запомнила я в истории их отношений? Всего несколько счастливых дней крымской осени, когда давнее чувство восхищенной дружбы при новом свидании разом зажглось по-иному. А дальше — всегда беглые встречи, оскорбительно торопливое первое обладание, отвращение к психологическому углублению связавшего их чувства, к тому, что всего дороже ей. Раздраженное — уже на подъезде при расставании: "Почему у вас такое страдающее лицо? Ведь я же люблю вас". Опять разлука и чувство вины, что не сумела быть счастливой и, значит, дать счастье. Опять встреча — в благонравном семейном окружении, где ласки украдкой, в касании рук, в зовущем взгляде — быть может, самые ей сладостные. И встречи наедине в чужой и нестерпимой обстановке: в квартире врача — его старой любовницы, перешедшей на роль услужливого друга и сводни. Встречи опаляющие — так хотела она себя уверить, но всегдашняя ее зоркость тотчас обличала ей всю убогость их. В ней ли, в нем вина? Если он пришел к ней, пресыщенный долгой любовной практикой, то она несла за собою всю терпкость, всю безрадостность неверия в жизнь, неверия в себя. И ведь хотела бы поверить, ведь сладко было бы учиться этому у любимого! А языческий культ тела, исповедуемый ими когда-то пленявший — не самое ли это жалкое? La chair est triste* — вспомина-

* Плоть печальна (*фр.*).

ется желчная усмешка поэта. А в ее стихах по-иному, трогательно прозвучало это: "И станет жалко себя и друга"... Ужас одиночества с глазу на глаз с любимым, которому нечего больше дать, который ничего не умеет взять у нее. Может быть, и он страдал от этого.

В шуточной поэме пересмеивал он и себя, и ее:

Жил близ моря сатир козлоногий,
Двухкопытный, двуухий, двурогий.
И вот в его лесных зарослях
Поселилось непресное чудо:
Завелась там сирена морская
И томилась, по морю вздыхая.
Чуть проглянет заря — она плачет,
А сатир утешать ее скачет...

Но, несмотря на все его сатирьи приманки,

Его лес ей чужим оставался.

И вот сатир на плечах галантно поволок рыбохвостую подругу к морю, с камня на камень скок, все дальше, туда, где пенится бурун, и, захлебнувшись, потонул.

Так в басне. В жизни не так. Да и море, ее море, еще далече. Она и сама не укажет к нему пути. Мишура этих масок — сирены, сатира — нимало не скрашивала для нее безжалостности их любовных будней.

Но не только же это. Были и дни, сулившие полноту. Весна, курчавая немецкая весна, зеленеющие рощи и холмы. Аделаида и ее друг съехались в заграничном санатории. Покорно подчиняются лечебному распорядку, в свободные часы они вместе. Его все больше влечет литература, и здесь, вдали от петербургских служебных обязанностей, он с увлечением обрабатывает накопившиеся за долгие годы художественные заметки. И во всем ему нужна помощь и критика подруги, и все крепнет связь с нею, такой ему трудной и непривычной в другие часы. У сестры голос уверенней, задорней улыбка. Она пишет стихи:

Любви уж нет
Душа
        ...холодная,
        ...прозрачная
Опал.

(В тетрадке помечено: "попытка в духе Arno Holz[1]".)

Лукаво улыбаясь возлюбленному поверх стихов, обсуждает с ним правила vers-libre*. О, как могло бы...

Окончив курс лечения раньше него, сестра присоединилась к нашей семье, проводившей лето в Швейцарии.

Да, да, поздоровела. Сон лучше, не утомляется.

---

* Верлибр (*фр.*).

Спешила хвастнуть своими окрепшими силами, чтобы снять с него всегдашнюю укоризну родных. Не в пример другим семьям нашего круга, в нашей была большая терпимость в вопросах любви — не на идеологическом основании, просто от душевной деликатности, от беспечности, от нелюбви к морализму вообще. Но к другу сестры старшие таили в семье у нас глухую к нему неприязнь — за пренебрежительный его тон (за выражаемое им чувство превосходства), за страдающий вид Адин... Слушая ее рассказы, я размечталась: "Вы будете как Некрасов и Панаева — у вас будет свой журнал (жена неважно), литературный салон..." Сестра улыбалась грустнее. Уже погасла. Уже не верила. Вспоминала, как за табльдотом он оживленно склонялся к соседке слева — веселой и нарядной венгерке. И встревожило коротенькое, небрежно нацарапанное письмо его о том, что ему тяжко нездоровится, лихорадит... И я не видела лица ее (ушла на целый день в горы), когда она открывала телеграмму от их общего санаторного приятеля русского. Призыв немедленно приехать — ее другу очень плохо, неудачная операция. Через час она в поезде на север (властная причина не дала мне догнать ее, быть с нею). Ночью одинокое ожидание на грохочущей узловой станции немецкой. На рассвете в Дрездене. По знакомым улицам к спящему санаторию. Среди сада отдельные павильоны — помещения больных. Вот — его. Дверь не замкнута. В сером утреннем свете он в постели, перевязка сорвана, голова запрокинута, искаженные черты, на полу разбитый стакан. Он был один, сиделка отлучилась, он умирал один. Поняла ли Аделаида с первого взгляда? Не поняла? Зачем-то взяла в руки подсвечник со свечой, горевшей ненужным жидким огоньком, уронила его на пол и не услышала звука падения. Внезапная глухота. На нее пало все: первые разговоры с растерянно оправдывающейся администрацией: злокачественный нарыв, невозможность спасти, молниеносное заражение крови... Она, ничего не слыша, кивала головой. Ожидание и встреча жены, дочерей. После похорон она вернулась к нам. Она не безумствовала, в отчаянье не искала смерти. Была тиха, будто удивлена. Спасительная, обволакивавшая ее глухота понемногу оттаивала, отступала. В глаза, в уши проникал горный мир. Мы жили в уединенном <...> — день и ночь внизу, в ущелье, грохотал ручей. Поутру, прорывая клубящийся туман, перед окном качались иглистые ветви лиственницы, розовели вершины. Издалека — зазывный звон коровьих бубенцов. Мы много гуляли вдвоем, больше молча. Тело уставало от горных подъемов, чужая, непривычная красота уводила прочь от себя. Лето перевалило к осени — в горах стало холодно. Мы перекочевали на юг, в укромный уголок на озере Лугано. И сразу в глаза метнулись родные осенние краски юга: красный лист винограда, темень плюща, озерная синь — метнулись и разбили немоту. С нами больная, которую мы могли оставлять только по очереди. Аделаида уходила одна, бродила над озером и складывала бесхитростные строфы, в которых и мхи, и лианы перевивали мысль об умершем. Не бесхитростные стихи, а бесталанные.

Но стихи-целители. С таким чувством смотрю я сейчас на эту бедную бледную тетрадь. Точно бледная, выцветшая фотография в старом альбоме — только тень когда-то живых черт, живой боли и страсти.

Но как прозрачен в этой тетради творческий путь сестры. Такая жадная на новшества формы в беспечальные свои годы, когда она по очереди влюблялась в разные поэтические школы, теперь она равнодушно хватает первые попавшиеся банальнейшие эпитеты, метафоры. Многословно, ритмически убого изливается душа. Так и кажется, что эти тысячекратно повторявшиеся: "трепетная слеза", "строгое безмолвие вершин", "пламенное горе" — заключают в себе и общие места переживаний и рассуждений. И только терпеливо вглядевшись в это скучное стихотворение, видишь, что это не так, что авторское чувство жизни необычно, порой парадоксально и что оно, по правде говоря, вовсе и не выражено в этих стихах, а кое-как небрежно втиснуто в них и притоптано всеми этими лирическими штампами.

Еще в первых, наивно-любовных стихах звучат у нее не совсем обычные мотивы. Не укоризна, не жалобы — она жалеет е г о, не умеющего любить.

Не вы, а я люблю.
Не вы, а я богата.
Но — обману, но — разлюблю,
Чтоб боль блаженную утраты
Вам даровать...

Это лишь кажущаяся манерность — она вправду так чувствует: ей вправду боль реальней — и потому слаще обладания. Ее отношение к жизни никогда не просто, не цельно, оно всегда точно затуманено. Сознание раздвоено, расщеплено. Вот сама она терзаема любовной обидой:

А душа моя спит наяву
            И во сне.
И ропщет эта душа.
Ты неверный избрала мне путь!
Не давай мне уснуть.

Как характерны для поэта-символиста эти диалоги его со своей душой.

В борьбе между торжествующей жизнью и страданием Аделаида всегда на стороне страдания. Ей ревниво думается, что люди плохо горюют горе, не дают ему встать во всю мощь, ей бы укрыть его.

И всю ночь стеречь,
Чтобы горе от людей
Ночью хоть сберечь...

Подругу, бунтующую против страдания,

> Твое горе-недотрога
> ерошится,
> Словно еж щетиной,

она шутливо увещевает:

> ...Приручить бы
> Эту тварь лесную,
> Выманить из чащ дремучих,
> Лаской приголубить,
> Чтоб у ног твоих ложилась,
> Чтобы шерсть, блестя, крутилась
> Под твоей рукой...

Приманить, приручить страдание, наиграться с ним — это ли не мотив поэта Аделаиды Герцык?

Так с горем — так же и со смертью. Ее хрупкому, непрочному чувству жизни вторит столь же призрачное чувство смерти. Что это — смерть? Потеряв любимого, она мучается тем, что не находит образа, равного смерти, не умеет назвать ее, что сама смерть — зыбка, неокончательна, что он недоумер, как она — недожила, недолюбила. Все неосуществленно, все зыблется, и ничему нет покоя. Полутона, четверти тона, шестнадцатые — как выразить их привычными округлыми размерами, — не потому только, что она плохо владеет ими. Вернее, вовсе не владеет, у нее нет уха для них, нет руки для ковки их: ученически, рабски воспроизводит школьные образцы. Нудные анапесты, которыми привычно изливаться женским песням, разлапый амфибрахий, а больше всего — тощий ямб. Но вот постепенно, нагнетаемые внутренним переживанием, ритмы ломаются, выпадают слоги, не дозвучав, гаснут концы строчек... Появляется "полусафическая строфа" или подобие ее, такое характерное для нее в будущем,—

> Отчего, за что я люблю ее?

Она вся изранена. Перестройка формы идет не от прикосновения к искуснейшим мастерам стиха, нет. Ведь она уж давно пленена парнасцами, их скульптурностью, пытается переводить их. Рядом с их парчовой ризой на ней все то же старомодное, худо сшитое платьишко. Что далекие парнасцы! Уже вышли первые книги русских символистов, их изысканный стих вызывает в одних — смех, в других — восторженный интерес. Бальмонт, Брюсов — темы яростных споров. И в те годы многие примыкали к новой школе, сперва пленившись новизной формы, и лишь постепенно сквозь эту форму просачивались в них душевные оттенки и изломы, родившие ее. Что ж, и это путь. Но путь Аделаиды иной. Ей нужно было стать новой, чтобы стих стал новым. Вернее, не новой, а *собою* до конца, отбросив все условности — не поэтические только, а жизненные: как человек, как женщина с

бесстрашием заглянуть в свои глубины и полным голосом назвать их.

Я не знаю, муки нужны ли крестные,
Чтобы семя прозябло к жизни новой?—

спрашивает она. И вправду — нужны ли? В мое молодое время страдание было в чести. Верилось, что только через него путь. Радость жизни была под подозрением, казалась недостаточно глубокой. Теперь неизбежен перегиб в другую сторону: ненависть к страданию, презрение к нему укрепилось в современном сознании. Но самое противопоставление страдания счастливой полноте — верно ли оно? Страдание, острая душевная боль, наряду с исступлением страсти, героизма выводит человека за его естественные грани, понуждает на непосильное ему. Сделать то, чего не можешь сделать, — но это же вместе с тем и есть рождение нового, прорыв из сегодня в завтра. Счастье, как бы полно оно ни было, всегда заодно с чувством самосохранения, всегда бережет, охраняет форму, — не ему сверх предела напрячь личность, вздернуть ее на дыбы... Не им — или не только им — "семя прозябнет к жизни новой"...

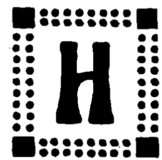
Нащупывая злачную почву, где бы семени не заглохнуть, а прорасти, Аделаида тянется к шири русской песни, — от своего прежнего безъязычья не к изысканности новых поэтов обращается, а к речевой стихии народа. Вначале делает это несмело, нескладно, мешая стили, но верно учуяв пути поэзии. В этом первые модернисты — Брюсов, Бальмонт, — сами чуждые народности, не могли быть ей учителями. Вячеслава же Иванова и Блока как поэтов еще не было. Наследие 80-х годов, бесплоднейший надсоновский язык вдруг наливается русским звуком, живым. Уже близко, вот, вот — ходит и плещет стихия.

Близко — а все еще что-то между.

Сосны зеленые,
Сосны несмелые!
Там, за песчаными
Дюнами белыми.
— Сосны, вы слышите?
Море колышется...

На этом кончается тетрадь. Она дошла. Она дойдет. Родился поэт.

ВЕРА



Не раз и не два это имя упоминалось в моей хронике. Да и было ли в нашей жизни хоть одно, самое ничтожное событие, в которое активным участником не входила она? С какой бы точки своего пути я ни обернулась на нее — везде я найду ее в самом сердце дней.

Но как же это началось? На завитой диким виноградом веранде. У нее толстая светлая коса, перекинутая через плечо. Светлая коса... Но зачем искать начало того, что живо и посейчас? Да и как достало бы у меня терпения последовательно перебирать всю вереницу лет, притворяясь незнающей, когда у меня на ладони в одном камушке — весь сноп лучей?

Полнота этого союза троих, длящегося сорок с лишним лет и пережившего многие другие наши связи, в том, что это не только дружба — любовный поединок, в который бросила нас самая несхожесть наших судеб, темпераментов, духовных типов. Поединок, в котором всегда она была нападающей и всегда уступающей. Из всех, с кем тесно свела нас жизнь, может быть, Вера одна была чужда декадентства. Совсем другой жизненный тонус. В ее юности, до нашей встречи, большие, полнокровные темы вдохновляли ее. Руссо с его призывом к природе... Одного сына она окрестила Валентином в ознаменование гетевской трагедии, которую с ошеломляющей силой пережила во время своей беременности. Имя другого — Вадим — память о первом русском революционере и о бунтарстве Лермонтова. И вот отсюда-то мы совлекли ее к крохоборчеству парнассизма, эстетства, мотивов для изысканных, усталых душ. Наша ли в этом вина? Таков был путь художественной мысли. На пороге века э т а скрипка вела мелодию. Великие — люди целостного жизнечувствия, как Гете, — призамолкли, не слышны были.

Никому так, как Вере, не были чужды ущербные тона сестриной лирики: “Как сладко не знать... как легко не быть...”, “Я только сестра всему живому...” — и никто с таким жаром, с таким самозабвением не выпестывал эту лирику. Это любовь. Это буйная жертва сильнейшего в любви. В своей неукротимой воле полнее слиться, отдаться, она бросала в наш костер свои, отличные от наших, вкусы и верования, чтобы напитать н а ш

огонь, чтоб всей своей силой утверждать, двигать нас в нашем направлении. Если с чем не мирилась она в нас, так это с безволием в жизни, грозила вмешаться, сказать ему то-то и то-то. Голос у нее громкий и властный, черты не по-женски суровы, и только мы знаем, как неисчерпаема ее нежность и как сладко укрощать эту бурю. Верно, и ей было сладко быть укрощаемой.

Нет, наш союз не обезличивал ее. Ее действенная любовь к людям, общественный темперамент, побуждавший ее всякую мысль, всякое чувство тотчас претворять в коллективное действие, — все это, принимая разные формы, всю жизнь жило рядом с нами. Первая наша встреча — это вместе с тем встреча с этим, чуждым нам духовным укладом. Познакомившись с Аделаидой у кого-то из судакских соседей, она на другой же день приехала к нам. Бесформенный халатик, очень худая, на голове мужское canotier*, почему-то смягчающее резкие черты ее молодого болезненного лица, и тяжелая светлая коса.

"Нет, в ы должны прийти ко мне, и поскорее. А сейчас я спешу домой с моря: вы видите, они засыпают". И бледной, никогда не загорающей рукой гладит коротко остриженные головки, с двух сторон прильнувшие к ней. Мать троих детей, меньшому год.

Мы застали ее одну, лежащей на диване среди старинных книжных шкафов — библиотека ее отца, у которого она гостила. В руках красная книжка "Вестника Европы". "Как хорошо, что вы пришли. Я только что читала статью Штевен[1] о сельских школах. Это замечательная женщина! Вы послушайте, что она пишет о своей новой системе..." И она зачитала нас этой ненужной нам замечательной женщиной. Но она, Вера, ни на что в нашей жизни не похожая, о н а нам нужна.

Проблема школы, проблема воспитания всю жизнь в центре ее внимания. Сама давно утратившая веру, она жаждала для своих детей того гармонического синтеза, которого недоставало ей. Страстное послание ее на эту тему мы через год (в 96-м) несли Толстому — с трепетом позвонили у деревянного крылечка в Хамовниках. Открыл сам Лев Николаевич, одетый для прогулки в пальто, в плоской суконной шапочке. Поколебался миг на пороге — не хотелось возвращаться. Спрятал письмо. "Вам куда идти? Может быть, пройдемся вместе, и вы расскажете о своей подруге". Мы долго шли бульварами — вверх до Новинского. В душе смущение и какой-то бесплодный восторг — Толстой! Для себя он нам не нужен — Толстой-учитель. Из всего, что он сказал, я запомнила только неодобрительное: "Почему же она заботится о религиозном воспитании своих детей, а не детей своего дворника?" Я опешила. Еще не угадывался, не предчувствовался смысл этого замечания... Но вскоре Вера получила очень горячее письмо от Марьи Львовны: она писала, что отец одобряет ее по-

* Соломенная шляпа (*фр.*).

становку вопроса и будет работать на эту тему. Позже длинно писал ей Чертков[2], излагая мысли Толстого. Письма эти в толстовском архиве. (Детская литература — тема, постоянно занимающая Веру. Она издала каталог лучших детских книг и в интересном предисловии боролась на два фронта: против слащаво-монархической продукции, с одной стороны, и, с другой, — против сухой трезвости народнических детских книг, провозглашая необходимость для детей сказки, фантастики, героики наряду с подлинно художественным и подлинно научным.)

Когда пришло время отдавать в школу детей, Вера перебрала все и все отвергла, что могли дать обе столицы. Книга Demoulin "L'éducation nouvelle"*, вся исчерченная, у нее в руках. Она пишет статью: взяв за основу идеи педагога-реформатора, но обрусив их, одухотворив, в форме рассказа о якобы реально существующей школе рисует свой идеал. Статья была напечатана в "Новом времени". В газету посыпались запросы, где находится эта школа. Одна женщина написала Вере, выразив желание осуществить ее замысел. Они съехались. Молодая еще, молчаливая и волевая, племянница писательниц Желиховской[3] и Блаватской[4], из семьи этих одаренных женщин, с тяжелым взглядом огромных серых глаз. Вера в упоении, отдает детей, вкладывает деньги, они обсуждают детали. С осени в Царском возникла "школа Левицкой" — кажется, первая в России совместного обучения мальчиков и девочек. На первом плане работы в саду и поле, экскурсии, спорт, художественное воспитание, мастерские; идеалист-англичанин в качестве воспитателя; по вечерам на английский лад у большого камина собирались дети и преподаватели, читались стихи, доклады. Вера поселилась в Царском и все силы, всю страсть отдавала школе. Наша глухая ревность к этому новому другу длилась недолго. Вера проездом у нас в Москве, вся сломленная борьбой, повторяет: "Лживая, темная..." Не помню сути их разногласия, но знаю, что антиобщественный дух Левицкой, склонность ее к потаенным путям оттолкнули Веру. Она продолжала материально поддерживать школу, дети ее учились, но сердце ее уж не здесь — это бедное, так жадно бросавшееся навстречу и так жестоко побиваемое.

Много лет спустя, пройдя сама долгую эволюцию, разочаровавшись в рационалистическом воспитании своих старших детей, она захвачена идеей создать школу, пронизанную евангельским духом любви и братства, истиной народной. Жизнь свела ее с Неплюевским братством — это как бы сектантское объединение, но внутри православия, со своей узостью сектантства плюс скованность обрядностью. Обнаружилось это не сразу — сперва пленил идеализм этих юношей — "братчиков", которые жили коммуной и по предписанию должны были не таить друг от друга ни одной мысли.

---

* Демулен "Новое воспитание" (*фр.*).

Старинный особняк на Остоженке[5]. Уют старого барства. Школа — имени Вл. Соловьева. К идейному участию привлечены эпигоны славянофильства: памятные москвичам фигуры из дворянских переулочков. Менее всего заметны в школе дети, как-то еще не до них. Перебои в уроках. Заходя в класс, Вера ласково проводит по головкам бездельничающих мальчуганов и, не дослушав вопросов, спешит куда-то... В доме, кроме Веры с семьей, живут двое братчиков, но здесь же она убедила поселиться и меня, и Бердяева с женою[6], с которыми была тогда особенно тесна моя дружба. В большом зале в два света за обедом и чаепитием сходилась странная компания: Бердяев сыпал парадоксами, развивал свои революционно-религиозные идеи. Мы смеялись там, где полагались постные лица. Гости его, мои, Верины — московский модернизм, мусагеты, антропософы запестрели в остоженском особняке. Братчики пугливо и осудительно молчали и потом бежали к батюшке-руководителю, пересказывая слышанное, ожидая директив... Химера — эта школа на Остоженке, как и многое, что возникало в те обреченные годы (это был 913-й).

Близость с нами и нашими друзьями была гибельна для общественных начинаний Веры. Но если бы нас не было — с кем слилась бы она? Не с прекраснодушными же неплюевцами или толстовцами. С атеистами-революционерами? Тоже нет. Кто был по пути ей, не ко времени пришедшей в мир? Обегаю мыслью разные исторические эпохи. Пожалуй, всего более люди Sturn und Drang — "бури и натиска", сочетавшие свободомыслие с высоким романтизмом, с культом любви и дружбы. Компания не плохая! Там бушевал и молодой Гете... А над ней стояли мои друзья и истязали ее: приемлете ли единственность Христа? приемлете ли троичность? И осуждающий приговор: рационалистка. Рационалистка! А в ней ходуном ходила стихия... Так каждое умственное поколение изобретает свое казнящее слово-ярлык.

Передо мною давнее письмо Аделаиды к Вере:

"Из твоего последнего письма ты смотришь на нас такая верная своему самому глубинному, свободная от всего наносного, и потому еще грустнее разгорается любовь к тебе... А вчера вечером мы были у Стевен, и, рассматривая старые альбомы, я напала на целый ряд твоих ранних карточек: девочкой с большими вопрошающими глазами, и растрепанной нигилисткой, и невестой, целомудренно-строгой, тоненькой, как березка, — и такая хлынула из души тоска и ласка к тебе, что я ушла на балкон, в темноту, чтобы скрыть волнение..."

Детство Веры в трагической — карамазовской — семье. Отец, братья, сестры — все с бурными страстями и воинствующим интеллектом. Девочкой она пламенно верила. Быть как христианские мученики! Босыми ногами по острым и раскаленным под солнцем комьям исхаживала судакский виноградник. А с какой

страстью любила море и древности сугдейские! На чердаке у слухового оконца с видом на горные дали поломанной мебелью отгородила себе келейку: мечтать, плакать, пламенеть... Под влиянием отца-шестидесятника, талантливого и речистого, рано утратила веру, и, как все в ней, ее атеизм проявлялся буйно.

В Симферополь, где она училась в гимназии, приехал Лесков, выступал публично. Она пошла к нему в гостиницу: хмуря пушистые молодые брови, спорила о вере. Обрюзгший старик — все еще зоркий художник — выслушал и предрек: "Вы кончите монастырем". Не монастырь, нет, хотя и впрямь она не раз стояла и стучалась — и отходила опять. Рано и неудачно вышла замуж — впрочем, они долго не расходились. Материнство смягчило, развязало все скованное: снова в мире Бог — "Бог Гете и философов" (помню в ее тетрадке молодым почерком переписанное это стихотворение в прозе Тургенева). Горячая вера в социальный прогресс и — как обратная сторона ее — нетерпимость к буржуазному окружению. Бунтуя, вдохновляя, жила в среде помещиков-земцев. Но душа тосковала по душам-сестрам. И вот, наконец, наш необычный союз втроем. Уже в том, что нас три, что каждая отражена вдвойне, что каждое слово рождает перекрестный отголосок — в этом залог, зерно более широкого братства. Сколько встреч на протяжении долгих лет, каждый раз отмечаемых новым духовным романом! Первый наш приезд к ней в Полтаву. Ходим по заснеженным улицам, она мимоходом знакомит нас с радикальными земцами, учительницами. Но это скользит мимо. Вечерами мы втроем на широкой тахте, перелистываем толстый том Гюйо[7] — «L'irreligion de l'avenir »*,— глаза горят, споря, восхищаясь, засиживаемся до полночи. Крупным своим почерком Вера пишет на книге: "Notre Bible"**. В ней все настойчивей жажда постичь последний смысл жизни, и в этом она находит отклик в нас. Перед расставаньем Вера подводит итог нам, нашему духовному росту, обрушивается на медленность его и сейчас же, забыв осуждение, умилена, восхищена нами. Волга бросила свое многоводье в тихие кольца Москва-реки, напоила их, утолилась сама, затихла.

Затихла ли? Потратив несколько лет на развязывание своего брака, устроив мужу женитьбу на другой женщине, более ему по плечу, она сама встретилась со своей злой судьбой. Если уж в нас она сталкивалась с чуждой ей упадочностью, то э т о т человек был воплощением больной, ущемленной, поздней души. Их любовь — это смена вспышек страсти и злобных разрывов — была жестока для обоих. Случится мне теперь прочесть о том, как мощный "витязь в тигровой шкуре" при одном виде возлюбленной или при разлуке с нею рухнет без памяти, — я не улыбнусь. Я в и д е л а, как страсть мгновенно сокрушает сильную духом... Это необычно в русской женщине, тем более в женщине с всегда

---

*Неверие в будущее (*фр.*).

** Наша Библия (*фр.*).

активной мыслью. Годы и годы метания. Муки любви, муки взаимного непонимания и борьбы с подросшими детьми, — ведь они той же, ее же породы, ее страстей... И наконец — трагическая гибель одного сына, потом другого. Где же смысл всего? Где Бог? Из глубины своего отчаяния, жадно вслушивалась в слова старца-епископа. Не здесь ли истина? Рука учится уставно креститься, душа — покорствовать. Но нет, нет. Опять бунт, опять свободолюбие уносит ее из мертвой заводи.

И что мы, тихие, тут могли? Когда ею овладевала боль оскорбленного материнства или страсти или негодование на неправду и она, как львица, грызла решетку, мы с сестрой утешали ее лаской, шептали ей о смерти строфами любимого поэта, и обезумевшая понемногу стихала. Утром выходит из своей комнаты с осунувшимся, но посветлевшим лицом. Отдых? Отречение? Не тут-то было — "восторг деланья" (Горький).

— Я решила: покончу с Петербургом, со всей этой суетой. Юрик (сын студент-филолог) проведет зиму в Афинах. А ты, Адя, ты должна взять у меня денег и на год поехать одна за границу. Только в одиночестве ты наконец найдешь себя, станешь писательницей...

— А Далик[8]? — успевает только вставить сестра.

— Далика ты дашь мне, ведь это главное условие моего спасения — иметь около себя эту крошку. Я буду жить с ним в Ольховом Роге. Близ него очистится моя душа для того дела, которое у нас с вами впереди, — религиозно-философский журнал.

В такие минуты сестра, теребя ее густые остриженные волосы, бурей стоящие над головой, называла ее "неистребимой Верой". Мы смеялись — все три. Новый труд — умерить, разговорить грандиозность ее планов.

У нас в доме в Судаке Вяч. Иванов и Минцлова[9] в угаре оккультизма. Оккультизм с его тайной, антиобщественностью — что может быть враждебней Вере! Сначала, подавляемая авторитетом Вячеслава Ивановича, она молчит, страдает, потом срывается: "Ведь это же обман! Как может быть духовным путем система тайн, умолчаний?" Обе стороны в споре переступают все границы, и дело чуть не доходит до полного разрыва. Потом, выплакавшись, Вера внезапно со страстью: "Хорошо! Я не скажу больше ни слова, но я умоляю, я требую: возьмите меня в ученики, я рабски, беспрекословно буду выполнять все — ставлю сроком два года... Но тогда — о, если и тогда я увижу, что это обман, — я буду кричать на весь мир!" Ее доходящее до безумия волнение смущает — ей обещают все, ее успокаивают, просят только отложить, окрепнуть... Действовать, действовать, сейчас же действовать!

А вот уж на осенней заре нашей Вера вся пронзена жалостью к прекрасной девушке-паралитику. Мучительное перебирание лечебных средств дает лишь крохи помощи и только бередит душу. И не нужно! Вырвать ее из всего житейского, прочь цепля-

нье за жизнь... "Знаете что? Я куплю участок под Сокол-горою, построим домик, она будет жить там одна с какой-нибудь преданной женщиной: перед глазами всегда бесконечность моря, закат, дали... Она станет святой, и вы увидите — к ней так и потянутся люди за помощью, за мудростью..." Мы, смеясь: "О Вера, разве на святость дают деньги, строят домики!"

Вера никого не сделала святым, она не стала учеником оккультизма, все ее замыслы — журналов, духовных братств — рушились и не возникнув. И все же в ее жизни было бесконечно много этих щедрых движений души, и сколько их, девушек, женщин, мужчин, кого она поддержала, окрылила или хоть взбудоражила, на краткий миг из будничной жизни вовлекла в свою, всегда мятежную.

И вот вечер ее. Смятенные судакские дни на переломе двух миров, 18 — 20-е годы. Все зыбко. Мы не знаем, чьи мы и что наше. Нас не трогают, не выгоняют еще из домов, но виноградники и огороды вытоптаны, обобраны. Земля не кормит больше. Она только призрачный фон для душ Чистилища, не отбрасывающих тени. Ни в прошлое, ни в будущее. Мы голодали. Самая хрупкая из нас, в эти дни Вера была самой стойкой. Раньше аскетически пренебрегавшая всем внешним, теперь она тщательнее других одевалась. Как красива эта белая, почти не сшитая ткань на ее исхудавших плечах! Приходила к нам через гору со снопом сорванных по дороге трав и колосьев — никто не умеет так подбирать эти медвяные тона — с книгой Экхарта в руках, звала нас на балкон. Читать? Я отговариваюсь голодом, тем, что не до того. "Ты увидишь, что сейчас же забудешь. Ну только попробуй". Или влекла нас, почти насильно волокла к морю, к своему, с детства любимому и теперь с новой силой обуявшему ее.

Не тогда ли было о ней сказано поэтом:

Как пламень в голубом стекле лампады,
В обворожительном плену прохлады,
Преображенной жизнию дыша,
Задумчиво горит твоя душа.

Но знаю, оттого твой взгляд так светел,
Что был твой путь страстной — огонь и пепел.
Тем строже ночь, чем ярче был закат.
И не о том ли сердцу говорят

Замедленность твоей усталой речи,
И эти опадающие плечи,
И эта — Боже, как она легка! —
Почти что невесомая рука.

(С. Парнок)

И вот настала разлука. Но и разлука не властна над волей ее любви. Как бы и не расставаясь, рука в руке, мы пережили смерть моей сестры[10], остались две. Вопреки всякому правдоподобию,

письма ее, мои из года в год пробиваются через заставы всех стран. Но союз наш жив не столько новыми вестями, как тем внутренним процессом, который, начавшись сорок лет назад, неуклонно и незримо растворяет одного в другом, переливает одного в другого.

И теперь, когда я пережила свою жизнь, вышла из нее, стряхнув ее с плеч, и помолодевшими глазами встретила преображающийся мир, я знаю, что я не одной собою, но и ею, Верой, приняла, услышала его. Жизнеутверждающая вера в братство людей — это ее вера той поры, когда я в первый раз увидела ее со светлой косой через плечо, — она, закалившись морозами сорока зим, она сегодня живей во мне всей моей пережитой жизни. И с нею вместе — и моя спутница тех дней и сегодняшних.

А она сама? С нахмуренной душой, с погасшим взглядом, отравленная одиночеством, неверием, скептически бормочет: "Да, но упадок духовности, но растущий материализм...". "Себя забывший Бог", "с е б я забывший", растративший, обнищавший, испепеливший себя на всех кострах и потому забывший и божественность судьбы человечества. Ах, великая любовь в конечном итоге всегда трагедия.

ЛЕВ ШЕСТОВ

Я — курсистка-первокурсница. Исправно хожу на лекции. Большая аудитория в два света, как бы с алтарным полукружием. В этом полукружии — кафедра. Один другого сменяют на ней один другого славнейший лектор. Старик Ключевский, слушать которого — художественное наслаждение, о чем бы он ни повел рассказ. Величаво-самодовольный Виноградов, позднее прославившийся либеральным выступлением, опалой и почетным приглашением в Оксфорд. Новгородцев — исполненный морального пафоса, внедряет в Москву кантовский идеализм. Старый краснобай Алексей Веселовский. И сколько их еще[1]... Красота, идеал, научный метод, истина — гудом стоит под высоким лепным плафоном. И все это мне ни к чему, все это, не захватывая колесиков, идет мимо моей трудной внутренней жизни... Дома лежит книга. Совсем неизвестного автора. Вот она мне — живой родник. Самое нужное — самыми простыми словами. О том, что наступает час, когда обличается внезапно, катастрофически лживость всего, что казалось незыблемым,— добро, осмысленность жизни, истина. Человек повисает над бездной... Все это показано на опыте Толстого и Ницше, подкреплено цитатами [2]. Человек повисает над бездной, и тут-то ему впервые открывается настоящее знание... На губах у меня горит вопрос: что же открывается? Какое знание? И ждать я не могу. Так Лев Шестов вошел в мою жизнь. Но где его найти? Просматривая январский номер “Мира искусства”, я вся встрепенулась: новая работа Шестова [3] — и на ту же тему. Пишу в редакцию, спрашиваю адрес. Ответ: Шварцман, Лев Исаакович, Киев, там-то. Шварцман? Ну что ж... “Какое странное письмо вы мне написали!” Так начиналось первое его в ответ на мое. “Кто вы? Есть ли у нас общие знакомые? Откуда вы узнали мой адрес?” Наивные вопросы безвестного литератора! Так завязалась наша долгая переписка. Каждый месяц, а то и чаще, мелко исписанные два листика. (Строчки, мелким почерком бегущие вверх.)* Из всего погибшего в 17-м году в

* Зачеркнуто. — *Ред.*

московской квартире мне всего больше щемит душу потеря тоненькой пачки шестовских писем того раннего периода. Не то чтобы они были мне дороже других — наоборот: потому что они всегда не удовлетворяли меня, я, досадливо прочитав и ответив, больше не возвращалась к ним и позже никогда не перечла их. Его книга кончалась так: "Добро изменило, истина изменила,— нужно искать Бога". И вот этого я и требовала от него в упор, в каждом моем нетерпеливом письме. А он в своих ответах — на попятную, топчется на месте, изменяет обещанию... Теперь я взглянула бы иначе на эти странички, не насыщавшие меня, когда я корыстно искала в них помощи себе...

В первый раз я увидела Шестова в 1903 году, в Швейцарии, в Интерлакене. Два года переписки — откровения я от него уж не жду! Но, свесившись из окна отеля, с волнением смотрю на дорогу от вокзала, по которой он придет. Как я его узнаю? Конечно, узнаю. Еврей? С опаской жду типичное московское адвокатское лицо: очень черный волос, бледный лоб. Но нет: он пришел, как из опаленной Иудейской земли,— темный загар, рыже-коричневая борода и такие же курчавящиеся над низким лбом волосы. Добрые и прекрасные глаза. Веки чуть приспущены, точно отгораживая от всего зримого. Позднее в своих бесчисленных разговорах с Шестовым я заметила, что для него не существуют искусства, воспринимаемые глазом: ни разу он не упомянул ни об одной картине. Доходчива до него только музыка да слово. Ему 38 лет — он и не кажется старше, но почему какая-то надломленность в нем? Полдня мы провели, гуляя, обедая, говоря без умолку — непринужденно, просто дружески.

Только так, только встретив наконец въяве давнего уже друга, поймешь, что не строем его идей решается выбор и даже не лицом, не внешностью, а голосом, тембром голоса. Вся навстречу первому звуку — так вот твоя душа!

Поразил меня его голос, хрипловатый, приглушенный, весь на одной ноте. Сразу пришло на ум сравнение: так скрежещет морской песок, когда волна прихлынет и отхлынет опять и тянет его по широкому взморью за собой, в глубину. Пленил этот его затягивающий в свою глубину голос. Тут же в наше первое свиданье он рассказал мне, что в юности со страстью пел, готовился на сцену и сорвал, потерял голос.

После нашей встречи в Швейцарии Шестов стал появляться в Москве, полюбился у нас в семье. Особенно дружескими взглядами обменивался с моей сестрой. Я говорю — взглядами, потому что разговаривали они мало. Так повелось у нас, что вопросницей, подательницей реплик была я, а сестра, плохо разбиравшая его невнятный говор, только ласково улыбалась ему. Миную годы*. К 906—7-му году приезды его участились, он живал в Москве по неделям и потом снова уединялся за границей. Мы не знали тогда, что здесь, в семье одного журналиста, растет гимназистик, сын Льва Исааковича. Этот такой чистый человек нес на совести сложную, не

---

* Зачеркнуто. — *Ред.*

вполне обычную ответственность, от которой, может быть, и гнулись его плечи, и глубокие морщины так рано старили его.

Нередко, приходя к нам вечером, он приводил с собой шестовцев, как мы с сестрою их прозвали. Молчаливый народ, неспаянный между собой, а с ним, с Шестовым, каждого порознь связывали какие-то вовсе не литературные нити.

Милее всех была мне Бутова [4], артистка Худ<ожественного> театра, высокая и худая, с лицом скитницы. Мы стали видаться и в отсутствии Льва Исааковича. Большая, убранная кустарными тканями комната с окнами на храм Спасителя. В шубке, крытой парчой, она тихо двигается, тихо говорит на очень низких нотах. От Худ<ожественного> т<еатра> культ Чехова. Потчует: "Возьмите крыжовенного — любимое Антона Павловича..." А культ Шестова? Кажется, от какой-то неисцелимой боли жизни да от жажды Бога, но в последней простоте, вне шумихи современного богоискательства. Слова скромны и просты, а внутри затаенное кипение. Зажигала в углу рубиновую лампадку. Была прозорлива на чужую боль. Глубоко трогал созданный ею образ юродивой в "Бесах" Достоевского. Когда в 22-м году после пятилетнего промежутка я попала в Москву, я узнала, что она умерла в революционные годы, что перед смертью пророчествовала в религиозном экстазе. Скитница обрела свой скит.

Но были и другого рода люди. Красивый еврей Лурье [5], преуспевающий коммерсант, но и философ немножко, в то время увлеченный "Многообразием религиозного опыта" Джемса, позднее им же изданного. Хмурый юноша Лундберг [6], производивший над собой злые эксперименты: проникнув в лепрозорий, ел с одной посуды с прокаженными, потом в течение месяцев симулировал немоту, терпя все вытекающие отсюда неудобства и унижения. Хорошенькая и полногрудая украинка Мирович [7], печатавшая в журналах декадентские пустячки. Вся — ходячий трагизм. Заметив заколотую на мне скромненькую брошку— якорь, значительно произнесла: "Вы не должны носить якорь — Вам к лицу безнадежность". Я уж готовилась услышать торжественное: "lasciate ogni..."* или как это в перефразе Шестова? Нет, Льву Исааковичу вкус не позволил бы призывать приятельницу к безнадежности! Да и не вкус один. В его отношении к близким ему людям ни тени позы или литературного учительства (в те годы это в диковинку), просто доброта и деловитая заботливость. Одного он выручал из тюрьмы и отправлял учиться к самым-то ортодоксальным немцам, ничуть не трагическим, другому — беспомощному писателю — сам тогда еще не известный никому, добывал издателя, помогал деньгами, разбирал семейные драмы. Все это без малейшей чувствительности. И сам он такой деловой, крепкими ногами стоящий на земле. Притронешься к его рукаву — добротность ткани напомнит о его бытовых корнях в киевском мануфактурном деле. Когда садится к столу, широким, хозяйским жестом придвинет к себе хлеб, масло,

* Оставь надежду *(ит.)*.

сыр... Сидит так сидит. Так не похоже на птичьи повадки иного поэта-философа: вот-вот вспорхнет... Во всем его облике — простота и в то же время монументальность. Не раз при взгляде на него мне думалось о Микеланджело, то ли о резце его, то ли о самом одиноком флорентийце. Неужели ни один скульптор так и не закрепил его в глине и мраморе?[8]

Шестов не заражен кружковщиной, как многие тогда. Смотрим с ним очередную лиловую книжку "Нового пути" (журнал мистиков-модернистов). Я со всем пылом пристрастия: "Только здесь сейчас и жизнь!" А он в ответ: "Так мы с вами думаем, а посмотрите: у "Нов<ого> пути" пять тысяч подписчиков, а у "Русского Богатства" — тридцать (цифры привожу примерно). Значит, другим-то нужно другое". Негодую. Довод от количества мне, конечно, не убедителен! Да, трезв он, но эта трезвость и эти его приятели в разных лагерях — не от глубокого ли равнодушия ко всему, что не сокровенная его тема? Как-то пригласили его в Москву прочесть отрывки из новой книги в литературно-художественном кружке. Он доверчиво приехал, не зная даже, кто устроители и какова публика. Я, внутренно морщась, сопровождала его в эти залы, устланные коврами, куда между двумя robберами заглядывают циники присяжные поверенные и сытые коммерсанты да шмыгают женщины в модных бесформенных мешках. Едва ли десять человек среди публики знали его книги и его идеи. Недаром один оппонент — пожилой bonvivant* — в конце прений заявил, что он совершенно согласен с докладчиком и тоже считает, что нужно срывать цветы удовольствия... Такой бедный, наивный, издалека-далека пришедший стоял Лев Исаакович. Но едва он начал читать — откуда эта мощь акцента и голос, вдруг зазвучавший глубоко и звучно. Слушая, я — уж не как младшая, а как старшая — думала: сколько же ты не взял от жизни, что было в ней твоего!

Я то и дело препираюсь с ним: вслух, про себя. Прекрасный стилист? Да, но так гладок его стиль, как накатанная дорога,— нигде не зацепишься мыслью. А что последняя книга "Апофеоз беспочвенности" написана афористически — так это только усталость. Нет больше единого порыва его первых книг — все рассыпалось... Афоризм — игра колющей рапиры или строгая игра кристалла своими гранями, но игра — разве это шестовское?

Над моими плутаньями в те годы стояло одно имя—Дионис. Боль и восторг, вера и потеря веры — все равно, все наваждение Диониса. Делюсь с Львом Исааковичем. Впустую. Глух. Его же психологический сыск меня больше не занимает.

И все же он мне ближе стольких. Проблематичность всего, эта бездна под ногами, ставшая привычным уютом, сокрушитель старых истин, превратившийся в доброго дядюшку! У Теодора Гофмана случались такие казусы. Да, да, это именно то слово: я взяла себе Шестова в духовные дядья — не в учителя, не в отцы,

* Бонвиван *(фр.)*.

против которых бунтуешь, от которых уходишь, а с дядей- добряком — es ist nicht so ernstlich*.

Пускаясь в опасные мистические авантюры, как-то надежнее, что за тобой, позади, утесом стоит Шестов, что, стало быть, твои дерзания веры крепки его сомнениями. Так молодой богохульник нет-нет да и вспомнит облегченно, что дома — старушка-мать, перебирая четки, спасает его пропащую душу...

В 909 году Аделаида, вышедшая замуж, жила за границей. Весною она написала мне: "Вчера мы вернулись из Фрейбурга, где провели два дня. Бродили, осматривая разные пансионы, Heim'ы, заходили далеко за город, где рощи едва зеленеют, все время шел маленький дождь, у нас не было зонтика, мы мокли. Красивый городок, и кругом мягкие холмы Шварцвальда. Почти недозволенная идиллия немецкого благополучия. А вечер мы провели у Шестова. Накануне Дмитрий[9] один прямо с вокзала пошел к нему, тот встретил его смущенно и сознался под страшной тайной, что у него семья. Он двенадцать лет женат на русской бывшей курсистке (теперь она доктор)[10], и у него две дочки одиннадцати и девяти лет. Он должен скрывать эту семью из-за отца, которому восемьдесят лет, и он не перенес бы такого удара, что она не еврейка, и потому до его смерти они решили жить за границей. Я видела и жену его — лет тридцати восьми, русское акушерское лицо, молчащая, но все знающая, что интересно ему (и о Мережковских, и о декадентах), гладко причесанная, с затвердело-розовым лицом. Девочки славные, светловолосые. Он ходит с ними в горы, учит их русскому, и, знаешь, странно,— ему очень подходит быть семьянином. Сам он мне показался каким-то стоячим. Помни же, что его брак т а й н а и, если это дойдет до Киева или его знакомых, он не простит". Так объяснилась загадка долголетнего житья Шестова за границей, почему-то никогда не связываемая мною с женщиной. И мы несколько лет честно берегли эту тайну. Вероятно, и не мы одни. Двенадцать лет назад? Значит, в 897 году. Позднее я узнала, что это было время глубочайшего отчаяния Льва Исааковича, его внутренней катастрофы. Он скитался один по Италии. В каком-то городке настигла его русская студенческая экскурсия. Разговорились в ресторане, и он, как прибывший ранее, в течение двух дней служил ей чичероне. Какая-то трагическая черта в его лице поразила курсистку-медичку, и, когда ее товарищи двинулись дальше, она осталась — сиделкой, поддержкой никому не известного молодого еврея. Вероятно, тогда она и вправду уберегла Льва Исааковича, но, м. б., и позже не раз ее спокойствие, трезвость, самоотвержение служили ему опорой. Вот какая была эта Анна Елеазаровна с затвердело-розовым лицом!

В том же году осенью и я побывала за границей. Я металась и внутренно и внешне. Пожив у сестры в Германии, вдруг сорвалась и решила вернуться домой морем, через Грецию (запоздалое

* Это не так серьезно *(нем.)*.

паломничество к Дионису!). Проезжая Швейцарией, заехала к Шестову, который жил теперь в Coppet, в двухэтажном домике, его приюте вплоть до войны. Жена его была где-то во Франции, получая последние докторские licences*. Внизу, в идеально чистой кухне, пожилая немка накрывала на стол. Лев Исаакович, отозвав меня в сторону, подробно объяснил мне, что они здороваются с ней за руку и обедает она с ними за одним столом. Через несколько часов в глубокой рассеянности объяснил мне все это вторично. Трогательна была эта забота о ближнем, продиравшаяся сквозь омертвелость души. Мне уж было не ново, что в последние годы спала та могучая творческая волна, которая в молодости вынесла его из тяжелого кризиса, но никогда я не видела его таким опустошенным. И я сидела против него нищая, скованная своим неизжитым личным. День тянулся бесконечно. Гуляли с румяными девочками. Говорили об ужасах реакции в России, — Шестов — морщась от боли, но не видя, не ища связи между этими внешними бедствиями и путями духа. Была еще сестра его, доктор философии, молодая и молчаливая[11]. Был зять-еврей, долго и мечтательно игравший нам вечером на рояле в маленьком салончике верхнего этажа. Потом все разошлись, а мы с Львом Исааковичем все сидели, и я не могла оторвать глаз от его выразительных пальцев, мучительно перебиравших страницы книги. С тоской спрашивала себя, спрашивала и его, будет ли ему еще пробужденье?

И вот на берегу того же Женевского озера мы опять встретились, и оба — другие.

Март и апрель 12-го года я прожила в Лозанне с братом, лечившимся у ушного специалиста. Брат — жених. Счастлив мыслью о своей черноокой красавице. Я — счастлива на иной лад. Насилие над своим сердцем, проталкивание себя в аскетическую религиозную щель, потом бунт, кидание из стороны в сторону и вдруг — под влажным весенним ветром — стряхнуть с себя, как прошлогодний лист, и бунт этот, и это насилие... Разлиться вширь— во всем угадывать новую значительность. Сидя в столовой за отдельным столиком, мы с братом смехом, веселой болтовней нарушаем чинность швейцарского обеденного часа.

Я списалась с Шестовым. Он приехал, вошел к нам в горном костюме, ноги в клетчатых гетрах, помолодевший, оживленный. Часа четыре проговорил, вопреки обыкновению делясь даже интимными переживаниями своими. А потом с такою же горячностью вникая в философские споры Москвы. Рассказал, что второй год с интересом читает средневековых мистиков, но больше всего Лютера, в котором нашел не пресного реформатора, а трагический дух, сродный Ницше, сродный ему. Мы стали видеться. От великой нежности к Шестову я даже читаю толстенный том: Денифль-католик — о Лютере. (К тому же я так счастлива, что мне все равно, что читать!) **

* Аттестаты *(фр.)*.

** Зачеркнуто. — *Ред.*

Мне особенно памятно, с каким подъемом в одну из встреч Шестов говорил об Ибсене, выделяя заветную его тему: страшнее всего, всего гибельней для человека отказаться от любимой женщины, предать ее ради долга, идеи. От женщины, то есть от жизни, что глубже смысла жизни. Указывал на перекличку этой темы у Ибсена через много десятилетий от его юношеских "Северных богатырей" и до самых последних драм "Габриэль Боркман" и "Когда мы мертвы"... Из этой мысли позднее (а может быть, тогда же) выросла статья Шестова об Ибсене.

За долгие годы моего знакомства с Шестовым я не знала ни об одном его увлечении женщиной. И все же мне думается, что в истоке его творческой жизни была катастрофа на путях любви. Может быть, страдание его было больше страданием вины, чем муками неосуществившегося чувства. Может быть, по пустынности своего духа он вообще не способен был к слиянию... Всякое может быть! Но в эту весну мне казалось, что какая-то волна живой боли и нежности растопила его мертвевшую душу. Не весть ли о смерти той девушки его юности, которая уже давно лишь наполовину числилась среди живых?

Весна была холодная. Яблоня, персик, вишня зацвели поздно, но как внезапно, пьяняще, белым дымом застилая все дали и близи. Мы с Шестовым шли меж горных складок тропинкой под сплошным белорозовым шатром. Помню его возбуждение. "Это я — скептик? — пересказав мне какую-то о себе критику.— Когда я только и твержу о великой надежде, о том, что именно гибнущий человек стоит на пороге открытия, что его дни — великие кануны..." Вернувшись с прогулки, мы обедали за общим табльдотом. Среди других блюд нам подали обычное во французской кухне pigeons*. Шестов отказался и ко мне со своей милой улыбкой: "Я не ем голубя". В тот период он зачитывался Библией. Весь был напитан ею. Раз даже пошел провожать меня на вокзал в Coppet с огромной книгой под мышкой (в его руках она казалась еврейским Пятикнижием), чтобы что-то дочитать. Это было в первый день Пасхи. Не столько от благочестия, как от переполнявшей меня радости, я поехала к заутрене в русскую церковь в Женеве. Заутреня, ночная литургия — ранним утром я заспешила домой к брату. Заехала на час в Coppet. Лев Исаакович обрадовался моему неожиданному раннему приходу. Уговаривал остаться и отправиться наконец по соседству в Ферней, в места Вольтера. Я отказывалась. Он поддразнивал, говоря, что я боюсь кощунства — Вольтер в такой день! И вдруг с внезапной серьезностью сказал, что недаром это соседство, что его, Шестова, дело — навсегда обличать Вольтерову мысль, ползучую, хихикающую... Так странно прозвучали эти слова у Шестова, обычно не склонного к символизации или к провозглашению какой-то *своей* задачи!

* Голуби (*фр.*).

В военные годы теснее сблизился в Москве маленький кружок друзей: Вяч. Иванов, Бердяев, Булгаков[12], Гершензон[13] и некоторые другие. Мы с сестрой были дружески связаны с каждым в отдельности. Маленький островок среди тревожно кативших волн народного бедствия. Это не значит, что внутри кружка царило благополучие и согласие. Нет, и в нем кипели и сталкивались те же противоречия, что и вовне... С 14-го года в Москве поселился и Шестов с семьей. С одними из этого кружка он был близок и раньше, сближение с другими было ему ново и увлекательно. И эти люди, порой спорившие друг с другом до остервенения, *все* сходились на симпатии к Шестову, на какой-то особенной бережности к нему.

Звонок, он в передней — и лица добреют. А сам он до страсти любил словесные турниры. Не спеша, всегда доброжелательно к противнику, развертывал свою аргументацию — точно спешить некуда, точно он в средневековом хедере и впереди годы, века, точно время не гонит... Зоркий на внутренние события души, ветра времени Лев Исаакович не слышал. И чем догматичней, чем противоположней ему самому собеседник — тем он ему милее, обещая долгий спор, долгий пир, обилие яств...

Нас с сестрой особенно тешило эстетически, когда сходились Шестов и Вяч. Иванов — лукавый, тонкий эллин и глубокий своей одной думой иудей. Мы похаживали вокруг, подзадоривали их, тушили возникавший где-нибудь в другом углу спор, чтобы все слушали этих двоих. И парадоксом казалось, что изменчивый, играющий Вяч. Иванов строит твердыни догматов, а Шестов, которому в одну бы ноту славить Всевышнего, вместо того все отрицает, подо все ведет подкоп. Впрочем, он этим на свой лад и славил.

Так долго безвестный, потому что он не принадлежал ни к одной литературной группе, шел всегда особнячком, в эти годы Шестов сразу приобрел имя: журналы ему открыты, выходит полное собрание сочинений, его читают... Он не скрывал своего наивного удовлетворения, а нас двух веселило питать эту маленькую слабость милого человека. “Лев Исаакович, когда вы можете прийти к нам? Есть такая девочка, то есть она уж писательница напечатанная, вот (подсовываем ему “Королевские размышления”, “Дым, дым...”) она умоляет познакомить ее с вами, вы сыграли огромную роль в ее жизни. Придете во вторник?” И вот мы их оставляем вдвоем, и Ася [14], часто мигая светлыми ресницами близоруких глаз, говорит ему что-то умное, острое, женственное.

Иногда наши дружеские сборища перекочевывали к Шестову в один из плющихинских переулков, где деревянные дома строены на манер скромных помещичьих. Просторно и домовито в столовой и еще какой-то комнате: только самое необходимое, без каких-либо эстетических потуг. Анна Елеазаровна у вместительного самовара. Но кабинет обставлен по-гелертерски. Раз я целый вечер под говор курящих, бегающих собеседников просидела в кожаном кресле Льва Исааковича, в кресле с строго рас-

считанным выгибом спинки, локотников; нажмешь рычажок — выдвинется пюпитр, другой — выскочит подножка для протянутых ног. Покоит. Не встать. Пожалуй, и не нафилософствуешь в таком кресле! Другие русские философы писали, присев на каком попало стуле, у Влад. Соловьева, кажется, и стула своего не было. Но Лев Исаакович вступил в барочный период творчества: обложен фолиантами, медленно и густо текут периоды, сдобренные латинскими цитатами,— из-за словесных фиоритур не сразу доищешься сути — не то что в простодушных его книгах — первенцах, где карты сразу на стол. Чем не барочная штука его статья "Вячеслав Великолепный"?[15] Ему пятьдесят лет. Мне кажется, он в первый раз в жизни почти счастлив, спокоен, вкушает мирные утехи мысли, дружества, признания...

Но разве справедливо было бы на этой странице оборвать рассказ о Шестове? Как-то зимою 16—17-го года мы снова собрались у него,— среди знакомых писательских лиц красивый тонкий юноша в военной форме. Сын. Сережа. Весь вечер я только и следила за влюбленными взглядами, которыми обменивались отец с сыном. И этот звонкий, срывающийся юношеский голос среди всех до скуки знакомых. Не знаю, что он говорил. Что-то смелое, прямое. Все равно — что. (Я с гордостью поглядывала на других: ни у кого из вас нет такого сына, такого звонкого, даром что пафос утверждения жизни ваш конек!) *

Дней через десять в нашем кружке телефонная тревога: один звонит другому, третьему, тот опять первому... В трубку невнятно, спотыкающимся от волнения голосом Гершензон нам: "Вы слышали? Да верно ли? Сережа Шестов... Кто сказал? Убит... А он — что?" Он — ничего. К нему телефона нет, да разве об этом позвонишь? Прислуга, открыв дверь в плющихинском особняке кому-то из друзей, сказала: "Лев Исааковича дома нету".— "Анна Елеазаровна?" — "И ее нету". Через день опять — нету. Мы с сестрой, мучаясь, писали ему письмо. Не знаю, сколько времени прошло, в один солнечный, по-весеннему каплющий день — он сам. В привычной своей плоской барашковой шапочке, и лицо— давно ставшее дорогим — все то же. Не потому ли, что скорбь уж провела раз навсегда все борозды — глубже нельзя, горше нельзя... Несколько простых слов о Сереже — о себе ничего,— а потом о другом, но, ах, с каким трудом ворочая ненужные камни идей.

Мы расстались в мае 17-го года. До осени. Накануне моего отъезда в Крым я ехала с ним в трамвае. Мы говорили. Хлынувшая солдатская волна разделила нас. Меня столкнули. Он остался и издали, кивнув мне из двинувшегося вагона, прокричал: "Мы договорим". Мы не договорили. Когда я через пять лет попала в Москву, он уж давно был за границей.

В следующие годы мы обменялись несколькими письмами.

---

* Зачеркнуто.—*Ред.*

Привожу почти без пропусков два последних, в которых настойчиво звучит его тема.

"14/V.26. Дорогая Евгения Казимировна. Попробую ответить на ваше письмо, хотя это и трудно. Agon eshatos kai* — великая и последняя борьба, вероятно, у Плотина[16] и была тем, о чем вы пишете. То есть прежде всего не борьбой с "другим" или с "другими", а борьбой с чем-то, что внедрилось в душу человека и хочет править им, то есть не хочет, а правит. Вы знаете, конечно, старика Целлера— историка древней философии. Он, говоря о Плотине, обмолвился (наверно, обмолвился, не нарочно сказал) такой фразой: Плотин потерял безусловное доверие к мышлению. Тысячу лет греки безусловно доверяли мышлению, и вдруг последний великий их философ потерял это доверие. А ведь он сам удивительный, несравненный мастер мышления! И никогда бы не решился и вопрос такой поставить: можно ли верить мышлению или нельзя? Ибо если бы он спросил, то должен был бы сказать себе, что не доверять мышлению нельзя, что у человека нет судьи, кроме его разума. И все-таки что-то, как он сам говорит, "толкнуло" его туда, в ту область, которая "по ту сторону разума и мышления" (тоже его слова). В том и есть его "великая и последняя борьба". Помните, как у апостола Павла, когда Бог послал Авраама в обетованную землю: "... и пошел Авраам, сам не зная куда". И Плотин, когда заподозрил разум и разумные пути, тоже пошел, не зная куда. Но какая огромная и напряженная борьба потребовалась, чтобы свалить разум. И какая борьба сейчас требуется, чтобы идти не туда, куда зовет разум, а идти на авось, не зная куда. Так что борьба, о которой идет речь, не с Римом, не с людьми, а, говоря словами Паскаля, с "наваждением"— enchantment **. Проснуться от кошмара, который называется "действительностью" и о которой Гегель сказал: "Was wirklich ist vernünftig"***. Не знаю, вразумительно ли говорю. Да и как вразумительно говорить обо всем этом... Я, как и прежде, в splendid isolation ****, и теперь, под старость, это, конечно, вещь не очень приятная. Все всегда бранят и сердятся. Пишите. Ваши письма большая, редкая радость. Жму вашу руку. Ваш Л. Ш.".

И через год.

"18.IV.27. Дорогая Е. К. Ваше письмо пришло сюда, когда меня здесь не было. Я ездил в Берлин — там у меня мать живет. Чтобы вернуть расходы по путешествию, прочел там две лекции "Влад. Соловьев и религиозная философия". Я здесь в течение зимы читал целый курс на эту тему (тоже по-русски в Сорбонне), а в Берлине пришлось рассказать это в сокращенном виде. Вот вам сразу несколько страничек из моей жизни. Я говорю Н. А.: "До чего мы с тобою пали — под старость профессорами сделались". Он со мной не соглашается, он даже гордится своим про-

---

* Последняя борьба *(с древнегреч.)*.

** Очарование *(англ.)*.

*** Что действительно разумно *(нем.)*.

**** Блестящая изоляция *(англ.)*.

фессорством. Но я — увы! — не могу гордиться. Разве можно профессорствовать о "земле обетованной". Помните, в послании к евреям (XI, 8): "...верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие; и пошел, не зная, куда идет". Об этом только и думать хочется. Хочется идти, и идешь, не зная, куда идешь. А когда пытаешься другим рассказать — на тебя смотрят такие недоумевающие и грустные глаза, что язык иной раз прилипает к гортани, и начинаешь завидовать В. Соловьеву, с которым только что спорил, и завидуешь именно в том, что он знал, куда идет. А потом опять о том же начинаешь и говорить, и писать. Недавно я об этом по-русски напечатал "Неистовые речи" (о Плотине). Нужно ли это кому — не знаю. Недавно встретил я одного молодого француза, который год назад вернулся из Китая. Он рассказал мне, что перевел на китайский язык почти всего Достоевского и что китайцы им зачитывались. А потом еще сообщил мне, что как приложение к Достоевскому выпустил мою книгу: "Les révélations de la mort"*. И что моя книга мгновенно раскупилась и очень китайцам подошла. Sans doute,— пояснил он мне,— ici on vous admire beaucoup, mais ici on se tient a l'écart de vous**, а китайцы так вот, мол, полностью приняли. Так что, как видите, мое место вот где — в Китае, и я, пожалуй, тоже выхожу евразийцем. Нужно бы вам написать о разных движениях в духовных областях — во Франции, Германии. Но я не очень могу следить за всем — времени мало и силы тратятся на другое. Мне, впрочем, кажется, что ничего особенно значительного не происходит. Работают много, очень много, но больше заняты практикой: зализывают раны, устраиваются наново. И в этом очень преуспевают. Даже в Германии — ей ведь труднее, чем другим странам. Люди ходят сытые, одетые, обутые — театры, кино, кафе переполнены. Лет через пять о войне, пожалуй, и совсем забудут".

Лет через пять у власти стал фашизм, и война при дверях. Плохим пророком был Шестов!

После этого письма — ничего. Молчание. Тын между ними и нами все выше, неприступней. Что письма — дыханию не передохнуть.

И вот кончилась жизнь. Не его еще, не моя. Жизнь наших отношений. Как всегда, едва повернешь последнюю страницу — жгучий укор себе: зачем так мало дала? так скупо?

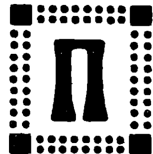
---

* Откровение смерти *(фр.)*.

** Несомненно, здесь вами восхищаются, но держатся от вас в стороне *(фр.)*.

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

1



о обыкновению я толковала ему “Кормчие звезды”[1] Вяч. Иванова, а он, затягиваясь папиросой, то ли дразня меня, то ли чтобы длить эти уютные часы, повторял: “Нет, не понимаю”.

А потом вдруг: “А вы знаете, что он теперь здесь? Они с осени поселились в Петербурге...”

На мое взволнованное: “Ах!” — “Хотите познакомиться с ним?” — “Но как?” — “Да хоть сейчас, сегодня... Нет, не поздно... Нет, они очень простые, милые”.

И вот в этот нежданный простой из простых вечер я с Жуковским[2], издателем философских книг, поехала на Таврическую. Перед дверью, на самом верху многоэтажной лестницы, я оробела. Мой спутник посмеивался: “Не хотите — не надо. Я думал, вы храбрая”.

Я позвонила.

Дверь открыл Вячеслав Иванов. В черной мягкой блузе, сутулый, в полумраке передней, освещенный со спины, сквозь пушистые кольца волос казался не то юношей, не то стариком. Так и осталось навсегда: какой-то поворот головы — и перед тобой старческая мудрость или стариковское брюзжание, и через миг — окрыленность юности. Никогда — зрелый возраст. Они были одни с Лидией Дмитриевной Зиновьевой-Аннибал[3]. Миновав длинную гостиную с геральдическими лилиями на обоях, сегодня полутемную, он ввел нас в соседнюю комнату, красно-коричневую, жарко натопленную.

И без нащупывающих праздных фраз — разом — о близком мне. В них обоих необычная радость и открытость новому человеку: не брат ли, не единомышленник ли пришел? Протянуть чашу, сердца настежь... И это не нарушалось старомодно-учтивым тоном Вячеслава Ивановича (гостиные старушки Европы) или учительским, когда он допрашивал меня о моих пристрастиях в эллинской культуре. Ничего от декадентского стиля в обоих: даже небрежно разрисованное лицо Лидии Дмитриевны, бровь, криво сбегающая над огневыми синими

глазами, и сколотый булавками красный хитон — скорее только знак дерзания, вызова общепринятой эстетике, только наивный манифест. И на стенах не изысканности Клингера или Бердслея, а простые образы стародавней красоты — камни Парфенона, фрески Сикстины. Трудно воспроизвести тонус, ярко почувствованный тридцать или больше лет назад. Лишь сейчас нащупываю, в чем было отличие Ивановых от всех людей нового искусства, которых я знала и которых не знала: все они (включая и до конца искренних, как Блок или Анненский),— все они, большие ли, мелкие ли, пронзены болью, с трещинкой через все существо, с чертой трагизма и пресыщенности. А эти двое — Вяч. Иванов и Зиновьева-Аннибал — счастливы своей внутренней полнотой, как не бывают счастливы русские люди, как не бывали тогда, с придушенными декабрьскими днями позади. Не первого десятилетия двадцатого века — пришельцами большого, героического казались они, современниками Бетховена, что ли. Я не хочу сказать, что им чужда была та рафинированность, которая связывала их с модернистским движением, нет, конечно. Но не этим определялся их духовный облик, не это в них доминировало. По крайней мере, в тот час большой творческой полноты, когда я узнала их. Полуденный час недолог. Но суметь хотя бы краткий срок так полно утверждать жизнь в духе и красоте роднит не с ущербным веком — с великими всех времен.

В этот первый вечер они слились для меня в одном нераздельном впечатлении. Но вот я начинаю воспринимать их и порознь. Через день Вяч. Ив<анов> пришел ко мне, к подруге моей, у которой я остановилась. Сидит в гостиной на ломком модном стулике, как на жердочке. Речь необычная по глубине и изысканности замечаний. Обаятельный, но и немножко смешной, несовременный облик в этом сюртуке со свисающими фалдами. Уж не дедушкином ли? Позже я привыкла к тому, что у них все дедушкино: и доха, в которой зимой выезжал зябкий Вяч. Ив<анов>, и обитая красным мебель, и старинное готическое кресло. Дедушка этот — отец Лидии Дмитриевны, доживал свой век у них в Женеве. И какой же уют давало призрачной “башне” все это дедово добро!

При дневном свете вижу почти ребяческую розовость лица Вяч. Иванова. Золотистая, клинышком бородка, золотистые космы волос — все мягко, только за очками безбровый взгляд остр и зелен. Но не тогда, когда читает стихи,— тогда затуманивается. Впервые слышу его чтение — певучее, чуть-чуть в нос, с католическим распевом. Стихи о солнце, о солнечности — одно, другое... Солнце — сердце. Сердце — солнце. Характерным для него жестом (иерейским) откидывает левую руку, ладонью к собеседнику.

От себя я возгораюсь,
Из себя я простираюсь
. . . .
Уподобься мне в распятье,
И гори, гори, гори!

Но как устоять в зените? Не неизбежен ли срыв? Сквозь слепящую лучистость и тогда уж до меня донесло ноту истомы и смуты...

В другой раз пришла ко мне Лидия Аннибал, сидела долго, немолчно говоря, и обо всем сразу: о детях, оставленных пока в Женеве, о своем прошлом и о новых, стремительно завязавшихся отношениях. Повесть о ее дерзкой молодости жадно запоминалась: забрав троих детей, она бежала от первого мужа за границу. С нею три девушки, не то прислуга, не то воспитанницы. Девушки не знали ни одного заграничного языка, садились вокруг нее на полу в итальянской отдельной комнате, пели русские песни. И среди них она — золотоволосая, жадная к жизни, щедрая. Такой она встретила узкоплечего немецкого школяра-мечтателя, втихомолку слагавшего странные стихи, и взяла его, повлекла, поволокла. И вот — поэт Вячеслав Иванов. Так постепенно вставало передо мной их прошлое. На столе ваза с апельсинами. Непривычное петербургское солнце, скользящее с ее золотящейся курчавой головы (оба одной масти), легло на них — на тяжелые, горячие. Лидия Дмитриевна, играя ножичком, глотает дольки и говорит, говорит... Не тогда — т е п е р ь только слышу за ее безудержными излияниями тревогу, не знающую, куда себя бросить. Отсюда и декадентские писания, рискованность ее жизненных выходок. Но как различны источники: у русского декадента чаще от опустошенности, от скудости крови, у нее — от разрывающего ее жизненного избытка.

Не зря я обмолвилась — "русским декадентом". И Ивановы русские — всеми кровями, ведь аннибаловская, смуглая, Пушкиным усыновлена Россия; Вячеслав Иванович — природный москвич, из кривеньких деревянных переулков. Но долгая эмиграция создала им другую предысторию, чем та, что была, скажем, у Белого и Брюсова. В блужданиях — в пространстве и во времени — по Европе, по Востоку до капли избыли они русскую сумеречность, порастеряли связи с хилой русской журналистикой 90-х годов. Что им до ругани, которой Буренин[4] встретил первых символистов? Но не в одних блужданиях дело — позади у Вяч. Иванова напряженно рабочая жизнь, закал труда,— ведь в молодости он, прирожденный лирик, больше был ученым и исследователем. Отсюда же, от долгой оторванности, и радость их русским встречам, родине, праздничное восприятие ее. Во всех стихах В. И. того периода о России, о Москве звучит нота возврата, свидания после разлуки, сладостная и немножко отчужденная:

Пособтарилось злато червонное,
Сердце сладко горит полоненное...
Вольное ль вновь приневолится
Сердце родимой темнице?

Как по-иному — глубже, ожесточенней — чувствовали в те годы свою землю, и любимую, и ненавидимую, Блок, Белый. Должно быть, нельзя безнаказанно сбросить с плеч бремя. Освободив

и окрылив В. И., эмиграция вместе с тем породила и пустоты в его творческом сознании. У него есть ряд стихов еще заграничных, связанных с японской войной,— бледные славянофильские перепевы, сладковатая водичка на осадке когда-то крепкого московского зелья. Почти так же ненужно и отвлеченно прозвучали и отклики на 905-й год, писанные им уже в России.

2

> ...В кругу безумных, томнооких
> Ты золотою встал главой.
> Слегка согбен, не стар, не молод,
> Весь — излученье тайных сил,
> О, скольких душ пронзенный холод
> Своим ты холодом пронзил!
>
> *(Блок)*

Искуситель для других — каким же он был искусителем для самого себя! Зазывание Вакха, потрясение тирсом для него не пустая игра. Свидетельство этому — его замечательный лирический цикл “Эрос”. Он вправду наколдовал себе виденье страшного и сладостного демона.

> Облик стройный у порога...
> Нет дыханья... света нет...
> Полуотрок, полуптица,
> Под бровями туч зарница
> Зыблет тусклый пересвет...

“Лирика не развлечение,— сказал как-то в более поздние годы Вяч. Иванов,— тот, кто испытывает лирическое волнение, знает, что оно иссушает все силы, преследует, испепеляет”. И вправду, каким опустошенным показался он мне, когда я увидела его через год после первого знакомства. Осеннее дерево с ободранной ветром листвой. Даже кольца волос не пушились, а жалостно липли к вискам. Лидия Дмитриевна лежала в больнице после операции. Среды отменены. Он скитался один по опустелым комнатам. Ухватился за меня. Не отрываясь читал мне все написанное им, читал “Ярь” Городецкого[4], тогда шумевшую в кругах модернистов,— новое кряжистое знамя символизма. “Нет, вы должны увидеть его”. И на другой день ко мне с каким-то поручением зашел длинноногий студент с близко-близко, по-птичьи сидящими глазами и чувственным ртом. Мы постояли среди комнаты друг против друга — на что мне этот паренек? — тронули одну тему, другую — я-то уж ему совсем ни на что! Но вечером пришел ко мне Вяч. Иванов и с взволнованным изумлением: “Знаете, что он сказал? Что вы похожи на меня, как сестра родная”. И вижу — уж заиграл хмель. “Сестра!” Я не видела между нами физического сходства, но вот эту беспреградность, как с кровно близким и в то же время странно волнующую, почувствовала с

первой встречи. Непонятны иногда родственные сближения. Помню, когда позднее познакомилась с В. И. моя мачеха, недавно потерявшая любимого мужа, она в слезах, взволнованная вышла из комнаты: так он напомнил ей моего отца — не чертами лица, а чем-то неисследимым — движением руки с папиросой, наклоном головы, ритмом дыхания... Вяч. Иванович нередко говорил мне, что я понимаю его с полуслова и до глубины, не мыслью, а инстинктом,— говорил это с умиленной благодарностью, а то и с гневом, потому что находил во мне только зеркальность, только двойника своего, а не ту другую силу, родную, но перечащую, о которую выпрямились бы прихотливо разбегающиеся волны его мысли. Я же теряла себя в нем.

"Где же вы, sorellina? * — с ласковым укором.— Что вы таете у меня лунным туманом?"

Не было у него для меня другого имени, как сестра, sorella. Так случайный этот, на миг зашедший ко мне Городецкий побратал нас накрепко и надолго. Зыбок круг нашего братства — разбивая и мутя его, временами врывалась и страсть, и чувственность, и вражда, но самая глубокая в нем нота была: сестра.

...и вот — Сестра.
Не знал я сестры светлоокой:
Но то была — Сестра.
. . . .
И нити клуб волокнистый —
Воздушней, чем может спрясти
Луна из мглы волокнистой,—
Дала и шепнула: "Прости!"
. . . .
В даль тихо плывущих чертогов
Уводит светлая нить —
Та нить, что у тайных порогов
Сестра мне дала хранить.

(*"Песни из Лабиринта"*)

Пусть это миф. А явь — как часто безобразна, жестока, слепа, жалка. Но правда — миф сердца, а не уплывающий бред дней.

Таков итог наших переменчивых на протяжении лет отношений. Но сперва шло радостное нарастание. В первый раз привести к нему сестру мою, глядеть, как он слушает ее стихи, слышать, как он толкует их, и в них — ее, и через нее — меня. От встречи до встречи открывать, что этот человек, для других непонятнейший и жуткий, мне — всех ближе, всех проще... Это было перед расставанием весною 907 года — недолгие горячие дни сближения нас четверых, Ивановых обоих и нас, сестер. Казалось, им опостылели декадентски-оргиастические вихри, крутившие на их средах. "Ох уж эти мне декаденты с Апраксина

---

* Сестричка, сестра (*ит.*)

рынка!" — мотая головой, говорила Зиновьева-Аннибал. Она обожглась, она устала. Повлеклись к работе. Затевали с осени издание журнала — художественно-философского органа символизма, отмежевываясь от эстетствующих "Весов". И "московские сестры" должны были участвовать и в творческой, и в технической работе. Нехотя отпускали нас: "Смотрите, не засиживайтесь в своем Крыму". Так мы расстались.

3

...На мокрой платформе под низко нависшим небом мы ждем. Медленно подплывает товарный вагон. И — гроб. В 20-х числах октября, вернувшись в Москву из Крыма, мы застали телеграмму Вячеслава Иванова о кончине Лидии Дмитриевны. Они проводили лето в деревне в Могилевской губернии. Осенью, заразившись скарлатиной, она сгорела в несколько дней. Через два дня мы в Петербурге. К Вяч. Ив. жмутся две очень белокурые девочки. Поодаль чинная и высокородная родня — Зиновьевы. Ближе, теснее, непритворно угнетенные лица — Блок, Кузмин[7], Чулков[8] и многие, которых не знаю. Сотрясаясь, как мальчик, рыдает Городецкий. На лицах: вот она сумела первая сбросить эту накрашенную личину. Я вспоминаю ее весеннее решительное: "Не хочу больше". А она была так счастлива в это лето. Родина, и снова дети с нею, и новый расцвет близости между нею и Вячеславом Ивановичем.

...все, чем сердце обманулось,
Улыбнулось сердцу вновь —
Небо, нива и любовь.

В тот же вечер, насильно зазвав к себе, Вячеслав Иванович читал последние страницы ее дневника. Весь трепеща, пересказывал ее последние слова (текстуально внесенные им позднее в ей посвященные канцоны), говорил о той близости, которую они испытали на краю, на обрыве, когда ее уж отрывало, относило от него...

"Как он переживает?" — с болью спрашивала я себя. И спрашиваю себя теперь: как пережил бы он, как преодолел бы — иначе ли? — не будь другой воли, в те дни овладевшей его волей. Анна Рудольфовна Минцлова[9]. Теософка, мистик, изнутри сотрясаемая хаосом душевных сил, она невесть откуда появлялась там, где назревала трагедия, грозила катастрофа. Летучей мышью бесшумно шмыгнет в дом, в ум, в сердце — и останется.

С копной тускло-рыжих волос, безвозрастная, грузная, с астматической одышкой, всегда в черном платье, пропитанном пряным запахом небывалых каких-то духов; а глаза, глаза! — близоруко-выпуклые, но когда загорались, то каким же алмазным режущим блеском. Незваная пришла к Вячеславу Иванову, своей

мягкой, всегда очень горячей рукой обхватила его руку, зашептала: “Она здесь, она близко, не надо отчаяния, она слышит, вы услышите...” Пришла и уж не ушла с башни. Поселилась. “Не грустите, sorella,— увещевал он меня,— не бунтуйте. Это будет не век. Но я должен, должен узнать все, что она может открыть мне. Теперь мне только нужен покой. Помогите же мне, отстраняйте все, что нарушает его...”

И то же шептала мне она, обдавая меня не по-людски горячим дыханием: “Вы ему ближе всех. Берегите этот драгоценный, этот хрупкий дух. Охраняйте его”.

Я то подчинялась, то бунтовала, бродила в потемках, ища правды для себя, для него, мучимая примесью лжи, которую внутренно изобличала. Но ведь богатство новых идей, новые прекрасные стихи налицо, ведь она не убивает в нем творчества... Живет затворником. Раньше всем гостеприимно открытая башня — за семью засовами. Посторонним, желающим видеть Вяч. Иванова, после долгих переговоров отмеряется час, вечер. Кузмин живет на башне в дальней комнате, неслышно приходит, уходит. Прозвище его l’abbé de la tour*. Иногда зайдет в гостиную, присядет к маленькой ветхой фисгармонии, наигрывает католические секстеты века — и исчезает (мушка на щеке, напудренная маска, огромность глаз) — на вечер нового искусства, в кабаре “Бродячей собаки”[10]... Тушится лампа. Зажигают свечи в бра на стенах — Вячеслав Иванович любит их теплый медовый свет,— Минцлова за роялью, и поток бетховенских сонат. Не соблюдая счета, ритма, перемахивая через трудности, но с огнем, с убедительностью. В. И. неслышно ходит взад и вперед по большому ковру, присаживается ко мне, шепотом делится поправкой в последнем сонете, на клочке бумаги пишет опьяняющие меня слова... В третьем часу ночи я ухожу; длинная гулкая лестница, с чувством неловкости звоню к важному барственному швейцару (“Как такому на чай?”). Наконец на пустынной улице. Вздох облегчения. Пешком? Извозчик дремлет у подъезда. И знаю, что еще до света они будут шептаться, она его будет водить по грани, то насильственно волочить к ней, то ограждать, запеленывать...

Было тогда время увлечения оккультизмом в кругах модернистов. Брюсов с научной методичностью врезается в толщи средневековой магии, памятник этого — его роман “Огненный ангел”[11]. Сколько их ютилось по закоулкам тогдашней жизни — маленьких магов и астрологов! Стихи запестрели заклинательными именами духов и дьяволов. Вячеславу Иванову весь этот астрологический реквизит остался чужд. В руках его я никогда не видела книги по магии. Строгость ли его филологической эрудиции отвращала его от них или подлинно религиозное отношение к стихии слова противилось в нем словесной мешанине оккультных писаний? И вот все, что он узнал из области тайноведения, при-

* Аббат из башни (*фр.*).

шло к нему через Минцлову, живое воплощение тех пьяных Богом вакханок, которых изобразил Еврипид и образ которых издавна влек Вяч. Иванова. Вот она, насмерть вспуганная птица, бьется у него под рукой...

Может быть, выдержка из письма Аделаиды тогдашними взволнованными словами лучше передаст, чем дышал тогда Вячеслав Ив[анов].

"...А вчера был страшный вечер. Вячеслав увел меня к себе. Душная маленькая комната. Каменное, как изваянное, лицо Анны Рудольфовны с невидящими глазами. Он хотел, он властно требовал, чтобы она открыла мне о смерти, о жизни. Сначала он сам говорил о расцвете после смерти, о слиянии — единственном настоящем — нетленного с нетленным... "А дальше я сам только ученик, и А[нна] Р[удольфовна] скажет вам то, что надо, чтобы вы знали". И он сел у ее ног, прижался к ней весь, и она, холодная, огненная, как мрамор белая, острым шепотом стала говорить. Она так дрожала вся, что это передалось мне. Но я ничего не слышала от волнения, а она старалась и не могла повысить голос,— тогда Вячеслав стал записывать под ее диктовку отрывочные слова, взглядывая на нее, спрашивая. Я сидела и ждала. Голова как в тумане. Потом он дал мне лист, и я читала. Он принес стихи свои о том же и пояснял их. Потом зоркими вопросами они (больше он) стали узнавать мою душу, сферы, открытые ей. Самыми бедными словами, неукрашенными отвечала я, заботясь только, чтобы была одна правда. И как темна и убога казалась я сама себе. Не знаю, поняли ли они... Но Вяч[еслав] сказал (говорил он, но все время спрашивая ее), что "миссия моя — любовь, чистая, не хотящая ничего для себя". Сказал, что я не должна учить никого, умствовать, только "благовествовать о любви и смерти и гореть огнем, который зажегся во мне..." Наконец Вяч[еслав] ушел, и мы еще побыли вдвоем, но я ничего уж не воспринимала — слабость была у меня, как после обморока".

Приведенные Аделаидой слова Вячеслава Иванова и стихи его, в которых он, как Дант за Беатриче, рвется следом за умершей, как будто говорят о том, что горе, пережитое им, и общение с оккультисткой Минцловой, оторвали его от реальной земной почвы. Но это не так. Вся внутренняя работа этого года, кризис, глубоко пережитый им, наоборот, ломал и истреблял в нем остатки идеалистического платонизма и крепил присущий ему, но раньше бледный, расплывчатый монизм. Проще, конкретней скажу, что все соблазны бегства из мира, соблазны духослышания лишь утвердили его в том, что за утраченной любовью н е к у д а гнаться в потустороннее, что настигаешь ее з д е с ь, в своей душе и на родимой, вечно обновляющейся земле.

На черновиках своих стихов (обычно писавшихся в полудремотные утренние часы в постели) В. И. нередко записывал где-нибудь вкось, на уголке, изречения, подсказанные ему ноч-

* Будь хвалима смерть за свою верность земле *(лат.- ит.)*.

ной грезой. Помню такие: Laudata sia la morte per sua fidelta alla terra*. Или:Vis eius integra si versa fuerit in terram*.

(Видно, и ночные духи с ним, эрудитом, беседовали на иноземных языках.)

И земля для него не только эта вот, колосящаяся и вновь, и вновь весенняя, но и обитель человеческая — будущих преображенных человеческих обществ. Верность земле, как семя в плоде, включает и любовь к грядущему, веру в него. Vis eins integra — сила твоя осуществится, лишь обратясь к земле.

Вяч. Иванов этого периода очень отличается от того, каким был еще год назад: голос его крепче, мысль зорче, на место прежней созерцательности или вакхической одержимости — волевая установка. Случайные встречи и разговоры с ним прежних гостей его сред вызывают в них потрясающее впечатление. Сошлюсь на Блока, всегда трезвого в своих суждениях. В письме к матери 1 апреля 1908 года: "А вот кого я опять понял — это Вяч. Иванов. Перед его отъездом в Москву мы говорили долго и откровенно. Он совсем уж перестает быть человеком и начинает походить на ангела, до такой степени все понимает и сияет большой внутренней и светлой силой".

В "1001 ночи" говорится: был он прекрасен, как опьяненный ангел. Думается мне, и В. И. в то время тоже походил на опьяненного ангела. Поворот к земле, о котором я говорила, на первых порах принимает у него форму исступленного культа женского начала. Оно заливает все в мире, утверждается как женское единобожие, как стихия, в которой сладостно потонуть. И гибель древних Атлантид, и смерть — только маска, за которой мерцает Она.

"Познай меня,— так пела смерть,— я Страсть". (Cor ardens)**.

Историк — он листает ученые труды, ловит глухие указания на древний матриархат, грезит о новых формах его, о женщинах — жрецах будущего... Как из схлынувшего половодья, я сейчас нахожу следы этих настроений в его статьях и лирике 908 года. Я знала людей воинствующего целомудрия, которые с негодованием говорили, что вся книга Cor ardens — сплошная сексуальность, опрокинутая на сферу духа, что от нее разит запахом семени.

Но чрезмерное целомудрие само подозрительно.

Как бы то ни было, тонкий эротизм, и впрямь излучавшийся в то время из каждого слова Вяч[еслава] Ив[ановича], кружил и мне голову. Этот год и для меня был годом духовного опьянения. Наряду с чувством к Вяч[еславу] Ив[ановичу] и даже именно им питаемая, разгоралась во мне и другая любовь; здесь быть ученицей, быть ведомой, там — вести; двоих любить — никому не отдаваться. Мысль постоянно направлена на то, что мы называли мистикой пола. Помню, как я однажды в большом возбуждении пи-

---

* Сила его нетленна, если она будет обращена на землю *(лат.)*.

** Пылающее сердце *(лат.)* - сборник, ч. I и II, 1911 и 1912 гг.

сала В[ячеславу] И[вановичу], что мне открылось, как в будущем сложится его жизнь в сфере любви, пола: он, мол, уж так высок, что для него неверна любовь к одной, искание личного счастья,— он должен давать свою любовь всем жаждущим, приходящим к нему. И он, старший, не одернув меня, в лад мне ответил, что это и глубже, и мистичней того, что он сам думал. Я не щажу себя (как не щажу и близких мне). В любовь приносишь всю муть своей жизни, своего сознания,— нет проявителя сильней любви. Но что же — все постыднейшие заблуждения, если их дострадаешь до конца, могут стать камушками, ступенями, взбираясь по которым, человек и вправду очищается.

Мысли, владевшие тогда Вячеславом Ивановым, пробудили в нем интерес к хлыстовству, пьяному тем же вином духа. Насколько мне помнится, Пришвин[12], сам в это время увлеченный сектантством, повез его к хлыстовской богородице. Обставленная тайной поездка на тройке куда-то за Петербург в глухие, дальние пригороды. В маленьком мещанском домике состоялась у В. И. с нею долгая беседа. А через несколько дней он читал публичную лекцию о "Древнем Ужасе", и среди привычной модернистской публики в первых рядах сидела женщина, молодая еще, с красивыми строгими чертами, с головы до пят укутанная черной шалью. Это и была хлыстовская богородица. С жадным любопытством оглядывала я ее и в перерыве не утерпела — спросила: не мешает ли ее пониманию множество греческих имен, цитат? Она повела очень красным кончиком языка по тонким губам и, глянув на меня немножко насмешливо, ответила: "Нет, что ж, понятно — имена разные, и слова разные, а правда одна". Я не помню, встречался ли В. И. с нею еще. Может быть, она ему и не нужна была. В то время он уж побеждал в себе это упоение стихией женского. Да и всегдашняя близость душевного хаоса в лице Минцловой побуждала его самого быть собранней, настороженней. Рядом с нею, обуздывая ее, он строил и раскрывал свою мысль. Повторялся стародавний феномен (тот же, что и у таинственных алтарей Дельф): ее была только потрясенность, экстатическое, нечленораздельное бормотанье, а истолкователем, творцом слова, смысла был он.

4

Лето 908-го года Вячеслав Иванов провел у нас в Судаке. Постепенно приезжали все члены его семьи; девочки, радостно вырвавшиеся из непривычной им, замурованной жизни Петербурга, сбросив башмаки, босиком бегали по винограднику, копались в огороде. Всегда хлопотливая Замятина[13], преданный друг семьи. И Минцлова. Последним приехал он. Комната с балконом — мезонин нашего старого дома — там поместили мы его. Опять астрологом на башне, куда вела круто витая лесенка.

Вяч. Иванов никогда не бывал в Крыму, все волновало его здесь отголоском Италии, томило печальным напоминанием: ки-

парисы под его балконом, доносимые ветерком южные запахи. Но идти по этой новой и не новой ему земле у него не было охоты. Или он уж отходил свое — знаю, что когда-то он излазил даже скалы Корнвалиса над океаном... С трудом удавалось нам и девочкам зазвать его к морю или знойным утром — в виноградник, а куда-нибудь дальше в горы — уж никак не пешком, а только на старенькой тряской нашей линейке. Скользит вокруг рассеянным, невидящим взглядом, не примечает деталей. Между тем в его стихах, где ему случается говорить о природном, о растительном мире, мы не встретим ни одного условного образа, каждый — заметка памяти, свидетель пристального вглядывания. Приведу пример. Есть порода дубов, которая не теряет листвы не только зимою, но вплоть до июня.

В бронзовой дремлет броне
под бореями бурными зиму.
Но вот весна.

Черную ветвь разгляди:
под металлом скорченных листьев
Ржавой смеется тюрьме
нежный и детский побег.

Гекзаметр этот точен, как параграф описательной ботаники.

Но нынче взгляд его обращен только вовнутрь. Ходит и ходит Вяч. Иванов по тесной своей комнате, по балкону, вниз спускается почти только для общих трапез, выхаживает свое, новое миросозерцание. Иногда я сейчас же, после разговора с ним или прослушав поток его импровизаций, записывала его слова. Те, кому знакомы его статьи, может быть, узнают здесь его мысли у самого их истока, еще не остывшими.

Я: "Отчего вы молчали всю дорогу из Кизильташа[14] и смотрели на звезды? Что вы думали?"

"Fieri debet quod est; esse debet quod non est*. В том благость сущего, что оно с т а н о в и т с я, проходит свой круг восхода, полдня... И не надо страшиться черных бездн по ту сторону нашей звездной вселенной. Широки врата космического — все не сущее хлынет в сущее. Все жажды, все воли будут утолены. Только не нужно скупым сердцем ставить препоны текущим все новым водам сущего — великая тоска сердца от того, что все прибывает жизнь. Нужно с н е с т и, разорваться, но снести. Учение о Боге есть только учение о бытии. Много обителей в доме Отца Моего".

"А ведь опять настал век эпический, век романа. Давайте, sorella, писать романы. И не так, как пишет наша братия, модернисты: неспешные, обстоятельные, в пять томов, с описани-

* Должно стать то, что есть, быть должно то, чего нет *(лат.)*.

ем обстановки дома на пятидесяти страницах. И без прорезов в вечность. Надо опять закрыть глаза, не раскрывать их чересчур на трагическое: последней борьбе еще не время. Поэтому трагедия нынче не индивидуальная, а хоровая. Нет сейчас личных трагических конфликтов. Трагическая проблема нашего времени в том, к а к с н е с т и, не бунт мощного духа "один против всех", а избыток непосильный для душ нежадных, как снести, что все дано, все будет и все будут. Непонятно, sorellina?"

"Свободным может быть лишь тот, кто других освобождает. Ложь — свободолюбие одиноких байронических героев. Свободный синоним освободителя. Для себя одного нельзя быть свободным.

Освобождать, искупать нельзя отдельные души — можно только искупать все, весь мир. Великая суета думать, что можно спасти ближнего,— спасаешь его походя, целясь на другое. В исключительных случаях Wahlverwandschaft* можно спасти одну душу, но только потому, что за нее даешь всю с в о ю душу. Да и то..."

"Вячеслав говорил о двух обратных направлениях — или двух сферах — добра (бытия, Бога) и зла. Добро на начальных ступенях (или на периферии сферы) solutio (разряженность, рассеяние), потому начально оно всегда свобода, легкость, оно почти безвидно. Далее же, выше, оно, подобно девяти ангельским ступеням, устремленно, свободой своей избирает свою необходимость. Высшее в добре, в центре Дантова рая — coagulatio** — спаенность, сгущенность, там действует центростремительная сила, которая все спаивает в единой точке. Наибольшее coagulatio, бытие в энной степени — высшая красота. Обратно в зле: там на первых ступенях, на периферии — coagulatio (потому что эта сфера подчинена закону центробежному, гонит все вовне) — сгущенные яркие образцы; вместо свободы — "прелесть", красота. Далее — глубже убывает сгущенность, рассеивается красота. В центре, из которого центробежная сила гонит все,— ничего, мрак, провал".

"...Гете — мещанин, вырос из семечка, вверх тянется, совершенствуется, не божественный огненный дух, как Байрон. Одни, как Гете, измеряются по тому, куда они дойдут, другие — по тому, откуда они вышли. Христа тоже спрашивали не куда он идет, а откуда он. Байрон хром и прекрасен, и нельзя нам его понять, он упал откуда-то. Другие, такие же, как он, сыны неба, рано уходят, как падучие звезды — Нова-

---

* Избирательное сродство *(нем.)*.

** Сгущение *(ит.)*.

лис[15], Seraphitus[16]. Вся судьба их обычно — грозное низвержение, потому прекрасно. Конечно, жизнь Байрона безобразна — он не знал любви; и поэзия его, по правде говоря, не многого стоит, в ней и тени пушкинской красоты нет. Но я не люблю красоту. Мне не нужна красота. А греки — их вообще понять нельзя, Эсхила и других. Обманчивая близость формы и навеки чуждая за ними психология. Лгут те, кто их понимает. А зачем читать Гомера? Одно притворство. Говорят "священная соль" и восхищаются,— так ведь для грека это звучало совсем по-другому. Сырое кровяное мясо, чуть что не людоедство — быт их и дикое однообразное чтение гекзаметра... Древних надо забывать, а археологи раскапывают, сохраняют. Археология — хула на Диониса, она чтит гроба, не любит воскресения: не дай бог, попортят саркофаг! Надо разрушать — вот завет Диониса. Даже стихи писать — низкая бережливость, не лучше коллекционерства. И "верность земле" не то слово. Утверди только его, провозгласи— сейчас же и тут соберется вся мерзость, как около гоголевского забора. Еще меньшее. Сердцу быть верным..."

Записываю в дневнике: "Из всего возникает спор и осуждение Анны Рудольфовны. Сегодня, когда мы засиделись на балконе после обеда, он говорил: "Мечта о социализме, о более справедливом устроении человечества, одна дает право нам прислушиваться к гулу в душе Великого Колокола. Только когда будет для всех путь к хлебу и правде его — мы, немногие, сможем сплотиться в братство "Гостей Земли", веять пожаром... Не раньше. Пока они не хозяева — мы не "гости". Нужно честно взглянуть в глаза экономическому материализму в истории и признать, что все совершается, большие линии истории перестраиваются в силу смены экономических условий — культура рабства, феодальная, капиталистическая и т. д. Этот слой, облекающий землю, э т о т humus почти не подлежит воздействию духа..." Анна Рудольфовна с потемневшим, отяжелевшим лицом повторяет, что ей ненавистны социал-демократы. Она любит черный бархатный отряд "бессмертных", у которых вышиты серебром черепа и кости и от вида которых (она конфиденциально шепчет) императрица упала в обморок. О, какой бы она была Крюднер в другой век! А сейчас за ужином среди нас, нелепо молчащих, Вячеслав ей: "Отчего вы никогда не любили и не отдались мужчине? И зачем вы другому позволяете то, чего сами не захотели? Теософия все позволяет, все терпит: любовь, искусство, страсти, немного презирая все это и тех, кто еще нуждается в этом..." А. Р. возражала, колыхаясь, оскорбляясь, не понимая, что это в нем самом эта борьба... Вячеслав пуще нападать. А. Р. в слезах ушла. После этого опять бесконечная беседа у него с нею, и я слышала рядом в ее комнате шаги, взволнованные голоса, а сама лежала в тишине, благословляя в нем эту борьбу: "Пусть сам, один доборется"... А радостно бьющееся сердце все тише, нерадостней билось. Он зашел проститься усталый, догоревший. "Приласкайте, sorellina. Тоскую смертельно. Только с Вами..." Всегда там, за стеной, и гнев, и напор воли.

Зачем я всегда только понимаю, только отзвучна, зачем? И боль, боль".

Эти долгие месяцы отъединения от литературных кругов, эта напряженная внутренняя перестройка без разрядки, той, которую дает широкое общение, сделали Вячеслава Иванова болезненно-чувствительным ко всем прикосновениям извне. От любопытствующих соседей, донимавших его приглашениями, он — обычно старомодно-учтивый — почти грубо отмахивался. Молодой графине, которая, оборвав воланы, своевольно взбежала к нему наверх с требованием стихов в альбом, пытался написать дерзкое восьмистишье — да так и не осилил: не мастер на это. Столкновения возникали и внутри нашего тесного круга. У нас гостил шестнадцатилетний брат, друживший с моим братом. Как-то мы все вскарабкались на скалу с развалинами Генуэзской крепости. На верхушке ее, свисая над отвесным обрывом, — Девичья башня с часовней, вернее, фрагментом закругленной апсиды с чуть видными на ней следами древней росписи. Мальчики, взобравшись на стену, широко размахивая и вызывая в нас ужас, кидали камни в море. Один из камней, брошенных двоюродным братом, ударился о стену апсиды. Вячеслав Иванов, увидев это, вознегодовал, и после мальчишеского с верха стены: "Ну что за беда! И еще раз кину..." — с непривычной быстротой убежал домой. Приказ вспугнутым девочкам и всегда покорной Замятиной немедленно укладываться, послать за извозчиком. "Я не могу оставаться в доме, где поносится Богоматерь". Мы с сестрой избегались к нему по лесенке — заверяли, что не видно там и следа Богоматери, что это не нарочно; взбегали в мезонин над кухней к разволнованным мальчикам. Мальчуган гордо: "Нет, я уеду, я!" Обед стыл на террасе. Позже Вячеслав Иванович целовал руки моей мачехи, до слез оскорбленной, сам в слезах. Умиленье, примиренье.

5

Осень. Только когда они все уехали, я поняла, как я устала. Но не успела я вздохнуть судакской осенней тишиной — письма, телеграммы, торопящие мой приезд. На башне меня ждала оранжевая комната с широкими окнами под самым потолком (только небо), с работой на столе: разбор рукописей Лидии Аннибал. Здесь я прожила зиму монастырского затвора, искуса. Я говорю о затворе в смысле внутренней жизни своей, потому что внешне двери дома раскрылись, стало людно. Конечно, ничего похожего на прежние среды: ни свистящих шелками актрис, ни модернистской богемы. Ученики приходили к мэтру, подобие литературных семинаров непроизвольно возникало из просмотра нового стихотворного сборника, из обсуждения новой театральной постановки. Каждый вечер студенты Модест Гофман[17], Ивойлов[18], изредка Гумилев, Ахматова, совсем юные, ставшие впоследствии поэтами или так и не ставшие, а также уже и несомненные, как Верховский[19] и другие. Однажды бабушка привела внука на

суд к Вячеславу Иванову, и мы очень веселились на эту поэтову бабушку и на самого мальчика Мандельштама, читавшего четкие фарфоровые стихи. Щедрость Вячеслава Ивановича в выслушивании и углублении чужого творчества была изумительна. Детальнейший технический разбор непременно переходил в грозное испытание совести молодого автора, в смысле философском, общественном. Мастер слова, влюбленный в тончайшие оттенки его, внезапно оборачивался моралистом. Это не всем было по нутру. Помню, как я единственный раз видела Анненского[20] у В. И. — два мэтра, два поздних александрийца вели изысканнейший диалог, мы кругом молчали: в кружево такой беседы не вставишь простого слова. ~~Но~~ Анненский за александризмом расслышал другое; высокий, застегнутый на все пуговицы, внешне чиновный, он с раздражением, подергиваясь одной стороной лица, сказал: “Но с вами же нельзя говорить, Вячеслав Иванович, вы со всех сторон обставлены святынями, к которым не подступись!” У обоих были свои потаенные святыни, но ими они не соприкоснулись. Вскоре Вяч. Ив. писал Анненскому:

Зачем у кельи ты подслушал,
Как сирый молится поэт,
И святотатственный запрет
Стыдливой пустыни нарушил?

В тот год зародилась литературная группа “Аполлон”. В отдельности ценя некоторых из молодых поэтов, будущих акмеистов, Вяч. Иванов яростно нападал на эстетствующий дух кружка. Споры с представителями “Весов”, в особенности когда приезжал из Москвы Андрей Белый[21]. Помню одно его посещение, разговор между ними, затянувшийся до утра, горящие глаза всегда трепетного и вызывающего какую-то жалостливую нежность Бориса Николаевича. Он то негодующе вскакивал, защищая свои и своих позиции, то, прижимая руки к груди, будто каялся, отдавался. Против воли побеждало влечение к Вяч. Иванову, чем-то, м. б., экстатичностью своей близкому ему. Когда мы под утро прощались с ним, он повторял ему: “Я ваш, весь ваш, мы завтра договорим, я приду...” Закрыв за ними дверь, Вяч. Иванов, посмеиваясь, сказал: “Посмотрите, он теперь много месяцев глаз не покажет”. Так оно и было.

Захожу к Вячеславу Ивановичу на другое утро — утро у него это три-четыре часа дня,— ходит по кабинету, зябко кутаясь в плащ, и фантазирует:

— У каждого за плечами звери, как у евангелистов — по два. У меня — орел и вол. Иоаннов орел парит, а вол (филолог) тянет плуг. И тени их: тень орла — змея, тень вола — козел, похотливый и бездельный. У Лидии было величаво: орел и лев, рыкающий, кидающийся. А у нашего Белого—лев и тень его— заяц, чаще тень, чем лев. Но и лев. И — человек.

Я:

— А тень человека?

— У человека нет тени. Это идеализм, иллюзионизм, призрачность, всегда подстерегающая "человечески" то, что оторвалось от природных корней.

Евангелие наводит его на неожиданные сопоставления, на мысли, будто и не евангельские. Но постоянно вижу его с потрепанной черной книжечкой в руках. Говорит:

— Евангелие еще не прочитано. Сколько противоречивых слов! Только сгорая сердцем, постепенно зажигаешь слово за словом...

В этот год сложились религиозные верования Вячеслава Иванова. И навсегда. В его христианстве не было ничего конфессионального—оно было е г о, из глубины его опыта рожденное, и как бы он ни определял себя впоследствии— еретиком, гностиком, католиком — только это простое зерно вправду срощено было с его духом. Он не раз со свойственным ему глубокомыслием излагал в статьях свои религиозные идеи. Но что, если перевести их на простой и неподкупный язык наших дней?

Само бытие, неисчерпность, полнота его — это для него Бог, это Отец. Ведь чем, как не мерой почитания, благоговения познается Бог? А по отношению к тому, что Вячеслав Иванов называет "благость космоса", никогда не бывало у него бунта, сомнения,— его природа органически религиозна. Но человек в своем отъединении забывает, теряет связь с целым; вихри страсти крутят его, его носит по волнам, он тонет, гибнет, и хотя мир над ним и Божий, но покуда с а м он не станет Сыном, не может протянуться спасительная между ним и Отцом нить. И вот — быть может, на последней гибельной грани — в человеке родится Сын, Христос, луч света, от света всемирного зажженный. Сын, Люцифер, в первоначальном значении не мятежного духа, а светоносца... Я сжимаю в сухую схему то, что в поэзии В. И., в его философии дышит и цветет многокрасочно, что пережито им и в личном опыте, так как кому, как не ему, грозило — и неоднократно — потонуть в дионисийском хаосе. На эту схему опирается он в своих суждениях и приговорах. Записаны у меня слова его о Пушкине. "Кто говорит, что Пушкин атеист? Он благочестив как правоверный мусульманин. Кому другому так близок дух Корана? Недаром он бросил Ершову гениальную строчку: "Против неба на земле жил мужик в своем селе". Земля — п р о т и в неба. Ведь это же дух пустыни, Аравии! Нет, в том его грех негрский, что он только еговист, без люцифрианства, без пути к Христу... Отсюда вина его перед женщиной, непросветленность отношения к ней".

В эту зиму Вяч. Иванов стал деятельным участником религиозно-философского общества. Вместе с Мережковскими и группой священников основал в обществе "христианскую секцию". Собрания ее были тесней, интимней, — сюда шли только те, для кого Евангелие уже было бесспорной основой. Собирались на Васильевском, кажется, в каких-то закоулках Университета: помню тесные комнатки и в витринах под стеклом коллекции минералов. Как ни узок был кружок, единства в нем не было. Что

могло быть общего между истерической демагогией Мережковского, осторожными батюшками и чересчур тонкой мыслью Вяч. Иванова? Каждый говорил свое. И со слушателями не образовывался контакт. Это было бесплодным делом, как и многие общественные начинания тех лет.

Помню среди других доклад Вяч. Иванова "Земля в Евангелии" и в нем толкование главы VIII от Иоанна. К Христу привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и, испытуя его, требовали от него суда над нею. "Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания". Этот жест Вяч. Иванов толковал так: в земле вписана страстная судьба человека и неразрешима она в отрыве от земли, неподсудна другому суду. Но это тайное Христос, подняв голову, сказал иначе внешним, эзотерическим словом: "Кто из вас без греха — пусть первый бросит в нее камень". — И опять, наклонившись низко, писал на земле".

Христианство в истолковании Вяч. Иванова было тем откровением, которое я давно ждала. Замыкаясь в своей оранжевой комнате, со всей страстью новообращенной, пересматриваю, казню все свое прошлое — скептическое, не знавшее Бога, не знавшее добра и зла, не прожженное единством. Хочу совершенствования. Рвусь ввысь. И Вяч. Иванов больше, чем когда-либо, мой учитель, мой старший, ведущий брат. Но рядом с этим неуклонно нарастает тяжесть от общения с ним и окружением его. Мне становится все душнее в этом кольце поклонения, в создании которого я, может быть, повинна больше других. Морализм гнетет меня, привыкшую к внутренней свободе,— то и дело изрекается приговор человеку, явлению какому-нибудь: то-то и то-то "не право",— слово это — отголосок дионисийской формулы "правое и неправое безумие". И по всей башне прокатывается "не право", и все с осуждением смотрят на того, кто почему-то вызвал негодование Вяч. Иванова. Заражаюсь и я, но тотчас же возмущенно бунтую, начинаю ненавидеть это мудрое греческое "не право". Все острее чувствую, что свободной быть около него, так вдохновенно говорящего о свободе, нельзя.

Вячеславу Иванову была особенно близка та идея, что мир страданием красен и что жрец и жертва — одно,— идея, роднившая его с мистериальной Грецией. Припоминаю, как, по его словам, был он потрясен, увидев на улицах Баку шествие членов какой-то суфистской секты: они шли, нанося себе в грудь удары кинжалом и обливаясь кровью. Въяве видение древнего оргиазма! И вот в жизненном быту его эта идея, как бы становясь пародией, гримасой на себя самое, принимала уродливые формы садизма и мазохизма. Растравлять в себе самом душевное страдание, когда острота его притупляется, а также доводить до отчаяния, до слез хитро измышленными придирчивыми укорами близких ему, например, беззаветно преданную Замятину... Может быть, это вообще свойственно ху-

дожественным натурам, постоянно ищущим раздражений,— может быть, но я задыхалась в этом.

К тому же я была очень одинока, сестра вышла замуж, проводила зиму в Париже. Даже письма наши были немы — мы обе молчали о тягостях наших жизней. В. Иванов ревниво не одобрил брак сестры, считая, что она недостаточно любит, недостаточно любима, а втайне негодуя, что она изменила образу из его сонета, ей посвященного:

Так ты скользишь, чужда веселью дев,
Глухонемой и потаенной тенью...

Потом приезжий из Парижа пересказал какие-то кем-то сказанные слова, и вот взрыв гнева: Аделаида предала его врагам его в парижской русской колонии,— предательница! И вся семья с укором глядела на меня, сестру предательницы. Впоследствии при первом же свидании сплетня рассеялась, и между ними опять нежнейшие отношения ученицы и учителя. Но в ту весну девятого года все мне было в нестерпимую боль. Когда я получила от сестры, беременной и тяжело переносившей беременность, призыв приехать, я вся встрепенулась, рванулась к ней. Вяч. Иванов сперва гремел: "Или я, или враги мои", — потом разжалобливал меня... Но я нашла в себе силы уехать. Когда он провожал меня на Варшавском вокзале, слова его были — вся нежность, но я с тоской переживала конец.

В последующие годы мы встречались: и я гостила у них, и в Москве мы виделись в кругу друзей, но свидания несли мне больше боли, чем радости.

6

Но была у нас еще недолгая полоса, месяц, проведенный в интимной близости. Осенью 912-го года Вяч. Иванов покинул Петербург, вместе с семьей уехал за границу. В литературном мире пошли шепоты о том, что он сошелся со своей падчерицей и что она ждет ребенка. Друзья смущенно молчали: все привыкли считать эту светловолосую, с античным профилем Веру[22] как бы его дочерью; недоброжелатели кричали о разврате декадентов.

Зимою я получила от него письмо о том, что у Веры родился сын, что они переезжают в Рим и настойчивый зов приехать к ним. Семейные обстоятельства сложились так, что я смогла это сделать, и в апреле с грустно-радостным волнением шла к ним на Пьяццу дель Пополо давно знакомыми, давно любимыми улицами Рима. Во внутренний дворик палаццо, по лестнице из массивных плит вверх... Они занимали квартиру, переданную им какой-то англичанкой. Комнатки завешаны индусскими вышитыми тканями, тонкий запах лаванды, которую любят старые англичанки. Семейный уют, привычки Вяч. Иванова ревниво блюла хлопотунья Замятина. Молодая мать над колясочкой трехмесячного сына.

Вторая девочка[23], подросшая, похожая на отца быстрым, безбровым взглядом, — композитор в будущем, — ходила в музыкальную школу. Вяч. Иванович, — с тех пор, как сбрил бороду, похожий на Моммзена острым профилем и пушистой головой,— мыкался по тесному кабинету, медленно, с затяжками ничегонеделанья переводил Эсхила.

Встретил меня с волнением: "Сестра!.." Его радость мне вызвана и тоской по привычному умственному общению, и тревожным желанием знать, что думают о нем друзья. Пошли долгие разговоры, смахивавшие на самооправдывание. Стали вместе перебирать планы их устройства в будущем. Отношение его к молодой жене оставалось то же, что было к девочке-падчерице, — как и прежде, в житейских делах она, трезвая, крепко стоящая на земле, восхищала и подчиняла себе его, такого неумелого в жизни, и, как и прежде, она же молча и благоговейно слушала его вдохновенные речи. Теперь — такие редкие. Начнет — и сейчас же взлет мысли оборвется. Стихов не писал. Каким обнищалым казался он мне! Не знала я, что лирику периодически нищать, опустошаться до дна — это жизнь его, это хлеб его.

— И отчего вы, sorellina, такая счастливая, такая независимая? — чуточку ревниво допрашивал.— Расскажите мне все про себя...

И я рассказывала: о себе, о друзьях и даже, когда мы засиживались ночью за правкой Эсхила, чтобы развеять ужас Клитемнестровой судьбы, пересказывала ему увлекательный английский роман. Только бы потешить, развлечь. Он и здесь, как под хмурым петербургским небом, упорный домосед. Брюзжит на Рим. Я же всякое утро с радостно бьющимся сердцем вскакивала: куда сегодня? Наскоро выпив что-то в кухне под старательный итальянский Верин говор с кухаркой, выходила на римскую улицу с незабываемыми римскими запахами. Музеи, галереи исхожены,— презирая Бедекер, шла, разыскивая среди заброшенного виноградника на Целие какую-то нигде не отмеченную церквушку, с которой связана древняя легенда, какой-нибудь затейливый, еще не виденный фонтан, фрагмент барокко... А вечером все в подробности, чертя карандашом, рассказывала Вяч. Иванову, и не только об этом — о жизни улицы: о торговце ножами в тележке под огромным звездатым зонтом, о том, как в Трастевере две бабы, подравшись, швыряли друг в друга carciofi*. Он наслаждался, смеясь по-стариковски. Но почему его не зазовешь никуда? То ли боязнь больших, из прошлого впечатлений, боязнь разбудить что-то... Два-три выхода вместе — не больше. Раз мы поехали за город. Вячеслава Ивановича навещал ученый монах padre Palmieri, ревностный сторонник воссоединения церквей. Он и повез нас по неспешной узкоколейке в монастырь базильянцев Gotta Ferrata, где служба шла не по-римски — по чину Василия Великого. Монастырь, напоминающий восток — и тем, что на русский лад обнесен толстой побеленной стеной, и тем, что на фресках святые отцы

* Артишок *(ит.)*.

длиннобороды и волосаты, без тонзуры. Вяч. Иванович на элегантном итальянском языке вел с падре Пальмиери разговоры о соединении востока и запада, но чувствовалось, что души в это не вкладывал. Потом приходил Эрн[24], молодой московский ученый, писавший в Риме диссертацию о философе Джоберти[25]. С ним вливалась к нам волна влюбленности в первохристианский Рим и воинствующая ненависть ко всей современной Европе — равно к марксизму, к неокантианцам, к Ватикану. Он верил только в монашеский восток... Вяч. Иванович слушал его, посмеивался, похаживал, останавливался у окна: тонкий обелиск на площади еще розовел вверху, а основание его тонуло в фиолетовой мгле. Искусный спорщик, сейчас он не принимал вызова Эрна. "В сущности ведь мне совсем неверно быть belliqueux*, быть волевым",— говорил он мне потом.

Теперь, когда у меня в руках последние римские сонеты, написанные через пятнадцать — двадцать лет после той весны, мне ясно, что уже тогда в нем, нищем, не пишущем стихов, копился в тишине дух этих сонетов.

Пью медленно медвяный солнца свет,
Густеющий, как долу звон прощальный.
И светел дух печалью беспечальной —
Весь полнота, какой названья нет[26].

Это писалось в тридцатых годах нашего века. Вяч. Иванов почти старик. Отгорели страсти, от бурь и битв истории бежал (думал, что бежал), ряд потерь позади, вместо почетной старости — безвестность, может быть, нужда; не эмигрант — эмигрантским кругам он тоже чужд. А дух полон:

... один
На золоте круглится купол синий.

Та римская весна, которую мы прожили вместе, была предчувствием этих его последних вечерних озарений.

В Риме мне стала яснее прежнего кровная близость Вяч. Иванова с Достоевским (или сам он тогда именно осознал ее явственней?). Имя Достоевского то и дело поминается им. В его отношении к Пушкину чувствовался холодок, несмотря на всегдашнее восхищение пушкинским мастерством. Ближе ему пантеист Тютчев, но ночной, не знающий Бога, бессолнечный Тютчев — нет, не он его спутник в радости и горе. А вот Достоевского он любил всегда живой любовью, хотя и по-иному, чем тот — Пушкина, не как благоговейный ученик... Но какого Достоевского? Достоевский стоит на перекрестке слишком многих дорог, среди них есть одна мало хоженная, едва намеченный след: Пушкин — Достоевский — Вяч. Иванов. Это — восприятие свято-

* Воинственный *(фр.)*.

сти как красоты, или красоты как святости ("Красота мир спасет"). Это — сладостный восторг в созерцании мира, не иного, а этого, здешнего, который они все трое самозабвенно любили (так по-разному). Этот мир, эта земля. Уже в самых ранних стихах Вяч. Иванова я нахожу этот мотив, пока еще бесхитростно, бедно выраженный:

И все, что дух сдержать не мог,
Земля смиренно обещала.

В мировой поэзии я не знаю другого поэта, который, зачерпнув, испив так много неба, вечности, дугою-радугой спускался бы сюда же, льнул к этой земле,— у которого звучало бы такое же безостаточное утверждение мира, оптимизм. Гете? Но он вообще вряд ли когда отрывался от земли. Дант? Этот, достигнув девятого неба, так и не вернулся.

Мне могут возразить, что и Вячеслав Иванов рвался прочь из этого мира, называл его призрачным, могут привести примеры, опровергающие меня. Я сама могу их привести:

О, сновиденье жизни, долгий морок!
... Уже давно не дорог
Очам узор, хитро заткавший тьму.

И другие подобные. Но не это доминанта, или, вернее, звучанье было бы не то, если бы и эта нота не входила в ту "полноту, какой названья нет".

Эти мысли о последнем слове поэзии Вяч. Иванова в смутных еще догадках, помню, бродили во мне именно в Риме, в мои одинокие утренние блуждания. В Риме, где внутренняя тихость Вяч. Иванова не заслонялась для меня блеском его бесед с приятелями — ни эрудицией, ни хитросплетениями ума. Ведь обычно именно это отмечают все, кто о нем пишет. Слава одного из последних в Европе гуманистов мешает слышать за всем этим чистейшего лирика. Для читателей будущего этой помехи не будет. Правда, будет другая: стих его порой архаичен, перегружен великолепием, сейчас чуждым уху. А под коростой великолепия такие журчат живые, утоляющие воды...

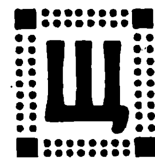
Так прожили мы рядом этот весенний месяц в никогда еще не бывшем тихом согласии — без событий, без мудреных бесед. В памяти у меня картина: Вера с мальчиком на полу, на ковре, Вячеслав Иванович от письменного стола задумчиво, немножко грустно смотрящий на них. Может быть, и не так уж лжива измышленная им, а ею слепо повторяемая идея, будто их брак не новый союз двоих, а только отголосок, тень его брака с ее матерью?

Мне нужно ехать. Вещи мои уж сложены, а Вячеслав Иванович, по своему обычаю, удерживает меня то хитростью, то гневом, то лаской... Наконец я проводила их двоих в Ливорно, где старик греческий священник когда-то венчал его с Лидией Аннибал венцами из виноградной лозы, перевитой белой шерстью (первохристианский обычай). Теперь он же освятил и этот брак: русская синодская церковь этого бы не сделала. Но на голове Веры был не венец менады, а обыкновенный, тяжелый, золоченый.

Проводив их, я уехала на север на соединение со своими. Это была моя последняя встреча с Римом и последняя глава моей близости с Вячеславом Ивановым.

ВОЛОШИН

> "Он — священная пчела".
> "Пчела — Афродиты".
> "Он — хмель Диониса".



уря золотистые ресницы, моя гостья с трогательной серьезностью подбирает образы — изысканные и ученые,— и я вторю ей. Но в зеркале ловлю лукавую улыбку сестры: сидя поодаль с ногами на кушетке, записывает наш диалог. Вот он и сохранился у меня на обложке какой-то тетради...

В 907-м году мы ближе всего подошли к декадентству, непритворно усвоили жаргон его, но чуть что — и сами высмеем себя.

Это пришла ко мне знакомиться Маргарита Сабашникова[1], соперница моя по толкованию лирики Вячеслава Иванова и по восхищению самим поэтом. Питать к сопернице примитивные злые чувства? Конечно же нет. Но что же, если и вправду привлекательна и сразу близка мне Маргарита? Она, как и мы, пришла сюда из патриархального уюта, еще девочкой-гимназисткой мучилась смыслом жизни, тосковала о Боге, как и мы, чужда пошиба декадентских кружков, наперекор модным хитонам ходила чуть что не в английских блузках с высоким воротничком. И все же я не запомню другой современницы своей, в которой бы так полно выразилась и утонченность старой расы, и отрыв от всякого быта, и томление по несбыточно-прекрасному. На этом-то узле и цветет цветок декадентства. Старость ее крови с востока: отец из семьи сибирских золотопромышленников, породнившихся со старейшиной бурятского племени. Разрез глаз, линии немножко странного лица Маргаритина будто размечены кисточкой старого китайского мастера. Кичилась прадедовым шаманским бубном.

По ее рассказам вижу ее тоненькой холеной девочкой в длинных натянутых чулочках. Богатая московская семья. Отец — книголюб и издатель[2] — немножко смешной и милый, вместе с дочкой побаивается "мамы", у которой сложная и непреоборимая система запретов. Почему, что нельзя — им обоим никогда не понять. Вот Маргарите так хочется позвать в детскую швейцарова внука, приехавшего из деревни; швей-

цар принес ей лубяную беседочку — Гришино изделье, но позвать его, показать, как живут куклы,— нельзя. Она тиха, не бунтует, только взгрустнулось. Вдруг — озаренье: Гриша будет бог кукол — бога ведь не видно, только знаешь, что он есть. Жизнь заиграла. Собираясь на прогулку, Маргарита всякий день берет с собой другую куклу, наряжая ее, волнуется: может быть, растворится дверь в швейцарскую, мелькнет вихрастый мальчик — кукла увидит бога. И через несколько дней горько упрекала маленькую подругу:

— Зачем, зачем ты выдала! Теперь у кукол больше нет бога.

— Да почему? Мама твоя не бранилась.

— Но она знает, а что она знает, то уж больше не бывает.

И позже, когда Маргарита, уже взрослая, загорится новым поэтом, а мать в своей нарядной гостиной под розовым абажуром перелистает, хотя бы и молча, не осуждая, тощий томик,— и вот его уж нет, сник, повял...

Маргарита уехала в Париж учиться живописи. У нее подлинное дарование, чистота рисунка, вкус. Почему она не стала художником с именем? Портреты ее работы, которые я знаю, обещали прекрасного мастера. Правда, почему? Не потому ли, что, как многие из моего поколения, она стремилась сперва решить все томившие вопросы духа, и решала их мыслью, не орудием мастерства своего, не кистью.

Маргарита уехала в Париж и там встретилась с Волошиным, тогда начинающим поэтом и художником. По галереям Лувра, в садах Версаля медленно зрел их роман,— не столько роман, как рука об руку вживание в тайну искусства. Волошин пишет:

Для нас Париж был ряд преддверий
В просторы всех веков и стран,
Легенд, историй и поверий...
. . . .
Как жезл сухой расцвел музей[3].

Но в их восприятии прошлого — какая рознь: он жадно глотает все самое несовместимое, насыщая свою эстетическую прожорливость, не ища синтеза и смысла. Пышноволосый, задыхающийся в речи от спешки все рассказать, все показать, все воспринять. А рядом с ним тоненькая девушка с древним лицом, брезгливо отметает и одно, и другое, сквозь все ищет единого пути и ожидающим, и требующим взглядом смотрит на него. Он уставал от нее, уходил. Но месяцы проходили, и опять, брызжущий радостью, спешил через Европу туда, где она. И они соединились.

После брака они поселились в Петербурге, в том самом доме, где вверху была "башня" Вяч. Иванова. Оба сразу поддались его обаянию, оба вовлечены в заверть духа, оба — ранены этой встречей. Все произошло за несколько месяцев до знакомства моего с М. Сабашниковой, о котором выше... Тогда же я узнала и Волошина. Поздней ночью (по обычаю "баш-

ни") я сидела у Вяч. Иванова, перед ним гранки его новых стихов — "Эрос", и я смятенно вслушивалась в эти новые в его творчестве ритмы. Бесшумными движениями скользнула в комнату фигура в пестром азиатском халате; увидев постороннюю, Волошин смутился, излился в извинениях — сам по-восточному весь мягкий, вкрадчивый, казавшийся толще, чем был, от пышной бороды и привычки в разговоре вытягивать вперед подбородок, приближая к собеседнику эту рыжевато-каштановую гущину. В руках — листок, и он читает посвящение к этим стихам Вяч[еслава] Ив[анова]. Читая, вращал зеленоватыми глазами. Весь чрезмерно пышный рядом с бледным, как бы обескровленным Вяч. Ивановым. Но вот в разговоре он упомянул Коктебель. "Вы знаете Коктебель?" — и перед глазами у меня пустынный амфитеатр гор и море, синее которого не увидишь в Крыму. Нам это первый этап на пути в Судак, и все, что еще в вагоне не развеется из зимнего и ненужного, здесь наверняка снесет соленым порывом. Но разве живут в Коктебеле? Там на безлюдном берегу ни дома, ни деревца... А он сказал: "Коктебель — моя родина; мой дом — Коктебель и Париж,— везде в других местах я только прохожий".

И вот уж он мне больше не чужой. По-другому запылали у меня щеки, когда мы с ним наперебой посыпали названиями гор, балочек, селений, думалось мне, никому во всем мире не известных...

В ту весну седьмого года мы как-то вечером сидели вчетвером: Волошин, Сабашникова, сестра и я. Волошин читает терцины, только что написанные:

С безумной девушкой, глядящей в водоем,
Я встретился в лесу. "Не может быть случайно,—
Сказал я,— встреча здесь. Пойдем теперь вдвоем".
Но вещим трепетом объят необычайно,
К лесному зеркалу я вместе с ней приник.
И некая меж нас в тот миг возникла тайна.
И вдруг увидел я со дна встающий лик—
Горящий пламенем лик солнечного зверя.
"Уйдем отсюда прочь!" Она же птичий крик
Вдруг издала и, правде снов поверя,
Спустилась в зеркало чернеющих пучин.
Смертельной горечью была мне та потеря.
И в зрящем сумраке остался я один[4].

Маргарита невесело смеялась, тихо, будто шелестела: "И все неправда, Макс! Я не в колодец прыгаю — я же в Богдановщину еду".

Это был канун их отъезда, его — в Коктебель, ее — в имение родителей.

"И не звал ты меня прочь! И сам ты не меньше меня впился в солнечного зверя! И почему птичий крик? Ты лгун, Макс". "Я лгун, амори, я поэт".

Так дружелюбно они расходились.

Нам с сестрой с первых же дней довелось узнать Волошина не таким, каким запомнили, зарисовали его другие современники: в цилиндре, на который глазела петербургская улица, сеющим по литературным салонам свои парадоксы, нет,— проще, тише, очеловеченней любовной болью.

В конце мая мы в Судаке, и в один из первых дней он у нас: пешком через горы, сокращенными тропами (от нас до Коктебеля сорок верст), в длинной, по колена, кустарного холста рубахе, подпоясанной таким же пояском. Сандалии на босу ногу. Буйные волосы перевязаны жгутом, как это делали встарь вихрастые сапожники. Но жгут этот свит из седой полыни. Наивный и горький веночек венчал его дремучую голову.

Из рюкзака вынимает французские томики и исписанные листки — последние стихи.

Я иду дорогой скорбной в мой
безрадостный Коктебель.
По нагорьям терн узорный
и кустарник в серебре.
По долинам тонким дымом
розовеет вдали миндаль[5].

И еще в таких же нерифмованных античных ладах. Музыка не жила в Волошине — но вот зазвучала музыка.

Не знаю, может быть, говорит во мне пристрастие, но мне кажется, что в его стихах седьмого года больше лиризма, меньше, чем обычно, назойливого мудрования, меньше фанфар. В кругах символистов недолюбливали его поэзию: все сделано складно, но чего-то чересчур, чего-то не хватает...

Помню долгие сидения за утренним чайным столом на террасе. Стихи новейших французов сменяются его стихами, потом сестриными, рассказами о его странствиях по Испании, Майорке, эпизодами из жизни парижской богемы... Горничная убирает посуду, снимает скатерть, с которой мы поспешно сбрасываем себе на колени книги и тетради. Приносится корзина с черешнями, черешни съедаются. Потом я бегу на кухню и приношу кринку парного молока. Волошин с сомнением косится на молоко (у них, в солончаковом Коктебеле, оно не водилось), как будто это то, которое в знойный полдень Полифем надоил от своих коз. И вот он пересказывает нам — не помню уже чью, которого из неосимволистов — драму: жестикулируя короткой по росту рукой, приводит по-французски целые строфы о Полифеме и Одиссее. В театре Расина[6] античность являлась подмороженной, припудренной инеем. А вот Волошин воспринял ее в ядовитом оперении позднего французского декаданса. Все вообще до него дошло приперченное

французским esprit*. Ему любы чеканные формулировки, свойственные латинскому духу, например, надпись на испанском мече: no! no! si! si!** — не потому ли, что сам он никогда ничему не скажет "нет"? Восполняя какую-то недохватку в себе, он в музеях заглядывается на орудия борьбы, убийства, даже пытки.

Подмечаю, как, рассказывая о своей беседе с Реми де Гурмон[7], тонким эссеистом и языковедом, он с особенным вкусом останавливается на обезображенном виде его: лицо изъедено волчанкой, обмотано красной тряпкой, в заношенном халате, среди пыльных ворохов бумаг — таким он увидел этого изысканнейшего эстета. Парадоксальность в судьбе человека всегда манит его. В судьбе человека — в судьбе народов, потому что Волошин с легкостью переходил и на широкие исторические обобщения. Заговариваем о революции — ведь так недавно еще пятый год, так тревожит душу, не сумевшую охватить, понять его...

"Революция? Революция — пароксизм чувства справедливости. Революция — дыхание тела народа... И знаете,— Волошин оживляется, переходя на милую ему почву Франции,— 89-й год или, вернее, казнь Людовика — корнями в XIV веке, когда происками папы и короля сожжен был в Париже великий магистр ордена тамплиеров Яков Молэ,— этот могущественный орден замышлял социальные преобразования, от него же и принципы: égalité*** и т. д. И вот во Франции пульсация возмездия, все революционное всегда связано с именем Якова: крестьянские жакерии, якобинцы..."

Исторический анекдот, остроумное сопоставление, оккультная догадка — так всегда строилась мысль Волошина и в те давние годы, и позже, в зрелые. Что ж, и на этом пути случаются находки. Вся эта французская пестрядь, рухнувшая на нас, только на первый взгляд мозаична — угадывался за ней свой, ничем не подсказанный Волошину опыт. Даром что он в то время облекался то в слова Клоделя[8], то в изречения из Бхагават-гиты[9] по-французски...

Но Волошин умел и слушать. Вникал в каждую строчку стихов Аделаиды, с интересом вчитывался в детские воспоминания ее, углубляя, обобщая то, что она едва намечала. Между ними возникла дружба или подобие ее, не требовательная и не тревожащая. В те годы, когда ее наболевшей душе были тяжелы почти все прикосновения, Макс Волошин был ей легок: с ним не нужно рядиться напоказ в сложные чувства, с ним можно быть никакой. А он, обычно такой объективный, не занятый собою, чуждый капризов настроений, ей одной, Аделаиде, раскрывался в своей внутренней немощи, запутанности. "Объясните же мне,— пишет он ей,— в чем мое уродство? Все мои слова и поступки

* Дух *(фр.)*.
** Нет! нет! да! да! *(исп.)*
*** Равенство *(фр.)*.

бестактны, нелепы всюду, и особенно в литературной среде, я чувствую себя зверем среди людей, чем-то неуместным... А женщины? У них опускаются руки со мной, самая моя сущность надоедает очень скоро, и остается одно только раздражение. У меня же трагическое раздвоение: когда меня влечет женщина, когда духом близок ей, я не могу ее коснуться, это кажется мне кощунством..." Так он говорил и этим мучился. Но поэту все впрок. Из этого мотка внутренних противоречий позднее, через несколько лет, он выпрял торжественный венок сонетов: "В мирах любви неверные кометы" [10].

Как-то среди лета Волошин появился в сопровождении невысокой девушки, черноволосой, с серо-синими глазами. Ирландка Вайолет[11], с которой он сблизился в художественных ателье Парижа. Он оживленно изобразил сцену ее приезда: был сильный ливень, горный поток, рухнув, разделил надвое коктебельский пляж... Он и Вайолет стояли по обе стороны его, жестами, беспомощными словами перекликались, наконец она разулась и, подобрав платьице, мужественно ринулась в поток — он еле выловил ее. "И первым жестом моего гостеприимства было по-библейски принести чашку с водой и омыть ей ноги". Вайолет тихо сияла глазами, угадывая, о чем он рассказывал. Мы переходили на французский язык, на английский, но на всех она была немногоречива. Ее присутствие не нарушило наших нескончаемых бесед, только мы стали больше гулять, наперебой стремясь пленить иностранку нашей страной. Она восхищенно кивала головой, в испанских соломенных espadrilles* на ногах козочкой перебегала по скалам и, усевшись на каком-нибудь выступе над кручей, благоговейно вслушивалась во французскую речь Волошина,— речь свободно текущую, но с забавными ошибками в article**.

Эта тихая Вайолет так и осталась в России, прижилась здесь, через несколько лет вышла замуж за русского, за инженера, и помню, накануне свадьбы, в волнении сжимая руки сестры моей, сказала ей: Max est un dieu***.

На нашей памяти Вайолет была первой в ряду тех многих девушек, женщин, которые дружили с Волошиным и в судьбы которых он с такой щедростью врывался: распутывал застарелые психологические узлы, напророчивал им жизненную задачу, лелеял самые малые ростки творчества... Все чуть не с первого дня переходили с ним на "ты". Какая-нибудь девчонка, едва оперившаяся, в вольере поэтесс, окликала его, уж седеющего: "Макс, ну, Макс же!" Только мы с сестрой неизменно соблюдали церемонное имя-отчество, но за глаза, как все, называли его "Максом". И в памяти моей он — Макс.

Вот я впервые в Коктебеле, так не схожем с теперешним людным курортом. Пустынно. Пробираюсь зарослями колючек

---

* Тапки *(фр.)*.

** Артикль *(фр.)*.

*** Макс — бог *(фр.)*.

к дому Волошина. У колодца, вытягивая ведро, стоит кто-то, одетый точь-в-точь как он, с седыми, ветром взлохмаченными волосами — старик? старуха? Обернувшись к дому, басом, сильно картавя, кричит Максу какое-то приказание. Мать[12]! Но под суровой внешностью Елена Оттобальдовна была на редкость благожелательна, терпима, чужда мелочности. По отчеству будто немка. Но я не знаю, никогда не удосужилась спросить ее о ее прошлом и о детстве сына. Нам было тогда не до житейских корней! Помню только фотографию красивой женщины в амазонке с двухлетним ребенком на руках и знаю, что вот таким она увезла его от мужа и с тех пор одна растила. Но какое-то мужеподобие ее лишило нежности этот тесный союз, и, по признанию Макса, ласки материнской он не знал. Мать ему — приятель, старый холостяк, в общем покладистый, не без ворчбы. И хозяйство у них холостяцкое: на террасе с земляным полом, пристроенной к скромной даче, что углом к самому прибою, нас потчуют обедом — водянистый, ничем не приправленный навар капусты запивается чаем, заваренным на солончаковой коктебельской воде. Оловянные ложки, без скатерти... Оба неприхотливы в еде, равнодушны к удобствам, свободны от бытовых пут. Но в комнате Волошина уже тогда привлекало множество редких французских книг и художественная кустарная резьба — работа Елены Оттобальдовны.

"15 августа 1907 г.

Дорогая Аделаида Казимировна, Маргарита Васильевна приехала вчера в Коктебель. Но мы не сможем собраться на этой неделе в Судак. Сейчас она устала очень, в воскресенье я должен, к сожалению, читать на вечере в пользу курсисток в Феодосии. Так что мы приедем не раньше, чем во вторник на следующей неделе".

Коктебель, кажется, одержал на этот раз победу над ее сердцем. Венки из полыни и мяты, которыми мы украсили с Violet ее комнату, покорили ее душу во сне своим пустынным ароматом.

"Эти дни я все твержу про себя стихи Шарля Герена[13].

Послушайте, как это хорошо:

Contemple tous les soirs le soleil qui se couche:
Rien n'agrandit les yeux et l âme, rien n'est beau
Come cette heure ardente, héroïque et farouche,
Où le jour dans la mer renverse son flambeau*.

Они приехали под вечер. Почти не заходя в дом, мы повлекли Маргариту на плоскую, поросшую полынью и ковылем гору, подымавшуюся прямо за домом. Оттуда любили мы смотреть на закат, на прибрежные горы. Опоздали: "героическое и жестокое"

* Наблюдай каждый вечер заходящее солнце:
Ничто так не возвеличивает взор и душу, ничто так не прекрасно,
Как этот час — пламенеющий, героический и суровый,
Когда день опрокидывает в море свой факел *(фр.)*.

миновало. Но как несказанно таяли последние радужные пятна в облаках и на воде... Лиловел тяжелый Меганом. Я не знаю, откуда на земле прекрасней открывается земля! Наше ли общее убеждение передалось Маргарите, только она, запрокинув голову, шептала: "Да, да, мы как будто на дне мира..." Волошин счастливым взглядом — одним взглядом — обнимал любимую девушку и любимую страну: больше она не враждебна его Киммерии!.. Мы долго стояли и ходили взад и вперед по темнеющей Полынь-горе. Волошин рассказывал, как накануне Маргарита зачиталась с вечера "Wahlverwandschaft"* Гете, и когда кончила читать роман, так была потрясена им, что в три часа ночи со свечой в руке, в длинной ночной сорочке пошла будить: сначала его, но, не найдя в нем, сонном, желанного отклика,— приехавших с нею двоюродную сестру и приятельницу и, подняв весь дом, стала им толковать мудрость Гете. Маргарита, смеясь смущенно: "Но как же спать, когда узнаешь самое сокровенное и странное о любви!"

У нас начались новые дни, непохожие на прежние с Волошиным. То застенчивая, то высокомерная Маргарита оттесняла его: "Ах, Макс, ты все путаешь, все путаешь..." Он не сдавался: "Но как же, амори, только из путаницы и выступит смысл".

Он оставил ее погостить у нас и, простившись с нами у ворот, широко зашагал в свой Коктебель — к стихам, книгам, к осиротевшей Вайолет.

Маргарита не ходок. Мы больше сидели с ней в тени айлантусов в долине. Зрел виноград. Я выискивала спелую гроздь розового муската и клала ей на колени, на ее матово-зеленое платье. Она набрасывала эскизы к задуманной картине, в которой Вячеслав Иванов должен был быть Дионисом или призраком его, мерцающим среди лоз, а она и я — Скорбь и Мука — "две жены в одеждах темных — два виноградаря..." (по его стихотворению)[14]. Мы перерывали шкафы, безжалостно распарывали какие-то юбки, темно-синюю и фиолетовую, крахмалили их: она хотела, чтобы они стояли траурными каменными складками, как на фресках Мантеньи. Картина эта никогда не была написана. И говорили мы чаще всего о Вяч. Иванове, о религиозной основе его стихов, многоумно решали, куда он должен вести нас, чему учить... Маргарита печалилась, что жена мешает ему на его пути ввысь. Все было возвышенно, но все — мимо жизни. Это была последняя моя длительная встреча с нею. Осенью она надолго уехала за границу. Через годы — и еще через годы — я встречала ее, и всякий раз она была все проще и цельнее, все вернее своей сущности, простой и религиозной. Но здесь я роняю Маргариту — не перескажешь всего, не проследишь линий всех отношений.

Я слишком долго задержалась на первом и интенсивном этапе нашего общения с М. Волошиным, на лете 907-го года. Дальше буду кратче.

---

* "Избирательное сродство" *(нем.)*.

Следующую зиму он в Петербурге. Живет в меблированных комнатах. Одинок. Болеет. Об этом и о круге его тогдашних интересов говорит одно из сохранившихся писем к нам.

"Дорогие Аделаида Казимировна и Евгения Казимировна! Прежде всего поздравляю вас с праздником. Долговременное мое заключение заставило меня оценить разные виды роскоши, которые раньше я недостаточно ценил, имея возможность пользоваться по желанию. Теперь же я мечтаю, как буду приходить к вам, вести длинные беседы, как только восстановится мое ритмическое общение с миром духов, которое, как известно, происходит посредством дыхания.

Как мне благодарить вас за пожелания и за книги. И Бальмонт, и Плотин, и... индюк. Этот дар Веры Степановны тронул меня больше всего и польстил. Я почувствовал себя древним трубадуром. Зимой, когда они удалялись в тишину своего дома и подготовляли к летним странствиям новые песни, из окрестных замков, согласно обычаю, им присылали дары: жареных кабанов, оленей, индюков. Вы понимаете, с какой гордостью приму восстановление этих прекрасных литературных традиций.

У Плотина я нашел очень важные вещи — некоторые почти буквальные совпадения в мыслях и даже словах с Клоделем, о котором мысленно уже пишу.

Я только что закончил статью о Брюсове[15]. Его общую характеристику как поэта. Прежде чем отдать ее в "Русь", мне бы очень, очень хотелось: н а д о бы прочесть ее вам. Может, это можно бы сделать сегодня вечером или завтра утром? Может, вы можете заехать к о м н е ..."

Одинокость. Отчужденность от кругов модернистов. Не в эту, кажется, а в следующую зиму один инцидент обострил и без того неладившиеся отношения. Нехотя ворошу эту старую историю, такую, однако, характерную для тех душных лет. В редакции "Аполлона" читались и обсуждались стихи молодых поэтов. Среди выступавших была Д[16]., незаметная, некрасивая девушка, и эстетствующий редактор С. Маковский с обидным пренебрежением отнесся к ней и к прочитанному ею. Через некоторое время он получил по почте цикл стихов. Женщина-автор тоном светской болтовни ссылалась на свою чуждость литературным кругам, намекала на знатное и иностранное происхождение. Стихи были пропитаны католическим духом, пряным и экстатичным. Тематика их, обаятельное имя Черубины, глухие намеки пленили сноба Маковского. Стихи сданы в набор, он приглашает автора в редакцию. Она отказывается. Маковский шлет ей цветы, по телефону настаивает на встрече... Какие литературные реминисценции подсказали эту игру? Не помню в точности, в какой мере М. Волошин участвовал в ней и какие мотивы преобладали в нем: страсть ли к мистификации, желание осмеять литературный снобизм, рыцарская защита женщины-поэта? Но он был упоен хитро вытканным узором и восхищался талантливостью Д. В книгах по магии он выискал имя захудалого чертенка Габриак и, приставив

к нему дворянское "де", забавлялся: "Они никогда не расшифруют!"

Когда обман раскрылся, редакция, чтобы выйти из глупого положения, в следующем же номере напечатала другие стихи Д., уже за ее подписью. Но все негодование Маковского, и его единомышленников обрушилось на Волошина. Произошли какие-то столкновения. Ему стало невтерпеж в Петербурге, и он снова бежал в любимый Париж. Но отношения с Д., дружеские и значительные, прошли через всю его жизнь. Я никогда не встречала ее, и вся эта история глухо, как бы издалека, дошла до меня.

В ту же зиму из писем Аделаиды, помеченных Парижем:

"...На днях, по желанию Дмитрия, мы устроили обед для его родных (зятя и племянницы). Макс был поваром; он великолепно готовит — его специальность суп из черепахи. Вообще Макс своим присутствием облегчает мне многое. Он легок, не помнит прошлого, не помнит себя, влюблен в Париж, всегда согласен показывать его и напоминает мне бестревожную судакскую жизнь..."

И через две недели:

"Сегодня в два часа была наша свадьба, дорогие мои, тихая и целомудренная. Обручались рабы Божии... Присутствовали только Макс, зять Дмитрия Ц. с племянницей [17] и Дима с Юриком[18]. Шаферами были Макс и Юрик, оплакивали меня Любочка и Дима, свидетелем был Ц. Он генерал, так что все-таки был свадебный генерал. Я была без вуали, но с белыми розами — M-me Holstein[19] прислала мне великолепный букет, а Макс принес une gerbe* вишневого цвета. Мы ехали в церковь вчетвером, и всю дорогу Макс читал нам свои последние парижские сонеты. Вернувшись домой, выпили кофе и малаги и потом все разошлись. Дмитрий с Максом пошли на лекцию Бергсона[20], а меня оставили отдыхать, и вот я одна сижу, вернее, лежу, и на пальце у меня блестит толстое кольцо..."

Так в ткани наших жизней имя Макса — нить знакомой, повторяющейся расцветки — мелькнет там, здесь...

С годами круг близких людей менялся, но среди них, то зимою в Москве, то летом в Крыму, время от времени появлялась фигура Волошина. Он тоже, уже не с нами, переживал самое живое, актуальное и только спешил при свидании поделиться, перерассказать все. Коктебель делался людным: комната за комнатой, терраса за террасой пристраивались в волошинской даче. Богемный, суматошный дух коктебельцев был не по нам. Мы с сестрой в те предвоенные годы — точно под нависшей тучей — каждая по-своему, мучась, переживали религиозные искания. Вместе с теми, кто стал нам тогда близок, подходили к православию, отходили — искали чистых истоков его. Вплотную к душе, к совести подступил вопрос о России... Когда Волошин слышал

---

* Охапку *(фр.)*.

эти разговоры, у него делалось каменно-безучастное лицо. А меня раздражали его все те же пестро-литературные темы.

"А Россия, Максимилиан Александрович, почему вы никогда не задумаетесь над ее судьбой?"

Он поднимает брови, круглит глаза: "Как? Но я же для этого и жил в Париже, а теперь, чтобы понять Россию, мне нужно поехать на крайний восток, в Монголию". Он в то время носился с этим планом.

Я, конечно, огрубляю его слова, было сказано сложнее, но суть та же, и я, смеясь, сообщала кому-то: "Макс, чтобы найти Россию, едет в Париж и в Монголию..."

Но так ли это нелепо? Ведь в последние годы жизни он и вправду нашел, выносил, дал свое понимание России, ухватил срединную точку равновесия в гигантских весах Востока и Запада. Что Восток и Запад — может быть, ему, чтобы выверить положение России и суть ее, нужно было провести звездные координаты...

Здесь, мне кажется, я нащупываю сердцевину его мирочувствия вообще, пальцем накрываю одну маленькую точку, из которой — все.

Какой внутренний опыт выковал своеобразие волошинской поэзии, с ее прожилками оккультных и древних идей, неотторжимых от самого в ней интимного? Послушаем его признание:

Отроком строгим бродил я
По терпким долинам
Киммерии печальной.
Ждал я призыва и знака.
И раз перед рассветом,
Встречая восход Ориона,
Я понял
Ужас ослепшей планеты,
Сыновность свою и сиротство[21].

Для многих людей отношение их к земле — мера их патетической силы, мера того, что они вообще могут понять. Еще из детства доносится бесхитростное Шиллерово:

Чтоб из низости душою
Мог подняться человек,
С древней Матушкой-Землею
Он вступил в союз навек.

Карамазовы исступленно целуют землю... По-другому и к другой земле склоняется Волошин — к Земле в ее планетарном аспекте, к оторванной от своего огненного центра, одинокой. (Замечу в скобках, что это не декадентский выверт: что Земля — стынущее тело в бесконечных черных пустотах — это реально так же, как реальны города на этой Земле, как реальна человеческая борьба с ней. Кому какая дана память!) Перелистав книгу

стихов Волошина, нельзя не заметить сразу, что самые лирические ноты вырывает у него видение Земли.

О, мать-Невольница, на грудь твоей пустыни
Склоняюсь я в полночной тишине...

В нем будит жалость и "терпкий дух земли горючей", и "горькое величье весенней вспаханной земли". Я могла бы без конца множить примеры.

В гранитах скал— надломленные крылья,
Земли отверженной застывшие усилья,
Уста Праматери, которым слова нет!

И в поэте эта немота вызывает ответный порыв: делить ее судьбу:

Быть черною землей...

И опять:

Прахом в прах таинственно сойти,
Здесь истлеть, как семя в темном дерне...

И наконец:

Свет очей — любовь мою сыновью
Я тебе — незрячей — отдаю[22].

В своем физическом обличье сам такой материковый, глыбный, с минералом иззелена-холодноватых глаз, Макс Волошин как будто и вправду вот только что возник из земли, огляделся, раскрыл рот — говорить...

История человека начинается для него не во вчерашнем каменном веке, а за миллионы миллионов лет, там, где Земля оторвалась от Солнца, осиротела. Холод сиротства в истоке. Но не это одно. Каждой частицей своего телесного состава он словно помнит великие, межзвездные дороги. Человек — "путник во Вселенной":

...солнца и созвездья возникали
И гибли внутри тебя.

Что это значит? Значений может быть много. Возьмем простейшее: впервые в сознании человека раскрывается смысл и строй того, что до него совершалось, вслепую — вглухую. Не одной Земле — всей Вселенной быть оком, быть голосом...

Все это мы вычитываем в его стихах, но это же и ключ к его человеческому существу, к линии его поведения, ко всему, вплоть до житейских мелочей. Отсюда та редкая в среде писателей свобода, независимость, нечувствительность к уколам самолюбия. Он всегда казался пришедшим издалёка — так издалёка, что сужде-

ния его звучали непривычно, порой вычурно. Но вычурность эта не словесная игра: сегодня — так, завтра — этак, а крепкое ветвие из крепкого коренья.

Те, кто знал его в эпоху гражданской войны, смены правительств, длившейся в Крыму три с лишком года, верно, запомнили, как чужд он был метанья, перепуга, кратковременных политических восторгов. На свой лад, но так же упрямо, как Лев Толстой, противостоял он вихрям истории, бившимся о порог его дома. Изгоем оставался при всякой власти. И когда он с открытой душой подходил к чекисту, на удивление вызывая и в том доверчивое отношение,— это не было трусливое подлаживание. И когда он попеременно укрывал у себя то красного, то белого — и вправду, не одного уберег,— им руководил не оппортунизм, не дряблая жалостливость, а твердый внутренний закон.

Нет, он не жалостлив. Жестокими штрихами, не минуя ни одной жестокой подробности, рисует он русскую историю в своих стихотворениях последнего периода. Впрочем, назовешь ли их стихами? Он их так называл. Не с того ли времени, как он до конца осознал свою мысль, не стало ему охоты рифмовать, раскачивать метром свои поэтические замыслы? Теперь он, как сам говорит, слово к слову "притачивает, притирает терпугом", ища только наиболее крепкого, емкого. Утекает последняя влага — не своя, заемная,— только хруст да трение сопротивляющегося материала. Люб не люб нам этот стих, но он точнее отражает внутреннее сознание поэта.

Я не пишу истории жизни Волошина. Из рассказа моего о нем выпадают целые периоды. Другие полнее опишут последние коктебельские годы, когда дом его и он сам были центром, собирающим поэтов, литературоведов, художников; писатели дореволюционные встречались с начинающими; многие произведения читались здесь впервые,— впервые звучали имена, позже упрочившиеся в литературе. Десятилетие от начала 20-х годов до начала 30-х годов.

Я не бывала на этих людных съездах. Мне чаще случалось заезжать в Коктебель в глухую осень, в зимнюю пору, когда по опустелым комнатам стонал ветер и ночь напролет хлопала сорвавшаяся ставня, а море холодно шуршало под окнами. Не в шумном окружении мне запомнился одинокий зимний Макс — Jupiter Pluvius*. Он все так же схож со своим каменным подобием — Зевсовым кумиром,— когда в долгой неподвижности клонит поседелую гриву над маленькими акварельками. Слушает, спрашивает, не слушает, а рука с оплывшими пальцами терпеливо и любовно водит кисточкой. Преждевременно потучневший — ему нет пятидесяти,— не от сердца ли? Так старый любовник, как зачарованный, опять и опять повторяет все ее черты — то алой на закате, то омраченной под дымной завесой,— но все ее, Единственной, "Земли Незнаемой"...

---

* Юпитер дождливый *(лат.)*.

Но холод гонит нас из мастерской в соседнюю комнату — столовую, где потрескивает печурка. Там за обеденным столом бездомный крымский помещик, которого Волошин приютил. Перед ним годовой комплект “Temps”* пятилетней, а то и большей давности. Вытянув подагрические ноги на другой стул, он, когда-то частый гость парижских бульваров, услаждается новостями оттуда, даже забывает брюзжать на “проклятых товарищей”.

— Ого, Максимилиан Александрович, послушайте-ка, что они в Одеоне ставят...

Смеющимися глазами Волошин поглядывает на меня. Мы устраиваемся на другом конце того же стола — тетради, книги перед нами. Он читает свои последние стихи, обсуждаем их. Читает новых поэтов, толкует их мне.

Потом у керосинки разогреваем обед. Марья Степановна[23], жена его, суровая и заботливая подруга последних лет, уехав по делам, наварила на два дня. Темнеет. С лампой в руках, укутавшись шалями, бродим вдоль книжных полок в его мастерской. Волошин выискивает мне интересные новинки. Мелькают книги нашей молодости... И за полночь засиживаемся, говоря уже не о книгах — о людях, близких и далеких, о судьбах, о смертях. Свои вправду мудрые и простые мысли он по-старому выражает нарочито парадоксально. Что это? Прихоть? Декадентский навык? Стыдливость души, стыдящейся быть большой?

И вот последняя страничка о Волошине.

В ноябре 28-го года мы всей семьей уехали из Судака, навсегда покинули его. Нам вслед — конверт из Коктебеля с акварелями. “Посылаю всем экспатриированным по акварельке для помощи в минуты сурожской ностальгии”. Сурож, Сугдея, Сольдайа — так в разные века и разные народы называли Судак.

Привожу выдержки нескольких писем Волошина, рисующих быт его предпоследней зимы.

“Поздравляю всех киммерийских изгнанников с Н. Г. и желаю всем всего лучшего. Ушедший год был тяжелым годом — в декабре из близких умерла еще Лиля (Черубина Габриак) и писательница Хин[24]. А едва ликвидировалось дело с конфискацией дачи, как начался ряд шантажных дел против наших собак. Ютафлы, этот вегетарианец, философ и непротивленец, обвиняется в том, что он раздирает овец в стадах десятками. По одному делу мы уже приговорены к 100 рублям, а ожидается еще несколько. Идет наглое вымогательство. Все это совершенно нарушает тишину нашего зимнего уединения и не дает работать. Нервы — особенно Марии Степановны, в ужасном состоянии. Писанье стихов уже несколько раз срывалось. О мемуарах нечего и думать. А я об них думаю много и чувствую всю неизбежность этой работы, которая требует меня. Дневник Блока я тоже читал с волнением. Но он совсем не удовлетворил меня. Мы много говорили о нем

---

* “Время” *(фр.)*.

летом с Сергеем Соловьевым[25]. В Блоке была странная пустота. Может, она и порождала это гулкое лирическое эхо его стихов. Он проводил часы, вырезывая и наклеивая картинки из "Нивы"!!"

"17/11-29... Простите, что не сразу отвечаю. Но хотел исполнить просимое Вами и исполнил. Но это вышла не страница мемуаров, а стихотворение, посвященное памяти Аделаиды Казимировны, которое и посылаю Вам. Кроме того, посылаю Вам законченную на этих днях поэму "Инок Епифаний" — это pendant* к Аввакуму. Его судьба давно меня волновала и трогала. Кажется, удалось передать это трогательное в его вере. Хочется ваше подробное мнение о стихах... У нас в Коктебеле жизнь обстоит так: харьковские друзья, обеспокоенные душевным состоянием Марии Степановны, прислали к нам нашего друга Домрачеву (всеобщую тетю Сашу), и та, собрав и упаковав Марусю, отправила ее в Харьков, а сама осталась "смотреть за мною". Маруся уехала с последним автобусом, а вслед за этим нас занесло снегами и заморозило морозами. Еще неожиданно свалился художник Манганари и наш летний приятель юноша Коля Поливанов. И вот мы все сидим, как остатки какой-то полярной экспедиции. Что мне не мешает целый день работать над стихами. Результаты работы я вам и посылаю..."

Вот стихотворение, посвященное Аделаиде Герцык. Оно не меньше, чем о ней, говорит об авторе его, о том, что было ему в ней близко и отзывно.

Лгать не могла, но правды никогда
Из уст ее не приходилось слышать —
Захватанной, публичной, тусклой правды,
Которой одурманен человек.
В ее речах суровая основа
Житейской поскони преображалась
В священную мерцающую ткань—
Покров Изиды. Под ее ногами
Цвели, как луг, побегами мистерий
Паркеты зал и камни мостовых.
Действительность бесследно истлевала
Под пальцами рассеянной руки.
Ей грамота мешала с детства в книге
И обедняла щедрый смысл письмян,
А физики напрасные законы
Лишали чуда таинство игры.
Своих стихов прерывистые строки,
Свистящие, как шелест древних трав,
Она шептала с вещим напряженьем,
Как заговор от сглазу в деревнях.
Слепая к дням, физически глухая,
Юродивая, старица, дитя,—
Смиренно шла сквозь все обряды жизни:

* Здесь: созвучное *(фр.)*.

Хозяйство, брак, детей и нищету.
События житейских повечерий
(Черед родин, болезней и смертей)
В ее душе отображались снами—
Сигналами иного бытия.
Когда ж вся жизнь ощерилась годами
Расстрелов, голода, усобиц и вражды,
Она, с доверьем подавая руку,
Пошла за ней на рынок и в тюрьму,
И, нищенствуя долу, литургию
На небе слышала и поняла,
Что хлеб воистину есть плоть Христова,
Что кровь и скорбь — воистину вино.
И смерть пришла, и смерти не узнала:
Вдруг растворилась в сумраке долин,
В молчании полынных плоскогорий,
В седых камнях сугдейской старины[26].

В следующем письме Волошин отвечал на некоторые мои критические замечания.

"Май... У нас наконец наступила весна, и тепло, и еще никого нет из гостей. Блаженные дни отдыха и растворения. Все зимние истории — морально — позабылись, материально — ликвидированы. Штрафы уплочены. Сердце снова готово принять людей, которых пошлет судьба, со всеми их горестями, слепотой, неуменьем жить, неуменьем общаться друг с другом, со всем, что так мучит нас летом.

Спасибо за все слова, что вы говорите о моих стихах памяти Ад[елаиде] Каз[имировне]. Но относительно двух замечаний позвольте с вами не согласиться. Первые строки — о правде — необходимы. Это первое, что обычно поражало в Ад. Каз. Хотя бы в том, как она передавала другим ею слышанное. Она столько по-иному видела и слышала, что это было первое впечатление от ее необычного существа. Но для Вас его, конечно, не было. "Паркеты зал" — необходимо художественно как контраст с последними строфами. И в конце концов, фактически (сколько я помню ваши московские квартиры разных эпох) не так уж неверно. Эта антитеза обстановки нужна.

Посылаю вам еще стихи, написанные позже: "Владимирская Богоматерь"[27] — стихи мне кажутся значительными в цикле моих стихов о России. Мне очень ценно ваше мнение о них. Очень хотелось бы, чтобы вы переслали их В. С.— туда. Последнее время у меня частая тоска по общению со всеми отсутствующими и далекими. Я себе все эти годы не позволяю думать, но иногда это прорывается.

Кончаю это краткое письмецо. На сегодня ждет еще много обязательной корреспонденции, которая иногда меня изводит.

Приветы, пожелания и акварельки всем".

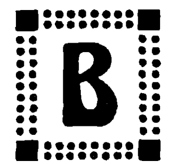
В 1930 году мы потеряли близкого человека. Максимилиан Александрович прислал нам большую акварель — все та же земля

Киммерийская в тонах серебристо-сизых с облаком, повисшим над горой. Он написал: “Только что узнал о смерти Е. А. Радуюсь за нее. И глубоко сочувствую вам. Примите это видение на память о ней”.

Смерть не страшила его, быть может, в иные дни в глубине влекла, как того, чей дух полон, мысль додумана. В августе 32-го года он умер. В своей предсмертной болезни, как мне писали потом, был трогательно терпелив и просветлен.

БЕРДЯЕВ

1



ечер. Знакомыми арбатскими переулочками — к Бердяевым. Квадратная комната с красного дерева мебелью. Зеркало в старинной овальной раме над диваном. Сумерничают две женщины, красивые и приветливые, жена Бердяева и сестра ее[1]. Его нет дома, но привычным шагом иду в его кабинет. Присаживаюсь к большому письменному столу: творческого беспорядка никакого, все убрано в стол, только справа, слева стопки книг. Сколько их! Ближе — читаемые, заложенные, дальше — припасенные вперед. Разнообразие: Каббала[2], Гуссерль и Коген[3], Симеон Новый Богослов[4], труды по́ физике; стопочка французских католиков, а поодаль непременно роман на ночь — что-нибудь выисканное у букиниста: Мельмонт "Скиталец", о котором еще в "Онегине"... Прохаживаюсь по комнате: над широким диваном, где на ночь стелется ему постель, распятие черного дерева и слоновой кости,— мы вместе купили его в Риме. Дальше на стене акварель — благоговейной рукой изображена келья старца. Рисовала бабка Бердяева: родовитая киевлянка, еще молодой она подпала под влияние схимника Парфения. Было у него необычайное в монашестве почитание превыше Христа и Богоматери — Духа Святого. Иносказаниями учил жизни в духе. Молодая женщина приняла тайный постриг, то есть, продолжая жить в миру, неся обязанности матери, хозяйки богатого дома, втайне строго выполняла монашеский устав молитвословия и аскезы. Муж лишился красавицы жены, и так это озлобило его, что даже после ее смерти, в старческом слабоумии, прогуливаясь с палочкой по Крещатику, замахивался на каждого встречного монаха—а сколько их встречалось в старом Киеве! Дети выросли неверами: отца Бердяева я видела стариком — он смешил запоздалым стародворянским вольтерианством. А вот внук... Со стороны матери другая кровь — родом Шуазёль, родня в Сенжерменском предместье, хоть и победневшая, но столь чванная, что еще в начале этого века разъезжала по Парижу в отчаянно громыхавших колясках, презирая резиновые шины как буржуазно-демократическое измышление. Душнее, сле-

шее круга не сыщешь, но вдали — позади пышных царедворцев — предки-рыцари, мечом ковавшие Европу своего времени. Много мертвых и цепких петель опутали, держат Бердяева. Отсюда, может быть, эти частые пароксизмы, порывания со вчерашним еще уютом, со вчерашним кругом людей и идей, отсюда этот привычный жест как бы высвобождения шеи из всегда тугого крахмального воротника. А уют и старина сами собою обрастают вокруг него... Так и живет он среди двух борющихся тенденций — разрушать и сохранять.

Когда я с ним познакомилась, еще не было этой памятной многим московской квартиры[5], из которой в двадцать втором году я провожала его в изгнание. Он был бездомным, только что порвавшим с петербургским кругом модернистов, с "Вопросами жизни"[6], где был соредактором, с Мережковскими, тянувшими его в свое революционно-духовное деланье. Бездомный, переживший лихорадку отвращения и вдруг опять помолодевший, просветлевший, опять полный творческого бурления — как он мне был нужен такой весною девятого года, трудной моей весной! Может быть, почувствовав и во мне волю к высвобождению, хоть и бессильную, так сразу повлекся он ко мне. И сразу завязалась наша дружба, многолетняя, никогда ни на миг не омраченная. Счастливая моя дружба.

С осени он с женою поселился в Москве, в скромных меблированных комнатах — всегда острое безденежье,— но убогость обстановки не заслоняла врожденной ему барственности. Всегда элегантный, в ладно сидящем костюме, гордая посадка головы, пышная черная шевелюра, вокруг — тонкий дух сигареты. Красивая, ленивая в движениях Лидия Юдифовна в помятых бархатах величаво встречала гостей. И за чайным столом острая, сверкающая умом беседа хозяина.

Совсем недавний христианин, в Москве Бердяев искал сближения с той, не надуманной в литературных салонах, а подлинной и народной жизнью церкви. Помню его в долгие великопостные службы в какой-то церкви в Зарядье, где умный и суровый священник сумел привлечь необычных прихожан — фабричных рабочих. Но как отличался Бердяев от других новообращенных, готовых отречься и от разума, и от человеческой гордости.

Стоя крепко на том, что умаление в чем бы то ни было не может быть во славу Божью, он утверждает мощь и бытийственность мысли, борется за нее. Острый диалектик наносит удары направо, налево, иногда один быстрый укол... Душно, лампадно с ним никогда не было. И чувство юмора не покидало его. Случалось, мы улыбнемся с ним через головы тогдашних единомышленников его, благочестивейших Новоселова[7], Булгакова.

В маленькую мою комнату в нашей скромной квартирке на Солянке в разные часы дня заходит Бердяев, взволнованно спешит поделиться впечатлением. Под Москвой была Зосимова Пустынь[8],— как в дни Гоголя и Достоевского к оптинским старцам, так теперь сюда, в Зосимову, шла за руководством

уверовавшая интеллигенция Москвы. После поездки туда с каким мучительным, двоящимся чувством пересказывал мне Бердяев свои разговоры с особо чтимым о. Алексеем, ни на миг не закрывая глаз на рознь между ними. А так хотел он полноты слияния со святыней православия! Подавленность — но сейчас же и гордая вспышка: "Нет, старчество — порождение человеческое, не божеское. В Евангелии нет старчества. Христос — вечно молод. Человек — вечно молод".

Несколько раз я была с Бердяевым и его женою в знаменитом трактире "Яма" (кажется, на Покровке), где собирались сектанты разных толков, толстовцы, велись прения; захаживал и казенный миссионер, спорил нудно, впрочем, скромно. Кругом за столиками с пузатыми чайниками слушатели больше мещанского вида, но иногда и любопытствующие интеллигенты — религия в моде. Споры об аде — где он: реален или в душе? Волнует их вопрос о душе, ее совершенствовании, о пути к нему: все они за эволюцию. "Бессмертники". Эти — мистики, для них смерти уж нет и греха нет. Сияющий старик-говорун в засаленном пиджачке: "Не могу грешить, и хотел бы, да не могу!" Никита Пустосвят — в лохмотьях, как босяк,— у этого какая-то путаная мистика времени: двигая перед лицом темными пальцами, трудно роняет слова — какие сочные! — о том, что смерти нет. Сколько индивидуальностей — столько вер. Та же страсть к игре мысли у этих, трактирных, малограмотных, что и у философов, заседающих в круглом зале университета,— а может быть, и более подлинная. Случалось, когда посторонние разойдутся, уйдет миссионер, останутся только самые заядлые — сдвинут столики, и Бердяев острыми вопросами подталкивает, оформляет их мысль, а потом не казенным, **своим**, огневым словом говорит о церкви, о вселенскости.

В эти годы возникло религиозно-философское издательство "Путь"[9]: в программе его монографии о разных самобытных, не академических мыслителях русских: Чаадаеве, Сковороде, Хомякове — и вообще изучение русской религиозной мысли. Во главе издательства те же лица, что составляли ядро Религиозно-философского общества. Не легковесная петербургская "христианская секция" — это затеяно солидно: по-московски, по-ученому и на солидной финансовой базе. Маргарита Кирилловна Морозова[10] — красивая, тактично-тихая, с потрясающе огромными бриллиантами в ушах, почему-то возлюбила религиозную философию и субсидировала издательство. В ее доме бывали и собрания Религиозно-философского общества: президиум заседал на фоне врубелевского Фауста с Маргаритой, выглядывающих из острогранной листвы. Умерший муж Морозовой был первым ценителем и скупщиком Врубеля. В перерыве по бесшумным серым коврам через анфиладу комнат шли в столовую пить чай с тортами — не все, а избранные. Морозова с величавой улыбкой возьмет меня под руку и повлечет туда вслед за другими — она, вероятно, и имени моего не знала, но видела, что со мною в дружбе и Бердяев, и Булгаков, и старик Рачинский[11],

и славнейший гость петербургский Вячеслав Иванов; тут же, у стола с зеленой скатертью, завязывался у меня оживленный разговор с одним, с другим. Наскучив темными одеждами, я сделала себе белое платье строгого покроя, отороченное темным мехом. Друзья видели в этом символ... Не было у меня тщеславней поры, чем эта, "о Божьем", и с подлинной тоской к Богу обращенная. Но подлинность эта была только наедине, в мои горькие или озаренные часы, да еще с другом, с Бердяевым, потому что он, и сам чересчур сложный, видел насквозь путанную сложность мою. Все же другие — Булгаков, Эрн — с наивностью умилялись моему "обращению" и отходу от греховного декадентства, и я, не совсем лукавя, такою с ними и была.

Захаживал ко мне и старик Рачинский, просвещал в православии. Изумительная фигура старой Москвы: дымя папиросой, захлебываясь, целыми страницами гремел по-славянски из Ветхого завета; перебивал себя немецкими строфами Гете и вдруг, размашисто перекрестясь, перебивал Гете великолепными стихирами (знал службы назубок). И все заканчивал таинственным, на ухо, сообщением из оккультных кругов — тоже ему близких. Подлинно верующий, подлинно ученый и, что важнее, вправду умный, он все же был каким-то шекспировским шутом во славу Божью — горсткой соли в пресном московском кругу. И за соль, и за знания, и за детскую веру его любили.

2

Встречи, разговоры, сборища у тех, у других — и вдруг, разом, все мне отблекло, обезвкусилось. Издавна знакомое чувство отвращения ко всему, и прежде всего к себе самой,— так, до скончания века разговорщица на высокие темы... Почти неприязнь к Бердяеву. Уезжаю в Судак, дышу его весенним холодом, влажной сиренью, чужая к земле, забормотанная богословскими спорами. Перевожу немецкого мистика, заказанного мне издательством "Путь",— перевожу, глушу себя, но и труд не разглаживает нахмуренности лба. Не отвечаю на письма Бердяева. И вдруг он сам, незваный, приезжает — и с первой же встречи опять так близок! То, что во мне едва, и вяло, и бесплодно всколыхнулось — в нем ярым бунтом: назревает раскол с "Путем", с московскими православными. Рвутся цепи благочестия, смирения, наложенные им на себя. Боль от еще не пробившейся к свету **своей** правды — канун слепительных молний. Глазами вижу эту боль: бледная, с длинными ногтями, рука — рука мыслителя, не человека земных дел — чаще обычного судорожно впивается в медный набалдашник трости. Говорим полусловами, встречая один другого на полдороге. И в радости ежеминутных встреч растворяется, нет — заостряется внутреннее противоречие каждого, приближая, торопя новое, освобождающее знание. При этом несоизмеримость

наших умов, талантов, воль не играет роли: его огромной творческой активности, видимо, достаточно той малой духовной напряженности, которую он встречал во мне, как мне, чтобы сдвинуться с мертвой точки, нужна была вся сила его устремленности. Равенство было полное, и равна была взаимная благодарность. Разговаривая, мы без устали, всегда спешным, все ускоряющимся шагом ходили по долине, карабкались горными тропинками. Иногда, опережая меня, он убегал вперед, я, запыхавшись, за ним и видела со спины, как он вдруг судорожно перегибает шею, как бы изнутри потрясенный чем-то. Случалось, мы не заметим, как стемнеет и внезапно над потухшим морем вдали-дали вспыхнет мигающим светом Меганомский маяк: раз — вспышка, два, три, четыре — нет, и опять — раз — вспышка. И таинственней, и просторней станет на душе от этого мерного ритма огня. Замолчим, удивимся, что, не заметив, ушли так далеко от дома.

Не впустую было его волнение тех дней и того года вообще,— в нем рождалось, и, как всегда бывает, рождалось трудно, самое для него центральное: идея творчества как религиозной задачи человека. Может казаться, что мысль эта не нова — кто не славил творчества? Однако **религиозного** оправдания его до Бердяева никогда не бывало. На религиозном пути утверждалась праведность, любовь, но не творчество. Обычно культ игры творческих сил связан с какой-то долей скептицизма, с отрицанием высшего смысла или с бунтом против него. Для него же, для Бердяева, идея творческой свободы человека неразрывно связана с верой в верховный миропорядок, связана со страстным по-библейски богопочитанием. Да, ныне человек в **свои** руки перенимает дело творчества (мир вступил в творческий период), но не как бунтарь, а как рыцарь, призванный спасти не только мир, но и дело самого Бога. Да и вообще, философскую мысль Бердяева так и хочется охарактеризовать как рыцарственную: решение любой проблемы у него никогда не диктуется затаенной обидой, страхом, ненавистью, как было, скажем, у Ницше, у Достоевского и у стольких. И в жизни он нес свое достоинство мыслителя так, как предок его, какой-нибудь Шуазёль, свою noblesse*, потрясая драгоценным кружевом брыж, считая, что острое слово глубине мысли не укор, без тяжести, без надрыва, храня про себя одного муки противоречий, иногда философского отчаяния. В этом и сила его, и слабость. Интимных нот у него не услышишь. Там, где другой философ-мистик обнажит пронзенность своей души, покаянно падет перед святыней — он седлает Христа и паладином мчится в бой или выдвигает его как выигрышную фигуру, как высшее, абсолютнейшее... Не умиляет.

Трещина между Н. Бердяевым и московским издательством все шире, обмен враждебными письмами; он спешит закончить

* Знатность *(фр.)*.

монографию о Хомякове[12], деньги за которую давно прожиты, строит планы отъезда на зиму за границу с женою и ее сестрой, на родину творчества, в Италию, добывает деньги, закабаляет себя в другом издательстве, где просто толстая мошна, коммерция, где не станут залезать в его совесть... В письмах делится со мною, зовет присоединиться к ним. Отвечаю скупо. Опять замыкаюсь. Я-то ведь ничего не нашла. В гневном письме Бердяев восклицает: "Я не допускаю, чтобы мы разошлись, я хочу быть с вами, хочу, чтобы вы были со мною, хочу быть вместе на веки веков". Помню, как над этим письмом у меня — буквально так, как говорится,— брызнули слезы: душа растопилась. Казалось, без этих слов не дожила бы до вечера. Конечно, с ними в Италию! Но поехать мне удалось только в феврале[13]. Я застала их в Риме — перед этим они долго прожили во Флоренции, объехали маленькие городки. В первый же наш вечер они повезли меня на Яникул, на эту вышку Рима, и оттуда в вечерней заре я смотрела в море красно-коричневых крыш, на дальний Палантин и вспоминала... Но — все бывает не так, как ждешь. Праздника наслаждения Италией с другом — нет. Я опоздала. Два-три месяца он переживал, впитывал ее с ему одному свойственной стремительностью, потом щелкнул внутренний затвор, отбрасывая впечатления извне, рука потянулась к перу — писать, писать... А из Киева тревожные письма о болезни матери, о запутанности денежных дел этой обнищавшей и избалованной семьи, которая привыкла к тому, что "Коля" выручит из всех бед, телеграммы, требующие его возвращения, а здесь — слезы жены, возмущенной эгоизмом стариков: нарушить так трудно давшуюся ему передышку... Мы зажили не по-туристски тревожно. Просыпаюсь утром — не отдохнувшая после позднего сидения вечером — и спешу опять к нервно-озабоченному Николаю Александровичу, разговорить его тревогу, вдвоем пьем кофейную бурду с темными хлебцами (живем в бедном пансионе). Потом идем — не ждем медленных сестер,— идем разыскивать мозаики по старым базиликам. Заходим послушать служение братьев-доминиканцев: в черном с белым они ритмично движутся, читают в нос,— в красивых лицах, в наклоне голов что-то античное, не христианское. А рядом — украдкой вижу — друг закрывает лицо нервно вздрагивающей рукой. Молится? На улице все мучительное забылось, мы шли и говорили о творчестве. Он: "Весь Ренессанс — неудача, великая неудача, тем и велик он, что неудача: величайший в истории творческий порыв рухнул, не удался, потому что задача всякого творчества — мир пересоздать, а здесь остались только фрески, фронтоны, барельефы — каменный хлам! А где же новый мир?" Заспорив, мы запутались среди трамваев на пьяцца Venezia, долго не могли попасть в свой. А ближе к дому, на нашем тихом холме, бросив меня, он побежал вперед, ожидая новой зловещей телеграммы. И потом, он не любит Рима — "вашего Рима",— мне с вызовом. Мертвенная скука мраморов Ватикана с напыщенным Аполлоном Бельведерским. Грузные ангелы, нависшие над алтарями барочных

церквей... Душа его во Флоренции, Флоренция была ему откровением, он то и дело вспоминает ее.

И вот мы вдвоем в поезде на несколько дней во Флоренцию: он хочет мне ее показать так, как увидел сам. Флоренция! Не знаю, люблю ли ее. Благоуханного нет в ней для меня. Как неверно, что Флоренция для влюбленных! Но постепенно проникаюсь едким вирусом ее. Неутоленность, тоска, порыв. "Но сперва вам надо понять, откуда, из каких корней это..." Он ведет меня в дома-крепости, купеческие замки, разделенные один от другого проулочком в два метра шириной, бойница в бойницу, а в тесных хоромах только все сундуки, рундуки расписные: казна, деньги — вот их дворянские грамоты. Одни — скопидомы, другие — расточители. Все — стяжатели. Потом синьория — народоправство. Все трезво, жестоко, без мечтательности. И — расцвет искусств и ремесел. Как понять, что в такой полный час истории, в такой корыстный, и в упоенно-творческой Флоренции все высшие достижения говорят о том, что нельзя жить на земле, тянутся прочь? Таков Боттичелли. Как и вся Флоренция, он — дерзновение творчества, создания не бывшего,— потому впервые и сюжеты у него **свои**, не одни традиционные мадонны, и тоска одиночества потому. Молча стоим вдвоем перед "Весною", этой бессолнечной, призрачной весною, за которой не будет лета, не будет жатвы. В Уфицци, минуя залы, картины, Николай Александрович быстро ведет меня к одной, им отмеченной,— Полайола: три странника, трех разных возрастов, три скорбно-задумчивые головы. О чем скорбь? Куда их путь? А вот эта его же, на высоком цоколе,— Prudentia*: руки и ноги аристократически утончены, широко расставленные глаза с холодным, невыразимо сложным выражением. Каким? Оглядываюсь на друга. Впился пальцами (аж побелели они) в портсигар, давая исход молчаливому волнению. Как же властно над ним искусство! Флоренция мне — ключ к нему. Он — к Флоренции. Но я изнемогла от усталости, от впечатлений. Домой. "Еще десять минут",— упрашивает он, сердится и влечет меня прочь от Уфицци узкими улочками, где едва ли разминуться с медленно пробирающимся трамваем, в церковь, в Бадию; не давая мне окинуть ее взглядом, к одной, одной только филиппиниевской фреске: "Явление Богоматери св. Бернарду". Женский хрупкий профиль. Но он торопит меня смотреть на ее руку: так глубоко прорезаны пальцы, так тонки, что, кажется, сохраняя всю красоту земной формы, рука эта уж один дух, уже не плоть. И восторг в глазах Бердяева выдает мне его тайну — ненависть к плоти, надежду, что она рассыплется вся (аминь, аминь, рассыпься). Помню, через несколько лет, в 15—17-м годах, когда он впервые познакомился с кубизмом в живописи, с картинами Пикассо, с каким волнением приветствовал он то, в чем увидел симптом разрушения материи. До хрипоты кричал среди друзей о "распластовании материи", о "космическом ветре".

---

* Осторожность *(лат.)*.

Беру его под руку, чтобы умерить, затормозить его бег. "Ну да, конечно, вы Рима любить, понять не можете..." Но додумала я это уж после. И не тогда, когда мы вернулись в Рим: события, вести ускорились, и через несколько дней я провожала их в Россию,— его, уже мужественного, жену его Лидию, с которой в Риме впервые сблизилась, заплаканную: точно предчувствуя свое будущее католичество, она с болью отрывалась от града св. Петра.

Додумала это в мои одинокие блуждания по Риму. Если Флоренция вся — порыв, напряжение воли, преувеличение творческих возможностей человека, то Рим — покой завершенности. Созидался-то и он жестокой волей Империи, корыстью и грехами пап, замешан на крови и зле, но время, что ли, покрыло все золото-тусклой патиной, не видно в нем напряжения мускулов, восстания духа — невыразимая, всеохватная тишь. Земля к земле вернулась.

3

Не перескажешь все те жизненные сочетания, в которые складывались мои с Бердяевым отношения. Вот мы живем вместе в Москве (912—13). Приютила нас созданная моей подругой школа, о которой мне уж пришлось говорить. Утром, вечером сходились за чайным, за обеденным столом в большом зале вместе с подругой и ее домочадцами или интимней — в бердяевской комнате, в моей. Это было после Италии. Николай Александрович начал писать свою самую значительную книгу "Смысл творчества"[14], весь жил ею. Центральная тема ее — раскрытие творческой личности — сводила его с новыми людьми: его интересовали антропософы[15], но тут же он жестоко нападал на них, доказывая, что их "антропос" не человек вовсе, не живое единство, а туманное наслоение планов. Но в процессе спора он так раскрыт всему живому в чужой мысли, так склонен увлечься ею, что эти самые антропософы, философски побиваемые им, тяготели к нему. Вопросы гносеологии творчества сводят его с теоретиками искусства из "Мусагета"[16]; с Андреем Белым, с молодыми и рьяными неокантианцами — Степуном[17] и другими. Всего труднее ему общение с философами православия, Булгаковым, Эрном, Флоренским[18], всегдашнее затаенное недоверие с их стороны, а с его — тоже затаенный, но кипящий в нем протест против их духовной трусости, затхлости. Заходит искусствовед Муратов[19], с которым знакомство из Рима,— при виде его вспоминаются какие-нибудь не на большой туристской дороге лежащие памятники прошлого: заброшенная, но прелестная Villa Madame на Аппиевой дороге, куда он водил нас, и вся пронизанная печалью красота Кампаньи, где мы вместе бродили. Здесь, в Москве, Муратов нам проводник на выставку икон — событие в художественной жизни тех лет, в собрание французской живописи у Щукина. Каждой новой встречей,

каждым значительным разговором Бердяев делился со мною, но в многолюдстве, в мелькании городской жизни наши отношения не достигали той остроты, той пронзительности, как при встречах летом, в природе, один на один.

Я возвращалась осенью из-за границы после шести месяцев, проведенных сперва у Вяч. Иванова в Риме, потом по лечебным местам с больными из нашей семьи. Списалась с Бердяевым, условились съехаться с ними по пути в Крым в имении подруги на Украине. Затосковала по русским полям. Пока я ехала со станции в коляске мягким черноземом среди сложенных скирдов в непривычной — отвычной — тишине, я повторяла себе, внушала себе: да, потому я поехала в Мюнхен, потому вступила в Антропософское общество, что не могу больше жить так, как жила,— без ответственности, без подвига в вере, свобода в неверии, сладость дружбы... Слова, слова, а дел нет. Я хочу же наконец дела, хочу служить миру. Пусть те, мюнхенские, чужды мне — тем вернее. Тут-то уж не услада... Но ему я ничего не скажу.

С террасы, где уж накрывали к завтраку, несли вареники, сметану, всякую деревенскую снедь, мы вдвоем спустились в широкую аллею, уходящую в степь. Темные липы, рыже-красные лапчатые клены. Говорили о чем-то безразличном, дорожном. Но Николай Александрович, хмурясь, взглядывал на меня и перебил: "Что с тобою? Что-нибудь случилось?" И бесстрастным голосом я тотчас же рассказала ему. Не могла скрыть. Не глядя на него: "Не говори. Я все знаю, что можно сказать против Штейнера, и сама не в упоении ничуть. Но для меня в этом пути истина, вырывающая меня наконец из моего шатания духовного. Безрадостная, правда, но ведь и младенцу, отнятому от груди, сперва станет безрадостно, сухо... И однако..."

Он остановился, преградив мне аллею, и почти закричал: "Но это же ложь, истина может быть только невестой, желанной, любимой! Ведь истина открывается творческой активности духа, не иначе. А ты мне о младенце... И как же тогда она может быть безрадостной? Имей же мужество лучше сказать, что ты просто ничего не знаешь, все потеряла, отбрось все до конца, останься одна, но не хватайся за чужое..."

Он обрушился на меня потоком прожигающих слов. С террасы нас звали. А мы, не слушая, ходили, ходили, говорили. Рыже-огненные, слетали на нас листья клена.

Вечером, усталая, смывая с себя вагонную пыль, отжимая мокрые волосы, я после многих-многих дней в первый раз вздохнула легко: "И где это я читала, что имя "Николай" значит витязь, защитник? Смешной, как Персей, ринулся на выручку Андромеды,— кто это по мифу держал ее в плену? Но он совсем не переубедил меня..." Потом потянулись дни: обед, прогулки, общие разговоры, все только на час, на часы прерывало мучительный, все больное и стыдное обнажавший во мне поединок, но

сладостный, потому что в любви. Он бился за меня со мною. Вся трудность, вся свобода решения оставалась на мне, но этим разделением моей тяготы, моего смятения он дал мне лучшее, что человек может дать другому. Эти дни в Ольховом Роге связали нас по-новому.

Пламенный в споре, воинствующий, Бердяев не давил чужой свободы. Не повести за собой — только высвободить человека из опутывавших его лжей. Насколько он умел быть терпимым, мириться с чужой правдой, показывает то, как он принял позднее переход жены в католичество,— и не это одно, а вступление ее в доминиканский орден с подчинением всей жизни строжайшему монастырскому уставу. Глубоко расходясь с идеологией и практикой католичества, постоянно полемизируя с ним, Бердяев по-настоящему уважал верования жены, не отдалялся от нее и терпеливо сносил все домашние неудобства, все нарушения часов вставания, обеда и т. д. Он писал мне: “У Лили свой особый путь. Католичество ей много дало. Но у меня очень ухудшилось отношение к католичеству, более близкое знакомство с ним меня очень оттолкнуло”.

4

В начале пятнадцатого года Бердяев, проводивший зиму в деревне под Харьковом, приехал в Москву прочесть лекцию, остановился вместе с женою у сестры моей, у которой жила и я в ту первую военную зиму. Муж сестры на фронте, работает в думской организации. Мы зажили по-девичьи, наслаждаясь нашей давней близостью,— только теперь между нами два мальчика, меньшому два года, легонький, как перышко, носит его по комнатам. Старший, шестилетний, уже без устали сочиняет, собирая лобик в складки, рисует. Квартира в переулке у Новинского, снежные сугробы во дворе; жили мы тихо, притаясь, оглушенные совершавшимся. С приездом Бердяевых хлынули люди, закипели споры. В один из первых дней Николай Александрович, возвращаясь с какого-то собрания, поскользнулся и сломал ногу. Когда его вносили в дом, он доспаривал с сопровождавшим его знакомым на какую-то философскую тему.

Потом два месяца лежания, нога во льду, в лубках, сращение перелома затянулось. Друзья и просто знакомые навещают его. Телефонные звонки, уходы, приходы, все обостряющиеся споры между ним и Булгаковым, Вяч. Ивановым, которых захватил шовинистический угар. Приезжие из Петербурга, с фронта. Судебный процесс: Бердяев привлечен за статью против Распутина, модный адвокат навещает его, кадеты, которых ни тогда, ни после в эмиграции он не терпел, восхваляют его. Мы с Аделаидой часто не знаем, кто у нас, почти не знакомы, до одури усталые покорно кружимся вокруг

стола, чай, чай наливаем без конца. Новыми были хлынувшие из Варшавы беженцы-поляки,— у некоторых из них создается живой контакт с Бердяевым, разговор переходит на французский язык, на очереди вопросы польского мессионизма. На нашем, давно молчащем пианино играет Шимановский[20], талантливый композитор-новатор. Сколько-то польской крови было у Бердяева, какая-то из прошлого связь с верхушкой польской интеллигенции: крестной его матерью была вдова Красинского[21], крупного поэта, продолжателя идей Мицкевича и Словацкого. Николай Александрович глубоко переживал трагическую судьбу этого народа. Вообще в это время у него обострился интерес к вопросам национальностей. Не так, как у славянофилов или тогдашних эпигонов их, чувствующих только одну свою народность,— он же остро вникал в особенности каждой нации. В ту пору повальной германофобии напечатал этюд о германском духе с исключительно высокой оценкой его. Но так же, как шовинизм, ненавистен ему и пасифизм, уклонение от ответственности за судьбу родины. Любовь к России как вино ударила ему в голову. И все это было связано с самыми глубокими корнями его философии. Он сам как-то писал мне: "В моих идеях по философии истории есть что-то определяющее для всего моего миросозерцания и, быть может, наиболее новое, что мне удается внести в чистое познание". Не знаю, что именно он здесь разумеет. Меня же вдохновляло то, что его чувство человеческого "я" не теряет в яркости, в силе, когда он рассматривает это "я" в свете истории. "Да, путь человека к всечеловечеству через дебри истории, через национальность, но нация — тоже лицо, и человек как часть нации сугубо личен. Каждая человеческая песчинка, уносимая и терзаемая вихрем истории, может, должна внутри себя вмещать и нацию, человечество. Судьба народов и всего человечества — **моя судьба**, я в ней и она во мне. Да и это слишком узко. Человек не муравей, и самый устроенный муравейник будет ему тесен. Социологи слишком часто забывают, что есть глубокие недра земли и необъятные звездные миры... А между тем подлинные достижения человеческой общественности связаны неразрывно с творческой властью человека над природой. Но этого не достигнуть одной техникой, для этого нужна не нынешняя самодисциплина — иная высшая степень обладания собою, своими собственными стихиями... человек..."

Волнуясь, он повышает голос, силится приподняться, морщится от боли: с этой вытянутой ногой, в лежачем положении на диване (ненавидит все мягкое, расслабляющее) ему трудно выразить всю действенность своей мысли.

Я подсказываю: "Ну да, весь космос — тайный орден и преследует тайные цели. В нем степени посвящения, мастера, подмастерья. Имя мастера — человек. А ты — великий магистр ордена. Так?"

"Насмешница!" — Но доволен.

5

Вышла книга Бердяева “Смысл творчества”. Толстый том. Сотни пламенных, парадоксальных страниц. Книга не написана — выкрикнута. Местами стиль маниакальный: на иной странице повторяется пятьдесят раз какое-нибудь слово, несущее натиск его воли: человек, свобода, творчество. Он бешено бьет молотком по читателю. Не размышляет, не строит умозаключений, он декретирует. Открываю наугад — какие сказуемые, то есть какая структура словесного древа: “Мы должны... необходимо... надо, чтобы... возможно лишь то-то, а не то-то...” Повеления. Это утомляет и раздражает читателя. Не меня. Посягательства на **мою** свободу я в этом не вижу. Вижу, то есть слышу, другое. **Голос** книги многое говорит мне о судьбе ее автора. Навязчиво встает передо мною образ: кто-то вырвавшийся из пламени — одежды его горят, пышные волосы охвачены огнем, пламя позади, пламя настигает... Образ этот сливается для меня с Бердяевым, с его философским построением.

Тьма, ничто, бездна, ужас тьмы — вот что для Бердяева в основе бытия, вот в чем корни и божественного миротворчества, и бездонной свободы человеческого духа. Но эта тьма, бездна снова настигает светлый космос и человека и грозит поглотить их — отсюда необходимость творчества во что бы то ни стало, отсюда центральное место творчества в идеях Бердяева: твори, не то погибнешь... Конечно, это всего лишь грубый намек на внутреннее зерно, хочется сказать — на потаенный миф его философии, нигде полностью им не раскрытый, хотя он постоянно ходит вокруг. В одном письме ко мне он говорит: “Я часто думаю так: Бог всемогущ в бытии и над бытием, но он бессилен перед “ничто”, которое до бытия и вне бытия. Он мог только распяться над бездной этого “ничто” и тем внести свет в него... В этом и тайна свободы (то есть как человек может быть свободен от Бога). Отсюда и бесконечный источник для творчества. Без “ничто”, без небытия творчество в истинном смысле слова было бы невозможно... Спасение же, о котором говорится в Евангелии, есть то же творчество, но ущемленное сопротивлением “ничто”, втягивающим творение обратно в свою бездонную тьму. Тут у меня начинается ряд эзотерических мыслей, которые я до конца не выразил в своей статье “Спасение и Творчество”.

Словесная форма этих бердяевских мыслей сложилась под влиянием мистика Якова Бёме[22]. Яков Бёме — исключительное явление в истории христианской мысли. Не век ли Возрождения, к которому он принадлежал, бросил на него отблеск своего титанизма и возвеличения человеческой личности? Правда, что все это по-средневековому окрашено у него натурфилософски, отдает алхимической лабораторией: сера, огонь, соль и т. д. Близок он Бердяеву в том, что для обоих мировой процесс — борьба с тьмою небытия, что оба ранены злом и мукой жизни, обоими миссия человека вознесена необычайно.

Но и задолго до знакомства с Бёме Бердяев в личном подсознательном опыте переживал этот ужас тьмы, хаоса. Помню, когда он бывал у нас в Судаке[23], не раз среди ночи с другого конца дома доносился крик, от которого жутко становилось. Утром, смущенный, он рассказывал мне, что среди сна испытывал нечто такое, как если бы клубок змей или гигантский паук спускался на него сверху: вот-вот задушит, втянет его в себя. Он хватался за ворот сорочки, разрывал ее на себе. Может быть, отсюда же, от этого трепета над какой-то бездной и нервный тик, искажавший его лицо, судорожные движения руки. С этим же связаны и разные мелкие и смешные странности Бердяева — например, отвращение, почти боязнь всего мягкого, нежащего, охватывающего: мягкой постели, кресла, в котором тонешь... Но эта темная, всегда им чувствуемая как угроза стихия ночи, мировой ночи, не только ужасала, но и влекла его. Может быть, так же, как Тютчева, кстати, любимого и самого близкого ему поэта. Ведь только благодаря ей, вырываясь из нее, рождается дух, свет. Все может раскрыться лишь через **другое,** через сопротивление. Диалектиком Бердяев был не по философскому убеждению, а кровно, стихийно.

6

Барвиха, живописнейшая, на высоком берегу Москвы-реки,— там проводила я с Бердяевыми последнее их лето на родине. Четыре года отрезанности в Крыму без переписки, без вестей, и вот наконец первый обмен письмами, и летом 22-го года я поехала к ним. После заточения в Судаке, после знойных и суровых годов — прикоснуться к ласковой, насквозь зеленой русской земле! Бердяевы тоже в первый раз с революции выехали на дачу и наслаждались. С прекрасной непоследовательностью Николай Александрович, ненавистник материального мира, страстно любил природу,— и больше всего вот эту, простую, русскую, лесистую, ржаную. И животных: как бы он ни был захвачен разговором, в прогулке он не мог пропустить ни одной собаки, не подозвав ее, не поговорив с нею на каком-то собачье-человеческом языке. Помню, в давние годы, заехав к ним на их дачку под Харьковом, я застала всю семью в заботе о подбитой галке; всего чаще она сидела на плече у Николая Александровича, трепыхая крыльями и ударяя его по голове, а он боялся шевельнуться, чтобы не потревожить ее. Теперь всю любовь бездетного холостяка он изливал на Томку, старого, полуоблезлого терьера. Сколько нам нужно было переговорить за все эти годы. Но не говорилось. Я застала их еще в Москве — заканчивался зимний сезон, шли научные совещания, к ним забегали прощаться, уговаривались на будущую зиму. В их квартире, все той же, толпился народ, мне незнакомый. Бердяев жил не прежней жизнью, в тесной среде писателей-одиночек. Он — основатель Вольной Академии Духовной Культуры[24],

читает лекции, ведет семинары, избран в Университет, ведет и там какой-то курс. Окружен доцентами. О политике не говорят — успокоились, устроились, только иногда кто-нибудь свысока улыбнется новому декрету. Плосковатые шутки насчет миллиардов — про водопроводчика, починившего трубы, — "вошел к вам без копейки, через полчаса вышел миллиардером". И серьезность, и проникновенность в разговорах о церкви. Некоторых я знала раньше как самодовольных позитивистов или скептиков, — теперь шепчут о знамениях, об обновившихся иконах; одни пламенные католики, другие православные,— от ненависти? обиды? брезгливости? Я ёжилась. Сама не знала, почему не радовалась такому оцерквлению. Годы военных ужасов, преследований, голода иссушили прежнюю веру, то есть всю влагу, сладость выпарили из нее. И в этом опять ближе Бердяев с его суровостью духа. В эти первые дни в Москве я переходила от элементарного чувства радости по забытому комфорту, книгам, еде досыта к новой тоске, к желанию спрятаться, допонять что-то, чего-то небывалого дождаться. Только бы остаться наедине с Бердяевым. Знала, что ему все те, с кем он ведет организационные совещания, внутренно чужды. Мечтала: что, если б и он затих, замолк, вышел бы к чему-то совсем новому... Но конечно, тишеть, молкнуть, ждать — не в его обычае. Из уголка, где прикорнула на диване, различаю среди многих голосов е г о ,— его мысль, всегда вернейшую, самую острую, самую свободную. Улыбаясь, узнаю его приемы: сокрушительным ударом направо, налево, бить в центр. Всегда в центр. Стратег. Голос повышается — уже других не слышно. Но почему-то вдруг мне кажется, что эта меткая, эта глубокая мысль — на холостом ходу. Размах мельничных крыльев без привода. И нарастает горечь и жалость.

Мы переехали в Барвиху — как в старину, из Москвы во все концы тянутся возы всякого людского добра. Устраиваемся в новом бревенчатом, пахнущем сосной домике. Приколачиваем полки — это буфет, мастерим письменные столики из опрокинутых ящиков, в первые дни детски счастливые — будто вырвались, кого-то перехитрили... Лидия с рвением новообращенной ходит за мной с католическими книгами, вкладывает их мне в руки, когда ложусь отдохнуть. У них-то не на холостом ходу: все ввинчено одно в другое, штифтик в штифтик. Но <......... > * путь. Не по мне. Но, тронутая ее заботой о моей душе, листаю книгу...

В памяти у меня от Барвихи не разговоры, а ненасытность в прогулках,— полями, полями до дальнего Архангельского, где век Екатерины, или вдоль Москвы-реки до чудесного парка другой Подмосковной. Совсем близко — сосновый бор, там лежим на теплых иглах, читаем вслух, пересказываем друг другу быль этих лет. Возвращаясь домой, набираем целый мешок шишек для самовара. Этот вечерний самовар на тесном балкончике, потрескивающие и снопом взлетающие искры,

---

* Рукопись повреждена, текст утерян. — *Т. Ж.*

тонкий, как дымок, туман снизу с реки — и близкие, без слов близкие люди. Сладость жизни, милой жизни, опять как будто дарованной и тут же, тотчас же — боль гложущая. < . . . . > * Внезапный звонок и <........> до рассвета длящийся обыск, перечитывание писем, бумаг Бердяева. Он, спокойный, сидел сбоку у письменного стола. Я, с бьющимся сердцем, входила, выходила. Было утро, когда его увезли... Через несколько дней Бердяев вернулся с вестью о высылке. Высылался он и многие другие. Не перспектива отъезда за границу — ему всегда была чужда и отвратительна эмигрантская среда,— а само трагическое обострение его судьбы как будто развеяло давивший его гнет. Враг? Пусть враг. Лишь бы не призрачность существования < . . . . > * староста <........> * Особый Отдел.

Опять люди, прощания, заканчивания дел, мы мало успевали говорить, но мне передавалась от него полнота чувства жизни, и не было места грусти от близящейся разлуки. Вечером накануне отъезда Николай Александрович со своим Томкой на коленях поехал на другой конец Москвы — дамы, почитательницы его, наперебой предлагали взять собаку, и дома всесторонне обсуждался вопрос, которой из дам отдать предпочтение. Вернувшись < . . . . > * может быть, разлуки.

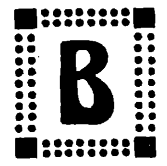
И все же — из всех, кого я имела и кого потеряла,— его я потеряла больше всех. Ни он, ни я не уступим ничего.

* Текст утерян. — *Т. Ж.*

КРЕЧЕТНИКОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК

(1915–1917)

1



Военные годы в Москве, в Кречетниковском переулке, были счастливым оазисом в жизни сестер. Это звучит дико, оскорбляет высокое чувство патриотизма, но что делать — так было. Для нас обеих затянувшаяся болезнь молодости кончилась, в будущем копились годы нужды, ряд бедствий — их мы не предвидели, конечно, хотя они и стучались глухо в сознание с каждой тревожной вестью с фронта, с каждым провалом в тылу. Но так неудержимо хотелось дать раскрываться в себе всему, что раньше было придавлено трудными муками любви, духовных исканий, хотелось просто **быть,** зреть, отдаться творчеству, нежной дружбе... Зло и ужас войны не забыты, нет — ведь ими-то и разгорается ежедневно душа, им обязано все личное густотой звучания.

И все же этот оазис — новая уступка тому же индивидуализму, старому греху нашему. Не в ней ли корень долгих ошибок в будущем, разнобоя с жизнью целого, с жизнью страны, корень повторных роковых опаздываний вплоть до последнего, загнавшего меня, старую, в страшный 41-й год в эту “Зеленую степь”? Отсюда, через две разделенные двадцатилетием катастрофы, как через стекла стереоскопа, гляжу в прошлое: такими развертывается оно далекими, отошедшими, онемевшими картинками. И все же они — звено, которого не выбросишь из целого.

В жизни Аделаиды эти годы означились новыми чертами. Она писала:

Завершились мои скитания,
Не надо дальше идти.
Снимаю белые ткани —
Износились они в пути[1].

Всегда лелеявшая страдания, бездомность,— она захотела покоя, благополучия, уюта. Символом этого стал дом, который она строила в Судаке рядом с нашим стареньким, отжившим свое.

Поместительный, барский дом с колоннами. Конечно, практической стороной постройки занимались все другие, а только не она,— муж ее, когда приезжал с фронта, брат, все мы. Но дом так и назывался — Адин дом. Держа за ручку мальчика, она осторожно вела его по доскам, перекинутым через провалы, и нашептывала ему сказку про дом, про то, какая будет в нем жизнь. Сказка осталась сказкой,— жить же в нем ей пришлось совсем по-другому.

А в зимней квартире в Кречетниковском я чаще всего вижу ее в сизом, голубино-сизом халатике на широкой тахте с тетрадью и карандашом в руке, а рядом с нею двух мальчиков, старшего — с рвением разрисовывающего большие листы цветными лабиринтами. Или же она, отбросив тетрадь, с рассеянно-ласковой улыбкой выслушивала излияния прильнувшей к ней девочки-поэта. Их было несколько в те годы вокруг Аделаиды. Еще с 911-го года идущее знакомство с Мариной Цветаевой; теперь и вторая сестра, Ася, философ и сказочница, появилась у нас. О них обеих, тесно связанных с нашей жизнью, скажу особо. Тот же Волошин, ранее познакомивший сестру с Цветаевой, в один из наездов в Москву рассказал ей, как к нему пришла совсем девочка с нерусским личиком и прочла ему свои искусные по форме французские стихи. Он пленен ею. "Нет, вы непременно должны послушать ее!" И вот Майя Кювилье[2] у нас и стала частой гостьей. Хрупкая детская фигурка, прямые, падающие на глаза волосы, а в глазах — нерусская зрелость женщины. Не от того ли эта двойственность в существе Майи, в уме ее, то поражавшем сухой трезвостью, то фантастически дерзком, что к французской крови примешалась в ней русская? У нее были какие-то основания думать, что отец ее мичманом погиб в Цусиме, но мать — с юности гувернантка в разных русских семьях — почему-то не соглашалась назвать ей его имя. В те годы желание раскрыть тайну эту преследовало Майю. В спущенных уголках губ горькая черточка разочарования, неверия. А вела себя часто по-детски: плененная поэзией Вяч. Иванова и внезапно влюбившаяся в него самого, когда встретилась с ним у нас, взобралась вместе с сестриным мальчиком на фисгармонию, уставилась в него — и слова не вымолвила. А в стихах ее к нему сквозь изящную галантность — зоркое и чуть насмешливое проникновение в его характер. Потом начался у нее другой роман. Забегает к нам и ластится к сестре: "Если мама позвонит, Аделаида Казимировна, душенька, скажите, что я у вас",— и уж нет ее. Недалеко от нас квартира — коммуна, населенная молодыми художницами, начинающими писателями,— филиал коктебельской вольницы, и во главе ее — говорящая басом и одетая по-мужски мать Волошина. Там же помещица, княгиня Кудашева, поселила сына, кончающего гимназиста. В его-то комнатке ведутся у Майи с ним нескончаемые разговоры, волнующие обоих. Часов в одиннадцать и вправду звонит m-me Кювилье, гувернантка в доме оперного антрепренера Зимина, и по-французски спрашивает сестру, у нее ли Marie.

Сестра отвечает: "Да, она здесь,— смотрит на меня растерянно от телефонной трубки,— но, видите ли, она сейчас в детской — мой самый маленький все не засыпал и, только когда Майя — Marie — стала ему напевать, затих (такой случай правда был однажды)... Может, она вам позвонит позднее?" — "О, пожалуйста, m-me, не беспокойтесь..." Обмен французскими извинениями. Мы никогда в лицо не видели этой m-me Кювилье. Сестра отходит от телефона с озабоченным видом: "Нехорошо... Ах, Майя... Меня мучит, что я Никулю втянула в эту ложь. Как ты думаешь — ничего? Пойдем посмотрим на него".

Вызывало сомнение, сам ли Сережа Кудашев, титул ли влек Майю? Мы не видели их вместе, и нас не было в Москве летом, когда они обвенчались с ним, уже призванным в армию. Потом она жила в имении с его матерью, родился сын. Муж-мальчик был убит на войне, кажется на гражданской, уже в рядах белых, а в первый же год революции старинная усадьба разгромлена, сожжена, семья спаслась бегством. Десяток одиноких лет (сын рос у бабушки), цепь рискованных встреч, умственных метаний,— человек с красной звездой на кубанке, потом переписка с Henri de Regnier, маститым королем поэтов, и поездка к нему в Париж, и что только не отделяет нашу Майю от Марии Павловны Роллан, жены и друга старческих лет Ромена Роллана. Такою в тридцатые годы стала она известна у нас широкому кругу. Мы же с нею больше не встречались, но не раз узнавали некоторые ее черты в Асе, одной из героинь "Очарованной души", а также и в том, что доносили до нас скупые рассказы о подруге любимого писателя.

2

Все в те годы так или иначе связано с войной, ею зажжено, вызвано к жизни или в ней тонуло. Внезапные сближения между людьми, раньше чуждыми друг другу, иногда злые расхождения прежних друзей. В близком нам кружке писателей и философов со страстью обсуждались все повороты военной судьбы, жадно прислушивались к живым свидетелям.

Сестра у телефона: "Приходите вечером — будет Алексей Толстой[3], только что с турецкого фронта, с Кавказа..." Позже, приготовляя винегрет, посмеиваемся: "Помнишь, в "Войне и мире" у старой фрейлины, у Анны Павловны, на вечерах каждый раз был какой-нибудь "гвоздь"... И почему это он захотел прежде всего к нам прийти?" С Алексеем Толстым знакомство у нас давнее — через Волошина, Коктебель,— но не близкое. Вечером — похудевший, точно сплыл с него жирок бонвивана, в полувоенном, с обычным мастерством, неспешно и сочно рассказывал военные эпизоды. Стеснившись вокруг, слушали. Булгаков, загоравшийся платоновским эросом к каждому, связанному с русской славой, влюбленно смотрел на него. Но, рано

простившись, А. Толстой шепнул сестре: “Мне нужно отдельно поговорить с вами”. И на другой день он поведал ей о новой своей любви, о тайно решенном браке (с первой женой, с которой связана богемно-разгульная полоса его жизни, он уж разошелся). “Вы именно оцените ее, она поэт, и вообще они удивительные — две сестры, обе маленькие, талантливые, дружные: когда Туся и Надя чем-нибудь взволнованы, они вместе залезают в ванну, воду по горло, дверь на крючок, плещутся и говорят, говорят. У нее был уж неудачный брак, но они разошлись. Не могла же она, поэт, жить с модным адвокатом — да в наше-то время! Дорогая, можно привести ее к вам?” Почему-то многим было сладостно делиться с Аделаидой переживаниями любви и не стыдно своей сентиментальности.

Он пришел с Натальей Васильевной Крандиевской[4]. Тоненькая, искусно причесанная, в каком-то хитрого фасона платьице с разлетающейся туникой поверх узкой юбки. И щуплая книжечка ее стихов[5], сколько помню, изящных и холодноватых. Он жадно смотрел на ее губы, пока она читала, а потом сияющим, ждущим взглядом на сестру: как-то она поймет, обласкает невесту-поэтессу. Нова была эта простодушность в нем, цинике и в жизни, и в ранней беллетристике своей. Помню, за чаем, совсем размягчившись и уж не стесняясь меня, ему чужой, он говорил с медвежачьей наивностью: “Мы хотим жить так, чтобы все было значительно, глубоко — каждый час. По-новому жить. Так Туся говорит. Как ты говорила, Туся?” Слова были беспомощны и смутны, но, и вправду, союз его с Крандиевской на первых порах внес что-то новое, обогатил его несложную психологию. Сужу об этом по трогательным образам сестер в “Хождении по мукам”. Как сложилась их жизнь вдвоем, нам не пришлось видеть: жили в разных странах, позднее в разных сферах — он вверху, мы — внизу.

Семье Крандиевских вообще были свойственны духовные интересы. Младшая сестра, Надежда Васильевна[6], прошла путем фантастических религиозных влечений и отталкиваний — то прилеплялась к старцам, то к наиновейшим мистикам,— прежде чем стала тем исключительно гармоничным, солнечным скульптором, каким мы знаем ее теперь.

По какому-то поводу у Аделаиды побывали старики Крандиевские — отец и мать, в прошлом небесталанная беллетристка[7] (кто-то из них был глух, и потому оба наперебой и с жаром кричали). Они вместе издавали “Бюллетени литературы и жизни”[8], скромный библиографический журнальчик: обо всех книгах давались краткие отзывы, но тому, что было связано с новыми формами духовной жизни, с развитием внутренней силы, с йогизмом, посвящались длинные, сочувственные статьи. Сообщалось не только о книгах, но и о жизненных фактах того же рода. Это было не очень глубоко и последовательно, но говорило о живом интересе. Не помню, здесь ли или в однородной газетке сына Суворина “Новой жизни” печатались путевые впечатления

Успенского[9], автора книги "Terium Organum" и еще другой[10],— книг, посвященных оккультизму, ученых, но литературно бесцветных. Мы жадно прочитывали эти очерки, писанные на возвратном пути из Индии и рассказывающие о встречах и разговорах с любомудрами разных стран. А тут как-то к Аделаиде зашла сестра давней, еще школьной ее подруги, Мантейфель, актриса, малоудачливая, но с исканиями нового. Оказалось, что Успенский ее муж и что сам он тоже в Москве. И вот они вдвоем у нас. Он рассказывал о скитаниях своих в Индии, например по следам книги Радда Бай[11] на юге в Голубых горах, где обитают обладающие магическими силами племена Тоддов и карликов Курумбов. Показывал снимки, сделанные им с них, подтверждал некоторые из чудесных фактов, рассказанных русской писательницей. Таинственный мир волнующе приблизился! Подарил мне фотографию Рамакришны[12], в то время только что узнанного и полюбленного мною, передавал живые предания, услышанные от учеников его: но сухи, не образны были его рассказы по сравнению с вдохновенной книгой Ромена Роллана, посвященной великому мистику вчерашнего, почти сегодняшнего дня. В глазах Успенского напряженная сила сосредоточения, собранной в одно острие воли, но духовного обаяния в нем не было. Что сталось с ним потом? В литературе я больше не встречала его имени. Может быть, оставив ее побоку, он на другое направил это острие воли, может быть, и посейчас где-то, что-то сверлит ею?[13]

3

Мимолетно появлялись среди нас и другие мистики-одиночки. Старик финн, пророчивший в недалеком будущем потрясение, которое в Европе камня на камне не оставит,— пророчество, ныне никого бы не удивившее. Не припомню еще многих, мелькнувших тогда. Война будила апокалиптические веяния. То там, то здесь шли рассказы о священниках-прозорливцах, не похожих на обычных батюшек... Но мы с сестрой оставались далеко от всего этого. Аделаида, казавшаяся такой податливой, как воск восприимчивой к чужой мысли, по существу, в глубине, была духом независимей многих и многих, прямо-таки неспособна была идти за кем-нибудь, быть в свите, среди жен-мироносиц. Ее духовное томление предыдущих лет разрешилось теперь тем, что она перешла в православие, но сделала это тихонечко, тайком даже от меня, и не ища замечательного духовника — просто сбросить тяготившую неправду лютеранства и стать наконец совсем дома в этих полюбившихся ей церковках московских. Вечером выскользнет из дома, зайдет на минутку ко всенощной; иногда сперва заботливо купит свежих булок к чаю и с пакетом постоит, не слушая чтения, перед богородичной иконой, розовеющей от лампадки.

И только свечи перед иконами,
Мерцая, знают самое важное.
И их колеблющееся сияние,
Их безответное сгорание
Приводит ближе к последней истине —

так писала она позднее.

Другом ее в эти годы сделался Булгаков. Сергей Николаевич Булгаков — в прошлом марксист и социал-демократ, а теперь правоверный — в будущем священник и духовный отец лучших среди русской эмиграции. В годы, о которых я говорю, он уже автор нескольких книг по православной мистике. Книги эти с дружеской надписью лежат у нас, но как-то случилось, что мы обе, заглянув лишь туда, сюда, прилежно их не прочли, и вот у меня нет цельного представления о его миросозерцании. Причина, может быть, и в том, что цельности не было в нем самом. На одной стороне — правоверие, которое связывало его со столпами московского православия, со старцами Зосимовой пустыни. Появляясь же в кружке близких нам людей, он отдавался их темам, зыбким и рискованным, внося в них ту свежесть восприятия, которой уже не было у других. По годам такой же, как большинство наших друзей, — между тридцатью и сорока — он казался моложе благодаря какому-то хаосу, еще не перебродившему в нем. Нас с сестрой забавляло е м у, которого за своего почитали разные владыки с наперсными крестами, открывать какого-нибудь немножко кощунственного поэта, толковать Уайльда, музыку Скрябина, встречать внимательный, загорающийся взгляд его красивых темных глаз. Узкоплечий, несвободный в движениях, весь какого-то плебейского склада — прекрасны были у него только глаза. От времени марксизма сохранил он задор спора и как же бывал резок, жесток, нападая на инакомыслящих, будь ли то атеисты, теософы разных толков — ни ноты христианского духа примирения. И тем больше веселило нас, что от Аделаиды он, не бунтуя, выслушивал любые еретические слова. Склонившись над ней, он что-то длинно ей говорил, а она, перестав его слушать, отвечает совсем невпопад. Если я была близко, случалось, я вмешаюсь: “Адя, но ты не расслышала... Сергей Николаевич именно и говорит...” Но может быть, ее “невпопад” как раз и было ему нужно: он уходит размягченный. Проводив его, сестра возвращается утомленным шагом: “Ничего... он не обиделся... Это было что-то скучное и неважно что, но я люблю, когда у него так загораются глаза — такие коричневые и... добрые”. Она немножко лукавила: его, правда, коричневые и глубокие глаза, когда он с нею говорил, были не добрые, а восхищенные. Пристрастие его к Аделаиде было предметом незлобивых шуток среди самых близких. Бердяев подсаживается к ней и, весело поблескивая глазами: “У вас был Сергей Николаевич? Был очень “софиен”?” София, Премудрость, женское начало или женское дыхание в Божестве — предмет тайного поклонения Булгакова.

У французов есть меткое выражение: avoir le courage de ses opinions*, я бы досказала: le courage de ses amours**. Вот этого мужества своих пристрастий недоставало Булгакову — или же оно давалось ему нелегко, с мукой. В шестнадцатом году он был поглощен изданием одной книги. В Нижнем жила скромная сотрудница местной левой газеты Анна Шмидт[14]. За несколько лет до смерти Владимира Соловьева она написала ему, что ей открылось: она — воплощение Софии, Души мира, которой поклонялся философ, которою дышит вся его поэзия. Что-то в письме Шмидт поразило Соловьева. Он поехал в Нижний, увиделся с нею, старался отрезвить ее, обменивался с нею письмами, прочел со вниманием ее пророческие писания, о которых, конечно, и не подозревали ее газетные сотоварищи. Через много лет после этого, следуя за какими-то нитями, Булгаков разыскал корреспондентку Соловьева, теперь уже седую старушку, но верную все тем же мыслям, беседовал с нею. Вскоре она умерла.

И вот в его руках ее архив — переписка с Вл. Соловьевым и ее собственные писания. Сергей Николаевич подготовил их к печати, написал большое предисловие, гностически истолковывая прозрения Шмидт, но издал книгу не в издательстве "Путь", где был главным редактором, издал на свои средства, безымянно, и даже под предисловием не решился поставить своего имени[15]. А там были высказаны самые глубокие и дорогие ему мысли! Недостаток мужества? Может быть, и не только это. Может быть, он умышленно ограждал как частное, интимное, ни к чему не обязывающее свою любовь, свою тоску?

Помню другую его сладостную ересь той же поры. Проводя лето обычно в Крыму, под Ялтой (имение родителей его жены), он не раз сталкивался с автомобилем царя, внезапно налетающим из-за поворота, и вид этого уже обреченного человека — злой судьбы России — пробудил в нем безмерную жалость-влюбленность. Всеми навыками радикальной политической мысли он знал неизбежность революции и гибели царизма, но сильнее этого изнутри жгло его чувство к несчастному помазаннику. При разговорах о царе — а возникали они тогда непрестанно — он болезненно морщился, но иногда, в особенности, когда слушательницей его была сестра, он отдавался не только муке, но и сладости этого чувства. В его думах о России, ее судьбе, судьбе царя был безумящий его хмель — что-то общее с хмельными идеями Шатова у Достоевского. Быть может, и влечение к священству возникло в нем прежде всего как желание привести в гармонию свою слишком мятежную, хаотическую сущность. Как ему, верно, трудно было эти интеллигентные руки, привыкшие к писанию, к резким жестам спора, переучить к плавному иерейскому воздеванию! Мне не пришлось видеть его священником, но

* Иметь мужество своих убеждений *(фр.)*.

** Мужество своих пристрастий *(фр.)*.

думаю, что гармонии он достиг и голос его обрел ту уверенность, которой ему недоставало.

В двадцать пятом году, когда Аделаида умерла, он писал мне из Парижа: “У меня давно-давно, еще в Москве, было о ней чувство, что она не знает греха, стоит не выше его, но как-то вне. И в этом была ее сила, мудрость, очарование, незлобивость, вдохновенность. Где я найду слова, чтобы возблагодарить ее за все, что она мне давала в эти годы,— сочувствие, понимание, вдохновение, и не мне только, но всем, с кем соприкасалась. Не знаю даже, не могу себе представить, чтобы были слепцы, ее не заметившие, а заметить ее — это значило ее полюбить, осияться ее светом. Я узнал опытом долгой жизни, что неотразима и победна только святость, ее все, все в глубине души жаждут и ищут,— ее только одной,— и ничего другого не хотят, и если ее увидят и узнают — все оставят и за нею пойдут. Потому неотразима Богоматерь, что Она вся есть чистота и святость. О, если бы люди знали... Зачем я говорю это самое заветное, что есть на душе? Потому что о ней и для нее не могу не говорить только заветного, ибо и она была заветная.

Наши старые отношения вы знаете, это было у вас на глазах. Видел же я ее в последний раз в Симферополе в двадцатом году. Она очень изменилась, состарилась, но внутренний свет ее оставался тот же, только светил еще ярче и чище. Она меня провожала на почту, я как-то знал, что прощаюсь с нею навсегда, что в этом мире не увидимся. Ее письма всегда были радостью, утешением, светом. Чем больше для самого меня раскрывались на моем пути глубины сердца, тем лучезарней видел ее образ. В ней я все любил: ее голос, глухоту, взгляд, особую дикцию. Прежде я больше всего любил и ценил ее творчество, затем для меня стала важна и нужна она сама, с дивным, неиссякаемым творчеством жизни, гениальностью сердца. Последние годы мы жили далеко. Если бы мы жили ближе, я мог бы помогать ей в церковности, но вряд ли ей нужна была помощь в ее личном духовном пути. Во всяком случае, было так, как нужно, и ей, очевидно, дано было осуществить себя в значительной мере одной.

Земно кланяюсь ее могиле (родное, жаркое, выжженное южное кладбище — как я это знаю и как мучительно люблю)!...”

Не знаю, рассказал ли бы он такими простыми, спокойными словами о своем давнем чувстве к ней, если бы не был священником.

4

О скольких не упоминаю я в моих воспоминаниях. Но одну дружбу-вражду не хочу обойти молчанием. Началась она много раньше описываемых лет: в 906 году наша двоюродная сестра вышла замуж за студента Ильина[16]. Недавний революционер-эсдек (он был на памятном съезде в Финляндии в 1905 году), теперь неокантианец, но сохранивший тот же максимализм, он

сразу порвал с родней жены, как раньше со своей, насквозь буржуазной, но почему-то исключением были мы с сестрой, и он потянулся к нам со всей присущей ему пылкостью. Двоюродная сестра не была нам близка, но — умная и молчаливая — она всю жизнь делила симпатии мужа, немножко ироническая к его горячности. Он же благоговел перед ее мудрым спокойствием.

Молодая чета жила на гроши, зарабатываемые переводом: ни он, ни она не хотели жертвовать временем, которое целиком отдавали философии. Оковали себя железной аскезой — все было строго расчислено, вплоть до того, сколько двугривенных можно в месяц истратить на извозчика; концерты, театр под запретом, а Ильин страстно любил музыку и Художественный театр. Квартирка, две маленькие комнатки, блистали чистотой — заслуга Натальи, жены. Людей, друзей в их обиходе не было. Ильин оставлен при университете на кафедре философии права, но теперь, влекомый к чистой философии, возненавидел и право, и профессора по кафедре — Новгородцева, и сотоварищей. Всегда вдвоем — и Кант. Позднее Гегель, процеженный сквозь Гуссерля. И так не год, не два. Винт завинчивался все туже. И вот как отдушина — влечение к сестрам, таким не похожим на них, носимым туда-сюда прихотью сменяющихся вкусов: Ницше, античность, модернизм, восточная мистика.... То, что отвращало в других,— в нас влекло. Бывают такие причуды.

Когда же наши пристрастия из книжных превратились в живых людей и Ильины стали встречать у нас Волошина, Бердяева, Вяч. Иванова, стало плоше: с неутомимым сыском Ильин ловил все слабости их, за всеми с торжеством вскрывал "сексуальные извращения". И между нами и Ильиными прошла трещинка, вражда, сменявшаяся опять моментами старинной дружественности. Способность ненавидеть, презирать, оскорблять идейных противников была у Ильина исключительна, и с этой, только с этой, стороны узнали его москвичи тех лет, таким отражен он в воспоминаниях Белого. Ненависть, граничащая с психозом. Где, в чем источник ее? Может быть, отчасти и в жестоких лишениях его юных лет: ведь во имя построений отвлеченной мысли он запрещал себе поэзию, художественный досуг, все виды сладострастия, душевного и материального, все, до чего жадна была его душа. Знакомство с Фрейдом[17] было для него откровением: он поехал в Вену, прошел курс лечения-бесед, и сперва казалось, что-то улегчилось, расширилось в нем. Но не отомкнуть и фрейдовскому ключу замкнутое на семь поворотов.

В годы, о которых и пишу, Ильины уже не нуждались: то ли наследство какое-то — помню его большой кабинет с рядами книг, с камином и кожаной мебелью. Как нерусским был он в своей аскетической выдержке, так нынче не-по-русски откровенно наслаждался комфортом, буржуазным благополучием. По матери — немецкой крови, светлоглазый, рыжеватой масти, высокий и тонкий, Иван Ильин — тип германца. И как бывает порой с русскими немцами, у него была ревнивая любовь к русской

стихии — неразделенная любовь. Страстно любил Художественный театр, выискивая в игре его типично русские черты, любил Чехова, любил Римского-Корсакова так, как любят любовницу, ненавидя тех, кто тоже смеет любить; любил, не всегда различая некоторую безвкусицу, например в сусально-русских былинах Алексея Толстого. Выйдет из кабинета на маленький заснеженный балкончик и влюбленно смотрит на "свою Москву", говорит подчеркнуто по-московски, упивается пейзажем Нестерова. В послереволюционные годы он близко сошелся с самим художником, и тот написал его с книгой в руках идущим вдоль тусклого озера и скудных березок — этаким светловолосым мечтателем[18]. И вправду, за злобными выпадами копошились в нем нежнейшие ростки— deutsches Gemüt*. В 15—16-е годы уже не мы одни с сестрой объект его сентиментальной дружбы — он упоен сближением с композитором Николаем Метнером[19], предан Любови Гуревич[20], дружит с одним умным и тонким евреем, толкователем Ницше,— и везде его дружба напарывается на шипы: здесь враждебный ему Ницше, а Метнер — приятель Белого, особенно ненавистного Ильину. К нам, в Кречетниковский, они теперь заглядывают редко: трудно выкроить вечер, чтобы у нас наверняка никого не было. А придет Ильин — весь дружественно раскрытый, и не нам одним — всему, что окружает сестру: благоволит немножко свысока к ее мужу, удостаивая его философской дискуссии, возится с мальчиком, бегает по комнате, дурачится. Едко и зло пародирует молодых московских когенианцев, риккертианцев[21]... Смеемся, хотя по нас что презираемый им Коген, что чтимый Гуссерль — одна мура! Но вот раскрытая книга с авторской надписью на столе — толчок к язвительному наскоку на кого-нибудь из наших друзей. Мы — на дыбы. Слово за словом все резче. Расстаемся в холоде. А через день от него покаянное письмо. И опять все сызнова. Скучная канитель! Думается, что, если бы его писательский дар был ярче и ему удалось выбросить из себя злобу в желчных статьях, он в жизни был бы мягче. Но, упрямо насилуя себя, он годы и годы пишет все одну книгу о Гегеле[22]. Мне так и не довелось прочесть ее. И не удержала в памяти его толкования Гегеля, и вообще — стержня лично его, ильинских, мыслей: долгими и бесплодными были отношения — совсем незачем, так, грех попутал.

Но нынче, в час суда над прошлым, спрашиваю себя: не во мне ли отчасти вина? Будь я сама тогда свободней от чужих влияний, будь до конца с о б о ю, разве не соприкоснулась бы я с глубью е г о духа — все равно, для осуждения ли или для помощи?

В двадцать втором году Ильин среди многих других был выслан за границу. Они прочно осели в Берлине и с тех пор канули для нас в неизвестность. Жив ли он? Во всяком случае, встреча с фашизмом не могла не быть ему и возмездием, и суровым испытанием.

---

* Немецкая душа *(нем.)*.

5

Прихотливым узором сплетаются иногда в человеке национальные черты. Вот еще полунемец, близкий нашему кружку. Эрн — по отчеству даже Францевич,— отец его природный немец из Германии, провизор. Не знаю, какими путями, может быть под влиянием матери, русской, Эрн смолоду пришел к православию. Но знаю, что уж потом никогда сомнение не коснулось его ясной, монолитной души. Одновременно и также цельно он полюбил античность, светлый мир Эллады. Обе любви сплавились в одну через посредство необыкновенно в нем живого чувства первохристианства. В Риме, где Эрн писал свою диссертацию, он пристально изучал катакомбы, символике их посвятил не одну статью. Упор на христианство первых веков — это ведь черта чисто лютеранская. В православии Эрна не было ничего от мрачного византийства — он просто верил, что на Русской земле преображенным Христовым светом зацветает та же солнечная религиозная стихия Эллады. Концепция фантастическая? Но утверждал ее Эрн со всем догматизмом и нетерпимостью пасторского "брандовского" духа (Бранд — персонаж Ибсена). Кротким и мирным его нельзя было назвать — даже книгу своих религиозных опытов он озаглавил "Борьбою за Логос"[23], и вправду был бойцом, но, яростно споря, чужд был и тени личной неприязни. Весь он был тверд, как алмаз, и как-то кругло закончен, не было в нем и щелки, чтобы просунуть в нее кончик с в о е й мысли, с в о е г о возражения, и мне казалось, что как-то не о чем говорить с ним. Может быть, это происходило и оттого, что в эти годы он — еще совсем молодой — уже нес в себе смертельную болезнь, от которой и умер в 17-м году — тяжелое заболевание почек. Серо-бледный, с отеками в лице, с слишком светлым, глядящим — и не глядящим взглядом. Он как будто все нужное для жизни и смерти узнал и больше ни в чем и ни в ком не нуждался. Жил он в те годы с женой и голубоглазой, похожей на него дочкой-пятилеткой у Вяч. Иванова, в котором влек его тот же сплав христианства с античностью. А Вячеслав Иванович, посмеиваясь, говаривал: "Владимир Францевич — совесть моя, и ох, и лютая же!" Впрочем, уживался он со своей совестью неплохо, умея, когда хотел, заворожить ее.

Я недостаточно глубоко знала Эрна, поэтому мне хочется привести еще характеристику его из письма единомышленника его, Флоренского, к их общему другу.

"Мир души — вот что нужно оттенить в Эрне, реализовавшем слова н а ш е г о святого, апокалиптического Серафима: "Радость моя, радость моя, стяжи мирный дух, а тогда тысячи душ спасутся около тебя!" Мир духа — это не нирвана, наоборот, это повышение жизненного пульса, так что и радость с горем становятся конкретнее и сочнее. Но сознание всякий раз допускает в себя только осиянную сторону их и не дает врываться хаосу. Для Эрна зло не абстракция, но он относится к злу как к чему-то

чуждому и внешнему, с викингской яростью нападает на него... Одним утром, когда я лежал еще в полусне, мой друг разговаривал в соседней комнате с проворовавшимся мужиком и убеждал его покаяться. Ты знаешь, как нестерпимы для меня все наставления и морализирования. Навязчивость их, обычное неуважение к живой личности во имя принципа заставляет из одного протеста поступить наоборот... Но тут — тут, впервые, может быть, я услыхал голос "власть имущего". Такая убежденность в силе добра в каждой ноте его голоса, столько любви, уважения к личности в его речах, простых и безвычурных, что я был потрясен.

Я видел действие Эрна на других. Но я знаю больше. Однажды Эрн и я были вынуждены прождать со сторожем на вокзале всю холодную ночь в сторожевой будке. Обессиленный двумя бессонными ночами и иззябший, я невольно опустил голову на колени друга и заснул. Во сне он явился мне сияющим архангелом, и я знал, что он отгоняет от меня все злые силы. Может быть, в эту холодную ночь, голодный и измученный, впервые за всю жизнь я был безусловно спокоен".

6

Когда идешь по Арбату и ближними переулочками — чуть не каждый дом памятная стела. Вот в этом, угловом, прошло детство Белого, и описан он в "Котике Летаеве" [24]. И в нем же лет сорок бессменно квартира наших тетушек, и много молодого изжито там нами. Через два дома — тот, в котором Пушкин жил с Натальей Гончаровой в первый год женитьбы. А повернешь за угол в "Николу-Плотника" — подъезд: здесь уж на моей памяти была квартира Белого, здесь первая встреча его с Блоком, так волнующе описанная им. Еще через несколько домов во дворе нелепой декадентской архитектуры особняк. Те все дома — надмогильные плиты, а этот еще живой: в той же квартире, где жил Гершензон, и сейчас живет его дочь-искусствовед, черными кудряшками и горячим взглядом так напоминающая отца, и в маленьких комнатках как будто еще не совсем остыло жаркое биение пульса[25].

Дом принадлежал пожилой женщине, Орловой, дочке генерала Орлова, женатого на Раевской, приятеля Пушкина. Через нее потоком выцветших писем, семейных преданий, альбомных зарисовок дошли до Гершензона драгоценные осколки нашего прошлого, нашей русской славы. Может быть, этим определился его творческий путь — его первые книги "Грибоедовская Москва"[26] и другие. А может быть, он потому и поселился у Орловой, что уже ранее пошел этим путем и на нем встретился с нею,— не знаю.

Музейные вкусы — не редкость. Собирать, хранить автографы, бисерные закладки, за которыми угадываешь тонкие пальцы женщин 30-х годов, невест, сестер... Но Гершензон ненавидит

музей, ненавидит вещи как вещи,— ему кажется, что они только засоряют, остужают жизнь. Ж и з н ь — вот что всегда в центре его страстного внимания, безразлично, в далеком ли прошлом или в явлении сегодняшнего дня. Он нетерпелив и никогда не в рабстве у документов. Потому и попадает порой впросак как литературовед-исследователь: вот вышла книга его этюдов о Пушкине, и уже на другой день он рыскает по книжным лавкам и, волнуясь, вырезает из свежего тома маленькую статейку, которую критика изобличила в грубой фактической ошибке. А как много в этой книге пронзающего о мудрости Пушкина — первый он сказал, что Пушкин мудр,— в те годы догадки об этом еще не было. В нашумевшем сборнике "Вехи" он напечатал статью[27], смутившую даже правых участников сборника: Гершензон, демократ по самой ткани своей души, высказывал мысли, которые можно было истолковать чуть не черносотенно. Толкнула его на эту злосчастную статью та же ненависть ко всякой принципиальности — в данном случае принципиальности левых партий, душащей живую жизнь... Помню впечатление, вынесенное им из записок Алексея Вульфа, впервые напечатанных в 16-м году[28]. Холодный разврат, вскрывшийся в них (не ради самого Вульфа, конечно, а ради участия в нем Пушкина), буквально терзал его, и недели он ходил, как больной. Так оплакивают падение друга, брата... Все давнее в его маленьких комнатах становилось сегодняшним, живее живого.

Не знаю, казалось ли мне это, или вправду нигде так жарко не натоплено, нигде так не уютно, как в гершензоновской столовой, где мы сидим вечером за чаем. У самовара Марья Борисовна[29], приветливая, с умным, всегда заинтересованным взглядом. Она сестра пианиста Гольденвейзера, завсегдатая Ясной Поляны. Забегают проститься перед сном мальчик и девочка, оба курчавые, черноглазые. Перед Михаилом Осиповичем ящик с табаком, и вид этих пальцев, набивающих гильзы, неразрывно связан в памяти с его горячей, от волнения заплетающейся, шепелявящей речью. С чего он начнет сегодня? Принесет с письменного стола архивную выписку, в его толковании по-новому освещающую что-нибудь давно известное? Нет. Утром был у него Ходасевич[30]. Михаил Осипович в полосе увлечения им: читает записанные им новые стихи и, одновременно торопясь и несносно медля, въедливо анализирует каждый оттенок мысли и выражения поэта. Если тут же за столом Бердяев или Шестов, привыкшие к скорым обобщениям, они заскучают и в нетерпении завертят ложечкой в чайном стакане. Но если прислушаешься терпеливо к спотыкающейся капризными загогулинами мысли Гершензона, так и посыплются на тебя драгоценные крупинки наблюдений над живой душой. Гершензон капризен. Он всегда в увлечении кем-нибудь, чем-нибудь или в сварливом отвращении к кому-нибудь — хотя бы из вчерашних друзей, которые завтра снова будут его друзьями. Есть маленькая книжечка "Переписка из двух углов"[31], которая во всей свежести доносит до читателя дух и звучание тогдашних бесед. Со-

ставилась она из подлинных писем Гершензона и Вяч. Иванова, когда их, изголодавшихся, в 19-м году приютил подмосковный дом отдыха: помещались они в одной комнате вместе с другими отдыхающими и, неугомонные разговорщики, чтобы не мешать соседям, не говорили, а писали, каждый сидя на своей койке.

Помнится, не всегда беседы тех лет были мирны, бывали и острые стычки, вспышки враждебности. К концу 16-го года резко обозначилось двоякое отношение к событиям на войне и в самой России: одни старались оптимистически сгладить все выступавшие противоречия, другие сознательно обостряли их, как бы торопя катастрофу. "Ну где вам, в ваших переулках, закоулках преодолеть интеллигентский индивидуализм и слиться с душой народа!" — ворчливо замечает Вяч. Иванов. "А вы думаете, душа народа обитает на бульварах?" — сейчас же отпарирует Бердяев. И тут же мы обнаружили, что все сторонники благополучия, все оптимисты — Вяч. Иванов, Булгаков, Эрн — и вправду жительствуют на широких бульварах, а предсказывающие катастрофу, ловящие симптомы ее — Шестов, Бердяев, Гершензон — в кривых переулочках, где редок и шаг пешехода... Посмеялись. Поострили. Затеяли рукописный журнал "Бульвары и Переулки" [32]. Особенно усердно принялись писать жены: не лишенные дарования и остроумия Лидия Бердяева и Мария Борисовна Гершензон — шуточные характеристики друзей-недругов, пародии. Собрались через неделю читать написанное у нас — наша квартира символически объединяла переулок и бульвар: вход с переулка, а от Новинского бульвара отделял только огороженный двор, и окна наши глядели туда... Может быть, у кого-нибудь и сохранились листки этого, кажется единственного, номера "Бульваров и Переулков".

Но что же объединяло таких несхожих мыслителей, как Вяч. Иванов и Гершензон, Шестов и Бердяев? Это не группа идейных союзников, как были в прошлом, например, кружки славянофилов и западников. И все же связывала их не причуда личного вкуса, а что-то более глубокое. Не то ли, что в каждом из них таилась взрывчатая сила, направленная против умственных предрассудков и ценностей старого мира, против иллюзий гуманизма и либерализма, но вместе с тем и против декадентской мишуры, многим тогда казавшейся последним словом? Конечно, это было не анархическое бунтарство,— у каждого свое видение будущего, стройное, строгое, определяющее весь его творческий путь. Что в том, что, когда совершился грандиозный переворот страны, судьба всех их трагически не совпала с исторической судьбой родины. Люди дерзкой, самобытной мысли и отстают от века, и опережают его, но редко идут с ним в ногу. Вспомним Толстого и Достоевского. Им, этим одиночкам,— бремя последнего отъединения. Соотечественникам их — запечатанные, непонятные, молчащие книги. Но в свое время — может быть, очень нескорое — печати снимутся, молчальники заговорят.

А в Кречетниковском, наряду с участием в умственной жизни друзей, шла своя, женская жизнь. Особенно сгущалось это женс-

кое и семейное во времена наездов других членов нашей семьи — невестки, мачехи: покупки, портнихи, доктора, массажистки. Всплывала позабытая родня. Тетушка, сестра отца, беженка из Варшавы, сядет за пианино и бисерной россыпью пробежит по клавишам — так играли в салонах XIX века. Сквозь позевывание скуки улыбаемся и умиляемся нашему прошлому.

А в центре всего — дети, их болезни, их капризы, их словечки, наблюдение над постепенно обозначающимися характерами. Обсуждение неудачных нянь. Среди этих сменявшихся нянь и вертушек горничных была одна — верная Василиса, кухарка, перешедшая к Аделаиде еще из старого герцыковского дома. Маленькая, вся кругленькая, короткорукая, костромичка, с говором на "о",— сам уют, когда она, присев на низенькую скамеечку около сестры, лежащей на кровати, обсуждала с ней завтрашний обед или просила почитать о войне и, слушая, лила тихие, негорькие слезы... На все у нее свое словцо, всем — свои прозвища. Бердяева за гром его речей, доносящихся и до кухни, прозвала "опровергалой". Выглянув в окно: "Вон ваш-то опровергала идет, палочкой постукивает". Нашу Василису описал Ремизов[33], как-то в наше отсутствие останавливавшийся в Кречетниковском.

Иногда мы с сестрой спохватимся и яро возьмемся за запущенную и просроченную работу. Словари на обеденном столе, гоним мальчиков, обе — за перевод, совместно обсуждаем трудности. Среди других переводов помню два томика комедий—proverbes* — Мюссе, изящнейших и почти неодолимо трудных, так как весь диалог построен на непереводимой игре слов. Мы с увлечением брали эти препятствия. Наш Мюссе так и не увидел света: рукопись сгорела в издательстве Сабашникова в 17-м году, да и век настал не под стать Мюссе. Годы эти не были лирическими в жизни сестры — она почти не писала стихов. Зато тут были написаны ею своеобразные, очень отражавшие ее, прозаические очерки и единственная ее повесть. Сотрудничала в петербургском журнале "Северные записки".

На неделю, на две приезжает с фронта муж ее, работавший там в думской организации. В комнатах раскиданы полувоенные вещи, немецкая каска. Он немногословен, рассказывает мало, рассеян к московскому — только отоспаться, отмыться — ходит по **тамошним** поручениям, приходят к нему тамошние люди... Иногда устраивал себе винт. Это мои любимые вечера. Часов в девять сажусь в горячую ванну — от накаленной колонки пышет жаром в маленькой ванной комнате. Из ванной — прямо в постель. Звонки собирающихся винтеров. На одеяле у меня книги: и умная, и божественная, и последний номер журнала, и разрезной нож. Полученное письмо и начатый ответ. Хорошо отточенный карандаш. В предвидении долгих одиноких часов я пробежалась на Арбат и купила плитку шоколада любимого сорта. Сестра приносит чай с малиновым вареньем, ломтики ветчины, сдобный хлеб, ванильные сухарики. Я буду пить всласть, еще чашку, еще...

---

* Пословицы (*фр.*).

Адя принесет. Она присаживается и забавно рассказывает о даме-винтерке, красивой жене скульптора Домогацкого, об авторитетных ее литературных суждениях. Бедной Аде придется любезно бодрствовать часов до двух! Лежу. Острое, почти пронзительное чувство благополучия, духовного и физического,— как будто я тогда знала, **какое** бывает **неблагополучие,** как будто было сравнение! Меня зовут к телефону. Набрасываю халат, выхожу в переднюю (моя маленькая комнатка прямо из передней), плотнее прикрываю дверь в столовую — за ней кабинет винтеров. Да, он, Бердяев. У него сидят молодые спорщики, но он оторвался, чтобы перед сном посмеяться, позлословить со мной. Быстрый отчет дня, мысль, сверкнувшая ему за письменным столом. И смех. Непрерывный высокий пафос мысли, непрерывная лихорадка войны, в которой тогда жили, требовали разрядки в смехе. И умели же мы с ним смеяться — дерзко, отчаянно, не щадя своих же святынь,— все просмеять насквозь, как струей холодного воздуха, чтобы нигде застоя. Так крепка была вера. "Ну, прощай, дорогая. До завтра".— "До завтра".

ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

1903

3 февраля, Москва

Эти дни зимние, бессолнечные, Курсы, большой-большой зал и чужие лица, и лекция слышится и не слушается — тогда хочется уйти тайно, потихоньку от нее, чтоб больше не было меня <...>. А Новгородцев в это время: "Мы переживаем раскрытие нравственного закона... бесконечные перспективы духа..."

И потом, не прощаясь с нею [Соней.— *Т. Ж.*][1], почти не застегнув шубу, без перчаток идешь под маленькими снежинками домой, в свою комнату <...>

17 апреля

Я ехала улицами и думала: Италия, культ картин, красоты — das Filigran der Dinge* — эгоистичная, образованная, дорого стоящая жизнь,— а потом другое — желание от всего этого отказаться, бросить — нет, даже не бросить, а уронить улыбаясь, не как жертву, а как что-то, чего нет,— и это во имя чего-нибудь — любви, Бога или просто во имя чего-то безымянного, ничтожного. Не ради него, а ради гордости, упоения отречься от всего! Так, улыбаясь, отстранить весь мир — в этом <...> ambition de l'homme**. Но вот что я узнала: именно это, эти качели и есть жизнь, и она узнается по этому жуткому чувству пустоты, полета, падения — no vertige***. Каждый миг реальность может сделать призрачностью. И не то чтоб эта любимая Vielheit der Dinge **** сохраняла все-таки значение как смысл преходящих отражений, воплощений вечной истины. Нет, она просто стирается, когда приходит страсть отречения, и ее нельзя спасти, и главное некому ее спасать.

В вечной опасности она живет (jenes Filigran der Dinge)*****, каждое мгновение она может быть смыта волной той purpurne

---

* Тонкость вещей *(нем.)*.
** Человеческая амбиция *(фр.)*.
*** Без головокружения *(англ., фр.)*.
**** Разнообразие вещей *(нем.)*.
***** Та тонкость вещей *(нем.)*.

Finsternis* дионисийства, поэтому я объявляю, что нет больше эстетически бесстрастного покоя и эстетического эгоизма,— в любви к каждому историческому моменту, к поэтическому образу, к архитектуре, к колориту не самоуслаждение, а глубокая опасность, Wille zum Untergehen... Les heures sont brökes**— надо любить все вещи, и брать их, и отдаваться им, пока не захлестнет их волна того, безымянного. И вся эта сверкающая многогранность жизни нужна, чтоб было что, не глядя, выронить из рук, когда они покорно опустятся перед тем...

Страшный это закон: только тому искусство и жизнь говорят все свое лучшее, заветное, только тому можно отдать себя, кто когда-нибудь, не замечая нас, не жалея, с невинной жестокостью бросит, *не оставляя себе ничего:* der eine Höhe uber seine Liebe hat***... Непонятная жестокость... Как чудесно меняется все: право жертвы, отречения, бедности, завоевывается умением быть счастливым, почти быть хищным. Как долго надо жить, жить, стареть, чтоб понять beata panpurtas****... О, как не опасно счастье...

18 апреля

"...Wir müssen Verräter werden, <um>Tränen <zu>über<winden>..."***** Можно, м. б., просто вырасти до одиночества, и тогда нельзя даже сказать этому одинокому, что он ушел,— это будет неправдой. Но, м. б., потом, выше, можно перерасти свое одиночество и, не теряя его, опять научиться дружбе. М. б., там встречаются равные. Нет, das Gleichen gibt es nicht******, и дружбы там нет. Nikisch[2] одинок со своей музыкой — ни один бог себе не создал друга. Как это странно, что нужна была музыка, чтоб это узнать...

Как все сплелось в один напряженный, как струна, звучащий узел: Соня, Никиш, эти утра в темной зале, это мучительное наслаждение музыкой, Никиш другой, погасающий; письмо, которое пришло, и письмо, кот[орое] я так страшно жду. Коснешься одного — и все другое звучит, и болит, и поет, и стонет... Было бы жизнью жить так, только в музыке и в любви, обессиленной, переходить от одного к другому, обрывать свою жизнь, как лепестки, ничего не создавать, только тратить, терять... И тогда является эта улыбка: на некоторых бледных, нервных лицах светских женщин она бывает, и все время она скользит по лицу, как будто ей нельзя уйти, как будто она одна связывает с жизнью эту todes müds Seele...*******

---

* Пурпурная мрачность *(нем.)*.

** Воля к гибели *(нем.)* ...Время разбито *(фр.)*.

*** Кто возвышается над своей любовью *(нем.)*.

**** Счастливая бедность *(лат.)*.

***** Мы должны стать предателями, чтобы преодолеть слезы *(нем.)*.

****** Нет сходства *(нем.)*.

******* Умершая усталая душа *(нем.)*.

Эта же улыбка, которая дрожит на губах у человека, у которого все отняли, душу его. Так улыбаются, умирая. Потому эти дамы могут говорить о последних модах, о выставке — улыбка скажет за них все другое. Я с огромной нежностью думаю о такой женщине, вся жизнь которой уходит на привлечение и удержание друга, на бесконечно сложную сеть обмана, скрывания, соперничество, на скрытие под кокетством и улыбкой страдания, ревности... Я больно чувствую, как она выбирает и примеряет платье, с тревогой ищет в зеркале морщинок на своем лице и вспоминает, как он наклонялся к той, другой, и какая она молодая... И опять, нарядная, ждет и улыбается. Такая милая, бесплодная жизнь, прекрасная, как музыка, которая сыграна, растаяла, которой нет. И она слушает музыку с загадочной, знающей улыбкой — они узнают друг друга, они родные... Так бессильна, жалка и я, и мысль, и философия перед ними.

Да, нужна была музыка. Хорошо, что это случилось. Как страшно, до неба вырастает то маленькое, не замеченное в душе, с чем подходишь к морю и к музыке, как отраженное в гигантском зеркале падает тенью от горизонта и до горизонта. Будущее das Werden* уже живет в ней. М. б., и это еще только будет? Нет, это уже есть. Поэтому отшельники в пустыне угадывали грядущее, читали его в голубой дали?

Все равно. Я устала. Такая страшная покинутость. Я удивляюсь, как я не думала, не узнала раньше. И знаю, за что, за что — она, за что — мне. Тут даже справедливость, хотя она не нужна. Но были сегодня в музыке голубые, прозрачные и глубокие озера среди жестоких темных волн, и в них красота без боли — так близко к страданию и так чуждо ему... Как Grimsee**, среди диких, суровых скал.

25 апреля

Какое утомительное и некрасивое, ненужное страдание; с таким трудом вкатываешь камень в гору, и при первой встрече он срывается вниз, и говоришь с напряженной улыбкой что-то недостойное, неравное себе. С трудом я стою и говорю, что и я тоже что-то переживаю, что и такое может быть,— но, когда начинаю говорить,— **мое**, выходит так, как будто я такая бедная, что всему этому можно только сострадать. И я не могу сказать себе, что они не понимают, потому что знаю: у них настоящее, а все, что они не понимают, что не однозвучно с ними, значит, и не нужно (как дифференциалы и политическая экономия) — двух правд нет. Вот я сказала сейчас — дифференциалы,— и они нужны, как нужна и моя "психология",— но это **работа**, наука, за это платят деньги, но презирают таких и в непонятный мне храм жизни не впускают.

---

* Становление *(нем.)*.

** Озеро *(нем.)*.

Я живу только своим пониманием других, не собой. Я живу об Аде, о Соне. Как я безумно завидую ей — ходит и творит жизнь, и как почувствуешь, так чтоб и сделалось. И это не иллюзия, а объективная жизнь.

Я устала от одного этого тупого сознания.

Я тоже стараюсь выдумать себе события, откровение, ну, идею, синтез из писем, которые приходят, из встреч; я так радуюсь и горжусь, но, когда я начинаю рассказывать, оно сразу рассказывается, и я опять молчу — пристыженная... Не выходит. Неужели я из тех, у кого все вянет, умирает, кто не умеет сделать из жизни ничего?

Соня принесла французскую бумажку, где закругленными, безличными фразами делает syntèse métaphysique* — музыки и своей души... И с безумным волнением объясняет. Она сделала догмат. И именно потому, что это так общо, не художественно, не ярко, потому что этого нельзя подделать, именно поэтому это непонятно и хочется закричать, что ведь тут ничего нет... И все-таки я лгу, слушая, умиляясь и тоже ища слова, и только ложью я вскрываю в себе такие неподдельные, почти священные ощущения, которые остались бы невыращенными. Как это страшно! Я как banquier d'origine sémitique**, задорого купивший себе баронство. Он ощупью подделывает ощущения de la noblesse***, с которым у него нет кровной связи. Он каждую минуту должен быть начеку, чтоб угадать, как бы она тут почувствовала, каждую минуту может сфальшивить. Он так трудится, qu'il finît pour croire****. И искренне верит и в голубую кровь, и в их Бога. Во Франции они всего католичней.

27, июнь. Würzburg

Едем, едем наконец завтра с Бобой[3]. Адя приехала вчера. Такое волнение, такая радость к этой стране голубой!

1 июля

Первая ночь была в Базеле — я не спала ее от волнения и больно переживала la vanité***** всех прежних умственных и вюрцбургских мыслей. Потом быстро мелькали голубые озера — Neuchutel, Yverdon. Прошлое мое, Сонино. Сердце не успевало биться за всех, за все, за жизнь. Потом огромный праздничный Leman — он нам с Бобой сразу плеснул светом и лазурью в глаза, как только поезд остановился в Лозанне. Но мы проехали мимо, дальше в зеленую, все сужающуюся vallée du

---

* Метафизический синтез (*фр.*).

** Банкир семитского происхождения (*фр.*).

*** Благородство (*фр.*).

**** Пусть он кончит, чтобы подумать (*фр.*).

***** Честолюбие (*фр.*).

Rhône*. И упрямо, как mulet**, поднялись прямо сюда, еще в такое не оттаявшее, ранневесеннее место. И мы оба загрустили. Сюда надо прийти, когда уж горы завладеют, когда они сделают душу яснее, прийти с ногами, привыкшими к горным тропинкам, с глазами, которые ясно различают в тумане. Нельзя так сразу из города сюда.

Я хотела много писать в Würzburg'e — целый месяц жизни, но все уходило в письма. И от С<они> часто-часто, на каждой маленькой почте они ждут целой пачкой. Сюда прислали из Vevey — раз, два, три... Опять вся ее любовь на меня. Я живу, коронованная ею. Но все-таки все другое, все всегда безвозвратно в любви.

Grand Comin, как корабль трехпарусный, весь белый. Маленькое синее озеро среди этих темных сосен, на этой страшной высоте (1470 метров) делает странную таинственную тишину. К нему сходятся все тропинки и останавливаются, замирают вокруг него. Что дальше?

5 июля

Непрерывная ласка für alle Sinne***, аромат сосен, цветы, la sonaille des vaches****. А вечером я не знаю отчего, когда становится темно и холодно, я не знаю, отчего какой-то детский страх охватывает, беспокойство — не вершинное, а слепое, детское. Почти страх, чтоб не случилось что-нибудь злое. И я боюсь ложиться спать в деревянной своей комнате и, кутаясь в тальму, спускаюсь и сижу долго с двумя единственными обитателями нашего пансиона. И кротко и испуганно слушаю их ясную философию (доктор, альпинист из Берна, когда звезды зажиг<аются>, говорит про mondes infinis*****.)

<...> А утром встаю опять смелая и одинокая и обманываю их — ухожу одна, одна, выше, за рододендронами. Но все-таки тоска.

Июль. Maricottes

Нет глубины, Urwelt des Unbewussten******— что делать? М. б., и на этом можно вырастить как-нибудь больной, мстительный цветок, но новый, небывалый, свой... Но он будет сухой, с ползучими по поверхности корнями.

---

* Долину Роны (*фр.*).

** Мул (*фр.*).

*** Во всех смыслах (*нем.*).

**** Мычание коров (*фр.*).

***** Бесконечные миры (*фр.*).

****** Первобытный мир бессознательного (*нем.*).

15 июля

Они покровительствуют смерти, снисходительно относятся к ним — только потому что живые. Это не смерть, а паралич, когда человек лежит бессильный, окоченелый, и толкуют его жесты; неужели нельзя умереть — так, чтобы совсем?

Я себе представляю край, черный, куда упасть и лежать без конца,— но и там, и там астрономическая теория какая-нибудь. Куда умереть в человеке, в близком? Какое, равное смерти, чувство? Некуда умереть. Всюду, как паук, жизнь начинается приспособлением смерти. Упал камень среди растущих зеленых побегов, и вот они обвивают его, взбираются, придают и ему зеленый тон, чтоб он стал familier*. А у меня, как чужой, холодный, лежит этот камень, и кругом почерневшие травы. Мертвое место. Недостаток любви, п. ч. иначе не могла бы вынести этот камень. Я его не похоронила — и забываю, забуду.

Нет чувства, равного смерти.

Без даты. Maricottes

Пришли русские газеты, журналы.

Об опыте, из которого творить. Надо узнать свой материал душевный. Это могут быть музыкальн[ые] ощущения, мистическ[ие]. У Розанова[4], например, доброта. У него не одна она есть, он не сразу набрел. Он пробовал в мистицизме, в подполье творить — не очень выходило. Всего цветистей, махровей вышло в доброте. И он теперь всегда в ней. Потому обо всем он свежо говорит, как будто утро, как будто в первый раз. Все, что приходит к нему, он окунет во внутренний опыт доброты — и выходит расцвеченное и насыщенное. Он добрый теперь уж с упоением, с самоуслаждением добрый. Нельзя было знать, что и доброта такая махровая. Он натянул в ней струны и всем — вчера медициной, сегодня — бедным Врубелем — заставляет звучать ее одну. И потому всегда звуки, музыка. Хорошо. Знать свое надо.

Без даты

В Gösta[5] приходит новая смерть, новый образ ее. Но зачем ищешь непременно образ, слова? Когда мы несколько часов не говорили об этом, о нем, нарастает такое горе. Надо жить, не спуская глаз с того, что случилось, потому что второй раз все снова узнать — нельзя вынести.

Какая удивительная полукнига-полусказка! Но главное — он, Gösta, похож на Александра Михайловича — он тоже все, всех берет и сейчас роняет, забывает. Как здесь, среди черных mazots**, и серых дымящихся камней (все туманы), и моих нежных mélèzes***,— как верно здесь узнать его, как здесь близок этот

* Свой (*фр.*).

**Швейцарский деревянный домик (*фр.*)

*** Лиственницы (*фр.*).

нордический дух. Люди у нее [Лагерлеф. — *Т. Ж.*] точно созваны из мшистых лесов и, когда прочтешь, опять вернутся туда.

Без даты

Можно опровергать атеизм, но нельзя — веру в Бога, потому что атеизм утверждает, что Бога нет, а вера верит в него.

1904

15 марта, Москва

Живу упоенно-творчески — написала так сразу, как будто продиктованную, сказку Пустыни, готовлю сочинение о Канте, и потом, эта импровизированная лекция — новое ощущение, и новое тщеславие — говорить, и два Бориса, большой и маленький, которые слушают заинтересованно <...>.

Март

Это новое, совсем новое и пугающее — что-то готовящее мне? Я тоскую по культуре, по кристаллизации qui de forme* разные отдельно видящие центр в себе кристаллики. Культ[ура] — освещающая косность, санкционирующая иррациональность. Жестокая, слепая к индивидуальному — такая культура китайская, католичество ancien Régime**, все равно даже каких-нибудь затерянных в горах Valaisains.

И отвратительно мне — о как отвратительно! — наше жадное прислушивание и Heraussagen*** всего, что свое, хищное, грубое. Чтобы каждое мгновение променять на звонкую дешевую монету своего бытия — о как не аристократично, ekelhaft****!

И как я думала, что можно без прошлого, без благоговения к портрету мамы, без того, что можно, закрыв глаза, и не по-своему, не оригинально, а как предки [...]

У меня никогда ничего другого не было — единственная вера, пафос! Мне **некуда** вернуться — нет ни семьи, ни традиций, ни старинных образков, к которым можно вернуться. Степь позади. Как счастье не цель жизни, так и личность. Стремиться к другому — et ce qui reste c'est la personnalité*****... Золотая пыль потому отлетает тем обильней, чем безоглядней бьешься, как мотылек, о другую цель. Так было от века — так будет. Пото-

* Форма (*фр.*).
** Старый режим (*фр.*).
*** Высказывание (*нем.*).
**** Отвратительно (*нем.*).
***** Остается только личность (*фр.*).

му где индивид[уальность] у этих Hart'ов*? Освободиться от себя, растоптать себя — этим становишься собою... А мы ходим осторожно и подмечаем: вот что я подумала, вот что во мне...

И между тем это неизбежно (то есть это Erweiterung Seele**), это законно как завершение всего, потому что истина только в соответствии с самим собой... Кант прав. Взять все в себя и стать единственным, самозаконным. Потом искать и творить свою вечную форму, влюбленной быть в ее лики — и какое тогда дело до сущего. Но вот Августин[1] назвал одно, единственное, что может спасти человека от этой смерти — Нарцисса, безнадежно влюбленного в свой собственный образ, это Fin***, это предел Личности, за которым начинается чужое. Блаженство взглянуть на что-нибудь, что не ты... Нельзя себе представить всю страшность взгляда туда... Человек жадный, он хочет и Бога поглотить, он говорит — покоиться в Боге, а на самом деле это значит убить Finis. Соня писала: "Я восхищаюсь этой чистой способностью воли, для которой все равно, осуществлена ли она, которой, наоборот, почти противоречит осуществление... Покоиться в себе самой, в согласии с собой, чувствовать себя "вещно в себе". И я тоже хочу так in der Luft schweben**** чистой формой, чистой возможностью — и мне безразличен мир явлений, осуществлений".

Если философия — то, конечно, только Кант и "покой в себе" и потом — Нарцисс и смерть. Это ход неизбежный. Или разорвать круг и очутиться на грани — finis. Но кто выстоит, не на грани вечности — Mon nom est devenu familier*****,— а на грани чужого? Кто знает ужас чужого?

29 марта

Über den Sternen... Selig sitzt in der Nacht und singt******. Мы повторяем влюбленно это Holz'[2]овское: über den Sternen. Опять как в давнее тревожное время упоение поэзией — Holz, Regnier[3], новой русской... И странно, мы стали опять "мы" — общее у нас поэты, "Весы"[4], рецензии, этот приблизившийся мир декадентов. То, что насильственно разорвало наше "мы", ушло — Александр Михайлович[5], Vel[leman], каждодневно Соня. Мне страшно вдруг, что вдруг жизнь кончилась и навсегда замкнутый круг красоты, эстетики, но не жизни? А жизнь, и боль, и счастье были тогда, когда "мы" было разорвано. Неужели кончено все навсегда?

---

* Суровый (*нем.*).
** Расширение души (*нем.*).
*** Конец (*фр.*).
**** Парить в воздухе (*нем.*).
***** Мое имя стало близким (*фр.*).
****** Над звездами... Счастливый сидит ночью и поет (*нем.*).

3 апреля

Культ правды — желание реализовать себя. (Все то же.) Но если в каждое мгновение со всей полнотой отражать себя, то этим убивается будущее, дети, то, что растет и греется под радужной пеленой лжи, фантазии (Ancien Regime на картине Сомова!). М. б., для жизни прежде всего нужен враг — любимый, кровно связанный, кот[орого] сильнейший может überwinden*, чтобы каждый раз новый путь был путем сильнейшего.

Золотой недосказанный сон лжи. Духовность ее. Rémy de Gourmont: le premier mot c' est le premier mensonge**. И еще сравнение его: les vertébrés et les invertébrés — первые réagissent contre le milieu ***, повышая свою температуру, когда температура среды падает, а беспозвоночные, низшие всегда в гармонии со средой. И вот le mensonge n'est que la forme psychologique de la réaction des êtres supérieurs contre le milieu****, понимая под milieu и самого себя.

Жизнь в дисгармонии с собой [...]

Без даты

Почти как сказка жизнь и даже такая, без событий и может быть именно такая, когда так много себя, своей души находишь вокруг, что, куда ни идешь, ее волны забегают вперед и плещутся вокруг, и уж не думаешь сама, а смотришь только на ее всплески и видишь вокруг везде свою стихию. Как сирена в море, уж не живешь отдельной человечьей жизнью, а слушаешься моря, качаешься на нем, потому что сама морская и волосы зеленые. Так мы, слишком много думая, вернулись к стихии и природе — создали природу.

Июль

Какая странная вещь — философия! Несомненно, что она роскошь, не хлеб насущный жизни, пышный цвет кот[орой] осыпется в конце. И тем больше она влечет. Умирая, все равно я узнаю и религиозность, и теософические истины — бергсоновские же идеи не узнаю... Я хожу, когда гуляю — и играю в Бергсона: перескакиваю из времени в пространство, ловлю l'élan primitif ***** и как он, погасая, загорается опять. Как он мне близок к моей детской философии о единственной реальности явлений, не вещи, о благости времени — это всегда и против всех было у меня,— он "хочет и не хочет Имени"... Я говорю: только

---

* Преодолевать (*нем.*).

** Реми де Гурмон: первое слово — это первая ложь (*фр.*).

*** Позвоночные и беспозвоночные... — ...реагируют против среды (*фр.*).

**** Ложь — только психологическая форма реакции высших существ против среды (*фр.*).

***** Примитивный порыв (*фр.*).

являющееся — абсолютно; он: только временное — абсолютно. Какая сладость в его уме, остроумии после только благочестия!

Божье ли это — думать о пространстве и времени? Я думаю. Не стало больше du laïque* в мире: недаром не из легкомыслия, а из правды у меня так смешно переплетаются — крестик, духи, шарфы, романы, молитвенник... А уж зло совсем — Божье, по линии святого! Кроме того, я думаю, что это свойство художественного восприятия и творчества.

Август

На белом, белом песке plag'a читаю древних — трагиков — в первый раз с увлечением, и охватывает абсолютностью трагедии. Кант уже мешает, уже неверен, а надо еще им вдохновляться, о нем писать. Скорей, скорей! А потом будет Гераклит. Пишем с Адей письма о поэзии — об образах.

12 августа

О Брюсове. Сухость. Влаги нет. Пафос разврата — "искривлены тела" — всегда видит: "твой зорок стих, как око рыси". Никогда не погружаясь в purpurne Finsternis**, нет безумия, тайны. Где же демонизм? Он у Сологуба[6]. Verhaern. Он не вещает о мире новом, как Вячеслав Иванов. Что же? Индивидуализм? Не доходит до трагедии. Никогда не поет, не слепец, не поэт. Красивые образы, рифмы — des curiosités***, — нельзя уплыть на нем.

Острым серпом, безболезненно режущим,
Сжаты в душе и восторг и печаль.

15 августа

Отчего такая боль, когда глядишься в себя? Что отнялось? Разбогатела безмерно нежданно созвучными и гениальными душами в древнем (Дионис и трагедия) и в завтрашнем дне (наши поэты),— почему же в душе так страшно и бедно, а в прошлом году в Швейцарии, когда был у меня один только Кант, какое веселье, восторг каждый день жить! И странно — смерть, которая случилась тогда,— я только теперь переживаю. От личного? Оттого, что должна была в ответ на родившийся в душе пафос прийти любовь — встреча...

---

* Мирской (*фр.*).
** Пурпурная мрачность (*нем.*).
*** Диковины (*фр.*).

17 августа

Bettina, Bettina[7]! Какая любимая, волнующаяся сестра — все знавшая и все мое, трагическое, обратившая в восторг. Страшно важное письмо от Сони про неверность оронков, которые захотели бессмертия — и падение.

Без даты

В назидание. Вот почему надо любить Канта... Кроме всего, что знают профессора.

I

Философия К[ант]а — единственная философия простого и беспокойного чел[овеческого] ребенка и Шестова. Все остальные философии — научные системы, и только кантовская воистину философия. Говорят, что философия и наука зарождались с первым вопросом и сомнением. Как же они отвечают на вопрос? (Очевидно, это их innerstes Wesen*.)

Когда человек спрашивает: почему я не счастлив? почему у меня нет того, что у других? и так далее, то наука спешит переместить отношения в вопросе и потом с готовностью отвечает: нет больше "Я и несчастие" или "Я и люди", а есть огромный человеческий или органический мир, и в нем одна миллиардная — "Я". И потом отвечает: социология говорит о проценте неудачников, биология — о колебаниях жизненной интенсивности и так далее. Все отвечают, и все верно. Это метод науки. Она щедрая и поучительная: на крошечный вопрос — о судьбе одной миллиардной — она отвечает огромным ответом — о судьбе целого. Она воспитывает этим. Это *правда* — я не смеюсь. Она моралистка.

А философия и поэзия отвечают не перемещая отношений — возведя только вопрос индивидуума ins Untrennbar**, в мировое. "Я и мир". Это их метод.

Скажут, что они только возвеличивают вопрос, не давая на него ответ,— что это еще не знание. Это не совсем так. И в этой области есть ответы, но если б и не то — в этом еще нет большого отличия от науки: Давно сказано, что au fond*** все объяснения научн[ые] — только описания, что закон — только констатирование факта (закон тяготения: когда два тела стоят так-то, происходит то-то...), поэтому одно мировое звучание вопроса есть разрешение его. У всякого большого поэта *как* есть начало и завершение для *что*. Кант тоже говорит только *как* — а мы узнаем *что*.

* Глубочайшая суть (*нем.*).
** В единое (*нем.*).
*** В глубине (*фр.*).

Поэтому мыслительным (я не говорю научным) фоном, интеллектуальными условиями всякого шестовского вопроса может быть только Кант. (А такой интелл<ектуальный> фон, думаю, непременно бывает хотя бы бессознательно.) И вот почему: шестовский вопрос немыслим в позитиве, ибо там "Я" — бесконечно малая величина (потому что, чтоб быть последовательным, он должен признавать равно реальными членами мировой истории не только ныне живущих людей, но и всех прошлых и будущих), а про беск[онечно] мал[ые] величины наука не смеет говорить. Это ее, кажется, единственный мистицизм. Место, где она, говорливая, замолкает.

И тут говорит философия.

Шестов говорит, что философия не занимается "случаем", между тем только им и должна бы интересоваться. Конечно. И философия Канта есть философия случая, и только случая.

Такая философия может быть только *субъективной*, и потому отныне все философские системы должны быть субъективизмом. Кант назвал свою — субъективный идеализм,— конечно, возможны и будут другие, но всегда субъектив.

Важно то, что сохранится отношение между "Я" и миром (все остальные философии начинались так: отрешись от себя!), что философия скажет *да* всем ощущениям и болям человека, подтвердит, что мир черен, когда глаза мои закрыты,— важно это; а как это объяснят, идеализмом ли (мир — мое творение) или чем иным, это все равно. Как сказано уже, объяснения не объясняют, а, пожалуй, только успокаивают. И дело науки — успокаивать и "приручать". Задача философии совсем другая — обострение проблем, проблемизирование жизни (il est permis)*. Кажется, ей хочется, чтоб ни одного атома спокойного не было, а все вовлечено в проблему. Поэтому не тот философ, кто стройно располагает философские понятия, а кто, изыскав новые проблемы (Достоевский, почти Verlaine**, почти Чехов), то есть не сам, м. б., а в котором читающий находит обнаженные и несопоставимые части жизни и думает: как же? как же? Ну так вот. *Позитивизм* — учение о том, что реальные люди ходят по твердой земле, среди реальных вещей,— совсем *не отвергнут* — он прав, он *почва для всех наук о человеке*. Как в дальнейшем анализе прав атомистический материализм — основа для химии, а еще дальше энергетизм — основа физики, биологии. Все они верны, но все *абстракции*. Почему, правда, было бы останавливаться именно на этом *разрезе* бытия? Почему истинно *реален* именно человек, а не одни только электроны (крошечные единицы сил), а человек — только абстрактное обобщение, как для позитивистов — абстрактно обобщен весь мир?

---

* Это позволено (*фр.*).

** Верлен.

Все они верны, все они нужны, и беспредельны перспективы расширения и обогащения наук.

Наука — обладательница всех истин — м. б., философия только вечный борец за нее? Недаром греки назвали ее философией. Но именно потому только она знает, *что такое* истина.

II

Кант внес одно новое начало, начало творчества, *действенное*. Это то, к чему постепенно пришли все точные науки,— во всем они видят теперь эффект, воздействие, энергию — то есть силу в *процессе*, а не силу как принцип. Неподвижного ничего нет, или там, где оно кажется таким, оно ничего не в силах объяснить. К энергии, к движению сводятся все, казавшиеся чудесными, явления. Как необъяснимо казалось представление о бесчисленных образах воспоминания, живущих в нашем уме,— искали места для вещей всего мира в материи нашего мозга! Теперь же мы представляем себе бесконечное разнообразие колебаний все тех же частных нервной ткани: каждое впечатление, внешнее или внутреннее, создает новую комбинацию, как при колебании немногих струн создается бесконечное разнообразие сочетания звуков. Кант называет чувственное восприятие пассивным, но сам противоречит этому в анализе нашей душевной деятельности, ибо для него не существует восприятия без акта объединения разнообразного, то есть без творчества. Что происходит в нас при самом пассивном созерцании, например картины? Химический процесс в сетчатке, ток, бегущий по нервам, пробегающий через мозг, возвращающийся обратно, отбрасывающий образ в пространство. Это картина. Уже это одно разрушает доводы антиидеалистов, утверждающих, что мы познаем вещи, как они есть; что общего между всеми этими процессами и пестрым холстом картины? Мир — наше создание. Итак, пассивного, бездейственного ничего нет. Если мы не могли бы познать его в чуждом нам, то могли бы ощутить его в себе, но мы знаем себя только действующими или страдающими — значит, пассивного нет. "Ich" hat kein Sein in Sinn einer stabilen Substanz*. Кант убил *пребывающую* субстанцию. В особенности сказывается эта новая тенденция в той роли, которая придается воле, практической деятельности человека. Только в воле человеку доступен мир в себе (трансцендентный), воля не явление, а вещь в себе — только эмпирическое проявление ее (огражденное другими явлениями) низводит ее.

* "Я" не имеет бытия в смысле субстанции (*нем.*).

III

Верные духу Канта, его последователи распространили этот принцип из мира воли на мир познания. Познание есть тоже творчество. Erst der intellect. Prozess erreicht den Gegenteil der Erkenntniss*. А там, где процесс, где делание,— там мы соприкасаемся с миром трансцендентным, миром истинно сущим. Значит? Мы творим вещи, а не явления — познавая, любя, живя. Бердяев говорит: "И трансцендентное имманентно". Мне хочется сказать: имманентное — трансцендентно: это оно, последнее, все...

Кант: "Увы, нам доступны только явления, а не мир вещей в себе!" Что такое явление? Оставаясь на строго кантовской точке зрения, надо сказать: явление — это совместное творчество моего "Я" (некой вещи в себе) и других вещей в себе. Почему же продукт этого творчества нереален? Неужели "Я", живое, сущее "Я" является principium arealisationis** (если можно так сказать)? Почему? Если б краски сплетались в образы без меня — они были бы истинными, сущими, а благодаря моему участию они обращаются в призрачность, в Schein***. За что так к себе? Правда, мы мало живы и малому мы даем жить, и это горестно, но нельзя из этого выводить, что там, где мы живы, — там что-то настоящее, более живое, более прочное... *Прочное* — в этом слове разгадка. Кант говорит: "Доступны только явления, а не вещи в себе". "Только" — это оценка. В этих словах мысль: самое ценное *недоступно*. Но почему же явления не ценны — не потому же, что они доступны? Нет! "Вещи в себе" — субстанции — прочны, неизменны, вечны; явления — мгновенны. И у Канта бессознательно живет древнее поклонение вечному, презрение к мгновенному!

За явлениями не отрицается эмпирической реальности, но отрицается метафизическая. Метафизическая реальность не научное признание, а выражение почитания, признание достоинства, оценка.

Но, *оценивая, мы сами творим ценности* (это в духе Канта — он не допускал ни божеских, ни каких иных ценностей, поставленных нам свыше); *оценка* создается деятельностью (die Inhalte der Willensakte sind erst "das Gute"****); деятельность *протекает в мире явлений* — ergo*****, — в *нем* абсолютные ценности, достоинство, абсолютная реальность! Вечные возможности — мгновенные реализации!

---

* Только интеллектуальный процесс достигает противостояние познанию (*нем.*).

** Первопричина (*лат.*).

*** Видимость (*нем.*).

**** Смыслы актов воли сперва есть благо (*нем.*).

***** Следовательно (*лат.*).

И еще: “существование есть действие”, говорит Кант; действие всегда во времени — ergo, все истинно существующее неизбежно, временно, конечно. *Пребывающие субстанции уничтожены.* Почему существование необходимо связано с вечностью? Древним-древним узлом связана,— но, может быть, не вечным? Они связаны в самом слове “субстанция” — она сущее, она же вечное. Поэтому мир явлений не субстанционален. И вся философия — кроме некоторых летучих провидений греков,— вся она в плену у субстанции. И Кант тоже не посмел и не сказал ничего — хотя во что выродилась субстанция, “вещь в себе” у Канта!

Но разве нельзя наконец освободить сущее от вечного? И облечь внешним достоинством, метафизической реальностью,— жизнь, мгновенную, сущую, мгновенно проходящую. Каждое явление “единственное воплощение, единственный образ Истины” (Ницше) — ни до него, ни после него — ничего. (Я не так сказала — и *до* и *после* может быть что угодно,— в наивной форме загробный миф, миф идей... Но нет вещи в себе, соответствующей “*явлению*” и составляющей как бы его вечную пребывающую основу, в которую, как в родное лоно, возвратится оно... Я не отрицаю возможности следования одного за другим разных состояний или одновременного существования, но я утверждаю *равноценность* явления и всего иного, *бездонность* и *неразменность* каждого явления. Гераклит говорит: все обменивается на огонь... Я говорю: ничто пока что не обменивается... Пусть есть Jenseits* — но как ему искупить этот мир.)

Во всей философии этот плач: только явления доступны, не “вещи в себе”... Что, если б только “вещи в себе” были доступны, а не явления, не мгновенный цвет, не оплодотворение? Если б воображению дано было понять это, оно бы поняло весь ужас. Но это невозможно. Там, где “вещи” — то есть возможности — становятся “доступны”, там они и оплодотворяются, там — явление, жизнь... Нет выхода из кольца явлений, но и они — “явления в себе”. Все, что совершается, истинно реально (и другой реальности нет), *неискупимо* реально. Есть ли, нет ли другой мир, другая форма бытия,— этот мир,— “единственный Образ”, неискупимый...

IV

Многое смущает в идеализме (гносеологическом), кажется чудесным. Но пора привыкнуть, что пути жизни часто чудесные, запутанные и неэкономные. Hartmann говорит: мир — наше представление, как и сон — наше представление. Мир — сон. Но если б был я один и один мой сон, говорит Hartmann, но ведь людей бесчисленно много и живут в мире, бродят по миру бес-

* Загробный мир *(нем.)*.

численные сны... Слепые сны бредут, сплетаются — и не сталкиваются, а совпадают... Этого не может вместить он, немец. Чудесно, но это так. Сны ли или реальные потоки явлений,— но живут они, бесчисленные, розно — каждый своим центром. Нас в комнате пять. Мы молчим — пять немых, бегущих в бесконечную даль прошлого, темень будущего нитей. Так много! Жизнь не экономизирует: о каждом, самом ничтожном шорохе, нарушившем тишину, пять отдельных мыслей вплетают его в пять усталых жизненных нитей. Мы читаем стихи — они звучат на фоне таких различных жизней, что каждое маленькое слово живет в этот миг пятигранной жизнью. Так в Intruse сидят и слушают все разное, все разно... А как тихо в комнате, какой порядок, как спокойно все. Так невидимо и неслышно сплетаются сны... Если мы поверим и допустим, что столько прошлых, сколько людей,— отчего не допустить, что столько миров, сколько людей...

Нормы не могут быть объектами чувства ценности. Потому дух — вечный дух — или, как идеалисты называют его, трансц[ендентный] субъект — носитель законов добра, etc* не может быть источником ценности, объектом нашего поклонения. Ценно только “однократное, единичное” — случайное. Если б до всего видеть Бога, то он мог бы быть творцом ценностей,— в нем имманентная ценность, ибо Бог — случаен, не “нормален” (он — произвол). Но дух — “носитель нормы” — не может дать нам ценность, а только закон. Ergo — ценность создается *здесь* в случае, в земной жизни — правда, при помощи “закона” объединения, синтеза, но он, этот закон, не самозаконность, он — орудие случая, он “не ведает, что творит”. Творит ценности случай, но и он не ведает. Может быть, так?

27 августа

Правда, что только из музыки или бессознательных эмоций родится миф, то есть символический образ, отличительная черта которого — способность распасться, вернуться в святую стихию (за ним, как за кометой, всегда тянется туманный хвост — Ницше), в святое лоно,— жизненность и потому смертность его. Потому символ подобен человеку, тоже сейчас распадающемуся; и вместе с тем самый реальный образ, инстинктом, эмоцией выловленный из природы, всегда символичен (чем больше реальных случайных черт, тем символичней, потому что иррациональный). А с другой стороны, художественный образ, воплотивший *идею*, не живет и не умирает — и потому чужд человеку и ничего не символизирует, а означает.

Идея картины родится из ее стихии красок, из эмоций красочных.

“Каждый миф, каждый художественный образ — единственный пример и воплощение истины” (Ницше).

---

* Et cetera — и так далее (*лат.*).

29 августа

Я долго не любила это море, помня наше синее, и мертвый песок дюн. Тут как-то ни из чего нет начала, ни конца — идешь берегом до рыбацкой розовой сети, и как повернуть? как узнать, что назад идти? И лес тоже такой, без отметок, с блестящей брусничной зеленью. Как-то пустынно мы живем. Почему-то напомнило безрадостные, одинокие времена моего александровского детства. Но небо сделалось последние дни такое... такое поразительное — закаты огненного перламутра, хвосты павлиньи, всех птиц небывалых оперенья — и над мертвым морем, над мертвым, как труп, берегом.

Без даты

Для индивидуума нет смерти, для страданья нет смерти. Вообще смерти нет. Это уже раз мы были, но совсем иначе...

7 октября, Москва

Отныне метод философии будет *символизм*. Это удивительно! Философия всегда была несовершенна оттого, что не умела совместить частное с универсальным,— у эмпириков только первое, у рационалистов только второе. Их догматизм и есть вера, что одним покрывается и объясняется другое. Кантовский критицизм убил эту веру — на века отщепил частное от универсального. Но так мыслить нельзя? Что же? Путь от Канта — искание Всеединства: Фихте, Соловьев, Шопенгауэр... Но Всеединство есть универсальное, следовательно, снова оно поглощает частное — частного *нет*. Итак, путь к высшему единству неправилен. Новый метод — символизм. В символе равноправно частное с всеединым (вечным) — это какое-то единство *чуда*, не единство объединения.

И чудесное слово для этого дано Ницше: каждое явление "единственный образ" вечного <...>

10 октября

Символ не Grenzbegriff — Grenzbegriff* — не мудрый.

Вообще нет Grenzbegriff.

И пространство, и время как синтетическое суждение apriori — чудо, как всякое таинственное единение разобщенного. То, что принято проклинать, чем тяготиться, есть чудесный дар, *единственная возможность*. Время и пространство зажигают жизнь.

---

* Смежное понятие *(нем.)*.

12 октября

Конечность и прерывность — необходимые условия и существеннейшие признаки символизма, вне которых нет телеологии.

Индивидуум есть прообраз символа. В образе символа индивидуальное начало сочетается с универсальным в неразрывное, нераздельное, неслиянное двуединство.

14 октября

Чтоб замкнулся круг, чтоб отдохнуть, чтоб огонь, сжигая сам себя, взошел в великое холодное пламя...

Став **всем**, огонь не жжет.

Unsterbliche heben verlorene Kinder
Mit feurigen Armen zum Himmel emfor.

Faust*

3 ноября

Это то, что остается после всего, после пожара,— тень мира, Sehnsucht**... О Sehnsucht... Неутолимая бесконечная тень — это Sehnsucht? И ей уже негде сгореть: она — *пепел*. Пепел не горит. Ей нет будущего. Вот лик вечности. После совершения — ewiger Schatten, ewige Sehnsucht***...

Вчера так играл Шаляпин Демона — весь в пепельных лохмотьях, только изредка на миг метавших пурпур угля. Последняя Sehnsucht — *после* тристановской.

Ноябрь

Как греки узнали тогда, *до всего*, о страдающем Дионисе? Откровение? В Христе унижено, оскорблено страдание. Потому нет для мира Бога, что с ним ждут воскресения, искупления. А в Дионисе само страдание — *Бог* без искупления, без воскресения. Как это могло быть уже тогда? И только один есть путь, и он — туда.

5 декабря

...Вот зачем нужна свобода! Всем нужна для другого — для того, чтоб по новым законам "построить справедливую жизнь". *Некоторым* — для радости вольной гибели. Отчего ликуешь в душе, когда слышишь о зле, об опасности? Это поднимается в душе тот же единственный закон — Vernichtung****, расточение,

---

* Бессмертные огненными руками поднимают к небу потерянное дитя.
Фауст.

** Тоска (*нем.*).

*** Вечная тень, вечная тоска (*нем.*).

**** Уничтожение *(нем)*.

сжигание жизни — не ради цели, идеи, а даром... И сегодня я узнала, что для скептиков, как я, для вечно неверующих только в этом, в абсолютном безверии, в крушении всего,— только в этом моменты веры, отдыха; в этом — обетованная земля. Всем нужна родина, родной очаг, где успокоиться (а я его отвергала в кантовских сочинениях, но это ложь — он нужен), но для таких как я его нет, не будет в жизни, в добре, а только в разрушении, уничтожении всего. Как нет у меня Бога для жизни, а есть для смерти.

У Вагнера ложью, обманом, договором жили боги, и, только когда настала "гибель богов", вокруг Валгаллы запылал истинный огонь, мировой костер, и сделалось то, в чем потопить себя, чего нет у нас, нет в дне, в жизни.

И прав Гераклит: "Натянутый лук — есть жизнь, а смерть уничтожение <...>"

Зачем же стыдиться "радости конца"? Это не малодушие, не шопенгауэровский пессимизм, это не потому, что "мир во зле лежит". Проклятый хищник идеализм и тут протянул свою паутину и ловит в свой отрешенный идеализм всех, так свято неверующих...

Декабрь

Есть две свободы — minimum'a потребностей (Диоген) и maximum'a обязанностей (Кант, аристократия). Свобода поглощенной нравственности. Свобода есть ощущение преодоленной тяжести, а тут? Можно ли говорить о свободе хищника, терзающего ягненка? Где сила, там свободы нет. Свобода — понятие нравственного порядка. И Jenseits — ее нет. В анархизме нет свободы. Разве Розанов, насилующий Дарвина или покоряющий себе евреев, свободен? Разве он себе служит, а не идее, истине?

1908

Судак

Дни скорби. Он в Гефсиманском саду. Оставленность.

13 августа

Думаю о его секирой иссеченных и все же христианских словах: fieri debet quod est*. Все будет, что есть, все. Это обетование и как страдание принимаю, и как счастье — и этим измерится, скупа ли в этот час душа или любяща. Жить — значит привыкать к богатству, приучаться сносить то, что все... Вспоминаю им, Ива-

*Должно стать то, что есть (*лат.*).

новым, как-то нарисованный этический идеал — благо родного, не боящегося смерти человека. Его этика — правила поведения для богатого.

Не знаю, справедлива ли я в своем ригоризме по отношению к Аде и Дмитрию[1] [Жуковскому. — *Т. Ж.*]. Можно ли так требовать цельности? Сделалось с ними обоими не о чем говорить, потому что во всяких психологических оттенках я больше не сведуща. Кажется, что если есть любовь, то все остальное — как воплотится она, будет ли отвечена — уже неважно. И уродливо мне звучат ее опасения о том, что вдруг это неверный путь и она, полюбив, изменяет своей одинокой сущности и песням своим... Ведь любовь как смерть, не может не подойти к любой судьбе, любому одиночеству — все дело только, как любить... Это отвлеченно я так негодую, а когда вспоминаю его, тогда сознаю, что любить его — это непременно квартира, определенная форма жизни и потому, может быть, и враждебная ее духу. Где же истина? Все хочется сказать, что его нельзя любить, что в этом вина, самообман и жажда личного, ласки, радостей. И говорю ей это — и раскаиваюсь потом. Имею ли право применять абсолютное требование?

А утром в винограднике было знойно, и Вячеслав говорил, что у меня хищные кривые зубы, и губы красные, и изгибаюсь, как лоза... О книге говорил, которую напишет, эзотерической, из двадцати трех вечерних латинских откровений — и комментарии к ней.

Утешали друг друга, что не будет труженической его поэзия, потому что он узнает теперь сам, не через поэзию, и в ней должно отделиться тяжелое от легкого — лечь мирно на дно поэзии должна мудрость его и не замутненной усилиями мысли остаться влага стиха. Так да будет.

14 августа

Утром в зное сад. В виноградном венке давала обеты бедности и вольности, клялась не пожелать никогда ничего прочного, ничего себе, даже знания мистического не пожелать, долее того, сколько нужно, чтоб пережить жизнь. Потом грозное настало за обедом. Слова Вячеслава как стая священных ангелов <...>

15 августа

В ответ окрыленно-горькое пишу письмо, пишу как будто прощальное — так переживаю его. Как он будет творить? Имеет ли право отдавать, если ему не нужно это отдавание, творчество? И как ему быть верным земле? Только и осталось — либо жертва, либо падение... Сердце бьется. Каждый парадокс его так мучителен и правдив. Вижу связь всего.

16 августа

В ответ он сказал, что все это было верно, но уж пройдено, что ему открыт путь. Все люди видят перед собой Libertas*, а сзади гонит их Fata**. У него же на лбу начертано: Fata, а направляет его Libertas. А про свое творчество сказал, что оно уже скупым быть не может, ибо оно не из него исходит, а как сквозь львиную пасть течет не его влага... Но было больно-больно. Вера[2] лежала на диване. Что-то близится. Это было вчера, и вчера же поехали в Танталово логово, и опять были боль и покинутость. Он сказал о замышляемой бездонной религиозной общине "Гостей Земли". Не было радости в ответ, потому что ничего для меня. Любовь хочет любви, любовь устала от красоты и гения его. Любовь хочет вместе запылать простым огнем вверх.

17 августа

Только тогда должно к мистике или любви прийти, когда нет больше выбора.

18 августа

Все в молитве, как в слезах. Прощено мне мое страдание. Прекрасна Лидия[3]. На горе он говорил сегодня важные вещи — о Бердяеве <...>

19 августа

"Евангелие еще не прочитано" — постепенно слова его загораются светом, и тогда все, такие противоречивые, создают одно согласие. Все становится осмысленно: "Любите мир, но не все, что в мире. Только любовью познается, что любить, что нет. Христос не учил Слову, форме, а горел им, как благоуханием сгорают цветы. И, сгорая сердцем, как светильник, зажигаешь слово за словом в Евангелие: и будет день — все станет понятно". Вячеслав учит так Христу.

Спокойно лежит во мне, как неподвижное озеро, вера в него, и любо водам моим только отражать его. Забываю тотчас, что с душой, что в "скворечнике"... Знаю, что преступно это, но ненавистна мне скупость — пусть вся, до конца, я только озеро, лелеющее образ.

20 августа

Весь день в море. С Бобой и Костей ездила на Меганом. Солнце как будто совершало с нами путь, и плыли мы в голубых жарких искрах дня. Смешались в сегодняшнем дне миры: турки,

---

* Свобода (*лат.*).

** Рок (*лат.*).

мальчики — и видения: граммофон, пошлый смотритель маяка, гитара— и та закатная бесконечная даль, и темные глуби скал, открывавшиеся там со скалы... И опять было фантастично, когда после ужина из консервов и пошлого ухаживания мы спускались во мраке по немыслимой круче, а турок светил фонарем, а сверху еще слышался граммофон... Но весь обратный путь был по звездам — медленно на циферблате возвращались, восходили созвездия. И я заснула с лицом, открытым звездам. И во сне, светлая и красивая, шла нам навстречу Вера по шею в воде, с телом, голубым от моря. А днем среди голубых искр было другое — то было видение наяву. В зное со дна земли, из сердца ее, стала через море вверх подниматься огромная золотая звезда. В сердце земли — золото. Но потому что над ней был большой слой воды, она была зеленой. Я смотрела, как она медленно сквозь море восходит, и стала бояться, что, когда она взойдет, как она будет с солнцем? И не станут ли тогда от большого света все краски — в одно, белораскаленными? А она все золотела, и уж оставался тонкий, как вуаль, слой воды, и сердце боялось... И вот взошла она, как новое солнце, а все: и краски и блеск — остались те же, позволила она, повелела, чтоб все осталось, как было... Не знаю, как было бы дальше.... Когда я рассказала Вячеславу, он сказал, что это все так: in antco aurum*.

Я хочу быть хорошей. Сердце полно благодарности.

22 августа, поздно ночью

Он ушел сейчас. И больше не будет жизни завтра, и никогда больше я не напишу ни слова. Огненными языками запечатленный день.

Мысли Вячеслава — или мои от него?

Женское — жреческое, мужское — жертвенно. В любви для мужчин всегда призрак смерти, страсть всегда грозит ему смертью. Стыд мужской, не ведомый женщине, когда холодит конечности и кровь, отливая от сердца, приливает к щекам, есть предчувствие смерти, дуновение ее. Женщина сама — смерть. У женщин нет стыда своего тела, своих вожделений.

По поводу фихтевского: надо начинать с деяния, с самоутверждения — Начинать надо не с деяния вовне, а с искания и обретения себя, внутреннего,— это воскрешение Лазаря в человеке, и потом начинается служение, послушание, где свобода отождествляется с необходимостью внешнего проявления — всегда проявления несвободы. Действовать можно только несвободно — подчиняясь высшей необходимости. Имеющий sein** в себе относит-

---

* В пещере духа (*лат.*).

** Быть (*нем.*).

ся к werden* как к чему-то грязному, к навозу. Ибо нет ничего грязного, кроме бывающего.

Тем, что он поэт, он каждый миг снимает с нас волю своего учения, ибо учение Божье говорит: иди за мной, а то, что он поэт, говорит: нет пути за мной, мосты сломаны — и разрешает свои же узы. Вот выход из неразрешимой антиполии: нужды в учителе и сознании невозможности проповеди. Шестов — учитель должен быть поэтом — этим снимается обязательность. Учение может быть только при условии необязательности его.

23 сентября

Письмо Бердяева. Как страшно, что этим я опять ему привлекательна. Опять такие жадные, тяжелые ласки. Боже мой. Как просто я его люблю.

28 сентября

Какой день? Он вверху, я слышу, все ходит, и легко творится чудо поэзии. А я внизу томлюсь от бесплодности своей. Я никогда не была такой убогой. Что они требуют от меня? За что карают? Они правы, но как научиться, как суметь? Каждая встреча вызывает острую боль — за обедом, потом, когда он заходит и небрежно спрашивает: "Ну что? Отчего нет огня?" Огня, когда я вся связана, придавлена...

Только вечером перед сном его приход, как легкое милующее дуновение, ласка такая разная каждый раз и святая.

Он говорил вчера о своем состоянии: он, лирик — теперь драматург — женщина. Он одержим и исступленно говорит не свое, а лирик — мужествен. "Лирика — полюс мужественности, противоположный своему хищному, сатирьему, Аполлонова мужественность. Но лирик притворяется женщиной, чтоб скрыть свой пол — это Аполлон-кифаред в длинных одеждах. Ясен дух его, и между ним и всеми в мир протекает Лета".

— Что еще для утешения?

"Еще то, что das letzte Geheimnis ist zart** — высшая сила — нежность! В высшей сфере нет обладания, нет насилия, ибо насилие над другим — ограничение своей силы. В этом смысле верны слова о блаженном покое сущих в Раю — это не бездейственность,— но стоящие высоко в иерархии духов должны испытывать сладкое изнеможение, потому что в них непрестанно вливается и из них истекает беспредельная, не могущая ими быть задержанной сила. Их сила потрясает миры — они же пребывают в состоянии изнеможения".

И он, уходя, еле касаясь, поцеловал концы пальцев.

---

* Стать (*нем.*).

** Последняя тайна нежна (*нем.*).

30 сентября

День рождения. Каждое утро такая мука пробуждаться — такая мука быть видимой каждый день, быть на свету. Ужасное лицо, с красными глазами и морщинами, которые каждый день глубже. Уйти. И не успеваю решить, какую сделать последнюю, отчаянную попытку, чтоб стать.

Вчера ночью читали "Тантала"[4], играли Крейцерову сонату и пили вино — так встретили мое рождение. Потом Вячеслав лежал в кровати, я лежала, прижавшись к нему, мы молча гадали в зеркало, а Вера расчесывала золотые коски. Так было до зари.

1 октября

Моя вина в нежелании власти. Это появляется в нежелании каждый миг — как бы я ни отвечала на событие — всегда потом, оглядываясь, вижу, что мной неуклонно руководило нежелание власти. Кто избирает путь страстной и страстный, путь любви — тот должен и бремя власти нести. И сейчас, вот уж с этой минуты, сначала в мелочах. Боже, где найти любовь к власти?

Сегодня день слезами налитой, тяжелый, как синяя гроздь винограда. Ясно мне вот что: есть между нами духовное влечение, нужда друг в друге, и бывает — физическая, нежная чувственность. Но нет стремления друг к другу, то есть у него ко мне в сфере астральной, следовательно, объединяющей то и другое в самой жизненной области. Не знаю, позволено ли таким сблизиться, но если даже да, то все равно любовь физическая не сотворит нам для духа ничего нового — мы останемся теми же близко и рядом идущими в духе, но не встретившимися чудесно. Недостает в любви этой того, что заставило бы его сказать мне: ты мне жизнь! Страстная душа его никогда не обратится ко мне... Можно ли жить, зная это? Довольствоваться малым? Вяч. сказал как-то, что у меня глаза разлагающие — что только чистое золото остается невредимым под моим взглядом. Значит, я могу снести только чистое золото отношений — значит, подобие любви не для меня. Как решить, как поднять мне жизнь? Боже, Боже мой, не дай моим слезам быть бесплодными, горькими для моей земли, моей жизни в днях и трудах. Ведь кончилось мое чудо, моя встреча, цвет жизни — а теперь долгая, долгая осталась жизнь.

Сегодняшний день весь был о книге "Годовщина" — читали старые и новые стихи и придумывали форму. Вокруг Вяч. его женщины. Потом совсем ночью — Великий Колокол[5]. Люблю страстно дух Лидии — неподкупный и всегда к последним безднам устремленный.

3 октября

Страшно важные дни. Из всего возникает спор и осуждение Анны Рудольфовны и теософии — она, взволнованная, колышущаяся, встает и уходит из-за стола. Он говорил: "Мечта о

социализме и более справедливом устроении человечества одна дает нам право прислушиваться к гулу в душе Великого Колокола. Только если есть для всех путь к хлебу и правде, то мы — немногие — можем веять пожаром. Будет лучше и сытей большинство — и тогда только отделятся Братья Великого Колокола, вольно поющие, вольно сгорающие...” Как не любить его? Это младенчески просто, но в созвучии со всеми только этим можно гореть, а гореть со всеми его долг, его счастливый, его царский удел — за это вижу на голове его царский венец. Что горит? Вот его легкий и неизменяющий критерий. Он смеется над Вериным исканием критериев прежде истины, смеется, что ее pium desiderium*: панкритерий. Его же критерий: огонь — дух, веющий, где хочет. Было темно у него, когда я после разговора о Колоколе стояла, прижавшись к этажерке, а он грозно допрашивал: “Евгения, скажите, чего вы хотите?” И мог в ответ мне обещать только то, что “огонь рассудит — не больше... Будет ли что-нибудь, то будет “дар огня”. И это правда. Он может так говорить, и он же воистину не может иначе обещать. Libertas-Fata — в необычном соотношении.

Я не живу собой, я живу, приникнув словно к магическому кристаллу, в гранях которого — все. Простится ли мне это? Когда я его всего узнаю — я обнесу золотой оградой и вдовицей в темных одеждах уйду дальше, жить одноструйной, но вольной своей жизнью. О, это не для того, чтоб его заключить,— он же златопевный феникс и сгорает и возрождается, где хочет, и не для себя, чтоб плакать у мавзолея,— я же уйду дальше. Для детей это, которые придут, и для земли, потому что ей нужны храмы,— очертив же грани его духа, в этих линиях найду “закон” храма. Его дух — храмовой архитектуры. Храм этот — начертание имен. Имя и пламень — вот знаки его в веках. Жертвенно горящее и не сгорающее Имя.

О храмах. Теперь нет храмов. Но будут ли нужны? Не каменные, прочные, а пламенеющие, в пламени воспроизводящие все те же линии, но не лежащие тяжестью на земле, как всплески Иматры, все тот же храм — закон.

4 октября

Простится ли мне, что я так люблю его? Им я прозрею на все.

5 октября

Было мне беззаботно-весело, я сидела у него на постели и качалась, и шептала ему на ухо в золотые горячие колечки его, и

* Благое желание (*лат.*).

он целовал меня и говорил, что любит. Он сказал, что только классики спасут душу (религиозно). Это было по поводу Анны Рудольфовны. Не люблю пряного ее духа, падкого в воображении на все сладостно-жесткое (как Макс загорается от орудий пыток), на все сентиментально-романтическое. Вяч. понимает и говорит, что были у них минуты величайшей опасности падения, и мистического, и просто физического (безумие, ненормальность), и он ее останавливал. Надо это помнить и жалеть ее. И что только так, видя лица вокруг, под его лаской, она на миг живет, как все, а оставшись одна, опять вся трепещет, вся не во власти своей. Не могу через нее идти к мистике, если б даже она согласилась. Вяч. говорит: "В минуты увлечения я хотел, чтоб вы к ней пошли, но теперь вижу, что, только противопоставив ей огромную силу, можно без вреда идти за ней". Как же? кто же? Мне легко потому, что мне как будто что-то обещано сном: я шла по глубоко в снегу протоптанной тропинке, и вокруг было снежно, и деревья в инее, что-то вроде монастырских белых стен. В душе было ощущение вступившей на "путь" — *никогда в жизни не бывшее*, но угаданное сразу. И я с радостью узнала, что это не с Вяч. Мне кажется, узнаю сразу это место или это ощущение около кого-нибудь — как сигнал.

И вместе с этим еще другая радость, не от него,— и в этом тоже заря освобождения. Я сказала: "Как сладко изменять вам", а он, улыбаясь: "Лидия часто это говорила..."

6 октября

Злая, скупая душа — зачем ей так больно? Неужели я такая, что всякая жизнь мне обида?

Вчера был праздник Лидии наверху, голубой дым ладана, молитва, потом странное пиршество — миндаль, сыр, виноград, шампанское и возбуждение, и смех, и в нем — черная боль росла. Вяч. говорит о загранице, о решении, о больных жрецах — желудь и солнце.

Научи меня идти, помоги мне, Боже!

7 октября

За ужином Вяч. к Анне Руд[ольфовне]: "Отчего вы никогда не любили и не отдались мужчине? Зачем в вас все неполно? И зачем вы другому позволяете то, чего не захотели сами? Теософия все позволяет, все терпит: любовь, искусство, страсти, немножко презирая тех, кто еще нуждается во всем этом". Анна Рудольфовна возражала, колыхаясь и оскорбляясь, не понимая, что это не против теософии, а в нем самом, в нем одном вся эта борьба!..

"Религия выше, благородней теософии, потому что теософия ничем не рискует, всякий же основатель религии говорит:

alla jacta est*, он выбором пути отрекается от всего знания. Теософия служит тому, что неизбежно совершается, религия служит невозможному. Поэтому для религии каждый человек — тайна и божественные невозможности в нем. Оккультизм знает и презирает людей. Измеряется в нем ценность только эрудированностью их..." Анна Р[удольфовна], сверкая глазами: "Нет, нет!.." Вяч.: "Вся теософия — духовный американизм... Не в Индии и не Европе возникла, а в Америке американизированная Блаватская основала ее. Ее книги — груда механически подобранных знаний,— в них духа, огня, религии, мистики — ни следа..." А[нна] Р[удольфовна] в слезах ушла.

После этого опять бесконечная беседа у него с Анной Рудольфовной, и я слышала рядом шаги, шаги взволнованные, и голоса, а сама лежала в тишине, благословляя его за то, что в нем эта борьба ("поединком красен мир"), и понимая все сказанное и из какого оно несказанного, и спокойная за истину... А восторженно, радостно бьющееся сердце все тише, нерадостнее билось. Он зашел проститься усталый, догоревший. Всегда там, за стеной, и гнев и восторг. "И на живых лишь — гнев живых..." Зачем я всегда только понимаю, всегда отзвучна, прозрачно согласна, зачем? И боль, боль. Уж засыпая, уговаривала себя, как маленькая: "Я буду, буду спорящей, своевольной, свое затевающей буду..." Ночь, и проснулась сегодня с той же болью, и она на весь день, через встречи, до того часа, когда можно будет, слушая бетховенские сонаты, смотреть на него, как он ходит, мысленно переставляя слова в новом сонете, и разлиться вокруг него любовью без берегов, как река в половодье, не жалея себя, не охраняя себя, разостлаться ему водным путем...

9 октября

Дни последнего бессилия моего, слез. Весь дом — как болеющее тело мое, и вот я лежу здесь, а больно мне от всякого звука и движения — все знаю, и все в боль мне обратилось: вот Вяч. входит к Анне Рудольфовне, вот Вера тяжело свергается с лестницы, Саша поднимается звать к ужину — и все это мое болящее тело. Мучительны все подробности опостылевшего, слишком известного дня, и блюда с едой за столом, как гримасы неподвижные. О, пусть уедут скорей. Нет выхода.

Бессонная ночь в тарапане как избавление.

Днем он пришел и сказал: "Я не понимаю, что вам нужно. Вы любите человека, который вам отвечает..." И еще такое говорил. Безумие в том, что мне не нужно, не интересно, что он мне говорит,— художник, что ли, во мне досадливо отвертывается от его чувства ко мне, такого ненужного для выявления и разрешения тайны его бытия. Я не хочу ему лишнего, не хочу ему себя. "Вы не менада",— он сказал. Не потому, конечно, что я себя не забы-

---

* Жребий брошен (*лат.*).

ваю, а потому что его цельный лик храню, стараюсь не замутиться, чтоб отражать всегда неискаженным,— да? Но ведь и это неправда — я до самого дна души хочу, требую: пусть погибнет, лишь бы к высшему, к большему шел.

1909

1 января, Петербург

Говорит Иисус Петру: "Ты иди за мной". Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любит Иисус,— его увидев, Петр говорит Иисусу: "Господи, а он что?"

Иисус говорит ему: "Если я хочу, чтоб он пребыл, пока прейду, что тебе до того? Ты — иди за мной. (То есть к смерти)".

И пронеслось это слово между братьями: "Если хочу, чтоб он пребыл, пока прейду, что тебе до того?"

Не из гордыни я все повторяю себе эти слова, не потому, что слышу призыв, а ради трех слов о любимом ученике: "Что тебе до того, как будет ему?" И о призыве думать — не гордость, потому что призыв есть всегда ко всем, и если можешь его услышать через свою жизнь — значит, он воистину звучит. Мне говорит о нем ласково-холодная рука, которая всю жизнь отстраняет меня в те минуты, когда особенно жарко хочу счастья себе. Не жестокость, не последняя оставленность, а только тихое отстранение. И как перенести, если не услышать за этим тихий-тихий — даже не призыв, а позволение,— "если можешь, иди за мной"...

И я верю, что смогу, потому что хочу вся, вся — не только усталым эмпирическим хотением, но и волей, внутренней, неутолимой,— хочу не себя, а воли Божьей. Не потому хочу, чтобы я была просветлена, а потому, что в этом желание, и самое личное,— воля моей Любви, чтоб было только высшее, только самое истинное и великое. И это ужасно: все помогает мне, ничто не искушает, а я вся темная, ничего не достигшая — и никогда не достигну света и вся в разладе с собой.

Вот я хочу, так устремленно хочу отречения, жертвы — и тут же сознаю, что во мне это желание — суета и бессилие, что мне должно хотеть полноты в служении и любви, не заботясь о том, будет ли это — в эмпирическом плане — отречением или нет. Знаю это хорошо, но часто так бесплодно, безводно страдаю, задыхаюсь, как будто меня бросили в безвоздушное пространство, что, чтоб перенести, чтоб на миг легко вздохнуть, должна позволить себе пафос жертвы, пафос аскетизма. И презираю себя за это, потому что не в этом чистый путь к Богу. Или я не умею совсем любить? Но если я всегда молюсь за него, ни в чем не виню его, и в том он один мне светит,— разве это не любовь? И тоже любовь, только плохая, жадная, что я хочу или быть живой с ним, или скорей, скорей совсем не быть среди живых.

И тоже дурное в моей любви, что заглядываюсь на того любимого ученика, который на вечере преклонил голову на грудь Учителя, который пребудет. Не зависть это, а какая-то недобрая влюбленность в его судьбу.

7 января

Все возвращаюсь думой к Адиному материнству, и мне както unheimlich* от ее слов, что она "радостно отдала бы его за отрешенное скитание в мистической стихии, в ожидании редких озарений, когда все вещи werden lauter Gott**..." Нехорошо от таких слов, когда видишь в материнстве совершеннейший на земле образ религиозной жизни. Моя мучительная, бессонная, не покидающая ни на миг борьба между жадным требованием личного и желанием сказать так полно, как только могу: твоя воля — моя воля. Эта борьба моя — что бы ни одерживало верх — все гонит меня прочь от жизни, а если и учит любить жизнь, то такой бесплотной, далекой любовью, а не всеми "кровинками". Я же не хочу этого, не люблю дух аскезы, отрешенности, исповедую страстную "верность земле". Но как осуществить ее? О, если б в том был подвиг, чтоб больше не желать и застыть в молитве,— о, как бы легок был бы подвиг; но стоять в потоке жизни и каждый миг утверждать то, что в жизни — жизнь, то есть Бог,— вот в чем служение. Знаю наверно, что на земле, в земном существовании не тайна познания божества, а тайна "верности земле" есть сокровеннейшая и высшая. На земле в эту тайну облечено божество, в тайну любви земной. Поэтому она так неразрешима.

Кто они, "цари грядущего, без алчбы подъявшие жизнь"? И когда ищешь мучительно вокруг, не находишь иного образа, иного воплощения, как образ матери — не жертва матери.

Она и любит, и страдает, и желает — но все в преображении, все не для себя. Быть путем, вратами, через которые течет жизнь, чтоб мной стало все, что есть, принять на себя всю муку жизни, но не жертвенно, не отрешенно, а как мать, как царица, как жница, которая сгибает и выпрямляет стан — и жнет, и вяжет... В самом сердце земли и в тайном центре сердца человеческого — икона Богородицы, и святее нет, и ближе нет. Только в образе материнском могу понять "белых жрецов"... Конечно, материнство по-новому приковывает вольную душу, но ведь это именно и есть внешний образ для того, что совершается на религиозном пути,— религиозно жить — значит почувствовать и принять свою единственную, неповторимую индивидуальную миссию, как бы несменный воинский пост, а вовсе не реять, веять в отрешенности от

* Тревожно (*нем.*).
** Становятся настоящим богатством (*нем.*).

земного. Это можно и должно, я знаю: на разных путях, на трудных путях, во храме Марии Девы нет другого воплощения на земле, нет другой поруки, что сердце земное вместит это.

10 июня поехала через Прагу к Аде.

Август "в морях", между Неаполем и Афинами.

Как только просыпается любовь (собирание себя, рассеянной в мире, через влечение к Центру) — она сейчас же чувствует недостаточность удовлетворения себя через личное "я" и простирается на объективную деятельность — творчество, общественную деятельность и так далее. Не переливаясь от своего переизбытка, как может казаться, а видя в этом орудие своего я. Ибо любить — значит узнать нечто совершенное и хотеть, чтоб так стало. Да, так при счастливой любви это часто момент самой плодотворной деятельности. Но почему же при несчастливой не может быть также? Ведь только от затемнения болью думаешь, что эрос хочет более всего утоления, хочет лучей, ко мне идущих. Ах, все истинное, большое выплескивается за пределы личности! И не потому, что родина, или свобода, или поэзия больше меня, а потому что они — во мне, части меня, целое только часть моего, мои же разбегающиеся — шире, шире — трепетные пальцы. И верно стало, что личную Sehnsucht* Фауста (его ненасытимую жизненную алчность) могли наконец усытить "каналы", а не могла ответная любовь Маргариты или Елены...

8 сентября, Судак. Рождество Богородицы

Вчера, сбегая уже в темноте с полу-Перчема[1], Н. А. [Бердяев. — *Т. Ж.*] завел меня в церковь, сказав, что это всенощная служба Богородицы, и так было легко, радостно с ним быть в церкви. Так легко, радостно с ним всегда. Там на горе́ мы говорили, ловя не слова, только начала слов друг у друга. Я ему: "Только любовь трезва — все другое пьяно". Он с блестящими глазами: "Да, да". И как-то он не прямо мне сказал, но сказал, что какое бы Вячеслав ни сделал мне зло, он не осудит его. И это радость и гордость — сама не знаю почему.

Когда я думаю, что самое большое, невознаградимое дал он мне, мне кажется, что это какое-то невыразимое утверждение меня (мистическое, в Боге), то, что никогда мне не давал Вячеслав, а только истреблял это самоутверждение, расслабляя, унижая вечным стыдом, что я — я. Через него вдруг чувствую, что — да, я — плохая, надо радости, но это ничто перед тем, что какая-никакая, но я — я, и это свято, и это не стыдно. Это навсегда его дар.

Приезжал Макс с "Алтарями пустыни"[2] — Аполлоном и много важного и мучительного говорил.

---

* Тоска (*нем.*).

Декабрь. Опять Петербург

Опять прежнее.

Бутова[3] принесла мне пучок красных гвоздик и сказала, что видела меня во сне, идущую босу по стеклам. Потом я пошла ее провожать, и мы под сырым ветром стояли долго на мосту через Неву. Суровый, казнящий, прекрасный Петербург!

1910

24 февраля, Москва

Вчера вечером пришел взволнованный и близкий Бердяев, чтоб скорей поделиться впечатлением от Метнера[1] <...> Говорили до двух часов в жарком споре, укоряли друг друга — я его в недостатке язычества, он меня — в недостатке единобожия.

Меня волнует группа Мусагета — у них много красоты, тонкости, правды, они очень близки Вячеславу. Но куда это все? Без пути? Голубые озера мистики — Гете, Беме. Нет истории, нет эсхатологии, разрешение мировой трагедии, труб Судного Дня. И слиться с Вячеславом они не могут — в них нет Диониса. Странно, именно через Диониса, который ему враждебен, близок Бердяев Вячеславу. Оба зрящие гибель.

Мы поняли, он и я, почему он, признавая умом, творчеством не возрождает язычество и внутренно чужд ему. Он весь не в прошлом и не в настоящем, а в будущем. Тайно, страстно, бурно — верит в Третье Царство, в Откровение Духа, в новое Откровение — не Мировой души (как в язычестве), не Христово, а человеческое <...> Весь воитель, весь в Апокалипсисе. Люблю его за это. Мне эта любовь — радость. Храни его Христос, веди его кручами, стремнинами, победами!

Понедельник

Вот они — эти люди народа, говорящие о Боге, оборванные — и совсем близки, наши о нашем! О самом важном, верном говорят, и с ними легко, и идешь с ним дальше по своему пути, не так как с Ильиным скучаешь где-то в стороне. Так это правда? И мы, расходясь, жали друг другу руки, мы — дамы, они — хитрованцы по одежде! Речи об аде — где он, реален или в душе?.. Важен для них вопрос совершенствования души, и есть ли перерыв в смерти или эволюция? Все, кроме церковных, за эволюцию, теософско-рационалистический дух. Но пусть, для них это — самодеятельность, свобода, прогресс. Можно ли вообще преодолеть соблазн рационализма, не пройдя до дна культуру с горькими и сладкими ее плодами?..[2]

Осень, Судак

Теперь октябрь. А было много: сентябрь провели Бердяевы[3], Валерия[4] [Жуковская. — *Т. Ж.*]...

Теперь только мы три. Осень, холод. Пчелиное лечение. И в комнате, насыщенной творчеством Н. А. [Бердяева. — *Т. Ж.*], — я пишу повесть и с упоением думаю о творчестве.

19 декабря, опять на башне

Мы встретились после мучительных весенних дней, когда все было во вражду. Мне хочется не о себе — его [В. Иванова. — *Т. Ж.*] записать слова. Вот те, что он говорил вчера, еще до вечера ночного со скучными поэтами, говорил, кутаясь в плащ и играя гениальностью, как редко теперь, когда он по-юношески серьезный стал, и не нуждающийся в остром сверкании, потому что счастливее <...>

...А тень человека? У человека нет тени. Это идеализм, иллюзионизм, призрачность, всегда грозящая человеческому...

1911

24 марта, под Благовещенье, Москва

Радуйся, молчания просящих вера <...> радуйся, Божье ко смертным благоволение, смертных к Богу дерзновение!

Я это пишу мертво и холодно — в душе нет умиления и восторга, давно-давно. Живу в медленном остывании, как нельзя жить <...>

25 марта, Благовещенье

Помоги мне, Боже, я одна ничего не могу. Прости меня, Пресветлый праздник, день. Слова: “Да будет мне по слову твоему”. Понять это, жить этим, претворить это в дело.

А я? Рабски спрятала портрет Вячеслава и не знаю, что хочу с ним, о нем, держусь или выронила, растратила дар любви и страдания.

Май 1911. Судак

То время незабываемое, время Обители[1],— в прошлом, а теперь — точно корабль с надутыми парусами несет, еще не знаю куда. Растет, крепнет Дар. Почти непрестанное счастье, изумленная благодарность. Точно все тяжести воистину сняты с меня.

Понимаю, почему у христианских писателей такая склонность к психологическому анализу, и разлагают холодно, точно не живое: потому что *новый* человек, как неживого, как труп, себя анализирует *старого*; говорит: “мой грех”, как о чужом, — “я же уж светел, легок, отпущен...”

Молитва Ефр[ема] Сирина[2]

Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.

Дух же целомудрия, смиреномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему.

Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.

17 мая

Изумляюсь и узнаю каждый день об этом новое и большее. Боюсь одного — ослепнуть ко всему, что не эта Единая Красота. Эстетика моя — значит, вообще та, которая приникала, познавала все, что прекрасного есть, искушенная и утонченная,— хочет только образов христианских, не терпит ничего другого.

Вот глубочайшая разница теософского миросозерцания (я беру это как тип нехристианской религиозности) и христианского: в теософии — высшее, божественное испытывается как восхождение, подвиг, совершенствование, дообожение человека, все — в линии, устремленной вверх. В христианстве — высшее, абсолютное, Бог в Лице Своем (в Сыне нисхождение, умаление, милость). Потому, хотя и нам, христианам, должно восходить, указан подвиг, но высшее в опыте религиозном (потому что в нем подвижник переживает Бога, уподобляется Ему, а Бог — нисхождение) — благая тихость нисхождения, душа агнца. Жертва как милость, а не как "страсти" и страдание; радостный на закланье агнц, как и радостная на Царство Мария. Там — культ вдохновения, достижения, здесь — смирения, покорности (не как нашего, как Божия атрибута); и от этого весь дух другой, все ткани и трепеты другие. Все восходящее, геройское перед этой золотой чашей склонившейся полноты, Бога умалившеюся,— все то некрасиво, mesquin*, вульгарно.

Уже античная эстетика знала, что высшая красота в воплощенной силе, но в момент *после* ее напряжения, как бы в успокоении, в слабости силы. Непроявляющаяся, притихшая мощь есть основной закон и дух и архитектура храма греческого и лучших творений их. Мир, ясность, благость. И эта красота никогда не была превзойдена. Греция дала незыблемый формальный закон прекраснейшего, но содержание ее творчества не равно ее форме. Вечное содержание красоты дано было тогда, когда высшая Мощь явилась в Христе как нисхождение.

Тончайшие эстеты — Уайльд, Розанов, Гюисманс[3] совсем из другого, из нехристианского мира, и противясь ей, увидели и поняли эту высшую красоту Того, "кто льна курящегося не загасит и тростника надломленного не переломит...". Но это еще только эмоциональное восприятие земного образа Христа. Будет другое: познание космического значения Христа как Красоты, будет хри-

---

* Мелочно (*фр.*).

стианская эстетика космоса. Только теперь созреваем мы для этого. Христос — вся красота мира. Им нисходим мы на мир и очами Матери взираем на небо,— очами Благодатной, Богом избранной, Бога приемлющей. Нет, и не будет, и не может быть другой красоты.

Ночью 31 мая

Говорят об единобожии, что мы забываем о нем...

Единобожие есть всегда или подневолие, подзаконность как юдаизм, без радости, ибо радость — где Отец и Сын, без мистического чувства Бога внутри себя,— или, если это последнее есть — атеизм скрытый, как у Толстого, у многих, многих... В первом случае нет богообещания, потому что человек — раб над ним стоящего Единого, во втором — потому что не может быть встречи двух несоизмеримых, и то Бог жив во мне, и меня тогда нет, то я жив без Бога (степунская мистика[4] — и действительно, неизбежная в чистом теизме).

Для религиозной судьбы Индии знаменательна та легенда, в которой царь выпытывает у Яжнавальки, сколько по правде есть богов. "777",— отвечает Яжнавалька. "А еще вернее — сколько их?" — "150". И так далее... Наконец: "Полтора". Потом: "Один".— "А самое верное?" — "Менее один, чем один". Как *познание*, как мышление это верно, ибо мысль может так же бесконечно и дробить, и объединять божественное, как она дробит вещество мира, но в этом знании нет общения, нет жизни, нет религии. Ради своего гнозиса, возлюбив его больше богообщения, Индия отреклась от Сыновства. Христианство откровением Троицы оборотило русло высшей религиозной жизни от гнозиса к богоусыновлению. Только в Троице животворящая жизнь. По мистическому богословию Павла Христос неразрывен от мира, мир есть жизнь Его, Он — жизнь мира, то, что мир в силу своего греха не есть по отношению к Богу, это есть Христос; *нам* Божество, неведомое и безначальное, не Отец, *не* Милосердный, Христу Он Отец,— и нам, только *через* и во Христе. В Троице есть одно только Лицо — Христово (и в Нем, как Сыне,— лик Отца), которое потому и есть Спаситель и Путь. Путем может быть только Лицо... Безлик и неведом Бог — Начало и безлик Дух — дыхание твари Богом. Живет божество Троицею.

Индусское знание о богах не истина и не неистина само по себе,— "истина существует только как предикат". Индия выразила то, что можно истинного мыслить о богах,— христианство есть истинное богообщение, то есть участие в жизни божества.

Для того, чтоб поверить в Христа как в реального Богочеловека, нужна только та малая любовь, которой достает у каждого, чтоб поверить в реальность личности другого человека, обвести ее священной оградою и общаться с нею как с целостным миром. И эта малая любовь нам не под силу!

13 июня

Не нужно писать, отвлекаться от дел жизни, но только камень положить, вот знак на месте, где полно, упоенно, радостно творится, где недокучлив труд, а легко, "и сердце возрастающе и неудержимо" (Исаак!). Пишу, и не столько на бумаге ,— в духе растет повесть, обдумываю Баадера[5], читаю упоительный роман La Chartense, перелистываю опять Голубя[6], и так невместимое мною мчится через меня.

Два дня читала письма Сони, обильные, все исполненные пафоса, порой такие талантливые — 8,7,6 лет назад. Вся она прошла передо мной опять, и ее судьба, исчертившая всю Европу и успокоившаяся у лазурного у моря. Странное волнение, и расплескалась моя концепция женщины, и я не могу вдруг найти свою вчерашнюю правду. Так заграждает мир чужое и милое и болезненно когда-то любимое лицо. Грустно мне то еще, что всю теософию, всю до конца, нашла я в этих письмах без имени ее, только и потому поняла неизбежность ее для Сони. Одухотворенность и всегда патетичность, осмысливание всего quand même* (все "самое верное" и не хочет бессмысленности и будней — гордыня) и самопогруженность, самовлюбленность; *все* всегда "в Боге", и потому Бог только внутри ее. (Все то же, только в бездарном или смешном виде у Ев[гении Антоновны]. Это все *правда* теософии, но это же мешает какому-то реализму в вере. И это же, м. б., помешало ей при ее даре видеть и описывать, при ее любви к красоте, творческом горении, помешало ей стать писательницей. Нет "бессмысленного", хаоса, в который погружаться (она часто жалуется: ах, больше нет тьмы, хаоса). А оборотная сторона "бессмысленного" — смирение, сознание бессилия, осмысленность и отсюда воля к Христу. Бессмысленность — смирение — творчество — любовь к Христу (ничего, что мало же, что у Сони, психология не мешает творить Евгении Антоновне, а я почему не творю с моим глядением в бессмысленность?).

В сущности *такое* осмысливание (теософическое) мешает истинной символизации, которую как бы предполагает осмысленность мира, в котором художнику нужно творчески восстанавливать, разоблачать отошедший смысл, то есть слишком символическое отношение к миру (Сонино) убивает художественную символику. Сознание греха и искаженность мира как *художественный фактор!!*

30 июля

Боже мой, помоги мне в этом малом деле, в этом мне по слабости моей непосильном отречении. "Посети и исцели немощи наши Имени твоего ради!" Вот отсюда, от сегодня, когда уезжает

---

* Как бы то ни было (*фр.*).

Дима, от простого этого дня. Сегодняшнюю ночь я не спала под обаянием Серафима[7],— в чем несравнимое самоцветное сияние его среди других более трудных подвижников, в чем победила творческая его сила — не знаю, но чувствую ее, как и все. Благодать, избранность, Логос его всегда, с первых шагов гармония, Свет, Царский путь срединный. Святой, Преображенный, помоги мне!

2 августа

Странно — бронхит, как бывал лет десять назад. Сижу, лежу безвыходно у себя. Читаю у Майкова воспоминания о Пушкине. Прекрасный, но страшный он мне всегда, когда, разоблачась изпод поэзии своей, он сам мелькнет. Оттого ли, что слишком умен — трезв — зорок — безыллюзорен? Но как плоско все наряду с ним — плосок Гете со своей не прикровенной философией.

4 августа

Сильно болит бок — не знаю, что это,— и странно хорошо мне жить длинный день в затворе, у себя, одной. И Пушкин. Когда не перевожу (потому что от боли легче сидеть за столом), читаю стих за стихом и изумляюсь, и с любовью последнее дочитываю об нем, о его длинных ногтях, обо всех его насмешливо-скептических любовях. Как уразуметь его? Когда говорят: вот Лермонтов — наш, в нем наш порыв и наши боли, а Пушкин еще весь в прошлом, прекрасен и не нужен — Гораций... Не искания его, Пушкина, а форма, то есть дух формы, святость формы его нам нужна и не только не прошлая она, но еще только будет учить нас смирение, покорность, соборность его духа. Беспримерное у поэта, у творца отсутствие самовозвеличения, гордыни: *о себе* в нем всегда только тоска ("Дар напрасный..."), потому что он не знает Бога ("пустые небеса..."), а утешает только формой, которая знает Бога. Откуда у воспитанника Парни, и Горация, и Байрона церковный и православный гений? Нет, и главное, не осознанный, когда он так гениально умен был? Мне все чудится, что он, сам не зная, был послушником великого Старца. В то самое время, как славен был Пушкин, высших ступеней достигал Серафим, и разве женственная душа гениальнейшего поэта не могла, не зная того сама, ходить вокруг Солнца мистического, горевшего тогда в России, и неведомо для себя благоговеть перед ним, дышать Церковью и смирением. Потому он мог так много "петь Вакха и Киприду" и никогда не быть ни пошлым, ни демоничным. Он пел что хотел, а стих его молился сам. А следующее поколение, Лермонтов,— тому *самому* нужно было добывать религиозный опыт, индивидуальный, трагический, а когда нет его — демонизм, падение... Как изумительно, что он больше всех молитв любил молитву Сирина,— ее никогда не возлюбит богоискатель, а только тот, кто близко и просто жил в доме Отца и вышел оттуда в поле работать и *помнит*.

10 августа

Боже мой, как мне трудна тяжба с теософами. Единственно трудна. Иногда кажется, что они правы, вероятнее, но тогда-то и хочется безумной любовью закрепить Христа в Кресте, не дать ему быть Второй Ипостасью, всем сыновьим и страдающим и воскресающим в мире, как они разумно учат, хочется соблазнить Его большей любовью, большим самозабвением, хочется обойти их, сделать, чтоб они стали не правы. Любовь творит чудеса, пусть только Иисус — Сын, не мы, не мы. Кого любить тогда? Нельзя любить каждодневный в себе "духовный рост", "жертву" — если все это сын божий. Любить Бога Отца? Но как любить Безумное Все? Молитвы наши Богу, но вся любовь Сыну. Мы умолили Христа остаться навеки Иисусом. Любовь сильнее.

19 августа

В августе — октябрь. Непогода — мысли, лампы, дружные между собой разговоры о книгах. И три женщины, каждая берегущая свою болезнь. Мне хуже опять и веселее опять. Только плохо делаю дело. В "мечтаниях" (по-святоотечески) размышляю о красоте внешней, о татарских вышивках, об одеждах. Вдруг глаза вспоминают о давнем голоде своем на зримое, на вещное, и тогда мечусь, бросаю умное, богомольное...

27 августа

И еще у меня нет молитвы. Совсем, никогда. Скука, холод, равнодушное бормотанье слов. И иногда иначе, никогда не приходит порыв. Ведь он же бывает днем, среди перевода, за чтением, в мыслях — порыв, умиление к Богу, а в молитве никогда. Читала Феофана[8], Странника[9], Тихона[10] о молитве, о молитве разной, о "духовной" ("понудь ум сойти в сердце и держи его там") и всей силой понимаю неизреченное блаженство ее, а не умею самое простое, первое и скучаю им. Я лучше молилась в Москве даже.

6 ноября, Москва

Вчера был отец Евгений, и, не скрывая, а просто радостно позабыв все мучительно вязкое и темное, безбольно говорила с ним долго-долго, и о себе, о Вере[11], потом о теософии. Он умен, крепкий, благостный — и священник. Вечером в давно отнятом от меня духовном восторге исполняла данное им молитвенное правило. А только заснула, этот чудовищный кошмар — отрезанная мною голова (чиновника с синим околышком, улыбнувшегося мне и извинившегося, что проходит через мою комнату)... Что это?..

7 ноября

Смятенный дух у меня сегодня — вот она, реальность столкновения с людьми "православия". И бунт, и жажда покорности у меня одновременно. Был сегодня опять о. Евгений, и мы недолго, но страстно заспорили.

10 ноября

И это есть и была и будет моя жизнь? Эта духовная суета, разговоры, оживление, которое падает и за которым пустыня,— без своей любви, своего дела. Как так жить — советчицей, разговорщицей,— и ничего больше, и от Бога загораживающейся суетой о Божьем же... Мне нравится, что Феофан рассердился на свою девицу, когда она забеспокоилась, что у нее нет "цели жизни", а я сейчас мучаюсь и тоскую почти о том же (не о цели, о форме служения) — и права. Я себе не могу зачесть эти шесть месяцев уединения и бессуетности не прощаю.... Я, м. б., пойду для Бога в концерт, где меня затолкают нарядные дамы, а сюда, к Новоселову[12], где я играю роль, для беса. Но я плоха, а у него хорошо, благостно — сразу нежданная охватила атмосфера настоящей христианской любви, что-то чистое и пасхальное он, Новоселов, изливает на гостей. Знакомые обычные курсистские лица как-то мягки и светлы здесь; мужчины целуются друг с другом в губы. Опять, разрушившееся было, обаяние о. Евгения вернулось. Хочется заболеть и умирать или страдать, чтоб необманно брать их любовь. Опять, как и у меня, мне понравился остротою и резкостью Булгаков, но его опыт чужд, или он не умеет показать его, точно говоря, сам отворачивается, так что я почти только хитростью отвечаю. Он с огнем и радостью сказал о том, как будет умирать (в Едином, без раздробления); говорил о св. Щукине и, хмурился и стыдясь,— об Аде. С жестокостью рассказал страшное про Розанова, как праведник, который чертей не жалеет. Как страшно! "Распятый старик". Боже, помоги мне быть лучше.

17 ноября

Бердяев написал: "Я не допускаю, чтобы мы разошлись, я хочу быть с вами, хочу, чтобы вы были со мной, хочу быть вместе на веки веков". Я повторяю, впитываю жадно эти слова и не знаю, как бы я дожила вчера без них. Я такая пустая и бессильная, что, если утром не получаю ласковой записки от Веры или призывной от Ади, я блуждаю в безысходной тоске, не существующая, и только помню свои грехи, такие мелкие, и низкие, и холодные — вчерашняя обида с лампой, которую я сделала Мисе[13]... Я чувствую и верю, что вся дьявольщина — только холод и не-любовь, как та, из-за которой Гоголь сжег свои рукописи. Ледяная рука берет за сердце, и это не знаю как, но отражается страшной гримасой на мир, на тот, который еще тепел. Ужас

смерти и грех ее в этом холоде, который же есть дьяволов знак — ну зачем труп холоднее других вещей в комнате? И вот ужаснее всего это остывание. Почему душу не согревает любовь к Богу,— чтоб отогреться, ей все нужна людская ласка?

Была у Нади. Она чистая и верно чувствующая, строгая и, правда, близка мне. Все то, что она почувствовала от еврейской смерти отца и в синагоге,— это подтверждение: значит, именно, именно христианство и в то же время богоизбранность евреев и нечеловечность еврея без веры — все это чувствую, как верно выходит из еврейства, только, наверно, я не сумела бы так ясно и благородно это произнести без тени стыда еврейства. И я счастлива, что еврейка может так чувствовать — значит, не безысходно еврейство, как у Гершензона и Шестова, значит, человеческое благородство сильнее и выше и все побеждает.

19 ноября, суббота

Вернулась ночью с концерта со священником старообрядческим. Какой он и отчего он со мною так страшно говорил? Эта тонкость в восприятии красоты Agnus Dei*, этот неприятно интеллигентский говор, почти истерические признания в неверии — смелые и ужасные для священника. “Вся религия основана на лицемерии”. Отсутствие старины, той старой священнической культуры, которая чувствуется в каждом простом православном попе,— стыд традиции, беспочвенность, не в чем успокоиться, нервозность,— и это староверие, которое умирало твердо за двуперстие, за Иисуса...

Мне иногда наедине кажется, что во мне ничего нет, что я только гениально mimicry подделываю, угадываю, как бы чувствовали, когда бы верили, и так говорю с верующими, и они меня считают своею, ценят.

1912

3 (16) февраля, Roma

Вчера приехала в Рим. Уже были вечером на Janicolo и оттуда в вечерней заре я глядела в море красно-коричневых кровель и вспоминала. Рим и друзья — играю, что мы во время Листа и Ватинштейна, о котором читала. Но больше, чем весь Рим, развернувшийся с Janicolo, взволновал неуловимый узнавшийся запах римских улиц, когда мы шли по Sistina....

9(22) февраля

Какая странная жизнь, и узнаю ее такую. Утром, усталая, пробуждаюсь и уже спешу опять говорить с бледным, измученным

* Агнец Божий *(лат.)*.

Ни[1] — сидим вдвоем, пьем кофе с черными хлебцами, я радуюсь тому, что он, не замечая, съедает мое масло. Говорим напряженно, больше о практическом, о деньгах, о том, как ехать. Потом идем — не ждем медленных сестер,— идем,— идем к мозаикам или — сегодня — слушать служение братьев доминиканцев. Черные и белые, они медленно движутся, гнусаво читают, и я еще не верю, что это Богу моление, только любуюсь на лица, склоненные набок красивые головы, а друг рядом — я украдкой вижу — закрывает лицо нервно вздрагивающей белой судорожной рукой и, значит, молится. На улице все забылось мучительное, и мы шли и говорили о творчестве, что не может быть христианского совершенства, о занемогшей красоте, о Боттичелли — перебивали друг друга и на piazza Venezia долго не могли попасть в трамвай, заспорили. А потом, забыв меня, он побежал, уже замолкший, вперед, ожидая новой зловещей телеграммы.

Вечером тягуче спорили Женя[2] с Эрном, Ни, бледный, молчал, наконец ворвался в спор. Потом Лидия всем нам принесла бром и, плача, умоляла перестать, разойтись. Я целовала и ласкала ее, горячую от слез, покорную, усталую. Ушла к себе и в глубокой тревоге ждала к себе Ни. Пришел он, и опять в убогой комнатке моей долгий разговор, и я его все просила тише, тише: спят все у vaiser'a. Взволнованный, вдохновенный, благодарный мне, потому что он многое впервые для меня назвал вслух, через меня он узнал себя — такой он,— вдруг прервал себя в самый горячий миг и, простившись наскоро,— “Мы завтра будем еще — видите, как я много вам сказал”,— ушел спешно к себе, чтоб одному додумать, записать. И я осталась одна, с острой болью, опустошенная, с лицом, разгоревшимся для чужой мысли, осталась, потому что ничего для меня — как это у Ницше про финиковых девушек — nicht für euch*?

Когда он так приходит ко мне в ночную комнатку, мы говорим так, забыв о том, кто мы, как будто это заговор на самого великого царя, на Бога... Ах, я понимаю сладость мистического заговора и что в нем все — любовники друг другу. Он, Ни, единственный, кто творит религиозно новое, идет, движется — и не заговорщик, не хочет, не может связать себя с другими тайными обетами. За это же я люблю его, за это я с ним и никогда не буду ни с кем, кто заманивает в тайный союз, даже с Вяч[еславом]. И пусть мне больно, когда он уходит, не замечая меня и только благодарно поцеловав руку.

16(29) февраля

Устала, устала... Отдыхаю уже одна, почти одна — с Женей. Завтра уеду к брату. Полюбила заново Рим, и не Рим, а землю

* Не для вас *(нем.)*.

вокруг, розовую землю Кампаньи, тучную осколками мрамора, славой и смертью. Как-то сердце сжимается, когда спрашиваешь себя, будет еще Рим? Будет ли он в новом грядущем Иоанновом дне? Или, чтоб настал он, должен Рим умереть — Рим и San Pietro? Здесь все смерть, но зачем же так прекрасно — то есть не прекрасен ни Форум, ни весь владычный Рим, а земля розовая, и дороги, которые тянутся прямо, как полеты стрелы через Албанские горы,— via Flamminia, via Satina. (Я люблю звук их имен). Я не люблю Рим. И я многое перестала понимать. Мне и Рим все кажется мещанским, а вот от линий этих дорог сердце падает в благоговение — может быть, это сам Pax Romana* — иероглифы его на земле? Правда, только кесарево — божье в Риме, а боги — не боги, красота — и не тень красоты, христианство — не Христово.

Я не сошлась с Эрном, я любила здесь только Бердяевых. И устала от них, так устала.

Весна 1912, Лозанна

...Вот я сижу с карандашом и ничего не понимаю, не могу записать, а между тем это не уход от вещей, а такое внедрение в них, что острота радости граничит с мукой. Нюхаю эвкалиптовые четки, душусь, и книги — Леонтьев[3], Denifle[4] — и мой золотой шарф — все во славу Божию,— нет, больше — я не знаю другого слова, как то, что я познаю все теперь таким, как оно было в Раю. Отчего мне, обреченной на безлюбовную, бесплодную жизнь, обличается Бог во плоти — не в экстазах духа? Ах, слова, слова, а я же знаю, знаю теперь мир. Только одно растет духовное — вера в Евхаристию. Прав был Вячеслав, когда сказал, что везде евхаристия. Но именно потому, и только потому свято и единственно таинство в Церкви. Я потом пойму это, подумаю.

Письма о расхождении в "Пути"[5] — их ко мне, мои к ним. Трудные, волнующие. Хочется глубокой правды и любви братской, особенной с каждым.

У меня, наверно, будет совсем другая религия, когда я пойму все. Мне хотелось написать: "когда я встану" — почему?

Вторник Пасхи, Лозанна

Вернулась в одиннадцать вчера из Vevcu. Взяла на станции дорогой автомобиль, чтоб скорей. Мягко качаясь, неслась в темноте по безлюдным улицам. У Бобы[6] светло — электрическая лампочка на ночном столике, и он спит с некончающейся "Анной Карениной" в руках — ждал меня. Я вынула потихонечку книгу из рук, вложила записочку и потушила электричество. Лежу теперь.

Господи, мне кажется, я знаю тайну тишайшую. Господи! Как ветер, как ураган внезапный ломает сучья, обрывает листья,

---

*Римский мир *(ит.)*.

обнажая догола дерево, так я освобождаюсь бурно от всего конфессионального, того московского верующего, умственного, христианского, Господи!

28 мая, Москва

Волокутся дни, никуда, ни к чему... Томятся жарой, пылью, грязью, валяюсь целый день, читаю Фрейда, читаю старые дневники, письма с отвращением к нам, к нашему прошлому. Все эти вечера до трех ночи среди ящиков проводил у нас Ильин[7]<...> Мне интересно с ним от безмерной свободы своей, похожей на разинутый зев в черной бездне,— без знаков, без маяков. Меня дразнит его острое волнение, злая влюбленность, совпадение его фрейдовских мыслей с Вячеславовыми <...>

О, как хочу в Судак — ночью это желание вырастает, как фиал,— желание горы нашей — алтаря, строгого Судака, скорби Адиной <...>

7 декабря. Москва. В Вериной голубой комнате

Меня позвало последнее страдание мое, личное — не поняла, не услышала, тупела в боли,— больше не услышу *такого* зова, потому что, как с доски, стерлось из жизни личной, той, имя мое. Позвало — и не услышала. Не зазвучит уж.

Господи, помоги моему позднему, запоздалому, трудному восхождению.

22 декабря

Какое безумие было с книгой Скалдина[8]! Откуда это? Всю ту ночь не спала ни мига и горела. Какая комната мучительно безумная. А днями борьба с о. Евгением, охлаждение к православию, бесплодные попытки что-то выяснить, договорить, рассечь... И люди, люди: иногда близкие, любящие — Надя, Рачинский, иногда страстно враждующие — Ильин, Булгаков... Занимает меня фантастичность школы — ожидаемый съезд братства, неплюевцы[9], призрачные жертвователи, тихие “братья” за столом.

1913

Февраль, 1913

Странная зима, новая, людная, изобильная людьми (потому что к каждому — свои, и все — общие) и событиями — и по-новому монашеская, келейная. Мне хорошо, верно жить так с Бердяевыми, последней мыслью делясь перед сном, засиживаясь в огромной зале за убогим чаем с Библией, с Федоровым[1], сме-

хом мудрым рассеивая все трагическое, горькое и одинокое, что у каждого. Или греемся у печки в моей большой пустынной комнате, и я ласкаю грустную, милую Лидию — всегда как странники, всегда бездомные, бездельные. Что-то мы творим жизнью этой общей, хотя сознание всегда направлено на другое, на дела, мысли, но я украдкой провожаю красоту дней. Счастие — это согласие, и в молитвенном, и в смешливом, в отношении к книге, к людям, к мысли. Никогда ничего не стыдиться показать в себе, потому что знаешь бесконечное благородство близких (Ни, Веры). Они все трое балуют, нежат меня своей любовью, а я уезжаю на трудное, в Рим. Но по старинному, еще по нашему с Соней поверью — хорошо ехать, когда стало трудно уехать.

Апрель, Рим

Больно, больно за него [Вячеслава. — *Т. Ж.*]. Всегда погасший взгляд, этот голос, отвыкший полно звучать и звенеть, и мелочная, почти стариковская придирчивость к Марии Михайловне[2], скука и потребность быть наполненным, раздражаемым... Это я без любви увидела холодными глазами, почти изумляясь, что он заставлял меня страдать. Но, Господи, как это неверно, как неверно то, что без любви! Перед Богом эта погашенность — ничто, и хочет не хочет, он и ею, как раньше своим блеском в мистическом творчестве, идет и очищается. Бедный! — трудно, когда нужно симулировать, что богат, что счастлив. Но теперешнего, погасшего, понятного я чту, как прежде чтила поднимавшегося в недоступные мне высоты. А любовь...

То, что любовь не замутилась, не умалилась, утратив даже тень желания, даже память о желании,— значит, что он никогда не был мне женихом избрания (но если не он, то никто) и что я, только подчиняясь тайному обычаю души, растила в ней *такую* любовь, невестину, и потому неведомо для себя выбрала единственно верного, то есть недоступного.

Мы ходили сегодня в кинематограф, как часто, и я почти со слезами умилилась как на папу, когда он от бедности нуждался в развлечении, смотрела на него, как он смотрит, заинтересованный. А вернулся, так понятно мне, с обостренной грустью. Я, усталая, лежала на его кровати, на желтой парче, и, пока он приносил мне чашечку с темным сладким чаем, рассказывала ему о Вере[3], о священнике Евгении, и он, восхищенный, озарившийся, слушал. Так сладко давать, давать. Этого никогда не было.

20 апреля

Рассказала Вячеславу про школу, про “бычка”, про Веру и Н[иколая] А[лександровича] среди “братцев” — смеялся со слезами, трясясь по-старчески, мило. Потом рассердился на мою “холодную развращенность” (про “бычка”, которого Вера грозила

прислать), потом опять радовался. А совсем потом, уже ночью: “Скажите, отчего вы счастливая стали?” Так ластясь, допрашивал: sorellina, carina*, милая, милая...

25 апреля

Никогда Рим не был так прекрасен. Возвращаюсь каждый день после моих дневных блужданий с духом, точно осмугленным солнцем и Красотой, и только смеюсь на Вячеслава, брюзжащего на Рим и на все, и он примолкает и слушает, и вспоминает, как тоже любил. Рим — мерило? Как странно, что в прошлом году так ехала в него, так хотела — и почувствовала безобразным, грубым. Потому что, жадно ища что-то, пришла — духа ища, а теперь мне ничего не нужно — и Рим мне навстречу, как золотой плод, милый, ветхий, неисчерпаемый, неумный совсем — прекрасный. Нигде не видно напряжения духа, аскетического творчества — это только Красота залегла низко, задевая пинии, площади, развалины,— нет человеческого в Риме, нет мысли! И все в цвету.

Но дома — я устала. И тяжело, бесплодно, мучительно. Не то что по густоте житейской, по духоте и скуке я чувствую себя иногда, как в Юлинькиной семье[4], а то, что и в долгие разговоры я не могу растопить, прожечь, пробудить. Я трушу — несмело ударяю.

5(18), май, Флоренция

Рано утром с первым трамваем поехала к Сан-Миниато посмотреть, как утреннее восходит солнце, просвечивается через розовый мрамор окон в альтаре. После первых, жадно упоенных искусством и одиночеством дней,— такая тоска и уныние от себя, и стыд. Стыдно перед Вяч[еславом], что я не цельная к нему, почти предательская подошла. И малодушно живу эти дни одиночества, которые мне — как призрак моего будущего: неужели так будет — воровски для себя одной глядеть картины, думать о них мысли свои, покупать шоколад... Когда же, когда же прорастет душа!

10(23), май

Как я тут думаю о Н[иколае Александровиче], как ему близка Флоренция! Не знаю, люблю ли Флоренцию. Никогда благоуханного, благостного не вижу здесь. Как неверно, что Флоренция для влюбленных! Но постепенно проникаюсь тонким ядом ее. Именно верно здесь быть одной, чтобы остро почувствовать их неутоленность, тоску. Как поразительно, что в самый полный

* Сестричка милая *(ит.)*.

счастливый богатый час истории и в корыстной, такой пирующей и упоенно-творческой Флоренции все высшие достижения говорят о том, что *нельзя, нельзя жить на земле,* и, как стебли, тянутся вверх и подламываются... Такой весь Боттичелли, и еще больше Поллайоло, и он, может быть, правда, величайший. Его я полюбила — просто раньше совсем не понимала, не видела. Он — апофеоз творчества, создания небывшего,— и поэтому темы свои, и поэтому тоска,— он — один и не знает, услышан ли, и не знает, правда ли то, что он творит... Флоренция — вся творчество, Рим — красота. Но они все со своими одухотворенными Мадоннами, у которых пальцы так глубоко прорезаны (Филиппиниевская в Бадии), чтоб быть призрачней, паутинней, в Бога, м. б., не верят и мира не приемлют. Тайно богоборческий дух. И насколько прощенней и богопокорней грешный Рим, чьи грехи барочные не в духе, а в плоти,— жестокости сластолюбивых пап (эта красная перчатка Кардинала, что я видела),— а дух в Отце лежит и даже и не ведает, *что* есть другое.

Опять Рим

Опять смиренно записать слова теперь бедного любимого. Чтобы не забыть.

О времени. Прошлое полно и вечно покоится у Отца, будущее — время Духа, не имеющее Лика, присутствующее как дуновение, как пламя. Настоящего нет, оно только умирает, мы живем смерть времени. Настоящее — во Христе, пока мы живем нашей теперешней жизнью, Христос реально и непрестанно умирает. Жить так, чтоб каждый наш миг умирал во Христе, с Ним, а не без Него. Умирать во Христе, отходя к Отцу и призывая, высылая Духа.

Крест. Вертикаль — восхождение духа. Горизонталь — Душа Мира. Всегда уходить вверх, не боясь разлуки с Душою Мира; нежданно на некой высоте снова увидишь себя в пересечении креста, потому что дышущий и росный — горизонталь Души Мира — поднялся тоже, и где пересечение — там зацветает роза. Но опять уходить одиноко вверх — роза осыпается— до новой встречи, новой розы. На всех высотах дышит Она.

Бедный, бедный...

О Достоевском еще, но это так хорошо, что я не помню и жалею неверно записать. В Достоевском впервые Дионис полюбил Христа — и это величайшее событие в христианстве: отныне все дионисийское течет ко Христу и никуда более. Не Вл. Соловьев, а Достоевский наш пророк и провозвестник. О волчьем в нем. О волке.

Чтение Эсхила. Разговоры долгие с Верой[5], с Вяч. (порознь), о событиях Петербурга (их оправдывания).

Утром с Верой и Димой[6]. Потом одинокая и счастливая по знойному Риму, а потом с Еничкой[7].

Едем в Неаполь и в Геную.

9 июня (ст. ст.), Генуя

Как это почувствовать до конца, как это врезать глубоко, чтоб не стереть. Встреча с Соней опять так значительна, решающа. В важный час жизни всегда или от нее письмо откуда-то неведомо, где она говорит, не зная, слова обо мне, для меня, или встреча такая... Но ей не говорю, с ней говорю о другом, почти враждую, споря. Так прожила неделю здесь — в глубоком одиночестве — именно потому, что вблизи нее, всегда любимой, с запечатанными словами на губах, а говоря почти о внешнем, о теософии, или по два дня не видясь, посылая к ней Еничку, с горечью, что они ближе друг к другу, вдохновляют друг друга. Читала, раздражаясь, эту толстую книгу Безант[8], где про то, как она была собакой и умерла от преданности Master*, умерла человеком. Раздражаясь, говорю то Еничке, то Соне, что не могу с ними, потому что у них нет le sens du comique**,— они не понимают, что они смешны,— смертельное отсутствие юмора... Что не может русский дух принять эту "инперсональность", что нет и нет у них любви к Христу, что это безличное допущение, что всякая книга, всякий поступок — *путь,* и всякий далекий — мне близко-холоден, этот бессолнечный свет, эта нелюбовная будто любовь ко всем,— что не хочу я этого всего, что знаю лучшее. И прощаюсь душой с Соней, которая в последний раз согрелась близким светом, в последний раз разлучаясь с Ачу, творит зло, и дает и терпит боль. И вот так странно — это последнее земное обратило ее жарко ко мне: приносят мне вчера и сегодня от нее записочки, такие родные и давние по юности и восторженности слова. Он у нее, а я одна, глядя из высокого нашего, точно башенного, окна на серое, все бурное, в белых пенах, море (равноденственная буря). Я все больше проникаюсь правдой для себя другого, боримого мною пути, ее, Сониного. Если нет той страсти, это значит только одно — только то, что ждет другой страстной восходный путь. Я кляла Сонину схиму, а теперь над этим бурно метущимся, безысходно серым морем мне сверкнули белые зарницы моей схимы, моего посвящения. Я не хотела, чтоб так, но разве знаешь, разве приходит, как хочешь. Жутко и таинственно мне вспоминаются слова, догадки Сони о том, что ее — нечеловеческий путь и неумолимая суровость странницы, написанной Porro***.

Пусть так. Да будет! Не радость, не Рай, как год назад в Лозанне, а остро, холодно, пронзающе веет веще, как над этим бурным морем <...>

---

* Хозяин *(англ.).*

** Чувство комичного *(фр.).*

*** Ачу, Porro — знакомые С. В. Герье.

15 июня

Неперестающая боль о Бердяеве и Лидии, предчувствие грозящего страшного. Я знаю, верю, что ему нужно это прохождение через боль любви, ведь ясно вижу, что только через это ему путь,— иногда кажется мне, я вижу въяве светящийся образ его любви к ней, которая живет, как *шестой,* среди нас. Чувствую в своей его душу, мучительные миги и преодоления потом...

И ничего нельзя сделать: в себе только для них сделать светлую храмину и каждый день реально, тайно звать их в нее, где будет им тепло и роса, чтоб свободно каждый шел своим вышним путем.

21 июня (ст. ст.)

В новой комнате у меня хороший стол, старинный, вроде римского Вячеславова, и потому нужно — и можно с любовью — много сидеть за ним. Несколько дней переводила[9] с охотой, почти с этой мыслью просыпалась и искала в полусне слов и радовалась русскому языку. А от мыслей его своими тропками иду дальше. Потом читаю философов о нем же. Потом писанье писем. Потом самое трудное и волнующее. И еще книги — уже легкие и лежа на кровати с мятными лепешечками во рту. "Интеллектуальные радости". Как быстра душа на насмешку, на обесценивание! Потому что уж очень быстрая дорожка привела: сначала боль и восторг души, духа, от этого как будто вверх — к теософскому обезличению, к "пути" бесстрастному, а отсюда — усталость сводит так легко и полого к бескорыстному интеллектуальному существованию.

И опять ленива молитва, и та чаша тишины-медитации. Боюсь ли я для себя интеллектуализма? Есть ли во мне неутолимая тревога о Боге?

24, июнь

Хорошо ли или плохо — этот холод, который в глуби вещей или в полюсе, противоположном горению о святом? А душа опять и всегда опять хочет противоположного тому, в чем жила, утверждалась с силой, будь то несколько дней. L'ennui qui est au fond des choses*.

Католики знают. Теософы (маленькие) заговаривают, замалчивают, будто нет его. Но он не грех и не презренность этого мира — как католики думают о нем. Любовь и холод скуки двигают жизнь, и только они. Это не вялость, это по-другому, но такое же предчувствие необъятности Бога и абсолютной непохожести ни на что. Даже больше, чем любовь, потому что любовь множественностью градаций роднит это малое, сегодняшнее с Тем. Ну да, или любовь говорит: это ты. А скука: это не ты. Ведь это

---

* Скука, которая скрыта в глубине вещей *(фр.)*.

что-то, этот ennui* не то вовсе, что просто невесело, надоело, ослабло ощущение,— это что-то инородное всему, оно — как холод умершего тела холодней атмосферы окружающей — непонятно, страшно, так же таинственно, как смерть. Черная воронка, труба, выход, всегда открытый. Вот Пушкин знал это.

27, июнь

Еще и еще ничего. Плохо стала все делать. Не перевожу. Письма не дописаны. Утомление, сплю, как никогда, плохо. До отвращения начиталась маленьких книжонок Адиных. Швейцария, навсегда пустая, ненужная, не к душе больше мне...

Читаю Бергсона с увлечением. Смешная, а я боялась благочестия!

2(15), июль

Был Шестов, простой, дружеский, экспансивный. Вынесла его легко, хотя он был с десяти до восьми вечера! Конечно, речи о том же, о моем же. Он сказал: истинный апофеоз свободы (беспочвенности, по его) может представляться нам, нынешнему человеку, таким же сухим, суровым, безрадостным состоянием, как младенцу, сосущему грудь матери,— жизнь взрослого человека. Да, это те же угадывания, что у Ни, что у Сони и др., и чего я, как нехотящая оторваться от груди матери (сладкая, утешная вера), боюсь, уклоняюсь. И за робость мне ни то, ни другое не дастся.

Это старость, что я подбираю опять все свое старое — концы сходятся. Вот и Шестов — я рада, что он был *верный:* мы его гордо преодолели, сделали широкий круг и опять — в каком-то верном, еще нужном усилии — мы вместе. Он был верный. И такой скепсис до какого-то самого конца века твердо держит знамя вот этого холода — скуки.

7, июль

Дни суеты, поездки в Лозанну к доктору, решения куда, как поехать, проводы Бобы. Читаю урывками великолепного Бергсона и Eug. de Guèrin[10]. Пишу чуть-чуть в тетрадку, в листки, в письма милым. Joujou du coeur, que la plume,— pour une femme**! Правда!

Идя на почту под дождем, рифмованно говорила себе сегодня утром:

Ковшик чеканный,
другом мне данный.
Что зачерпну,
в море найду?

---

* Скука *(фр.)*.

** Сердечная забава, которая ее обирает,— для женщины *(фр.)*.

Перстень венчальный,
Плат ли пасхальный?
Детские ль кудри,
Книгу ли мудрую?
Вглубь закопайся,
Щедр возвращайся!
Вот он — чеканный,
Ковшик желанный:
нищим вернулся,
пуст обернулся,
вод'росли водные
тянет холодные...
Участь немую
Как же пойму я?
Сердцу нежадному
Вести отрадные
Шепчут холодные
Травы подводные.
Есть в них и перстень пасхальный,
Есть и венец погребальный,
Книжные кудри в них вьют,
Детская мудрость зовет.
(Все наоборот!)

И еще девочкам:

Дождь неистомный,
дождик стозвонный,
лейся, журчи,
дев окропи!
Девы отважные
Косами влажными
вьют по ветру,
манят приветно...
Сила дождиная их не уймет,
ближе плывет счастья година...

Но это совсем плохо и на них не похоже — ничего-то они не манят! Она мне нравится; видимо, и трезвость, безыллюзорность католичества в ней мне близки — видеть почти только умирание и неудачу. И какая она при этом здорово жизненная[11]!

27 июля, Мюнхен

Я заснула, а проснулась — около меня на моей кушетке сидела Маргарита[12] в красном платье фасона ангела и с легкими-легкими волосами до плеча. Лицо не постаревшее, но и не углубившееся, в выражении безлично, внешне духовное. Или это и есть "путь"? Жадно ловлю улики, испытую себя и тех, кто против меня. Поэтому и засыпаю иногда посреди тревоги, которой нет исхода, чувствую, что нет и *здесь*. Три дня уже живу в этой белой комнате странной жизнью. Людвиг[13] водит меня обедать в вегетарианскую столовую, через переулок, к Маргарите, приводит Петровского[14]. И он, и она бережно принимают меня, как

рождающуюся к ним, не торопя, не зовя, а только безлично-ласково отстраняя помехи, возражения, как-то медицински, не вдохновляя (как не похоже на Соню, всегда властную, влекущую и зажигающую!). Петровский вчера сказал, что это и есть верное самое, когда *без вдохновения* идешь. Все мучительно и противоречиво внутри,— когда чувствую почти физическим отвращением последнюю безрадостность штейнерианства, тогда-то и признаю для себя неизбежным и должным. Потому ли это, что Штейнер знает эту безрадостность, печаль свою, и зная, именно идет? То есть все знает мое, мои противления (не сомнения, потому что вообще не это мне мешает на всех путях). (Те, генуэзские, счастливые, не знают.) Об этом в мистериях[15]. Читаю их, очень трудно понимать от тоски, собственной спутанности, от их сложности. Там Maria ропщет, что избрана как орудие: "Ich bin dann eines Geistes Mittler und nicht mein eigenes Wesen..."*

1(14) августа

Встречаюсь с ними каждый день — то нехотя, то нарочно. На углу улицы встречаю Петровского с пучком моркови и кореньев в руках, с лицом восторженным и благоговейным (а в Москве у него скептицизм, даже когда он в церкви!). Когда обедала одна, вошел Белый (только что с Волыни) с женой[16], в дождевом плаще, мокрые из-под ливня. Взволновались, он познакомил, сели за один стол. Под ее молчание пренебрежительно рассказал, как он стал и почему антропософом,— виновато, почти отрекаясь, как он всегда. А потом чай у Татьяны Ал., и там все — съезд продолжается,— Бородаевские[17], др. От напряженности внутренней слышу и вижу их тускло, как за пеленой, и перевожу их слова, для меня внешне нелепые и ни о чем не говорящие, на свой смысл. Так нужно — глупеть, тускнеть, обезвнутриваться. Один Петровский чуть-чуть понимает меня, видит мой supplice** и улыбается ему, а другие приветствуют как идущую к смыслу, к спасению, к Богу,— когда я иду от Бога, от спасения, от смысла... Но почему же иду? Потому ли, что, как у Экхарта сказано, "надо отречься от Бога для Бога", или как у Ницше — твоя гибель noch deine letzte Zuflusht ist***? Разложение, омертвение ценности жизни — да, и пусть. Ведь и мы разложившиеся по сравнению с простой инстинктивной жизнью — значит, тут только степень...

Возненавидеть себя. Это не слова. Ведь слышала же я о раздробляющей руке Божьей, о истине убивающей? Это и есть это...

Если личность разлагается, если надо воззывать "Я" из "не-Я", то, значит, во мне и чужие, значит, я не один, не сам, и потому я могу и хочу принять в себя *сознательно* касания учителя, то есть такого же чужого, но благого, то есть выбираю вольно

---

* Я — посредник духа, а не моя собственная суть *(нем.)*.
** Мучение (*фр.*).
*** Является еще твоим последним приютом *(нем.)*.

из многих неизбежных. Пока было нераздельно "Я", пока был свят союз "Я" и "Я", кощунственно допущение третьего, как в браке третий, но раз началось расщепление, он благо, потому что ускоряет расщепление.

4(17) августа

Ездила за город с Людвигом в Версальский сад с квадратными водоемами, в которых тускло алела заря и лужайки, казавшиеся черно-багряными от заката. Такая пронзительная красота. Я в этот раз объездила недаром всех, кого давно любила,— в Риме, в Генуе, в Швейцарии,— и точно недаром: застала их (Соню, Вячеслава) в последний их интимный, еще страстный час... Теперь он, утоленный и охлажденный навсегда, окутается пышностью и бесстрастностью, и никто больше не увидит на его лице такой краски стыда, и Соню в ее восхождении никто не увидит такой.

Только Н[иколая Александровича] не видела и не должна. Должна безвестно для него "постричься", и только тогда уж безвозвратно будет послать ему кусочек черной мантии, что ли, или холодно проститься через решетку. Они говорят: вы приходите к братьям, а я знаю, что ухожу от братьев в одиночество. И пусть.

Н[иколай Александрович] пророчествует о том, что наступает новый творческий период, но как будто пассивно ждет его. Если же он действительно новый, то может прийти только от нового человека, а новый человек сам себя должен сделать — прежде всего истреблением прежнего.

Я слишком здоровая и счастливая внутри (без отвращения к себе), потому агония такая долгая, такая мучительная, и не мерцает даже радость.

7 августа

Если действительно *антропософия*, то есть все из человека, то *все* в человеке, значит, в себе все лики (многосоставность) и для завершения жизни и истины нужно раздробиться, осознать эти лики, пробудить их. Пока не раздробишься — в сущности *только пассивен*. Вот, вот. Это самое главное. Зерно не оживет, пока не умрет. Смерть же и есть только раздробление, разложение на многих. И это-то так мучительно — отречение на тысячелетия, может быть, от единства и, значит, от Бога, которому отдать душу *единым* вздохом. Или — или?...

9 августа

Такая ностальгия по России, по хлебным полям ее (не по Судаку, нет) — их что, жнут сейчас или еще колосятся, "убеленные луной"? — такая, что уговорила Е[вгению Антоновну] заехать в Ольховый Рог. Отвращение к приторным, съедобным запахам улиц Мюнхена (несмотря на дождь, дождь) и желание никог-

да больше не уезжать за границу и умиление Россией. Неужели я отныне связана с Германией? Уезжаю, едва начнется цикл. (И мне сострадают, мне несут все деньги.) Вечер у Трапезникова[18]. Мягкие ковры, мягкие разговоры, налой с старообрядческими иконами, его благочестивый поцелуй в лоб своей жены — красивой еврейки, рассказ про ее обращение. Стыдно и ekelhaft* все. А Штейнер? Не знаю. Еще был здесь, еще увожу отсюда Parsifal** и не знаю, не различаю в своем внутреннем тумане — то же ли это самое или против этого из другого?

Август. Ольховый Рог

Нет, Штейнер не лжив — перед Богом, перед совестью своей испытую его. В том порядке все так и есть, как говорит он. Но и потому все, что он скажет, будет всегда в том же порядке, и слова избавления, конца, единого спасающего слова и в самом тайном у него нет.

Русские страдающие (Белый, Макс, Петровский — все духа Достоевского) тянутся к нему за большим страданием, чтоб на вечность быть распятым. От Штейнера спасает Сын и Мать.

23 августа. Ольховый Рог

Б[ердяев] и Лидия уехали сегодня утром. Как никогда, в этих зеленых огненных днях отдала ему душу и взяла *его* душу. Ничего не оставляя себе прикрытого, своего, потому что он, как воин с копьем, бился за меня со мною, освобождал меня, вырывал из невидимых, незнаемых цепких рук, и все было обнажено до дна, и я была во всей немощи перед ним. И сразу. Мы только выпили чай на балконе, когда приехал, и потом спустились вдвоем в широкую зеленую, искристую солнцем аллею, и сразу, и сразу, еще не переодевшись после вагона, мы начали об этом, и потом уже не было дней — обеды, прогулки, ночь, все только прерывало на час, на часы наш мучительный, все самое жгучее взрывающий поединок — и сладостный потому, что в любви. И он меня вернул себе, потому что любовью исчерпывался здесь тот мюнхенский путь. Да, правда, истина должна быть невестой, любимой, иначе она не истина. Неверно то, как Шестов говорил, что быть в истине кажется нам, как сосущему — состояние взрослого, безрадостно сухо. Так можно воспринимать только со стороны, но когда это уже *мой* путь, тогда он единственно желанный, все другое ложь. Неутешенность Штейнера, неутешенность мистерий обличает. Die stillste Stunde***. Этот ужас вечного возврата, от которого тот [Ниц-

* Противно *(нем.)*.
** Парсифаль *(нем.)*.
*** Наитишайший час *(нем.)*.

ше. — *Т. Ж.*] сошел с ума, остекленевшие глаза штейнерианства хотят обезопасить научностью, но вправду преодолевается он только верой, что ближе, что скорей, чем в вечности мой Бог, Христос (что сегодня, здесь — Земля, Богородица). Нет богообщения (в мистериях), Бог же не в конце всех путей, нынче, здесь. И еще — у него человеческая мистерия, не мистерия самого Бога (то есть это не еще, а то же), с Ним не случается ничего от человека,— или, значит, Его нет, или не антропософия?

Вся трудность решения и вся свобода решения (как тогда с Вячеславом) остались на мне, и все-таки этим благодатным разделением (не снятием) моей руки, моей тревоги он мне дал высшее, что человек другому дать может в этом борении с его Богом, и дал мне счастье благодарности, неоплатной, хотящей быть неоплатной.

А поля, для которых я ехала сюда,— странно — остались мертвы. Видела пески, по которым ехали, луг туманный, высохшие осенние травы, но не дышала мне земля степная в лицо. И усадьба, широкий скотный двор, паровик, работающий в поле,— не почувствовала я, что это родина, после стольких заграниц, столького городского. Отчего? Где же родина? Или нет ее для меня, или пока *что* — нет?

Октябрь. Судак

В тарапане смотрела вот на что — как эти полуобнаженные юноши, после того как с них струей катился пот от топтанья ("пляшут в луже красной"), от завинчивания тяжелых винтов, вдруг радостно сцеплялись в бесполезной борьбе, радостно напрягая мускулы еще и еще... Избыток сил в мире — и физической, и духовной. Эта маленькая-маленькая черточка, но от того, есть ли это или нет,— два разных пути, противоположенных миру. Через Штейнера в конце чего-то, в ужас чего-то до конца заглянуть — и никогда не забыть...

9 октября

Я стараюсь не думать, а вкапываться головой и ногами в бытие, и все верно, что живу нынче. Когда быстро ходишь, тепло одетая по этой осени, лицу и жарко и холодно от воздуха. Но что знаю, что верно, и отчего вдруг такая жаркая струя и такая радость?

11 октября

Только верное опасно, только верным можно злоупотребить (о поле в религии).

16 октября

Нет у меня любви единой — есть любовь многая,— и это не худо. Но так и надо. Не лгать <...>

18 октября
(Молитва)

Сад и сидение на сухой лозе над речкой — искорки, стрелочки солнца в струйной воде.

Прости нам стрелы твои. Иногда взовьются листья, и снесет их, посыплет на воду и застелет ее, и тогда долго бегут струйки в желтых листьях. Горы, как светлые мутные призраки,— страшные?..

<...> за то, что глубже и крепче корни (я пробовала качать молодые тонкие стволы кипарисов — так крепки, и ветер колышет их мягкую чешую иглистую), зато наверху должны быть цветы, плоды другие о другом, о корневом не говорить. Несказанно оно. Тютчев? Да, но еще вернее есть. Вот Беме.

Ночью грустные мысли об обездоленности. Простые, как у овцы. Как на траве пасешься на тоске.

1914

Весна 1914

Приехала одна девятого мая в Судак.

12 мая

Милые, милые, счастливые! Эти блестящие в саду, все обернутые к солнцу, выпуклые — зеленое серебро! Весь сад — зеленое серебро ослепляющее. Не грустно, потому что не черная земля? И что я хожу по саду и жадно хозяйничаю: как-то уродится виноград, как-то нальются персики и много ли их? И что знаю, что прощена и что придумала? Ничего, знаю, что будет в июле эта тоска, когда черное станет и не зайдет. Лампадку зажгу. А теперь надо скорее, чтоб успеть.

Сегодня во сне про будущее. Что будет так, что есть будем плоды, которые будут звучать, как музыкальный инструмент, и для еды будем выбирать их по пению. Может быть, это же и любовь, то есть пол. Вообще, наверно, для сладострастия, для утоления полового влечения будут тысячи других форм (техника, футуризм, природное), а любовь к женщине погаснет — дух[овные] же, конечно, будут избранничества. (Это в книгу о Риме.) <...>

16 мая

<...> Молитва всегда обволакивает, точно отдаляет от Него,— никогда главного касания, прожигающего нет в молитве. Но для того, чтобы в другое время было,— для этого молиться: что как нагнетение, напор — и тогда прожжет там, в другом, “в кинематографе”.

Всегда в “Отче Наш”, когда дальше говоришь, предыдущее кажется желанным, нужным, не слушаешь, что говоришь, а в уже сказанное, кажется, что вложила бы все...

17 мая

Помнить, как у Успенского[1] сказано — строить Храм, но это не значит забыть *сказочные сады*, среди которых возникает Храм (то, что не хотят помнить теософы), а в них — и ядовитые цветы! И всякие — и главное, бесполезные.

21 мая

Господи, каким голосом, напевом читают — “...Помяни мя, Господи...” — в церкви?

25-го. Троицын день

Каждому духовному достижению (или моменту) соответствует какое-нибудь половое неблагополучие, аномалия (обратно Фрейду). Ничего не значит, если иногда наибольший подъем духовности при нормальном состоянии (Ильин?), м. б., это за счет прежней аномалии.

31 мая

Плодно то, что нежданно или вопреки желанию, ожиданию приходит (Нечаянная Радость!): когда хочешь молитвы, приходит творческая мысль, когда хочешь творить — медитация, хочешь медитировать — является молитва... Потому сопутствует творческому периоду внутренняя раздраженность, недовольство непослушностью своей — раздражаешься, пока не признаешь, не смиришься перед тем, что приходит мимо воли... не упьешься им.

2 июня

Холод (еще у Розанова: “Мир прогорк”) скуки мира, который от познания Бога приходит. Теоретически я скучаю обширно, исповедую скуку, но практически почти не успеваю скучать, потому что заинтересовываюсь, развлекаюсь — книгами, мыслями, как камушками, путешествиями, одеждами или просто чередою часов, мерностью скук,— наслаждаюсь и потому не скучаю. И как не творю, а живу как бы творческая, так и не скучаю — а в мирочувствии как бы скучающая. И это море скуки песчаное растекается — die Wüste wachst* — разливается, и иззубрены все наслаждения малые, истонченные почти до аскезы.

---

* Пустыня растет *(нем.)*.

10 июня

О поцелуе руки. Не люблю рукопожатия — грубо телесно. Поцелуй духовен (кто сказал: "Св. Дух — лобзание Отца и Сына"?) — бесцельное, непонятное прикосновение. Когда мужчина целует женщине руку — это безлично, это нисхождение духа на плоть (рука женская как женская стихия). Когда мне целуют, у меня чувство, что на миг через меня Дух благословил плоть. Я могу быть и духовней мужчины, но все равно я в мире выполняю роль материи, о ней забочусь. Должна привлекать дух на нее. Поцелуй руки не принижает мужского перед женским, а наоборот, прикосновение высшего к земле, чтоб освятить ее. Рука похожа на землю, на смерть (белая). Shakehands* — ложное товарищество, мешающее истинному одухотворению.

11 июня

Неверность Штейнера в том, что будто два мира — обычный, чувственный, где и боль, и радость (но здесь же и творчество, и любовь), и другой — "путь", где односторонне только служение, только скорбь знания и нет наслаждения, — тогда как правда allégresse** на всех ступенях.

29 июня

Розанов[2] и стихи Вячеслава. Мы читали, читали ему упоясь и упояя.

ВОЙНА

Господи, как прожгла она, как ничто личное, никогда потоком таких слез — никогда!

Восторг и ужас, жалость и восторг опять. О России — или больше, чем о России?

Боба [брат. — *Т. Ж.*] просвистел, возвращаясь по дороге, я вскочила с кровати, вышла на балкон: Англия вступила — телеграмма на кордон. Спустилась вниз, всех разбудили, как обезумевшие.

Август

Вернулась из церкви — вот, вот тайна блаженная наша, пока Христос дитя, я — мать. Потому колыбельна так церковь.

---

* Рукопожатие (*англ.*).

** Ликование (*фр.*).

Сентябрь

Болезнь эта как знак, что я недостойна. Когда все двинулись — прикована.

Все тягостней с Ильиным[3] — только в часы, когда читаем с картами телеграммы у меня наверху,— только тогда сливаемся, а все другие темы даже не бурную вражду будят, как зимой (я больше не подпускаю их к дорогому), но холод чуждости. Особенно с Талей[4]. Мы иногда подолгу молчим — она всегда с большими холодными глазами, я — с расширенными и стоячими от болезни. Взволновала сцена между ними, когда он почти с ужасом стал сомневаться в правде своей философии перед лицом войны, а она холодно и разумно опровергала, говоря, что война ничего не меняет в вечном, что вечное и ее вмещает.

Письма приходят, все близкие так же, как и мы. Вся Россия, вся Россия! Изумление перед Бельгией.

17 декабря 1914 г. Москва

Разговоры с Соней... Отношения без зеркальности, когда самая духовная volupté* остается глубоко внизу. Все было — мороза не было еще. Не зеркало к зеркалу (это высшее в прежней любви), а алмаз, закопанный в темную землю, которому больно от возвращающихся в него лучей, но в который миг они для того возвращаются, чтобы загореться в Боге.

1915

Без даты

У нас жил две недели Николай Александрович — приходили люди, мы ходили к другим, шумно, много. Среди чужих — исключительно близки, молча, взглядом все одинаково думали, когда одни — далеки. Но было три разговора о самом близком — о бездне. В ответ на его укор на мое нежелание раскрыться с мучительством рассказала ему о летнем, называя все жестоко, глядя в упор,— у письменного стола ночью, когда весь дом спал, на двух жестких прямых стульях. Но он ничего не ответил, не сумел, вздрагивал рукой и замкнул меня своим молчанием. Что ж ему надо?

Рождество

<...> Жизнь вдруг отголоском давнего зазвучала, александровского: густые звуки фисгармонии, табачный дым, кино, еда целый день на столе, шумные бодрые мужчины в сапогах, шинелях,— с войны мужчины — с войны! Немецкий тесак, каска.

---

* Нега *(фр.)*.

Санитар играет целые дни Бетховена и Парсифаля. Приходят все слушать рассказы о войне, и как понятно, что им двум почти интересней только между собой, а не с москвичами!

9 января

Было три дня с Вячеславом — тонкой ласки, чуть сказанных слов, дуновения чего-то старого, нашего,— он переписывал мой стих о Войне[1], мы наклонялись над его письменным столом, приходили, уходили люди. Третий вечер он читает мне и Скрябину[2] "Прометея". Скрябин! Тонкий, легкий, окрыленный, а глаза усталые, тускнеющие от созерцания. Так легко, мерцая, с ним идет и разговор, и молчание. Почему-то мне блаженно для будущего это знакомство. Не хочется даже торопить — так блаженно. Он играл две сонаты свои.

Февраль

Хожу в лазарет. Мучительно стыдно приходить такой, не сестрой, неизвестно для чего — духовной руководительницей.

Март

Споры, споры... С приезда Бердяева каждый день, и как бы определяются две стороны. Вчера у Шестова я сидела молча весь вечер в его кожаном хитром кресле — одна среди ходящих, спорящих, обкуривавших мужчин. И В[ячеслав] и Б[ердяев] не правы — отрицаю самую постановку спора вчерашнего о "гарантии". Против Бердяева отрицаю безблагодатность человеческого пути и противопоставление благодати — свободе, ибо самые откровения благодати стяжаются на пути свободы. Та же благодарность, которая передается через священство или дышит в стихии религиозного,— не первичная, отраженная, не откровенная. "Самый легко несомый тот, кто миг назад шел один". И если благодарность — женственна, то, конечно, самый мужественный открывает религию женственности (Серафим). Этот миг наполненной чаши следует именно за восхождением в неутоленности, а не за пребыванием в религиозной сытости против "верных Софии" — неужели же религия женственного начала влечет за собой непременно почитание брака, рода? М. б., также и исступленный культ девы! Женскому поклонялся и Соловьев, и Дант, и св. Серафим (презиравший беременность), и Рамакришна с его любовью к Наренде...

...Удивительный и глубокий Флоренский: идеализм — пол! А об этом, об эт[ой] ст[атье] Флоренского мы чуть не поссорились с Н[иколаем] А[лександровичем], то есть не бурно, шумно, как любящие, а холодно, затаенно. Все время у нас возникает холодное раздражение,— и странно, у меня нет к нему женской нежности за то, что он лежит, что бессилен, что на нас пала

забота о нем. Но были у нас теперь, были такие разгоряченно-нежные первые дни "больной ноги"[4], когда мы все падали от усталости, от докторов, от телефонов, от навестителей и умилялись его терпеливости и что он [Бердяев. — *Т. Ж.*] не выпускал ни на миг умную мысль, пока нога была во льду... Почти плачущая Лидия — и все между собой дружные, и самые-самые близкие...

Война, война! После того страшного бегства из Пруссии, когда к нам приехали беженцы с клочком письма Дмитрия [Жуковского. — *Т. Ж.*]— опять она так подступила к сердцу, сжала сердце в тесноте. Обостренные, озлобленные споры — Эрн, Вяч., Булгаков — все хотят gut machen*, сгладить, все "царское" оправдать, раздувают каждую удачу, наши, наоборот, все видят и предсказывают мрачно.

Апрель

Жизнь как какой-то безумный вихрь людей, звонков, уходов, приходов, от утомления ими — жадность к ним, все новым; разговоры, смех, остроумие, ужасы, опять смех. То не бывало, что ничего личного, — раньше всегда интенсивно личные были отношения. Мы с Адей иногда не знаем, кто у нас в гостях, почти не знакомы, покорно кружимся вокруг стола, чай, чай наливаем без конца, а когда и приходят к нам наши друзья, то и тогда мы их сами же смешиваем с другими, скользим по ним — и они, скользя, уходят. Небывалое количество романов (а наш круг вообще такой безроманный!) в эту зиму военную (пир во время чумы!) — Шеры, Толстой с Тусей[5], Марина с Парнок[6], Майя[7]... И про всех мы первые узнаем, и смешливо тщеславимся этим, и, возбуждая любопытство, показывая их, намекаем об них. Иногда почти похоже и у нас на салон фрейлены из "Войны и мира" — гордость первым показать какую-нибудь новинку: Толстого, приехавшего с Кавказского фронта, или письма Макса из Парижа, или вот теперь Успенского — ревниво — раньше того, что они были у Вячеслава, у Гершензона... Самим смешно, а другие верят, что это серьезно. Булгаков в телефон: "Ах, у вас будет Толстой? Можно в десять прийти?" И, приходя, серьезно обходит, здороваясь, длинный стол с доверием, что все эти люди для чего-то правда у нас в гостях сегодня, садится на уголке и, тихо и уважая, спрашивает про Ванновского: "А это кто?" Тихо ему объясняешь, что он на войне делает крепости и еще книгу — толкование Апокалипсиса, и он серьезно и доверчиво принимает, как будто это так и должно быть. А мы накладываем пирог и рыбу, озабоченно переглядываясь с Адей, всем ли хватит? И нараставшее было озлобление между "старцами" и Бердяевым (статья Эрна —

* Сделать хорошо *(нем.)*.

Валькирия — гнев Вячеслава) вдруг разрядилось в смехе, в острословии: "Бульвар и переулок"[8] — это самых последних дней.

Но меня будто нет, не пишу, не думаю, ничего. Жажду весны и конца — осталось дожить еще две недели.

Пасха

О, милые, милые московские церкви в страстные дни. Огоньки текли по нашим переулкам, мы три из разных-разных церквей — домой. А вчера ночью в заутреню меня смутил, пробудил, повлек вдруг тот образ — весь в розовом серебре — кто? Ангел? Дева? Не Мать, не Сын, за толпой, за свечками вспыхивающими то исчезающий, то мерцающий пронзающей красотой образ — Андрогин — София. София! В церковке "на курьих ножках".

Апрель. Новочеркасск

Умер, умер[9]! Такое страшное потрясение, такой ожог, как от самого любимого, знаемого, обещанного на жизнь. Обещанный! Еще вчера сон про него [Скрябина. — *Т. Ж.*] под впечатлением письма, что он болен. Я прихожу узнать, а Вяч. строго не пускает, и все-таки опять мы все вместе. А сегодня — Смерть. Первая смерть в Новой жизни (разве первая? А Лидия? Да, не первая, но почему-то чувство, что первая для всех нас, что — Первенец!).

Случайная, из пустяка смерть, выхватившая, когда его имя было на афишах, накануне концерта! Непонятная, зачем?.. А в то же время безумное чувство, что, как ничто, понятная,— зачем, что щедрая смерть, не пожалевшая зачатой величайшей oeuvre*.

20 апреля

Вот это чувство — что все было неверно, что опять начинать сначала. И каждый раз. Этого всего больше было в эту зиму, которая кончилась. Потому что стало зелено в саду и лиловеет уже завтрашняя сирень. И в то же время знала, как никогда, звездами распятыми про знаемое, знала вернее, чем когда-либо...

25 апреля

По тенистому провинциальному бульвару, где белый пух клубьями взлетает из-под ног, шли четыре девочки-гимназисточки.

— ...говорят, что будут всякие: розовые, золотые, фениксовые.

— А какие это — фениксовые?

— Фениксовые? Фисташковые.

— Это ты потому что "фы".

— Ничего не "фы", а просто видно, что зеленое, всякий знает.

— А я думаю, что бледно-лиловое,— сказала отдельная

---

*Работа, творение (*фр.*).

девочка, шедшая вприпрыжку по ту сторону желоба для воды.

— Нет, голубая,— птица Феникс. И сгорает. А шейка синяя-синяя, как огонек.

— Огонь совсем не синий, а красный.

— Внизу красный, а наверху синий.

— И совсем не синий, а весь красный.

— А у спиртовки синий.

— А у лампадки лиловый,— сказала отдельная девочка.

Боже мой, Боже, благодарю Тебя за мир, за многий, за разный. О, не разногласия — нелюбовь. Когда любовь — у каждого разный голос.

26-го

С страшным волнением читаем в газетах, в письмах все мелочи о Скрябине.

По-троякому живут гении — сами себя медленно завершая, как Солнце,— Гете, Вяч[еслав], у которого будет долгий, вольный закат творчества. Или другие, сказав свое высшее, приблизившиеся к нему вдруг (значит, недостойные его?), судорожно искривляющие линию пути — в безумие, в заблуждение, в самообоготворение, в рабство у своей же идеи — Ницше (и, я боюсь, Б[ердяев]). И потом третьи — не сказав еще своего высшего, внезапно умирающие. И должно быть, чтоб быть зачинателем будущего, чтобы напечатлеться на мире непонятной тревогой и зовом к будущему, чтоб от тебя другие творили,— нужно самому от собственных свершений отказаться. М. б., дух Скрябина тайно от него *так* любил творчество мира, что отрекся от собственного? То, что говорили о спокойствии, мире его выражения, его мигов последних.

27-го

Еще у тишайшего края безумия сесть и думать — чем же одарил меня Бог? У меня нет взлетов и <бурных> радостей? Люблю нанизанные дни прохладные, чтобы было прекрасное и чтобы было мало прекрасного: одна красная роза, Нику[10] приласкать, нежностью изойти к другу — чтобы истончилось в тонкий бокал, где вино — игла.

Любовь к наслаждению — нюхать. Суровость жизни (перевод, бедность) — и наслаждение. Чистые тона. Ненавижу психологизм, разочарованность в смешении с романтизмом — Наташу Герцен. Я не понимаю, как иначе, чтоб не стояло в начале жизни разочарование, цинизм, неверие, отвращение! (Знаю, что это необычно и уродливо, но это же верно!) Это в начале. А дальше доверие, очарование, трудное, медленное — до сладости тягучего меда, до боли сладости меда, до смерти. Полнится густая чаша, горбится — и прольется. Я не знаю другого. Я началась осенью. Я знаю, что это еще не о самом будущем, о предбудущем, что так кончается,— а как начинается, о том знаю не зная.

28-го

Нельзя правду знать и нельзя правдой жить. А я знаю. Как же! Например, неправду думает о России Бердяев, но в правде России есть и он (бесплодн[ая] рев[олюционная] беспутность), и кто его исключит — тоже не знает высшей синтетической правды о России. Значит, нет человеческой мысли, которая бы знала, но есть чаша, где это не стынет, а творчески накипает,— вот когда на миг выпьешь из нее, на миг — пьян,— вот тогда знаешь правду. Таким способом,— но так сладко имя Матери! Я медлила, чтоб стало неприлично писать о себе, чтоб поверили, когда уж нельзя для приманки писать. Немудрено в двадцать лет (Ася Цветаева) играть собою — а в тридцать пять? Как бедный Толстой изумился, когда узнал, что важно не серьезное — семья, почести, мораль,— а что-то...

12 мая. Новочеркасск

Мое писание сумеречное — от четырех до семи, когда сначала сделается тоска и пустыня, как по улицам губернского города пронесется пыль, в холодном воздухе нерадостно запахнет сирень.

Сижу в темнеющей комнате на папиных зеленых креслах — и вот из пыльной пустоты выявится мглистый образ ли, мысль ли, и вдруг вспыхнет пунцово, насильственно, освещенными клочьями душа, за миг до того тускневшая... И сразу она — в средоточии всего — все знает и знала — без подступа, без предчувствия.

И еще потому в сумерки, что нет поруки ни в чем,— обошла себя вокруг и устала — столько за день узналось: утерялось, отцвело, отблекло, обезвкусилось...

Утреннее творчество всегда без этого отчаяния, без оглядки на себя, но и без истонченности — непосредственней, идейней (сколько же непосредственней идейность!).

Вечернее, ночное — от десяти до трех — это творчество тех, кому нужны разогретость, опьянение, возбуждение, чтоб поверить, что нереальное реальней реального, которых днем подстерегают будни и пошлость.

Но творчество на заре, когда просыпаешься в шесть и оно уже нашептано и медленно оттаивает, наливается, само себя облекает, именует перед глазами еще лежащего, еще дремлющего — и встанешь когда к полдню с упившимся сердцем и усталым, выпитым телом — это творчество от Бога.

4 мая

Вот формула, вот уловление моего. Три вещи противоречат вытянутости в одну линию духовного восхождения: церковное таинство, природа, дитя. Дитя не низшая ступень, предшествующая взрослому человеку, как и природа с бессловесной своей травкой

и птицей... Что же это? Почему это свято? (Я язычница, Господи, я верую в Тебя Всего!) Ведь не одно только переживание блаженного склонения к низшему, "умывания ног" всегда одинокого Духа — Христа — дает прикасание к природе, а и ощущение легкости, невесомости на широких невидимых крылах. И это же что-то двойное, к чему я из духа своего одинокого склоняюсь с улыбкой, и что внезапно опрокидывает всю устремленность духа,— это же в золоторизном, фимиамном, недвижном, как весны и зимы, храме. Я прихожу туда из своего восхождения как Мать любить Христа испепеляющей любовью, любовью колыбелящей, баюкающей — и вот уже я — дитя, я неведуща, я тянусь губами к Чаше. Не забудется Храм и Чаша, покуда не перестанет зеленеть весна.

Если теософ скажет, что это лики — природы дитяти,— может быть, опрокинутся к нам иконы, знаки тех достигших, уже воссоединившихся, совершенных духов — пусть: тогда опять как по неразумному, по детскому верованию елей священник даст даром, в дреме нечто высшее по сравнению с самыми высокими достижениями страдающего разверстого духа.

И как же было в начале, когда достигших еще не было, а природа и дитя были?

Земля, Чаша, дитя — это Отец, Мать, Тот же, кто в другом своем лике — Ungrund* и ужас. Один полюс — бездна, ужас невоплощенности, другой полюс Его же — густейшая, невиннейшая воплощенность. Человек восходит спиралью, всегда имея высшим над собою противоположное тому, на что сейчас ступил, называя *духом* путь от воплощенности к ужасу бездны и *благодатью* — путь от Ungrund к воплощенности. Христос — центр, и всякий поворот — поворот к Нему.

Конец мая 1915 г. Судак

История "Я", бездорожья его. Почему полюблен Кант. Искание смерти (Шестов, Ницше) — ее нет. Вагнер. Найден Дионис! Греция. Вячеслав. Любовь. Христос. Стремление из "Я" в объективное — в догматику, в общество, в "направление". Пустыня, облетание. Новое откровение — Losanna. Померанцевая икона. Дальше — метания. Опять попытка школ — штейнерианство. Опять разрыв. Трудные годы и миги знания — всего о всем, звездами распятыми. Беме. Достоевский.

С Соней обще у нас то, что первая религия наша была религией гибели,— из разного придя, на этом мы встретились — ее, наш Ungrund вместе взрастили Грецией, Дионисом, узнали в Никише, в В[ячеславе]. А потом, когда она — браком, неофитством теософии, я — догматикой православия отрицали свою сущность сильнее, тогда мы всего дальше разошлись, а теперь, когда Ungrund возродился бурно в обеих,— снова ближе стали.

---

* Бездна (*нем.*).

13, июнь

Кротость и парадоксальность — вот мой стиль...

15-го

Письмо от Бердяева волнующее, о религии множественности (мое же!), о романе "Я". Ах, только страшно, что испортит слишком быстрой отвлеченной формулировкой.

16 мая

Сквозь особое "необщее" прозреть основное, единое. Метаф[орически]: взять случайное, малое и им прозреть на все,— или заблудиться в нем. М. б., так заблуд[ится] непременно поэт, Адя. Но как знаю, что вижу верно? О, знаю. Но как? По свободе? По счастью. Знаемое счастливо.

24 мая приехали Соня и Дмитрий [Герье и Жуковский. — *Т. Ж.*].

30 мая

Пишу, пишу. С Соней о важном, о легком, часто, но кратко... Приезд Марины и Парнок. Они бронзовые, полуголые, по-другому, по-богемному изысканные. Соня при них простенькая, слишком прилично-дамская. Вечером на пустынной дороге я: "Вы, так преклоняющиеся единству, отчего вы не хотите единства Христа? Ты сказала: "Миллиарды Логосов,— но ведь рождение этого Логоса из Бога — оно же едино. Едино, ибо оно в Боге, оно — Бог. Сердце, центр, дальше чего нет, слепну — вот! Именем Иисуса прозреваю до дна дно Логоса". Она: "Да, да. Я тебя понимаю. Есть такие, которые восприняли теософию отвлеченно, схемой, те не поймут". Я: "И еще про то, что равно утверждать можно, что мир этот призрачно отражен, символичен, и то, что абсолютно реален. От первого — мое: я сразу, без путей в Нем, сразу — все (мистика). И потому могу не сражаясь опустить руки перед врагом... От второго: "Я в "пути", в эволюции, потому в действовании (оккультизм),— я должен поднять меч на врага..."

4 июня

Проводы Дмитрия. Вечер проводили все вместе. О своих театральных увлечениях. Она: "Ничего не помню. Прошлое, жизнь, как игра марионеток, где я играла роль, мудро заданную мне, чтобы привести к теперешнему познанию".

5 июня

Вражда. Сначала (а вчера еще — D'Annunzio, газеты, у нее об Италии загорелись глаза) с книги Безант, о служении, о гордости (мне упрек). Я ей: "Почему теософия всегда вдохновляется дохристианским, а не углубленным христианством, не хочет хрис-

тианских теософов?" Она: "Мы осенены не Христом, а Учителем грядущим. Он (Учитель шестой подрасы) будет знаменовать Единство и потому ему ближе, чем Христу (который есть обострение индивидуализации и потом — и потому — жертвы) — ему ближе заветы праарийской религии — Веды — Упанишады — откровение имманентизма". Я: "Но разве же они могли знать все? Ведь прибывает божественное — Тайна растет..." Она: "Слова, слова. Бог всегда тот же".

6 июня

Долгая вражда и мигрень ее [Сони. — *Т. Ж.*]. Блуждаю одна. Отчего, когда мне возражают, я воспринимаю это возражение всегда как относительную правду против моей относительной неправды, то есть моего невольного ограничения видимой мною тайно моей уже не относительной правды. А она, когда пробудилась от мигрени: "Слушай, я думала, конечно, ты права — Тайна растет..."

Еще учила по-книжному, ихнему: "Учителями шестой расы будут те два (не Христос), потому большинство теософов не под знаком Его. Два всегда Учителя у коренной расы — Ману и Бодисатва (наш Бодисатва — Христос). Последнее же воплощение Бодисатвы — абсолютно просветленное — Будда. Ману является в начале расы, Бодисатва в середине, когда поворот к новой расе. Кто был Бодисатвой — будет Буддой в следующем воплощении (Христос будет в шестой). Им (Буддой) творится уже неисчезающий сосуд — чаша Грааль (неразб.) — и это свое тело Будда передал Христу[11]".

1921

1 марта

Молодой месяц, и первое марта, и первый день Великого Поста. С первым звоном Великопостным радость проснулась в сердце. Именно радость. Потому что сейчас в моей радостной возбужденности не один духовный подъем, но и заново ощущаемая сладость каждого мига: ночи, когда одиночество, и утра с книгой и кофеем, и весеннего тепла... Доколе это будет, что во мне духовное возрождение всегда не в отрешенности, а влечь за собой эту Sweetness* явлений и в ней сейчас же растворяться, растекаться, не сохраняя напряжение, единство взлета. Все тот же мой "Рай". Когда дух мой станет строже? Потому что то, что теперь во мне — правда, всецело из Духа и порождено страданием смертельным, жгучим, не сравнимым ни с чем в моей прошлой жизни,— страданием, которое жгло меня весь январь. Страшное чувство вины своей, сплетенное с нетерпимой оскорбленностью и со страхом за всех близких, с ужасом

* Сладость (*англ.*).

безвестных гибелей. Страшная ночь 18 января[1], когда я тупо, механически кончала все дела дневные, чтоб потушить свет, и всю ночь с колотящимся сердцем то вскакивала, то ложилась без звука — кричать к Богу: "Господи, сделай, чтоб не случилось, сделай, Господи!" И чудо охранило меня в ту ночь. Что недаром было страдание <...>

Какая боль, какая уязвимость еще недавно, еще на Рождество, когда я лежала больная и каждая записка своим тоном или моя неотвеченная записка ранили незащищенную душу... А сейчас — вопреки всей жизни, стремящейся раздавить нас, унизить, истребить — во мне несвойственная мне живучесть, жизненность, даже прилив сил физических, даже здоровее я сейчас, чем естественно было бы.

15 апреля. Великий Четверг

Вернулась после почти месяца Феодосии, спешила, ехала на каких-то бревнах с мыслью, что, если на час опоздаю, будет непоправимо[2]. А теперь прошло уже три дня, и ничего не сделано, не послано. Напряжение упало, и я подчинилась духу всего дома, озабоченности его другим, тогда как там, в Феодосии, одно было смыслом, интересом и заботой дня. И какая я лежала опустошенная, обессмысленная и разбитая, когда увели Б[обу], и после этой ночи страшной, ночи смертей, и после лица его на вокзале, такого бледного, потрясенного. Отчего было это чувство, когда я стояла, провожая каторжников, что это уж было, точь-в-точь так же? Где, когда! Ведь в прежнее, царское время я только издали и так равнодушно видела мелькавшие мимо вагоны с решетками — арестантами! Странная жизнь, призрачная была в Феодосии между тюрьмой и церковью, от политотделов, политбюро, трибунала, от разговора полуискреннего с коммунистом к встречам вечерним с Асей [Цветаевой. — *Т. Ж.*] и ее друзьями. Эта Военная улица, по которой десятки раз в день ходила, ловя знак, взгляд, улыбку в подвальное оконце и тут же вглядываясь тревожно в этих скоморохов в коже и звездах, перебегающих от подъезда к подъезду, неприступных, может быть, несущих в этих портфелях под мышкой решение нашей судьбы. И, несмотря на власть, данную им над нами, несравнимо реальней чувство их призрачности, обреченности, того, что спадет скоморошний их наряд — и остается голая, трепетная, опустошенная человеческая душа. Или не останется ничего? Аминь, аминь, рассыпься! Скоморошьи похороны, что я видела: под музыку и пальбу несли из Ос[обого] От[дела] красный с красной на нем звездой гроб. А другие все знаки конца, которые у меня на глазах: душевная драма К., религиозное помешательство особиста у В., тот бьющийся об пол в Военной церкви красноармеец — это и еще многое, а ведь я так далека от них, так не умею, не хочу приблизиться.

1(14) июля

Вчера письмо от Н.[3] Я так представляла себе, как-то будет, где дадут мне его. И вот. И что? Грустно, и дорого, и близко опять почувствовала его. В каждом оттенке мысли своей — узнанный и все-таки незнакомый мне в своей новой раскрытости, в учительстве, и неожиданный — в оживленной радостности. Поманила ли больше Москва всеми этими Академиями Слова и Духовной культуры[4]? Не знаю почему — но нет. Или потому, что он не зовет. Несмотря на благодарные, на горячие слова ко мне, он не зовет, не знает сам, как я ему нужна. Это одно, что почувствовала. А другое, такое же верное, то, что место мое никем не занято, не будет занято (как и его для меня) и что нужна я ему не для "сладостной" только дружбы (его слово), а для раскрытия новой ступени, как только сойдет в себя, даже для творчества глубинного, интимного (книга о Беме),— а, конечно, его философские истории во мне не нуждаются. У нас будущее будет вместе — конец, расплетение всех нитей, смерть. Эти две вещи я почувствовала так наверно — что не сейчас (и что он не думает обо мне), но что неизбежно. И потому перестала спешить в Москву. Хочу с большим приехать к нему, с дарами, ему не нужными, совсем не нужными, мимо него расточаемыми,— мне нужными, чтобы с правом, с творчеством подойти заново к его жизни. Только бы сил, упорства, вдохновения на эту зиму! Меня тем благословил Бог, что я люблю,— самым светлым благословением. "Пленником уводит в мир иной" — не покидая в одиночестве.

12 (25) июля

Так нежданно потрясло меня то, что видела в склепе. Непонятно. Кажется, что это поворотный день всей жизни или какой-то, с которого начинается уже непрерывное нисхождение в последнее. Сначала ужас — не от кощунства, не оттого, что разворочено все, что для издевки чулок грубый, протоптанный какой-нибудь девкой-товарищем надет на тонкие графинины кости,— не оттого, а от того, что видела недозволенное: тленный образ человека, ее, пролежавшую скрытой больше четверти века, с этой склоненной на плечо головой, с порыжевшими тонкими волосами, с порыжевшим газом платья, присохшим к темной коже... Ужаснуло сначала, а потом неодолимо потянуло туда, в смерть, и не только в будущую жизнь, а именно в это обезображение, в это смиренное прохождение через тление, в подвиг распадения. Вдруг почувствовала, что для этого нужны все духовные силы, и тут же почувствовала, что взыграла во мне эта сила. Сейчас только этого хочется, как какого-то вина жизни. И ведь бессознательно я к этому шла уже давно — через Эдгара По[5], когда у него расслышала через все единственно тему смерти, погребения. Но никогда сама для себя не захотела смерти. А вот... И как жадно впила в себя на днях прочтенные слова Пушкина последние (Далю сказанные): "Кончена жизнь", и, когда

расслышали его, неверно поняли, нетерпеливо: жизнь кончена. Как по-пушкински четко, ясно и безнадежно сказал. За то и любовь и жалость к нему.

14(27) июля

Не записываю никогда, потому что ведь бессильна в этом, но каждый день язвит и волнует что-нибудь современное: разлив бедствия, обнажения человека какое-то последнее. Нагой, нагой человек опять, под Богом ничем не укрыт. Ребенок дю Трюэль умирает от голода. Об этом маленьком узнали и помогают, и говорят, а другие? А другие смерти голодные, которые будут, будут для всех нас м. б. Но и у "врагов" такая же обнаженность первозданных инстинктов — голода на хлеб, на вино, на любовь. У нас в доме опять пьяная влюбленная "власть". Начальник гаража пьяный, шатаясь, бродит по дому, берет у меня книги о Боге, а сам заплетающимся языком отрицает Его, требует к себе О. И., угрожает ей подвалом, пишет приказы об аресте и плачет от тоски и одиночества. Ночью в кухне, когда толкался в комнату к девицам, куда его не пускали, стонал: "Жить незачем, один друг — наган". В ответ на увещевания: "Но у вас же коммунизм",— так верно обмолвился: "Коммунизм — это хорошо днем, а ночью-то каково?" Пройдут они, сплывут из нашей жизни, и вот почти что как сказку завещаем детям, которые будут жить опять в расслоившейся и успокоенной жизни, образы этой пьяной, беспутной страсти, этого голода по Богу, по смыслу,— и рядом детей умирающих, целых семей голодающих — тех семей, которые другим смыслом, богопокорностью, внутренней полнотой сейчас богаче, чем были когда-либо. Вот Натуся Капнист[6], похудевшая и ставшая почти прекрасной, и вся эта трогательная, с таким благородством несущая голод, притеснения графская семья. Только не верится, чтоб была когда-нибудь по-старому расслоившаяся жизнь: мы — верхи — oberste zehn Tausend*, а там внизу глухо ворчащий, нам не мешающий Ungrund народа. Вспоминается мне дальнее, московское: мы с Соней, розовый свет от розового абажура в моей комнате и все самое последнее, самое утонченное... Навеки, навеки прошедшее, нежеланное: волны подняли со дна, смешались, так скорее донесет нас — куда?

16(29) июля

Сегодня после ночи с головной болью и рвотой лежу обессиленная и Богом посещенная. Вдвойне. Прочла в апокрифе И. Богослова слова, которые для меня стали дверцей в учениче-

* Высшие десять тысяч *(нем.)*.

ство, впервые приоткрывшееся тут во всей реальности своей, в опьяняющем блаженстве своем. Потому что в живом образе, еще трепетном. Когда Ioann лежал на груди Иисуса за трапезой (это часто бывало), он ощущал под головой своей эту грудь то теплой, дышащей, несказанно нежной, то — твердой, как скала. Это было, не могло не быть, потому что как придумать это? Но не изобразить пронзительней и блаженство, и муку ученичества. И в те миги, когда грудь была, как скала, м. б., именно и совершалось самое движение, путь, а те, другие миги были отдыхом и наградой. И еще — в те миги, когда грудь — скала, когда Учитель отходит, тогда-то он всего активнее, он повелевает идти, а когда мягчится и дышит грудь, он сам отдыхает на любви ученика...

<...>Думаю о Seraphita[7], как написать о ней (предисловие), поставив в центре этот образ ученичества. Вообще ученичество и со стороны значения его для Учителя. Но для Seraphita нужно еще понять значение мистической андрогинной любви — почему уводящее ввысь существо мерцает и женским, и мужским обликом, почему в этом прощальная сладость? И в прощальном земле поцелуе, в истоме его, опять стираются, растворяются грани полов, "как не было их в первозданной страсти", говорит Розанов. Из алой стихии страсти выявился пол и опять потонет в ней, а дыхание любви земной еще ходит, еще дышит. Не могу теперь еще приникнуть ближе, понять глубже эту тайну — пойму потом, когда мы расстанемся. И вот сегодня же Ваня принес мне письмо от Сони, где она пишет, что я единственно дорога и нужна ей, что без меня ей "не для кого духовно вздохнуть" и что она созрела для жизни в себе и зовет помочь ей. Так она не говорила с прошлого лета, когда духовность мешалась с влюбленностью и потому что теперь это порыв только духовный — вне влюбленности — потому это так драгоценно мне, так блаженно, такой дар! Переполнена чаша выше краев. Часто я думаю: "И это еще, Боже мой, и это еще даешь мне! Мою любовь и еще — ответ, то, что я нужна, что дорога, что меня зовут... И еще — всю смерть даешь мне, Боже".

30, июль

<...> Вчера умерла Лиза Капнист[8] — в четыре дня от таинственной болезни, бредя перед смертью расстрелом. Еще их жертва. И бутон розы, положенный ей на грудь, распустился на мертвой груди. Я шла такая вся наболевшая, уязвленная узнать о здоровье ее и на балконе увидела Нат[алью] Арист[арховну], уже вьющую кипарисные венки, и увидела через два часа после смерти Лизу, постаревшую, совсем не юную. Но так прекрасна смерть и от нее идущая волна тишины. Я никогда больше не буду страдать от личной боли. Смерть, смерть вырастает вокруг, как новый лес, как новое молодое зеленье, незнакомое, нам невнятным шелестом шелестящее. Но именно не туда уходят наши умершие, а здесь, сюда прорастают все отошедшие.

10(23) октября

Вот он, воистину наступивший голод. Вечная и грозная основа жизни, только прикрытая культурой, государственной устроенностью и теперь обнажившаяся, оскалившаяся... Минутами жуть охватывает душу и слепое желание бежать, бежать в город, где, может быть, покровы еще не содраны... Но как нам бежать? Не голоданье еще пока, хотя были дни, когда крошечный кусочек хлеба утром и вечером только дразнил голод, но не это реально и ново, до ужаса ново, а страх будущего. И вся мужская работа (вязанки хвороста, дрова) на нас (все еще под арестом Боба [В. К. Герцык. — *Т. Ж.*] и Дм[итрий] [Жуковский. — *Т. Ж.*]), и болезнь все на той же стадии, и необходимость о завтрашнем, о всех завтрашних днях печься. Адя как лошаденка, надрывающаяся сверх сил, испуганная, и часто слезы на глазах от желания кусочка хлеба. Непосредственно, по-детски выражающееся страдание. Соня — в тоске и отвращении к жизни от того же. Так поразному выражается у всех. А у Е[вгении Антоновны] — обидой и тревогой только за Веронику и за себя. Нехорошо <...>

Без даты

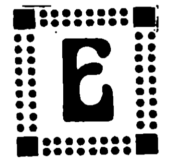
Христос воистину Спаситель, потому что таков путь души: первая непосредственная религиозность (всяческий “ветхий завет”) с радостью плоти, с покровом узорным, еще наброшенным на мир, и только еще с отдаленными глухими раскатами — предвестиями грядущего раскола. Второе — этот трагический раскол: дух против плоти (Э. По), трагическое сознание (Греция), тень пала на мир. И вот, когда душа умирает, гибнет,— явление Спасителя, поднимающего, освящающего плоть, новой, кроткой, “прощеной” улыбкой одевающего мир. Уже поэтому Христос не покрывается больше его вторым Лицом троицы индусской, египетской или вторым логосом теософов: как Спаситель Он не мог быть ведом изначала в периоде отчей веры человечества. Его явлению должна была предшествовать некая гибель — Атлантида, все Атлантиды. Не психологические только крушения, не уклонения в сторону позитивизма от забвения древней полной истины, как учат теософы, предшествуют нашему обращению, нашему рождению в Христа, а реальные, объективные крушения, катастрофы, трещины в мире: позитивизм, безверие, суеверие — только отображение их в психике человека.

МОЙ РИМ

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Смотрите, вот глаза мои просветлели,
когда я вкусил этого меду.

Книга Царств



сли, перейдя мост, что от Корсо ведет в Трастевере, свернуть вправо, сразу попадешь в такую чащобу переулков, безымянных, переплетающихся, что даже хорошо знающий Рим здесь ничего не поймет. Долго я плутала, ища заветную церковку, где, прочла я, самая ранняя, прижизненная икона — изображение святого, избранного моего; заходила к ней справа, слева, но все утыкалась в глиняные лачуги, и никто не мог мне сказать, здесь ли San Francesca a Ripa. Но, только помня, что Ripa, я все кружила около каменного ложа Тибра, не отходила от него. То, что было так убого все, и пыльно, и трудно достижимо, еще милее делало мне мое паломничество. Но не так, все корила себя, ах не так следую я за Франциском, как сыны его, как верные его. Уличное отвлекает от тишины глубинной — заглядишься, заулыбаешься: вот продавец ножей на ослике под звездным, пестрым зонтом — точно звездочет. Вот у воза баба подралась с бабой, размахнувшись пучком carciofi*... Как нежданно сладостен мне Рим в этот мой приезд! Ехала я сюда к невеселому другу, позвавшему меня. Позвал — и поехала. А приехала — и как будто не нужна ему, как и он не нужен мне. Но, не тревожась этим, отдалась Риму. Обуял мною Рим — не только величием, каждой маленькой подробностью уличной своей жизни.

Ах, вот и нашла наконец, случайно забредя в какие-то ворота, а там и увидела низкий, в землю вросший портал. Если б она и внутри была такая же убогая! Но нет: семнадцатый век был безжалостен, всякий святой угол залил своими щедротами. И здесь все, что везде: медальоны плохой живописи по стенам, толстоногие ангелы, вихрящиеся над алтарем, не по церковке громоздкие. Я хотела сама искать Франциска, наугад блуждая по капеллам, но, громыхая тяжелыми ключами, ждал

---

* Артишок *(ит.)*.

меня длиннобородый монах. По стертым ступеням поднялись в часовню-келейку святого — по тем самым, сказал мне брат-минорит, по которым ходил и он. О, это знакомое умиление выеденным ступеням, выветрившемуся камню! Полуневеря и скользя ногой, я все же покорно умилилась. Икона над алтарем написана прямо на стене в темной келейке, но теперь заключена под стекло: закрывают ее створчатые дверки, увешанные мишурой. Волнуясь, я прижалась к алтарю, чтобы вглядеться ближе... Но монах быстро водил желтым фонариком перед стеклом, переводя слепой блеск с края на край и вовсе затемнив бледные очертания лица. Только уловила раскосые, светлобезумные глаза, не похожие на обычное письмо итальянских святых и на джоттовский, нарочито простонародный облик Франциска. Конечно, такой, пустой и безумный, должен быть взгляд его — шел ведь он путями нехожеными, неведанными. Пустой и безумный...

В тревоге, в смуте душевной вышла я из церкви. Сладостности и мирного умиления как и не бывало. Тот Франциск — с птичками, цветочками, с легкой святостью — только игра, — и сколько уж игр отыграла я! А идти за взглядом пустым и безумным — ах, нет...

Стало пустынно. Мыслью потянулась к здешнему, к сегодняшнему, к привычному. Напряженней стала думать о друге. Но о нем, любимом, разлюбленном, по-новому полюбленном, все передумано, все давно выболено. Хотелось лучше думать о жене его. Три дня назад, приехав сюда, я увидела ее впервые — красавица. Но совсем еще девочка. Вспомнила слышанные в России рассказы о недовольстве ее родителей этим браком. Детски молчалива, детски свежие строгие губы и черная, с отливом меди тяжесть стриженых невьющихся волос. И кормит пятимесячного своего сына. Суровая, слишком молодая. Какая-то жизнь ждет ее? Я тихо шла в раздумье, не глядя вокруг. Но как-то внезапно серое окружение стен порозовело. Я подняла голову: все небо было ало над Яникулом. Нужно было спешить домой к обеду.

За поздним обедом и после в кабинете Викентия Иосифовича, где Клавдия, жена его, стоя молча разливала кофе смуглой узкой рукой, было двое приезжих русских. Один, с мягким черным галстуком, с русой прядью, падающей на лоб, восторженно устремлялся к хозяину, другой — моложе — был слишком прям, изыскан в одежде, говорил размеренно. Шла речь о возникшем в России художественном журнале, ставившем себе широкие задачи: музей при журнале, выставки, конкурсы.

Викентий, с почему-то влажными, прилипавшими к вискам тонкими струйками седеющих волос, то надевая, то сбрасывая пенсне, ходил по тесно уставленному кабинету от одного угла до другого и не спеша, точно разматывая радужный клубок, говорил. Говорил и наполнял содержанием, расцвечивал пустые и общие

формы журнальных отделов, художественных заданий.

Я сидела в кресле, вытянув радостно усталые ноги на белую шкурку. Не слушала, слушала, опять не слушала. Смотрела на недавно вылепленную Викентием голову жены его: преувеличенно тяжелая масса кованых волос, густо бронзированная и верно переданная сомкнутость чистых губ.

Потом перевела взгляд на него: вот при одном повороте он с сутуловатой спиной и колеблющейся походкой кажется сирым, при другом — остро и недобро пронзают зеленоватые глаза, и жестки под усами изгибы умного рта.

Идеи струились, змеились — ширились горизонты: уже не один журнал — воздвигалась целая культура новая... Гость с беспокойной прядью на лбу слушал, то вскакивая, то садясь, требуя записную книжку. Другой вставлял замечания умело льстивые и направлял вдохновение хозяина в более умеренные практические рамки.

Кто они? — думалось мне. Имен я не расслышала. Художники? Критики? Или этот молодой — просто богач-эстет? А про Викентия кто скажет, кто, что он? Он, который во всех искусствах мастер и толкователь, всех учит, а в глубине своей — о, милый, о, бедный! — знает разве?.. Учитель! И не знаю уж — по злобе ли, по любви ли — зафантазировала про себя, подражая знакомым причудам его мысли: вот он остановится, помолчит и вдруг скажет: "А впрочем, друзья мои, сколько у вас тысяч на ваше предприятие? Столько-то? Так не лучше ли вместо буржуазного журнала основать царство? Царство — Je suis en plein serieux*. Европа кончилась, наша эстетика исчерпана. Хранить старое — это значит не любить воскресенья. Археология. А мы, нынешние, только археологи — хула на Духа... Купите лучше оружие, соорудите скинию и на лодках поднимитесь в Африке вверх по какой-нибудь реке — есть же племена, ну какие-нибудь негрские, которые еще ничьи? Создайте черное царство — творите все сызначала: религии, эротику, эстетику. Принести только скинию, знак немой, — не учение. Быть семенем, завязью новых эр..." И еще, и еще... Как-то это придется московским эстетам?

Я взглянула на них. Там в дыму папиросном шел уже другой спор. И опять высокие ноты голоса Викентия: "Ну конечно, наперед знаю, что вы скажете. Ох уж это мне модное отрицание Микеланджело — он будто бы слишком телесен, здоров, а вам нынче милы только иконописные изломы тощих тел..." Он притворно сердился, кривя линию рта.

"Как вы сказали сейчас о Моисее его? Гипертрофия мускулистости, да? Так ведь это же в нем судорога человека под молотом Бога, а глаза его белые, пустые, потому что в него Бог вошел, им Бог бездной глядит..."

Что он сказал? И он тоже: пустые глаза, которыми Бог смот-

---

* Я вполне серьезно *(фр.)*.

рит? Ах, пусты и безумны глаза пророка, водителя, чтобы завести и бросить, чтобы потом самому, одному... Опять то же утреннее — отогнанное — настигающее. Сердце у меня забилось. Нет, додумать, додумать. Я тихонько, незаметно вышла из кабинета и через переднюю повернула в полутемный коридор, выложенный красными кирпичами, будто монастырский. Как ни тихо ступаешь в нем — шаги гулки.

— Это вы? — окликнули меня из-за чуть растворенной двери.— Они еще сидят?

По заглушенному, непривычно мягкому голосу Клавдии, по тому, что она, всегда дичившаяся, окликнула меня, я поняла, что ей сладостно, что она кормит.

— Сидят. И долго будут сидеть. Иду спать. Устала. А вы? Вы кормите?

Я потрогала ручку ее двери. Теплом, затаенностью потянуло в дверную щель.

— Да, кормлю. Спите хорошо.

Не позвала. Я еще постояла.

— Спите и вы хорошо,— шепнула.

А это, как же это? Ведь пустой взгляд закоченит, убьет... Или это не на пути, или это другое? Что-то чувственно, сладостно защемило в самой глуби, у самых истоков моих.

И пошла к себе по монастырским плитам красным.

ЛЕША

Я выбросила из картонки шляпу и с пустой картонкой в руках вышла из дому. Недалеко — в узком переулке между Корсо и Бабуино — живет Леша в дешевой комнатке на мансарде. Леша — брат моей школьной подруги; я знала его еще трехлетним, когда мы, пятнадцатилетние девчонки, тайком зачитывались Достоевским, а потом шли в детскую дразнить и целовать его. Теперь же Леша стал мне ближе своей сестры, чересчур замужней и разумной — не в семью, всегда отличавшуюся милой бестолковостью. И Леша сейчас без толку живет в Риме, бросив почему-то университет. Не выспросишь у него, во что он верит,— не любит отвлеченности: застесняется, заскучает... По утрам мы часто бродим вместе, а ко мне он не ходит — не любит Викентия Иосифовича и робеет его: встречаясь с ним, втягивает голову в плечи и говорит глухо, сдавленным голосом.

Шестой этаж по крутой лесенке. Поднимаюсь с роздыхом. Останавливаясь, нюхая запахи, разные в разных этажах и вовсе не благовонные: плесенью, кофеем, чем-то жженым... От каждого что-то припоминается, нитью тянется.

— Ну вот, принесла. А зачем тебе, Леша, картонка?

Я наконец поднялась к нему. Поцеловались.

— Вот спасибо, вот хорошая.

И, присев на корточки перед полураскрытым чемоданом, он вынул оттуда своей красивой породистой рукой птицу, затрепетавшую, и посадил ее в мою картонку. Она была совиного вида, с круглыми глазами, с забинтованной лапкой и свисшим крылом.

— Это сова? Где ты ее нашел?

— Вчера в термах Каракаллы, в этом дворике глубоком, она упала и разбилась, почти под ноги мне... Нет, это же сойка — разве ты не видишь клюв?

— Ты думаешь, что она вылечится? У нее что, сломано крыло?

Леша ножом прорезал в картонке дырочки: “Для воздуха только. Ей лучше в темноте”.

— Значит, она все-таки сова?

— Да нет же. Сойка! Лапка у нее поправится.

— Как же ты ее нес?

— Нес. Она испугалась в тоннеле под Квириналом: там гудит, грохочет. Так сердце так затрепыхалось у нее! Я — бегом.

Он вытряхнул за окно, на выступ крыши, из чемодана сор и помет, терпко пахучий.

— Это потому что хищник. От хищных птиц всегда дух тяжелый,— объяснил Леша.

— Да. Тоже и клетка с орлами в здешнем зоологическом...

Леша над умывальником, засучив рукава, мыл свои красивые руки,— а лицо полудетское, с плоско лежащими светлыми волосами.

Я без мысли задумалась, глядя на него.

— Леша!

— Что? Ну что?

Он сел со мной рядом на диванчике, взяв со стола, в беспорядке заваленного дорожными ремнями, манжетами, апельсинными корками, открытку, показал ее мне.

— Посмотри. Это Tuscanella. Самая старинная романская церковь в Италии. Она в деревушке в сорока километрах от Рима. В Бедекере ничего об ней нет, а король их ездил туда недавно в автомобиле — так застрял: дороги нет, прямо целиной ехать. Это мне у Алинари рассказал — там продавец-немец есть, он со мной всегда по-русски заговаривает. Я хочу пойти пешком.

— Очень нравится. Отчего Tuscanella? Ах, как нравится. Только как же ты пойдешь? Где ночевать? И как ты без языка?

— Ну, я отлично с ними разговариваю. Я им по-французски. Не понимают, но все равно поймут, что нужно. Когда я ночевал в Кампанье — еще до твоего приезда — в кузне, старик кузнец мне даже рассказывал про разбойников прежних, песни старые пел. Ночью была тревога: в тумане увели лошадей, не у хозяина, а рядом. Угнали их и спрятали, да так, что ни за что бы не найти, а лошадь одна, такая ласковая, заржала, как погоня мимо ехала,— их и нашли. Всю ночь мы пробегали, продрогли в тумане. И они со мной как со своим, хлопают по плечу и говорят: non, inglesi*.

Слушай, а как смешно в ресторанчике — такой простонародный есть перед Треве. Я смотрю на карту блюд и ничего не понимаю, пальцем тычу: что такое? Лакей что-то толкует, а потом — я все не понимаю — похлопал себя здесь, по верхней части ноги: филе, значит.

— Леша, Лешечка! И ты надолго уйдешь? Мне будет скучно.

— Ты грустная сегодня?

— Нет. Только мне что-то понять нужно, что-то до конца. А сейчас я подумала, что от любви к человеку, от внимания я его плохо слушаю, забьется сердце — и уж не слушаю: так, думаю,

* Нет, англичанин *(ит.)*.

какие у него глаза, волосы, и зачем, и тоже все что-то понять хочу про него до конца. У меня все так коротко кончается, то есть разговоры. Сегодня мы говорили с Викентием Иосифовичем о чем-то важном, философском, и вдруг я заметила, какой он непривычный в новом итальянском сюртуке. Он остановился (он ходил) и говорит: "Если вы будете во всякую минуту примечать смешное, вы ничего в жизни не создадите". Я удивилась и сказала: "Правда".

— Ну?

— Больше ничего. Больше мы не говорили.

— Он нехороший человек.

— Нет. Он похож на меня.

— Вы как две цецары.

— Какие цецары? Сам ты глупый, Лешечка. Почему цецары?

— Нипочему. Это я, чтоб тебя посердить, сказал.

— Ах, глупый! — А про себя думала: "Ни от кого нет в душе такой росы, как от Леши". И потянулась рукой покрутить его волосы, но он по-мальчишески уперся, не пригибая вдруг налившейся сталью шеи. Мы сидели тесно рядом, и его тужурочное плечо шерстило мне щеку.

— Ах, Леша, какой ты!

— Нет, а я вот люблю слушать, расспрашивать. У нас на Волге на третьеклассной палубе такого наслушаешься! Знаешь, что там про клады мне рассказывали...

"Или я мало люблю,— потаенно думала я,— что мне так нестерпимо сердце жалит ясностью все такое — все Лешино, малое, несвязное, раздельное? Или это потому, что и он умрет, и все? Ах..."

— Что?

— Нет, ничего. Я слушала. А ты правда, Леша, хочешь в сельские учителя?

— Ну да. А что? Ты думаешь, я глупый? Наши школьники говорят: "Панич, отчего вы большой, а как маленький?" Это плохо?

— Да нет. Только ведь ты ни одного ихнего трафарета гражданского и произнести не сумеешь. А "Русские ведомости" станешь читать? Ты вот про клады любишь...

А он:

— Ну что ж, что клады...

Но, не слушая, я думала: "Почему же, почему так трудно мне снести все, что живет на свете, множественное, несхожее со мной,— все, что не я? Безлюбовность, что ли, нудит скорее понять, осмыслить, поняв, в себе потопить? И — мимо пройти. Проклятое это понимание, проклятое это осмысливание — это оно смерть и нелюбовь. Им-то ни до какого единения не дойдешь, а вот когда перемучишься до смерти над чем-нибудь чужим, злым, которое, как осколок, в глазу режет, слезы точит, точит, осколок, про который душа накричится: "Это не я",— вот

тогда может быть... Ах, такие мы, что нам к Любви путь лежит еще через неразумение, вражду, неузнание — или детскость..."

С тяжестью вины безвинной прощалась я, уходя. Почему Леша мне умнее умных? Но он, обхватив меня сильной рукой, повлек от двери назад, в комнату.

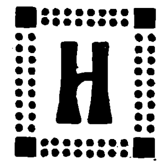
— Поглядим еще на нее.

И, нагнувшись, мы заглянули в картонку, где, нахохлившись и полузажмурив глаза, сидела птица.

— Ну, как ее зовут? — лукаво спросил.

— Сойка,— ответила я покорно.

РАЙ



о тогда почему же, почему это острое колкое золото в душе? Я остановилась на пустынном перекрестке и, поджидая трамвай, вспоминала, что надо как-то обратно тому, как везде, вскочить (справа? слева?), и внезапно сердце так утороплено забилось, что, когда подошел из-за угла вагон, я стояла потерявшаяся от счастья... И потому пропустила его мимо себя, не села, осталась стоять, прислонившись к теплой стене в этом безлюдном квартале Людовици.

Ведь горькая, ведь стыдная моя жизнь, когда оглянешь ее всю, потому что нет у нее плодов. Боли недоболят — так завянут; жажды, ничего не разбудив, иссохнут сами собою. Неродящая душа. Откуда же тогда, откуда эти острые звезды прожигающие — ничем не куплены, не заслужены. Божье это? Не знаю. *Однажды* пронзит боль о Нем и уйдет сквозь тебя в землю, зигзагом опалив, и нет Его, и ищешь в невидимом — и любишь в видимом, в разноликом, в тысячелистном, тысячезапахном. Может быть, и не Его. Но что же тогда эта внезапная налитость каждой вещи до краев самой собою — нестерпимая полнота, точно упилась она каким вином? У меня в комнате лежит маленькое Евангелие, хожу мимо, редко открою, а одним глазом гляжу в него. Но не Евангелие — зеленая лента вложена в него, в конце ленты шелковинка распустилась и висит длинно, и, когда я пройду мимо, она всплеснется вверх, а потом подломится, как руки, вскинутые в пляске, и никнет медленно. Взглянешь — и вот сердце пронзено. Проще, тайнее ничего нету. Богу просторно и в зеленой шелковинке. Обличился мною Рай. Жизнь не весит. Миры проходят, солнца меньше пылинок — рай. Все есть, все стало.

Но что же тороплю, жадно гоню отмирание всего?

Я ведь здесь остановилась внезапно обожженная, когда шла от парикмахера, еще обоняя приторный запах какого-то их мыла. Мальчишка-paruchiere* нашел у меня первые седые волосы и,

---

* Парикмахер *(ит.)*.

ловя мой встречный взгляд, пылкой южной мимикой (неаполетанец по выговору) сострадал мне.

От этих-то первых седых волос и сошла я сегодня с ума. Но не дух аскетический, жаждущий освобождения, приветствует во мне гибель проходящего. Нет и нет — что-то еще более изменчивое, летучее, чем само это стареющее тело, возликовало этому седению, захватило его в свой вихрь. Что это — эти искорки, зайчики золотые в концах нервов? Сладко дунуть, дохнуть, как на одуванчик, чтобы, взметнувшись, развеялась приторная серьезность и тяжесть вот этого тела, этой будто бы тяжкой земной судьбы. Умереть, но как-то не так, не узкой, одинокой смертью — облететь, развеяться...

Не быть — и в то же время быть вся во всем: все прожечь, всех вместить. Только пронзить, расколоть мир вокруг из сердца лучами, трещинками звенящими,— сразу думать мыслями всех мыслей во все концы.

Все про все знаю. И знание мое звездами распятыми само же слепит меня, а я уж не вижу, не знаю, что знаю. И вот стою — безмолвная, распятая, лучащаяся.

VIOLET

И вот, оглядываясь на прошлое, хочу понять, откуда это знание: родилось ли из жизни и полновесно ли оно, если взять его на протянутую ладонь? Но я не помню прошлого. Знаю, что была жизнь у меня в России, но не помню сегодня ничего, что не Рим. Точно и прошлое мое все мечено Римом — здесь дозревало, означилось, запомнилось...

Не для Рима приехала я сюда впервые — для Вайолет. Поезд — мой первый в Рим — пришел к ночи. На освещенной платформе ее искала я глазами. Вот — под белым электрическим огнем нежный, снежный овал лица, увлажненные светлые глаза — Violet! Потом на нескором римском извозчике с гулко шаркающим бичом мы ехали безлюдными улицами, и то казалось мне, что это не дома — монументы музейные стоят на мраморных перекрестках, то удивляло, что не дивен мне, что обыден Рим, но все повивалось тонкой прядью, выбившейся из-под широкой шляпы Вайолет.

— Смотри, вот Рим,— светясь, мне говорила она.

— Это ты? ты? — повторяла я, обнищав словами.

Я познакомилась с Violet в Москве и не уставала удивляться тому, что вот она — не наша, англичанка, а нити неразрывные связали нас. В моей недоброй, отчужденной молодости первым восторгом была Вайолет. Год, два провели мы словно с глазу на глаз, всегда только две, сторонясь окружающих нас. То ли втайне ожидая другого, реальнейшего единения, то ли гордясь своей исключительностью, мы в театрах, в толпе говорили на других языках, чем толпа, ей, Violet, равно близких, мне — за то милых. Помню, она читала мне Библию на своем языке — и я сразу услышала, уверилась, что не иначе как по-английски грозили и вещали пророки. Мы любили все жестокое: судьбы Иова, Эдипа, прекраснейшей четы — Зигфрида и Брунгильды — этого хотела разрывавшая нас полнота. Пусть все горит: Валгалла! Валгалла!

Часто Violet увозила меня на своих парных санях за заставу: подъезжая в голубых морозных сумерках к фабрике, где директором был ее отец, мы замолкали перед тысячами огней фабричных

корпусов, замолкали, уличенные глухо-мерным гулом. Вайолет, всегда скорая, обернувшись ко мне и заново загорясь, вслух мечтала, как она потом войдет в рабочее движение, двинет дело кооперации. Потом. Теперь же, в их барском доме с окнами в заснеженный сад, мы всем трепетом уходили в звуки Вагнера...

Вскоре Вайолет навсегда уехала из России, жила в Париже, учась пению. Но дружба не распалась: часто приходили письма — хрустящие листки, исписанные ее тонким, решительным почерком, и я подолгу жила как на струне ее судьбы. И вот наконец эта весна в Риме. Вайолет бежала от испугавшей ее страсти, Вайолет звала меня.

"Мы не будем говорить об этом, правда? — сказала она в эту первую ночь, которую мы всю проговорили об этом.— Это тайна. Знать ничего нельзя. Рим научит всему, да?"

Верные своей московской мечте, мы жадно искали Рима языческого. Вайолет была все, была и ученая: в ее комнатах лежали книги об археологии. о мифах в обложках цветного коленкора. Я открывала их, нюхала особый запах английской типографской краски и слушала ее, лаская ее руку. С тех пор я не раз слыхала, что мраморы Ватикана холодны, подражательны, что духом эллинским там и не веет. Нам тогда они были близки — белые, важные, будто затихшие перед свершением. Нам любо было студить свои разгоравшиеся души в холодных коридорах Ватикана. Потом выглянуть в окно, озябшей рукой потрогать горячий и древний камень наличника, увидеть, как внизу, в дворике, вазы млеют на солнце... И — ожечься счастьем.

В Salla Delle Bestie*, наивно к зверям сопричисленный, был мой любимый Тритон, похищавший Нереиду: она, играя, плескалась на его спине, он же, поверх курчавых волн, льнувших к его груди, глядел перед собой с такой мукой одиночества. Почему? Ведь овладел же он желанной. Нет тоски печальней античной!

Мы долго молча сидели перед ним. Вайолет тихо покачала головой.

"И это еще не последнее. Правда еще страшнее. Но и сладостней! Сожжет — и не оставит и тоски. Знаешь, мой цветок, фиалка, посвящен Адонису, вечно умирающей любви: весна, флейта, фиалка и смерть, разрыв... Это мое!" — так говорила Вайолет, и фиалочные глаза ее увлажнились слезой. Впрямь она весенняя.

Я думала: "А я осенняя". И тоже эллинские образы рисовали мне свою осень: горы в ползучих туманах, облетевшие леса, запах ели, одичалые девы в рыжих шкурах, и хруст листа под бегом ног... Одна из них безумнее других, но безумием тишайшим. У тех хмель, насланный Богом, отхлынет, опомнятся они, с ужасом взглянут на свои окровавленные пальцы; у этой — пальцы не в крови, и никогда затаенный хмель ее не прояснится.

* Зал животных *(ит.)*.

Так, сидя перед скорбящим Тритоном, мы по-разному и похожему читали в своей судьбе.

На Форуме сенокос. Груды свежескошенной травы посреди обломков колонн, увитых кистями глициний — уже бледных от майского, от горячего солнца. Потому запомнился мне этот день, что был в нем крепкий отстой и мути, и сладости моей молодости. Мы пришли надолго, с книгами, с завтраком. Вайолет читала мне свои английские стихи. Прекрасные? Должно быть. Таким неясно-фарфоровым сделалось, порозовело ее лицо. Воздушные? Умудренные? Да. Но почему-то не переросли они ее, остались в свите ее, в царственной свите моей Вайолет, еще краше делали ее... "Ах,— думала я,— когда творишь, огонь и железо должно пройти между тобою и твоим созданием,— не красить тебя должно оно, не красить..." Прихлынула мысль эта, всю меня заполнила, и я уж не слышала стихи. А она замолчала и смотрела на меня.

Но губами неразжимающимися не сумела ей ничего сказать. Поглядев на меня отчужденно, Вайолет, напевая, отошла и долго бродила вверху, по склонам Палатина, и мелькал среди пиний лиловый шарф.

И вот — привычная в моей молодости овладела мной усталость, отвращенье быть отдельной, нести свою правду отдельную,— нет, больше: усталость памяти о себе, неохота быть.

Зачем нельзя, чтобы все уже было и все прошло беспамятно? И просто любить — в простоте растечься вокруг любимой?

Наклоняясь над пахучей травой, я выбирала из нее цветы, уже вянувшие: кашку, смятые маки, бледные колокольчики. Увила ими полустершийся барельеф — мальчика, дудевшего в дуду. Огляделась вокруг, вдруг обессилев перед обнявшей меня красотой. Сенокос на Форуме! И плакала потерянно и сладко, прикладывала к глазам сохнущую траву. Я? Не я? Нет меня!

Все острее росло в Вайолет ожидание и борьба с собой. Мы молчали, и я глухо, ревниво тосковала.

Мы шли на почту, Вайолет — точно в броне, чуть-чуть жесткая, если с боку глядеть на нее, потому что получить или не получить письмо — ранит по-разному, но все ранит. Хлынул ливень, и, обгоняя нас, неслись потоки, чистые и обильные, и мы, уже веселясь, уже переглядываясь, бежали, перескакивая через них. Я поймала ее руку, на ресницах ее дрожали капли дождя. Что-то растопилось...

Но не тогда, нет. Раз вечером Вайолет, сидя на глубоком сумеречном окне, расчесывала свои дымом взлетавшие, слишком тонкие волосы. По повороту ее шеи, по руке, замершей с гребнем, я поняла, что она решила.

— Вайолет, а ты веришь, что он по-настоящему любит тебя? — тихонько спросила я с пола, с ковра, где сидела.

Повернув ко мне строгое лицо, она строго и быстро сказала, словно вслух повторяя то, что думала:

— Это все равно. Чем страшнее, чем безнадежнее — тем вернее. Ты поймешь это тоже — потом.

“Да? — спрашивала я себя.— Нет! Нет?” Я не знала, мне мерещилось не такое — другое, раненное нежностью чувство.

И он приехал. Солнечное было в тот день лицо Вайолет. Как из пасти дракона ждала я ее, а она вошла таким легким шагом, с таким легким смехом, позабыв весь священный свой ужас.

Свидания становились все длиннее, лицо ее, чуть-чуть хищное, потому что им любовались, бледнело и гасло, и она подолгу сидела недвижно.

Она вернулась поздно и молча опустилась в кресло подле моей кровати. И я молчала. Долго-долго. Наконец она поднялась. Что-то во мне порвалось, я протянула к ней руки, хотелось назвать ее каким-то русским именем, ближе к сердцу, слово сказать какое-то. Слова не было, я будто задохнулась, а Вайолет, утешая, материнскими руками гладила меня по лицу, грела новой, женской лаской. Стало между нами с той ночи так просто, доверчиво. Мы переговаривались о житейском, перебирали, что надеть Вайолет. Придумывали, как летом она оставит родителей на всегдашнем их купанье на острове Уайте и съедется с ним в Бретани. Она пересказывала мне маленькие слова, маленькие шутливые ласки их свиданий — и вдруг умолкла.

По бессловесному уговору нашему Вайолет не познакомила меня с ним. Видела я сверху из окна, когда он провожал ее, только блестящий цилиндр, непривычный в Риме, как и весь его парижский облик. И раз в толпе на Корсо увидела его рядом с Вайолет. Прижавшись к витрине магазинной, я украдкой взглянула на его известное по воспроизведениям лицо, на пушистый светлый ус, уловила взгляд, упоенный и властный, а на лице — словно тень ранней смерти. Не увидела — привиделось мне. “О, как жалко любимого! — думала я.— Что же, что взгляд властный и гордый,— ведь он умрет?” И дивилась на Вайолет, что не о нем она думает — опьяняется самой любовью, не им лучится, а только ревниво и несыто чувством его к ней. О, как жалко... И не знала я, и не узнала, что не жалко любимого.

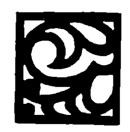
Они уехали из Рима вместе, чтобы, затерявшись на безвестной станции, провести наедине три дня. Буйно-счастливая собиралась Вайолет — ведь в эти бездонные три дня сгорит все, еще больное, еще злое в их отношениях. Металась по нашим комнаткам, уже отжившим, задевая меня шаловливой лаской. Так и простились мы, не простившись, заторопившись к нежданно, слишком скоро наступившему часу отъезда.

Вечером я пошла прощаться — по опустелому Риму развеивать сладкое томление разлуки, смертное томление разлуки. В полноводном Треве утопила монетки за себя и за Вайолет: заветные, чтобы вернуться нам в Рим...

После того мы больше не виделись. Мы писали, звали друг друга, съезжались — и не съехались.

Вайолет пела в опере в Америке. Все та же была властность в словах, в твердых линиях почерка. Они никогда не колебалась,

не недоумевала: то было неверное — *вот* верное, — так всегда объясняла она в письмах новый поворот своей жизни. А на фотографиях, присылаемых ею, с какой бы американской пышностью ни была она убрана, все мучительней, все трагичней становились линии губ. Письма приходили все реже, она вышла замуж, вела парламентскую борьбу в Вашингтоне. Потом я получила письмо из каких-то южных штатов, безвестных. Она оставила мужа (это стало неверно,— я узнавала неподкупную Вайолет, неподкупную не жалостью — все разбивающую от полноты своей!), вступила в мистическое братство Иоанна Предтечи, исповедующее близкое преображение мира. "Нет больше одиночества, со мною сотни — будут миллионы". И Вайолет, давно писавшая мне только по-английски, приписала в этом последнем письме по-русски: "Верю и жду, что и ты, сестра моя в Духе, придешь к истине, открывшейся мне". Я затеряла адрес, приложенный к письму, и мне некуда написать ей и отозваться: верю и жду... И опять по-старинному, виною и любовью, трепещет перед нею сердце. Вайолет! На самом раннем моем небе текучая звезда!



ДРУЖБА

Много лет спустя я опять на пути к Риму. С душой уязвленной, неживой ехала я. Звучали еще слова притворно-оживленные провожавшего друга, а глубже запомнился непритворный шепот его: “Уйдите от меня, тихая вы безумица”.

Архипелагом шел мой пароход. Лиловели, чуть мерещились острова, те, о которых поэты: и что они гроздья пурпуровые, и что они созвездия, опрокинутые в моря,— и что еще, с брезгливой усмешкой, припоминала, измышляли поэты? И, наскучив изысканным, вгоняла себя в непривычный лад мысли. Небо как светящийся сплав. Жмурилась. Старалась шептать молитву, глядя вниз в кипящее пеной и черных корабельных боков море— моей неумелой молитве такое чужое, такое нерусское...

В полотняных креслах, вытянув ноги в тонких чулках и туфлях, сидели нарядные, с прическами черными, взбитыми, гречанки, одесские еврейки. Я ехала бедно — одна во втором классе и, примостившись на узкой палубке моего класса, читала. Когда я так сидела, склонив большую шляпу над книгой аскетических творений, подошел ко мне капитан, пожилой, обычно-красивый итальянец. Заговорил, выразил беспокойство, что мне неудобно, кликнул матросу принести мне кресло. Осведомился капитан, одна ли я путешествую? Восхитился: о русские женщины! E una artista?* И, уже поблескивая наивно-самоуверенным взглядом, сказал, что скоро придет обедать со мною и угостит великолепным кьянти. А вечером, когда заходило солнце, в мгле, не лучась, и мы, опершись о борт, стояли рядом, мне было колюще-весело (но глубоко внутри: о, как тоскливо!) слушать его вольные галантности и отражать их вольными же словами, с трудом находимыми на полузабытом языке, и не спеша освобождаться от назойливой его, жаркой руки. А ночью, когда, одна в просторной каюте, я расслышала, как кто-то двигает ручкой моей запертой двери и тихо что-то шепчет, я притаилась: не стыдом мимолетным, а каким-то ужасом неискупи-

---

* Вы художница? *(ит.)*

мым входил в меня этот сладенький, просительный шепот. И осталась в памяти эта бессонная ночь под шум винта, как червивый плод, весь изнутри источенный; черный. Опустошенная ехала я утром по Неаполю, спеша на поезд в Рим. Еще четыре часа дурманящей жары и качания в вагоне — и вот за полдень приехала я в Рим. Вышла с вокзала, остановилась, оглядывалась, припоминая место остановки трамвая, нужный мне номер его. Поехала прямо, как давно задумала, к Сан-Пьетро, поклониться святому Риму. Всходила на длинные ступени, твердя молитву, как задумала давно. Молитва кончилась, ступени слишком длинные, обуял зной — а сердце не согревалось. Потом недоуменно скиталась по холодному Петру. Служения не было, негде было сесть, в тупой усталости я прислонилась к порфирам барочных постаментов, в бесчувствии — к бесчувствию храмовому. Было тошно: от капитана, от трясучего зноя в вагоне, от всего — навсегда. И пусто было. Тот, Кто пронзил мне душу, в жизни неприютную, и от Кого я приняла суровое слово: "Что тебе до того? (до Иоанна, до Любимого) Ты — иди за Мною". Где Он? Ведь Петру сказано это слово, и Петра же здесь храм над древней его могилой,— что же стою, вся охолодела перед кручеными колоннами сени надмогильной и не чую Позвавшего? Какая я, что любовь мне — не любовь, вера — не вера?

Так, расплескав без жалости начинавшееся мое благочестие, поселилась в тот раз в Риме и прожила одна пустые, беспамятные месяцы. Ночами топтала улицы Рима — был он мне безвкусен: еще не полюбила, как нынче, поздним сердцем, всю милую плоть его и разлюбила сердцем остылым прежде любимое. Почему-то в глубине всех перекрестков маячил мне тогда несносно-золотой конь Виктора Эммануила... Иногда, совершая докучливый обряд, показывала город приезжим русским. Вот еду со знакомым-полузнакомым на Аппиеву дорогу. "Посмотри,— говорю рассеянно,— это Sycesy, славнейшая иезуитская церковь. Мрачная? Стендаль вот какое про нее и про черта поверье записал". Рассказываю. И, взглянув сбоку на спутника, помещика-эстета: "А вам, должно быть, Стендаль..." Сбоку виднеется мне черная холеная бородка, хищные и нервные пальцы, на одном — китайский перстень с драконом. Вижу — спаленная страстями, охлажденная, тоже неживая мужская душа. Стендаль... Брезгливо, зорко, мертво во мне.

Но вот пришел и перешагнул в мой мертвый круг черно- курчавый и молодой Орбелиани. Письма общих друзей, беглые слова о них — а потом у раскрытого окна (зазябли, позабыв, что уже зима) порывом рассказал мне о начатом им исследовании гностика Василида, ради которого он в Риме. Думала: тем ему гностик мил, что все с Бога до пылинки перестроит, переосмыслит, чтобы не лежало, покоясь, как в церкви, а чтоб закрутилось, завихрилось, летало... Сам весь прочь летящий, отточенный,— стрела. Точно из темного рога, точно из стали. Провожала его повеселевшая. В немного дней я сдружилась с ним, сама не заметив

как, а позже переехала в тот скромный пансион, где он поселился среди группы русских, духом новым объединенных, по-разному томимых жаждой о Боге. Да и не одних русских. Был среди них швед, влюбленный в русскую душу, ходивший без шляпы, с седой, пушистой гривой, таинственно предрекавший судьбы России. Помню молчаливую немолодую эмигрантку с прекрасным лицом раскольницы, слишком поздно разуверившуюся в революции, тем жарче возжаждавшую другого. Молодой хмурый хохол, плененный простотой и безмолвием — и против воли заслушивающийся пламенными речами моего нового друга. У каждого из них, чем-то отравленного, что-то затаившего, своя судьба-обида глядит из глаз — и среди них один он, Орбелиани, будто ничего не таит, всего себя жжет огнем мысли. И опять поутру цел, ясен, неопалим.

Как после долгой болезни, училась я с ним по-новому ходить по Риму. Перебивая друг друга в споре о возможностях христианского искусства, запутаться среди трамваев на пиацце Венеция. С мыслью всегда разбуженной, озирающей дальние и уже снова близкие концы культуры. Не тишиною — звоном встречных острых слов высекать предчувствия. Но украдкой, отвернувшись от него, заглядывалась я на полюбившуюся мне вдруг землю римскую, розово-пепельную, неплодную, молчала о ней; углом глаза следила, как в рощицах Кампаньи сквозь позднюю, сквозь бурую осень пробивается тень весны... В блужданиях наших по Кампанье заходим в кабачок, пьем из запотевшего кувшина терпкое вино, заедая хлебом недопеченным и овечьим сыром,— и бледное небо над сквозным навесом, и маргаритки декабрьские усыпали землю, как осколки розовеющего мрамора. А он, товарищ мой новый, все озирается на Рим, на разлетевшиеся от него стрелами дороги, повторяет их гулкие имена: Via Flaminia, Via Nomentana.

"Это сама Pax Romana*,— говорит он,— иероглифика ее на земле. Знаете, кесарево,— вот что Богом мечено в Риме, а христианство здесь не Христово вовсе". Так он, помимо воли, пленен здесь цезарским. Или кровью старой, азиатской помнит тот, державный Рим,— какими-то ходами давними, через малоазийские царства,— не нашими, не европейскими. А мать какая у него? Я не знаю, какая у него мать. Красивая, суровая, может быть, ходит еще в вышитой шапочке и фате, и в доме пахнет розовым вареньем и старым шелком подушек...

Сидит он против меня тонкий, в шершавом костюме туриста с многими карманчиками, и ноги стройные обмотаны шерстяными тесьмами. А мать его... Чуть хмелея, улыбаюсь ему поверх стакана с темно-золотым вином. Улыбается и он, а слова дружеского не говорит: некогда, все спешит другое сказать. Но знаю я.

Раз в подземной горнице первохристианской, где на убогой

* Римский мир *(ит.)*.

фреске впервые начертан знак евхаристический — чаша, он смотрел потрясенный. И сказал непривычно пониженным голосом: “Вы понимаете? Тот, кто расписал эти стены,— ведь очевидец был зарождения Второго Завета — Завета Чаши. Здесь это было. Это Рим весь — чаши. Будет ли Рим Третьего Завета, может ли быть?” Но, проведя рукой по горяче-черным волосам, “нет, нет,— заговорил, волнуясь,— не здесь — в России Иоанново начнется царство, Дух, не стесненный в сосуде. Мы разобьем чашу”.

Крутые ступени вели вверх из подземной той горницы. Он, выйдя первый, сверху протянул мне руку. И, беря его руку, “друг мой, друг”,— прошептала. А в сердце разгоряченном не он — Россия, к ней порыв: припасть бы к земле ее предрассветной — придет, придет Иоаннов день! Так, любя, не его люблю.

И потому ли, что он из той страны закавказской, где все схожи друг с другом, курчавые и гортанно-говорящие, потому ли... Мыслью его пламенной вдохновлюсь, но потому, что он оттуда, восторг перед нею вдруг расколется, как тоненькой трещинкой,— не то недоверием, не то ласковой усмешкой.

“Мысль — божье вино”,— подумала я в веселом волнении, окутывая голубым шарфом лампочку электрическую в моей комнате, куда ждала Орбелиани для обычной нашей вечерней беседы (“точно лампаду заправляю”,— подумалось). Да. Мысль — вино, хмель. Когда слушаешь человека, рождающего живые творческие мысли, гадаешь сердцем женским, куда он мчится на погибель? Потому что мысли — это двери, за собою захлопнутые, пути отрезанные, скок, лёт к срыву. Разные мысли — разные пути погубления души — так ли, иначе ли...

Значит, знать нельзя?

О, знать можно.

Но знание — последнее немение, утешение себя: распахнешься — ах! — примешь в себя. Вдыхание. Жертва. О том, что знаешь, ничего нельзя сказать. Тишина жертвы. О том, что знаешь,— мысли нет. А мысль — жречество: заклание метким ударом нынче одной правды, завтра — другой и, значит, в конце, на дальнем на неотвратимом конце — себя всего.

Не о нем одном, не об Орбелиани, и не тогда только, а и сегодня — это верно.

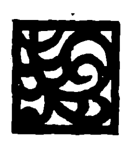
Таинственно было. Расслоялось отношение мое к нему. Вот, поверху гляжу с холодком на него, нежеланно-красивого, чуть враждебно к иноплеменной окраске его, к нерусской курчавости. Вот — глубже — изощренным вкусом любуюсь игре его ума. Еще глубже: темные захлестывают волны, я бесстрашная невеста его обреченности. Еще глубже, еще... Стоим мы друг перед другом, как вихрем каким-то развернутые миры. Лицо горит, я прикладываю к жаркой щеке руку ладонью наружу. Слушаю его — и вдруг понимаю страшным тем, тем женским бессилием, которое — сила, зов. Миг — и без объятия он мой, меня жжет, мною утоляется его луч.

Но уж и не мой, как и я не его, нас разрывают силы, мчащие

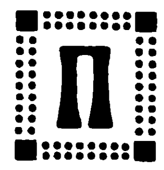
врозь. И голосом, чуть изменяющим мне, говорю: “Не надо больше слов сегодня”.

Он уж далеко, я — далеко. Только в странной истоме не разнимаются руки, только дрожит его рука, подымая мою к губам. Молчим. Расстаемся.

Отчего невместимое такое чувство, когда остаюсь одна в своей комнате одинокой? Оттого ли, что любит, что нет? Что люблю, что нет? Не додумать всего про человеческое сердце.



КЛАВДИЯ



Постучавшись, я вошла в кабинет Викентия Иосифовича. На ковре сидела Клавдия со своим мальчиком на руках, забавным, в вязаной голубой кофточке, с глазками трепетно и кругло раскрытыми. На полу паслись перед ним красные суконные свинки. Викентий, от письменного своего стола, с улыбкой следил за ними. Я присела рядом на ковре и подняла с пола звякнувшую побрякушку. Круглые немигающие глазки остановились на мне, чужой.

— Вам совсем не к лицу быть с детьми,— заметил Викентий, откинувшись в кресле и разглядывая нас сверху.

Меня уязвили его слова. Я и шла к нему, затосковавшая от прошлого, шла с мыслью о том, что, что ни припомню, все мимо прошло, все живое, горячее, любимое, все минуло — и с чем же меня оставило?

Но небрежно и обидчиво я сказала:

— А что вообще мне к лицу?.. Я за вами пришла, Клавдия Алексеевна, а то будет поздно идти.

— Ах, я не знаю, как же? Мне купать надо. Я и забыла, что мы решили идти...— Она смотрела, растерявшись.

— Вы по лавкам? За нарядами? — заинтересовался Викентий Иосифович.— Идите, идите, прекрасно. Пойди, детка, оденься. Няня без тебя все сделает... Вы не обиделись, милая? — И, взяв мою руку, задержал в своей.

— Скорей идем,— повторяла я упрямо.

Но он удержал Клавдию и привлек ее к себе. И с затаенным лукавством:

— А ведь вы мне еще ничего не сказали о Клавдии. Какая она? Я жду.

Я помолчала. Посмотрела на ее медно-черную, растрепавшуюся гущу волос и на розовое строгое лицо.

— В России мне казалось, что Клавдия — имя мещанское, а здесь оно — римское, императорское, будто медленной бронзовой кровью налитое...— сказала и рассердилась на себя за нелепую вычурность слов.

А он, хмурясь, отодвинул ее от себя:

— Ну, иди, иди скорей.

А мне:

— Вы обиделись?

А я ему:

— Вы знаете слово crepacuore*? Горькое, терпкое — оно у меня сегодня все на губах. Такой холод на душе, серый, беспросветный. Только я не хотела говорить.

Мы помолчали.

Угадала — зажглась и большим, и цельным, и новым порывом обратилась к нему. Мог быть поворот, могла быть заново встреча, но...

— Все мне скучно, carina, ничего мне вдруг стало не нужно,— сказал он вдруг.— Вы не умеете сердиться...— Улыбнулся зло. Потом, щурясь на завивающийся дымок своей сигареты: — А значит, и любить не умеете?

— Не знаю. Да, по-недоброму не умею.

— По-недоброму? — повторил с полуулыбкой.

И я увидела, что глаза у него усталые и бледная угловатая рука лежит на столе, на листе большом, беспомощно исчерченном завитками, арабесками, словами перечеркнутыми,— угадала долгий, скучный, безвдохновенный день его. Хотелось, наклонясь, шепнуть ему, что это ничего, что, и не созидая, прозорливец тонкий, он умнее всех, потому что... Но не сказала. Сказала в раздумье:

— У нее бронзовая кровь, тяжелая, медленная...

Повернув мою руку ладонью вверх, он прижал ее к губам, не глядя на меня, не видя меня, но точно отвечая мне**.

Наше хождение по лавкам не задалось: мы опоздали, некоторые закрывались, едва мы входили, Клавдия выбирала безвкусно и упрямо, у меня не было охоты переубеждать ее. Под конец она завела меня в магазин резиновых вещей и, смущаясь, как всегда с чужими, и хмурясь на это, покупала что-то для своего мальчика. Я стояла рассеянно, вся размягченная жалостью к Викентию. (Кругом вещи для детей — белой, красной резины — какие-то кружочки, непонятные для бедного холодного такого взгляда, как мой***.)

Рядом мужик с кнутом в руках, в грязной овчине (с гор, видно, с Сабинских), с таким счастливым лицом выбирал гуттаперчевую куклу, что загляделась на него. Он и на меня оглянулся с той блаженной улыбкой, с какой смотрел на франтоватого приказчика, небрежно бросавшего ему на прилавок куклы. Что-то застенчиво сказал мне — на своем непонятном их горском наречии...

* Терзание *(ит.)*.

** Зачеркнуто.— *Т. Ж.*

*** Зачеркнуто.— *Т. Ж.*

Любовь, любовь! Нет слова, нет знака, нет меры этой безымянной, приземной, что сочится невидимо, что всех поит.

Клавдия постояла около меня, удивилась:

— Идем?

Мы вышли и, миновав вечереющую площадь Венеции, тесно под руку пошли домой.

— Что с вами?

Я молчала. Нет слова, нет меры. Она подняла и опустила свои тяжелые ресницы.

— Мне кажется, я вас понимаю,— тихо и осторожно сказала она, — и вы не такая, как кажетесь... Не...— она подбирала слово не обидное,— не отвлеченная, правда?

Я знала, что она с первого дня невзлюбила меня за праздные мои руки, за праздные слова. Мы посмотрели друг другу в глаза, улыбнулись в еще непонятные, в еще чужие. О, как обнаженнее и острее увидишь внезапно тайную красоту в не так уж знакомой и любимой душе. Смотрю на полуопущенные ресницы и на темный ее румянец. Сердцем участившимся отмечаю приметы, которых уж не забыть: у нее походка тяжелая и стремительная одновременно, она и говорит трудно, напряженно. Я по-разному любила в жизни мужчин и женщин — тех, кого любила. Больше любовалась женщинами, взволнованно запоминая их черты,— меньше слушала их. Мужчины ближе — не помню их лиц: мучительно-понятные и невидимые живут во мне — те, кого я любила.

Улица гудела по-вечернему. Оживленно жестикулирующие прохожие толкали нас справа, слева. Бумажонки, зазывавшие в кинематографы, трепыхались в воздухе, шелестели под ногами. (Гудела улица, и только в конце ее, прямой и длинной, над Северными воротами, в которые варвары впервые вступили в Рим,— голубела бледная звезда*.) Мы оборвали разговор перебивчивый и одним движением обе наклонились над корзиной с цветами. Старик продавец в голубой фуфайке, обрызгивая нас, тряхнул пучком роз:

— Sono fresche**.

— Мы купим Викентию левкои, да? Он их так любит,— радостно шепнула Клавдия. Склонившись низко — чуть-чуть близорукая? — перебирала уже вечерние, поникшие цветы и, отчетливо выговаривая итальянские слова, красиво двигала губами: торговалась. Старик пламенно божился.

— Нет, это слишком дорого.— Она выпрямилась и отряхнула с руки росинки.

Я молчала, отодвинулась немного. Или я не полюблю ее? Но нет, просто Клавдия — целый мир, не мой, мне не понятный: имя, и сама она, и что торгуется, и я рада, что не понимаю. Женщины, жены — как они непонятно, в благоразумии живут свою, безумную же, безвозвратно отданную жизнь. Мне ли... Я опять взяла ее под руку. Дальше, редеющей улицей, мы шли, отягченные цвета-

---

* Зачеркнуто.— *Т. Ж.*

** Они свежие (*ит.*).

ми, которые старик, догнав нас, сбросил нам на руки. Доверчивыми и неумелыми словами говорила мне Клавдия о своей жизни. О детстве и приволье Малороссии. (Брак первый, краткий, неудачный, будто забылся — жизнь началась со встречи с Викентием*.) О первой встрече с Викентием. Но ах, не так все складывается, как ждала она.

— Когда мы ехали в Рим, мы решили, что Викентий будет много работать. Напишет здесь свою книгу об искусстве — знаете, ту, что задумал давно. А он ничего не делает, скучает: все-то ему нужны люди, суета, разговоры... И я недобрая, нетерпеливая. Викентий говорил, что я ему буду помогать в работе — а ничего, ничего у нас не выходит.

— Ждите терпеливо. Ваша жизнь с ним такая длинная — это хорошо, что вначале трудно.— Говорю бездарно, вяло, как траву жую. Ах, что говоры эти, разговоры задушевные, женские, когда уж палит изнутри знакомое и новое чувство. Черноволосая, трудная! Нет, полюблю...

— Скажите, Клавдия, у вас волосы всегда такие были короткие?

— Нет. Тиф. Как только мы уехали с Викентием, я тифом болела, сейчас же после свадьбы, уж в Италии.

— Ну вот, видите,— это недаром, это крепко спаянную жизнь предвещает, если сразу сделалась болезнь страшная.

Она:

— Я рада, что вы приехали,— прижимаясь ко мне теснее локтем,— я здесь одинокая. У Викентия знакомые все мужчины...

Дома мы расставляли цветы по вазам, и так было много среди них совсем завядших, что мы пересмеивались. Заглянули в детскую— послушали тихий сон. Клавдии некуда было излить накопившуюся нежность.

— Нет, постойте, скажите еще вот что...

— Что? Нет, вы скажите.

— Что? Нет, подождите. Я должна отпустить Олимпию [кухарку. — *Т. Ж.*]. Вы не уходите. Викентия все равно нет дома. Я скоро.

Римлянка статная, Олимпия, всегда горделиво-растрепанная, сложив руки, ждала, улыбаясь на чужой говор. Не уходя из комнаты, я прилегла на кушетку. Я смотрела, как Клавдия, разложив тетрадь расходов, итальянский словарчик, методично и подробно заказывает обед. Все она делает спокойной мерою. Круто очерченные брови сдвинулись, и лицо стало суровым. Не суровым — деловитым. Эти тысячи мелких хозяйских забот, попечений о других — о детях, о слугах,— это долгая страда терпеливой госпожи,— о, как это прекрасно огранит, отточит ее душу, ее тело! Как спокойно и красиво ложатся усталые руки женщины, всю жизнь трудившейся и приказывающей... Пусть душа и наскучила и с обидой думает, что вся

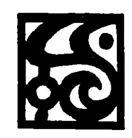
* Зачеркнуто.— *Т. Ж.*

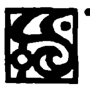
растратилась на будничное. Не будничное это! Все возьмет трудный и долгий брак — и все отдаст. Вот Клавдия понесет ему капля за каплей свою еще хмурую сейчас, еще скупящуюся молодость,— и в самом-то конце, на дне, найдет себя всю сохранную, себя, живую, ищущую встречно, как из пасти зеркальной...

Взволнованная, я так резко повернулась на кушетке, узенькой, валкой, что она хрустнула подо мной. Клавдия подняла глаза и улыбнулась мне одними губами, шепчущими цифры,— сложение, вычитание.

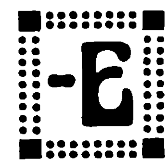
Но я — как смею я это знать? Праздная я — вся я такая вычурная, и губы мои неяркие не складываются строго и просто, а всегда напряженно, и сказать — скажу что-нибудь изысканное, выдуманное, но сердце знает проще, короче, так коротко, так просто... Я смысл всех знаю — своего не знаю.

В себя взглянешь — все таинственно, все тайна, только хаос, только тьма — тьма подступает до самых губ. Почему это? Или это именно потому, что особо четким видением чьей-то судьбы вдруг, как копьем, расколешь затвердевшую кору осмысленности и хлынет, хлынет тобою через тебя то безвестное, что глубже смысла, что тьма,— тьма подступит до самых губ.





ЖИТИЕ

сли вы уж так все знаете, вы бы хоть роман написали!

Мы сидели за завтраком. Викентий Иосифович придирается ко мне, к Клавдии, к хозяйственным недочетам, ищет, обо что рассердиться и, рассердившись, вдохновиться. С краснеющими от гнева бровями укоряет:

— Сколько раз мне говорить, чтобы красное вино подавали подогретым?

Клавдия пытается взять у него из рук бутылку:

— Сейчас я отнесу.

А он, удерживая ее своей бледной холеной рукой:

— Нет, скажи, говорил я или не говорил?

Наконец Клавдия, гневно сжав губы, вырывает бутылку из его рук. Сердится и хорошеет. А я не сержусь и смотрю холодно, бесстыдно-холодно, понимая, что вот он сам не знает, где начнется его вдохновение, ждет: может быть, из гнева, может быть, в этой чашечке кофея. Потому сидит томительно-долго за столом, раскачивая ногой, закуривая сигару, давая ей погаснуть и снова раскуривая. С душой холодной распаляет ее.

— Ах, это не то,— отвечаю я ему раздумчиво,— такое понимание не для романа, это как болезнь, как расширенный глаз — стараешься его замутить. Вот вечером сходятся гости, разные, умные, каждый с идеей своей — быстро и непостижимо как знаешь: кто чем нынче талантлив, и где кончится его мысль, где он на ней заупрямится; обегаешь их вокруг, видишь по ту сторону, по невидимую... И любишь за это жалостливо, и вторишь им. А им всем я потому какая-то сквозная, скучная... "Ах, это как идиотизм",— додумала тоскливо, не досказала. (До того допонимаешь, что уж все опять непонятно.)

— Все это потому, что вы замуж не вышли,— продолжал сердиться Викентий.

Клавдия, сидевшая молча, вертя в руке кольцо от салфетки, покраснела, сдвинула брови...

— Как ты можешь так говорить, Викентий! — встала и ушла.

И он, и я, мы молча поглядели на нее, уходящую, и на дверь закрывшуюся.

— Конечно, вы правы,— сказала я, помолчав.— Если бы иметь ребенка, я думаю, что нельзя так знать.

Он вдруг стал мягким — памятью о Клавдии.

— Сивиллы потому и были сивиллами, что не имели мужа. Может быть, и вы точно хлебнули от какого-то знания. Вообще, расскажите мне о себе, carina. Какая вы стали? Ведь вы забыли меня? Я вижу. Почему вы счастливы? Почему?

Он вдруг прояснел, сигара его разгорелась окончательно, отодвинув стул, он перешел к окну, в оконную глубокую нишу к глубоким старым креслам.

— Ну! — нетерпеливо. Было видно, что после того, как я что-нибудь скажу, неумело и косноязычно, он начнет говорить и вдохновенно толковать меня же: острая игра мысли уже вспыхивала в его глазах, в уголках змеистого рта.

— Счастливая? Ах, это так трудно объяснить. Я встретилась в себе с собою...

— Vous êtes perverse*.

— Нет. Но только, правда, иногда, когда я совсем одна, мне даже хочется надеть белое платье — платье невесты. Нет, это не то. Я не умею объяснить...

Позвонили. Мы помолчали, прислушиваясь.

Вошел гость — в сутане ученый, padre, монах-археолог. Викентий ему обрадовался, познакомил нас. Обратился на миг и ко мне невнимательно-ласковый взгляд широких глаз. Викентий Иосифович, с тем за миг угаданным мною притоком вдохновения и с какой-то внезапно галантной и польской интонацией (потому ли, что с католиком?), заговорил — видимо, продолжая старый между ними спор — об энциклике против модернистов. Он оптимистично утверждал близость реформы, раскрывал будущие судьбы папства. Padre вздыхал уныло, вставлял скептические замечания, скорбел. Я сидела в стороне, полуслушая-полунеслушая их католический спор. (Вспоминала утром виденную в пурпурно-красной перчатке кардинальскую руку — руку Махи-дель-Валь, с высокого балкончика благословляющую толпу в церкви, <диаболическую> руку — каким благословением?**

Часы что-то пробили, он встал, я подошла к ним. Викентий Иосифович объяснил своему гостю, что он спешит на обед в посольство, но убеждал его посидеть еще со мною, его другом, выпить чашку чая, потому что беседа с ним будет мне драгоценна: “Qcilqui chose lui pèsele coeur”*** — про меня. Я, стоя рядом, улыбнулась.

Padre Pellegrini остался. Я налила ему темного английского чаю, подвинула печенье, прислушиваясь к заглушенному спору в передней — к тихому и раздраженному шепоту Викентия и к зазвучавшему вдруг высокими и носовыми нотами голосу Клавдии.

---

* Вы извращенная *(фр.)*.

** Зачеркнуто.— *Т. Ж.*

*** Что-то у нее на сердце *(фр.)*.

— Я сказала, что не надену это платье.

Шепот...

— Ну, тогда я совсем не поеду.— И она бросила пальто, звякнувшее пуговицами, и, тяжело ступая, ушла по коридору. Потом захлопнулась входная дверь.

Я смотрела на точно ничего не слышавшее лицо padre Pellegrini, спокойное и оплывшее. Весь он был оплывший и складывал поверх своей черной сутаны, на груди и животе почти посеревшей от времени и пепла, красивые, но болезненно полные руки.

— Вы августинец, padre Pellegrini? Как Лютер?

— Да, августинец.— Крупные губы его сложились в красивую, будто античную улыбку.— Но не как Лютер.

Я в первый раз разговаривала с католическим монахом, как со знакомым, в гостиной. Какие они? Строгие они в жизни или нет? У него улыбка и чуть печальная и чистая, как у тех, чья ночь одинока.

— Вы знаете, signorina*, что в Риме Лютер жил вон в той церкви Марии народной. Вот то окно в правом крыле. Тогда это был монастырь.

Я потянулась к окну, чтобы посмотреть, не дотянулась и села опять. Я знаю эту церковь. Когда он сказал Mar-ria, протрепетало будто воркование.

— Неужели? Ваш орден самый ученый? Правда? А как служат, я больше всего люблю доминиканцев. Вот в Maria Sopra Minerva — и одежды их: в них что-то древнее, кажется, будто это греки Софокла в дорожных плащах — черных поверх белого, около них быть бы осликом, нагруженным корзинками с плодами. А при служении так умильно клонят головы влево, у них мне даже нравится, что они...

Я запнулась, не сумела по-французски или итальянски сказать “гнусавят”. Я говорила торопясь, не думая, точно отгоняя слова, старалась в себе что-то понять: то ли, что я назвала себя счастливой, а когда друг сказал, что что-то мне “pese”** — сталось, как он сказал? Отчего правда всегда и неправда?

Padre рассеянно улыбнулся, перебирая книги на столе:

— Signorina обладает воображением поэта.

Мне стало скучно. Я замолчала.

Он посмотрел на меня своими отуманенными близорукими глазами и сказал:

— Может быть, вы действительно имеете что-нибудь на душе и желали бы...

А его рассеянно плывущему где-то уму явно не хотелось моей души.

— Ах нет, monsieur пошутил. Я в Риме счастлива. И эта весна. И каждый день эти майские литании Св. Деве...

---

* Синьорина *(ит.)*.

** Давит *(фр.)*.

По тусклым зрачкам его как будто проплыло облако — облако тайны и любви. Да, да. Рука, перелистывающая страницы, на миг застыла неподвижно.

Я вдруг вспомнила гимн Марии, сочиненный этим padre, его показал мне как-то Викентий Иосифович,— гимн, в котором звучала нежнейшая влюбленность.

Вот так, вот так любить и вторить — под скептическим, ленивым телом, под рассеянной ученостью, не чая ни чудес, ни реформ,— Марию любить, затаенно, безвестно!

— Signorina посещает также и музеи? — спросил он, перемолчав немного.

Я рассердилась, задетая в своей умиленности.

— И музеи. А вот что я хотела спросить вас, padre Pellegrini. В этой церкви Sopra Minerva над алтарем лежит Катарина Сиенская за стеклом, как живая. Монахи там говорят, что это нетленное тело ее, но правда ли это? Я слышала, что это подделка, восковая фигура.

Он сделал смутный жест рукой.

— Это была замечательная женщина Италии. Вы не читали, signorina, ее письма, вышедшие недавно в четырех томах? Это прекрасное и поучительное чтение для интеллигентной женщины. И по стилю они превосходны.

Padre ученейший, и я стала расспрашивать его о других святых, на чьи имена невзначай наталкиваешься в Риме. Кто эти san Saba и Sabina, в чьи полузабытые церковки попадаешь через какой-то заброшенный виноградник? А моя святая, св. Евгения, была ли она в Риме? Да? О, расскажите мне ее житие!

Он улыбался.

— Да ведь оно же легендарное — эти легенды первых веков слагались все по одному шаблону. И уж поздно.

Правда, обелиск посреди площади у подножия своего уж окружен был лиловой мглой, а стройная вершина его стояла вся алая, собравшая на себе закатные лучи. Зелень пинии казалась черно-багряной.

— О, пожалуйста!

Он улыбнулся опять своей античной улыбкой и, не споря больше, рассказал мне старохристианскую легенду.

— Слушайте, что я вам скажу, это очень важно,— я удержала Викентия Иосифовича за руки у окна, раскрытого в весеннюю пахучую ночь: дождалась его, позднего, раздраженного пошлостью того круга, где он провел вечер.— Я нарочно не ложилась, ждала вас.

Он все еще хмурился, немножко смешной в цилиндре и в крылатом своем фраке здесь, в этом домашнем уголке у старых кресел, в оконной нише.

— Да, да, посидите со мной еще. А что, если вы приготовите

мне aranciat'y*? И лучше всего расскажите мне что-нибудь очень длинное — сказку. Можете?

— Да, сказку. Про себя и про святую. Вещую сказку. Это от padre. Он мне рассказал житие Евгении, и вот, когда он ушел, я все думала о том, что каждому в жизни его святого указан ключ к его собственной жизни. Конечно, как в мифе, все возвеличено, досягает выше, но непременно человек со своим святым одного склада, и, значит, прозреть можно, что настанет и чему ввек не быть на твоем пути. Ведь правда, что не случайны имена, что в имени — заклятье?

Он, улыбаясь:

— Ну, ну...

— Так вот, слушайте про мою Евгению. Было это во втором веке, и был отец ее, знатный римлянин, правителем Александрии. Евгения — конечно, прекрасная, чистая и нежная,— росла не среди девичьих забав, а в изучении эллинской мудрости. Elle était parfaitement instruite en tous les sept arts libéraux** — так сказал padre. Что делать! Чуть-чуть манерное все ее житие, чуть-чуть она слишком интеллектуальная. Были у нее два друга — раба. Padre говорил, по восточному варианту — рабы, по западному — друзья, равный ей. Все равно! И вот она неразлучно с ними, с Протом и Гиацинтом, читала Гомера, нараспев скандируя, как учили тогда, читала Платона, Эпикура — все в приправе александрийской утонченности. Но не то это, не утоляет. Искала везде, во всех книгах. Тосковала — украшенная и нищая, благочестивая бесплодно. Раз со свитой поехала в загородное поместье и, проезжая мимо высокой ограды, услышала из-за нее пение: "Все боги языков — демоны, Невидимый сотворил небеса и землю". Пели хорал христиане. Было к ночи, темно было, незаметно сошла Евгения с колесницы (слуги с факелами шли впереди) и, подав знак молчать, остановила шедших позади Гиацинта и Прота.

"Братья! Вы слышали? "Ищите Невидимого" — вот истина".

Они, как лучшая часть ее души, беззаветно-отроческая, повторили согласно: "Истина".

"Братья, остригите мне волосы, оденьте меня в мужскую одежду и постучитесь у врат монастырских, там путь к Невидимому".

А настоятель, вперед имевший о том видение, принял их как трех новообращенных братьев в свою общину. Началась для Евгении тайная и подвижническая жизнь, столь противоположная ее просвещенному досугу в доме отчем. А тем временем отец ее был безутешен и, не мирясь с ее непонятным исчезновением, продолжал поиски, карая всех, кого только мог заподозрить причастным к нему. Наконец какой-то ворожей, чтобы смягчить его

---

* Апельсиновый напиток *(ит.)*.

** Она превосходно образованна во всех семи свободных искусствах *(фр.)*.

гнев, внушил ему мысль, что Евгения, будучи прекрасна и телом, и душою, возбудила любовь Небожителя, который и восхитил ее. Польщенный отец жадно принял эту весть и велел художникам изваять статую дочери и призывал всех поклоняться ей наравне с другими богами. Под портиком на площади стояла Евгения — литая из червонного золота, вводящая в соблазн,— ибо и христиан заставляли поклоняться ей, и иные из страха покорились, иные, упорствуя, пострадали. И она же, та же Евгения, истощенная суровым постом, творила свой подвиг мужской, невидимый, сама про себя не зная, как двоится лик ее,— как неизбежно двоится до времени лик наш человеческий. Годы шли. Восходя от силы к силе, та, монастырская Евгения обрела почет среди братии, и, когда умер старый игумен, ее избрали на его место. Жила неподалеку богатая вдова с именем черным — Мелано — и с черной душой; она воспылала желанием к молодому подвижнику. Никакими дарами, приносимыми в храм, не могла она привлечь на себя его взгляда, и вот, прикинувшись тяжко больной, послала за молодым настоятелем. Но едва Евгения пришла, Мелано стала соблазнять ее, и красотой своей и богатством склоняя к любви. Молча, не открыв своей девичьей тайны, оттолкнула ее Евгения. И оскорбленная Мелано, отправившись к самому правителю, оболгала и игумена, и братию той всегдашней клеветой отверженной женщины, будто он, Евгений, посягал на нее и будто таков обычай христиан... Негодуя, призвал правитель на суд всю братию и сам сурово допрашивал ее, и Евгения, низко опустившая капюшон на лицо, оставалась им неузнанной. Боролось в ней желание не оправдываться и пострадать безвинно с желанием очистить имя христианское от худой молвы. Сладок неразумный соблазн! Но одержало в ней верх второе, разумное. И, сбросив капюшон и разодрав на себе одежду до пояса, открылась она правителю как женщина, как дочь его. С торжеством, с поклонением приняли ее домашние и все горожане. Облачили в женскую одежду, пурпурную, шитую золотом. Отец ее легко примирился с тем, что та его изваянная Евгения, богами избранная, и есть эта самая, и со всеми домочадцами вступил в христианство, в веру, возвеличившую его дочь. Поистине не встретилась Евгения-подвижник со своей душой, женской, опередившей ее и с улыбкой неги ждавшей ее на площади родимого города. Повелела ли она разбить ее, кумирную, или признала в ней Сестру — не знаю. Только прокралась она ночью в горницу верных своих Прота и Гиацинта и сказала: "Ну, други, видели мы и земную славу и сыты ею. Нужно теперь и потерпеть для Господа". А братья верные, беззаветные ответили: "Да, soror",— или как там по-александрийски? И тут же ночью вышли они из дому и сели на корабль, отходивший с зарею,— все равно куда, лишь бы уехать: в Египте уж не укрыться от славы!

Здесь начинается последнее, похожее на все жития — узкий путь. В Рим прибыли они, и в нашем родном городе Риме в то императорское время гонений, затерянные среди сотен других, жили, учили, убиты были.

Здесь уж кончилась судьба Евгении — всегда кончается своя

судьба, когда истинно встретишься с самим собою: войдешь тогда в не свое, во вселенское. Но до этого — миг упоения, встречи.

Суровость духа мужеского, невидимого, который отвратился от всего зримого, встретился с тысячеокой, тысячеблаженной, ничего не ищущей, все изначала объявшей, женою... И знания миг. Ведь правда? Только в свои глаза глядясь, можно все увидеть, только от себя узнаешь все. Ведь правда? — Я в волнении потрясла за плечо поникшего в кресле Викентия Иосифовича.— Вы слушаете? Вы поняли? Разве не волнует эта повесть?

Он, полусонный и умиленный, взял мою руку и, потянув ее к себе, прижался губами:

— Милая! А вы не сочинили это сами?

— Да нет же. Это все совсем так было. Спросите падре.

Я не сочинила, но что-то разгорелось во мне и обессилели руки, как будто и вправду сочинила.

И потому, что было темно в комнате, и потому, что вдруг захватило дыхание, я сказала ему шепотом, прислонясь к его плечу:

— Слушайте, а вы знаете про женщину еще такое? Когда она создаст что-нибудь — артистка — и даже именно хорошо создаст, ей сейчас же нужна мужская рука, сейчас же — утешение, опора. Творит красоту, а себе самой — каждый раз точно новое одиночество, неутоленность. Потому она и не может без друга, да?

Но я не сказала ему этого, затаила про себя и только на миг затуманилась, прижавшись к его плечу.

— Что я знаю про женщину? — переспросил он тихо.— Carina? Ах, ах, какая же вы скрытница, как вы ушли вся от меня!

— Как ушла? Мне никогда не было так легко с вами.

— Да, легко...— замолчал.

— Вы поссорились с Клавдией? — спросила я, помолчав тоже.

— Ах, нет. Она прелестна, когда сердится. Я ее нежно люблю.— Он откинул голову и закрыл глаза.

— И я... почти... — шепнула я.

— Ну, это не нужно. Нехорошо быть другом и мужу, и жене. Нет, дружба ничего, но любить! — И на миг он взглянул на меня, зорко и зеленоглазно...

Но во мне было не то, другое — “брат”! Обе руки протянула ему, обе руки его взяла: воистину встреча случилась с собою — и в ней все встречи.

У ЛЕШИ

-Non*c'e — сказала грязная и прелестная девчонка-прислуга, заглянув в комнату Леши.

Я вошла все-таки, закрыла за собою дверь и рада была, что нет его. Что-то гнало меня, неуемное. Так вот приоткроется образ правды твоей, поманит — вглядишься: нет, все жжет тоска по еще вернейшему. На столе увидела большой лист, и на нем Лешиными каракульками мелкими записка мне про то, что вернется поздно: "Оставил тебе твои любимые "jim-jim". А за это переведи мне, что отметил в каталоге. Не сердись, что мы плохо простились вчера,— я так дружно думаю о тебе". Лешина такая орфография, что он второпях пишет "думую". Рассеянно смотрю: итальянский оружейный каталог! У Леши страсть к ним, хотя никогда ничего ему не убить: вон птицу он выходил. В тревоге затаенной машинально перевожу заложенные и отчеркнутые строчки: "Диаметр ствола столько-то миллиметров... бьет на... Сардинский кинжал... рукоятка..." Беру в рот "jim- jim" и обжигаюсь им — это печенье, жгучее от перца. Когда была у нас в семье смерть, утрата, помню рассудительную родственницу, которая советовала: "Кладите больше сахара в чай — сладкое успокаивает нервы..." Сладкое — и смерть? Отчего вспомнила ее? Какое же горе у меня, утрата? Ах, когда же Леша вернется! Чтоб не думать, блуждаю глазами по Лешиной комнате. Нелепей его нет. На умывальнике целая кухня: просыпанная крупа — варил себе кашу. Или птицу кормил? И приведет с улицы всегда кого-нибудь в самой грязной блузе, дружит, возится с ним. И эти ружья... Все, все в святой раздельности уживается. На ночном столике Гофмана "Кот Мурр". У маленькой подушки загнут угол и вдавлен головой внутрь — точно гнездо — никто так не спит: кажется, увижу я это на краю света, в Испании какой-нибудь — сейчас узнаю, что здесь Леша лежал! Я села в ногах его кровати, вдруг обессилевшая, прижалась головой к железке убогой. Может быть, это самое родное место на всем свете. Други, братья милые, Прот и Гиацинт, вспомнила я повесть житийную: все вы только тени скрытого моего

* Нет *(ит.)*.

солнца. Все, кого любила, кого разлюбила, кого полюблю — не любовники, только братья, только попутчики. Нет боли, нет разлуки, нет встречи, нет обручения, впереди — одно солнце невидимое.

Ах, но тише, тайнее о любви.

Я вытянулась на Лешиной кровати, закинула руки за голову, скользнув ими по железной перекладине, качнула образок, так по-детски привязанный к изголовью. Какой? Матерь бы Божья над Лешей! Да, да. Матерь Божья надо мной. Я вытянула руки вдоль тела, закрыла глаза, затихла. Я в глухой сердцевине плода, где не зреет, не румянится плод — где зерна спят, где все уж есть. Я затихла. А когда открыла глаза, удивилась: стемнело в комнате быстрыми южными сумерками. Только стена напротив раскрытого окна чуть-чуть светилась отсветами. Я уснула у Леши в чердачной его комнате, высоко над городом, будто в люльке голубиной. И, закрыв опять глаза и повернувшись на бок, я вспомнила, что такое мне приснилось: жгучее — тревожащее — счастливое... Не поймала, не припомнила. Бродит в голове мысль, что вот-вот он ухватит только узкий путь, что, ах как легок подвиг, но какой подвиг — не знаю. Я же не умею молотом ломать старую свою жизнь, бурей идти, идя, разбрызгивать осколки. Я пройду — и все стоит будто недвижимо, но все опрозрачено, хрупко — все призрачно.

Как же мне подвиг найти? Как — узкий путь?

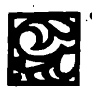
Я встала, подошла к окну раскрытому. Весь Рим в огнях вечерних — поздний, сладостный, сродный сердцу Рим. Что это? Глаза, должно быть, мокры от слез, что огни лучатся, сплываются, будто повивают город огненными лентами. Я вытерла глаза. Рим!

Последняя земля моя. Рим! Имя любви, имя жертвы красной. И вышла из комнаты, дверь прикрыла и по темной-темной лестнице стала спускаться.

ОТТУДА

(Из писем старого друга)

1930–1937



18/XII. 30. ...Ты, верно, почувствовала, как трудно было пережить эти суровые морозы (доходило до —24°), а мы без дров в нашем почти картонном домике. По утрам доходило в комнатах до нуля. Обогревались керосиновой лампой, а иногда занимали полено и разжигали кокс, но невозможно было растопить заледенелую печь. Как бы то ни было, пережили, преодолели... Мы все четверо в одной комнате. Как мечтать о большей просторности, когда отовсюду пишут о полной невозможности найти квартиру. Это безвыходный круг, который бедную Лизу доводит до грани невероятно мрачного состояния, богопокинутости, ничем не озаренности. И ведь так ужасно, что мы обе знаем, как мало нужно, чтобы восстановить душевное равновесие,— крохотную, отдельную комнатку — ей, уже столько лет прикованной к своему ложу, и некоторый культурный минимум человеческих условий, но и это малое недоступно!.. Как нести этот крест, на всех нас возложенный,— но так ясно, что куда-то мы должны его донести, и, когда хоть один из нас отстраняется, на других тяжесть ложится непомерней...

30/I.31. ...Последние дни у нас веселее, и горы снега тают. Так хочется и в комнате отдохнуть от холода, сбросить утомительное количество кофт и мыться, мыться... Это наша с Лизой мечта — обилие воды в теплой комнате, и какая недостижимая... Помни, что не нужно писать много. Не проходит недели, чтоб кто-нибудь из знакомых не совершал поездку на дачу Ж.* и иногда гостят там подолгу.

18/II.31. ...Ты тоже говоришь об этом, о все расширяющемся в беспредельности Космосе, о том, что “не только мыслить, но и жить привыкаешь в концепциях космических пространств и вневременности”. И что “это опустошает и уводит от Христа”. ...Да, да, ведь много лет назревает этот разрыв со всем прошлым, и как

* Дача Ж. — помещение Чека. — *Т. Ж.*

мучительно душа противилась этому уходу от всяческого духовного уюта, духовной защищенности, пока ее насильственно не вырвали, не обнажили жестоко корни и не стало ясно, что возврата нет... Знаешь, для нас все вы, тамошние, точно по ту сторону Стикса — во сне сливаетесь с умершими, но ведь и умершие (дорогие) так близки, так вездесущи; так и вы: точно не просто отделены пространством, как, напр., москвичи от нас, а как-то таинственно недоступнее и неотрывнее. Рукой ловишь, как милую тень...

20/IV.31. ...Страстная Суббота — не умею выразить тебе безмерную усталость и опустошенность свою... Когда придет пасхальная ночь, мы встретимся с тобой где-то в глубине усталых и уходящих душ.

5/VII.31. ...Хотелось бы еще много сказать по поводу прекрасных отрывков из Белого о Блоке: я считаю это самым значительным о Блоке, хотя Белый и судит его не изнутри его духа, а из своей антропософии, и потому ломая его. Все же они наиболее конгениальны и наиболее современники. Но Блок, его стихи так сами по себе прозрачны и проникновенны, что не нужно посредников. Все последние годы он для меня отодвинул всю поэзию. И какая странная судьба (и спасительная), что вся молодежь, лучшая у нас, растет, поклоняясь ему, самому мистическому поэту, хотя во всем другом она, эта молодежь, живет в грубом реализме. Конечно, руководители его не признают, но в то же время и отвергнуть его (как других) не решаются — о нем молчат... А Белый... Нет, я не хочу встречи с ним, и именно близость его к самому мне дорогому для меня кощунственна. Я тебе, кажется, писала о его волнующей автобиографической книге "На рубеже двух столетий", где о тех годах, около 1900 года, когда мы с Адей рождались духовно... Как верно, абсолютно верно говорит Б. о стиле Белого как юродстве... Книга его "Москва" мне глубоко отвратительна, хотя, как везде у него, и там есть гениальное. <...> Среди биографических книг у нас теперь самые интересные, так наз. montage*: составитель, не прибавляя от себя ни слова, приводит о событиях жизни данного писателя строчки из его дневников, из писем и воспоминаний близких или врагов. Все это дает впечатление большей подлинности, чем те vies romancées**, которые пишутся на Западе.

27/IX.31. ...Я все откладывала письмо тебе до прояснения наших материальных условий. У Бори задержка, и он только повторяет: "Продержитесь как-нибудь несколько дней, и я вышлю деньги". Так как везде уже занято и перезанято, то мы держимся

---

* Монтаж *(фр.)*.

** Романтизированные биографии *(фр.)*.

буквально только вашей посылкой. Я пью кофе с сахаром — единственно, что мне приятно и подкрепляет,— и едим рис. Трудно то, что мы потратили все Митины деньги, а теперь ему нужны башмаки и многое еще. Он сам совсем нездоров, но уже начал читать лекции на курсах и мне не помогает. Евгений с Колей устроились в К. Это новый, очень оригинальный город американского типа. Все-таки фантастична стройка нашей страны... Занятия у Лили в школе серьезнее, чем в К[исловодске], и уровень не ниже. От одной подруги она вчера принесла корзину книг — изд. Academia, самые изысканные у нас; мать безграмотная, живут в хате, а дети покупают такие издания (дорогие, иллюстрированные переводы Рабле, "1001 ночи", разные мемуары), но берегут наравне со старой "Нивой" и "Родиной"...

3/XI.31. ...Ты пишешь, что В. Н. ждет письма от Лизы. Она очень хочет ему написать, но так напугана, что не решается. Наша жизнь — это смена таких моментов обострения тревоги и притупления. По существу ничего не меняется, но становишься равнодушной, просто устаешь, какая мука! Если бы не бесконечная личная усталость, лишения, болезни, как не повторить за Тютчевым: "Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые". Получила письмо от Аниных мальчиков с их фотографией (que je n'ose pas t'envoyer)*. Митя посылает свои новые стихи, несовершенные, но значительные по мысли: как осмыслить прошлым будущее и обратно?

Чтоб явь прошедших лет могла глядеть в глаза
годами растущим,
Чтоб отшумевшей ночи мгла воспламеняла день
грядущий...

Правда, он внутренно растет, а Юрик восхищен своей новой студенческой жизнью (после нелюдимой работы в лаборатории), пишет, как они, выслушав одну лекцию, мчатся на другой конец города в другое здание слушать следующую, а им навстречу несутся другие студенты...

Еще хочу вернуться к В.— понимаю то, как он воспринимает картину общего кризиса, заката, но не вижу, каким путем он хочет вывести человечество? Если мы бессильны, все равно, мы должны знать, чего мы хотим. Мне кажется, тут он, такой радикальный в своем внутреннем, недостаточно радикален, смел, алмазен, недостаточно aut-aut**...

Думаю, что из усиления такого настроения два выхода: либо еще мрачнее смотреть на исторический процесс и всю работу Духа отнести к индивидуальной жизни, либо признать, что Дух

---

*Которое я не осмеливаюсь тебе послать *(фр.)*.

** Или-или *(лат.)*.

может открываться в общественном движении, в новых формах водительства, и тогда шире распахнуть душу, решительней отречься от буржуазной государственности.

16/IV. 32. ...К М-е вереницами тянутся его ученики и ученицы и в каком-то весеннем упоении хохочут и бегают по саду, как молодые советские фавны, а в лунные ночи, иногда прямо с курсов, уходят толпой в горы. Я не знакомлюсь со всей этой молодежью, но то, что мне слышится через окно, не так уж плохо — много естественности, простоты, бодрости, хотя уровень развития, конечно, невысокий, может быть, поэтому и бодрость. Такие они и должны быть, чтобы пережить, не сломиться. Сложность придет к следующим. Ведь все-таки значителен тот факт, сколько новых слоев выброшено на поверхность, точно лопата глубоко копнула и подняла темные глубинные пласты...

8/V.32. ...В Соне большой сдвиг, творчески молодой, и такая освобожденность от всех пут, которыми она раньше заковывала себя. И внутреннее ликование от дорого завоеванной свободы. Дорого, потому что она была на грани психического заболевания, когда были снесены все вехи, все точки опоры, все формулы омертвели, ни одна святыня не сохранилась. Видишь на всех путях эти бури, и не надо бояться изжить их до конца...

1/II.33. ...Опять была нездорова, на этот раз быстро прошла цикл своих немощей: астма, кровь горлом — наверное, вызвана недоеданием и переутомлением. Мы на грани de la famine*, но об этом не расскажешь... Два письма от Мити из Москвы, где он провел две недели каникул, полны восторженности. "Я вернулся совершенно упоенный стихами и поэтами. Самый важный, глубокий разговор был у меня с К. Это писатель-беллетрист (типа Зайцева), я избрал его своим духовником. Это изумительно симпатичный, добрый, ласковый и умный человек. Упоен изданиями московскими. Многие говорят, что в отношении издательства стихов и художественной литературы еще никогда не достигали такого изощрения, блеска. И есть люди, которые умеют ловить эти книги, собирают их, тратя на это неимоверную энергию, силы, деньги. И в московской тесноте, среди всех жизненных трудностей, в темных коридорчиках, в ванных комнатах — какие возникают библиотеки! Провел оживленный вечер с товарищами по университету — теперь инженеры, ихтиологи, архитекторы, имеющие семьи. Вечер с музыкой, стихами, красивыми женщинами, культурной молодежью, вином, закусками, цветами"...

Чувствуется, как им хорошо в К. с отцом[1]. День начинается и кончается жареньем картофеля, а днем сходятся в университет-

---

* Голод *(фр.)*.

ской столовой. Митя читает много лекций, переживает "Братьев Карамазовых", увлекается Гершензоном. Свое сочинение о Ритмах[2] отложил, чтобы пополнить знания по психологии. Юрику этой жизни, занятий в университете недостаточно, она не удовлетворяет его мистическим запросам. А Евгений пишет: "Меня в продолжение последних двух лет наполняла, с одной стороны, радость труда, которую я познал только на старости, и чтение, которое я так впитывал в себя, как редко раньше, и, наконец, собственные размышления, которым тоже отдавался со сладостью. С приездом Юрика я стал познавать счастье отцовства. Митя внес в нашу жизнь новые жизненные черты. Мои мысли sub specie aeternitatis* ушли куда-то, стало уютнее, шумнее, будничнее. Но как странно: Аня ушла, а я могу чувствовать себя почти счастливым. Конечно, это счастье очень непрочно, близки болезни, смерть, и мне страшно высказать: "Я счастлив",— чтоб не спугнуть судьбу. Но, помню, где-то я прочел, что Цицерон или Сенека считали старость самой счастливой порой жизни: Das stimmt**".

Правда, как хорошо и как радовалась бы Аня такому делу, совершенному ею и ее мальчиками... И, если со старостью многое утрачивается, зато приходит благостность, которая красит все. Кто-то сказал о "харитах старости", и я это очень чувствую...

<...> Я-то сама по-детски радуюсь каждому маленькому улучшению нашего быта (какой-нибудь вкусной еде, интересной книге и т. д.), но зато, когда плохо, умею как-то совсем отделить внутренний мир и не замутнять его, а внешние невзгоды просто внешне претерпевать. Вот так было несколько дней, когда ранние морозы застали нас врасплох — без дров и в комнатах стало +3°. Физически это трудно было переносить, но, так как я должна еще беречь себя после воспаления и, пользуясь временно приходящей прислугой, я сидела целые дни под шубой, столько удалось прочесть, пересмотреть старого, вдохновиться на новое... Все больше чувствую возможность непосредственно, в каждый миг приобщения самой глуби бытия, преодоления времени. Это все, конечно, на все лады говорят все мистики, но для себя всегда черпаешь в этом какое-то небывалое чувство новизны, и слов начинает не хватать, хотя ведь такими гениальными словами это бывало выражено. Само слово "мистика" раздражает, потому что это переживание кажется проще, существеннее, центральнее, чем что-нибудь, чему придано на человеческом языке специфическое название. Или злоупотребление этим словом отталкивает от него? Также неверно это называть религиозным переживанием,— и вот мне недостает слова, все охватывающего и выражающего внутреннюю тайную жизнь души.

8/III.33. ...У Лили в школе спещным темпом учатся, нагоняя все прежние годы. Хороший русский учитель, который их при-

---

* С точки зрения вечности *(лат.)*.

** Это верно *(нем.)*.

учил к внимательному чтению и точному изложению. Изучала Толстого, теперь Чехова, и я по вечерам читаю ей пьесы Чехова и вспоминаю настроения, связанные с ними чуть не 30 лет назад.

Мы сняли наконец квартиру, где у Лизы будет отдельная комнатка, но ее всю еще нужно отремонтировать. До сих пор это дело почти не подвинулось из-за невозможности достать стекла, замазку, гвозди — все сопряжено с огромными трудностями и затратой времени и сил.

У Лизы сильное обострение ее болезни. Буквально все мои часы уходят на нее, на варку и кормление ее. И при этом невозможно хотя бы на день получить поденщицу. Месяцами не мытый пол, и все в таком роде. Вечером же так мало керосину, что все мы ютимся вокруг крошечной лампочки. Пишу тебе все это как-то концами пальцев, не передавая всей горечи и тяжести, которые временами охватывают от такой жизни. Вообще во всех смыслах прохожу одну из самых трудных, пустынных полос моей жизни...

17/IV.33. ...Вчера был Светлый Праздник, и мы с Л[изой] говорили о том, что только у вас он облечен прежней значительностью. Здесь же помнишь о нем только как сквозь глубокий сон каждодневных забот. Означает ли это религиозную остылость, охлажденность? Не знаю, не думаю, только, конечно, идем сейчас совсем другим путем, темным коридором, в котором нет успокоительных обрядов и сроков. Умирает и воскресает в душе свет, не приуроченный к датам... Ты спрашиваешь, есть ли здесь церковь,— даже две, обновленческая большая и малая Тихоновская. Les prêtres*, периодически, sont arrêtés**. В праздничные дни толпы девушек в лентах идут в церковь, но это внешнее, конечно. Невежество, в смысле церковном, поразительное, и старухи уже слабо помнят, и их напоминающий голос, конечно, не слышен.

Читаю дневники Толстого молодых лет, которые печатаются сейчас. Вчера попалась фраза: “Влечение человека к счастью есть единственный путь к понятию тайн жизни”. Мне кажется, это верным, и, напр[имер], я вижу по Л[изе], что, когда она теряет совершенно мечту о радости, она вместе с тем отпадает от общей жизни, тонет в холодном одиночестве, уже на грани безумия и перестает понимать тайны жизни — через одно страдание нет к ним доступа.

27/V.33. ... Неделя, как я здесь[3], у С[они]. Живем в домике одной художницы, полном кустарных и старинных вещей. Маленькая библиотека рядом с нашей общей спальней, и с ее полок

* Священники *(фр.)*.
** Были остановлены *(фр.)*.

Соня приносит мне книги, разные, новые, которых от обилия и усталости еще не читаю... Так необычна для меня такая жизнь, и чувствую, что до глубины отдыхаю.

17/VI.33. ...Разные полосы сменяют друг друга — дни холода и дождя, когда я сидела безвыходно, наслаждаясь давно не испытанной работой за письменным столом в библиотеке, а потом мы упивались разговорами, созвучием и взаимным пониманием...

Затем настали летние дни — в саду щебет, жужжание, аромат сирени, лип зацветающих. С[оня] выносила мне лежачее кресло, и с толстой книгой Гундольфа[4] на коленях я отдавалась "einer Goethe-Kur"*, как она, смеясь, называет наше общее погружение в него, нахождение в его духе, так много нужного именно сейчас, в теперешний возраст жизни и духа нашего. Потом прогулки... Не могу сказать, как меня умиляет и ласкает эта природа моего детства... Бездумно ходить или творчески обдумывать что-нибудь так хорошо здесь.. А дальше лес, уж не такой, а чародейный — из лип, дубов, сосен, остро пахучий, с пронизанными солнцем полянками, с ландышами и вечером с оглушительным свистом соловьев. А возвращаемся домой — и все так же мы вдвоем, огражденные от суеты. Но не думай, что только идиллична жизнь наша — ведь это и ненужно, и невозможно теперь,— почта приносит письма о трудном, о трагических судьбах, и мы рассказываем такое друг другу и снова возвращаемся и "осмысливаем", что было, что есть.

После своего страшного "ледохода", как она называет, после внутренней болезненной ломки всего миросозерцания своего С[оня] стала свободней, шире и, открывшись всему тому, на что как бы был положен запрет, так радостно, молодо и свежо воспринимает все. Но, конечно, это не есть отказ от мудрости, годами взращенной,— только от всего entourage**, а ее условного, приторного. В ней то, что мне всегда близко: что новый опыт, новое знание не убивают свою противоположность, в которой раньше жила душа, а как-то возводят ее на новую ступень, возвеличивают, утверждают по-новому. Так для меня Кришнамурти[5] не убивает веры (хотя сам он так говорит против всяких вер и культов), а наоборот. Его слова мне как очистительный, освежительный ливень, а не как новый, связывающий догмат (как для многих). Мне дорого в Соне ее острое чувство России (в ней, всегда космополитке, точно прорвалась шедшая через мать ее струя еще от славянофилов), ее стихии, судьбы, и так странно, что она, всегда брезгливо морщившаяся на русскую новую литературу, теперь толкует мне и уговаривает меня принять даже Маяковского, который для меня уже как-то вне поля зрения моего. И в связи с

---

* Гете-терапия *(нем.)*.

** Окружение *(фр.)*.

этим так много материнства, простоты, заботливости стало. Приходят постоянно к ней разные бабы с говором подмосковным и, видимо, любят ее... В часы отдыха мы обе ложимся с романами современными переводными — ничего значительного, но все они капля за каплей рисуют такой безрадостный, поистине обреченный мир...

Нужно ехать отсюда. Митя бомбардирует меня письмами, прося приехать к ним. Я, вероятно, скоро поеду — так хочется видеть их всех и в их именно обстановке. Он так увлечен здешней природой, что пишет: "Мне кажется, я до сих пор не знал природы! Как будто только здесь я нашел родину, упился ее сладостью, никуда больше не хочу рваться". И недоуменно спрашивает: "А как же Крым? С[удак]? Разве может быть две родины?" На что я ему отвечаю, что, конечно, может, что вообще человек не моноидеичен, недаром же для него равно дороги поэзия и математика, что, утверждаясь в одном, этим самым и другое возводишь на ступень более высокую. Думаю, что для него погружение в русскую природу важно в том смысле, что она пробудит в нем до сих пор совсем дремлющую общественную струю, осознание себя частью национального целого. И как это обогатит его и его будущее творчество! Так хотелось бы передать тебе ощущение того, как, несмотря на трагизм многого, полной грудью дышит страна, растет, трещит, вся в движении, в несомненном создании своего будущего.

26/VI.33. ...В Москву меня привез прямо оттуда на автомобиле М. И.— несколько верст страшной грязи и выбоин, а потом гудронированное шоссе, по которому неслись среди подмосковных лесов.

Странно было въехать в Москву не поездом и вечером сразу увидеть так сильно изменившийся лик знакомой, старенькой Москвы. А сегодня ходила по Арбату, на котором больше нет ни одной церковки (помнишь — Никола Явленный, где Л. венчалась?), где выросли гиганты стеклянные дома; а Смоленский рынок больше не рынок, а огромная площадь со сквером, с объезжающими ее бесчисленными трамваями, автобусами и зданием колоссальным Торгсина.. У тети А.[А. М. Тидабель — *Т. Ж.*], где я остановилась, хлеб в достаточном количестве, так что непривычный для меня вид остающихся, никому не нужных корок. У С[они] хлеба было мало, зато всем остальным она кормила меня обильно и вкусно, особенно молочным — творог, сметана! Кузина М.[6] — сверстница Лили — высокая стройная девушка, приветливая, изменившаяся неузнаваемо из дикой, грубой девочки,— в противоположность Лиле не любит ученье, бросила его, зато ведет все хозяйство, стряпает, моет полы, шьет; искусница на все руки, спортсменка.

11/VII.33. ...Сижу в лесу, на даче у К.,— ели и березы... Девочки, поболтав со мной и похваставшись своими детками (оба

трехлетние, розовенькие, голенькие, упитанные), повели их спать, а Н. Б. в мою честь печет грандиозный пирог, и потому так приятно; все оставили меня в одиночестве. Отдыхаю после шумной, утомительной Москвы. На музеи не хватило ни сил, ни времени. Интересных, значительных разговоров ни с кем не вела, да и не вижу и не ищу таких людей — сама жизнь и изменения в ней вызывают много мыслей, и философских и самых последних... Бегло виделась с А. [Цветаевой. — *Т. Ж.*]. По сравнению с прошлым в ней много жизнерадостности, силы, здоровья. Может быть, играет в этом роль ее новая деятельность — преподавание в высшем учебном заведении[7], которому она отдается с увлечением. Час целый, вместо более интимных тем, говорила о новых творческих методах языкоучения. Это дело и общение с молодежью как-то включили ее в жизнь, другое стало звучание души.

Все больше прихожу к тому, что есть большее, чем наши религиозные или мистические мысли,— постижение, самое непосредственное переживание жизни, личной и сверхличной. И вот опять к Гете приходишь, который так глубоко, так полно это выразил... Еще один человек с неожиданными для меня умонастроениями — Л-в, он умирает от чахотки, температура месяцами 39°, лежит, горит, окружен книгами (тоже культ Гете) и вместо фанатического православия (как у него было, помнишь?) с большой, освобожденной высоты понимает, хоть не любя, но осмысливает совершающееся. Мне хотелось тебе сказать еще, что о церковках снесенных, заменившихся прекрасными садами-avenues*, открывающими неожиданно красивые виды в старой Москве, я не жалею,— у меня чувство, что, только умерев, семя прорастет и что оно такое семя, которое через поколение, через два-три даст совсем нежданное, неузнаваемое — из земли, из муки, из мечты о прошлом рожденное растение. Это будет жизнь, а жизнью это больше не было. Ты понимаешь меня, родная?

26/VII. 33. ...Вот и кончается шестой день моей жизни у мальчиков. Мы так интенсивно и творчески говорили, как никогда, и я чувствую, что я действительно нужна им... Как-то они донесли в новый век души, совсем близкие нам. Боюсь, что с ущербом для своей жизненной приспособленности. Митя чувствует себя безнадежно одиноким среди современников, а если сливается с ними, то в худшем. Впрочем, окружающая среда исключительно сера, между тем в Москве он знает много молодежи, самой культурной и с утонченными вкусами. Но среди них он был бы, пожалуй, слишком эмоционален и непосредствен.

В смысле здоровья оба они вполне благополучны. Питаются они достаточно. Масло и сахар у них есть, а в готовке им помогает заботливая старушка-хозяйка. Живут в типичной провин-

---

*Аллеи *(фр.)*.

циальной семье — добродушная мать, вечно кипящий в садике самовар, к которому радушно приглашают, малинник, дочери, разыгрывающие за стеной те пьесы, которых названия забылись, но которые звучат знакомо, как детский сон. Юрик, как всегда, высказывается трудно, косноязычно. Но и возмужавший, сохранил всю свою обаятельную мягкость. Он с горящими глазами выспрашивает меня, о чем мы разговаривали с С[оней]. Главная тема с ним — "диамат" — официальная философия СССР, которая развивается в очень гибкую, многовмещающую систему. Ю. с тонким и добрым юмором рассказывает о том, как понимается это большинством студентов. В своей специальности — медицине — он ищет учения о здоровом и духовном человеке. Я ему рассказываю о том, что ты пишешь по поводу нового способа лечения радиоэстезией. В нем нет внутренних противоречий, но, конечно, есть горькие моменты от самоосуждения и т. д. Митина внутренняя жизнь гораздо бурнее, противоречивей: антагонизм между "добром" и страстями художника. Он взволнованно повторяет незнакомые мне раньше слова Лермонтова:

Но угаси сей чудный пламень,—
Всесожигающий костер—
Преобрази мне сердце в камень,
Останови голодный взор.
От страшной жажды песнопенья
Пускай, Творец, освобожусь...

Но, конечно, чувствует он так только мигами, изнемогая под напором этого голода по красоте... Один вечер мы катались на лодке, далеко по вьющейся речке и, выезжая из города, проплывали мимо бесконечных купающихся тел местной молодежи — и как этот северный тип фабричных девушек говором на "о" не вдохновляющ,— с плоскими светлыми волосами и широкоскулых! Но как не радоваться тому, что тысячи и тысячи их проснулись для начала хотя бы культурной жизни и, как говорят все преподающие им, полны искренней, наивной жажды знания.

<...> Как интересны эти удивительные слова египетского гимна, который ты приводишь, что "обрядом и молитвой тебя не достичь",— но пойми дух печатающегося у нас — эта книга с описанием Египта совсем неприемлема у нас здесь для перевода. Хотя, знаешь, вышла та книга Jeans'a[8] о вселенной, но урезанная, конечно.

17/VIII.33. ...Пишу из вагона, где отдыхаю от сумасшедших утомительных дней в Москве. Мне жаль, что не могу послать тебе письма Мити. После моего отъезда он понял, что о самом важном (это все конфликт между страстью художника и "добром" Зосимы) он не говорил со мной, и решил хоть на два дня ехать ко мне. Но тут вспомнил один предостерегающий сон, о

котором рассказал мне, и вспомнил другие случаи мгновенной интуиции, которой не послушался, и решил на этот раз последовать ей. Но, чтобы разметать свое страстное желание, несмотря на дождь, на целые сутки ушел в "леса" и вернулся "отбушевавший" и с корзиной земляники. Видишь, какой он верный себе. Вот о молодежи современной: прежде всего я обратила внимание на поклонника кузины М.— сына значительного лица. Он оказывал нам с тетей разные услуги, при этом манера держать себя изысканная. На мой вопрос он нам наивно отвечал: "Мы все такие, и пересыпанный ругательствами стиль современных писателей — уже анахронизм". Вот мои наблюдения в трамвае — ничего похожего на толкотню 25-го, 26-го года: женщинам с детьми, старухам без просьбы сейчас уступают места. Сейчас со мной в отделении три молодых человека — кажется, малоинтеллигентные служащие,— и, хотя я не разговариваю с ними, все они оказывают мне услуги — приносят кипяток, втроем сидят на одной скамье, предоставив другую мне целиком, и т. д. Определенно чувствуется тяга к вежливости, и пусть это мелочи, и у других наций это даром дается,— здесь это важно, как внутренний импульс. И мне больно, когда ты говоришь о культуре du second fils de N.*,— такие суждения или злостно предубежденные, или легковесны, так как можно ли говорить о статике культуры там, где все im Werden **?! Вот школьные нравы: о бывшей распущенности ты знаешь, но вот три года Лиля в школе — и в городе, и в станице — ничего, кроме простого, товарищеского, корректного отношения между полами мы не замечали. И я всецело протестую против твоих слов: "Не лучше ли им ждать наступления настоящей культуры?" Культура должна вырабатываться из недр самой жизни, из новых форм хозяйства, быта, из неизбежного в мире пафоса энергетики — по этому поводу я бы тебе столько и бичующих, и будящих слов Гете привела — и ничего мне так не претит, как склеивание этих новых жизненных форм с чуждыми им идеологиями. Что касается опасения, что это будет культура торжествующего плоского материализма, то я настолько верю в духовную природу мира, что убеждена, что новые люди, пусть по-новому, но ее же услышат, ее же проводниками будут. Лишь бы была жизнь. И конечно, я вижу жизнь в радости учения, в радости общественных и спортивных состязаний, которая охватила тысячи и тысячи... Не знаю, поймешь ли ты меня, мое убеждение, что их учить не должно (даже если бы и можно было) или только так, как учат великие художники, но ни в коем случае не навязывать им идеологий прошлого.

А относительно наличия в Москве группы действительно культурной молодежи, вот пример: мне подарили два первых тома переводов Гете — кроме переводов Вяч. Иванова и немногих луч-

---

* Второго сына Ноя *(фр.)*.

** В становлении *(нем.)*.

ших старых, все они сделаны молодыми поэтами (700 стр. переведены впервые), и им принадлежат статьи и в высшей степени эрудитные примечания. Среди них Митя был просто талантливым невеждой! Книг выходит множество — иногда непонятно, для какого читателя: например, прекрасное издание Державина,— все непомерно дороги и все раскупаются в несколько дней. Я ничего не утверждаю,— я привожу только некоторые факты, а можем ли мы знать, какими выйдут те, которые теперь поступают в школу, какое они придадут лицо стране? Так теперь же неверно прикреплять к ней мертвые ярлыки... Теперь в каждом музее есть комнаты, обставленные мягкой мебелью, со столами, покрытыми книгами, и там осматривающие галереи с вопросами обступают молодых "искусствоведов". Любопытно было послушать вопросы и ответы. Не принимай моих слов сегодняшних за идеализацию, маниловщину — повторяю, что все проходят очень-очень жестокую школу.

Еще на твой вопрос о Юрике: конечно, он одинок духовно, несмотря на большую дружбу с Митей и восхищение им, — все же они очень различны — но пока не чувствует этого. Очень уж он благожелателен ко всем, самым элементарным. Мы живем в незавершенное, проблематическое время, и все слишком завершенное, ставящее точки, мертво и неверно.

29/XII.33. ...Ты не понимаешь, почему я так долго молчу, а я сама так мучаюсь этим молчанием, но в страшных переживаниях последних трех недель не могла найти сил для письма. Опять болезнь, обрушившаяся на несчастную нашу Лизу, неврит, и такое жестокое обострение во всех суставах, что она криком кричала, и мы с Лилей с невероятным трудом передвигали ей по сантиметрам руки, ноги,— сама же она ничем двинуть не могла. Острота болей понемногу проходит, но она лежит все таким же недвижным трупом, а смерть, о которой она молит, не идет и не придет... С тех пор, как она заболела (ведь мы одни, помощи, смены никакой, днем и ночью), живу как отуманенная от усталости. А перед этим начинался творческий период... Судьба упорно не хочет, не дает мне его!

Весна у С[они] с книгами и беседами, среди кустов цветущей сирени, кажется мне приснившимся сном. Все же и теперь в часы отдыха ложусь с книгой и как-то исключительно интенсивно воспринимаю все. Читая письма Гоголя и письма новооткрытых других наших больших людей, вникаю в трагедию искания последней своей правды. И как все давнее перекликается с сегодняшним, но тем больше чувствуешь стремительность его. Чаадаев говорил Пушкину: "Великий человек прежде всего должен быть посвящен в тайну своего времени",— именно в тайну его... Ах, все, что думается сейчас, испытывается алмазом смерти... Помнишь стих Ани: "Смертный час, как алмаз"... [9]

Не страдай за меня, верь, что все насквозь пропитано смыслом, который тем прозрачней, чем страдальней... Ей, значит, надо

еще дострадать, и мне донести тяжелую ношу. Не все ли равно, какая ноша, важно только, что идешь с нею. Конечно, бывает и томительно: хочется свободы <...>

3/.II.34. ...Острый период болезни прошел, но именно поэтому выдвинулась тысяча маленьких дел — растереть затекающие члены (два месяца лежит на спине), промыть глаза, полоскать рот и т. д.

Это время мне очень помогала Лиля, теперь кончились ее каникулы, и она, и днем, и вечером, в школе. Зато приходит всегда такая полная впечатлений, горячо делится, и нельзя не радоваться на дух школы, на отношения учителей. У нее же лично большая способность дружить, и отношения с самыми способными девочками скрашивают ее жизнь в этом глухом углу. У них у всех сейчас огромное тяготение к искусству, и ему здесь нет удовлетворения — ничего, кроме гитары, на которой они все играют. У всех мечта о Москве. Из маленьких радостей жизни я еще мечтаю привезти Лилю в Москву, поводить по музеям. Живет в абсолютном уединении. Ни одного знакомого, и все наше общение с миром — почта, которая приходит четыре раза в неделю...

Я же все как-то не могу дойти до последнего и так, должно быть, и умру на предпоследнем. Хотелось бы показать тебе, как перекликаются мысли самых давних с последними, революционирующими, все подрывающими разные ненужные твердыни. А читаю я больше старых, вот последнее время Шекспира, которого, в сущности, впервые почувствовала в его человеческой значительности... Чувство единства мировой жизни, благодаря которому нет вечера для отдельной души, потому что он так неощутимо, непосредственно переходит в утро для всего грядущего. Чем меньше у нас стало личного — больного или счастливого,— тем слышнее биение мирового пульса, везде, там, здесь и в самом глухом углу, нет одиночества, отъединенности. Осмысливать это стремительное развертывание жизни — этим мы, старые, можем участвовать в ней. Unser Kinderland*— помнишь слова, волновавшие нас? Часто-часто, читая в газетах о каком-нибудь научном открытии или встречая фразы, точно нами когда-то посеянные и теперь взошедшие на совсем чужом поле, я думаю о том, как бы мы, втроем, волнуясь, переживали их вместе <...>

21/IV.34. ...В. С. прав, что в грядущей, совсем новой культуре будут возможности, которых теперь нет, и те попытки новых любовных отношений, которые до сих пор всегда скатывались или в разврат, или в болезненный надрыв, осуществятся по совсем негаданному для нас. И тут дело, конечно, не в разрешении

---

* Наша страна детства *(нем.)*.

официальном, а в меняющейся психике. Чувствуешь ли ты, что мы действительно на пороге нового, что старое все домирает на наших глазах — все равно где — у вас, у нас... Всеми путями идем к никогда не бывшей общемировой культуре, и если в прошлом часто переход от одной национальной культуры к другой так много менял, то это, предстоящее, не может не потрясти весь человеческий уклад. Конечно, сроки очень проблематичны. В связи с этим я чувствую правду той волны культа науки, которая растет у меня на глазах. Потому что новые формы всегда связаны с верой в беспредельность возможностей разума. Помнишь ли, как мы в давнее время презирали "научность", и действительные открытия совершались не через нее, то есть не частные открытия, а раскрытие новой души. Есть отношение и отношение к науке. Тонус другой. Если теоретические открытия мечтаешь сейчас же перелить в практику, получается уже дух Федорова, а не кабинетных ученых. Меня иногда умиляет напряженный интерес к стратосфере у нас в глуши — вот уж вправду: "Что им Гекуба?" Но я понимаю, что это путь, один из путей, которым пробьются они, растущие, к своей правде, к частице вечной правды, которую капля за каплей зарабатывает человечество. Пойми меня верно, что это не идеализация, что не идиллию рисую я. Жизнь жестока и неумолима в своем поступательном движении. Отвечать не надо, но мне хотелось бы, чтобы ты каким-нибудь кивком показала — со мною ли ты в этих чувствах или нет?

20/V.34. ...Митя пишет, что за это время два раза был в Москве, главным образом для общения и борьбы духовной с Сережей [Спендиаровым. — *Т. Ж.*]. "Его критика,— пишет он,— совпала с каким-то кризисом, назревавшим во мне все последнее время. Неожиданно оформились с ужасающей ясностью все те сомнения, упреки, которые я полубессознательно ставил себе и которые ты мне иногда делала. В нем я столкнулся с огромной философией... Во всех его словах есть что-то органическое, связанное со всей его жизнью... В его речах преобладают слова, которыми так беден мой лексикон: "должно быть", "надо идти к" и т. п.— одним словом, такое горячее устремление в будущее, такая связь с деятельностью и устремлением вперед всего, что есть лучшего в человечестве и, в частности, у нас, что моя ужасающая оторванность от мира не может не быть уязвлена. Он видит во всем — или призывает — начало новой синтетической культуры, в которой не должно быть раздельности между искусством и наукой... Когда я начал рассказывать ему некоторые свои мысли, он обрушился на меня за безвкусную смесь "высокого идеализма" и "обнаженного механизма". Он горит одинаково разрушительным порывом и к тому и к другому..."

Ты немного поймешь из этой выписки. Митин внутренний кризис, который, конечно, я очень приветствую и надеюсь, что наконец он выкует в нем стержень — то, чего все не хватало у

него. Но пока он не видит себе пути, и тоска его так велика, что, как он пишет, когда ему случайно прищемили палец и он почувствовал острую боль, одновременно наступило огромное душевное облегчение — из этого он понял, как смертельна его тоска. И повторяет: "...наступила для меня великая эпоха сомнений во всем",— и продолжает страшиться духовной смерти. Специальность его друга Сережи — анатомия, и он в ней уже какие-то открытия делает, но сам-то он психически не уравновешенный и уже был болен (психастения) — и именно из этого вынес разные смелые психологические наблюдения. Митя пишет о последней книге Белого "Начало века", что он впервые почувствовал его в ней симпатичным. "Какая потрясающая простота вскрывается здесь в стиле его. И эта его огромная, вырастающая в символ, трогательная и творческая любовь к отцу! Самое изумительное в книге — смерть его".

По поводу смерти хочу поделиться впечатлениями последних дней. Умер школьный товарищ Лили, не близкий и вообще незамечательный, средний мальчик. Но то, как пережита была эта смерть всем классом, всей школой, так потрясающе показало то единение, ту связь каждого с целым, о которой в наше время только мечталось. И это совершенно спонтанно, без нажима сверху. Можно быть спокойным за страну, где так растут дети.

25/VIII.34. ...Живу у С[они], как в санатории[10]. Лежу в отдельной комнатке, гуляю. Вблизи лес, кустарники. С. приготовила мне разные актуальные книги, и спешу прочесть их. Сейчас кончаю предпоследний роман R. Rolland из серии L'âme enchantée*— это о современной женщине, пережившей все катастрофы, всю невероятно ускоренную линию наших дней. Я его не люблю как художника, совсем отрицаю даже, но эти его романы, волнующие и близкие, потому что, как никто, он созвучен интеллектуальным темам нашим. Сравниваю его в этом с другими французами — Giraudoux, J. Romain[11], которые больше отражают хаос послевоенный, а не творческую душу, пробивающуюся в нем. Этот роман называется "Провозвестница" — главная героиня в нем уже старая, как мы, а провозвестница эта — очень идеализированный тип. Другая книга — Эренбурга "День второй" — это одна из многих книг о грандиозных наших стройках. Не люблю его, то есть его внутренний дух, но есть интересное в его наблюдениях.

13/VIII.34. ...Евгения и Юру застала в спешных сборах, и вот два дня, как Е. уехал в свое новое место службы[12], и мы с Ю. вдвоем, и это дает возможность договориться до конца. Хотелось бы передать тебе живое впечатление от него, но это так трудно. Конечно, в нем много от Алеши Карамазова, но именно те чер-

---

* Очарованная душа *(фр.)*.

ты, которые подчеркивает Достоевский и которые забываются обычно: большая жизненность, трезвость, здоровье, уравновешенность, радость жизни. Загораясь, он горячо отстаивает современность, чуток, чуть-чуть насмешлив и сквозь все всегда в нем звучит внутренняя музыка его духа, его устремленности... И знаешь, ни с кем во все последние годы я не чувствую такого понимания меня с самого тонкого намека. И тонкая ласка его духа делает какими-то особенными, небывалыми в жизни эти дни вдвоем.

Если ты спросишь, во что он верит, к чему устремлен, мне очень трудно изложить это тебе, — это та совершенная полнота человечности, которая вмещает religions et sciences sociales* и пафос бесконечных возможностей человеческого духа. Его в этом смысле привлекает его будущая деятельность врача, и я надеюсь, что он будет пролагателем новых путей.

Прочла за эти дни разные новинки, между прочим "Начало века" Белого — это хроника лет 1900—1904. При каждой характеристике горячо говоришь: "Нет"— и все же чтение увлекательно, как пачка писем из нашей молодости. Но как метался духовно, бросался из стороны в сторону.

6/IX.34. ... А у В.[13] целые почти дни сидит Митя, который сейчас в поисках работы, угла, прописки и т. д. Легко падает духом. Он очень под влиянием Шпенглера[14], и его угнетает наступление "цивилизации на смену культуре". Видит всюду признаки ее, напр[имер], в сплошной сети электрических проводов (от троллейбусов, трамваев и т. п.) в некоторых местах М[осквы], как бы символически отделяющих землю от неба. Так хочется, чтоб он дохнул в лад с главным потоком мировым. Очень поддерживаю его, чтобы он добивался работы в Москве, хотя бы и пришлось поголодать: ему нужны сейчас стимулы, встречи. Он привел ко мне девушку, которая уже несколько месяцев ведет со мной переписку о Достоевском: безусловно умная, но слишком прежняя, точно она только что из салона Гиппиус.

Из встреч этих дней я вынесла самое обаятельное впечатление от последнего друга М. А., профессора химии,— женственна, нежна, глубоко, много страдала, до конца донесла ношу трудной любви, всю жизнь на ее руках умирали и терзали ее близкие. Говорят — выдающийся химик.

8/X.34. ...С дороги писала тебе длинно. Здесь застала все то же — точно возросшие материальные трудности, всякие неустройства... Трудно, после свободы, впрячься опять и медленной поступью, под ярмом, идти, идти, не останавливаясь... Но ведь это и есть задача жизни — чтобы ярмо стало легким! ...Важен сейчас вопрос о том, какой университет нужен Лиле, то есть какую про-

---

* Религии и общественные науки *(фр.)*.

фессию избрать ей. Учительство, все технические и агрономические специальности она отвергает, определенно выраженных способностей у нее нет, но вообще сама по себе научная работа ее увлекает, и думаю, что это ее будущее. Сейчас ее, как и тех, кто раньше кончал среднюю школу, больше всего увлекает литература. Теперь она с подругой по заданию учителя инсценирует один талантливый современный роман. А главным событием лета был для нее "Обрыв", который я с трудом достала в Москве, и "Анна Каренина". Сколько уж поколений, все так же волнуясь, проходит через это!

Меня сейчас занимает мысль о том, какой новый по форме и содержанию роман мог бы быть создан, если бы изобразить параллельные судьбы молодой России, разлученной,— здесь и там, у вас, скажем, двух друзей, разлученных лет в семь и теперь, как Митя, приближающихся к 25-летию. Но писать не так, как пишут у нас о вас и у вас о нас... Если бы писали его совместно две сестры, внутренне очень близкие, а теперь обогащенные таким различным опытом, как М[арина] и А[ся] [Цветаевы. — *Т. Ж.*].

8/II.35. ... Меня очень взволновала смерть твоей сестры и чудовищная покинутость ее... А сейчас потрясена потерей человека, которого, в сущности, я не знала. Это моя "заочная" подруга и корреспондентка ленинградская: вот уже пять-шесть лет, как она с такой верностью, настойчивостью, любовью пишет мне, не укоряя за мои часто многомесячные молчания, раскрывая себя всю... И вот получаю открытку, что она заболела воспалением легкого, с температурой выше 40°, и что, ввиду ослабления сердца, надежды на выздоровление нет... Я думала, что всякие раскаяния и самоукоры могут у меня относиться только к прошлому, что сейчас живешь в такой тесной необходимости, что делаешь то, что нельзя не делать, ни больше ни меньше, потому что сил не остается ни капли, и, значит, нет выбора и нет вины... А вот сейчас меня жжет эта не вполне отвеченная преданность...

Не я одна — все, все мы приходим к концу наших физических сил! Вот вчера письмо от Л. о том, какое наслаждение лечь вечером с грелкой, слушать радио, но это дается только ночью, а весь день суета через силу (она служит в театре). "Жизнь невообразимо интересна,— пишет она,— но сил, сил нет". Для таких многих радио теперь источник наслаждений. Соня, которая так требовательна к музыкальному исполнению, у себя на даче слушает любимую классическую музыку и новую и оценивает все тонкости дирижерства. Главное, что это единственное, что под силу нам,— лежать у себя на кровати и слушать.

Сегодня Митя прислал другое письмо, с уже удавшимся стихом. И мучится и блаженствует он в этой области, в то время как материальные, служебные дела его не двигаются с места! Вот

они трое живут теперь врозь. Евгений один в маленьком городке, заведует лабораторией. При свидании нашем он пугал, поражал меня молодостью духа, философскими и литературными интересами своими. Сейчас им всем трудно материально, но Юра только что получил стипендию, радуется и доволен общежитием, увлечен одним товарищем из крестьян, его прямотой, простотой, умением работать, разнообразием интересов.

Митя, после трех-четырех месяцев без работы, обносился, задолжал, так что, когда открылась возможность, перегрузился лекциями (высшей математики для высшего состава разных заводов) — все это по разным концам Москвы, часы уходят на трамваи,— кроме того, его без остатка захватил город с театрами и новыми художественными знакомыми... Скажи Д., что Dirac'a[15] я, конечно, не читала, да и не поняла бы. О нем читала в журнальных статьях у нас. В том же журнале ("Новый мир") увлекалась последнее время краеведческими очерками, особенно о головокружительной стройке в Средней Азии — совхозы вокруг Иссык-Куля — и т. д. А все эти маленькие народцы, впервые получающие свой алфавит и уже проявляющие интенсивное творчество! Дети, дети сотен народностей, дружески сближающиеся — какое это новое обещает будущее<...>

2/III.35. ... О Марии, совсем ослепшей, могу только сказать, что она бодра и светла, несмотря на материальные лишения и, в сущности, покинутость детьми. Живет в деревне под Ленинградом, где у нее много друзей, которые с охотой привозят, отвозят ее, передают с рук на руки, и она, проведя там неделю, наговорившись, подкормившись, возвращается в свою почти нетопленую хатку, где живет, не снимая валенок и шубы. Про Наташу она пишет, что та становится все лучше и проще. Дочка ее на двух службах, с восьми до двенадцати ночи, а весной ждет возвращения Гоги, который работает сейчас при 45° мороза и оказался очень дельным.

24/III.35. ... Единение не всегда в том, чтобы быть понятой, а и в том, чтобы самой понимать, вмещать большое разнообразие душ, путей. Наступающий чудесный век, когда рушатся всяческие твердыни и те слова, за которые наша В. как бы всегда была гонима,— человечность, свобода от всех традиций и т. д.,— эти слова живут теперь в душе стольких и стольких молодых. Уходя из жизни, В. может чувствовать, что она понятней и ближе им, чем предшествующему поколению. Лиля все повторяет: "Пусть, пусть она приедет — ей надо с нами, здесь жить". Многое, многое хотелось бы сказать тебе, да всегда какие-то запреты: время, бумага и другое.

Солнце уже совсем весеннее, хоть и мороз. Хочется выписать страницу из Митиного письма. Он поступил заочным студентом в Моск. университет на тот же математический факультет, кото-

рый кончил в Симферополе четыре года назад. "Наконец, я зачислен и получил первое задание. Теперь каждую свободную минуту я занимаюсь — и с каким наслаждением! Впервые в жизни я хочу начать учиться добросовестно, ибо я никогда не учился по-настоящему. Я абсолютный неуч, даже в области математики. В этом я убедился после разговора со студенткой-математичкой и когда стал читать книги, которые она посоветовала. Я только-только подготовлен к тому, чтобы понимать язык тех книг, которые штудируют все студенты. Подумай, что большинство читает даже французские математические книги! Впервые в жизни я чувствую, что вхожу в компанию людей, среди которых я не первый, да и не второй. Студенты восхищаются стройностью математики, как я, так же интересуются философией числа и учатся по призванию, а не для того, чтобы получить диплом. И кроме того, они также любят стихи и пишут стихи, не хуже меня во всяком случае. В заочном секторе сидит очень талантливый студент-консультант, который в то же время поэт и переводчик иностранной поэзии".

Привожу эту выдержку, потому что Митя до сих пор был крайне скептически настроен по отношению к современникам. Сам же он преподает разным техникам-рабочим и говорит об их энтузиазме. На днях получила от него целый ящик книг, который с волнением откупоривала,— несколько книг о Достоевском, его письма предсмертные, книгу Белого о Гоголе и разные случайные книги, которые он выпросил у знакомых. Очень он меня этим тронул. Это время и Юра был в Москве и подробно описал встречи и впечатления. Всего интересней ему были посещения музеев под руководством Н. М. [16] — она искусствовед и, говорят, очень симпатичная... Лизе бедной тоскливо это время без стихов и без чтения (из-за глаз). Читаем ей понемногу из Митиных книг очерки американца о современной Индии, а Лиля развлекает ее, читая вслух свои уроки — то биологию, то политическую экономию и др.

23/V.35. ...Я опять молчала долго — в такой torpeur*, душевной и безрадостной, что не хватало духу писать тебе. И не то чтобы физически я очень устала или плохо чувствовала, просто абсолютно обезвкусилась вся жизнь, и с отвращением думаю о предстоящем переезде. Внешне все неплохо — мне нравится моя новая комната — давно не было такой уютной, а главное, на версты мы окружены цветущими и благоухающими садами. Сейчас уже отцвели вишни, яблони, черемуха — только сирень еще душисто свисает во все наши окошечки,— все зелено и полно птиц. У нас, к счастью, очень хорошая девушка, приходящая по утрам, не по-обычному дисциплинированная и кроткая, и она избавляет меня от многой трудной работы. Даже и времени у

---

* Оцепенелось *(фр.)*.

меня теперь было много свободного, но мне не на что употребить это время, то есть не на что хорошее, и потому глушу свою тоску в шитье, штопке.

Экзамены Лили проходят очень легко, без напряжения и бессонных ночей. В этом году дан mot d'ordre*, чтобы дети в промежутках гуляли, занимались физкультурой, веселились, и действительно видишь такие радостные лица, все празднично, принаряжены, и в классах букеты цветов. Сегодня Лиля с двумя подругами весь день у нас в саду, и я им отправила туда пирог и молока... Месяц назад Мария поехала к сыну и внукам в далекую Азию. Ехала десять дней. Ее письма полны радости свидания с сыном, хотя она нашла его в страшной душевной мрачности, зато его жена, которая пять лет назад была груба, жестка, совсем неузнаваемо смягчилась, и они совсем по-новому сблизились.

20/VI.35. ... То, что ты нашла в семье В., лишний раз наводит меня на мысль, какое лишение, именно для растущих, юных,— не иметь родины, как неизбежно это приводит если не к трагедии, то к поверхностно-циническому отношению к жизни. Ведь подростку, юноше так трудно, минуя родину, связать свою судьбу с мировым целым! Вживаясь в жизнь нашей молодежи, я вижу, что мы в наше время, в сущности, тоже совсем не знали чувства родины во всем его пафосе и глубине. Сознавая всю ответственность этих слов, я могу сказать, что у нас теперь каждый из подрастающих видит в личном своем достижении, в полноте своих осуществленных сил вместе с тем служение родине. Ты помнишь, как этим облагораживаются все личные ambitions**, потому что каждую минуту они могут перейти в жертву во имя интересов целого. Только теперь понимаю, как была пустынна жизнь наша без этой здоровой связи с целым, таким конкретным, как родная страна (а не отвлеченный космос). Счастливые дети и юноши нашей страны! Вспомни, напр., обычное отношение прежних гимназистов к своей гимназии — и если бы ты видела теперь любовь каждого к своей школе.

Несомненно, что у человечества созревает совсем небывалое чувство коллектива, хотя в некоторых странах (Германии) оно выражается странно уродливо, но все же это оно же, та же передовая волна. И понятно, что страны наиболее благополучные (Франция, Англия) дольше будут упорствовать в старом индивидуализме. Нам же так близки и понятны слова A. Gide'a*** (на днях на конгрессе писателей) о том, что чем больше он коммунист, тем полнее осуществляет себя как индивидуалист. Обо всем этом трудно пишется, но ты должна знать, какое большое место в моей жизни занима-

* Приказ *(фр.)*.
** Амбиции *(фр.)*.
*** А. Жид.

ют эти мысли. С интересом жду, во что выльются аналогичные (и очень самостоятельные) переживания у Юры. В последнем письме пишет мне, что одно из его мечтаний — быть врачом (еще через два года) в детской колонии. При его обаятельности (его всюду и все полюбят) он многое сможет сделать. Но, вероятно, это будет жертва наукой и теоретической мыслью, к которой он тоже одарен.

6/VIII.35. ...Хотелось бы в университетский город, чтобы не расставаться с Лилей. Кончила на днях блестяще, потом танцевала до двух часов ночи, я смотрела с интересом на всю эту радостную молодежь. Очень дружный, сплоченный класс, и все мечтают о высшем образовании.

У нас сейчас очень хорошая помощница в домашней работе — une jeune nonne*, побывавшая на Соловках и вернувшаяся оттуда очень примиренная с властью. Очень ровная характером и даже веселая, несмотря на свою строго уставную религиозность. Конечно, осталась непримиримой в своих верованиях, но все время рассказывает с добродушием о порядках и как ее старицы открещивались, как от сатанинского наваждения, от насаждения чистоты, борьбы с насекомыми, от уроков грамоты, потому что это исходит от "них".

По поводу того, что ты мне приводишь об "этатизме", там и здесь — сходство внешнее, различие же — в биении жизненного пульса... Против "узкого натурализма" у нас идет борьба во всех областях. Я еще год назад заметила, что некоторые наши прославленные авторы, со своим нарочито ругательским стилем, звучат уже анахронизмом, а теперь на этот стиль поднято гонение со стороны очень авторитетных лиц; фонетическое воспроизведение мужицкой речи преследуется так, как преследовалась бы в художественной литературе передача речи армянина в духе армянских анекдотов. И этот поход, напр., борьба с жаргонными словечками, засоряющими речь, отразился уже в нашей глуши, в здешней школе. Все это важно не для настоящих писателей, которые сами найдут свой язык, а для масс, для поднятия культурного уровня. Это, конечно, все элементарно, но нужно помнить, что здесь сейчас школа миллионов — поднятая целина.

29/XII.35. ...У меня какая-то слабость после гриппа, поэтому почти не хозяйничаю, больше лежу около Лизы, и тихо говорим на предсмертные темы и вспоминаем всех любимых. Но не только прошлым — душа загорается и будущим, как это у Ани: "Расскажи мне, как будет, когда нас не станет",— как-то так. Живем абсолютно уединенно. Лиле помогаю заниматься литературой, немецким. По математике и физике ей изредка помогает специа-

---

* Молодая монашенка *(фр.)*.

лист. Такого сурового восемнадцатого года ни у кого из нас не было: она теперь больше меня возится с Лизой, состояние которой медленно, но неуклонно ухудшается,— потом занятия и больше ничего и никого!

11/I.36. ...Мальчики пишут призывающие письма. Митя прислал на билет свой первый литературный заработок за стихи. Увлекается переводами, главным образом Верлена, Бодлера. Многие очень хороши. В этом находит исход своим творческим устремлениям.

Я писала тебе о моей мечте о переводах. Сейчас хочу спросить у вас совета о каком-нибудь историческом романе, хотя бы и не новом, но у нас неизвестном. Сейчас велик интерес к ним.

23/I.36. ...Не надо поддаваться печали, надо помнить, что все изжитое возрождается в той или иной форме. Сколько у меня оказалось ненужного среди того, чем горела годами! Но, должно быть, оно не совсем "не нужно", но диалектически вошло в мое теперешнее глубокое признание, приветствование пути нашей страны<...>

Вчера перечитывала бесконечные листки твоих писем 25—28 годов, и стольким хотелось бы поделиться с тобой, сказать тебе, как ты была права в полемике, бывшей между нами тогда, когда я еще упорствовала в старых формах, а ты с мукой вынашивала свободу духовной жизни. Но так мало сказать это — вслед за этим хочется до конца углубленно раскрыть свое и призвать тебя к тому, чтобы и ты делила мои упования, чтобы в последние наши дни мы были вместе, были едины<...>

20/II.36. ...Задумывая писать воспоминания, я мысленно перебираю, как кто писал. Конечно, в центре моих воспоминаний буду не я, но вообще мне невозможно было писать, пока каким-то внезапным озарением личное не переплавилось во мне в сверхличное. Меня на это натолкнул Блок своими статьями. Переживаю сейчас мысленно необычайно творческое десятилетие, первое десятилетие века — символизм и т. д.,— и, чтобы оно осуществилось, сколько должно было расти в разных уголках страны таких выпавших из быта, как были мы с Аней. И если бы тогда не осуществилось это десятилетие, ему бы уже никогда не бывать — этой вспышке любви последней ко всему старому: "сосны Сарова" и т. д. Но не только "любви последней", а и запаса живой мудрости для дальнего полета... После того слишком широко распахнулись крылья и слишком стремителен стал полет к небывалому. Трудно передать, как захватывающе это подмечание нового и чуть не каждый день,— недаром оно вовлекает и таких старых, как R. Rolland, и таких утонченных, как Gide...

23/VI.36. ...Только сегодня приехала в Москву. Ехать было очень удобно, жел<езные> дор<оги> неузнаваемы и вместо обычных сорока восьми часов — тридцать шесть. Проведу дня три, а потом на неделю к Евгению и Юр<ику> для настоящего отдыха. Митю, к сожалению, нельзя мне будет увидеть, хотя он в Москве[17].

12/VII.36. ...Уже за пять дней, проведенных здесь, на даче, у Евгения[18], хорошо отдохнула, поправилась. Здесь хороший лес-заповедник. Лето необычайное для севера, совсем крымское. У них радушная, болтливая хозяйка-учительница и дочка, розовощекая студентка, и другую такую же молодежь наблюдаю и помогаю им всем заниматься по-немецки: убийственный выговор, но охота большая. Общий дух их радостный, но это и понятно — ведь они в большинстве как бы в волне восходящей... Главное для меня — это радость быть с Юриком и найти его совсем близким, не огрубевшим, не отчуждившимся духовно, а, наоборот, выросшим. Только не знаю, сумеет ли он проявить себя в жизни, уж очень он весь "вполголоса".

Чудный лес, в чаще которого переносишься в давнюю, нетронутую природу... По вечерам Евгений читает нам из военных мемуаров Lloyd George'a[19], или Пуанкаре[20], или из книги о Риме, которым особенно увлекается. Юрик совсем мало читает, и на книги его никак не заманишь. Но ведь это, конечно, не значит, чтобы он не жил умственной жизнью, общими интересами, но он всегда исходит или из своих медицинских дисциплин, или из явлений жизни. А я прочла с большим волнением последнюю книжку R. Rolland. Это из цикла "Lâme enchantée"* — история женщины новой. Дело не в том, художественна ли она, но в ней так много того, что пережито нами. По-русски она называется "Роды", но по существу это история многих смертей, и потому она особенно близка нам. Так много острого, подымающегося из самых недр души нахожу я в ней, в его семидесятилетнем опыте, который он с такой предсмертной жадностью стремился влить в эту книгу. И религия этой Annette — религия жизни, включая и смерть,— мне очень близка. Я знаю и многие возражения, которые она может вызвать, но мне всего дороже эта неугасимость священной жизни. И думаю, что для нашей страны это вернейшая дверь...

1/VIII.36. ...Сейчас получила твою открытку... Очень волнует все, что приводишь по поводу писем du vieil ami**. Возражений, конечно, не приводи, так как я сама знаю все недостатки романа, о котором идет речь, вижу в нем смешение талантливых задатков с грубейшими дефектами, но верю в молодого автора <...>

---

* "Очарованная душа" (*фр.*).

** От старого друга (*фр.*).

5/VIII.36. ...Теперь я на десять дней у старинной подруги С[21]. Здесь отдыхаю от жары московской, сплю в их тенистом саду, и много времени проводим в лесу. Купленную хатку они построили себе в уютный вместительный дом — по-старинному широкая и гостеприимная веранда, много приходящих гостей. К вчерашнему вечеру живущих в доме набралось одиннадцать человек, не считая массы приходящих гостей. Все же урывками бродили с Соней в березовой роще и говорили, а поверх этого многогранная, пестрая жизнь: молодежь, и взрослые, и старые, преимущественно те, кого кто-то остроумно назвал les nouveaux pauvres*, по-разному духовно преодолевающие это... Ты помнишь Аню? Я ее не видела более десяти лет. Она обрушилась на меня рассказами о своей жизни... Так тени прошлого вплетаются в сегодняшнее, и все, все так или иначе растут, преодолевают, перерастают самих себя... Из дому все тревожные вести, трудность добычи продуктов, безденежье...

31/VIII.36. ...Пишу из дому. Лизу я застала в ужасном состоянии. После того как Лиля уехала, напряжение упало: снова резкое ухудшение и боли такие, что невозможно поворачиваться иногда: "Что-нибудь, как-нибудь измени!.." То есть что-нибудь приподнять, передвинуть, и главное страдание от сознания, что последняя связь с Лилей оборвалась, что не сможет сама написать ей ни строчки... Лиле очень трудно в Москве, так как резко повышаются требования учебные, и она из провинциальной школы во многом отстала...

12/IX.36. ...Радостно читаю твои первые строки сюда и прямотаки упоена красотой и силой картины, нарисованной Мар[иной] Ив[ановной][22]. О, конечно, здесь не тепличность и не благополучие прошлого, а весь трагизм его, как бы символизированный глазами: два зарева... нет, два недуга... два солнца, два жерла и т. д. (замечательные стихи!). Такое острое чувство конца того мира дает она, и страшнее всего жуткий финал о "пожизненном заключении в самих себе". Как это верно для иных душ! И осознание этого — это высшее, скорбное достоинство ее, М. И. Ты не думай, что я разучилась слышать и читать эту ноту, если сама и живу в другом, если мне, как думаю и тебе, ближе слова: "Мне дано быть предутренней стражей"[23]... И как остро, зорко и пленительно умеет она писать,— чуточку портит излишеством "себя" и "себе", да еще неубедительны, музыкально в другом ключе, лермонтовские строки в заключении... Ну, да это пустяки. Перед таким искусством опускаются руки у меня. Но конечно, мне нужно просто забыть, что можно так писать, потому что мое задание бесконечно проще и скромнее. Я спешу наладить всю жизнь, чтобы устроить себе досуг — час или два в день — и продолжать начатое... Про себя же скажу, что мне нигде

* Новые бедные (фр.)

в другом месте сейчас не хотелось бы быть — у меня чувство, что здесь мое какое-то еще не доделанное дело и что она, несмотря на свою малость и незаметность (уходы за одним страдающим и абсолютно беспомощным человеком и связывание между собой семьи) — живое и несущее меня в самом потоке жизни, Жизни с большой буквы. Всякая другая форма существования обрекла бы меня на то, чтобы быть только сторонним созерцателем или снижало бы мою свободу, если бы я служила, хотя бы в литературе. Вот поймешь ли меня, что, когда у Евгения я перевела ему несколько глав, я сразу увлеклась необыкновенной легкостью и приятностью этого труда и в то же время почувствовала бесполезность его для себя, как одностороннее, интеллектуальное. Вероятно, в другие времена это не так, но теперь, чтобы чувствовать себя в реке жизни, должно быть, нужен труд, охватывающий всего человека. Согласишься ли со мною? Может быть, это потому, что вообще ключ к нашей эпохе (или один из ключей) — проблема труда в смысле библейском, "в поте лица своего"... И еще больше проблема снятия этого проклятия. Вот почему мои упования здесь, у нас. Только не думай, что, возвышая труд, я снижаю творчество — конечно, нет,— чту и ценю его в его свободе! Вот я не писала тебе, что среди московских впечатлений было вживание в одно большое творчество и странные отношения одни. Недавно изданный том переписки Чайковского с м-м Мекк[24] я возила с собой из дома в дом и, ночуя у друзей, на ночь прочитывала по нескольку писем, так как должна была вернуть книгу... У меня теперь такое чувство, что среди друзей — старинных — новых — оставленных там — и он, Чайковский, живой. Мне интересно еще и то, что он в этой безысходной тоске, по-моему, гениальный выразитель русских 80—90-х годов и их духовного обнищания (в литературе никого не было — Чехов слишком мелок). Помнишь нищету этого времени?

Я только теперь в воспоминаниях своих осознала это, ведь это было наше детство, юность — чуткая к духовным волнам, а тогда радость могла быть только на пути революционерства, но это был не наш путь. Вот отсюда и сложность пути нашего с Аней, который нужно еще успеть распутать и "встретить на том берегу — не в смысле потустороннего, а в этой жизни,— все самое молодое".

Юра и Лиля очень потрясены смертью кузины, девятнадцатилетней, жизнерадостной, счастливой. Год назад они были на ее свадьбе, а теперь на погребении... Юра пишет, что эта смерть усилила в нем мысль: "Надо быть готовым... даже спите чутко. Теперь, в такие минуты, как с вершины горы, пути идут во все стороны"... Мы с Лилей всегда кончаем письма шахтерским словом перед спуском в шахту: Gluck auf*. Обращаю его и к тебе.

* Счастливо (*нем.*).

17/X. 36. ...Едва получив твое письмо[25], рвусь ответить тебе, но ты понимаешь, как мне это трудно во всех смыслах. И именно потому, что такой "разговор" с человеком, так чутко и благожелательно прислушивающимся к "нам",— необычайная и волнующая меня вещь. Это точно бледное, раннее предварение той встречи, которая будет,— верю в это (в этом, между прочим, вижу смысл эмиграции). То, что расслышана нота "доверия к миру", антииронечности, которую я, не находя этих слов, именно и хотела передать, то, что я встречаю хотя бы некоторое признание за нами нового "чувства связи со всеми и со всем" (чувства действительно полярного индивидуализму и избавляющего от него),— вот это самое для меня вдохновительное в твоем письме.

Мне приятна была лукавая улыбка по поводу "родины",— завтра рождественская елка, потом вежливость, прославление многочадия, Пушкин — открытие следует за открытием, вызывая очередной восторг. До вас доходит только газетная трещотка, и вы, конечно, воспринимаете это анекдотично. Я же вижу совсем другое — как по чьему-то изволению молодая человеческая поросль получает именно те питательные соки, те соли, которых ей недоставало и которые поэтому мгновенно всасываются. Будто присутствуешь в гигантской природной лаборатории, наводящей на размышление: есть ли тут сознательный, мудрый план или, что вернее, таинственная currespondanoe* между потребностью и откликом на нее? Думаю, что в этом процессе обе стороны учатся, обе растут.

Многого мне хотелось бы коснуться в твоем письме, но главное, чем больше непредвзятости я встречаю, тем с большей непредвзятостью хочется мне передать свои наблюдения, догадки. Вот на замечание "там по-прежнему идут нескончаемые разговоры о самом важном, и в этом смысле ничего не изменилось" — я должна сказать: нет, изменилось. Такие разговоры "русских мальчиков" не часты и как-то стали провинциальны, дух творчества не в них. О, конечно, и не у "ребят"! В быту молодежь вот какая: в это лето на моих глазах компания студентов и студенток отправилась в недельную пешую экскурсию в Московской области. С ними был велосипед, на котором они везли патефон и на каждом привале в поле, среди сенокоса, заводили его и плясали, а девушки, убиравшие сено, присоединялись к ним. Правда, какая не русская идиллия! И на наш вопрос, были ли у них отвлеченные споры,— мой племянник смущенно отвечал: никаких. Можно ли себе представить такую прогулку прежнего студенчества! Провожу вечер в другом, более интеллигентном обществе: долгие споры о расщеплении атома, в другой группе — о театральных студиях, потом вино и опять танцы.

Вот ты меня укоряешь, что я никогда не пишу о современной литературе,— это потому, что она мне мало интересна,— как, впрочем, мало интересны были бы не гениальные, не вершинные книги любой другой эпохи. Так неважно, удается ли уже сейчас что-то новое советским беллетристам или нет, а важно, удается ли оно в

жизни. Но конечно, одно от другого не изолировано, и вот в этом смысле я ловлю и в литературе кое-какие намечающиеся сдвиги, черты будущего человека. Сейчас мне некогда припоминать, где и что я находила. И даже скажу, что заметней этот новый тип в кино и в театре, потому что здесь дело в более коренном, чем миросозерцание,— в новом психофизическом облике. Как это ни странно, но действительно нарождается новый физический тип, вовсе не похожий на прежнего русского немного расхлябанного юношу,— по-необычному суровый, мужественный, изысканно вежливый. В фильме он целомудренно-страстно склоняется к любимой — и потом сейчас же улетает (он, конечно, летчик или что-нибудь вроде). Он мало говорит, к счастью,— ему пришлось бы говорить лозунгами. Скоро ему придется действовать, а не говорить, и от этого зависит многое в мире, не только в нашем. Ведь и всюду кругом ему противостоит не идеалист и т. д., а точь-в-точь такой же "летчик" с новыми расовыми признаками (барьер и разность режимов не имеют значения).

Тебе покажутся фантазерством мои слова? Но ведь в прошлом человечества создавались же новые расы — вероятно, тысячелетием отстаивались в условиях определенного климата и т. д. Теперь дело пойдет иначе. Машины и техника вызывают новые черты; кино, театр, скульптура, опережая их появление, тысячекратно проводят их перед глазами беременной женщины и того, кто сам тоже воск, из которого новая форма должна быть отлита. А физкультура, спорт, сейчас — закал Пушкиным — и какой! Может быть, и смысл танца отчасти в том, что вытанцовывают себе новое тело. Но если везде он появится, этот намечающийся тип, то только у нас он пронизан теми свойствами, о которых мы говорили раньше,— доверием к жизни (до сумасбродства, до безумия) и чувством связи всечеловеческой. И мне думается, что этих двух сил достаточно, чтобы заново построить культуру, то есть осуществить новый этап ее. Мне самой порой unheimlich* от него,— да вообще может ли быть не unheimlich в современном мире, если глубоко заглянуть? Я заговорила об этом потому, что мысли о "здесь" и "там" в конце концов неизбежно упираются сюда. И мне кажется, что оптимизму, связанному с надеждой сохранения, сбережения чего-то, нет больше места, что он должен быть до конца расшатан, если мы хотим понять сущность процесса. Я знаю, что мое поле наблюдения односторонне, узко и что нужны поправки,— но, по совести, разве я не права?

22/XI.36. ...Сегодня получила твое письмо и сейчас же рвусь ответить. Поэтому пока так сразу не могу ответить на твою большую тему. Скажу только, что во многом твои чувства мне близки, но постараюсь следующий раз ответить тебе подробней. Твои упреки за прошлые

* Тревожно (*нем.*).

декадентские грехи принимаю целиком, но не согласна их распространять на теперешнее мое миросозерцание. И еще ближе к сердцу принимаю укор в маньеризме, потому что сама знаю его за собой и не очень успешно борюсь с ним. По поводу понятия жизни, о котором ты говоришь, что оно неопределенно, я сама знаю, как трудно его словом определить, но зато в процессе жизни с какой несомненностью чувствуешь, живешь ли ты в живом контакте с жизнью народа, природы, космоса, великого целого или нет. Очень сочувствую тебе в твоих переживаниях с Федей при переводе его из английской школы в парижскую. Я как раз прочла роман Жида "Фальшивомонетчики", где исключительно о мальчиках 16—17 лет в парижских школах. Интересно, но он сам не может определить к до- или послевоенному времени это относится. Потом у нас вышли очень интересные записки о народной Лотаргинской школе, передовой, где мальчики и девочки. Там только что кончила дочь Эренбурга и написала их. Лиля и ее подруги упивались ими...

От Мити по-прежнему только письма. Отец, будучи в Москве, видел его и пишет, что нашел его в очень хорошем состоянии, в смысле здоровья и бодрости. Больше всего говорит о своей любви к Анне (жене)[26] и сказал, что у него разные литературные замыслы. Лиля еще не в институте, а проходит 10-й класс, которого не было в станице,— и еще год она пропустила. Ей было обидно делаться школьницей, а потом оказалось, что московские школы настолько выше провинциальных, что она по математикам чуть не последняя. Все это ее очень удручало, но теперь понемногу все улучшается. Увлечена очень серьезными занятиями по литературе (подробно пишет мне, и я вижу, что действительно хорошо поставлено), и на немецких уроках — немецкая литература. Живет у тети, деля с ней комнату в тихой собственной квартире из трех комнат,— редкое условие в Москве! Пишет нам часто и так доверчиво, что это и ей помогает в ее трудностях, и нам скрашивает разлуку. Юра по-прежнему в К. на медицинском факультете, но тяготится, хотел бы перейти в Москву, но это очень трудно. Был очень худ, когда приехал летом, и хотя вполне здоров, но чувствовал утомленность от недостаточного питания. Почему-то все другие студенты казались мне такими упитанными по сравнению с ним. Очень жалею, что ваш Федя[27] не в Англии. Франция сейчас как-то очень бесперспективна. И понимаю твое огорчение из-за односторонне технической учебы.

13/XII.36. ...Две недели назад мне написали, что моя приятельница попала под автобус и искалечена навсегда. Я была потрясена, спрашивала о подробностях, но малодушно не писала ей самой и вот вчера получила от нее письмо, которое меня поразило своим мужеством и простотой. С несчастья прошло шесть недель, и она пишет, что ни разу не впадала в уныние, что полна творческих сил и что это "не так страшно". А ей нет тридцати лет, она красива, здорова, страстно любила бродить в природе. Я узнала, что союз художников горячо вошел в ее положение, поддерживает материально и в будущем постановил создать все нуж-

ные условия для ее работы... Но, конечно, дело совсем не в этом, а в том, что она, по ее словам, "не чувствует себя выброшенной из жизни". И вот над ее письмом я вспомнила твой вопрос, как я понимаю доверие к жизни, и к какой жизни, и не есть ли это у нас тот же американизм? Но ведь американизм, как мы его понимаем, ценит превыше всего материальные блага, а у моей Раи[28] не то,— просто в ней так реально чувство жизни как поля бесконечного и разнообразнейшего творчества, что помогло ей переступить через личную катастрофу. Конечно, моя необыкновенная Рая могла бы быть в любой стране, но мне кажется, что нигде так не облегчен выход из "пожизненного заточения в себе самом", как у нас. При этом Рая индивидуалистка в своем творчестве и, как сама говорила мне, совершенно не умеет работать скопом.

Так хотелось бы мне полнее ответить тебе на мучащие тебя и такие близкие мне вопросы. Во всяком случае, будь уверена, что я целиком разделяю твою веру, что этот "горестный и т. д. мир пронизывается лучами" и т. д. И настолько сильна во мне уверенность в духовной ценности мирового процесса, что если бы какая-нибудь часть человечества выпала из него, охладела бы сердцем, в моих глазах это было бы приговором ей, этой части человечества, указанием на близко грозящее ей вырождение, смерть, а никак не свидетельством того, что потух или тухнет сам этот смысл человеческой жизни. Прости за крайнюю неуклюжесть формулировки. И если бы так было с моей страной, тогда я только бы стала пристальней вглядываться, искать признаков: где же дух дышит? Потому что в духе-то у меня сомнений нет. Но вопрос и разногласие может быть в понимании этого "дыхания духа". Я думаю, мы с тобой согласимся, что словесное исповедание еще не означает, что здесь "дышит". Вспомни, как в нашей молодости мы без колебания признали, что именно через восстающего против всякой морали Ницше лежит путь к новой, творческой морали, несмотря на все ханжеские вопли против него,— помнишь ли их? И таких явлений, как Ницше, было много, и это вовсе не означает метания, или моды, или слепого подчинения, а вернее, чутье к ведущему, к тому, что, несмотря на свою парадоксальность, уготовляет приход более высоких форм жизни. И вот я глубоко уверена, что путь к этим более высоким формам лежит сейчас через нас. Я не люблю прокламировать это свое убеждение, да и знаю, что оно никого не убедит. Поэтому мне всегда хочется только показывать конкретные черты, улавливаемые мною, чтобы ты судила сама. Если бы я могла, я беспристрастно показала бы и дурное, и хорошее. Вот я узнала о новой книге Gide "Retour de I 'U.R.S.S."* — по-видимому, там много насмешек, часто метких (напр., о "комплексе превосходства", которым заражены у нас все). Он как бы отводит душу после тех неумеренно и ненужно восторженных отзывов, которые он здесь обо всем раздавал направо и налево. Конечно, это было длительным насилием над его тонким и

* Жид. "Возвращение из СССР" (*фр.*).

ироническим умом; и реакция должна была наступить. Это мне напоминает Белого, который в жизни неизбежно завтра оплевывал то, перед чем преклонялся вчера. Я не знаю книги Gide, потому могу ошибаться, но предполагаю, что, несмотря на остроту наблюдений, он подмечал не то, что единственно интересно у нас, а именно, что из всего этого произрастет, куда все движется, в какое завтра? Вот, напр., по-моему, интересно наблюдать, как жизнь в своей текучести воздействует на идеологию, а та в свою очередь — на жизнь. Приведу пример. На днях глава комиссии по делам искусства (нечто вроде министра искусств) написал статью, осуждающую пьесу[29], в которой Дем. Бедный пародирует былинный эпос, изображает богатырей пьяницами, трусами, а героями — разбойников. Пьеса снята со сцены Камерного театра и осуждена ex-cathedra*. В статье говорится: "Так показывать героев народного эпоса — значит клеветать на русский народ, на его историческое прошлое... Образы богатырей выявляют думы и чаяния народа. Они в течение веков живут в народе именно потому, что олицетворяют героическую борьбу народа против иноземных нашествий, народную удаль, смекалку, храбрость, великодушие и т. д.». Я совершенно уверена, что главный источник этого выступления — всеобщее у нас восхищение нашими пограничниками, уважение к тем, кто сейчас держит заставы богатырские. Этому чувству претит глумление над богатырскими подвигами в прошлом. Также известную роль в этом играет и культ национальных эпосов различных народностей — узбеков и др. И радостное волнение охватывает меня, когда подумаю, что теперь 27 миллионов (кажется, не перевираю цифры) школьников услышит совсем не те слова, что слышали те, которые кончают теперь, что они смогут связать концы с концами и, любя современность, любить и чтить героическое в прошлом. Но мне все кажется, что я все говорю напрасно, что я не могу вызвать понимания, что в ответ мне только иронически пожмут плечами и скажут: не стоило искажать элементарные истины, чтобы потом торжественно их восстанавливать. Нет, стоило. Такое непонимание, такое подхождение с готовыми штампами к явлениям жизни, текучим и новым, я чувствую, напр., в снисходительно-поощрительных словах Ф. С.: "Ну пусть миллионы удовлетворяются квартирами с проведенной водой, но есть же какие-нибудь тысячи и т. д.", — привожу по памяти. Ох уж эти "oberste 10 'Tausend"** с их высшими потребностями. И почему это безнадежно моралистическое какое-то противопоставление благ материальных благам духовным? Точно народ (как и индивидуум) в свое самое молодое и творческое время (напр., созидая свое национальное лицо) не добивается одновременно того и другого? Как не расслышать в восхвалении изобилия, в выкрикивании головокружительных цифр сбора свеклы, выплавки чугу-

* Авторитетно (*лат.*).

** "Высшие 10 тысяч"(*нем.*). Я, конечно, понимаю, что он имеет в виду не прежние 10 тысяч. (*Примеч. авт.*).

на — вовсе не погружение в личное благополучие, а какой-то новый расцвет эпики: эти цифры играют ту же роль, что в былинах: направо махнул — 40 тысяч голов снес, налево — 40 тысяч... Там — поэтическая правда, здесь — фактическая, но для каждого из нас в отдельности — тоже больше поэтическая. Я не знаю, можно ли за рубежом понять, что эта самая квартира с водопроводом имеет совсем другое звучание, если ее приобретает в результате долгой экономии, лишений какой-нибудь западный честный труженик, сознающий, что он всем обязан себе, или же, как у нас, ее получит в дар от страны? Вся советская экономика — это какой-то бешеный обмен дарами — я, захлебываясь, шлю Москве свой труд, перенапряжение труда, может быть, наживая болезни сердца, Москва мне в ответ шлет школы, электростанции, озеленение пустынь. Все — и труд, и материальные блага — приобретают другую ценность — и очень русскую,— когда это дары. Думаю, что те, кто теоретически представлял себе скучность социализма, не могли предвидеть такой насквозь эмоциональной экономики! Конечно, расцветает кое-где мещанская пошлость: в газетах появлялись упоенные заметки о том, что стахановец, придя в магазин, сразу купил себе три пары шелковых кальсон и в таком роде еще, но, очевидно по чьему-то кивку, эти сообщения стыдливо нырнули на дно газетных волн. А в быту коррективом являются частушки, которые мгновенно возникают и хлестко осмеивают обладателей всех этих роскошей. И особенность русского мещанства в том, что осмеяние его идет не из другого, а из этого же слоя... Сознаюсь, что мне тоже, как вино, бросается в голову цифра — 27 миллионов школьников, и, безусловно, счастливых школьников,— ведь в скольких-нибудь из них проявятся же гениальные задатки! Тебе лично мне хочется еще сказать в ответ на слова: “Неужели все уже разрешено и остается только действовать?” — что, по-моему, нет этой дилеммы — или действовать, или решать вопрос,— и что всякое новое действие рождает новую проблему. И еще хочу привести близкие мне слова Гете: “Для меня убеждение в вечной жизни истекает из понятия деятельности; если я без отдыха работаю до конца, то природа обязана даровать мне другую форму существования, когда нынешняя моя форма уже не в силах удерживать мой дух”.

Я не хочу от тебя возражений на то, что наговорила сейчас, но мне очень хотелось бы, чтобы ты или В. в ответ привели мне какие-нибудь факты (not in religion)*, какие-нибудь явления, которые намечали бы какие-то творческие в духовной и общественной жизни сдвиги,— ведь я могу их не знать,— а как жить без таких ростков, к которым можно прицепить свои упования, я не понимаю.

7/I.37. ...Получила твое грустное письмо и все не могу ответить, потому что устала это время бесконечно от Лизиного

* Не в религии (*англ.*).

страдания и долгого безденежья. А вот вчера твоя открытка, столько поднявшая во мне. Как я благодарна тебе за твою грустную французскую фразу: "et la nuit est longue"*... Как мне понятна роль этих настроений, но еще больше хочется передать тебе то освобождение, которое пережила я. Вместо сознания недостаточности своего мы должны, наоборот, чувствовать, что ведущая линия развития духа все больше направляется в сторону единения, братства, к поднятию достоинства человека, независимо от наличия или нет мистических даров у него. А путей столько и обителей столько.

Еще Лиза поручает сказать тебе, что и ей очень близки слова твои и тоже ею пережиты за последние годы болезни. И теперь она все больше убеждается в том, что нужно до конца выбросить, оторвать от себя все старые понятия. Но и то, как ты сейчас определяешь свою точку, тоже, может быть, неверно, и возможен совсем новый выход, не менее значительный и глубокий, и что она сама очень тяжело переживала и переживает эту перестройку.

Читаю в это время письма и разные материалы о Жорж Занд. Как-то случилось, что я ничего не знала о ее детстве, о мучивших ее страсти и ревности бабушки и матери. Сравнивая с нашей жизнью, думаю, как богато ее детство впечатлениями сверхличными, общественными, религиозными: наполеоновские войны, жизнь в монастыре, а после — романтизм 30-х годов — это было не то, что наш символизм, уводящий от жизни, тот романтизм был жизненным, революционным. А после она еще так загорелась сен-симонизмом... Если б была возможность тратить время на неспешные разговоры о прошлом, так ко многому, не договоренному в молодости, хотела бы я вернуться, но ты права, "время близко", и нужно быть устремленной, натянутой как струна. Впрочем, такие возвраты, как к Ж. Занд, имеют для меня непосредственное отношение к моей теме, связующей прошлое и будущее.

В ответ на приводимые тобою гадания о нашей молодежи — "может быть, эти юноши и пишут книги... или говорят за четырьмя стенами в кругу близких друзей... Мы уверены, что эта сдержанная, недоступная слову духовность нагнетается и т. д.",— полные доброжелательности и чуткости слова,— мне все же хочется — в который раз! — указать на разность нашего опыта. Конечно, сказавший эти слова не хуже меня знает, что духовность не есть горение или писание на духовные темы, но по условиям своей жизни склонен забывать об этом. Нам же забывать этого не приходится. Думаю, наши юноши и девушки наибольшую духовность проявляют в моменты жизненных решений, иногда по необходимости внезапных, вообще в поступках, в выработке некой равнодействующей, то есть отнюдь не "за четырьмя стенами". Поэтому литературных, интересных теорий у нас сейчас не время искать.

---

* И ночь длинна (*фр.*).

Может быть, зато встретишь интересные характеры. И ты не поняла меня: только в связи с этим я сказала, что бесконечность разговоров в стиле Достоевского, не обязывающих ни к каким действиям, у нас услышишь нечасто, и, вероятно, не самые духовно-творческие ведут их. Говоря это, я ничуть не хочу умалить ни Достоевского, ни эти разговоры,— я только указываю на факты.

9/I.37. ...Ты всегда интересуешься письмами моей молодежи. Юрины письма отражают все его студенческие увлечения. "Ты, наверное, слышала, — пишет он, — о докладе Сперанского? Мне хочется сравнить его с Энштейном в невропатологии. Но это, конечно, не конец волны, которая надвигается и перекатывает, как гальку, все основы науки,— это лишь преддверие ее..."

В конце письма, покаявшись, что в литературе ничего не прочел, прибавляет: "Нельзя не думать постоянно об Испании..."

Лиля описывает своих новых приятельниц ее возраста — восемнадцати-девятнадцати лет. Одна — студентка архитектуры, другая — на курсах языков, две из них пишут стихи, любят Блока. "Вчера я просидела часа два у Наташи. Она из кожи, пластилина, тряпочек делала для елки гномов, горбатенького скрипача, болотного попика. Очень хорошо. Хочет их отнести в кустарный музей. Мы вспоминали разные стихи. Потом я ее уговорила погулять (из-за сердца она все дома), и мы попутались по арбатским переулкам. Она рассказывала о своих подругах: какие они все способные и умные! А я такая глупая. Говорили об Испании..."

Это всегдашнее непроизвольное возвращение к "Испании" кажется мне такой здоровой, такой подлинно молодой эмоцией. Как бы ты в девятнадцать лет загорелась этой борьбой за независимость! И мне хочется слышать от тебя, как в общем относятся к этой теме ваши дети — нет, наши дети, рассеянные по чужим странам (я не уступлю их в своей ненасытности!). Вообще, мне кажется, у вас слишком мало говорится или пишется о них, то есть о детях, — или я ошибаюсь? По поводу молодежи нашей (хотя круг моих наблюдений и узок) я задумываюсь над одним вопросом: для них многое под запретом, а по непреложной логике прошлого — где запрет, там бунт. И вот я вижу, как молодые люди — и вовсе не овечьей породы — проходят мимо запретного, не зарясь на него именно потому, что оно запретное. Тайна этого мне неясна, но так как она включает и любимые мною существа, эта тайна мне "нежна", и мне не хочется грубо разгадывать ее. То ли это полусознательная жертва, отречение ради блага всех, то ли гордость (я сам себе запретил это до времени),— во всяком случае, несомненно, что то направление, в котором полнее всего могут развернуться силы растущего челове-

ка, им открыто широко. Но, конечно, это дается нелегко наиболее значительным из них, это нахождение не компромисса, а, как я сказала, равнодействующей, и здесь верны слова о "нагнетении".

Я опять вспоминаю об убожестве своей юности, в которой не было никаких запретов и была такая художественная утонченность. Убожество пафоса.

По поводу пафоса мне хочется сказать тебе, что всю эту зиму над Москвой как бы куполом стоит Бетховен. Девятая симфония будет исполнена десять раз, также другие радиопередачи, изумительные по исполнению (знаю от строгих знатоков), квартеты. Я как будто хвастаюсь? Но мне хочется с тобой делиться всеми своими надеждами, а героика Бетховена, впитываемая нашими подрастающими, будит надежды.

Один сочувствующий немец писал о нас: "Люди здесь должны работать подобно тем библейским евреям, которые строили свой новый храм, держа в одной руке инструменты каменщика, а в другой — меч".

Жду твоего обещанного письма со всем, что перечисляешь. И еще какой-нибудь сонет Вяч. Иванова. Этот прекрасен, хотя слишком сладостен. Или просто я не так ощущаю полноту — а я уже порой, мигами летучими, ощущаю ее...

9/II.37. Пишу тебе усталая и нетворческая — у нас очень сильные холода, а постройка и печи не для морозов. Сегодня утром было 2°. Лиза лежит под грудой одеял, но сердцу плохо от тяжести... Мне очень нравится стихотворение Марины Цветаевой "Отцам"[30], хотя я и чувствую, что она заостряет славу прошедшим против "грядущих", во мне же это, конечно, не так... Чувствую себя такой грустной и погасшей — конечно, кроме холода, душевно устала тоже от всего безобразного, что вскрылось на процессе.

Вот напомненные тобою слова Достоевского[31], такие гениальные, глубоко задели меня. Не то чтобы было сходство — различие в самом корне отношения к труду: у нас, как к гордости, чести, творчеству над собственной жизнью, а не как к чему-то, что нужно "отделать" и потом забываться в веселье дозволенном... Да, но гениальность Достоевского проводит что-то глубже самих корней, опасности, грозящие и нам,— но чему в жизни не грозит опасность уклона, как здесь, у нас, уклона в небытие... Ах, только не пригвождать живую ткань жизни разными comparaisons*... Я, как и себя саму, призываю тебя к пересмотру всех привычных понятий, по которым так легко катится мысль. Ты говоришь: "Ты обходишь самый важный элемент творчества — свободу". Конечно, творчество всегда рвется к свободе, но это не значит, что наибольшие свободы —

* Сравнения (*фр.*).

благоприятнейшие условия для него. Например, русская литература никогда не была так свободна, как у вас в эмиграции, так как нет власти, которая налагала бы цензуру. Ты скажешь, что для расцвета нужна не только свобода, а еще и другие условия, которых вы лишены. Но дело в том, что до сих пор и всегда так бывало, что когда была наибольшая свобода, секуляризация общества (напр., Париж времени Гюисмана, когда можно было безнаказанно предаваться и черной мессе, и атеизму, и эстетизму, и католическим экстазам), тогда этих других условий и не бывало. Это тоже была своего рода эмиграция, отрыв... А вот, напр., великое творчество Афин IV века или Ренессанс — свободы в нашем смысле там не было, был пафос освобождения, что не совсем то, пафос открытий, новых горизонтов... Вот это действительно питание, необходимое творчеству.

Ты меня слишком знаешь, друг родной, что я-то "за свободу". Я просто уж от старости наскучила штампами! И к тому же я, конечно, не считаю, что сегодняшние условия хороши для литературы,— это торопление, подгоняние, самоподгоняние писателей: не отстали ли от тяжпрома, как бы обогнать... Так не создается большая литература. Но свое служебное дело они делают — очищение языка, отметание мусора ходячих понятий, отражение быстро меняющегося быта и еще важнее — меняющейся души, которые без того остались бы незакрепленными. В будущем наша сегодняшняя литература будет интересным документом. А когда придет большое искусство, из каких недр прорастет — как это учесть! Знаю только крепко: будет полнота жизни — будет и искусство. Весны не круглый год — перемежаются долгими периодами скрытой жизни. И мне кажется, что та нота, которая у нас повторно и авторитетно звучит "против формализма, против натурализма" и которая многих современников ой как стесняет и калечит,— что по существу и для будущего она вернейшая и плодотворнейшая. В зигзагообразной линии сегодняшнего искусства я подмечаю то удачи, то регресс. Напр., в кино: талантливый режиссер, поставивший несколько лет назад прекрасную по простоте, подлинно русской, первую звуковую картину, в этом году создал первую цветовую — технически более искусную, но вульгарно-тенденциозную. Тоже и другой фильм нашумевший — в нем и занимательность западных и ура-патриотизм. Но, конечно, я знаю, что восторжествуют традиции русского искусства. Вспомни 14-й год! А сейчас время и грознее и ответственней, и художнику ради самой судьбы его творчества нужно определить, в каком он лагере. Думаю, что теперь никому не придется быть "поверх схватки".

28/II.37. У нас очень тяжело. Ко всему другому у Лизы сделались невралгические боли спины, все манипуляции с нею

усложнились вдесятеро. Бьюсь, бьюсь в бессилии и беспомощности.

<...> Читаю ей последнюю книжку Пришвина "Жень-шень". Нас пленяет его способность из наблюдения, вживания в мир звериный и растительный делать выводы наидуховнейшие. И так описывать эту природу Уссурийскую, что точно въявь слышишь все ее запахи, всю ее избыточность. А перед этим были дни, пропитанные Пушкиным. Задолго, задолго до дней его это уж началось. Точно цветок какой-то диковинной агавы, который расцветает раз в сто лет и аромата его хватает на сто лет. У нас перед крылечком в луже вместе с утками плещутся ребята — и у каждого под мышкой сказки Пушкина, у кого — по-русски, у кого по-ихнему... Я сейчас вправду люблю его одним сердцем со всей страной. Эти многократно повторяемые слова о "тунгусе ныне диком" у нас действительно звучат волнующе, пленительно.

Хочу еще привести тебе из письма Л-ва. Для одной задуманной им библиографической работы ему пришлось много заниматься в Литературном музее. "Архивное дело собрания у нас поставлено прекрасно. Вы не можете себе представить, как много собрал хотя бы один Литературный музей. Многое во время революции погибло. Но бесконечно более революция извлекла и вынесла на поверхность из чуланов и сундуков. Все это таилось в имениях, часто не было известно и владельцам, или они им не интересовались. Когда знакомишься с так найденным, дивишься глупости их бывших владельцев, казалось бы культурных людей, лености и отсутствию в них чувства долга перед отцами и предками. Теперь все собирается, систематизируется, делается доступным изучению, кое-что уж печатается. Материала же так много, что на это потребуются годы и годы"<...>

Ты не знаешь Л-ва и в пристрастии не обвинишь.

9/IV.37. ...Сегодня твое письмо принесло так много. Прекрасные стихи Вяч. Иванова "Родина" и "Земля" и др. В этих таких прекрасных старческих стихах Вячеслав Иванович мне близок, но и он не совсем, не абсолютно; и мятущийся, неуспокоенный Толстой мне созвучней, потому что в каждом слове — порыв вперед, шаг; падает, встает, идет снова — и вот это мне так драгоценно сейчас... Откликнется ли как-нибудь Вячеслав Иванович о Пушкине? Из всего читанного мною мне ближе всего (в этом роде и до него думала) то, что приводишь из А... Перечитываю твое письмо, и там, где ты меня оспариваешь, французская выписка мне мучительна... именно потому, что я совершенно согласна с ней. Вспоминаю, что я написала тебе в последних письмах, и неприятное чувство мутит меня. Там было и зубоскальство, и прекраснодушие; есть у нас термин — восхищенец: для того, кто, в сущности, остается в стороне, не получая толчков справа, слева, и умиленно восторгается... Все это несерьезно, не самое существенное, не захватывает какого-то корня моего отно-

шения к современности. Так хотелось бы хоть раз досказать тебе до конца, но только начнешь искать подходящих слов,— все кажется надуманно, а хочется сказать так просто и честно, как перед смертью.

Возвращусь к нашему спору о свободе. Ведь весь жизненный процесс сопряжен с мучительнейшим чувством несвободы (начиная со звериной жизни — голод, страх) и преодолевается только краткими вспышками в творчестве, в любви, в наслаждении... Да и то нужно быть или гением, или очень непритязательным, чтобы переживать свое творчество как полноту свободы! Мы не всегда и называем эти страдания несвободой — да и что слова: суть в том, что в какую-то сторону мне ни дохнуть, ни двинуться, ни расшириться. Единение с человеческой громадой, чувственно ощутимое в одном порыве любви, если хочешь — гордости, негодования и так далее, мыслимо — с большой частью человечества,— ведь это тоже одно из условий полноты свободы. Помнишь, как я рассказывала тебе о пережитом в юности, до всяких даже предчувствий религиозных — видение ли, откровение ли того, что я — действительно я — лишь тогда, когда я в каком-то единственно верном сочетании с целым, с космосом. Это было так потрясающе реально, что зарубка от этого осталась неизгладимая, на сердце ли, на мозговой ли коре. Вывода я из этого никакого не сделала. После десятки лет жила асоциально, хотя и с религиозными переживаниями, хотя и в экстатическом единении с природой, но настоящей полноты не было. И если бы меня не поволокла насильно революция, я так бы до смерти не додумалась, что все в каком-то смысле мне не хватает воздуху или сама я для других захлопнутая дверь,— но это одно на одно выходит. Дело не в том, что я сейчас радостно жертвую своей свободой, чтобы миллионы получили наискорейшим способом — некоторую. Мне нужно, чтобы сотни этих глухих народностей расправили плечи, раскрыли изумленные глаза,— это нужно мне, чтобы расправить свои плечи, самой вздохнуть вольнее. И так как в этом жестоком мировом процессе резко порванные путы в одном направлении неизбежно туже затягивают узлы в других местах, то все получившиеся чудовищные несвободы, как бы вперед мною предвиденные, и не удивляют меня, как и не удивляет avilissement*, вызванное ими в иных людях. И если я говорю о свободном самочувствии молодежи, то это потому, что уверена, что моя субъективная правда совпадает с объективной, то есть, что освобождение вот именно в этом — и требование, и религиозное дело настоящего часа истории. Ну посмотри беспристрастно вокруг, взвесь действующие во всем мире реальные силы, и ты, я уверена, признаешь, что мое утверждение небеспочвенно. При этом я не закрываю глаз на всяческие esclavages**, и если делюсь с тобой

---

* Унижение (*фр.*).

** Рабство (*фр.*).

преимущественно положительным, то именно потому, что оно всякий раз достаточно поражает, всякий раз нежданно. Но и тут я не преувеличиваю значения его (как тебе может казаться по моим неизбежно кратким и односторонним письмам).

Вот, напр., один факт. Говорят, будто перепись показала во всей нашей области количественное преобладание верующих над неверующими. Не знаю, так ли это в действительности, и, во всяком случае, никаких положительных выводов из этого не делаю, так как, зная этих "верующих", вижу, что они лишь по традиции, без всякого духа живого плетутся старой дорогой. Но вот что меня обрадовало: то, как некоторые из них, в разговоре со мной, мотивировали свое самоопределение: по новой конституции, мол, не могут запретить нам веровать. С чувством гордости. Вот эта гордость, это уважение к свободе (внушаемая, может быть, самим звучанием слова "свобода") — вот это для меня реальность, на которой строю свои пока скромные надежды. И в этом же смысле (как и во многих других) не устанешь благословлять Пушкина как воспреемника новорожденных народов. Не раньше как через поколение можно будет учесть все значение его. Тягостные роды, над которыми звучало: "Весной при кликах лебединых..." — эти волшебнейшие из всех мировых слов! А осуществятся ли строки на памятнике — этого ни от кого ждать нельзя, это задание, которому должен служить каждый из нас, каждый из вас на любой точке земного шара, всякие по своему разумению, по своей совести... Не могу сейчас, дорогая, об этой волнующей меня теме...

По поводу "верующих" я хотела давно рассказать тебе об одном довольно типичном случае и безвыходном. Наша помощница по хозяйству и при Лизе, 21 года, с детства сирота, вместе с другими девочками попала к матушкам, уже изгнанным из монастыря и ютившимся по станицам. Церкви они сторонились, но у себя правили старый молитвенный устав, и девочки в этом участвовали. Руководил ими старец — преемник непосредственный тех, о которых рассказывалось "На горах Кавказа"[32] — помнишь имяславскую эту книгу? Наша девушка такое, напр., рассказывала о старце: после общей исповеди он начинал говорить, приписывал себе совершенный какой-нибудь и затаенный грех: "А я вот сегодня лакомился яблоком" (до Спаса) или "осуждал" и т. д. И вот потрясенная матушка ли или кто из детей рухнет ему в ноги в слезах: "Это я сделала, батюшка!" Сирот тянули в школу, матушки отбивали их, заставляли притворяться припадочными, дурочками, внушали им такой ужас перед школой, что они и вправду дурели. При этом сами они их не обучали не только грамоте (может быть, из-за тревожных лет), но и смыслу православной веры, смыслу праздников, напр., наша девушка чудовищно невежественна во всем, зато — склад неисчерпаемых суеверий, примет. Ей было тринадцать лет, когда тех увезли, и она осталась брошенной в непонятном, проклятом мире. Пошла по людям. Скоро год она у нас. Хорошенькая, жадная к жизни, внут-

ренне изломанная — мажет губы, жаждет "кавалеров", шелковых платьев — это все, что восприняла она от современности. И наряду с этим: "болит душа", и томит сладостно воспоминание об этих бдениях при одной свече, о черных мантиях, о добрых и строгих матушках, об усталости до экстаза. Молитв ни одной не знает, но начнет петь "духовное", и слова выплывают, выплывают... Когда я ее убедила пойти в церковь, она вернулась разочарованная до отчаяния. Примирить же ее с современностью — нет возможности. Единственное, что мы могли ей дать,— научили грамоте, но и тут книги духовные ничего не говорят ей, чужды. Вот как безвыходно сейчас положение тех, которые когда-то прикоснулись к сладости и умилению православия. Хотя, конечно, ее случай не общий, а исключительный.

19/V.37. <...> Лиля с жадностью вбирает все встречающееся, но все явственней определяются у нее интересы литературные и гуманитарные. Вот про жизнь их десятого класса: «На немецком мы теперь читаем отрывки их Фауста и сравниваем переводы Брюсова, Холодковского, Луначарского. Вчера я с пяти до девяти провела в Третьяковской. Один аспирант приглашал по очереди, по одному, желающих из нашего класса. Он повел меня в комнату, закрытую для публики, где было только шесть картин: пейзажи, портреты, исторические. Сам молчал, а я должна была говорить все, что приходит в голову. Я ведь так необразована в живописи, но не знаю, откуда прыть взялась, и я ему много наговорила. Он записывал и потом сказал, что интересно. Потом показывал выставку Сурикова...» Юра целые письма посвящает каким-нибудь своим специальным медицинским вопросам. Часто возвращается к несостоятельности медицины, пока нет синтеза всех знаний о человеке, о природе и о духе. Характерно для нашего юноши, что он не мыслит этого синтеза в одних руках — должны измениться представления у всех людей, и у врачей, и у пациентов... То, что доступно единицам, должно стать доступным всем. Может быть, это нежелание идти одиноким, пока еретическим путем и будет тормозить его научные достижения,— может быть. Но мне дорога эта воля во что бы то ни стало быть со всеми, и в этом вижу мощь нашей молодежи и, значит, нашего завтра. Надо знать его, Юрину, тонкость, самобытность, чтобы чувствовать, что это не стадность в нем, не повторение чужих слов, а внутренний императив of religion's nature*.

<...> Как раз сегодня в "Известиях" фельетон Фейхтвангера — его романы я не люблю, но он очень трезвый, осторожный, чуждый восторженности "соглядатай", и потому к нему стоит прислушаться. Я согласна с ним, что молодежь СССР самый большой его актив.

---

* Религиозная природа (*анг.*).

<...> Упоение у наших детей: не быть исключениями, не быть единицами, не быть избранными... Это надо понять глубоко; для полноты моего творчества мне нужно творчество всех других. Уверяю тебя — это вино новое... И как я счастлива, что говорю это тебе и в тебе нахожу какой-то отклик. Никогда, может быть, не была у меня так сильна потребность делиться с тобой самым дорогим. А ведь каждое письмо может быть последним — смерть, катастрофа неличного характера! Близость ее я очень чувствую. Не тревога во мне, нет — большая тишина предбурная. Только нужно во всем спешить...

Тема Пушкина продолжает жить во мне и тревожить. Им измерить, перед лицом его судить и оправдать символизм. Пушкин не дал никакого ответа на запросы духа, не знал их... И вот дальше — Толстой, Достоевский с их религиозным осмысливанием, наконец, символизм. Но "земля", которую дал нам увидеть, ощупать, обнять Пушкин, включая и историю ее, как он ее чувствовал, так многогранна, как не знает ее ни один другой народ, и вот купол, который возвели символисты (Вяч. Иванов),— тот ли, которого ждет такая "земля"? Охватил ли он ее всю? Все ли, цветшее здесь, процвело там? Нет. Кажется, что нет... А если нет, то нельзя замыкать купола. Это уж я говорю не в плане художественном, а в плане духа вообще. Впрочем, одно не отделимо от другого. И кажется мне, что не случаен сейчас — и для малых и для самых больших — возврат к Пушкину: еще раз копнуть там, где стоял он, где видел он... Из всего, что у нас сделано пушкинистами, пожалуй, действительно всего значительней открытие все новых и новых показателей обостренности пушкинского гражданского чувства, не только в молодые бунтарские годы (например, новые мемуары кишиневского периода), но и в самые последние годы (материалы к Пугачеву, его критические заметки на книгах),— неугасимая гневная жажда, чтобы народ стал свободен, а для себя ненасытной свободы личности. Поучительно и для нас, и для вас — одно обусловлено другим...

Нет, мне не чуждо все, что ты приводишь из Толстого, если не так, то все же мысли о последнем и о смысле все время встают. Только я ответила бы на них не в духе буддизма, нирваническом, то есть "освобождение в разоблачении духа от его материального одеяния" и т. д. Я сказала бы, что дух освобождается, совершая какой-то решающий акт именно в области личного — подвиг ли во имя любви, героизм во имя научного достижения... Как im Anfang war die That, так же и завершается и путь человека или отрезок пути в некоей That, хотя бы незримой. Но конечно, это не противоречит Толстому, это и есть Толстой, и потому он так дорог, только терминология — его или буддийская — мне сейчас чужда. То есть я против оттенка презрения к личному, материальному. Это как если бы художник презирал свой материал — мрамор, краски, слово — ведь все земное и есть наше "орудие производства" вечного.

6/VI.37. Читали эти дни о Полюсе, потом перескакивали в Париж и читали о выставке. Писала ли тебе Дима[33] о замечательном Дворце изобретений и с каким чувством была на нашем отделе?

Из Москвы мне написала одна приятельница, очень требовательная в искусстве, о том, какой удивительный праздник — узбекская музыкальная драма: игра их по тонкости и вместе с тем естественности не уступает Художественному театру и в то же время самобытна. Откуда эти в два-три года создавшиеся свои артистические формы!

Читаю Лизе Маяковского, и мы обе ценим не только его речевые дерзания, но и огромную требовательность его к человеческому духу — как ни у кого из современных поэтов.

19/ VII.37. ...Получила твои две открытки и с грустью узнала о пропавших письмах твоих. Бесконечно мне жаль этих невозвратимых страниц. С приездом нашей Лили много новых дел и решений встало перед нами — конечно, и радость большая от нее, все также льнущей к нам, очень красивой, но и мятущейся, как и должно быть, когда уже двадцать лет, а еще не найден свой путь, свои люди. Трудно ей, бедной, по многим причинам и больше всего из-за всегда нависшей над ней болезнью матери, из-за сознания, что она должна взять ее на себя. Сейчас весь ее летний отдых уходит на уход за ней, в то время как все ее приятельницы едут в горы, в природу — увлечение альпинизмом. Сама-то она на это не жалуется нисколько, но невольно сравниваешь их судьбу. С приездом Лили у нас было непривычно много людей — все проездом в горы. Кузина Катя, прожив три дня, уехала в горы к Бобе. Ей пятьдесят лет, она уже получает пенсию учительницы, но сама сейчас со страстью отдалась своей любви к живописи, неутоленной всю жизнь; как студентка, проходит Институт живописи и графики. Это, конечно, очень хорошо, но она больше прежнего глуха ко всему, что не она, ко всем встречным душам, и потому горестно одинока, несмотря на свои "общественные" убеждения.

22/IX.37. Провел у нас две недели Юра. Мы были очень счастливы, говорили без конца. Он докторски помогал Лизе. Он невыразимо мил и заново слился не только со мной, но и с Лизой и Лилей. Пишет теперь горячие письма. Ему особенно нужна сейчас женская нежная дружба. Увлечен изучением старинной живописи, привез книги Фромантена[34], Вельфлина[35], разглядывал все фотографии, которые у нас нашел. Но, конечно, охотно переходит на более глубокие философские темы. Он читает очень мало и медленно — он однодум, но все глубоко и подлинно. Сейчас провожаем Лилю (все математики она выдержала) — трудности ее в том, что влечет ее изучение только литературы. Между тем

так как учительницей не хочет быть — и, наверное, будущее литературоведа с соперничеством в издательствах совсем не по ней, и вот она, бедняжка, мучается. Все, о чем ты упоминаешь, мне бесконечно интересно, так же и письмо А. Буду безутешна, если пропадет твое о Блоке и др. ... И простите мне, что я так плохо писала тебе это время. Я спокойна, не поддаюсь никаким уныниям, и ты не грусти обо мне, о нас, верь, как верю я во все светлеющую жизнь.

ЗАПИСИ ИЗ ДНЕВНИКА

1941–1942

д. Зеленая Степь, Курской области

9 октября. Вероника уехала верхом в шубке с Бобой. Мы обе лежим в изнеможении. Врывается Маруся: "Курск взяли немцы. И Сибирь..." Сибирь нас немного успокоила, но страх в душе: прислушиваемся — тихо.

12 октября. Вернулся Боба: ночевал в Петропавловке, застрял — грязь непролазная, снег. Привез верхом кур замерзших, с одеревенелыми лапками — не стоят. Одна за ночь погибла у нас в комнате. Другие ожили. Орел взят. Все теснее кольцо. Сверху, с печи, непрерывно копошенье и щебетанье пятерых ребят. Разучили наизусть "ахфишку": наши — крепкая броня... наши ваших... ваши наших...

13 октября. Боба опять уехал в Петр[опавловку].

Следующие дни тоже поездки Бобы в Петр[инку] и Петрин совхоз — слухи разноречивые: то о том, что уничтожены четыреста немецких танков, то о том, что Медвенка уже занята. Бобину пару мальчишки потеряли — он привел вместо них "буланенькую". Хозяйка ушла в Медвенку. Детский гам. Заходили два красноармейца, якобы из-под Сумов, где были в окружении, идут с пятого. Подозрительны чистотой шинелей, тем, что не голодны, потому что вежливо спросили, можно ли курить. Один говорит с акцентом — украинским? Говорит, что из украинских районов Курской области. Другой чисто по-русски развивает правильные мысли, не слишком победные, но и не пораженческие. Так и осталось сомнение, кто они.

17 октября. Первая почта! Мальчик-почтарь верхом стучит в окошечко. Две открытки, пересланные из Курска. Точно связались как-то с миром.

18 октября. Закупаем рожь — зерно сырое, сушим на печке, рассыпаем под кроватью. Дети теперь заладили петь: "Тимошенко — герой. Нас к победе ведет Ворошилов". К победе!

20 октября. Понедельник вечером телеграмма от Вероники из Воронежа. Огромное облегчение — самый страшный этап пройден.

22 октября. Четыре письма — из К[урска] и открытка от девочки в первые же дни в вагоне.

23 октября. Вечером запылали скирды неподеленной колхозной ржи. Негодование хозяйки и др[угих] баб: якобы уже несколько дней был слух, что надо спешить делить, что будут уничтожать неразобранное, а председатель ничего не говорил, не торопил, а теперь жгут. Кругом зарева — в Китаевке, в Стрелице. Бабы побежали сторожить и отбивать еще не подожженный хлеб. Бобу вызвали в правление: наутро отправлять всех колхозных лошадей, он должен или эвакуироваться, или под угрозой расстрела сдать свою лошадь. Он вернулся в ужасном смятении, с чувством невыносимости *оставаться*. Ночь почти без сна, но все порознь.

24 октября. Мучительный день. То мы собирали Бобу, то он выбрасывал вещи, говоря, что уже поздно, нужно было вчера. Отвел буланую, табун ушел. Едим горестного гуся, жирного и сладкого, но вкус которого неразрывно связался с этим томлением духа. Хозяйка целый день работает, спасая, что можно,— свозит хрястцы ржи на двор, сено. Рассуждает спокойно, без паники. Ребята наши и соседские поймали в степи двух лошадей "зля леса" и возят на них. Вся степь полна или отбившихся коней, или замерзающих, заблудившихся овец. Никакой ни в чем отчетливости: гонят гурты и где-то бросают, возвращаются. Ночью опять горящие скирды. Легковые машины и люди из района, сидящие в них, по словам одних, поджигали, а других — говорили, что напрасно торопятся жечь.

26 октября. Толя прибежал, весь дрожа: немцы идут. Оказалось, наша кавалерия и пехота отступающая прошли мимо, горою. Толпятся на улице, глазеют на них, лица спокойные; вечером беспечный смех девчат. Три дня не ездят за почтой — не оставили лошадей для почтаря! Вечером сильные взрывы — мины в Медвенке? Слухи про Новочеркасск, Ростов. Боба совсем подавлен, еле преодолевает.

27 октября. Боба с учительницей ходили пешком в Рожд[ественно] за почтой — не получили: несколько дней не приходила, а завтра закроется совсем. В Медвенке все сворачивается, служащие старики с печальным видом выезжают ополчением. Слух про Ярославль и про окружение Москвы. Один из парней, сопровождавших табун, вернулся: с него сняли сапоги, дали лапти, дали записку: "Сняли красноармейцы", велели возвращаться. Он доволен. Всем велено уйти на двадцать к[илометров] от шоссе; Ерем.[1] в страхе — и оставаться страшно, и бросить тоже. Вижу во сне приезд Вероники — так как сладостно.

29 октября. Узнали, что последняя ожидаемая нами почта не пришла из Медвенки и что оттуда выехали все учреждения и почта тоже. Последняя надежда на весть о В[еронике] рухнула. На сколько месяцев? Корю себя страшно и всех нас за безумие нашего разлучения. Непоправимо.

30 октября. Боба ходил в Стрелицу к крымскому земляку, принес свинины, керосина и соли. Рассказы Ерем. о заповеднике, как накинулись из Селихова, Татарки и т. д., приезжали на подводах, выламывали двери, окна, ссорясь из-за шкафов, разбивали их. Хаос: кто-то сжег все стога сена в заповеднике, а вслед за тем пришла кавалерийская дивизия с требованием сена, с угрозами.

31 октября. Поздно вечером огромное зарево, такое, какого еще не бывало. А днем и вчера слышались взрывы — взорван большой мост через Сейм. Погода лучше, луна. Мы, как слепые,— не знаем, что вокруг нас и где.

1 ноября. А жизнь деревенская течет по-обычному — осенняя уборка с прибавлением экстренного: сегодня разбирают по доскам колхозную конюшню.

2 ноября. Ночевали семь красноармейцев с ружьями, всей амуницией, хорошо одетые. Как и другие, заходившие за это время, поражают корректностью, сдержанностью. Ни шума, ни плевков и т. д., хотя и пили спирт, и угощали девушек. Поздно вечером ездили с хозяйкой и привезли ей целый стог сена, ничего не выпрашивали, съели скромную картошку, а сами одарили детей: стакан сахара, белая булка, мягкая, конверты с марками... Сегодня не спешили уходить, никакой паники,— значит ли, что враг не близок? Не говорят, откуда и куда.

3 ноября. Ужасная ночь. Разгул мышей, несколько раз прыгали ей [Любе.— *Т. Ж.*] почти на голову. С утра она в нестерпимом состоянии.

5 ноября. К Ив[ану] Андр[еевичу] пришел сын, шел девятнадцать дней из-под Харьк[ова], и у них, как у всех колхозников, полное согласие на немцев. Тоска и удушье от этого. Вернулся хозяин — курит. Слухи, слухи. Курск как будто и правда взят. Выворачиваем сундуки, ищем вещи в обмен, бедный Б[оба] ходит.

7 ноября. Печальная годовщина Октября. Ничего не знаем.

8 ноября. На печи с упоением разговоры: теперь и луга будут наши, а то были одни лопухи. У немца водка сорок копеек бутылка. А шоколадные конфеты будут? (это Коля).

10 ноября. По всем дорогам, во все стороны идет "бродячая Русь". Деревня наполнилась парнями — в каждую хату возвращаются "из плена" или "вырвались из окружения". А Бобуленька бедный, тоже с мешком за плечами, ходит по деревням, меняет, приносит меду, керосину. На печи Таня рассказывает сказки — всегда ряд ужасов, все умирают, пожирают друг друга. "Пошел старик в лес и видит: лежит людиная голова".

12 ноября. Вероника, Вероника! У Лагерлеф[2] дикие гуси в полете все время перекликаются: "Я — здесь, а где ты? Я здесь",— и так далее. Все, кто движется в одном направлении.

13 ноября. Вчера долгий разговор в кухне, мучительный. Вернулся Алексей Перепел, интеллигентней других (первый в часах) — говорит то же, что все, про преимущества немцев в технике и так далее, но страстнее других и обобщал, углубляя. Ненависть к нашей власти. Предсказывал, что такая анархия начнется, какой не вообразишь. "Зло на зле отмщать будем". Бабы страстно слушают, возражают, все время стараясь представить немцев "добрыми" (особенно Мария Ивановна — со страху). Вот где зародыш революции — в одной хате можно подслушать все оттенки ее: то страх перед возвратом наших и страх ответственности, то радость от впервые за двадцать лет почуянной воли ("сам себе хозяин") и всюду ненависть к долгому гнету. Сегодня о том же боцман — пришлый здесь, типа лавочника. Глухие слухи о расколе во власти — все за Молотова против Сталина.

Неужели прав был П. И. [Гриневич.— *Т. Ж.*] со своими "герольдами", которые только прогарцуют и сметутся историей, и останутся в душе народов только как мечта: забудется плохое, зреть будет только верное. Какая-то справедливость, возмездие в этом было бы, но как, ах, как протестует против этого душа!

16 ноября. Все время издергиваешься противоположными вестями: эти дни слухи об укреплении в области немцев, о том, как Масленникову водили босую и назначена казнь: сожжение, повешение, и наши бабы приветствуют это не хуже femmes de Halles*.

Боба вернулся из Стрелиц приподнятый: Америка воюет с Японией, бомбежка Германии, наше наступление с востока...

17 ноября. Посещение. Пока благополучно.

18 ноября. Рассказ на печи про тех же, что были у нас. Входит в хату. Баба толчет просо. Немец говорит: "А пулю хочешь?" Сегодня какой день? Воскресенье и Егорий.

19 ноября. У меня не выходит из мысли тот ариец — тянет к себе, как бездна, как змея,— почему? Думаю, что непривычная жуть в том, что ему дана власть над нами, он мог прострелить меня, Бобу. Необычное в отношениях между людьми, провал, пустота.

21 ноября. Каждый день заходят шесть—восемь красноармейцев. Теперь уже все одеты по-вольному, из разных областей — сегодня пробиравшиеся один за М[оскву], другой в Тулу. И все получают у хозяйки — кто картофель, кто хлеб, борщ, ночевку. Идут с чувством правоты, пять армий разбито под Вязьмой — вправду развал армии. Вчера месяц, что пришло последнее слово от девочки.

22 ноября. Слухи, слухи, но и факты страшные. Убитый лежит в лесу — кто? кем? А в одной деревне худшее — убийство, как месть всей деревне. Наш мир сузился до радиуса в несколько километров — зловещие названия деревень: Знаменское, Дубовец, Стрелица, Любецкое...

---

* Женщины рынка (*фр.*).

24 ноября. Всей деревней ломают амбар, свинарню, родильную, великолепную конюшню, привозят во дворы длинные стропила; балки, горы соломы от крыши. Спрашиваю: “Не жалко?” Хозяйка: “А то нет? Ведь наш труд. Скучно как-то стало, страшно — уж пусть бы власть какая на нас пришла! Хоть колхоз опять”.

Каждый день по нескольку раз в день нас теребят вестями: Москва еще не забрана, и Ленинград не забран.

В Негорелом лесу за Курском лагерь пленных, а немцы бросали ахфишки: “Жены, матери, идите туда, забирайте мужей, сыновей”. Из соседней деревни бабы уже поприведели оттуда мужей.

29 ноября. Председатель колхоза, вызванный в Медвенку, вернулся, его назначили старостой. Приказ свезти все расхищенное (лес, амбар и т. д.) на место.

2 декабря. Хозяйка ездила с мужиками, отвозившими муку и т. д. Самое сильное впечатление ее, что немцы называли ее “мамка, мамка” и не позволили ей таскать кули — сами носили их. На площади перед райисполкомом (теперь комендатура) украшенная венками могила того, кого убили в Знаменском, и памятник Ленину, у которого отбита голова и протянутая рука, но проволока еще торчит; “Жила-то осталась”,— говорят мужики.

8 декабря. Наши ночи — это сон со множеством препятствий: я не думала, что в деревне так мало чтут ночь — в любой час ночи стук: одни зовут мельника на мельницу (поднялся ветер), другие просто сидят и калякают. Вступают в разговор ночующие прохожие, баба, лежащая на печи: о советской власти, о ржи и просе, о том, как гнать самогон. И все это во весь голос. А то хозяин ни с того ни с сего поднимается в два часа и берется пилить и колоть дрова — как если б поэт, обуреваемый бессонницей, шелестел полуисписанными листами. Как играют деревенские дети? Таня Толе: “Ложись, милый, на печи, обогрейся, утречком пойдешь дальше, на Солнцево тебе...” “Хлебушка у нас нету, ну да ничего — сама не поем, тебе дам”. У нее сценические склонности. А то Нина и Толя — отец и мать Верины. А то просто меняют имена: “Я буду Грипа, а ты — Федосья...” Совсем как наши дети. Поют все вместе очень музыкально. Но больше всего дразнят друг друга, стучат чем-то, ревут, изводят нас, ругаются нецензурно: “зараза буржуазная”. Такой правильный говор с самых малых лет... В здешней речи почти нет наших “ё”: “идем”, а не “идём”, “берет”, а не “берёт”, и так все будущее время: “возьмет” и т. д. Может быть, красивее, мягче нашего? Всех речистей Таня — у нее всегда творчество словесное.

11 декабря. Здешний престол — Знаменье. Праздник со сластью, как не праздновали много лет,— три дня. Девушки повыгребли из-под сена наряды, шелк, шали и ходят на танцы. Дома самогон — гонится и пьется, и непрерывный пьяный парламент.

Один:

— Я еще до войны с сыном спорил. Нашу Расею одними емками [ухватами. — *Т. Ж.*] всякий заберет. Не бывать Расеи! Теперь только начало: немец только четырнадцать держав забрал, а конец будет, когда весь мир воевать будет. Вот когда один на небесах останется и один на земле — тогда конец будет. Да. Ну на небеси — это кто верит, а что на земле один будет — это точно. Вот у нас на Прицепе пес не забрешет, петух не закричит...

А другой ему:

— Нет, Вася, постой, Вася, — ты не так,— что будет, никто не может знать, ни лейтенант, ни майор...

Третий:

— Нет, постой, майор или капитан, скажем, может знать, но он СС нас наперед продал. Вот мы шли в наступление, так командиры все попрятались, комиссар, жид, тоже...

Хозяин, сидя на корточках:

— Верно, нас, дураков, много развелось, так нужно нас извести...

Баба не пьяная:

— Американец Турцию занял и Закавказье.

12 декабря. Продолжается Престол. Третий день. С утра мы слышим голос, интонации, переносящие за сорок лет назад, в Алек[сандров],— безошибочные барские нотки, помещичьи... И вправду, их бывший барин, отбывший пятнадцать лет ссылки, и сразу прежние отношения — с одной стороны, почтительно-фамильярные, а с другой — фамильярно-покровительственные. Вся наша посуда в ходу, и рассказы его без конца о немцах.

Тоска, тоска...

14 декабря. После отъезда К. хозяйка с упоением рассказывала детям и какой-то соседке о работе своей у бар, как поздравляла с Ангелом, он ей за это 5 рублей, она в ноги (суровая колхозница!), а барин — 3 рубля, и что она на эти деньги накупила на ярмарке. Девочка, слушая, с упоением: вот жизнь-то была! Разговоры об открывающихся церквах. Маруся с тревогой: “А я не знаю, как надо молиться”. Так, как несколько лет назад, когда в быт вошли танцевальные вечера, девушки тревожились, что не знают танцев. Тоска, тоска!..

15 декабря. Слухи, слухи... Стоило бы записывать их и после сверять с тем, что было в это время в действительности. В Мос-

кве <...> d'état* — кадетская власть. Владивосток и другие города заняты японцами. Америка отступила от нас. Ст[алин] улетел в Монголию. Фронт у Ст[арого] Оскола, и там красноармейцы жгут деревни за то, что полны дезертиров. Все вперемежку. Опять поток прохожих, одно время прекратившийся было. Рассказы скудны, все те же.

18 декабря. Хозяйка мужу: "Дурак, разве не знаешь: в постный день месяц народиться не может!"

Николин день. Блины.

21 декабря. Боба второй день в Медвенке. Страх. Прохожий с Донбасса: "В праздник 8 ноября Ст[алин] по радио винился, что ввел колхозы, обещался, что не будет их больше, просил народ помогать против немцев". <...> из мифов! Сегодня самолеты сбрасывали листовки на немецком языке (это уж реальность — их нам приносили). Наши самолеты. И еще будто они же били из пулеметов под Курском. Боцман чуть не попал. И бабы-молочницы, загордившиеся было (в Курске, мол, вот какие цены), сегодня пришли покладистые — и рваное одеяло хотят, и то, и другое...

Люба подслушала новый вариант сказки об Иванушке-дурачке. Шел он и нес отцу в поле котелок с галушками, а за ним кто-то идет. Значит, не сыт. Иван еще бросил. И так скормил тени все галушки, пришел к отцу: котелок пуст. Символично.

25 декабря. Вернувшись из Медвенки в тот же день, Боба поехал в Курск (лесник повез). Вернулся через день — благополучно и бесполезно. У хозяйки некоторое разочарование в немцах: приказ 8 фунтов с пуда отдавать "государству". Говорит: "И эти не мед, и те не патока".

29 декабря. Любимая! Твой день двадцать пятый. Как и где ты? Чуешь ли нас? Для нас в этот день впервые реально загорелась надежда воссоединения. Читаю с упоением "Илиаду" — нужно было Зел[еную] Степь, оккупацию и 63 года!

Январь, 1942 г. Не записываю давно, но что-то глухо совершается. Слухи, слухи, волнения, перемена настроений. Приезд опять Кондр., и с ним адвокат, говоривший дельно и безнадежно (в пользу немцев), и тут же, непосредственно после,

---

* Положение (*фр.*).

признаки совсем другого: частые полеты наших самолетов (или американских), передвижение немцев, привоз раненых в К[итаевку], далекая пальба...

Раз вечером трое неизвестных, хорошо одетых, не похожих на обычных прохожих: “Чем вы помогали Красной Армии, чем помогаете немцам?” Хозяйка дипломатично: “Нам что ни поп, то батька”.

Разведчики Красной Армии? Не остались ночевать, уехали в ночь на санях с хорошей лошадью. Кое-кто из вернувшихся с фронта собирается уходить. В деревне смущение, страхи, кое-где деланная радость, кое-где, думаю, пробивается настоящая, из глубины, глубже вопросов выгоды. Первые вести с Советской Родины об отступлении от Москвы.

9 января, 11 января. Дни крутого поворота. От кого, как сразу пошел слух, что в Любицком штаб наших? Прискакали кто-то двое (партизаны) и повели хоз[яина] во двор, грозя расстрелом, допрашивали про квартирантов. Кончилось благополучно. Истерика хозяйки, когда она узнала... Разговор с летчиком-прохожим: будто бы Орел взят нами, Тула... Наутро он с хоз[яином] поехали в штаб — и многие другие военнообязанные. А вечером 10-го первые настоящие бойцы свои у нас: азербайджанец и русский, деликатные, выдержанные. Ликование внутри, надежда на соединение. И у всех кругом, недавно радовавшихся по расчету немцам, теперь совсем другая радость — своим. Обоянь взята нами. Но есть и тревожащее: обоз, артиллерия далеко отстают. Много ли здесь сил — неизвестно, не скажут. На другой день несколько раз появлялись красноармейцы, они уже в Китаевке, собирая хлеб, кур,— все без насилия, с благодарностью. Рассказы их о жестокостях немцев. К вечеру 11-го нарастание тревоги: будто в Любицком и наши, и в другом конце — немцы. Сгорело несколько хат в Любицком. Хозяин и другие, ушедшие в штаб, не вернулись. Глухо. Гулко ударяет. Где? Кто? Где немцы? Можем ли мы быть на пути, на стыке двух армий? Конечно, да.

12 января. Ночевали у нас Федора с тремя мальчишками. Боба не спит от волнения. Как одеть Любу, куда унести? Неужели гибель придет теперь, когда ближе, возможней стала встреча!

13 — 17 января. Все то же, смена надежд и страхов. Девчата из Китаевки прячутся у нас и хохочут за стеною: в Китаевке немцы и обирают дочиста, до последней тряпки. А Китаевка от нас в двух километрах! Наши куда-то отступили. Но продолжают заходить спешно, в радостном возбуждении прохожие — спрашивают, где штаб, и, наскоро проглотив что-

нибудь, не так как ранее, с прохладцей, уходят. На глазах вырастает армия народная, так же как раньше армия на глазах рассыпалась. По каким внутренним иррациональным законам? Совсем так же, как сменяющиеся волны упадка, безволия и снова возродившейся крепости в душе каждого человека. Точно эти месяцы, пока они брели из "окружения" из-под Смоленска, были оздоровляющим сном, и ничтожного толчка: "Наши близко" — было достаточно, чтобы разом вернуть им бодрость нового дня! И не одни прохожие, но и здешние. Несмотря на всю опасность, никто не желает возврата мирных немецких дней. А где-то — все на Полевой — кажется,— день и ночь тяжелые орудия гремят. Кажется, давно должны были друг друга истребить, а все бьют кто-то — кого-то. Рассказы вернувшегося хозяина о том, как натолкнулась немецкая разведка на русскую: и те и другие наскочили на бывший наш штаб, чтобы забрать оставленное, не стали драться и расскакались в разные стороны. Слухи о мобилизации на Украине в Африку.

25 января. Все это так давно в прошлом, все, как лживый сон. Наши отогнаны далеко. Опять немцы. У нас не были, но кругом обирают деревни дотла. Начинается голод. Варим картошку по счету. Я сижу и шью: из лоскутков создаю блузки на обмен. Шью платье нашей крохотной уборщице Нине. Куклу сделала и обменяла на десять фунтов картошки. Дни удлиняются. Люба ведет счет убывающим дням до 1 мая. Но мы опять в застенке — никуда. Глухие слухи и надежды, которым уже не веришь. Результат наступления наших — только много сожженных хат, расстрелянных за связь с партизанами, ожесточение немцев.

6 — 8 февраля. Три дня и три ночи они здесь. Постоянно заходят, требуют Gänse*, сами забирают кур, гусей, овец. Стали привычными, не страшными, их немецкий говор странно напоминает давние-давние времена: точно какой-то Träges**, ворчащий на нашу с Адей бестолковость. Из глубины памяти извлекаешь забытые слова: Schaf *** и т. д. Это сказал приехавший за сеном. Но на второй день появились другие и иначе одетые — карательный отряд. Всех мужчин — и Б[обу] — погнали, окруженных пулеметами. Тупой ужас. Возможность всего. Допрос кончился благополучно. После бесконечные толки и перетолки. Матери обвиняют девчат, своих и чужих (их сгоняли щипать гусей): одна пришила пуговицу немцу, другая

* Гуси (*нем.*).
** Воспитатель (*нем.*).
*** Овца (*нем.*).

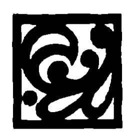
украшала хату занавесками, говорила — немчики хорошие. Слезы девушек, оправдывание: "Либо (разве) мы перед ним зубы оголяли?"

15 февраля. Каждый день с горы тянется обоз в 12—20 подвод, тогда начинается беготня, прятанье, зеленые шинели и немецкий говор стали обычным явлением. Здоровые, крупные, хорошо одетые, не дрожащие от холода, несмотря на тридцатиградусный мороз, самоуверенно-вежливые, каждый заглядывает к нам, выражают сочувствие болезни. Редко язвят, как сегодняшний, который на мои слова, что у хозяйки восемь маленьких детей (чтоб не отбирали), ответил — что же, это гордость Сталина. И тут же сообщил, будто Сталин ранен, но не пулей. Другой, в очках, интеллигентный, задумчиво смотрел на показанную ему муку из проса. Ловлю себя на том, что нет к ним лично враждебности. Но ни на миг не слабеет воля к победе, к извержению их из русского тела. Тупо сижу и шью блузки, которые меняем на картошку и курицу. Начинаем поголадывать. Бедствуем без соли. Деревня обирается постепенно — уже нет ни одного гуся, почти нет кур, сено забрано. А у нас в самые злые первые дни немецкого обиранья и в дни лютейшего мороза был настоящий Вифлеем: в кухне теленок, у наших дверей — овца с двумя ягнятами, и в хозяйской комнате — другая, тоже с двумя: два барашка, две ярочки. Их блеянье в первые дни — точно нежный звон цветов под ветерком. Теперь в солнечные часы их уж выпускают, и они скачут по снегу. А слухи шепотом плывут, обещают избавление. Но не веришь им больше. Иван Андреевич в сборах: купил лошадь в чесотке (чтобы не отобрали), мастерит сани, и потянутся на лошадке на Украину. Убежден, что там немцы другие и там благополучнее. Чуть не каждый день ночуют и кормятся у нас подводчики.

23 февраля. Вчера страшный день. Я только что сильно повредила Любе руку и возилась около нее, как подошел к самой кровати молодой и румяный немец и стал звать меня в хату по соседству, где пойманные им партизаны, с которых нужно снять допрос. Увидела этих двоих, бледных, как бумага, сбивающихся в ответах (перед тем один сказал бабе: "Жизнь наша минутная, тетка"), похожих на обычных прохожих. Я могла поставить им только два вопроса, потом немец отправил меня, а через четверть часа мы услышали о борьбе между ними, один, вырвавшись, бежал мимо окон наших по улице и был застрелен наповал тут же, у хаты П. Другому удалось бежать. А перед этим они боролись с немцами, вырывали у них ружья, чуть не одолели их. Мучительное чувство: может быть, я могла в переводе что-нибудь сказать, чтобы оправдать их? Не сумела. И этим как будто связана навеки с этим убитым парнем.

Март. Хозяйка рассказывает кому-то: "Вот другая сестра много старше меня, а на вид моложе. Может, потому, что *при воле* жила, а я и замуж уж шла при советской власти". Слухи, вести, на день, на час окрыляющие надеждой и тем жесточе потом возвращающие в нашу безысходную тюрьму. Так, верно, будоражили, терзали сны о воле заключенных в Шлиссельбурге! Голодаем. Нет соли. Хлеба по крошке — крутим на ручной мельнице на лепешку, так как мельница все не работает. Любино состояние, в смысле сердца, отчаянное. И тут первая удача: приезд докторши и через пять дней — адонис, адонилен, камфора, валериан и два средства для лечения ранок, гноящихся, как в прошлом году. Опять с отходом наших (несколько дней не слышна канонада), с неудачами их на фронте (и по немецким газетам, и по рассказам прохожих) поднимаются, как болотные испарения, прогерманские надежды — подлая человеческая природа хочет верить, что побеждающие правы, благи. Так настроены все городские, каждый день с салазочками приезжающие (и подрывающие вконец нашу торговлю), так и докторша, и каждодневно заходящие соседи — все опять неприметно соскальзывают сюда. Усталость — пусть немцы, лишь бы что-нибудь одно! Только некоторые упорные, верные до конца (семья Ф. И., Анечка) каждый день Бог весть откуда, не поддаваясь, шепчут победные слухи. Умиляюсь на них, на их стойкость. Ночевавшая на печи городская рассказала, как при освящении церквей присутствовали немцы без фуражек: "Они божественные, на каждом крест". И тут же рассказ, как они же евреев сгоняли семьями в подвалы, а через несколько дней погрузили на грузовики детей, разбегающихся в испуге, бросали как поленья, и повезли за город на расстрел.

22 июня. Сегодня годовщина войны. И мы еще живы. "Глазкам видно, ножкам обидно".



ПРИЛОЖЕНИЕ

ПИСЬМА к В. И. ИВАНОВУ*

1909 — 1913

20 января 1909

Дорогой, мне кажется, что уж много дней отлучена от Вас, а я приехала сюда только вчера! Была вчера же у Грифа[1], но не застала — оставила ему Ваш лист и записку.

Дома Евгению Антоновну[2] я застала грустной и живущей в одинокости, и она рассказала мне разные тревожащие ее вещи, о которых она не писала мне.

От Ади получила несколько писем — свадьба их состоялась, но то, как она об этом пишет, и особенно ее отношение к своему материнству, я не могу ей простить <...>

Сегодня был у меня Бердяев, и мы, почти не успев ни сесть, ни взглянуть друг на друга, проспорили часа два! Он отяжелел и помрачнел. В своей ревности христианской он ступает тяжело и без разбора топчет все — и живое тоже. Сильная мысль, но очень нежизненная. И все-таки хороший и искренний и во многом верный. Мы только чуть-чуть успели всего коснуться — сейчас они оба придут к нам. Очень ждет Вас.

Теперь такой час, что Вы все сидите после религиозного Собрания вокруг вечернего стола и говорите. Все мне памятно на башне и глубоко любимо.

Шлю всем благодарность и привет. Евгения**.

Без числа, четверг [1909]

Дорогой, вот что было в эти московские дни. В "Руне" Тастевен[3] в глубоком смущении сказал мне: "У нас слышать не могут о Баксте"[4],— и показал в последнем номере нелепый отзыв о выставке, где сказано, что "на переднем плане изображен какой-то Будда..."

Конечно, ему очень хочется поместить вашу статью, и он знает, что она гораздо дальше и Бакста, и противников его. Хотел Вам сейчас же написать об этом. Потом показал мне, что в мою статью[5]

---

* Рукописи писем хранятся в Рукописном отделе РГБ, фонд 109,картон 15, ед. хр. 79 — 81. Публикуются с сокращениями.

** Ед. хр. 79, л. 1 — 2.

они почему-то не внесли одну поправку — и как раз то, что мы вставили о мистическом анархизме. Страшно досадно! Тастевен больше, чем всегда, растерян — из соседней комнаты выглядывал тупой низколобый Милиоти[6] — но все-таки он спрашивал "мнение" о разных последних событиях литературных — о прозе Городецкого и так далее. Мне очень интересно, как решится судьба статьи,— я объяснила ему, что она должна быть вся в апреле.

Видела я за эти дни еще Макса. Он провел у нас первый вечер, много и откровенно говорил мне о себе, и показалось мне, что он настроен благороднее и проще, чем прежде, но я не чувствую жизни в его культе "мужеского, масонского, одинокого" — у него это все кажется бесплодным.

Вчера вечером был Бердяев и расспрашивал без конца и о секции, и обо всех наших разговорах дома. Опять говорили о вашей единственности для него. Он был грустный и тихо сосредоточенный.

Спешу очень, потому ничего сейчас не могу сказать про то, что хотела сказать. Напишу скоро. Благодарю всей навсегда благодарной богатой душой. Ваша Женя*.

16 февраля 1909

Сегодня Ваш день[7], дорогой, и я сейчас купила на солнечной улице (их как в Риме продают на улице) цветы и поставила у себя. Мне грустно не быть сегодня с Вами, но я очень близко к Вам. А скоро и приеду. Вчера получила письмо от Веры[8] и целую ее и напишу ей завтра.

Все это время я больше всего была занята Адей <...>

<...>В эти дни, когда было так трудно, мне очень нужно было Вас, чтоб Вы "прозрачными очами прозрели", дали совет верный.

Из остального было вот что: пострадав два дня над Мережковским, я переделала его и отдала, и Тастевен обещал в феврале напечатать, но это очень неприятно, потому что о таком чертовски запутанном явлении, как Мережковский, что ни скажешь (так кратко), все оказывается ложью. Теперь спешно (по четыре страницы в день) перевожу Ницше — очень краткий дали срок; так странно мне: такие же фразы его переводила я до всего, до жизни — а он все никуда не ушел. Christentumals Nihilismus и т. д.

Вчера вечером, дорогой, пришел Бердяев и ушел только в три часа и был очень важный. О самом последнем разговор. Он говорил о своих колебаниях, о безысходности, к которой подходит, и с болью признавался, что не знает, не видит иного пути, как маленькая церковь в большой церкви, мистическое братство, общение, и только умильно как бы просил подождать, дать ему "побыть некоторое время просто хорошим христианином". Ему очень нелегко это признание при его инстинктивной ненависти ко всему, что может иметь уклон к сектантству, и при его жажде вселенскости. Говорил странные вещи о своих отношениях с Мережковским, а о Вас говорил с любовью и о том, какую он чувствует в Вас необычайную религиозную силу. Скоро он будет в Петербурге, и я очень хочу, чтоб Вы ему много сказали**.

---

* Ед. хр. 79, л. 10 — 11.

** Ед. хр. 79, л. 8 — 9.

19 февраля [1909]

Милый, сегодня пишу вот о чем — пришли Бердяевы и стали просить, чтоб я им искренно сказала, возможно ли Вас просить принять на башне на это время и Лидию Юдифьевну вместе с Николаем Александровичем (он получил письмо Гиппиус, в котором она передала ему Ваше предложение остановиться у Вас), так как и она собирается в Петербург. Конечно, я ответила, что уверена, что можно и что есть место, и по их просьбе пишу Вам об этом, прося ответить им совсем искренно, не стеснит ли это Вас? Но только телеграфируйте им <...>

Так я по-сестрински рассудила. Если они будут у Вас, может быть, удобней всего им дать мои комнаты? Мне же, когда я приеду, совсем все равно, где приютиться,— я у Вас дома.

Последние дни, дорогой, мне минутами по-новому скорбно, хотя я так много узнаю внутренно, и потом, верно, я не одна, я одна не могла бы нести всего — я *наверно* не одна. Это сознание чудесной помощи не оставляет ни на миг. Но тяжко, что жизнь еще не такая, не вся такая.

Хочется к Вам скорее. Я прочла сегодня Вашу заметку о Белом[9] — она прекрасно и просто и такую важную правду говорит — не об одном Белом — обо всем времени нашем. Непонимание, нечувствование земли, Матери, крови — в этом я все упрекаю Бердяева, и не знаю — какую-то чувствую связь этого с его чертовщиной <...>*

31 марта [1909]

Дорогой, была сейчас в "Руне" и поставила ваши условия Тастевену. Старалась не слишком обижать их, но не могла не объяснить ему, что Ваши идеи — главное содержание "Руна", что остальные сотрудники в своих статьях — Чулков, Городецкий — исходят только из них, что говорят там Вашими словами (в одной статье о выставке "пафос этой школы — иллюзионизм") и что при такой "солидности" не может иметь никакого значения разногласие в оценке какого-нибудь отдельного произведения <...>**

6 апреля 1909

Дорогой, все не писала Вам, ожидая, чтоб выяснился вопрос о статье — а сейчас я прошу Вашего окончательного ответа. Когда я была в "Русской мысли", Лурье[10] мне сказал, что весь май уж составлен, но я очень настаивала, чтоб что-нибудь отложили до следующего номера, и так как ему очень хочется Вашу статью, то он сказал, что пересмотрит и даст мне знать. До сих пор он не извещал меня — и от Вас я ничего не получала и не знала, как быть. Вчера вечером встретила его в концерте, и он сказал, что ведет переговоры с одним автором, который должен Вам уступить место, и что зайдет завтра ко мне с окончательным решением за статьей, чтоб поместить ее в мае, и что для этого она им нужна сейчас же. Сегодня я заехала в "Руно", чтоб узнать, не покорилось ли оно, но Тастевен настаивает на сокращении (хотя отдать ни за что не хочет) и говорит, что подробно Вам изложил мотивы. Теперь прошу Вас решить окончательно и телеграфировать мне сегодня же. Конечно, сокращать или де-

* Ед. хр. 79, л. 12 — 13.
** Ед. хр. 79, л. 14 — 15.

лить невозможно, и я вообще за "Русскую мысль". Не вините меня, что все это так медленно,— в этом не я виновата.

Вчера вечером мне было жутко — я, проводив Евгению Антоновну в Петербург, лежала целый день с больной и безумной головой, а встала и не одеваясь поехала на Liederabend*, за то, что она обещала петь народные песни по-польски, по-шотландски, и забыла, что в этом маленьком нарядном зале встречу всю Москву.

Рядом сидели Сологубы (по пути в Париж), Рачинский ласково говорил, что не я одна — все переводчики опаздывают, и все профессора, и все модернисты... А я была отвыкшая и какая-то незащищенная. Но главное — Белый. Он взволнованно подсел и сказал, что ему очень нужно поговорить, и был очень нервен. Я раньше слышала, что он "болен",— и кажется, у него опять тревожные отношения с Вами. Сегодня он приедет. Если б убедить его надолго уехать из Москвы.

Я должна была сегодня приехать к Вам. Откладываю на несколько дней, чтоб сдать перевод, но очень прошу помнить, что я приеду скоро с тем специально, чтоб как можно больше помочь Вам в бумагах Лидии и в корректурах "По звездам"[11] и рассчитывать в этом на меня.

Всем любимым нежный привет. Евгения**.

11 (24) июня 1909, Прага

Милый, я так устала от сегодняшнего дня, от всех лестниц, серых каменных плит, которые исходила, и от людей, и от разговоров, что не могу сказать сегодня все то, что хотела и что передумала, оглядываясь назад и в будущее глядя, еще пока стелилась вокруг Россия. Сегодня обступило все другое — хотя и опять то же — вопрос о церкви, о Риме, славянстве...

Расскажу Вам свои приключения. С самой почти границы (вчера утром) в мучительном, пыльном, жарком вагоне — бессонная, но радостно возбужденная, я разговорилась с молодой сероглазой славянкой. Она оказалась и социал-демократкой, и поклонницей Huusmans***, и врагом католицизма — все вместе, и от нее я узнала все, чем живет Чехия: религиозные, литературные ее партии, и на удивление немецкие Hausfrauen**** с большими корзинами — мы об этом говорили и спорили не умолкая. Муж ее, чешский поэт-декадент, сначала хмуро не хотел говорить со мной и уходил в мужской сигарный вагон, но, когда он мне сердито переносил вещи из одного Schnellzug*****'а, выбросившего нас, в другой, мы подружились. Стояли под проливным дождем и говорили, как в Академии,— об ассонансах, размерах... Он — друг Momterli (которого принесла Персиц), переводчик Малларме[12], St. Георге[13] и ближе всего к Верлену. Так мы ехали до ночи, без конца пересаживались, то бегом, то ожидая по часу (в Прагу с этой стороны почти невозможно попасть — только подружившись с чехами — если же вы решите заехать, то через Берлин — оттуда прямой путь). Стало опять ясно, душисто, пахло цветами и сеном — тут же "сенокос" — и звезды на темном небе я увидела в первый раз.

---

* Песенный вечер (*нем.*).

** Ед. хр. 79, л. 16 — 18.

*** Гюисманс — французский писатель.

**** Домашние хозяйки (*нем.*).

***** Скорый поезд (*нем.*).

Мои чехи сами повезли меня в очень национальную и дешевенькую гостиницу, где я, чтоб не компрометировать их, не смею сказать ни слова по-немецки. Тут настоящий folklore, и я все вспоминаю тебя, Вера, милая! Это было вчера ночью, а сегодня я еще не проснулась, а пан Лешетицки з Лешеграду уж пришел, чтоб водить меня по городу. Принес мне свои книги и других поэтов и, пока мы ждали его жену, он читал мне стихи. Его поэзия очень музыкальна (он часто строит на гласных), но однообразна и меланхолична. В эти полтора дня я должна была научиться новому языку, целой маленькой литературе и политической истории! Они действительно ненавидят немцев и ненавидят церковь, потому что никогда не забывают, что поражение гуситов было утратой национальной свободы. Даже не зная этого, когда входишь здесь в церковь, невольно чувствуешь, что у нее нет душевного тела, а только каменное, и хочется, чтоб эти гранитные сосуды, которые они за столько веков не наполнили молитвой и любовью, ушли от них в небо и чтоб утром Прага проснулась свободной и без храмов. Я еще с последней строгостью допросила своих знакомых, во имя чего они, живущие всецело немецкой культурой, хотят независимости и самоутверждения, во имя какой "национальной идеи"? Верно, никто из них не сумеет назвать, но я уж чувствую, что лучшие традиции этого славянства связаны с анархическими сектами — Вы знаете "богемских братьев", Хельчицкого[14]? У них все было еще радикальней духоборов и других наших сект. В Праге есть старая церковь Гуса, где ни статуи святого, ни даже имени Христа не было — единственный simulacre: на романском фронтоне большая гранитная позеленевшая чаша,— теперь она брошена в сарае, а на ее месте статуя Matku Boze.

И Рим прав — храм должен быть с именем. А последние мистические анархисты Богемии ушли в леса — я видела развалины замка, где они доживали. Меня опять так мучает вот что: я ненавижу все эти рационалистические и отошедшие от мира секты, люблю Рим, но боюсь, что никогда не приду к церкви, потому что не могу принять священства, то есть того, что не все священники...

Мы исходили пешком все крутые, карабкающиеся в гору улицы, ведущие к Кремлю Праги, старому замку и храму Святого Вита, я почти выбрала нам квартиру (если мы будем здесь жить) за триста крон — пристройку старого замка, и Drukerna* нашла XVII века, где есть хороший русский шрифт! По дороге к нам присоединялись молодой скульптор, еще один писатель, старенький учитель и, узнав, что я z Peterohradu, все с увлечением вели меня, спорили между собой, что показывать. Старичок настаивал на истории (дом Валленштейна[15] и так далее), художник вел в те места, которые особенно понравились Родену, а Lesehrada безжалостно заставлял меня взбираться на сто ступеней, чтоб только показать поэтическое окошечко с веткой плюща... Целый ряд домиков алхимиков, гигантские стены Кремля, а вокруг зеленый abgrood — цветущая черемуха и акация<...>**

14 (27) июня 1909, Мюнхен

Дорогой, у меня совсем еще нет слов, чтоб сказать Вам все, что я думаю эти дни, оглядываясь в прошлое, в будущее. Мне кажется, что

* Типография (*нем.*).

** Ед. хр. 79, л. 19 — 22.

именно здесь, попав в эти немецкие города, я могу измерить себя, и — я боюсь, что это звучит слишком гордо — я чувствую себя такою до дна изменившейся, переродившейся, что та я, которая была здесь пять, три года назад, кажется мне чужой. Как будто только сейчас, только здесь, из-под прежней слабости (опять проявившейся так безобразно перед отъездом) встает новая и прочная душа. Узнаю это, не в себя глядя, а вовне, узнаю по нетерпимости любви и знания, которые не хотят, чтобы все было как есть, и уже видят все переименованным <...>

<...>И тогда тупик, к которому пришли культура и искусство, не кажется уж безысходным, потому что для каждой души и вещи есть один тайный путь, чтоб обратиться и стать, но только в зрячий миг его можно угадать; в обычные же дни — глухи стены.

Так я сейчас угадываю новое искусство, призываю его — хожу здесь по огромной, интересной выставке, и мне кажется, что мне сегодня дано безошибочно отличать мертвое от того, что войдет в новую жизнь<...>

Между всем пестрым и современным захожу по нескольку раз в день в темный здешний Dom*. Он такой суровый снаружи, такой не кружевной, не стрельчатый, как огромный монолит, камень истины, оселок, на котором выверялся людьми правый путь (даже так: в стене врезана железная полоса и круг; круг — такой величины должен быть хлеб, а полоса железа — это аршин, и сюда приходили обличать купцов). Но я с волнением ощущаю опять и опять, что готика — не мой храм, что совсем иным я вижу мой незримый храм. И для всех теперь ложь — возврат к готике — невыносимы все, даже благоговейные, даже религиозные воспроизведения тех же линий.

Они слишком астральны — правда? Это устремление астрального тела: она заражает, она волнует, но она уже не для нас. О, насколько вернее и ближе египетские формы — зрящие и мужественные. И в готике так мало Христа — Человека и Сына — вся эта архитектура Марии посвящена. Ведь это должно бы означать и мужественность? А между тем она вся, сама готика — та же Психея, которая еще ищет, еще ждет Сына <...>**

22 июня 1909

Как страшно, дорогой, заговорить после долгого молчания. Я здесь уже скоро неделю — и все молчу. И по пути я писала Вам не раз, но не кончала и не посылала тех писем. Не знаю отчего — но не от дурного. Хотелось увериться, что верно и прочно все во мне. Я сейчас вижу через комнату против себя в зеркале счастливое свое лицо, и эти минуты счастья возвращаются снова и снова — потому что нет разлуки, нет оставленности, и я живу как мальчик, как сын послушный — которому о чем же тосковать? Только хочешь быть верным и спешишь, чтобы скорее быть на родине — быстрая, быстрая земля под ногами... И прошу Вас, милый, забудьте меня слабую и верьте во мне товарищу...

Приезд мой сюда действительно был необходим, и эти дни столько распуталось запутанных узлов[16]<...>

<...>Расскажу еще то внешнее, что окружает, чтобы Вы представили себе мою жизнь. Молодые русские философы за обедом только

---

* Собор.

** Ед. хр. 79, л. 32—34.

и передают друг другу слова Риккерта[17] и других, и все эти имена, связанные с гносеологическими книгами, оказались живыми людьми с женами, привычками. Читают они (я была на нескольких лекциях) в низких сводчатых комнатах с решетчатыми окошечками (университет помещается в старом францисканском монастыре с длинными переходами и каменным полом) <...>Вчера приходил нам читать свою речь представитель “мистического взгляда” на любовь, один молодой русский, Степун[18] (возражавший Вам в прошлом году в Москве). Пышным немецким языком написано, идеалистично и наивно <...>

И мирные шварцвальдские леса начинаются от самого университета... Мюнстер прекрасен, и готика опять пронзила мне душу<...>*

21 июля [1909]

Дорогой друг, мне не хочется еще отсюда уходить, с высоты, не написав Вам несколько слов. Я провела ледяную ночь (2°) в очень деревянной комнате, пахнущей деревом. Вы знаете, как бывает в горах? И еще больше медовыми горными цветами, которые, я не знаю зачем, рвала, рвала по дороге и потом расставила в кувшинах и кружках на полу в своей деревянной светелке. Закат был как синий костер, похожий на Ваши стихи в Ассирийских цветах[19] — помните? И потом я люблю перед горной ночью смотреть, как задвижется все облачное и разделится то, что днем было нераздельно: приземное бесформенное ляжет туманом в долинах, а самое густое, белое поднимется выше и станет отдельным телом, жемчужным островом в небе<...>

Читала ночью маленькую новую католически-художественную Zeitschrift "Gral" — нехорошо: их возврат к католицизму под знаком романтики — Шлегеля[20] и других, и нет у них нового осмысливания жизни и истории, и задач своих. Поэзия слащава. В Германии, в “экзотерической” много теперь таких “возвратившихся”, но это совсем бесплодный и нежизненный возврат. Творческого религиозного движения среди всего, что печатается и говорится вслух, нет ничего <...>**

2 (15) августа, An bord du Senigal[21] [1909]

Милый друг, вокруг меня только море, море сапфирное, и мне опять хорошо.

Последнее время на земле (в Неаполе) мне было очень плохо — я стала трудно переносить, когда вокруг пестро, разнообразно, развлекающе,— и потому внутри — усталость и неподвижность. Хотя, конечно, я изумлялась и была глубоко потрясена — особенно, когда лежала одна в полынной судакской траве перед непостижимо нерушимым мрамором Пестумского храма <...>

<...>Теперь я опять победно утверждаю свое одиночество на этом огромном многолюдном корабле <...>***

Август, 1909

Привет дорогим из Греции, которая мне так стала близка и любима, как ни одна земля <...>****

---

* Ед. хр. 79, л. 26 — 31.

** Ед. хр. 79, л. 23 — 24.

*** Ед. хр. 79, л. 39 — 44.

**** Ед. хр. 79, л. 45.

Без даты [1909]

Уезжаю сегодня и прощаюсь с Вами, не видя будущего. Не видно мне, куда идти к Вам, не слышно Вашей воли. Нет ее.

Моя же воля созвучна Вашей — хочу вас знать творящим, хочу для Вас всего*.

Ваша *Евгения Герцык.*

3 января 1910, Москва

Дорогой, я очень страдаю от того, что не умею писать и не умею делиться всеми мыслями, которые ведь как будто около Вас думаю и к Вам обращаюсь. Так и в новогоднюю ночь — я была совсем одна и бесконечно близко к Вам, но почему-то рассказать этого не могла. И особенно досадую на свою молчаливость в те дни, когда уверенно, когда счастливо в душе. Но есть наша церковь, я знаю ее реальность — и в нее все передается таинственно от одного другим. Вы знаете, милый, счастье золотого равновесия, то, которое наступает после дней особенно остро, непереносимо переживаемых антиномий, когда зорко еще помнишь и видишь все крайнее, несовместимое и побеждаешь (единственной победой — равновесием). Меня мучила и правда, и странная ложь ваших слов о "трудности" человека, и другое, и еще другое — а теперь я, ничего не угасив, все совместила. И этим счастлива. Все утро сегодня я бродила по солнечному и только чуть морозному, и от солнечного снега даже ароматному Кремлю, и в Успенском соборе за Вас поставила свечку Божьей Матери "Благодатное Небо".

Но я очень одинока, потому что то, что для меня теперь важнее всего, те вопросы — чуть-чуть змеиные — только Вы о них знаете и скажете — никому другому не хочется и нельзя о них говорить.

Бердяев вот какой. Он очень деятельный, много пишет, издал книгу — сборник статей, кончает доклад о христианской свободе, написал о Huysmans и задумывает еще другое; спокойный, трезвый, замкнутый, тяжелый немножко. Никаких скачков — он от своей цельной правды отдыхает не тем, что начинает утверждать что-нибудь частное, как будто противоречащее, а просто тем, что тяжелеет. Но когда его раскачает гнев (раз у него здесь был ожесточенный, страшный даже спор с Ильиным) или другое возбуждение, тогда он всегда говорит прекрасное и движущее, потому что самое центральное. Он приходит редко (сравнительно), и мы дальше прежнего. Он постоянно жалеет о неосуществлении Вашего журнала, тяготится отсутствием такого, в котором бы ему быть не пришлым, случайным, как везде, и думает, что скоро такой орган станет неизбежным и возможным. Вас, милый, он и все другие ждут и хотят горячо, Вас и Новалиса[22]. На днях у них выяснится, в какие дни могут быть Собрания, и Вам напишут. Вы приедете, правда? И обещайте, дорогой, остановиться у нас — так просим Вас об этом! Две комнаты будут в полном распоряжении Вашем. А мы будем счастливы.

Но Москва душная и другая, чем Петербург, но тоже тяжелая. Я от нее пока совсем далеко и все-таки чуть-чуть почувствовала, даже у Белого, к которому зашла на пять минут,— эта переулочно-экстатическая и не выходящая никогда на просторы Москва. Конечно, не весь Белый такой, но есть этот дух вокруг него. Белый светлый и гениальный был где-то внутри, а все, что он говорил, приводило в

---

* Ед. хр. 79, л. 51.

отчаяние. Показал книгу Mission des Juifs* и, хватаясь за голову, сказал, что не знает, как уничтожить то, что написал о евреях, потому что не знал тогда о них ничего, и кроме того, "несколько милых евреев огорчились". Их издательство издает "Логос"[23], и Белый — он сам говорит — "неразлучен со Степуном"... Скоро уже выйдут у них статьи о символизме Ruysbrock[24] и других. Хочет просить у Вас Новалиса.

Где-то искупает он (Белый. — *Т. Ж.*) все это — Риккерта, Логос, колебания — но где, не знаю, и это мучительно. Он провиденциально несет на себе что-то.

Прощайте, милый. Мечтаю, что увижу скоро Вас и, м. б., Веру. Люблю Вас. *Евгения***.

14 января 1910 г., Москва

Дорогой, у меня было на днях страшно тяжелое впечатление. У нас была Анна Рудольфовна[25], и Евгения Антоновна, и брат мой были потрясены той глубокой ненавистью, которую она проявляла ко мне тем, как она вся менялась, когда я входила в комнату, не поднимала глаз и теряла самообладание от чувства враждебности. Мне это страшно тяжело было и хотелось поехать к ней и спросить ее, за что, и сказать со всею искренностью, что я чту Ваши с нею отношения (т. е. то, что они дали) и считаю их благом. Но я поняла, что пока, по крайней мере, я не должна вызывать ее на объяснения, в которых она не могла бы сказать правды. Но у меня осталось глубоко мучительное чувство; такое отношение — предательство после той близости и откровенности, которая у нас была.

В тот же вечер я как никогда близко и хорошо говорила с Белым у Бердяевых и почувствовала его гений, его страшное зрение. Рачинский смешил тем, что все время вставлял: мы с Борис Николаевичем. Теперь в такой фразе и т. д. таинственно и многозначительно намекал на свою прикосновенность к орденской мистике, к розенкрейцерству. На другой день Белый пришел ко мне, но не застал, а теперь уехал ненадолго в деревню.

Простите, милый, что пишу так плохо — трясет в поезде. Сейчас в девять вечера мы с братом приедем на маленькую станцию, наймем почтовых лошадей и поедем лунным лесом<...> через неделю буду в Москве***.

30 мая 1910 г., Судак

И опять я здесь, дорогой, в Ваших комнатах, и вот сейчас с Вашего балкона глядела на звезды, особенно на одну мерцающую — Антарэкс. Мне несказанно хорошо, что здесь, в этих верхних комнатах я к Вам всегда возвращаюсь, Вас чувствую. Нельзя говорить о том, что я Вас люблю, но только это светит мне теперь днями и ночами. И любо мне, что другие молча считают, молча приветствуют, что я "освобождаюсь", и не знают, что я на самом деле. Вы говорили о том, что самое плохое — струсить. Я знаю, наверно, что во мне теперь так нет трусости перед одинокостью, болью жизни, как будто бы я знала, что я скоро умру...

---

* "Миссия евреев" (*фр.*).
** Ед. хр. 80, л. 1 — 4.
*** Ед. хр. 80, л. 5 — 6.

Здесь, дорогой, я радуюсь, радуюсь нашей суровой, и вечной, и милой мне земле. И столько цветет у нас теперь роз — красных, тяжелых, как будто грозных<...>*

17 октября 1910 г., Судак

Сегодня годовщина[26], и в этот верный день, в этот день благословляющей Лидии, я хочу быть совсем открытой с Вами. Уж давно узнала, увидела наконец ее всю и живу теперь всегда с этим сознанием, которое то охватывает меня таким безнадежным холодом, то дает мне следы надежды. Я говорю о том, какою я была, когда пришла к Вам в тот год, или Вы позвали меня, говорю о своем тогдашнем холоде неверия, о мертвенности, о безрадостности. Такою я не смела подходить к Вам близко, но не в этом главная вина, а в том, что я вместо того, чтобы всю нищету свою переживать с Вами (если уж пришла), обманывала Вас, скрывая себя и надеясь тайно преодолевать в себе все то ненавистное. И эта ложь умолчания, и стыд мой за себя перед Вами проникли собой все мое отношение к Вам и сделали то, что ни одного часа я не жила легко и просто около Вас. Вы понимаете, что я говорю не о скрытности, потому что с Вами я всегда так откровенна, как ни с кем, но о подлой скованности и несвободе моей. Если и правда, что от любви неотвеченной и несчастливой бывает эта скованность, этот стыд и несмелость, то Вас не так могла я любить. Оттуда, из этой первой вины моей, повторявшейся еще и еще, шла отрава, которая убила жизнь во всем, что было между нами,— все равно, мучительно мне или радостно. В последнее время это дошло до ужаса: около Вас я всегда была, точно в гробу, в летаргическом сне с раздвоившимся сознанием и, сознавая все, не могла, не могла шевельнуться, ни простого одного слова сказать из себя живой. А Вы для меня — встреча всей моей жизни, чудо ее, после которого только исполнять, только раскрывать то, что дано навеки. Тяжелая вина перед Богом — такою быть в тот час единственный, когда бываешь призван, и вина перед Вами. Простите меня, снимите с меня эту тяжесть, которую сама я не в силах снять<...>

<...> Я стыдилась так часто перед другими того, что я никто, кого можно назвать,— ни страстная любовница, ни монахиня, ни мать, ни артистка, но именно то, что я, наверно, ни то, ни другое, а все же дни мои полны, и всегда я в милости хожу как настоящая женщина,— это все еще предчувствия, которые как волны идут ко мне, утвердили во мне веру в тайну женскую, которая не вся раскрыта, которая раскрывается через нас, живущих, и раскрытие которой — для всего мира, потому что каждое новое большое восхождение совершается через новое в женщине. Серафим Св. говорил о том, что будет еще новая святость женская. Я крепка теперь священным и ответственным сознанием и моей нужности миру. Знаю, что и одиночество мое, и безбрачие нужно для того, чтоб во мне зрело — не прежнее монашеское, и не древнее, когда была мощь у женщины,— а это новое, желанное, верю и в то, что многое некрасивое, или неплодное, или неудачное, что есть в моей жизни, в этом освятится.

Знаю, что только Вами и моей любовью порождено это знание. Что только через Вас я смогу увидеть. Мои глаза как под повязкой, и

* Ед. хр. 80, л. 8 — 9.

я, хоть и туда, но только ощупью иду, и без Вас я никогда не вступлю в обетованную землю, не увижу. Я молюсь о том, чтоб Вы стали мне воистину frate*, научили меня подняться к Вам сестрой будущей, чтоб сбылось таинственное общение, имени которому я не знаю<...>**

4 февраля 1911 г., Москва

Не знаю, как сказать о своей радости, что Вы скоро в Москве, дорогой! Все опять просветлело, когда узнала это наверное, стало весело ходить по солнечным улицам, где скоро будете и Вы, и где уж сегодня не так страшен мороз<...>

<...> Встречалась же я в это время очень много с людьми умными и добрыми (Петровский, Булгаков, другие), но все-таки по-прежнему радуясь по-настоящему только Николаю Александровичу. Он великолепен своим вечным движением и творчеством.

Не пишу ни о чем важном, потому что все-таки чуть-чуть да удастся поговорить с Вами, дорогой, среди всех<...>***

26 апреля 1911 г., Москва

Дорогой Вячеслав Иванович, скоро, теперь уж совсем скоро совершится то, мыслью о чем, ожиданием чего я только и живу последние месяцы — я перехожу в православие. То, что случается в эти последние дни, так непохоже на всю мою жизнь, так ново, что я ничего не могу сказать, никак объяснить, как это сталось. Все, что я так часто в разговорах и мыслях философствовала о Церкви, отступило и забылось, не как неверное, а как совсем о другом. Я не могу теперь думать о Церкви, не вижу ее края и где вход, и только свет Христа и еще ужас страшных тайн Его чувствую, чувствую<...>

<...> Все значение Церкви собралось для меня в Литургии, и мимо тех врат я не хочу, не вижу пути. Как утолить жажду принять в себя это чудо? Жажду таинства покаяния, которое и есть обмен сердца с горящим углем, как у Исайи?

Сегодня вторник — а в субботу совершится надо мною миропомазание. В субботу будьте со мною, Вячеслав, все дурное мне простив, будьте мне близким братом... Это будет в Марфо-Мариинской Общине великой княгини, потому что священник о. Синайский[27] оттуда****.

6 мая, Судак

<...> Я знала и не получая еще Вашей телеграммы, и была спокойна — знала, что Вы благословили и приняли. С телеграммой Вашей в руках я поехала первого мая проститься со своей Обителью, и так было больно оторваться, и они тоже меня отпускали как свою, как не навсегда.

Несколько дней я жила совсем с ними — в шесть утра ехала на Ордынку, возвращалась ненадолго домой, где была предотъездная суета,

---

* Брат (*ит.*).

** Ед. хр. 80, л. 15 — 20.

*** Ед. хр. 80, л. 25 — 26.

**** Ед. хр. 80, л. 28 — 31.

и вечер опять проводила у них в обительском саду, и после вечерни одна сидела в темной домовой церкви, где только несколько лампадок горело и сестра тихо прибирала. Нигде, конечно, меня не допустили бы так близко к таинственной жизни алтаря*.

1912 г., Страстной четверг, Лозанна

...И все же мои самые, самые близкие для меня и освобождающие знания я черпаю из того, в интимной любви к чему я в сущности одинока,— в церковных таинствах. Одна книга Лютера, которую дал мне здешний сосед наш Шестов (и которую скрывают протестанты, а издали и перевели впервые католики из вражды!) мне неожиданно раскрыла многое об этом. Он здесь с большой силой говорит об испытанном им ужасе гибели, об устрашенности, которая заставила его отвергнуть монастыри, священство, мессу, потому что все они "все равно не спасут", а спасет всякого "яко разбойника" только вера в Искупителя Христа. Тут он говорит так похоже и на православие, и на Достоевского (вообще у него много карамазовского), но вот что — церковное служение и монашеская жизнь совсем бескорыстны, это только любовь бесцельная и самочинная любовь Земли к Богу, и потому также неистребима. Церковь так страшно не похожа на Христа, на евангелистские слова — я так давно мучаюсь этой несхожестью с тем, что самые плоские теософские толкования ближе к ним — ну что же это? — не "исполнение воли Бога" и не путь к спасению, Христос не учит этому, это — вольный дар человека Богу. И когда, как сегодня, я вижу, как священник поднял Чашу, я знаю верно, что это Тело Церкви так же вечно, как дух ее, а душа ее (все учительское, святоотеческое) изменится, прейдет, потому что душа вообще преходяща. Но это так я знаю твердо и блаженно про таинство, а потом начинается мучение, потому что где же я? В католической церкви я не могу себя чувствовать меньше римско-католической, чем они сами, не могу только снисходить к их культу, чувствую благоговейно руку Рима, но ведь из сложения фанатического католичества с православием не выходит вселенской церкви... Соединение церквей уже совершилось реально во многих из нас, но чтоб оно стало явным — часто с болью думаешь — должен кончиться Рим и кончиться православие... И тогда я думаю гневно: "Вячеслав все это уже испытал, измерил и — ушел".

Отовсюду и всегда я прихожу и буду приходить опять к Вам, всегда с враждою и любовью сталкиваться с Вами, у меня нет в глубине души другого личного желания, как принести ту жемчужину, которую я знаю, что обрету, Вам. И есть еще мечта лукавая — в старости нашей, в мудрой, ясной, — быть вместе. Но в реальность этой мечты не верю, потому что вряд ли будет вообще такая старость<...>

<...>Теперь о Николае Александровиче. Он переживает очень тяжелое время. О болезнях в семье, о преследованиях со стороны родственников, о буквальной нищете их Вам верно рассказала Мария Михайловна[28]. Под влиянием же глухого, постоянного осуждения и

---

* Ед. хр. 80, л. 32 — 41.

непризнания со стороны Булгакова, Эрна, Рачинского он переживал этой зимой угнетающие сомнения. Эта оскорбительная, потому что всегда замалчиваемая, вражда против него была мне тяжела в Москве, и я понимаю, что виною этого только их разность и то ложное "единство", которым они заколдовали себя, и потому каждый от другого ревниво требует подобия себе. Теперь, когда они открыто высказали свою рознь, разность своих путей, стало уж легче. И Эрн, например, впервые понял и признал Бердяева. Николай Александрович пишет мне из Киева очень просветленно и очень творчески, хотя возможный разрыв с "Путем" ему особенно труден (и материально, и потому, что останется совсем одинок). С ним — и с ними двумя — я сблизилась еще теснее, неразрывней. В начале апреля он на две недели будет в Москве, и как бы я хотела, чтобы случилось так, чтоб и Вы побывали за это время там, потому что ни с кем ему не нужно было бы так увидеться, как с Вами. Он очень много пережил и узнал, и вдохновленный он теперь, и потом мы его вообще всегда любим — Вы и я. Не думайте, что я так хотела бы Вашей поездки ради их примирения, я, напротив, способствовала выявлению их вражды и верю, что она им к благу<...>

<...> Мы еще три недели пробудем здесь, и мне так хотелось бы, так празднично было бы получить от Вас здесь — не письмо, конечно,— а просто голос услышать, руку увидеть — подтверждение того, что есть, что неизменно*.

13/25 февраля 1913 г., Москва, Остоженка, Савеловский пер., 10

Брат милый Вячеслав, я так давно не писала Вам, но знаю, что мое молчание не было для Вас молчанием чужой и отстранившейся,— и даже молчанием оно не должно было быть. Я лелеяла ту тишину и одиночество, которых Вы захотели, уехав далеко и почти не открыв куда. К Вам и Вере была моя душа, и вы оба знали это, правда?

<...> Часто, часто с тревогой и любовью искала я, где Вы на свете, и Вера, и сын ваш,— знала хотя, что в Риме, но как-то до последних дней реально чувствовала Вас там, и поэтому все не решалась писать<...>

<...> Трудно мне сегодня сказать Вам что-нибудь о себе — очень многое внутри изменилось у меня, разрушилось с тех пор, как мы виделись год назад, и часто я думала о Вас, друг, что Вы близкий, что Вы самый правый. Это был для меня трудный и кажущийся бесплодным год. Но не мне одной такие тесные дни наступили, требующие еще большей правды и решения. Мне так дороги Ваши строки: сколько нас, пловцов полночных<...>

Живу я теперь в гимназии Веры Степановны, все еще созидающейся ее фантастической гимназии, и здесь же мы поселили Бердяевых, и живем пока как странники. Ваше имя любовно и звучно живет среди нас, дорогой<...>**

7(20) марта 1913 г., Москва

Милый друг, милый Вячеслав, я очень счастлива Вашему письму. Оно как тихий свет засветило мне. И говорить, и быть с Вами захо-

* Ед. хр. 81, л. 9 — 14.

** Ед. хр. 81, л. 1 — 4.

телось так жарко, потому что письма я тоже не умею (писать), и страдаю в них от разлученности<...>

<...> Нам удалось задорого сдать судакский дом, и это сделало поездку [за границу. — *Т. Ж.*] возможной. Не знаю, удастся ли Евгении Антоновне, как она мечтает, поехать повидаться с Вами, но я во всяком случае хоть на коротко приеду в Рим<...>

<...> Бердяевы с грустью и завистью, и радостью за меня (о Вас и о Риме) — провожают. Мы доживаем нашу очень странную и дружную жизнь здесь, в которой смех и многолюдие близко, близко сплетены с самым одиноким и печальным. И про важное, и про смешное мы часто говорим друг другу: это надо для Вячеслава.

Видите, я ничего не умею сказать Вам сегодня, кроме того, что просто приеду скоро и что полна благодарности Богу. Ни о чем уж нельзя в письме, когда веришь во встречу. Будьте радостны. Евгения*.

13 мая 1913 г., Ассизи

Милый Вячеслав, с первого шага здесь так близко и неотступно подходит к душе святой, потому что он жив здесь и на каждый камень ступал, как будто вчера. И не здесь наверху, а внизу в Pozziuncola, куда я прежде всего пошла. Вы помните? Холодная, поздняя церковь, а потом ведут узкими старыми переходами мимо роз Франциска, в тесную келейку, в капеллу, где он все, все пережил и которую за то так страстно любил, и на стенах везде — не фрески, а только блеклые тени Перуджиниевских образов — Франциска, Клары, первых братьев. М. б., и не похожи они, но потому, что только тени,— кажется, что это тени живых. И кошечка терлась рядом все время и грелась на узком треугольнике солнечном, где розы Франциска,— le rouge et le chat?**

Монах скоро отпустил англичанок, с которыми я вместе пришла, а мне еще долго набирал cartolina*** и рассказывал о Ергинсоне, как тот хотел поступить в монастырь, но думает, что воля Франциска ему остаться с женой и дочерью. И потом еще пронзает сердце древней убогостью san Damiano с черными от дыма кадильного и от молений сводами, где были первые озарения святого Франциска<...>****

17 мая 1913 г., Флоренция

Милый Вячеслав, только вчера вечером была я у священника (а приехала накануне, потому что все жалко было расстаться с Ассизи) — трусила, пока ждала долго, как он с кем-то по-французски обсуждал в соседней комнате, как его венчать, но когда он вышел ко мне, он оказался такой старенький, что его было очень легко убедить. Он 35 лет во Флоренции и забыл все русские страхи и гораздо больше всех иерархов уважает префекта города, графа такого-то, про которого говорит, что он главная поддержка. Сначала он все-таки сомневался, может ли у одного отца без матери родиться ребенок (т. е. можно ли так записать), предлагал прибавить "вне-

---

* Ед. хр. 81, л. 5 — 8.

** Красное и кошка (*фр.*).

*** Открытка (*ит.*).

**** Ед. хр. 81, л. 15 — 16.

брачный" ребенок, или имена и отца, и матери, но когда я решительно отказалась от этого, он сказал, что если это неудобно, то он ничего не имеет против того, чтобы записать Диму как сына Вячеслава Ивановича и обещает так сделать, но только поручил мне передать Вам, что не может поручиться, что такая бумага будет действительна в России. Итак, это устраивается и *наверно* — это я почувствовала по тому, что у него не мелькнули никакие трусливые или опасливые нотки,— значит, он не отступит от обещанного. Интересовался, когда Вы приедете, и предлагал для удобства поселиться рядом с церковью у signora Харкевич, которая оказалась его дочерью, у которой бывают русские пансионеры. Я не отказывалась решительно, чтобы не обидеть, но только выражала опасения, не стеснит ли эту signor'y приезд Ваш на такой короткий срок. На всякий случай вот адрес<...> Этот самый Харкевич (псаломщик) устраивает завтра большой концерт русского духовного пения, и вот об этом старик мне больше всего рассказывал, хвалясь, как любят их пение власти Флоренции<...>

<...> Я до сих пор после Ассизи не могу примириться с тем, какая мирская Флоренция, и вспоминаю с несказанной любовью благородный, единственный Рим и всю землю вокруг него, тучную смертью и красотою*.

24 мая, [1913], Флоренция

Мне трудно стало, милый Вячеслав, одной быть, и я рвусь к Вам, чтоб то, чем полно и молчаливо на душе было эти дни, рассказать или просто забыть — но около Вас.

Одиночество — все-таки аскеза, на которую и идешь сначала радостно, но, чтоб плоды принесла она, нужно пройти через горькие и долгие дни — и мне так и не увидать их теперь<...>

О Флоренции, дорогой, мне хотелось бы рассказать Вам, как почувствовала я — не сразу слишком верная и навсегда верная Риму — ее тонкий яд, и так поразительно то, что все высшие творения этой жадной, богатой, мирской Флоренции, все, как стебли тянущиеся, говорят о том, что жить на земле нельзя, и поют, как сирены, уводящую песнь. И это в самый полный, насыщенный час истории! И как тянет отсюда опять к всемирному Риму<...>**

9 (22) июль, [1913], Chexbres

Милый Вячеслав, я молчала долго, хотя знала, что Вы в Риме, и знала, что надо спешить написать, чтоб застать Вас там до 1 августа, пока Вы еще мимо волчицы ходите в немецкий институт. Не написала, потому что эти месяцы летние такие никлые, через которые ничего не прорывается, не прорастает. То есть не тоскующие и не ленивые — я даже много работала — но в них ничего не совершается внутри, это от солнцеворота, от убыли солнца, говорят. Но раньше, в Генуе, в дни равноденственных бурь, я пережила что-то большое на долгое время вперед: мне мелькнула и погасла зарница моей схимы ли, посвящения ли — только не восторженно, не сладко теперь, не в померанцевом цвету, а сурово так, как я не могу, не в силах сегодня даже вспомнить. А тогда над белым, бурным морем я

---

* Ед. хр. 81, л. 19 — 22.

** Ед. хр. 81, л. 23 — 24.

понимала, спрашивала, обещала. Но об этом все труднее и труднее говорить, все нужнее молчать до последних, уже сбывшихся слов. А когда я потом проехала ночью Симплон, как будто везя из Италии огонь, наступила torpeur*, усталость. Но я неплохо жила все это время — у меня в комнате оказался старинный письменный стол, вроде Вашего в Риме, так что нужно — и с любовью можно — много за ним сидеть. Перевожу самый трудный философский отдел Баадера, и для этого вообще нужно было к философским отвычным проблемам обернуться, и поэтому тоже стала читать Бергсона, который меня теперь очень увлекает своей жизненностью философствования и просто радостью ума. Но в тайном души, в молитве — нехорошо, затаился вот с Генуи испуг, замираю, точно жажду, жду сверху только удара. Мне очень трудно вот почему писать Вам, Вячеслав дорогой,— письмо к Вам хочет всегда перейти в покаяние, в раскрытие себя до самого горького дна, а на это я не имею права. Ни с кем у меня нет этого соблазна! И вот бессознательно лукавлю — раскрываю — прикрываю<...>

<...> Вот несколько слов о впечатлениях Н. А. [Бердяева. — *Т. Ж.*] от Штейнера (многое он хочет рассказать лично). Он не почувствовал в Штейнере "антихристово начало" или "оккультической двусмысленности", но света в нем не видит, чувствует его "безблагодатным, только трудящимся"! Бунтует против "тяжелой, гнетущей возвышенности в Штейнере, которая сообщается окружающей его атмосфере". "Страшно у Штейнера не мистическая ложь, а опасность разложения и омертвения целостной жизни". В общем, хотя в мыслях они сходятся, Николай Александрович почувствовал его "абсолютно чуждым" до того, что даже "не страшен и не вызывает вражды". Личное общение их было совсем внешнее — философский, не углубленный разговор.

Курс его он нашел элементарным, мало интересным, хотя оратором считает его замечательным.

Меня не удовлетворяют все такие отзывы о Штейнере: говорят о его личных свойствах, о его идеях (которых у мистического руководителя почти не должно быть и только мешают) и меньше всего о самом пути христианского оккультизма, а это единственное насущное и трепетное: есть ли он и каков он? Я только чувствую не христианскую практику, склеенную — пусть de bonne foi** — с христианской философией. Но, может быть, я неверно чувствую?<...>

ПИСЬМА к Н. А. БЕРДЯЕВУ***

1922 — 1927

28 октября 1922 г., Судак

Сегодня месяц как мы расстались и в такие разные концы и разные жизни поехали. Я так не утолена общением с тобой, с духом твоим в это свидание, что тем мучительней эта новая разлука, и при этом я обречена на долгое, долгое незнание жизни вашей, внешних ее

---

* Оцепенение (*фр.*).

** Чистосердечно (*фр.*).

*** Письма хранятся в РГАЛИ, ф. 1496, оп. 1, ед. хр. 422, л. л. 1 — 26. Печатаются с сокращениями.

условий, работы твоей... Ревниво хочу, чтобы скорее имел возможность приступить к писанию большой книги, потому что там, в глубине духа, нет этих пространственных и всяких иных преград, и там — и без писем, и без разговоров — совершается общение близких. Но я знаю, что этого еще долго не будет и что сейчас, помимо всех текущих дел, вероятно, всего ярче встала перед тобой проблема общения с людьми нового духа в Германии, возможности взаимного понимания и нужности друг для друга...

Точно за какие-то грехи мои опять наросла передо мной непреодолимая глыба расстояния! Но зато всякая доходящая весть принимается как чудо, как, вероятно, принимались в первохристианские времена "Послания", доходившие до верных через языческие моря. Как-то близко стало апостольское время.

За эти месяцы в Москве во мне очень возросло чувство конца, близости перехода, перелома огромной важности, и в связи с этим единственной нужности для души *Христа*; уже некогда замедляться на религиозных мыслях, настроениях — есть время только для последней любви. И в какой-то точке ближе мне люди простой веры, чем теософы с их утонченностями, но без этого чувства реальности Христа.

Мы с тобой так мало — может быть, раз или два только — говорили о "последних вещах", но все, что ты говорил о себе, я почувствовала очень близким, потому что тот факт "духовной жизни", о которой будет твое "богословие", я чувствую более живым, неделимым, более простым и сложным вместе с тем, чем те религиозные филосистемы, в которых раньше ты выражал свое credo. Поэтому я так жду и приветствую эту книгу. Очень хочется мне знать, как осуществятся литературные планы твои. А каков тот, уже возникший философский журнал?

...Постараюсь здесь осуществить ту зимнюю жизнь, о которой ты, помнишь, помечтал,— сейчас в начале ноября еще так солнечно и тепло и золотисто вокруг. Но такая пустыня, такое одиночество!

И виноградные пустыни,
Дома и люди — все гроба.

Это Блок написал о Равенне, но это как будто бы совсем о нас. Тяжко это полное одиночество. Только своя семья, по которой исходишь в тревоге, когда вдали от нее, но которая ничего не дает духу, когда вблизи. Впрочем, верно духу именно и нужна эта непрестанная забота о ком-то.

Благодарю тебя, мой дорогой, за все. С любовью. Твоя *Евгения**.

Без даты

Мой друг дорогой, мне большой радостью было твое письмо. Я так хотела последнее время общения с тобой. Последние месяцы были для меня внутренно очень важны. Во мне с потрясающей силой усилилось видение Христа<...>, гибели культур, которая происходит на наших глазах. Это значит, что возросло чувствование сущности, эссенции мира как бытия гибнущего и спасаемого, и души, как гибнущей и спасаемой. Потому что гибнуть и быть воскрешаемой — это

---

*л. 1 — 2.

и есть душа. В нас же гибель, и в нас же воскреситель. В этот момент гибель не только на всех путях нисходящих, но и в каждом дерзании ввысь. Так Петр с дерзновением к Христу не пошел по водам и стал тонуть. Не новая тайна, все же христианство, а та же извечная, которая переживается каждой душой. В Церкви, вдруг повернувшись какой-то гранью, бросила мне в душу ослепляющий ее луч.

То, что сейчас переживается нами как конец христианской культуры, действительно и есть конец культуры христианской, потемнение Лика Его: с точки зрения будущих отдаленных людей, вся двухтысячелетняя история наша будет еще идиллическим, первохристианским периодом — временем, "покуда Жених был с нами". И мучительно трудно отрываться от этого времени и узнавать его в новом. В первый миг кажется, что в том, что наступает,— в господстве техники, в торжестве материи над идеей нет больше места Христу. А между тем именно здесь явственно тем раньше обличается христианская природа мира — как мира катастрофы и разрушения, и гибели, потому что ведь все силы, действующие и в природе, как ее познает современная наука, и в технике, суть силы разрушающие (электричество, радий, взрыв и так далее) — не созидающие. Потому для души будущего неизбежней, и внутренней, и интимней, будет Воскреситель, Спаситель, хотя бы и забылась его евангельская история. Таинство же евхаристии в соединении с таинством покаяния есть именно образ последнего дня мира — души опаляемой и одновременно спасаемой Любовью — и потому, как бы ни изменялись формы, суть его сохранится.

Знаешь, меня не печалит то, что творится в нашей церкви, а, напротив, будит надежды: и не только потому, что гонение закалит, но потому, что через разрыхленные, взбаламученные покровы церковности скорее прорастет семя нового...

Недавно, читая все положения живой церкви, я с волнением за некоторыми слышала твой дух (о творчестве в христианстве), в других узнавала голос Розанова, потому что ведь они определенно рождены под влиянием петербургских Религиозно-философских собраний — Господи, какие странные духовные пути России!

Как мне радостно, что ты пишешь об интересе и внимании к твоим мыслям в среде немцев и даже американцев. Верю, что русская религиозная мысль будет больше влиять на Запад. Прочла я с увлечением первый том Шпенглера[1], но за внешним его богатством у его мысли нет никакого внутреннего развития. Он весь — из Гете и в Гете кончается. И протестантская обедненность духа у него. Но частности поразительно интересны. Зимою мечтаю поехать в Москву и там прочесть второй том. Может быть, туда дойдут и те из твоих книг, которые будут напечатаны? И София? Твое письмо дало мне такую живую картину духовной жизни Берлина, но хочется знать еще и еще — больше всего о твоих собственных работах и мыслях, и о некоторых русских — что Белый? Из своего летнего отдыха напиши мне хоть кратко, друг мой! Я оторвалась от своей домашней жизни и странничала: с котомкой за плечами прошла пешком совсем одна верст сто. Такая свобода и полное отсутствие страха. Особенно хорошо в весеннем лесу. Побывала два дня в горном и лесном монастыре, напоминающем итальянские, францисканские. Там теперь пробужденная жизнь, готовность "пострадать", все глубокие старики.

Когда я поднялась в церковь прямо из <...>, первое, что я увидела,— необычный в русской церкви образ "Спасение на водах" — Хри-

ста и Петра. Это было как ответ на те мысли, о которых я писала тебе и с которыми я одиноко странничала.

Живем мы благополучно, хоть и бедно. Пойми, друг мой, что переезжать с такой больной,— нужно иметь неограниченные миллиарды.

Недавно приехала Ася Жуковская[2] на лето.

Меня потрясает количество вмещаемой тобою работы, производительность твоя. И так близок весь дух твоего письма, твоих слов о России.

С любовью твоя навсегда. *Евгения**.

27 августа 1924 г., Судак

Друг дорогой и все вы, друзья далекие, меня огорчает и томит молчание ваше несказанно. Взволновалась, узнав случайно, что вы переехали, и все новое вокруг вас. Я знаю, что ты писал мне, но до сих пор не получила: из Москвы мне сообщили про письмо и книги, которые сохранны, но все еще не могут быть доставлены из Б[ерлина] — так что ждать, ждать, терпеть надо<...>

Дорогой, благодарю тебя от глубины души за книги — ведь это часть тебя и, когда они дойдут до меня, будет точно новая встреча.

В Москву я не попала — все по тем же причинам: болезни и деньги<...>

Сюда письма доходят хорошо и безопасно, даже самого значительного содержания, поэтому я убедительно прошу хотя бы открытками сообщать мне о вашей жизни. Дорогие мои, это вам не трудно будет, а для меня это очень, очень важно в моей по правде трудной жизни. И напишите мне все внешнее — как и чем зарабатываете? Как здоровье? Каков Париж? Как встретился с С. Н. [Булгаковым. — *Т. Ж.*] и другими? А какая судьба Академии[3] в Берлине? Что переводится из твоих книг? Недавно в Коктебеле узнала от москвичей, что Валентин Алекс. в Екатеринбурге, и рукопись его, может быть, погибла. Такая боль от многого. Видела там Бориса Николаевича, ревниво опекаемого антропософками. У нас сейчас Адя с детьми, ее приезд огромно облегчил мне жизнь. Хотя их положение сейчас, как вы знаете от Шестова, страшно трудное: он [Жуковский Д. Е.— *Т. Ж.*], по-видимому, останется без работы<...> Сейчас все у меня сравнительно здоровы, и сама я очень физически окрепла после зимы. Никогда не переносила так хорошо солнце и море: сердце, видно, закалилось от трудной жизни! В России много живой силы — живешь не в умирающей стране, и нужно как-то приобщиться к ней, поверх разночувствий. Но как, как вступить в контакт, не поступясь ничем, во что веришь? Меня пленил образ Махатмы Ганди — индусского революционера — читал ли ты о нем у Ромен Роллана, о его любовном и активном “непротивлении врагам”[4]?

Невыразимо сложный запутанный узел — жизнь сейчас, и часто врагам приходится говорить “да”, а друзьям “нет”. Правда? — Как ты воспринял теперь старый и милый Париж?

<...> Кончаю и жду, жду всем своим нетерпением хоть слова, да сейчас. Обнимаю нежно Лилю[5] — и укоризненно. Неважно вспоминаю Женю[6] и Ирину Васильевну[7]<...>

<...> Недавно умерла Поликсена Соловьева[8], очень мучилась страданиями в печени, но была очень просветленной, когда я виделась с нею перед ожидавшей операцией. Наши приветы Можайским... Что они?**

---

* л. 25 — 26.

** л. 3 — 4.

18 декабря [1924]

Глубокую радость доставило мне твое письмо, дорогой, не только потому, что оно от тебя, а еще потому, что я почувствовала такую себе близость в каждом твоем, как будто вместе с тобой пережила и передумала твои мысли. Как раз в этом, в осмысливании переживаемого, так ощущаю я свою одинокость и разномыслие почти со всеми, кого встречаю. Между тем рисуемые тобой черты будущего все смутно угадывались уже мною. Но, знаешь, очень многие, которые сознательно будут протестовать против твоих идей и цепляться за старое, бессознательно уже растят в себе как бы новые органы для той новой жизни, которая наступает. И у нас "по сю сторону" их должно быть больше, чем на Западе. Как ни глухо и одиноко мы живем, все же и здесь можно наблюсти в людях проблески нового. И, знаешь ли, я больше всего мучаюсь тем, что моя привычка мечтать о главном, мое скучание от элементарности первых движений в людях замыкает меня в какой-то холодной отъединенности. Когда в церкви произносятся слова: "Проповедуйте Евангелие", я всегда слушаю их с чувством вины — эту заповедь нарушаю я постоянно. И тем больше тоскую по "братству". Но братство тогда осуществляется, когда внутри, наедине с собою, его осуществляешь,— не с избранными, а со всеми. Мне бы хорошо слышать от тебя когда-нибудь о братстве св. Софии, насколько об этом скажешь в письме. С мыслью твоей о роли духовных союзов в будущем я очень согласна. Символом такого собратства — нищего и творческого — представляется мне Китеж — именно так, как это удивительное сказание воплотилось в опере Римского-Корсакова[9]. Он, конечно, сам не до конца понимал, что творил, когда написал эту свою мистерию, настолько более высокую, чем Вагнеровский католический Грааль[10].

Мне особенно больно, что я так абсолютно разлучена с тобою, именно тогда, когда ты пишешь самую важную и глубинную свою книгу и, значит, сам постоянно сходишь в глубь себя. Когда-нибудь напиши мне хоть названия написанных глав, чтобы я могла над ними grübeln*. Летом я была настроена творчески и замыслила кое-что написать, но трудные наши зимние условия от всего меня оторвали. Трудно мне даже будет привести в порядок и переписать По[11]. Все же примусь за это и через Москву попытаюсь переслать тебе. Я мало надеюсь, что Обелиск[12] согласится напечатать, но все же хочу попытаться.

<...> На днях Гершензон писал Аде, что там трудно,— он сам абсолютно не находит работы и существует только на жалованье, крайнее безденежье у Белого и других. Во всяком случае благодарю тебя очень за хлопоты. О жизни нашей эмпирической пишу Лиле. Все по-старому трудно и у нас, и у Ади в Симферополе. Недавно мы с ней получили хорошее письмо от Сергея Николаевича. Когда он будет у вас, передай ему мой нежный привет<...>**

6 апреля [1925], Судак

Друг мой дорогой! Чуть не месяц назад получила твое письмо, но все откладывала ответ из-за разных домашних решений и перерешений. Прежде всего меня глубоко тронуло твое участие и твой гнев на мою судьбу. Отвечать на это и оправдывать ее, мою судьбу, слишком длинно в письме. Но я уверена, что ты поймешь мое неодолимое

---

* Раздумывать (*нем.*).

** л. 12 — 13.

отвращение к той какой-нибудь службе, хотя бы и близ литературы, которую мне неизбежно пришлось бы тянуть в Москве, имея всего какой-нибудь месяц свободы, притом не освещая этого общением с самыми близкими, которые все равно далеко. Это о себе лично. Но, конечно, я не могу и оставить тех, кто сейчас так явно поручен мне<...>

<...> При этом во мне так возросла любовь к природе, жажда странничества, что запереться в городе меня пугает. Я уже на этих днях, придумав себе хозяйственные дела, совершила хождение за 25 верст через весенний, еще безлиственный лес, но уже полный душистых фиалок. Никогда не думается так хорошо, как когда идешь так, непременно далеко и с котомкой за спиной. Если б мне еще встретиться с тобой и совершить вместе такое хождение. Правда, что оно противоречит спешности, американизму и "эльвизму" нынешней жизни! Знаешь, во мне в нашей глуши и несмотря на эту глушь так явственно живет то же чувство "заката" нашей культуры, как будто бы ничто не разделяло меня от Европы. Например, во всей западной послевоенной беллетристике, которая доходит до меня, есть такие черты, по которым безошибочно видишь невозвратимость и быта, и самой психологии. Все глубины психологии сделались чем-то безвозвратно "вчерашним" — у художественного слова теперь в распоряжении только шарж или мистика. Ах как хотела бы я твою статью "Новое средневековье"[13] и как думаю на эту тему. Ведь мы все призваны не только пассивно отразить этот конец или печаловаться о нем, но и совершить волевой акт "исхода" и, заключив что-то единое живое отчей культуры в скинию, унести ее... Может быть, потому так особенно сладостно теперь именно пешком странствовать через горы, что это вернейший символ судьбы и миссии нашей. Но, конечно, только символ, потому что и не уходя никуда, в многолюднейшем центре ты совершаешь этот "исход". Но все же в этот час какого-то перелома истории так важно заново побывать близко к природе. Я вспоминала тебя и зеленые холмики Барвихи, видя эти дни целые выводки только что родившихся очаровательных козлят... Не смейся над такими скачками мысли!

Возвращаюсь к твоим словам о себе и своей религиозной жизни. Мне глубоко понятна та двойственность, о которой ты говоришь. Но сама я соприкасаюсь сейчас с духовной жизнью исключительно с той внутренней безобразной ее стороны, которая в полосе жизни церкви. Сама не знаю почему, я холодна к церкви, отчего самой мне порой пустынно и тоскливо. Такое у меня чувство, что самое нужное и динамическое в Христе выскальзывает из символики церковной, не отражается в ней. Нехорошо с таким чувством проводить пост. Через три недели Пасха — 27 апреля н. стиля. На третий день Пасхи — я еду в Москву — все для этого устроено, и сестра обещала мне приехать заменить меня<...>*

25 мая [1925], Москва

Дорогой друг, почти два месяца я здесь и непрерывно мыслями с Вами, потому что все напоминает Вас и все этим дорого. На лужайке около Вашего дома вчера во время грозы огромное дерево свалилось и лежит вершиной на крыше церкви. Помнишь все эти места? Не писала все это время, потому что слова трудны, во-первых, а потом на меня одно за другим падают разные заботы и неотложные дела<...>

---

* л. 16 — 18.

Мне жаль, что не пришлось видеть никого, кто бы остался близок твоему духу — или по крайней мере — мыслям. В любящих тебя недостатка нет: лечу зубы, и говорим о тебе и через тебя загораемся нежностью друг к другу. А вчера тоже радостная встреча с Евгенией Алекс. Она читала мне свои записи материалов об умершем отце на Маросейке (готовит книгу) — полно истинного духа Зосимы. А еще другое и всего глубже меня пронзившее — это разоблаченный Лик Владимирской иконы. Под девятью записями раскрыли первый истинный (кажется, считается X или XI век) Лик ее. Без всякого сомнения, это выше всего в религиозном искусстве, это уже не мастерство, а Тайна сама. И не случайно так долго скрытая, она раскрылась теперь, чтобы помочь, наставить, чтобы в духе раскрылось многое в этот поворотный час земли. Я прочла "Новое средневековье" и, конечно, в самом внутреннем согласна. Эта книга между прочим была последней, которую читал Михаил Осипович [Гершензон. — *Т. Ж.*] за день до смерти и с горячим одобрением, по-старому — с восторгом. И они оба находили в этом что-то новое и неожиданное для тебя. Как, значит, плохо понимали тебя в последнее время! Дал мне ее бывший сослуживец Евгении Юдифовны.

<...> Впрочем, все мое это пребывание в Москве больше проходит в свете настоящих скорбей, чем умственной causerie*<...>**

18 августа 1925 г.

Мой любимый друг, как никогда в ответ на твое письмо загорелось во мне желание свидания. Такие горькие ноты мне послышались в твоих словах, что особенно близким ты мне стал. В письмах не скажешь. Хотелось бы походить с тобою по дюнам, где ты, верно, будешь ввиду океана. И все-таки через письмо много можно услышать. Мне хочется сказать тебе, как я живу вот уж скоро два месяца (думаю, что ты получил мое письмо заказное об Аде, через Шестова?).

С днями не слабеет сила переживания ее смерти[14] — напротив. Все больше постигаю, что смерть любившего и любимого означает обновление для оставшихся, рождение заново со всей мукой и вдохновленностью рождения. Умирают не для себя одного, но и для близких. Но если не сумеешь принять этого дара, не сумеешь через ушедшего родиться заново — тогда как будто вторично и безнадежно погребаешь его. Ведь смерть то единственное, что совершенно приобщает Христову единству, совершенно устраняет разделенность. Я говорю, конечно, не в идеалистическом смысле, не о своем чувстве умершего, а об реальном соединении. Может быть, я должна была бы умереть, чтоб исцелить тебя от твоего недуга — восприятия всего чуждым, разъединенным: в мире, который в самом сердце своем — евхаристичен, это не поверхностный недуг, а самый коренной, неприступимый, закрывающий пути. Но я хочу, чтобы ты меня верно понял: когда я говорю о соединении, я думаю не о том ощущении незримого присутствия Ади, которое тоже бывает, а о другом, более таинственном, глубинном: о собственном рождении от смерти. Так я переживаю *на глубине* и не знаю, насколько и когда это просочится в дела и дни.

А на периферии у меня часто чувство, что Адина смерть — это мое сумасшествие <...>

---

* Беседа (*фр.*).

** л. 14 — 15.

Друг мой, ты заговорил со мной о моем приезде к вам. У меня самой очень горячо вспыхнула эта мечта. Но это будет — если будет — не скоро, через годы, так как сначала нужно преодолеть много житейских трудностей. Сейчас все усложнилось у нас как никогда. Но буду поддерживаться этой мыслью. Пока хотелось бы знать — словом, намеком — о чем задуманная книга. Будешь ли сейчас печатать оконченную? Ведь она такая коренная, о центральном.

Вот о чем хотела спросить тебя — мы хотели бы издать стихи Ади, но так как очень трудно и долго собрать прежние (у нас пропали, надо искать у разных знакомых), то, может быть, только ряд стихов с восемнадцатого года, дающих очень единую картину внутреннего пути среди этих лет. Посоветуй. Или, если возможно, сам напиши кому-нибудь. Стихотворений всего около шестидесяти. Пересылать не придется, так как все есть у Веры Степановны, я только сообщу порядок и так далее. Я бы очень хотела хоть несколько слов получить от тебя еще отсюда, с моря, хотя бы до переговоров о стихах <...>*

19 марта 1926 г.

Дорогой друг! Этот год — или последние полгода — легли между нами камнем молчания. Повторяю то, что говорила много раз,— что не верю этому молчанию, то есть тому, что оно до глубины, и внутренно преодолеваю его. Когда живешь внутренной жизнью, нельзя не чувствовать себя совсем реально в единстве с теми, кто в *том же.* Но была у меня долгая полоса — целые месяцы осенние, когда я переживала полное умирание внутреннее, и тогда тяжко тосковала об отсутствии общения. Писала вам еще раньше, к морю, но от вас обоих после того ничего не получала. Может быть, мое пропало? Может быть, ваше? Все равно. Но пишу тебе так, как будто заново после долгого перерыва. И почему как-то трудно о самом заветном... Внешне о тебе кое-что знаю. Или внешнее о твоем умственном и творческом окружении. Вера Степановна присылает мне выдержки из некоторых статей из "Путей"[15], что меня очень интересует. И еще — в последнее время у меня впервые после многих лет в руках новые французские книги и журналы — и мне кажется, что ловлю в них что-то и от твоей жизни. Читаю, как в Interview Maritain** с опасением говорит о нашествии всего восточного и русского, грозящего их совсем desoccidentaliser ("cet effarant Pascal de Chestov)*** — знаю, что этот же Maritain[16] издает тебя — вероятно, потому, что у тебя одного среди всех русских он чувствует творчески-волевой дух! Но как бы то ни было, во всем и лучшем французском чувствуется мне желание во что бы то ни было спасти именно западное и латинское, и потому закрытость и германизму, и востоку, и многому... Верно ли мое впечатление? Я вот сейчас медленно и внимательно читаю Федорова и думаю, каким бы варварством прозвучало им и это! А я очень чувствую в нем вдохновителя новой жизни. Только не нужно его укорачивать и материализовывать. Ты читаешь курс истории русской мысли? Там будет и о нем? Я вот что хотела бы слышать от тебя — тебе теперь ведь не только по книгам, а лично знакомы многие из религиозных писателей европейских —

---

* л. 5 — 6.

** Интервью Маритена (*фр.*).

*** Разъевропеизировать (этот поразительный Паскаль Шестова) (*фр.*).

хотела бы слышать, где, в ком ты больше всего слышишь творчество новой жизни? Не только писательскую новизну — а новизну жизни? Прошу очень, напиши мне еще о Keiserling[17]'е, свое мнение о нем. Значителен он, его школа? Знаешь ты его лично?

Вижу, что ты улыбаешься моей неисправимой умственной жадности — такой как будто ни к чему в моей жизни, отдаленной, уединенной. Но знаешь, чем выше нагромоздились преграды, тем сильней чувствуешь, как сейчас во всем мире все сходится к одному и все сообщается друг с другом.

Вот мысль о тебе, переведенном на другие языки, читаемом чужими,— волнует меня глубоко. Итак, друг дорогой, жду от тебя письма. Видишь, о тебе самом не задаю вопросов, но очень хочу все знать, что сможешь сказать. И конечно, более всего — в чем самая внутренняя твоя работа? Много ли продвинулась книга о проблематике?

О жизни своей внешней не пишу, потому что она пока без перемен и более или менее благополучна. О внутреннем когда-нибудь в другой раз. Кончаю свою работу об Эдгаре По и перешлю — ты тогда посмотришь, можно ли что-нибудь с ней сделать. Шлю привет и помню и люблю неизменно. *Евгения**.

23 мая 1927 г.

Мой милый, милый и, может быть, самый близкий друг!

Я не писала тебе годы, но благодаря друзьям — Вере Степановне и Диме — не чувствую себя отчужденной от вашей жизни и иногда так реально переношусь в вашу Clamar[18]скую обстановку, что будто слышу голоса и слушаю разговоры. Особенно последнее время много думаю о тебе. Знаю, что и ты знаешь обо мне внешнее. Поэтому, не останавливаясь на нем, хочу сразу заговорить с тобой о вопросе, неотступно стоящем передо мною. Думаю, что и в твоей внутренней, не всегда высказываемой вслух, жизни ему есть место: в известном духовном возрасте нельзя не подойти к нему вплотную. Возьму за исходную точку твою прошлогоднюю статью о Спасении и Творчестве[19], которую мне тогда же почти целиком переслала Вера Степановна и которую я читала тем, с кем общаюсь здесь на эти темы: все считают ее очень важной и центральной. В том виде, как она у меня есть, она как бы не договаривает твою мысль до конца. Но не в этом дело — я уверена, что буду тебе верна, если скажу, что творчество не только "помогает, а не мешает спасению", как у тебя сказано, но что оно и есть дело спасения всего мира и что иначе, помимо творчества, спасение, обожание и воскресение достигнуто быть не может. То есть на тобою же поставленный вопрос: может ли человек спасаться и в то же время творить, может ли творить и в то же время спасаться, я знаю, что внутри себя ты отвечаешь со всею страстностью: человек только и может спасаться, спасая (других людей, природу и общество), то есть творя. Пусть ты не договариваешь, но ведь это убеждение par excellence** — твое. Такой твой критик, как Гуревич[20], статью которого я только что прочла, называет эту точку зрения "однопланным, безгранично суженным взглядом на мир", пугается "творчества, опекаемого религией", и чурается "религиозной культуры", которую ты якобы призываешь. В своей книжности он хоть и говорит новыми словами, но словами отвлеченными, не нали-

---

* л. 19 — 20.

** В истинном смысле (*фр.*).

тыми реальным содержанием. Ему "узко", он не чует, что твои речи угрожают большим, чем "религиозная культура", что твое творчество метит в пределе на сотворение мира заново, или на осуществление его, покуда еще полусуществующего. Гуревичевское утверждение, которое он считает очень радикальным, что "можно искать путей к Богу не только через религию, но и непосредственно через мир и так далее", уже целиком включено в твоей "идее", и именно в силу ее однопланности: там, где одно, единое задание, там все пути годны, там их безмерное разнообразие... И уж не в "религиозной культуре" дело, как и вообще не в "культуре", и далеко не всегда благочестивое и опекаемое творчество лучше другого служит творческой задаче человека... Я думаю, что я всего этого могла бы не говорить,— слишком я уверена, что в этом мы думаем, чувствуем, верим согласно. Мне только хочется прибавить тебе, чтобы ты верно понял меня, что жизнь в этих мыслях не отводит меня от церкви и что не чуждо мне так, как протестантизм. (Повторяю за Федоровым, что "обряд может быть заменен только делом" — вернее, незримо переходит одно в другое.)

И вот, друг дорогой, если это так, если все, что я сейчас высказала как бы от твоего имени, и вправду твое, то я хочу знать вытекающее отсюда твое жизнечувствие. Я знаю, как в тебе сильна мистическая нота, которая со стороны некоторых навлекла на тебя укор в исключительном "имманентизме", та, которая заставляет тебя выше всего ставить внутреннюю духовную жизнь, в которой уже все есть, все суще, все вечно и воскрешено. И вероятно, твоя самая пламенная учительская деятельность направлена сейчас на то, чтобы раскрывать в душах эту вечную, свободную, божественную жизнь...

Но мой вопрос к тебе относится к другой стороне нашей духовной жизни — к конкретной задаче человека (раз мы все можем — мы все должны), которая неизбежно развернута во времени. Здесь можно предвидеть грядущие формы жизни и направлять на них волю свою и других. Сюда относится твое Средневековье и, вероятно, еще многое, что ты высказываешь. Но об этом в письме не спрашиваю. Но есть еще другая сторона у того же вопроса: перед каждым из нас встает вопрос, как пойдет дальше жизнь мира и потом — как пойдет жизнь моей души и как связать одну с другой? Раз задача мира переживается мною как моя личная, моя творческая задача, внутри меня осуществляющаяся, то смерть, конечно, не оторвет меня от нее. Смерть не выведет меня из времени во вневременное, потому что вневременное — и здесь, и там, и время — и здесь, и там. И творческая волна, которая раз подхватила меня, конечно, уж не оборвется со смертью. Как же мыслить, как хотеть мне мое дальнейшее существование? Ты скажешь — учение церкви. Я хочу не другого, чем учит церковь, но хочу также творчески и потрясающе-наново пережить и эту сторону христианской жизни, как переживаем мы другие ее стороны — "за свой страх". А теперь ведь как? В известные дни молятся об усопших, служат молебны таким-то святым — а жизнь наша духовная идет своим путем. Я знаю, что делаются попытки тесно связать одно с другим — например, у восточных католиков, но и это только — археология и церковная культурность. Я же хочу и жду, чтобы из смерти хлынула волна жизни. Говорю это не из парадокса. Верь мне, друг, что, не раздвинув далее в посмертное судьбу человека, нельзя разбудить в нем сокровенного нерва жизни. Без этого все усилия твои вызвать творческую активность душ будут бесплодны. Ведь слова Христа: "Ныне же будешь со Мною в раю",— всколыхнули мир — на тысячелетия хватило их движущей силы. До тех пор, пока мы не будем знать, провидеть нашу личную (и близких наших) судьбу и *связь ее с будущей жизнью мира*, до тех пор никаким философским

пламенем не спаять расколовшееся "спасение" и "творчество", а что еще хуже — и то, и другое будет вялым, ущербным... Вот на этот жгучий для меня вопрос хочу я знать твои мысли. Мы никогда вплотную не говорили об этом, а что ты узнал за эти важные годы разлуки — я совсем не знаю. Не могу тебе сказать, как мне важны и существенны твои самые краткие слова об этом, только умоляю тебя, ответь мне хоть отрывочно, недодуманно, только не знаю, захочешь ли ты понять, в чем для меня острота этой проблемы. Мне потому сейчас так и дорог Федоров, что у него в этой точке — "жарко", "горит" — ошибки же его и искажения — это ошибка перспективы. Принимаю целиком его задачу, но только то, что для него сейчас "ныне же" ("Ныне же будешь со Мною в раю!"), растягивается для меня в века и века. И эта бесконечность впереди не пугает и не гнетет, потому что это единый порыв активности, единое дело, которое и стало-то временем, растянулось им только потому, что я, человек, взял его на себя. И вся эта бесконечность — внутри меня и внутри моего "ныне".

Вспомнила я сейчас, что у нашего Баадера, которым мы с тобой когда-то занимались, было учение о трех временах, и одно из них — ниже времени. Должно быть, это об этом и было — то есть, если откажешься от "общего дела", от участия в Христовой жертве и творчестве, не растянешься во времени — тогда тоже выйдешь из времени, но это будет не победой над ними, а "подвременьем", по Баадеру. Так ведь? Видишь ли, я не совсем единомышленница федоровцев (да и знаю я очень немногих и с каждым из них созвучна, согласна только краешком существа своего), но правда, что в общем с ними вольнее дышится и все вопросы затрагиваются более по существу, чем с людьми других толков. Потом ценю их корневую русскость, их отношение к православию. Образ же самого старика Федорова вызывает во мне какое-то национальное волнение!

Мне трудно остановиться, друг дорогой,— так бы говорила и говорила с тобою. Но письмо и без того слишком длинно. Но ты ответишь мне, правда? Обнимаю с большой нежностью всех твоих.

Вчера получила от имени Льва Исааковича <...> [Шестова. — *Т. Ж.*] деньги. Знаю, что все вы участвовали в посылке их и благодарю горячо всех[21]. Смогу их употребить на одно важное и радостное мне дело.

Мысль и память о тебе — для меня неизменно радость и стимул к внутреннему творчеству. Ничто из того, что дано тобою, не забыто, не потеряно. Твоя с любовью. *Евгения**.

ПИСЬМА к М. Б. ГЕРШЕНЗОН**

1925 — 1940

30 августа 1925 г.

Только сейчас берусь за письмо к Вам, дорогая Мария Борисовна, хотя в эти два месяца обращалась к Вам постоянно, зная, как Вам близко то, что я переживаю, как не чуждо прозвучало бы Вам каждое мое слово. И внутри, втайне присоединяла Вас к тем — не знаю,

---

* л. 8 — 10.

** Письма хранятся в Рукописном отделе РГБ, ф. 746, к. 47, ед. хр. 31. Публикуются с сокращениями.

назвать ли их молитвами? — к тем мигам озаренным, когда смерть и смертная разлука преодолевались. Ах, дорогая, Вы знаете уже теперь, Вы острой мукой выстрадали то, что смертью близкого рождается к новой жизни, что надо, надо родиться заново, иначе нельзя перенести, а главное иначе, если не родишься от его Духа, от Духа умершего, то как бы хоронишь его вторично и безутешнее[1].

Нужно принять смерть не с покорностью только, а как дар тот, что любимый и любивший не для себя одного умирает, а и для близких, потому что только так может послать ему Утешителя. Но нужно же открыться этому Утешителю. Вот когда я Вас видела в Москве, Вы переживали и муку, и редкие миги вдохновленности этого нового рождения — Вы сами это говорили, что в Вас теперь он, ушедший друг, живет и строит Ваши новые верования, поскольку старое все распалось. И счастливы и Вы, и я, что *такие* от нас ушли, что они *сами* нас торопят, окрыляют, несут.

Подолгу страдать от утраты жизненного, невозвратимого лица Ади я не могу, не смею, потому что она сама так звала, призывала смерть (это Вы увидите и из последних стихов ее, которые посылаю Вам), что теперь я только изумляюсь, как мы все (и она тоже) не понимали смысла этих ее призывов и, обманываясь ее жизненностью, ее негаснущим интересом ко всему в жизни, не чувствовали, как близок ее уход. Но всего больше меня мучат, меня жалят воспоминания об этих десяти днях, когда я застала ее как бы выздоравливающей в Судаке, и не понимала, что внутренно она уже ушла... Она была такая же, как всегда, ласковая, говорливая, но какой-то глубиной духа мы не встретились — она сознанием не знала о своем состоянии (ничего не болело), строила планы жизненные, и я не пошла за ней в ту таинственную глубину ее духа, где неведомо от нее обрывались последние жизненные нити...

Вы понимаете мою боль от этого?

В последний ее земной вечер, вместо того, чтобы наглядеться на нее, наслушаться ее голоса, я хлопотала по дому и, когда она заговорила со мной совсем уже перед сном о любимой своей иконе Божией Матери в Симферополе, и почему там именно так изображен Христос-младенец, я не поддержала этого разговора (все время помня предписание докторов не волновать ее), ответила как-то незначительно! А это были бы наши последние на земле слова!

Потом мы еще поговорили <...> Но сейчас же заснула, и я не обратила внимания. А через полчаса во сне сделался припадок — глубокое беспамятство, длившееся всю ночь и утро, и так она умерла <...>

17 сентября 1925 г.

Письмо мое начатое пролежало полмесяца — мучительных полмесяца, когда решали мы зимнюю жизнь мальчиков и потом отправляли их. Два дня назад мы их отправили в Симферополь, и у меня совершенно такое чувство, будто я вторично теряю Адю, или даже хуже — будто я покинула ее, еще живую, еще нуждающуюся во мне, хотя и спящую каким-то непробудным сном... До такой степени Ника для меня таинственно связан с Адей — и не потому, чтобы он был уж так похож на нее, а как-то внутренно, иррационально <...>

<...> Есть что-то такое непонятное в смерти, что не покрывается и твердой религиозной верой, потому что если и веришь, что она,

ушедшая, жива, то тогда начинаешь не понимать, как же наше здешнее назвать жизнью? Все здешнее меняется неузнаваемо около смерти <...>*

24 января 1926 г., Судак

Дорогая Мария Борисовна, все это праздничное время, тот перевал года, когда подводятся итоги прошлому и заглядываешь в будущее, так особенно непоправимо и болезненно чувствуешь свою потерю. Правда? Даже для детей трудно пересилить себя и мысленно и в разговорах, гаданиях с ними строить "будущее". "Уж не замышляешь новых дальних странствий"[2]... Но, возвращаясь все к прошлому, хочется так его пережить и запечатлеть, чтобы оно стало чем-то и для будущего. Представляю себе, как Вам радостно иногда работать над письмами Михаила Осиповича (Вы делали выборки из них? Но как это трудно, потому что часто самое значительное связано со слишком интимным!) <...>

<...> Просматриваю и заканчиваю ряд статей об Эдгаре По, которые писала эти годы и которые заграничное издательство согласно напечатать. Мне давно хотелось Вас спросить, что говорил о нем Михаил Осипович? Думаю, что он ему не был близок, но все-таки мне хотелось бы очень знать. А Вы, дорогая Мария Борисовна, любили его когда-нибудь? Я сама к нему подхожу совсем не со стороны его извращений и ужасов, которые мне мало говорят, а со стороны его религиозного восприятия мира и, главное, чувства смерти <...> И думаю, что он в этом смысле пророчествен.

Ах, как хочется иногда Москвы и умственных импульсов — встреч и новых книг <...>

<...> Нет ли среди книг ваших стихов По в переводе Брюсова — они вышли год назад в Госиздате — мне так нужно было бы просмотреть их и его предисловие**.

31 марта 1927

<...> Мне бесконечно понятны Ваши слова о себе: "Живу внутри так напряженно и сильно, как никогда не было, но это возможно только в молчании". Я то же могу сказать о себе. Но, дорогая Мария Борисовна, это не только в нас, это объективно в мире. Я не признаю никаких догматов теософских или еще каких-нибудь, не хочу никаких формулировок, но знаю, слышу, что Дух Господен ближе и ближе, м. б., именно потому, что мир так страшен. И верю, что это проявится в делах.

Вообще так несомненно мне, что время книг, умственных разговоров отошло, что теперь совсем другое нужно. И прежде всего братское единение всех. Ах, слова все так стары, но они загораются новым светом изнутри. Чувствуете ли Вы тоже, что то чувство одиночества, которое так сильно было во время нашей молодости (то есть не лично у нас, а в литературе, в воздухе), совершенно невозможно теперь, что теперь нельзя быть одиноким!

---

* л. 2 — 5.

** л. 15 — 19.

До меня много доходит о жизни и деятельности наших в Париже. Вера Степановна присылает мне выдержки из статей в "Пути" — религиозный журнал, редактируемый Николаем Александровичем. Там интересные материалы из религиозной жизни Запада — но до чего это все еще в тех же перегородках, в узких ограничениях и сколько слов, слов, книг, а не дел! А жизнь не ждет! И статьи наших русских тоже такие...

Потом просматриваю французскую литературную газету, где тоже упоминается о наших. Один католик-философ говорит о книге Шестова: cet effarant Pascal de Chestov[3] — они ведь боятся опасности "востока" и России <...>*

19 февраля 1929 г., Кисловодск

Дорогая Мария Борисовна, больше года назад обменялись мы последний раз письмами, и я так и не ответила на присылку вашу книги Михаила Осиповича, которую читала с волнением и с чувством умиления <...>

<...> Та зима и лето были для меня исключительно трудны — я разрывалась между Судаком и Симферополем, где долго сидел Дмитрий Евгеньевич[4], потом был выслан, болели мальчики, тяжело заболела (саркомой) и потом умерла Екатерина Леонтьевна[5] <...> Постоянно телеграммы вызывали меня туда, а в это время в Судаке начались такие давления, что необходимо стало уехать, между тем брат был без места и мы без денег.

Все это коротко рассказать, но в жизни состоит из тысячи трудных мгновений. И вот после нескольких месяцев добывания денег, распродажи вещей и так далее мы двинулись и переехали в Кисловодск, невдалеке откуда в горах близ Теберды работает теперь брат <...>

<...> через месяц в Париже будет вечер, посвященный Аде: Цветаева будет читать ее стихи, другие — прозу и о ней. А мы все близкие — далеки! <...>**

Февраль, 1940 г. Курская область

Милая Мария Борисовна, такая жажда у меня узнать что-нибудь о Вячеславе — может быть, Вы получили известия? Может быть, даже у Вас есть какие-нибудь из новых его стихов? Спрашиваю себя, неужели он не с нами в это трудное, ответственное время.

<...> О смерти Льва Исааковича еще в ноябре 38 года Вы, верно, знаете. Умер, хотя и в больнице, после воспаления легкого, но для всех неожиданно от паралича сердца.

Такой был он нам всем дорогой друг. <...>

* л. 20 — 24.
** л. 25 — 26.

ПИСЬМА к Г. И. и Н. Г. ЧУЛКОВЫМ*

1938 — 1941

Осень, 1938 г., Курская область

Дорогой Георгий Иванович, знаю, что Вы очень сильно болели этой осенью, надеюсь, что острый период прошел, но знаю тоже, какие за ним наступают дни слабости. Хотелось бы прийти к Вам и посидеть около Вас. Я последнее время начиталась одного такого американца де Крюи (открытия по микробиологии) и уверовала в благодетельность этих страшных вспышек температуры, когда внутри идет борьба за человека и, конечно, более действительная и более славная, чем борьба врачей извне. А еще я думаю, что у Вас в эти периоды горения не могут не вспыхивать творческие искры, проникновенье мыслью глубже и острее, чем в здоровом состоянии. Я не знаю лаборатории вашего творчества, но думаю, что не может быть иначе, что если болезнь так длительна, как у Вас, то она несомненно связана с корнями духовной жизни. И наши болезни — это отчасти способ, которым мы познаем мир. Всегда приходит на ум Достоевский. Как мне хочется скорее прочесть, что Вы написали о *его* лаборатории творческой! Конечно, эта тема неисчерпаема, и в этой книжечке Вы могли только краешком коснуться ее. Но, наверно, Вами даны намеки, от которых и у читателя пробудятся не обычные мысли. Очень хотела бы знать, как и чем Вы сейчас заняты, т. е. не сейчас — сейчас нужно только отдыхать и восстанавливать силы — а какие впереди намечены работы — радости и муки?

Горячо, горячо желаю Вам скорого поправления и буду радоваться ему вместе с Вашими близкими. Милой измученной Надежде Григорьевне тоже шлю горячий привет. Всего, всего хорошего Вам обоим. *Евгения Герцык.*

Я уж не на Кавказе. Такая забытая русская картина перед окнами нашей хатки: убогие избы, треплется стог сена, серые поля. Но мне не тоскливо это*.

5 января 1939 г.

Дорогая Надежда Григорьевна, вчера вечером из газеты узнала о Вашем горе и всю ночь без сна думала о Георгии Ивановиче и о Вас... Так слабы и не нужны все слова сочувствия перед этой великой, величайшей тайной. Хотя и верю я, что жизнь продолжается (не знаю и не допытываюсь *как*), но это не убавляет остроты и боли при утрате любимого.

Представляю себе, какую муку Вы испытывали долгие, долгие дни, когда уже не было надежды и Вы давали ему последнее, что можно было дать.

Но мне хочется сказать Вам, что у Вас есть то единственное, что помогает перенести разлуку,— такая большая (не по годам только, а и по значительности) вместе прожитая жизнь, что один *вправду* переселился в другого, и Георгий Иванович будет продолжать жить в Вас. Я очень мало знаю пути и странствия Георгия Ивановича и Ваши, но мне кажется, что Вы вместе родились к вере, а это связь крепчайшая и счастливейшая из всех связей. Простите мне эти слова,

* Письма хранятся в РГАЛИ, ф. 548, оп. 1. Ед. хр. 315, 454. Ед. хр. 315.

если они неприятны Вам от меня, чужой, но говорю их от самой глубины души.

Мне кажется, что Георгий Иванович достиг той полноты внутренней, когда духу уже легко оторваться и уйти. Ах, а телу, это так, так трудно всегда! Но мне больно думать обо всем том недописанном, задуманном, закипавшем в нем, что было бы еще столько радости нам, слушающим, читающим его. Но, конечно, это не самое главное. И потом это все осталось Вам, чтобы хранить, выявить, может быть, подготовить к печати к тому времени, когда можно будет. Большое, большое дело на Вас.

Позвольте обнять Вас крепко, крепко и пожелать сил и спокойствия на трудное и одинокое. *Евгения Герцык**.

29 сентября 1939 г.

Дорогая Надежда Григорьевна, я очень виновата перед Вами, что, отправляя Веронику, забыла уложить "Воспоминания" Панаевой[1]. А это время посылок не принимали. Перешлю Вам книгу при первой возможности!

Надеюсь, что Вы хорошо отдохнули за лето и теперь с новой радостью работаете над бумагами Георгия Ивановича. Год назад начинались долгие мучительные дни в той комнатке Вашей, которую я очень запомнила, унесла в душе. Очень давно о Вас обеих[2] ничего не знаю. Анна Ивановна не пишет, а я так занята в новых наших больших комнатах и без помощи — не можем найти — и потому не могу выхватить часа для письма!.. Всего, всего лучшего — здоровья и сил для работы. В свободные минуты меня тянет сейчас только в природу: сойдешь с крыльца — и лес. *Евгения Герцык***.

19 ноября 1939 г.

Дорогая Надежда Григорьевна, я очень виновата перед Вами, что не ответила хотя бы открыткой на Ваше письмо — была перегружена работой домашней и все ждала освобождения <...>

<...> Сквозь все эти дела много, много раз мыслью обращалась к Вам, к Вашим комнаткам, так насыщенным всем тем, что мне было дорого в самые разные периоды моей жизни. Взялась за стихи Вячеслава, которых не перечитывала несколько лет, и глубже прежнего почувствовала духовное объяснение их, и стала остро жалеть, что никогда серьезно, вплотную не говорила об этом с Георгием Ивановичем. Да и одно ли это? Многие темы приводят меня мысленно к Георгию Ивановичу и к Вам. Хочется знать, зафиксированы ли где-нибудь, записаны ли им самим его оценки разных современных явлений? Конечно, много этого должно быть в его письмах к Вам. Вы мне почитаете из них, правда? Вообще, мне очень хочется, чтобы Вы мне посвятили один или несколько вечеров, когда я приеду — мне это очень важно. Очень жалею, что я далеко и не могу Вам сколько-нибудь помочь в Вашей работе.

Большое спасибо за предложение книг. Но уж лучше я у Вас почитаю, когда буду в Москве. Мне хочется как можно ближе подойти ко всему оставленному Георгием Ивановичем. Ведь я совсем не знаю его стихов последних лет. И зачем я не попросила его про-

---

* Ед. хр. 454, л. 1 — 2.

** Ед. хр. 454, л. 4.

честь мне! Стихи голосом самого поэта — это бесконечно больше, чем сами по себе стихи. В конце января к нам поедет Вероника на десять дней — если бы Вы прислали с ней на эти дни книгу Георгия Ивановича о Пушкине[3], я была бы очень благодарна: я читала в журнале с пропусками. А сейчас одна статья (Тынянова) о молодой любви Пушкина взволновала меня, и мне хочется видеть, как об этом пушкинском периоде говорит Георгий Иванович. С Вероникой же я верну Вам Панаеву.

Вы сообщили мне о смерти нескольких людей — они все мне далеки, но взволновала сама весть, как предчувствие другой вести, которая придет также нежданно кружным путем,— вести о смерти близких. Вот моя самая близкая подруга и единственная корреспондентка *там*[4], медленно умирает от рака, и у меня нет возможности сказать ей все последние слова любви и веры, уверенности. Эта уверенность преодолевает ведь и тяжесть разлуки *заживо*.

Будьте здоровы, сильны, милая Надежда Григорьевна, целую Вас и очень хочу свидания с Вами. *Евгения Герцык**.

15 января 1940 г.

Дорогая Надежда Григорьевна, понимала и всей душой была с Вами на снежной белой могиле Георгия Ивановича в его годовщину. Мне последнее время как-то особенно близки и до конца понятны слова “печаль моя светла — печаль моя полна Тобою”. Вот также я представляю себе Ваше душевное состояние. И хотя многое не дописал Георгий Иванович и многое смерть оборвала, но правда ведь, внутренно круг был завершен, была полнота. А боль незаживающая только, где этого нет. Довольны ли Вы тем, что Вам удалось за этот год сделать в смысле подготовки материалов? Трудный был год, и все тяжелее, почти физически давит разлив ненависти в мире всём. Последнее время заморозки, холод — у нас дошло до — 42°. Но как красив был лес весь в серебре и хрустале. Сейчас потеплело и посерело — я больше люблю эту тонкую, несверкающую красоту<...>**

14 марта 1940 г.

Дорогая Надежда Григорьевна, давно уж получила Ваше такое хорошее письмо и думала, что увижу Вас весною и тогда поговорю с Вами лучше, чем говорится в письме. Но ввиду трудности (голодности и так далее) жизни решила весною не уезжать из дому, отложить до осени. Мне хотелось горячо побудить Вас записывать, хотя бы вразброд (так даже лучше), факты и слова из жизни Георгия Ивановича, все это будет дорого, *нужно* поколению, которое *придет*. Может быть, в виде комментария к письмам? Или просто картинки из жизни разных периодов: если *Вами* они будут зарисованы, то в них, конечно, просквозит внутренняя линия его духа, путь.

В частности, мне хотелось бы расспросить Вас, как Вы беспристрастно оцениваете отношения Георгия Ивановича с Вячеславом (давние, петербургские). Я думаю, что Вы не очень долюбливали “мистический анархизм”[5]. Но о всем таком при свидании — если свидание будет.

---

* Ед. хр. 454, л. 5 — 8.

** Ед. хр. 454, л. 10 — 11.

Так много сверстников я за последнее время потеряла, что не кажется мне больше жизнь прочной. Но тем по-прощальному — милее она. Я очень люблю в стихах Вячеслава:

Он в землю верную вложил
Любви нерасточенной силу—

тот, у кого есть "милая могила".

А Вячеславу, по-моему, верно прожить до глубокой старости, видеть все яснее, писать все проще.

К нам собирается Дмитрий Евгеньевич<...>

Так тревожно и трагично наше время! *Евгения Герцык**.

24 апреля 1940 г.

Дорогая Надежда Григорьевна, благодарю Вас от души за присылку письма Евгения Иванова[6], которое было мне и очень близко, и нужно. Меня всегда, а теперь особенно (в связи с психическим заболеванием и смертью в таком состоянии очень близкого мне человека) волновала судьба "безумных". И всегда жадно читала жития юродивых... Очень понимаю слова Вл. Соловьева о том, что в сумасшедшем дух человеческий жертвует умом, чтоб спасти дух,— и все же как-то неистребимо и во мне, как в других, чувство превосходства, разумности своей...

А вот Евгений Иванов, видимо, совсем преодолел это чувство — да и как же иначе, когда двое самых близких — такие! Но он вообще странный — впрочем, я его никогда не видела, не знала. А как Вы его воспринимали?

Пишу Вам, дорогая, в святые дни и Вы получите в Великую Субботу — примите мой сестринский привет. Как сон о другой жизни — память об этих днях, когда они переживались на свету, на людях... А теперь — святость смерти и воскресения для меня, может быть, и углубилась, но я совсем разучилась приурочивать к срокам.

Земля еще совсем не весенняя, бурая, ни травинки, и лес весь бронзовый от прошлогоднего листа,— дуб, с которым сравнил себя Вячеслав в стихе. Еще не тянет в природу — я рада, потому что нет времени и сил: уж месяц я без домработницы и устаю.

В начале мая к нам собирается Дмитрий Евгеньевич — пишу ему, чтоб он зашел к Вам, а Вы, дорогая, пришлите мне с ним на эти дни, что он пробудет (верну непременно с ним же), если возможно, "Нежную тайну" Вячеслава[7], "Мистический анархизм". И больше всего хочется книгу Георгия Ивановича о декабристах[8], если она вышла. Очень прошу. Ведь я в такой отрезанности, а теперь, когда я думаю и записываю о Вячеславе, мне так недостает разных книг. Всего светлого — для духа, а для земли — здоровья и сил желаю. *Ваша Евгения Герцык.*

Неужели Ваш домик будут ломать? И как же тогда? Привет Ане**.

23 мая 1940 г.

Дорогая Надежда Григорьевна, ждала приезда Дмитрия Евгеньевича, чтоб написать Вам и ответить на Ваше письмо. Но вот

---

* Ед. хр. 454, л. 12.

** Ед. хр. 454, л. 13.

накануне выезда к нам — несчастный случай! Надеюсь, что обойдется благополучно и что он еще походит на милой земле — хотя бы с палочкой. Ах, дорогая, как глубоко сочувствую ощущению "богатства старости" и благодарности за все последнее, особенно ценимое. Вот и эта весна сейчас, с кукушками и соловьями у самых окон,— принимаю ее как дар. Возимся с огородом, спешим, и потому я сейчас занятей обычного. В комнатах у нас еж и крошечный зайчонок растет. Этот невинный зверек бегает по Любови Александровне, утешает ее. Очень интересно и верно то, что говорит Иванов [Евгений. — *Т. Ж.*] о Блоке. Как хорошо для Блока, что была у него эта дружба. Хотелось бы еще говорить с Вами, но некогда. Целую Вас, шлю пожелания сил и здоровья. Весною особенно чувствуешь близость дорогих ушедших — правда? Привет А. И. Напишу ей. *Ваша Евгения Герцык**.

13 июля 1940 г.

Дорогая Надежда Григорьевна, ну как мы с Любовью Александровной благодарны Вам за несколько переписанных стихов Ахматовой — мы как раз так жаждали их. Она мне не близка абсолютно ни в прошлом, ни в этих последних стихах — недостает мне в ней влаги, все растворяющей веры (как в Вячеславе), единения с природой... Но как благородна она в сухости и честности этих умышленно скудных слов! Дорогая, если у Вас будет как-нибудь неусталая минутка, спишите нам еще два каких-нибудь стиха... Только стыдно просить об этом в теперешние удручающе-жаркие дни — верно, и у Вас они такие же, как здесь: весь день тяжко дышать, обливаешься потом, а к вечеру скопляется гроза, которая гуляет по всему горизонту, но над нами редко освежает. Можете себе представить, как это тяжело Любови Александровне, которая лежит на горячих, мокрых подушках — меняем на ней и под ней все, но через десять минут все то же!

При этом сейчас здесь кипучая пора сенокошения, которым ведает брат: встаем с ним вместе в пять часов, а вечером иногда он возвращается в двенадцать ночи или совсем не возвращается. Всегда спешка и волнение от того, что он не ест, худ, истощен. Вероника много делает в доме, а из леса приносит нам грибы — украшение нашего стола — но почему-то у меня не убавилось дела. Очень беспокоюсь, как Вы переносите жару в Москве — собираетесь ли отдохнуть в деревне?

Еще мне очень хотелось бы, чтобы Вы рассказали мне когда-нибудь о Варваре Григорьевне Мирович[9] — какая она? Я ведь знала ее лет 35 назад. Будьте здоровы и светлы ради Георгия Ивановича. *Евгения Герцык***.

25 июля <1940 г.>

Дорогая Надежда Григорьевна, спасибо большое за вторую присылку стихов Ахматовой. Многие мне очень близки и волнующи. Страшно жалею, что Вы некоторые переписали нам второй раз, сил, Вами затраченных, жалко — например, об "уюте", Муза, Ива... А вот этих, о которых Вы упоминаете, "Жена Лота" из книги бытия,

---

* Ед. хр. 454, л. 15.

** Ед. хр. 454, л. 16.

"одни глядятся" — не было. Мне очень хочется хотя бы одно какое-нибудь стихотворение Георгия Ивановича — особенно какое-нибудь, с Вами связанное. Надеюсь осенью побывать в Москве и тогда почитать, но как знать, что будет.

Как жаль, что Вы так мало побывали в деревне. Какие знакомые мне по детству места — Хотьков монастырь... Там северно — ели в лесах, болота с кочками. Здесь у нас иначе, южнее, знойнее. И я больше, чем лес, чем "дубраву" здешнюю (исключительно дуб), люблю опушку, когда идешь, стоишь на грани бескрайней степи, ковылевой, разнотравной на многие десятки верст... Чувство почти как на берегу моря. Но у меня очень редко выпадают минуты, когда можно так побыть — на краю.

Хорошо, что Вы написали мне о болезни некоторых людей, которых я когда-то знала — Тернавцева[10], Пяста[11] — чтобы подумать о них глубже. Целую Вас. Привет от моих. Будьте здоровы и светлы. *Е. Герцык**.

3 сентября 1940 г.

Дорогая Надежда Григорьевна, я не ответила на Ваше письмо и на присланные последние стихи Ахматовой. Мы были в спешке последние недели с Вероникой, дни летели, третьего дня она уехала, дом опустел, затих, но дела впереди опять много: побелка, перенос Любови Александровны в другую комнату, уборка огорода. Я думала вместе с Вероникой поехать в Москву, но вот все откладывается, не на кого оставить Любовь Александровну. Все же надеюсь позже осенью съездить. Надеюсь Вас увидеть и поговорить. Надышались ли Вы хоть немного летней пахучей землей? Где Анна Ивановна? Она не пишет. Шлю нежный привет Вам и ей. *Е. Г.***

26 сентября 1940 г.

Примите, дорогая Надежда Григорьевна, мой большой привет. Думала о Вас, неся сегодня из леса целый букет анемонов. В этом году как будто осень оглянулась на весну, переживает ее в воспоминаниях: на степи ни одного сухого стебля, она опять нежно-зеленая, кое-где раскрываются весенние цветы. Мне никогда не приходилось этого видеть. А ночи холодные, день так заметно идет на убыль... так что эти белые анемоны — только обетование. Но тем дорогие!

Помню, что уж второй раз Вы без Георгия Ивановича встречаете осенние дни. Шлю пожелания здоровья и света. Целую Вас и Аню. Надеюсь в октябре — ноябре увидеться с Вами. *Е. Герцык****.

7 марта 1941 г.

Дорогая Надежда Григорьевна, большое спасибо за присланные еще незнакомые мне стихи Ахматовой. Как хорошо "Художнику". Хотелось бы знать, какой это художник? Но опять во всех стихах чувствую, как она до сих пор замкнута в своем "женском". ("Anno Domini" у меня есть.)

---

* Ед. хр. 454, л. 22.

** Ед. хр. 454, л. 18.

*** Ед. хр. 454, л. 19.

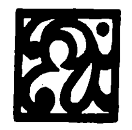
Это время, переживая интенсивно прошлое, я особенно хотела с Вами повидаться, грустила, что это так недоступно,— хотела поговорить о близких в прошлом людях. Вот и умерший Пяст — Вы, верно, рассказали бы мне о нем: у меня в памяти почти только облик юноши, читающего стихи,— о внутренней жизни его мало знаю.

Тон Вашего письмеца усталый — но ведь в духовной жизни усталость — это только момент, а жизнь молодая, восходящая — вечна. Берегите свои силы и используйте их *все*, чтобы осуществить творческое дело Георгия Ивановича, записать побольше о нем, разобрать все бумажки недописанные — будьте настоящей матерью его духовных детей!

Мы еще в снегах, сугробах глубоких, и только в лесу почему-то уж слышатся птичьи голоса — прилетели слишком рано, может быть, на гибель <...>

Как-то интенсивней прошлых лет чувствую в этом году первую неделю Великого Поста — как я любила ее звоны и долгие службы (хоть и не выстаивала их). И они всегда будили весеннюю жизнь духа. Будят и сейчас,— хотя их и не слышно.

Мы провели очень невеселую зиму в смысле болезней и во всяческом смысле — сейчас как будто поворот. Любовь Александровна благодарит Вас за всегдашнюю о ней память. Шлю Вам нежный привет и очень желаю здоровья и бодрости. *Е. Герцык**.



---

* Ед. хр. 454, л. 20—21.

КОММЕНТАРИИ

ВОСПОМИНАНИЯ

Впервые в сокращенном и подчас искаженном виде (очевидно, из-за дефектности переданной без ведома родственников рукописи) "Воспоминания" опубликованы в издательстве "Ymca-press" в 1973 году. В то издание вошли главы "Детство" (не полностью), "Первая любовь", "Рождение поэта", "Вячеслав Иванов", "Волошин", "Лев Шестов", "Н. А. Бердяев", "Кречетниковский переулок".

В основу настоящего издания положен полный текст рукописных воспоминаний Е. Герцык, находящийся в семейном архиве Герцык-Жуковских.

Предисловие

1. *Аделаида Герцык* — Лубны-Герцык (в замужестве Жуковская) (1874—1925) — писательница, переводчица, поэтесса. 2. *А. Белый.* "На рубеже двух столетий", 1930; "Начало века", 1933; "Между двух революций", 1934. 3. *...кружок Мережковского* — философско-литературный салон в Петербурге, на Литейном проспекте в доме Мурузи, где жили Мережковские. 4. *...группа "Аполлона"* — группа, сформировавшаяся вокруг журнала "Аполлон", выходившего в Петербурге с 1909 г. Редактор — С. Маковский. 5. *Шестов Лев* (настоящее имя Шварцман Лев Исаакович) (1866—1938) — русский философ-экзистенциалист и литератор. В эмиграции с 1920 г. 6. *"Вехи"*, сборник. М., 1909. 7. *"Проблемы идеализма"*, сборник. М., 1902. 8. *Бердяев* Николай Александрович (1874—1948) — русский религиозный философ. Первые публикации в журнале "Мир Божий". В эмиграции с 1922 г.

Детство

1. А. Герцык. "Из мира детских игр", Русская школа, 1906, № 3. 2. А. Герцык. "О том, чего не было", Русская мысль, 1911, № 5. 3. *Лагорио* Лев Феликсович (1827—1905) — русский художник-маринист. Его жена — Елена Антоновна (урожденная Лубны-Герцык) — родная тетя сестер Герцык. Ольга Львовна Лагорио — дочь. 4. Шевелье Екатерина Леонтьевна (? — 1927) — гувернантка в доме Герцыков.

Севастополь

1. Конфиденции — секреты. 2. Стихотворение А. Герцык 1911 г. 3. Стихотворение А. Герцык 1921 г. 4. Повесть К. Паустовского “Черное море” впервые опубликована в 1936 г. в альманахе “Год XIX”, № 9.

Судак

Местечко Судак в конце XIX — начале XX века включало в себя: Судак — береговой дачный поселок, селение Судак и немецкую колонию (Уютное). Алчак, Меганом, Ай-Георгий, Перчем — названия гор в окрестностях Судака.

1. Дом был приобретен в 1890 году, сохранился до сих пор по ул. Гагарина. 2. *Генуэзская крепость* в Судаке, построенная в основном в XIV—XV вв., представляла собой первоклассную крепость. Солдайя (как называли Судак) имел значение международного торгового и транзитного пункта. К началу XX в. крепость была значительно разрушена (камни пошли на строительство Кирилловских казарм сразу после взятия Крыма русскими). Сейчас отреставрирована. 3. *Киммерия* — так древние греки называли черноморское побережье Крыма. У Гомера: “Киммерии печальная область”. М. Волошин писал: “Киммерией я называю восточную область Крыма от древнего Сурожа (Судака) до Босфора Киммерийского (Керчинского пролива)” — статья “Константин Богаевский”, Аполлон, 1912, № 6. С. 5—12. 4. Здесь и выше стихи С. Я. Парнок, написанные в Судаке в 1917—1922 годах. 5. Стихотворение А. Герцык “К Судаку” написано в 1918 г.

Александров

События, описанные в этой главе, относятся к 1895 — 1898 гг., когда строилась ветка на Иваново-Вознесенск с участием К. А. Лубны— Герцык, и семья вновь поселяется в своем александровском доме. Последнюю зиму жили в г. Юрьеве-Польском.

1. *Дневник Марии Башкирцевой* на французском языке опубликован в Париже в 1887 г., спустя три года после ее смерти. Несколько поколений молодых девушек увлекались их чтением. М. Цветаева посвятила М. Башкирцевой свою первую книгу “Вечерний альбом”. 2. *Эредиа* Жозе Мария де (1842—1905) — французский поэт. Книга сонетов “Трофеи”, 1893. 3. *Аккерман* Луиза Викторина (рожденная Шоке) (1813—?) — французская писательница. Книги стихов 1855, 1863, 1874. 4. *Alexendrins* — александрийский стих — французский двенадцатисложный стих или русский шестистопный ямб (с цезурой после шестого слога) с парной рифмовкой. 5. *Вера* — В. С. Гриневич, см. ниже: глава “Вера”. 6. *Пантелеев* Лонгин Федорович (1840—1919) — русский общественный деятель, издатель научной литературы. В архиве Пантелеева в ЦГАЛИ хранятся письма к нему А. Герцык. 7. *Сильвия Манфентейль*, гимназическая подруга А. Герцык. 8. *Мамонтов* Савва Иванович (1841—1918) — крупный русский промышленник и меценат. Строитель Ярославской железной дороги. 9. *Элисс* — псевдоним Кобылинского Льва Львовича (1879—1947), русского поэта и критика. Теоретик символизма. Эмигрировал. 10. *А. Герцык.* “Религия красоты”, Русское богатство, 1899, № 1. 11. *Александр Михайлович Бобрищев-Пушкин*, см. ниже главу о нем. 12. *Р. Сизеран* — автор монографии о Дж. Рескине, на основе которой писала статью о нем А. Герцык.

Ницше

Влияние идей немецкого философа Фридриха Ницше (1844— 1900) на русскую философскую мысль начала XX века было значительным. Бердяев отмечал, что движение ряда русских мыслителей от легального марксизма к христианской философии было опосредовано влиянием идей Ницше. Знание его трудов необходимо при рассмотрении и "дионисийства" Вяч. Иванова, и полемики С. Н. Булгакова с "человекобожеством", и при сопоставлении Ницше и Достоевского у Шестова.

1. Имеется в виду Ф. Ницше "Рождение трагедии из духа музыки", 1872. 2. В переводах Е. К. Герцык вышли книги Ф. Ницше "Помрачение кумиров". М., 1900; второе издание под названием "Сумерки кумиров", 1902. "Утренняя заря. Размышления о нравственных понятиях", 1901.

Бобрищев-Пушкин

Бобрищев-Пушкин Александр Михайлович (1851—1903), юрист и поэт. Опубликовал ряд статей юридического характера, например, "Суд и раскольники-сектанты", 1902, несколько критических эссе и стихи в журналах и альманахах. О нем же — в главе "Рождение поэта".

1. Г. Гейне. "Северное море" (1825—1826). Два цикла стихов. 2. Гете, "Римские элегии". По форме и тематике аналогичны элегиям римских поэтов Тибула, Проперция, Овидия. 3. *Милль* Джон Стюарт (1806—1873), английский философ, экономист и общественный деятель. "Система логики", 1843.

Зенгер

Зенгер Григорий Эдуардович (1853—?) — государственный деятель и филолог-латинист. В 1902—1904 гг. был министром народного просвещения России.

1. О судьбе П. И. и Н. А. Пальчинских сообщается у Солженицына в "Архипелаге ГУЛАГ", часть 1, гл. 8 и далее часть 3, гл. 10. 2. Встреча на дюнах в сентябре 1904 года описана в дневнике Е. К. Герцык: "Встреча на белых дюнах с Зенгером. Закаты, море и чайки. Так странно ожила та давняя осень в Судаке. Он, его предсказания — он и Александр Михайлович. Он и прекрасней стал, и проще гораздо, строже — и семья, дети и суетливая belle-so'eur".

Первая любовь

Глава посвящена взаимоотношениям Е. Герцык с известным швейцарским экономистом и лингвистом Ант. Веллеманом (1875—?). Он составил большой словарь четвертого языка Швейцарии — ретороманского (ладинского) с переводом на немецкий, французкий и итальянский языки и научную грамматику этого языка. Биографические сведения об Ант. Веллемане сообщены профессором литературного института С. Б. Джимбиновым, за что редакция приносит ему благодарность.

Рождение поэта

1. Арно Гольц (1863—1929) — немецкий писатель и литературовед.

Вера

Глава посвящена Вере Степановне Гриневич, подруге сестер Герцык с 90-х годов прошлого века. Ее отец С. Романовский был комендантом судакской крепости. В. С. Гриневич — адресат многих известных литераторов и философов на родине и в эмиграции. Эмигрировала в 1922 году после гибели двух сыновей.

1. *Штевен* Александра Алексеевна (1865—1933) — организатор около 50 школ и педагог. Штевен А. А. "Из записок сельской учительницы", СПб, 1895. Архив ее (дневники, письма) хранится в семье Ершовых. 2. *Чертков* Владимир Григорьевич (1854—1936) — друг и единомышленник Л. Н. Толстого. 3. *Желиховская* Вера Петровна (1835— 1896) — русская писательница, сестра Блаватской. Ее книга о детстве "Как я была маленькой". 4. *Блаватская* Елена Петровна (псевдоним Радда Бай) (1831—1891) — русская писательница, основательница Теософского общества в 1875 году в Нью-Йорке. 5. Адрес школы им. Вл. Соловьева в 1913 году: Остоженка, Савеловский переулок, 10. 6. ...*Бердяева с женою* — Лидией Юдифовной (урожденной Трушевой) — далее о дружбе с ними в главах "Бердяев" и "Кречетниковский переулок". 7. *Гюйо* Жан Мари (1854— 1888) — французский философ-позитивист, рассматривал духовные явления с точки зрения биологической полезности. 8. *Далик* — старший сын А. Герцык. 9. *Вяч. Иванов* и *Минцлова* — о пребывании их в Судаке в июле — октябре 1908 года в главе "Вяч. Иванов". 10. В. С. Гриневич написала некролог А. Герцык: "Возрождение", Париж. 1925.

Лев Шестов

Лев Шестов — псевдоним Льва Исааковича Шварцмана (1866 — 1938) — литературный критик и философ. О нем книга Н. Л. Барановой-Шестовой "Жизнь Льва Шестова", 2 тома, Париж, 1988.

1. Высшие женские курсы помещались на углу Мерзляковского пер. и Поварской, после революции в этом же здании читались лекции Вольной академии духовной культуры — см. главу "Бердяев". Профессора курсов: историк — В. О. Ключевский (1841—1911); историк-западник — П. Г. Виноградов (1845—1925); философ и юрист — П. И. Новгородцев (1866—1924); историк литературы — А. Н. Веселовский (1843—1918). 2. Л. Шестов. "Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше. Философия и проповедь", 1899. 3. Статья Л. Шестова "Власть идей" с критикой книги Мережковского "Лев Толстой и Достоевский" опубликована в журнале "Мир искусств", 1903, № 1—2. 4. *Бутова* Надежда Сергеевна (1878—1921) — актриса МХАТа. О ней: Б. Зайцев. "Улица святого Николая", 1989, стр. 317—321. 5. *Лурье* Семен Владимирович (1867—1927) — философ, печатался в "Русской мысли". Книга американского философа и психолога У. Джемса (1842—1910) "Многообразие религиозного опыта" издана в Москве в 1910 году. 6. *Лундберг* Евгений Германович (1887—1965) — писатель, литературный критик. Писал о Шестове "Записки писателя", т. 2, Л., 1930. 7. Малахиева-Мирович Варвара Григорьевна (1869—1954) — писательница, печаталась в киевских и московских газетах и журналах. 8. В 1917 году скульптором В. Н. Домогацким был сделан бюст Шестова. Находится в Третьяковской галерее. 9. Дмитрий Евгеньевич Жуковский (1866—1943) — издатель, переводчик, ученый-биолог, с 1908 г.— муж А. Герцык. 10. Жена

Шестова — Анна Елеазаровна Березовская (1870—1962). Дочери — Татьяна (1897—1972) и Наталья. 11. Младшая сестра Шестова Фаня Исааковна (1873—1965) училась на философском факультете в Берне. Ее муж — Ловцкий Герман Леопольдович (1871—1957), композитор. 12. *Булгаков* Сергей Николаевич (1871—1944) — экономист, философ-богослов, в 1918 г. принял сан. Выслан осенью 1922 года из Крыма в Константинополь. 13. *Гершензон* Михаил Осипович (1869—1925) — историк литературы и культуры. 14. *Ася* — Цветаева Анастасия Ивановна (1894—1993), писательница, сестра М. Цветаевой. В 1914 г. вышла ее книга "Королевские размышления", в 1916 — "Дым, дым..." 15. Л. Шестов. "*Вячеслав Великолепный*". К характеристике русского упадничества", Русская мысль, 1916, № 10, стр. 80—110. 16. *Плотин* — греческий философ-идеалист III века н. э., основатель неоплатонизма. Его учение изложено в "Эннеадах".

Вячеслав Иванов

Иванов Вячеслав Иванович (1866—1949) — поэт, филолог, теоретик символизма. Знакомство Е. К. Герцык с ним состоялось в начале 1906 года и продолжалось до 1917 года. Уехал из СССР в 1923 году.

1. В. Иванов, "*Кормчие звезды.* Книга лирики". СПб, 1902 (часть тиража помечена 1901, часть — 1903) — первая книга стихов В. Иванова. 2. *Жуковский* Д. Е.— см. в гл. "Шестов". 3. *Зиновьева-Аннибал Лидия Дмитриевна* (1866—1907) — писательница, вторая жена Вяч. Иванова. Сборник ее рассказов "Трагический зверинец" (СПб, изд. Оры, 1907) А. Блок назвал замечательной книгой. Творческая обстановка на "башне" 1905—1907 гг., во многом определялась личностью Зиновьевой-Аннибал. Память о ней играла значительную роль в жизни и творчестве Вяч. Иванова до конца его жизни. 4. *Буренин* Виктор Петрович (1841—1926) — известный критик, поэт, публицист. В редакции газеты "Новое время" выступал с фельетонами и критическими статьями. 5. *Городецкий* Сергей Митрофанович (1884—1967) — русский советский поэт. Первая публикация в 1905 г. В 1907 г.— первый сборник поэта "Ярь", где используются темы и образы русского фольклора. Впервые стихи из будущего сборника Городецкий читал на "башне" в 1906 г. 6. В. Иванов, "*Песни из лабиринта*", цикл из 6 стихов. Цитируемое стихотворение написано за год до знакомства с Е. Герцык (в 1904 г.). Впервые опубликовано в "Вопросах жизни", 1905, № 2. 7. *Кузмин* Михаил Алексеевич (1875—1936) — поэт, прозаик, драматург, переводчик, композитор, автор критических статей. 8. *Чулков* Георгий Иванович (1879—1939) — поэт-символист, журналист, историк литературы. В приложении приведены письма Е. К. Герцык к Г. И. и Н. Г. Чулковым. 9. *Минцлова Анна Рудольфовна* (ок. 1860—1910?) — теософка, переводчица, знаток истории искусства Франции. Впервые на "башне" появилась в 1906 г. Портрет ее дан во многих воспоминаниях о тех годах. "Она (Минцлова. — *Т. Ж.*) приехала в одиннадцатом часу. Долгая прекрасная беседа о храмовой легенде..." — В. Иванов, Дневник, запись в ночь на 28 июня 1908 г., Собрание сочинений, т. 2, Брюссель, 1974. 10. "*Бродячая собака*" — литературно-художественное кафе, существовавшее в Петербурге по адресу: Михайловская площадь, 5 (ныне: площадь Искусств) с конца 1911 г. по март 1915 г. 11. В. Брюсов "*Огненный ангел*"; впервые опубликован: "Весы", 1907, № 1—125; 1908, № 2—8. 12. *Пришвин* Михаил Михайлович (1873—1954) — русский советский писатель. 13. *Замятнина* Мария Михайловна (1865—1919) — подруга Зиновьевой-Аннибал, домоуправительница и друг

семьи (у Е. Герцык — Замятина). 14. *Кизельташ* — православный мужской монастырь в Крыму в 18 верстах от Судака. Действовал в 1856—1917 годах. Излюбленный маршрут для прогулок из старого Судака. При монастыре были комнаты для гостей. 15. *Новалис* — псевдоним немецкого поэта-романтика Фридриха фон Ханденберга (1772—1801). Вяч. Иванов изучал его творчество, переводил. ("Аполлон", 1910, № 7. См. комментарий к "Приложению"). 16. *Серафита* — героиня одноименного философского романа Бальзака. В издательстве "Мусагет" было объявлено о публикации романа в переводе А. Чеботаревской, со вступительной статьей Вяч. Иванова. Упоминается в статье Иванова "Две стихии символизма", сборник "По звездам", впервые — "Золотое Руно", 1908, III—IV, V. 17. *Гофман Модест Людвигович* (1887—1959) — русский поэт и литературовед. С 1923 г. в эмиграции. 18. *Ивойлов* (Княжин) Владимир Николаевич (1883—1942) — поэт и литературовед. 19. *Верховский* Юрий Николаевич (1878—1956) — поэт, переводчик, историк литературы. В. Иванов ценил поэзию Верховского, посвятил ему ряд стихов. 20. *Анненский* Иннокентий Федорович (1855—1909) — известный поэт, литературовед. Стихотворение "Ultimum Vale" "Последнее прости", посвященное Анненскому, было приложено к письму В. Иванова Анненскому незадолго до смерти последнего. В ответном письме 17.X.09 г. Анненский писал: "Я только что получил Ваше превосходное стихотворение, которое я воспринимаю во всей цельности его сложного и покоряющего лиризма". Стихотворение вошло в сборник "Cor Ardens" (1912). 21. *Белый Андрей* — псевдоним Бугаева Бориса Николаевича (1880—1934). 22. *Вера* Константиновна Шварсалон (1890—1920) — дочь Л. Зиновьевой-Аннибал от первого брака. С 1912 г.— жена В. Иванова. По словам О. Дешарт, В. Иванов "при жизни матери воспринимал ее (Веру) как Персефону — образ Дочери в Элевсине, после смерти — видел в ней "свет матери". 23. *Иванова* Лидия Вячеславовна (1896—1985) — дочь В. Иванова и Л. Зиновьевой-Аннибал, музыкант, композитор. Ее книга — "Воспоминания. Книга об отце". Париж, 1990. 24. *Эрн* Владимир Францевич (1881—1917) — русский религиозный философ. В духе идей восточной патристики Вл. Соловьева развил учение о Логосе как творческом начале бытия. 25. *Джоберти* Венченцо (1801—1851) — итальянский философ. 26. Цитата из девятого сонета цикла "Римских сонетов", начатого Ивановым по приезде в Рим в сентябре 1924 года. К началу 1925 г. были написаны все 9 сонетов.

Волошин

Максимилиан Александрович Волошин (1877—1932) — поэт, критик, переводчик, художник. В своей поэзии и акварелях воспел восточный Крым, легендарную Киммерию. Глава Е. Герцык о Волошине вошла в книгу "Воспоминания о Максимилиане Волошине", Советский писатель, 1990.

1. *Сабашникова* Маргарита Васильевна (1882—1973) — художница, поэтесса, переводчица. Ее воспоминания на немецком языке "Die grüne Schlange" вышли в Штутгарте в 1954 году. Первая жена Волошина, ей посвящен цикл стихов "Amori Amara Sacrum". В 1920 году выехала за границу. 2. Отец Маргариты — Василий Михайлович Сабашников — владелец чайной торговли в Москве. Мать также родом из промышленно-купеческой семьи Королевых-Алексеевых. Издателями были двоюродные дядья Маргариты — Сергей и Михаил Сабашниковы. 3. Строки из стихотворения, входящего в сонетный цикл "Письмо", 1904 г. 4. Стихотворение "In mezza di camin" ("Конец") в цикле

"Amori Amara Sacrum" написано 16 мая 1907 г., сразу после разрыва Волошина с Сабашниковой. Солнечным зверем назван Вяч. Иванов, способствовавший разладу их жизни. 5. Строки стиха из цикла "Киммерийские сумерки", посвященного художнику Богаевскому. 6. *Расин* Жан (1639—1699) — французский поэт, драматург, представитель классицизма. 7. *Реми де Гурмон* (1858—1915) — французский писатель и критик. Статья Волошина о нем в газете "Русь", 1907. 8. *Клодель* Поль (1858—1955) — французский писатель. 9. Бхагавад-гита — памятник религиозно-философской мысли Древней Индии, высоко ценимый Волошиным. 10. *Венок сонетов* "Corona Astralis", посвященный Е. Н. Дмитриевой, написан в 1909 г. 11. *Вайолет Харт* (в замужестве Полунина) — английская художница, с которой Волошин познакомился в 1905 г. в Париже. 12. *Кириенко-Волошина* Елена Оттобальдовна (урожденная Глазер) (1850—1923) — мать поэта. 13. *Герен Шарль* (1873—1907)— французский поэт, принадлежавший ко второму поколению французских символистов. Волошин был с ним знаком лично. 14. Имеется в виду стихотворение Вяч. Иванова "Виноградник Диониса" из его книги "Кормчие звезды". 15. Статья Волошина "Город в поэзии Валерия Брюсова", Русь, 1910. 16. *Дмитриева* Елизавета Ивановна (псевдоним — Черубина де Габриак) (1887—1928) — поэтесса, познакомилась с Волошиным в 1908 г. 17. *Цытович* Владимир Николаевич (1855—1941) — генерал, муж сестры Д. Е. Жуковского; племянница Д. Е. Жуковского — Любовь Александровна Жуковская (1890—1943), ставшая впоследствии женой В. К. Герцыка. 18. *Дима* Романовская — племянница В. С. Гриневич; *Юрик* — сын В. С. Гриневич (убит в 1918 г.). 19. *Гольштейн* Александра Васильевна (1850—1937) — переводчица и писательница (псевдоним Баулер), в прошлом участница народовольческих кружков. 20. *Бергсон* Анри (1859—1941) — французский философ-идеалист, представитель интуитивизма. 21. Стихотворение, написанное в 1911 г., вошло в сборник "Иверни", 1918. 22. Строчки из стихов цикла "Звезда — полынь". 23. *Мария Степановна* Волошина (урожденная Заболоцкая) (1887—1974) — медицинская сестра, жена Волошина, долгие годы хранительница его архива. Ее воспоминания: "Новый мир", 1990, № 5. 24. *Хин* — псевдоним Гольдовской Рашели Мироновны (1863—1928) — писательница. 25. *Соловьев* Сергей Михайлович (1885—1942) — поэт, переводчик, критик, позже принял сан. 26. Стихотворение "Аделаида Герцык", написанное в 1929 году, впервые опубликовано в данном контексте (Е. Герцык, "Воспоминания", Париж, 1973). 27. Стихотворение "*Владимирская Богоматерь*" посвящено крупнейшему исследователю русской иконописи А. И. Анисимову.

Бердяев

Бердяев Николай Александрович (1874—1948) — религиозный философ. В студенческие годы участвовал в социал-демократическом движении, за что был сослан в Вологду. Позже, по его словам, после написания статьи "Духовный кризис интеллигенции" (1910) отошел от политики и "посвятил себя борьбе за дух и изменение сознания интеллигенции". В 1922 г. выслан из СССР.

1. ... *жена Бердяева и сестра ее* — Лидия Юдифовна Бердяева (1874—1945) и Евгения Юдифовна Рапп (1875—1960) (урожденные Трушевы). 2. *Кабалла* — по-древнееврейски буквально "предание" — мистическое течение в иудаизме.

Оформилось в XVIII в. 3. Эдмунд *Гуссерль* (1858—1938) и Герман *Коген* (1842—1918) — немецкие философы-идеалисты. 4. *Симеон Новый Богослов* (949—1022) — византийский религиозный философ, писатель, поэт. 5. Здесь и выше о квартире в Большом Власьевском переулке, дом 4, где Бердяевы поселились с конца 1915 г. 6. Журнал "Вопросы жизни" выходил в Петербурге в течение 1905 г. Редакторы: Н. О. Лосский, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев. 7. *Новоселов* Михаил Александрович (1964 — ?) — религиозный писатель, публицист, издатель "Религиозно-философской библиотеки". 8. *Зосимова Пустынь* находится недалеко от Троице-Сергиевой лавры. 9. Издательство *"Путь"* религиозно-философского направления, основано в 1910 г. М. К. Морозовой. Во главе издательства стояли С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, Е. Н. Трубецкой, В. Ф. Эрн. Издательством выпущено 40 книг. Закрыто в 1917 году. 10. *Морозова* Маргарита Кирилловна (урожденная Мамонтова) (1873— 1958) — просвещенная московская меценатка, жена М. А. Морозова — владельца Тверской мануфактуры и коллекционера. 11. *Рачинский* Григорий Алексеевич (1859 — 1939) — литератор, переводчик, председатель Религиозно-философского общества в Москве. Ему посвящены стихи С. Дурылина "В нем летопись преданий вех московских...". 12. *Н. Бердяев,* "А. С. Хомяков". М., 1912. 13. Поездка Е. К. Герцык в Рим к Бердяевым состоялась в начале 1912 г. 14. Н. Бердяев, "Смысл творчества. Опыт оправдания человека", М., 1916. 15. *Антропософия* — религиозно-мистическое вероучение, ставящее во главу обожествленного человека. Основателем Антропософского общества был Рудольф Штейнер (1861—1925) в 1913 г. 16. *"Мусагет"* — книгоиздательство в Москве, созданное в 1910 г. символистами во главе с Э. К. Метнером. 17. *Степун* Федор Августович (псевдоним Лучин) (1884—1965) — писатель, философ, литературный критик. Выслан в 1922 г. за рубеж. 18. *Флоренский* Павел Александрович (1822—1943) — богослов, ученый, философ. Погиб в лагерях. 19. *Муратов* Павел Павлович (1881—1950) — писатель и искусствовед. Автор книги "Образы Италии" (1911— 1912). Эмигрировал. 20. *Шимановский* Кароль Мацей (1882—1937) — польский композитор, педагог, музыкальный критик. 21. *Красиньский* Зыгмунт (1812—1859) — польский писатель, поэт. 22. *Якоб Беме* (1575—1642) — немецкий философ-пантеист. 23. Бердяев приезжал в Судак осенью 1909 и 1910 г. 24. *Вольная Академия Духовной Культуры* (ВАДК) — общественная организация, зарегистрированная в Московском Совете рабочих депутатов. Просуществовала три года (1918—1922).

Кречетниковский переулок

(1915—1917)

Кречетниковский переулок в Москве ныне не существует, располагался в районе Нового Арбата, между Собачьей площадкой и Новинским бульваром. Здесь находилась церковь Иоанна Предтечи, что в Кречетниках, XVII века. В 1914—1917 гг. Жуковские снимали квартиру по адресу Кречетниковский пер. 13.

1. Стихотворение А. Герцык написано в 1909 г. 2. *Кювилье* Майя Павловна (Кудашева, во втором браке Роллан) (1895—1985) — поэтесса, переводчица. 3. *Толстой Алексей* Николаевич (1882—1945) — известный русский писатель. 4. *Крандиевская*-Толстая *Наталья Васильевна* (1888—1963) — поэтесса, писательница. Ее воспоминания в сб. "Прибой", Л., 1959. 5. Н. Крандиевская, "Стихотворения", М., 1913. 6. *Крандиевская*

Надежда Васильевна (1891—1963) — скульптор. 7. *Крандиевская* Анастасия Романовна (1865—1939) — писательница. 8. Официальными издателями "*Бюллетеней литературы и жизни*" были В. Крандиевский и В. Носенков. 9. *Успенский* Петр Демьянович (1878—1947). Имеются в виду "Письма с дороги. Египет и Индия". 10. "Символизм Таро", 1915; "Разговоры с дьяволом. Оккультные рассказы", 1916; в "Бюллетенях" печатались отрывки из книг "Ключ к загадкам мира". 11. *Радда Бай* — псевдоним Блаватской. Ее книга "Из пещер и дебрей Индостана". 12. *Рамакришна* (настоящее имя Гададхар Чаттерджи) (1836—1886) — индийский религиозный мыслитель, общественный деятель. 13. В 20—30-е годы П. Д. Успенский жил в Англии. Оказал влияние на Т. С. Эллиота и Дж. Пристли. 14. *Шмидт Анна* Николаевна (1851—1905) — журналистка, автор религиозно-мистических сочинений. 15. "Из рукописей Шмидт. С приложением писем к ней Вл. Соловьева". М., Биржевые новости, 1916; "Соловьев и Анна Шмидт" в книге С. Н. Булгакова "Тихие думы". Из статей 1911—1915. М., 1918. 16. *Ильин* Иван Александрович (1882—1954) — философ. С 1912 г. доцент Московского университета по энциклопедии и философии права. О нем у Белого "Между двух революций", 1934; Л. Иванова. "Воспоминания". Брюссель, 1990: М., 1992. Его жена Наталия Николаевна (Таля), урожденная Вокач. Ее мать, урожденная Муромцева. 17. Зигмунд *Фрейд* (1856—1939) — австрийский врач-психиатр и психолог, основатель психоанализа. 18. *Нестеров* Михаил Васильевич (1862—1942) — известный русский художник. Картина "Мыслитель" была написана в 1922 г., незадолго до высылки Ильина из СССР. 19. *Метнер* Николай Карлович (1879—1951) — русский композитор и пианист. Эмигрировал. 20. *Гуревич* Любовь Яковлевна (псевдонимы Л. Горев, Н. Н.) (1866—1940) — писательница, литературный и театральный критик, редактор-издатель журнала "Северный вестник". 21. *...когенианцев, риккертианцев ...*— последователей учений немецких философов-неокантианцев Когена и Риккерта. 22. *И. Ильин.* "Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека". М., 1918. 23. *В. Эрн.* "Борьба за Логос". М., 1911. 24. *А. Белый. "Котик Летаев"*. Первая часть романа "Моя жизнь", М., 1917. Имеется в виду дом 55 по ул. Арбат. 25. *Гершензон* Наталия Михайловна (в замужестве Чегодаева) (1907—1977) — искусствовед, специалист по северному Возрождению. Дом Гершензонов по адресу Никольский переулок (ныне Плотников), 13, снесен в 80-е годы. 26. М. Гершензон, "*Грибоедовская Москва*". 1914. 27. М. Гершензон. "*Творческое самопознание*", сб. "Вехи", 1909. 28. А. Н. *Вульф.* "Дневники". В сб.: "Пушкин и его современники", 1915, вып. 21— 22. 29. *Мария Борисовна* Гершензон (урожд. Гольденвейзер) (1873— 1940) — жена М. О. Гершензона. 30. *Ходасевич* Владислав Фелицианович (1886—1939) — русский поэт, критик. Эмигрировал. Воспоминания о Гершензоне в "Современных записках", 1925, т. 24. 31. В. Иванов, М. Гершензон. "*Переписка из двух углов*", Пг., 1921. Ранее они вместе работали над переводами Петрарки. 32. "Бульвар и переулок", рукописный журнал. В архивах Гершензона и В. Иванова в ГБЛ хранятся отдельные материалы этого журнала. 33. *Ремизов* Алексей Михайлович (1877—1957), русский писатель. Эмигрировал в 1921 г. Имеется в виду рассказ "Весна красна".

ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

1903

Публикуются впервые по оригиналу, находящемуся в семейном архиве Герцык-Жуковских.

Февраль — май. Москва, посещение высших женских курсов в районе Поварской. Дружба с Соней — Софьей Владимировной Герье (1878—1953), ставшей впоследствии переводчицей с итальянского. В 1903 г. С. Герье, не кончив курсов, уезжает учиться в Италию, где в 1913 г. кончает университет и возвращается в Россию только с началом первой мировой войны. Лето 1903 года семья Герцык проводит за границей в Швейцарии, Германии. В июле в Дрездене умирает А. М. Бобрищев-Пушкин (см. главу "Рождение поэта"), с этим совпадает прочтение Е. К. книги С. Лагерлеф "Сага о Йеста Берлинге".

1. *Соня* — С. В. Герье с 10-х годов активный член Теософского общества. Вернувшись в 1913 году в Россию, жила здесь до смерти в 1953 г. Преподавала и переводила с итальянского. За теософскую деятельность высылалась из Москвы. Ее небольшой архив хранится в ЦГАЛИ в составе архива Доброва М. А. Похоронена на Пятницком кладбище. 2. Артур *Никиш* (1855—1922) — знаменитый венгерский дирижер, композитор, педагог. У С. В. Герье в этот период были с Никишем тесные взаимоотношения. 3. *Боба* — В. К. Герцык, брат сестер. 4. *Розанов* Василий Васильевич (1856—1919) — писатель, критик, публицист, философ. 5. *Йеста* — герой книги С. Лагерлеф.

1904

Этот год прошел под знаком Канта. Психологические размышления уходят на второй план. Зреет план диссертации. Август — сентябрь на Балтийском море. В сентябре встреча с Г. Зенгером на дюнах.

1. *Августин* Блаженный (1354—1430) — христианский теолог и церковный деятель. Развил учение о благодати и становлении личности в своей автобиографичной "Исповеди". 2. Имеется в виду немецкий писатель Арно Гольц (см. главу "Рождение поэта"). 3. *Анри* Ренье (см. комментарий к главе "Кречетниковский переулок"). 4. "Весы" — журнал, орган московских символистов, в котором сотрудничала А. Герцык в 1904—1907 годах, под псевдонимом "Сирин" в рубрике "Новые книги". 5. *Александр Михайлович* (см. главу "Рождение поэта"); *Velleman(L)* см. главу "Первая любовь". 6. *Сологуб* Федор (настоящее имя Федор Кузьмич Тетерников) (1863—1927) — поэт, прозаик, драматург, переводчик. 7. *Беттина* (настоящее имя Елизавета Брентано, в замужестве Арним) (1785—1859) — писательница, представительница романтизма в Германии.

1908

Записка этого года относится к августу—октябрю, времени пребывания в Судаке Вячеслава Иванова с семьей. Его личность везде обозначается местоимением "он".

1. В августе 1908 г. Д. Е. Жуковский и А. К. Герцык вместе уехали из Судака за границу, где была их свадьба и через год родился первый сын Дани-

ил. 2. *Вера* Шварсалон — см. комментарий к главе "Вяч. Иванов". 3. *Лидия* — Зиновьева-Аннибал. 4. "Тантал" — трагедия Вяч. Иванова, опубликованная в альманахе "Северные цветы ассирийские", Скорпион, 1905. 5. Л. Д. Зиновьева-Аннибал работала над драмой-мистерией "Великий колокол". Видимо, в связи с этим возникали разговоры о Братьях Великого колокола летом 1908 г.

1909

Начало года в Петербурге на "башне" у Вяч. Иванова. Московский период отражен письмами к Вяч. Иванову, приведенными в Приложении. Весной еще одна поездка в Петербург и 10 июня отъезд за границу. Путешествие через Прагу в Швейцарию к сестре, далее: Италия — Греция. Осень в Судаке. В сентябре первый визит Бердяева в Судак. 1. *Перчем* — гора в Судаке. 2. М. Волошин, "Алтари в пустыне" — цикл стихов, посвященный А. В. Гольштейн. Большая часть стихов цикла впервые была опубликована: Аполлон, 1909, № 1, с. 8—10. 3. *Бутова* Н. С.— см. комментарий к гл."Шестов".

1910

Начало года — в Москве, лето в Судаке. Осенью в Судаке гостили Бердяевы. В конце года поездка в Петербург.

1. *Метнер* Эмиль Карлович (псевдоним Вольфинг) — музыкальный критик, журналист, философ; руководитель издательства "Мусагет". 2. Эта запись относится к посещению трактира "Яма" вместе с Бердяевым. В его "Самопознании" об этом: "В известный год моей жизни, который я считаю счастливым, я пришел в соприкосновение и вступил в общение с новой для меня средой народных богоискателей, познакомился с бродячей религиозной Россией..." (Самопознание, ДЭМ, 1990, 183—185). 3. О пребывании Бердяевых в Судаке в письме А. Герцык к Л. Я. Гуревич от 25 сентября (ЦГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 110): "Вот уж месяц как у нас в Судаке Бердяев с женой, и от него я узнала, какой дух, какие идеи царят теперь в литературном мире Москвы <...>" 4. *Валерия* Дмитриевна Жуковская (урожд. Богданович)— певица, мать Л. А. Жуковской.

1911

Записки начинаются в весенние месяцы, когда Е. К. Герцык принимает решение перейти в православие. Обряд перехода ее в православие состоялся 30 апреля 1911 г. в Марфо-Мариинской общине.

1. Марфо-Мариинская община сестер милосердия основана в начале XX в. Великой Княгиней Елизаветой Федоровной. Главная цель общины — помощь мирянам. 2. *Ефрем Сирин* — один из учителей церкви IV века. В своих проповедях он часто говорит о пользе знания и образования, которое, по его выражению, "выше богатства". 3. *Гюисманс* Жорис Карл (1848—1907) — французский писатель. Е. К. переводила его произведения. 4. *Степунская мистика* — Степун Федор Августович (1884—1965) — философ, критик. Е. К. познакомилась с его взглядами в 1909 г. во Фрайбурге. 5. *Баадер* Франц Ксавер (1765—1841) — философ, теолог, сначала естествоиспытатель, находился под влиянием каббалы, Беме, Шеллинга. Познание, как учил Баадер, есть участие человека в божественном разуме. 6. А. Белый "Серебряный голубь", Весы, 1909; отдельное издание: М., 1910. 7. *Серафим* Саровский

(1760 — 1833) — монах Саровской пустыни. Существует несколько его жизнеописаний. 8. *Феофан* Затворник Вышенский (1815—1894) — богослов, "мыслитель созерцательного направления". По содержанию его сочинения делятся на нравоучительные, истолковательные и переводные. Сочинение епископа Феофана — "Путь к спасению. Истолкование молитвы Господней словами Святых отцов". М., 1908. 9. Имеются в виду, видимо, "Откровенные рассказы странника духовному отцу своему". Написанные во второй половине прошлого столетия, они издавались несколько раз, в 1884 г. в Москве вышло уже 4-е издание. Автор откровений (семь рассказов) остался неизвестен и авторство приписывали разным лицам (также и Феофану Затворнику). 10. *Тихон* Задонский (1724—1783) — знаменитый иерарх и духовный писатель. Его книги: "Сокровище духовное, от мира собираемое" и "Наставление христианское" и др. 11. ... *о Вере* — В. С. Гриневич. 12. ... *к Новоселову* — на собрание "новоселовского кружка" (см. главу "Бердяев"). 13. *Миса* — Е. Л. Шевелье (см. главу "Детство").

1912

Начало года — путешествие в Швейцарию через Италию (Рим, Флоренция, Генуя). Ощущение гармонии, что соответствует главе "Рай" в автобиографической прозе "Мой Рим". Поздней весной возвращение в Москву и сборы в Судак. Судак. Свадьба брата в Канашеве (имение А. Е. Жуковского) Витебской губернии. Поздняя осень и зима прожиты в Москве на Остоженке при школе им. Вл. Соловьева, организованной В. С. Гриневич. Боль и память о Вячеславе. Письмо от него.

1. *Ни* — домашнее сокращенное имя Н. А. Бердяева. 2. *Женя* — Е. Ю. Рапп. 3. *Леонтьев* Константин Николаевич (1831—1891) — русский писатель, публицист и литературный критик; поздний славянофил. 4. *Денифле* Фридрих (1844— ?) — ученый, доминиканец. 5. *Письма о расхождении в "Пути"* — письма от Бердяева, отражающие его разногласия с "Путем". 6. *Боба* — В. К. Герцык, брат Е. К. 7. *Ильин* И. А.— см. главу "Кречетниковский переулок". 8. *Скалдин* Алексей Дмитриевич (1889—1943) — писатель, был близок к Вяч. Иванову. 9. *Неплюевское братство* — основано Неплюевым Н. Н. (1851—?) на принципе единения в строго христианской жизни. Устав утвержден в 1894 году.

1913

Начало года — продолжение жизни на Остоженке, при школе. Отъезд в Германию через Рим, Флоренцию, Геную. В Мюнхене Е. К. попадает в Антропософский центр, где проходит цикл лекций Р. Штейнера. Поддается уговорам вступить в Антропософское общество, только что созданное и в которое вступили многие русские, упомянутые в дневнике. Возвращаясь в Россию, Е. К. заезжает в Ольховый Рог, имение В. С. Гриневич на Полтавщине, где встречается с Н. А. Бердяевым, который очень критически относится к ее вступлению в Антропософское общество и убеждает ее в ошибочности этого шага. Затем осень в Судаке.

1. *Федоров* Николай Федорович (1828—1903) — русский религиозный мыслитель-утопист. Позже, в 20-е годы, Е. К. изучала его творчество более последовательно. 2. *Мария Михайловна* Замятнина — см. главу "Вячеслав Иванов".

3. *...о Вере* — В. С. Гриневич. 4. *...в Юленькиной семье* — семье Ю. А. Вокач-Герцык. 5. *...с Верой* — В. К. Шварсалон. 6. *..Димой* — сын В. Иванова и В. Шварсалон, Дмитрий Вячеславович Иванов; род. в 1912 г., журналист. 7. *Еничка* — домашнее прозвище мачехи, с ней Е. К. путешествовала в этот раз за границей. 8. *А. Безант* (1847—1933) — общественная деятельница Индии, возглавляла теософское общество. 9. В это время Е. К. переводила Баадера (см. письма к В. Иванову). 10. *Герен Эжени* (1805—1848) — сестра и ближайший друг французского поэта-романтика Ж. М. Герена. Их переписка, опубликованная в 1861 г., — интересный документ литературной жизни эпохи. 11. Имеется в виду жена Шестова — А. Е. Шестова и их дочери. (См. гл. "Шестов"). 12. *Маргарита* — М. В. Сабашникова (см. главу "Волошин"). 13. *Людвиг* Лукич Квятковский (1894—1977) — художник. 14. *Петровский* Алексей Сергеевич (1881—1958) — переводчик, сотрудник Румянцевского музея. 15. *Штейнер* Рудольф (см. гл. "Бердяев"), "Мистерии древности и христианство". 16. Жена Белого — Анна Алексеевна (урожд. Тургенева) (1890—1966) — художница. 17. *Бородаевский* Валерий Валерианович (1879—1923) — поэт, горный инженер; его жена — Маргарита. 18. *Трапезников* Трифон Георгиевич (1882—1926) — искусствовед, музейный работник, деятель Антропософского общества.

1914

Весна и лето в Судаке. Автобиографическая проза "Мой Рим". В августе — начало первой мировой войны. Поздней осенью возвращение в Москву.

1. *Успенский* Евгений Николаевич (? — 1887) — духовный писатель, преподаватель духовной семинарии. Его диссертация — "Христианское умозрение и человеческий разум" (Пенза, 1880). 2. *Розанов* Иван Никанорович (1874—1959) — литературовед. Его работы — по истории русской поэзии, вопросам стихосложения. Поэтическая библиотека И. Н. Розанова хранится в музее А. С. Пушкина в Москве. 3. *...с Ильиными* — в августе 1914 г. И. А. Ильин с женой приехали в Судак. 4. *Таля* — Н. Ильина (урожд. Вокач) — жена И. А. Ильина.

1915

В начале года в Москве, в кругу друзей. Весна в Новочеркасске, куда Е. К. поехала с семьей брата В. К. Герцыка (он — по службе). Там она переводила Мюссе (об этом переписка с М. О. Гершензоном, ГБЛ). Лето в Судаке.

1. Стихотворение Е. Герцык "Война" найдено в архиве.

Дочь я вышнего царя,
Кесаря-Огня.
Пурпуровою фатой
Всколыхну земли покой.
Я в невестиной алчбе
Выезжаю на коне,
Выкликаю жениха,
Пополяя небеса.
Где ж ответный, где бессмертный?
Топчет смертных конь несметно,
Шпорой жадной обожжен,

Духом крови опоен.
Чу, ударами копыт
Зерна смутные дробит.
Миг — и долог век проходит:
Смерть бессмертием восходит.
Но, незряча, мчится дале,
В дымно-утренние дали.
Темной брагою пьяна,
Государыня-Война.

2. *Скрябин* Александр Николаевич (1871—1915) — композитор. Знакомство его с В. Ивановым — с 1913 года. Скрябин ценил В. Иванова как поэта, подражал ему. В. Иванов впоследствии писал: "С благоговейной благодарностью вспоминаю я об этом сближении, ставшим одною из знаменательных граней моей жизни... Теоретические положения его о соборности, о хоровом действе, о назначении искусства оказались органически выросшими из его коренных и близких мне интуиций: мы нашли с ним общий язык. 3. В. Иванов, "*Прометей.* Трагедия". Пб., Алконост, 1919. 4. *...дни "больной ноги"* — у Н. А. Бердяева, см. главу "Кречетниковский переулок". 5. *Толстой* с *Тусей* — А. Н. Толстой с Н. В. Крандиевской. 6. *Марина с Парнок* — М. И. Цветаева с С. Я. Парнок (1885—1933) — поэтессой. 7. *Майя* — М. Кювилье, см. главу "Кречетниковский переулок". 8. *"Бульвар и переулок"* — рукописный журнал (см. главу "Кречетниковский переулок"). 9. 14 апреля умер А. Н. Скрябин. В. Иванов написал в эти дни ряд стихов, посвященных ему: "Воспоминание о Скрябине", "Могила Скрябина", сонеты, а также ряд статей и выступлений о А. Н. Скрябине. 10. *Ника* — двухлетний племянник Е. Г. 11. Тезисы из теософских учений.

1921

Все записи сделаны в Судаке, где семья Герцыков задержалась осенью 1917 года и затем оказалась отрезанной от севера до середины 1921 г., когда стали приходить первые письма из Москвы.

1. В январе 1921 г. три недели сидела в тюрьме-подвале Аделаида Казимировна. Видимо, *в ночь 18 января* были расстреляны жители Судака, в число которых попал и граф Р. Р. Капнист. А. Герцык в подвале написала цикл стихов "Подвальные", а выйдя — "Подвальные очерки". (В альманахе "Минувшее", № 1: М. Н. Самарина-Квашина, "В красном Крыму" — описаны те же события.) 2. В это же время были арестованы брат сестер В. К. Герцык и Д. Е. Жуковский. Е. К. ездила в Феодосию, видимо, с целью чем-то помочь брату. 3. Письмо от Бердяева. 4. Вольная академия духовной культуры, инициатором создания которой был Бердяев. 5. В это время Е. К. писала свою работу об *Э. По.* 6. Наталья Аристарховна *Капнист* — вдова расстрелянного графа Р. Р. Капниста. 7. *Серафита* — см. комментарии к главе "Вячеслав Иванов". 8. *Лиза Капнист* — дочь растрелянного графа.

ОТТУДА
(Из писем старого друга)

Выдержки из писем Е. К. Герцык к В. С. Гриневич были напечатаны в трех номерах "Современных записок" в Париже (кн. XI, 1936 г.; кн. XVI, 1937 г.; кн. XVI, 1938 г.). Все имена собственные при публикации были изменены, видимо, из-за конспирации. Сама Е. К. тоже не названа. Текст в данной книге дается так, как он приведен в "Современных записках". Корректура имен дается ниже. Лиза — Любовь Александровна Жуковская-Герцык; Боря — Боба — Владимир Казимирович Герцык; Митя — Даниил Жуковский, Лиля — Вероника Герцык, племянница Е. К., дочь В. К. и Л. А. Герцыков; Евгений — Д. Е. Жуковский; Юра — Никита Жуковский; Аня — Адя — А. К. Герцык; С.— С. В. Герье.

1. В 1933 г. в г. Иваново собралась ненадолго семья Жуковских: Д. Е. Жуковский, сосланный в 1927 г. в Тотьму Вологодской области, получил разрешение на проживание в ряде городов (минус Десять). Он поселился в Иванове, там же поступил в медицинский институт его младший сын Никита, а старший Даниил преподавал математику. 2. Даниил Жуковский интересовался вопросами поэтики. Сохранились рукописи его исследований. Наиболее разработанный вариант "Образ — Слово — Звук" (рукопись). 3. Май-июнь 1933 года Е. К. провела в Тарусе у С. В. Герье, которая имела там домик. 4. *Гундольф* (настоящая фамилия Гундельфинтер) (1880—1931) — немецкий историк литературы. 5. *Кришнамурти* Джидду (1895—1986) — религиозный мыслитель. В начале века был объявлен теософами новым учителем мира. К этому времени относится его книга "У ног учителя", 1916. Впоследствии отошел от теософов и разработал свой путь и школу. 6. Кузина М.— Т. А. Вандербеллен. 7. В это время А. И. Цветаева преподавала английский язык в Тимирязевской академии. 8. *Джинс* Джеймс Хопвуд (1877—1946) — английский физик и астрофизик. 9. Строка из последних стихов А. Герцык. 10. В августе 1934 г. Е. К. ездила в Москву, гостила у С. В. Герье в Тарусе. 11. *Ромен* Жуль (1885—1972) — французский романист, драматург, поэт и эссеист; *Жироду* Жан (1882—1944) — драматург, романист, эссеист. 12. Это момент переезда Д. Е. Жуковского в г. Ногинск Московской области. Ему не разрешали жить больше года на одном месте. 13. *В.*— Валерия Дмитриевна Жуковская (урожд. Богданович) — см. коммент. к дневникам. Даниил перебрался в это время из Иванова в Москву. 14. *Шпенглер* Освальд (1880—1936) — немецкий философ-идеалист, историк. 15. *Дирак* Поль Адриен Морис (1902— 1984) — английский физик, Нобелевский лауреат 1933 г. 16. *Н. М.* Гершензон (в замужестве Чегодаева) — искусствовед, специалист по северному Возрождению. 17. Даниил в это время находился в тюрьме, взятый по обвинению в распространении стихов Волошина. 18. *...у Евгения* — в Ногинске у Д. Е. Жуковского. 19. *Ллойд Джордж* (1863—1945) — премьер-министр Великобритании 1916—1922 гг. 20. *Пуанкаре* Жюль (1854—1912) — французский математик, физик и философ. В философии основатель конвенционализма. 21. У С. В. Герье в Тарусе. 22. Ответ на присланные из Парижа выдержки из очерка М. Цветаевой "Нездешний вечер". 23. Строка из стихотворения А. Герцык. 24. П. И. Чайковский, "Переписка с Н. Ф. фон Мекк", т. 1—3. М.—Л., 1934—1936. 25. Речь идет о письме с выдержками из некоторых частных отзывов о первой публикации писем "Оттуда" (см. примечание "Современных записок"). 26. Жена Даниила — Анна Ивановна Ходасевич, сестра Г. И. Чулкова 27. *Федя* — Федор Вадимович Гриневич — внук В. С. Гриневич.

судьба его неизвестна. 28. *Рая* — Ариадна Александровна Арендт (род. 1906) — скульптор. Живет в Москве. 29. Д. Бедный, "Богатыри", опера-фарс на его текст шла в Камерном театре. Критическая статья П. Керженцева "Фальсификация народного прошлого" в газете "Советское искусство", 17 ноября 1936 г. и там же постановление Комитета по делам искусств при Совнаркоме Союза ССР о снятии пьесы из репертуара. 30. М. Цветаева. "Отцам", Современные записки, 1936, XV. 31. Слова Достоевского из "Великого Инквизитора": "Мы заставим их работать, но устроим их жизнь, как детскую игру". 32. Илларион, схимонах, "*На горах Кавказа*". "Беседа двух старцев пустынников о внутреннем единении с Господом", Батолпашинск, 1907. 33. Романовская Д.— племянница В. С. Гриневич, эмигрировала с ней, жила в Париже. Судьба неизвестна. 34. *Фромантен* Э. С. (1820 — 1876) — французский живописец, писатель и искусствовед. В 1937 г. в Париже вышли 2 тома его сочинений. 35. *Вельфлин Генрих* (1864—1945) — швейцарский искусствовед.

ЗАПИСИ ИЗ ДНЕВНИКА

1941—1942

**В период подготовки этой книги записи из дневника военных лет
были опубликованы в журнале «Наше наследие» (1991, № 4)**

Дневники писались во время войны, в течение года, когда семья Герцык, не имея возможности эвакуироваться, поселяется в семье К. Т. и М. И. Лобаниных — местных колхозников, в глухой, удаленной от автотрассы Москва — Харьков деревне Зеленая Степь. Действующие лица этих записок те же, что и в письмах "Оттуда" — члены семьи: Боба — брат Е. К., Люба — его жена, Вероника — их дочь, которая уехала в Москву, где она училась в Тимирязевской академии и вернулась после окончания в только что освободившийся Медвенский район Курской области. Остальные упоминаемые лица — местные жители деревни. Маруся — М. И. Лобанина, хозяйка, у которой жили Герцыки. Петренка, Петропавловка, Петрин Совхоз, Медвенка, Сумы, Рождествено, Селихово, Татарка, Стрелицы, Знаменское, Дубовец, Любецкое — названия местных деревень.

1. *Ерем.*— сотрудник заповедника, оставшийся в заповеднике охранять имущество после эвакуации сотрудников. 2. Имеется в виду роман С. Лагерлеф "Чудесное путешествие Нильса на гусях".

ПРИЛОЖЕНИЕ

Письма к В. И. Иванову
1909—1913

1. "*Гриф*" — издательство символистов в 1903—1914 гг., в котором печатался В. Иванов. 2. Евгения Антоновна — мачеха сестер, см. гл. "Детство". 3. *Тастевен* Генрих Эдмундович (1880—1915) — литературный критик, журналист, секретарь редакции "Золотое руно". 4. *Бакст* Лев Самойлович (1866—

1927) — художник. Статья В. Иванова "Древний ужас" по поводу картины Л. Бакста "Terror Antiquus" была напечатана в "Золотом руне", 1909. № 4. 5. *Е. Герцык,* "Богоискательство в тихом омуте", "Золотое руно", 1909, № 2—3, стр. 95—100. Статья посвящена сборнику Д. Мережковского "В тихом омуте". 6. *Милиоти* Василий Дмитриевич (1875—1943) — живописец, секретарь "Союза русских художников", заведующий художественным отделом журнала "Золотое руно". 7. 16 февраля 1866 г.— день рождения В. И. Иванова. 8. *Вера* — В. К. Шварсалон. 9. Рецензия В. Иванова "О книге "Пепел" в журнале "Критическое обозрение", февраль 1909, вып. II. 10. *Лурье* С. В.— см. коммент. к главе "Шестов". 11. В. Иванов, "По звездам. Статьи и афоризмы", СПб., Оры, 1909. 12. *Малларме* Стефан (1842—1898) — французский поэт. 13. *Георге* Стефан (1868—1933) — немецкий поэт. Один из видных представителей немецкого символизма. В 90-е годы возглавил кружок литераторов и выпускал "Листки об искусстве". 14. Богемские братья — религиозная секта в Чехии, возникшая в середине XV века, в которую входили последователи П. *Хельчицкого* (ок. 1390—1460), идеолога умеренных в гуситском революционном движении, направленном против церковной иерархии. 15. *Валленштейн* Альбрехт (1583—1634) — полководец, с 1625 г. имперский главнокомандующий в Тридцатилетней войне. 16. Е. К. в 1909 г. поехала в Швейцарию помочь сестре А. Герцык, которая ждала в это время ребенка. 17. Генрих *Риккерт* (1863—1936) — немецкий философ, основоположник баденской школы неокантианства. 18. *Степун* Ф. А.— см. письма "Оттуда". 19. Имеется в виду альманах "Северные цветы ассирийские", М., 1905, где у В. Иванова опубликована подборка стихов "Змеи и солнца". 20. *Шлегель* Август (1767—1845) и Фридрих (1772—1829), два брата: первый — поэт-романтик; второй — философ культуры. Оба теоретики иенского романтизма. 21. Из Швейцарии Е. К. поехала в Италию и затем в Грецию. 22. Издательство "Мусагет" готовило в составе серии "Орфей" книгу "Лира Новалиса в переложении Вяч. Иванова". Издание не состоялось. 23. "*Логос*" — русское издание международного ежегодника по философии культуры, кн. 1, 2, 1910. 24. Рейсбрук Удивительный, "Одеяние духовного брака". М., 1910. 25. А. Р. Минцлова, (см. главу "Вяч. Иванов"). 26. 17 октября — годовщина смерти Л. Д. Зиновьевой-Аннибал. 27. Е. Герцык обратилась к о. Синайскому по совету Н. Бердяева. 28. М. М. Замятнина (см. главу "Вячеслав Иванов").

Письма к Н. А. Бердяеву
1922—1927

Первые два письма адресованы в Берлин, остальные — в Париж, Кламар.

1. *О. Шпенглер.* "Закат Европы", русский перевод т. 1 в 1923 году. 2. *Ася Жуковская* — Василиса Александровна (в замужестве Серейская) (1892—1959), сестра Л. А. Жуковской-Герцык. 3. *...судьба Академии* — Религиозно-философская академия, основанная Бердяевым в Берлине, в 1925 г. была перенесена в Париж. 4. Махатма Ганди (1869—1948) — деятель национально-освободительного движения в Индии. Книга о нем: Роллан Р. "Махатма

Ганди". Л. — М., 1924. 5. *Лиля* — Л. Ю. Бердяева. 6. *Женя* — Е. Ю. Рапп. 7. *Ирина Васильевна* — теща Н. А. Бердяева. 8. *Поликсена* Сергеевна Соловьева (1867—1924) — поэтесса, детская писательница, редактор, издатель детского журнала "Тропинка". 9. Опера Н. А. *Римского-Корсакова* "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии". 10. Опера Р. Вагнера "Парсифаль". 11. С 1919 г. Е. К. Герцык писала работу об Эдгаре По. 12. "*Обелиск*" — видимо, не состоявшееся эмигрантское издание. 13. Н. Бердяев "*Новое средневековье.* Размышление о судьбе России и Европы". Берлин, 1924. 14. А. К. Герцык умерла в Судаке 25 июня 1925 года. 15. С 1925 г. в Париже учрежден журнал "*Путь*", редактируемый Бердяевым. 16. *Маритен Жак* (1882—1973) — французский религиозный философ. 17. Г. фон *Кейзерлинг* Герман (1880—1946) — немецкий философ-иррационалист, пытавшийся сочетать субъективный идеализм с объективным идеализмом. Бердяев был знаком с ним лично. 18. Бердяев с семьей жил в Кламаре под Парижем, где у него был дом. 19. Н. Бердяев, "*Спасение и творчество.* Два понимания христианства". Путь. 1926. № 2. 20. *Гурвич* Георгий Давыдович — критик. 21. Парижские друзья и позже помогали бедствующим Герцыкам. Из письма В. С. Гриневич к Е. К. Герцык 14 ноября 1934 г.: "...на прощанье он [Шестов, — *Т. Ж.*], оправдываясь и извиняясь, что так мало — оставил 50 фр<анков> и просил передать тебе и Дмит[рию Жуковскому. — *Т. Ж.*] все хорошие и сердечные пожелания и память. Очень трогательна эта его неизменная доброта, т<ем> б<олее>, что сам он с женой живет очень скромно — в 2-х комнатах и, когда она занята массажем, сам ходит за провизией и стряпает — конечно, все это так просто и так не может нарушать его внутр<енний> замок — богатство его мира. Лишь бы иметь свою отдельную келью и больше ничего ему не нужно. Я хочу просить тебя написать ему хоть несколько ласковых строчек, чтоб он чувствовал, что ты его не забываешь и любишь...".

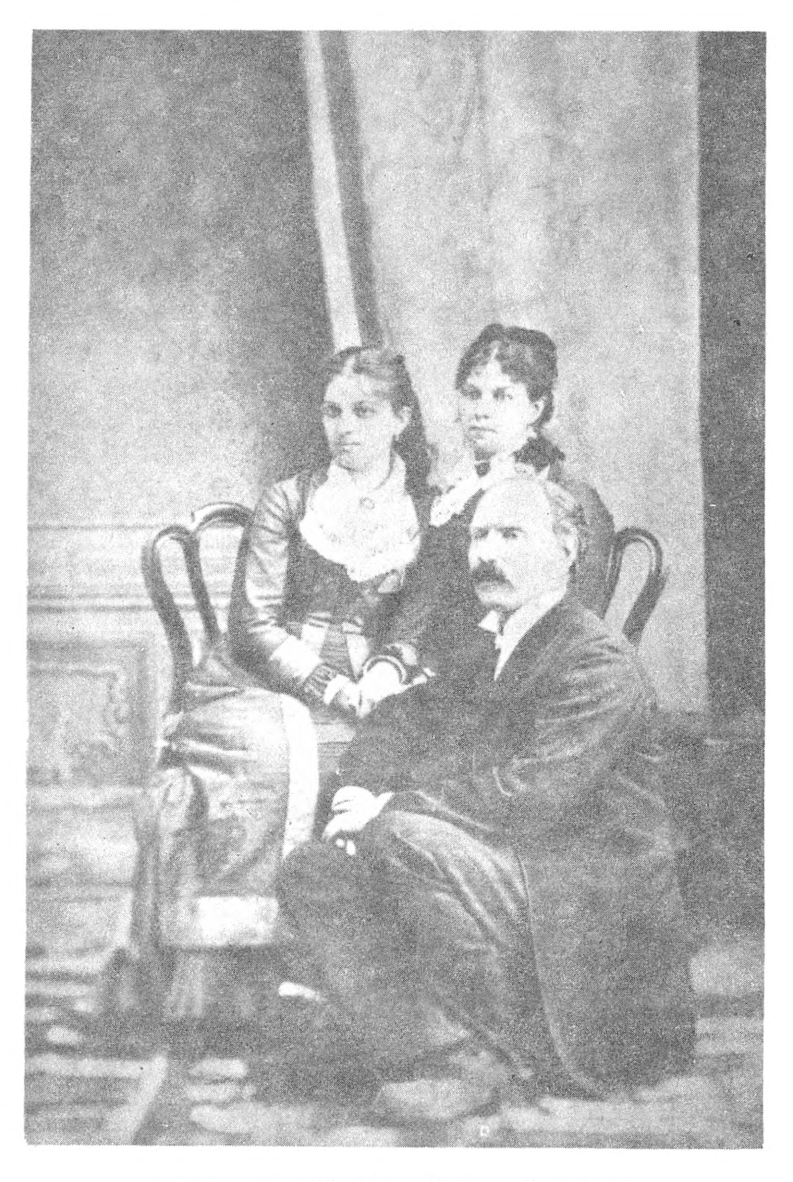
Письма к М. Б. Гершензон
1925—1940

1. М. О. Гершензон умер в феврале 1925 г. 2. Строчка из стихотворения А. Герцык "Старость", написанного в 1925 г. незадолго до смерти. 3. Слова из интервью Ж. Маритена (см. письма к Н. Бердяеву). 4. Д. Е. Жуковский, работавший с 1921 г. в Таврическом университете, в конце 1927 г. выслан в Вологодскую область. 5. Е. Л. Шевелье — гувернантка в доме Герцыков (см. главу "Детство").

Письма к Г. И. и Н. Г. Чулковым
1938—1941

1. *Панаева* (урожден. Головачева) А. Я. (1820—1893) — русская писательница. Ее "Воспоминания", 1889. 2. *...о вас обеих* — сестра Г. И. Чулкова, Анна Ивановна Ходасевич (жена сидевшего в это время в тюрьме Даниила Жуковского) жила вместе с Чулковым на Смоленском бульваре. 3. Г. Чулков. "Жизнь Пушкина. Исследование". Изд. ГИХЛ, 1938. 4. Речь идет о В. С. Гриневич. 5. В книге Г. Чулкова "О мистическом анархизме", 1906 г., вступительная статья написана В. Ивановым. 6. Иванов Евгений Павлович (1879—1942) — литератор, ближайший друг Блока. 7. В. Иванов, "*Нежная тайна* —

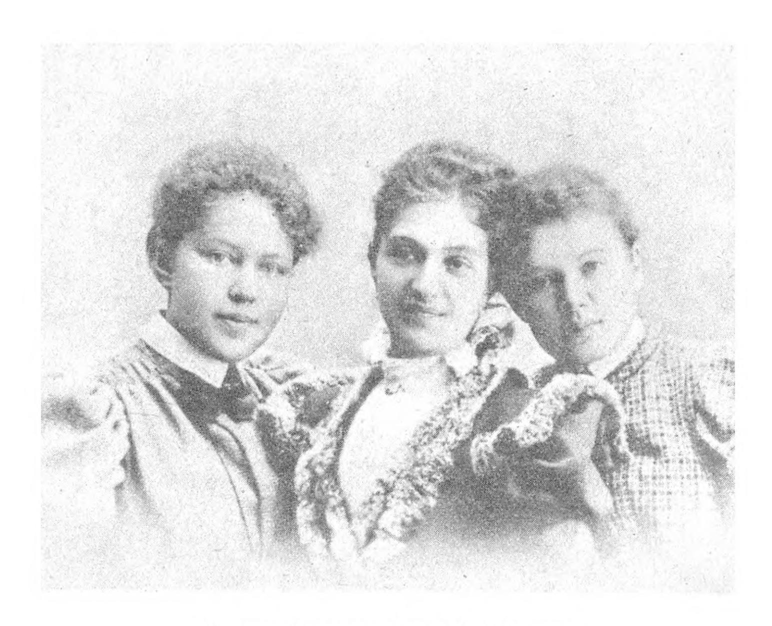
Лепта". СПб., Оры, 1912. 8. Г. Чулков. "Мятежники 1825 года". М., Современные проблемы, 1925. 9. Малахиева-*Мирович* В. Г.— писательница, критик, печаталась в "Русской мысли", автор книги "Воспитательное значение игрушки" (М., 1912). 10. *Тернавцев* Валентин Александрович (1866—1940) — религиозный мыслитель и писатель. 11. *Пяст* (настоящая фамилия Пестовский) Владимир Алексеевич (1886—1940) — поэт, переводчик, мемуарист.



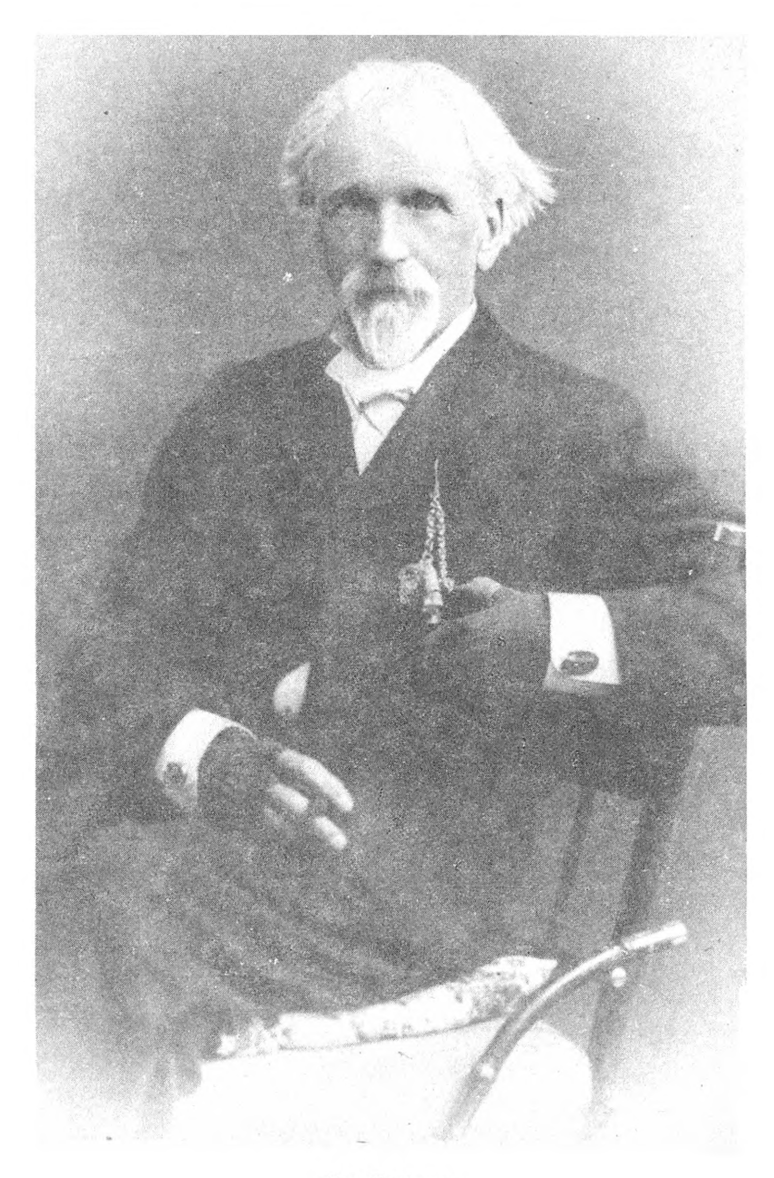
Родители сестер Герцык — Казимир Антонович,
Софья Максимилиановна (справа) и Е. А. Вокач. 1881 г.

Адя Герцык — будущая поэтесса

Евгения с Мисой (Е. Л. Шевалье)

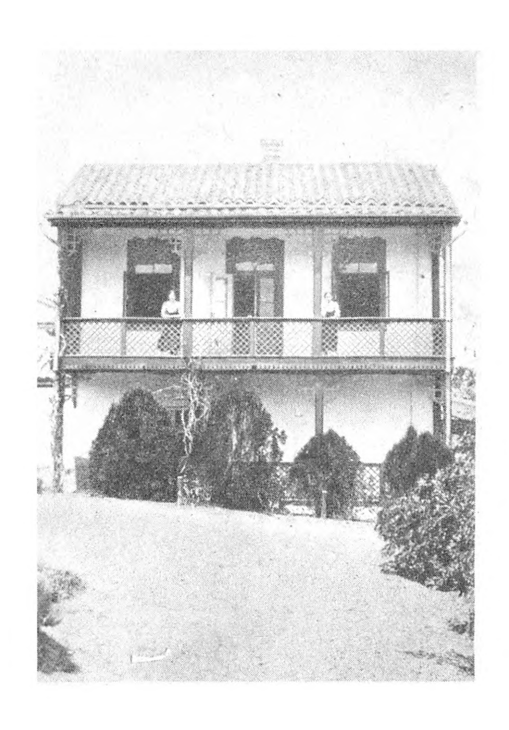


Сестры Аделаида (справа) и Евгения
с мачехой Е. А. Герцык (в центре)



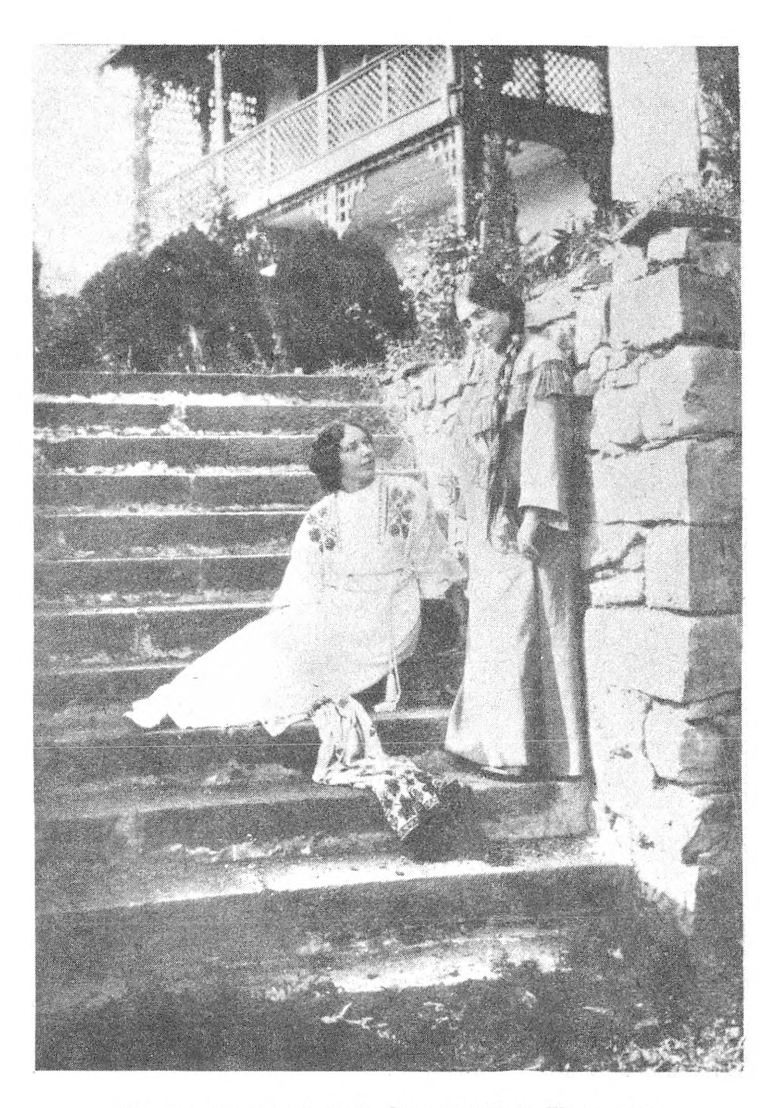
Лев Лагорио

М. Ставраки, севастопольский мичман

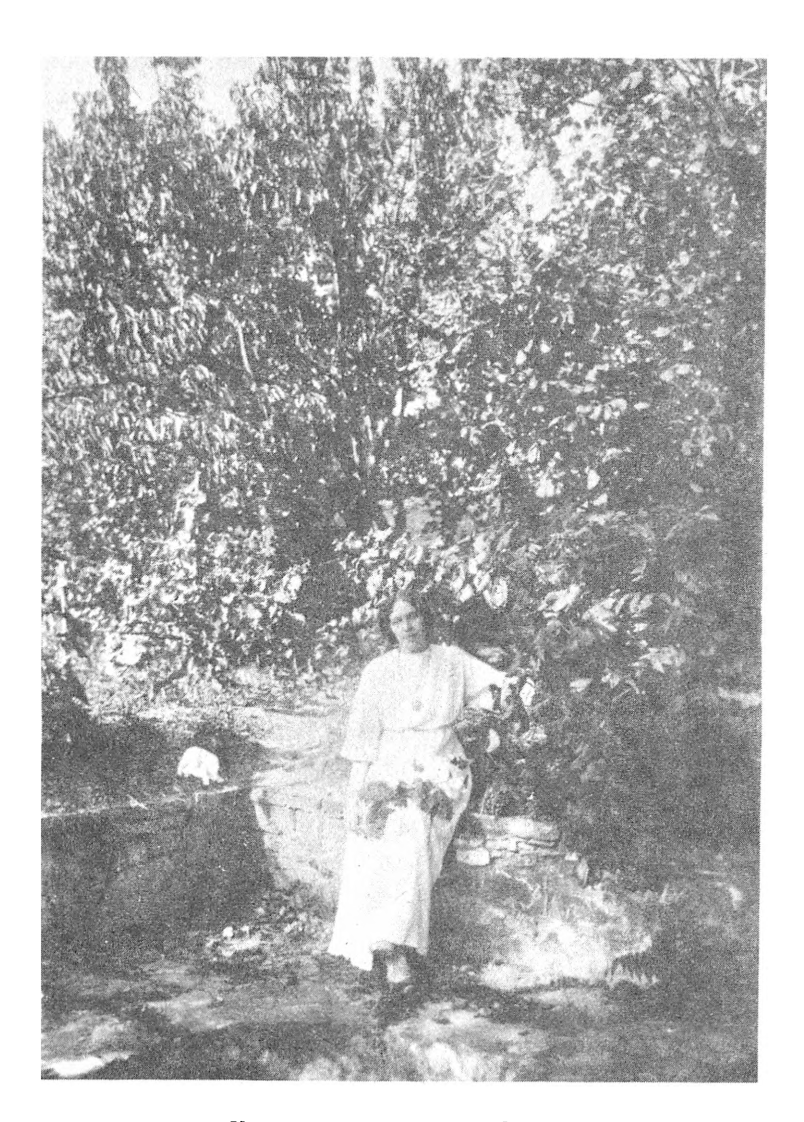


Судакский дом Герцыков
в конце XIX века

Сестры Евгения и Аделаида с братом В. К. Герцыком

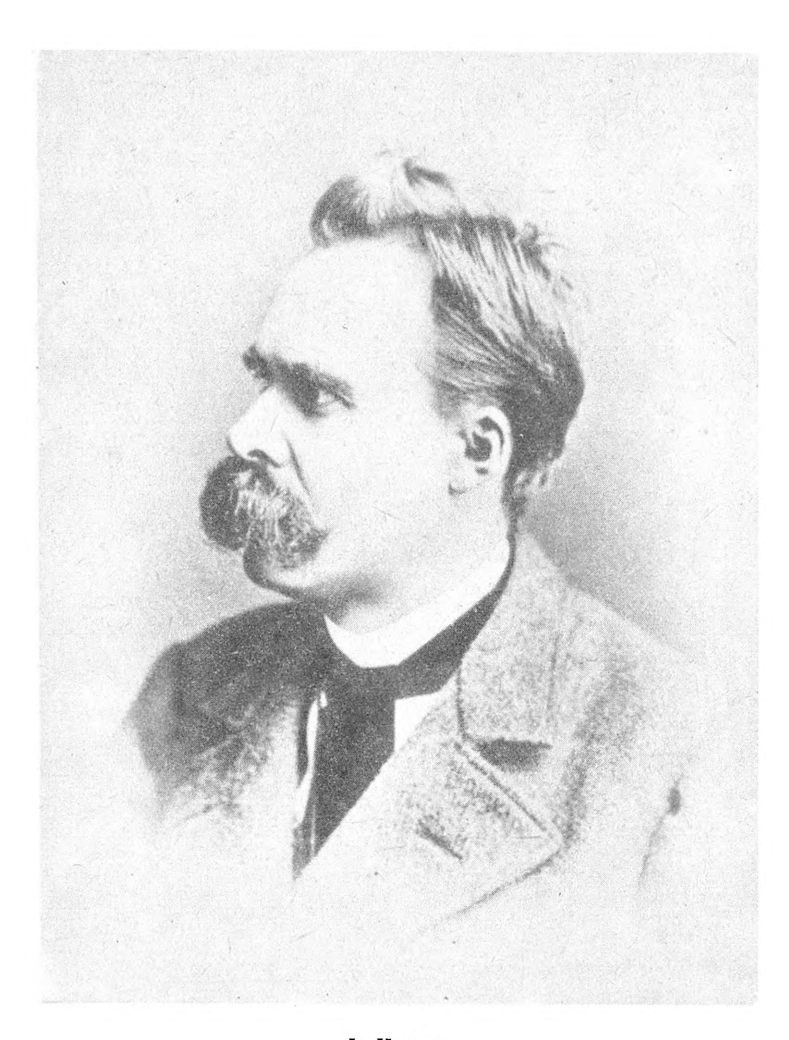


На лестнице у дома Е. К. Герцык и Л. А. Жуковская



У источника возле дома в Судаке

Нордгейм



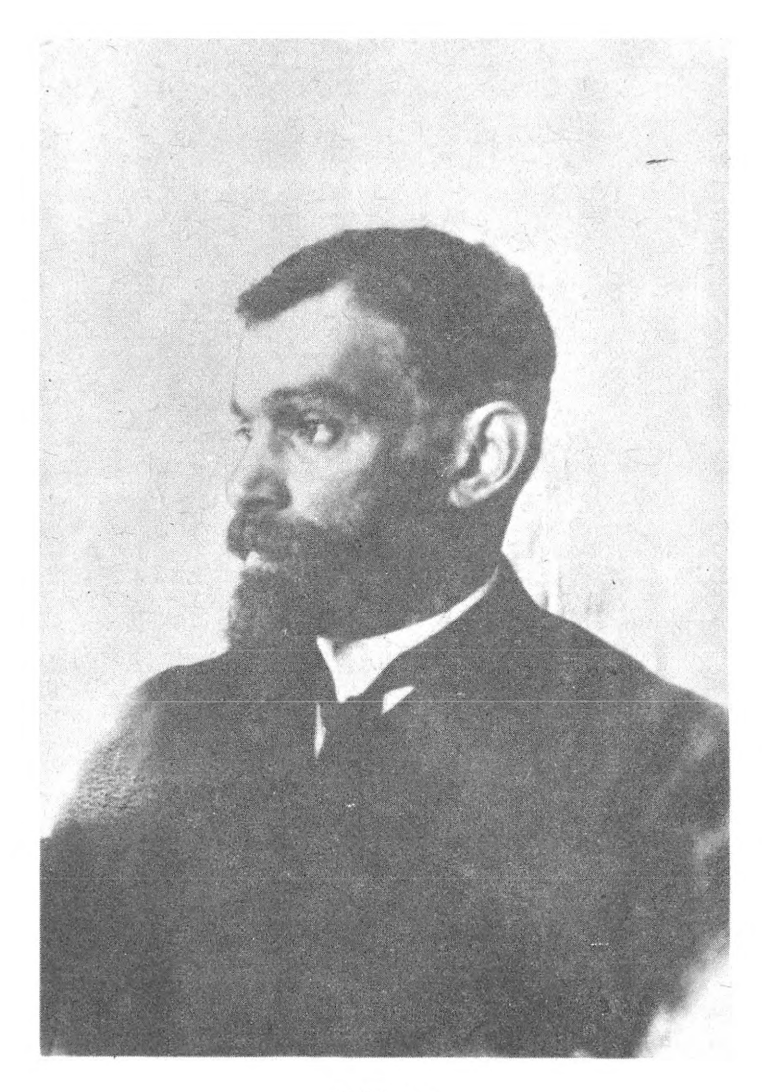
Ф. Ницше

Е. К. Герцык и С. В. Герье — курсистки

А. М. Бобрищев-Пушкин

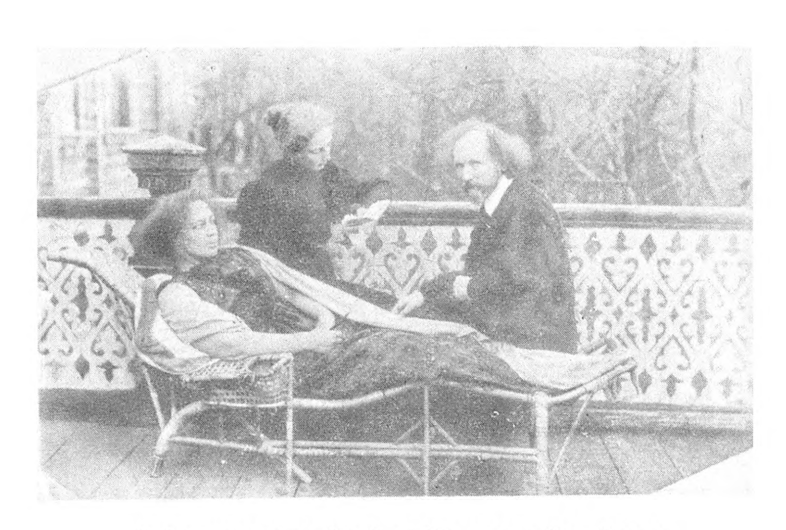
К гл. "Первая любовь". Слева направо:
Аделаида, Виллеман, Евгения

Г. Э. Зенгер

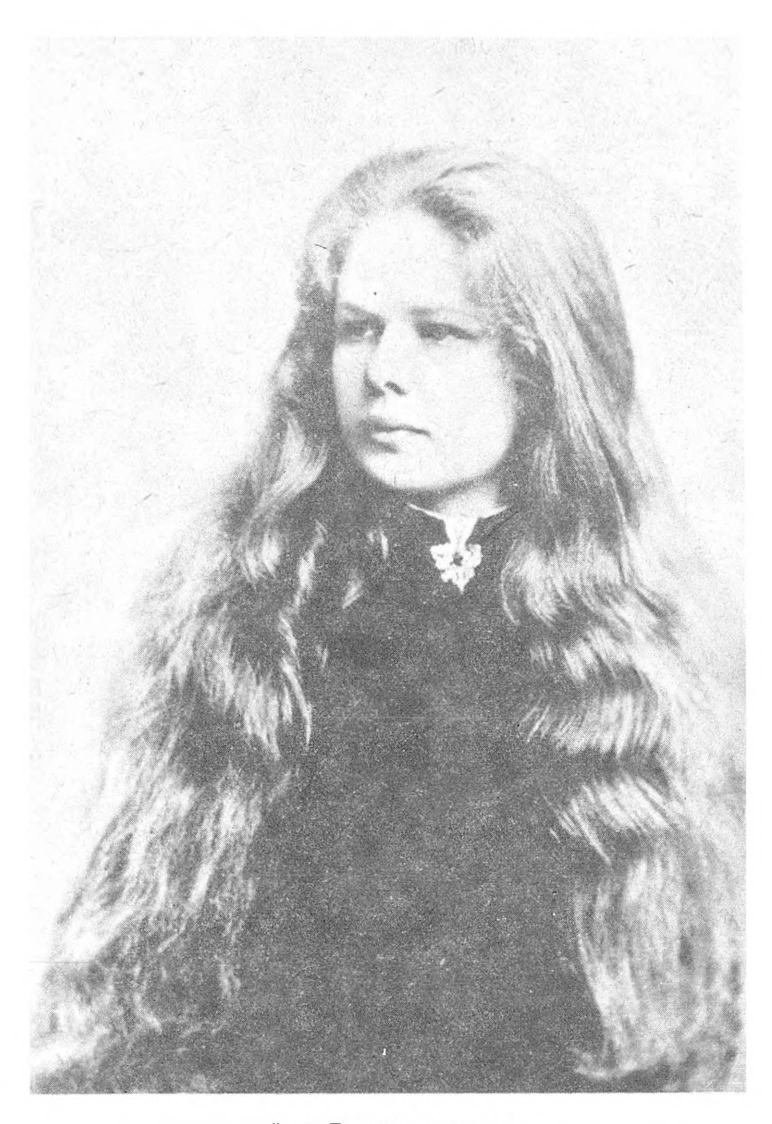


Л. Шестов

Силуэтный портрет Л. Шестова (вероятно, Кругликовой)

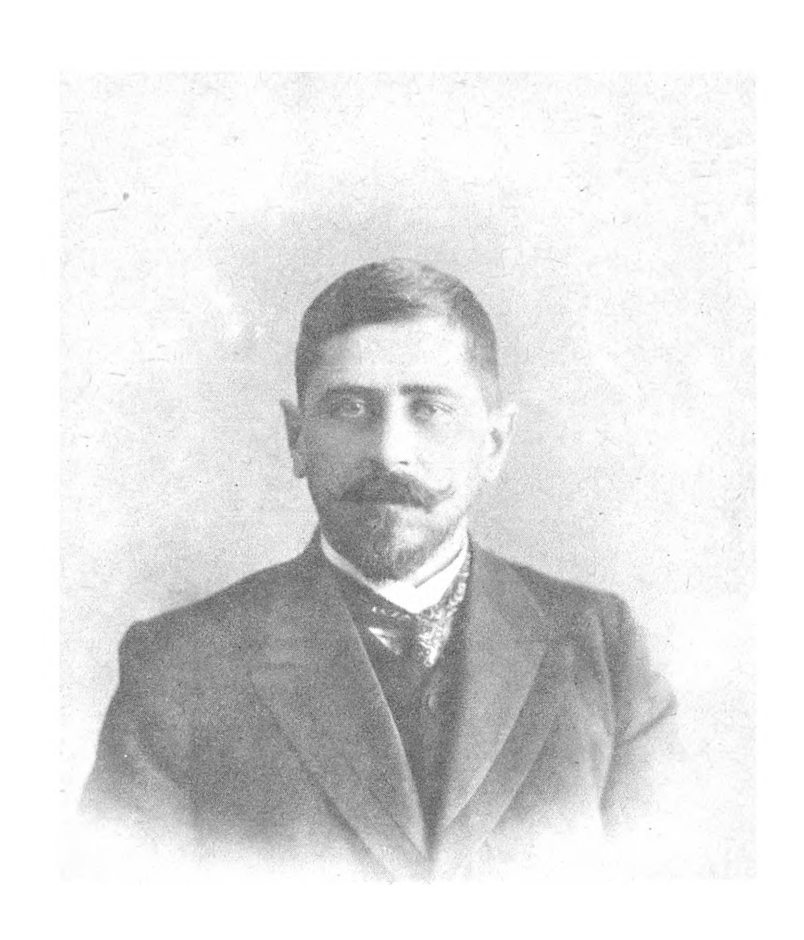


Л. Зиновьева-Аннибал, Вера Шварсалон, Вяч. Иванов



В. С. Гриневич в юности

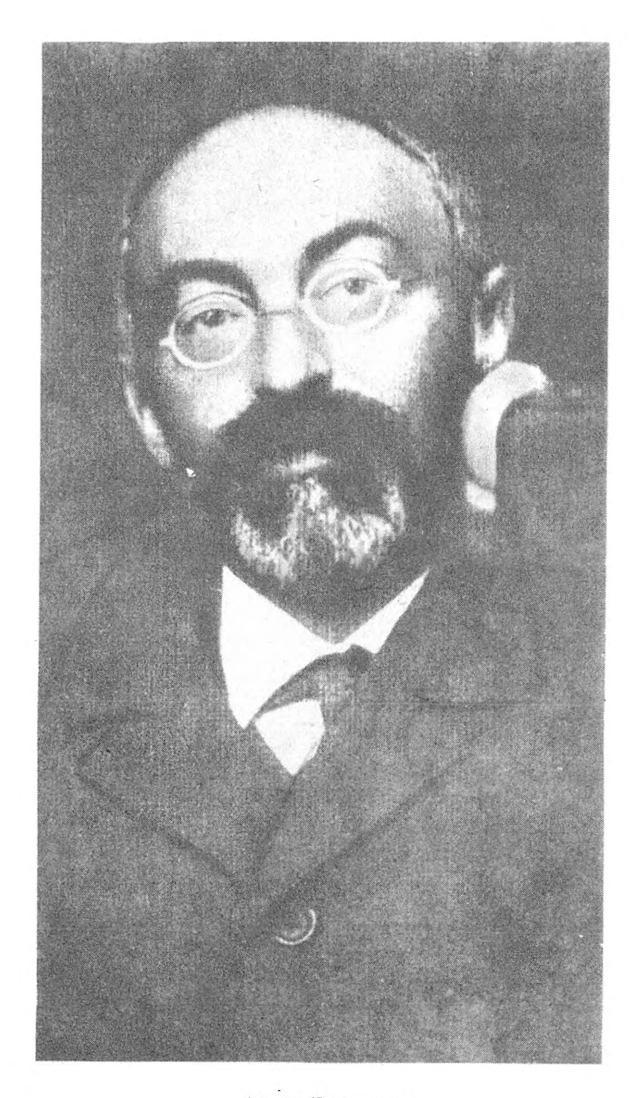
На крепостной горе в Судаке (1908 г.) слева направо —
сидят: А. Р. Минцлова, Вяч. Иванов, Д. Е. Жуковский;
стоят: Е. К. Герцык, В. К. Шварсалон, А. К. Герцык, В. К. Герцык,
Е. А. Герцык, неизвестная



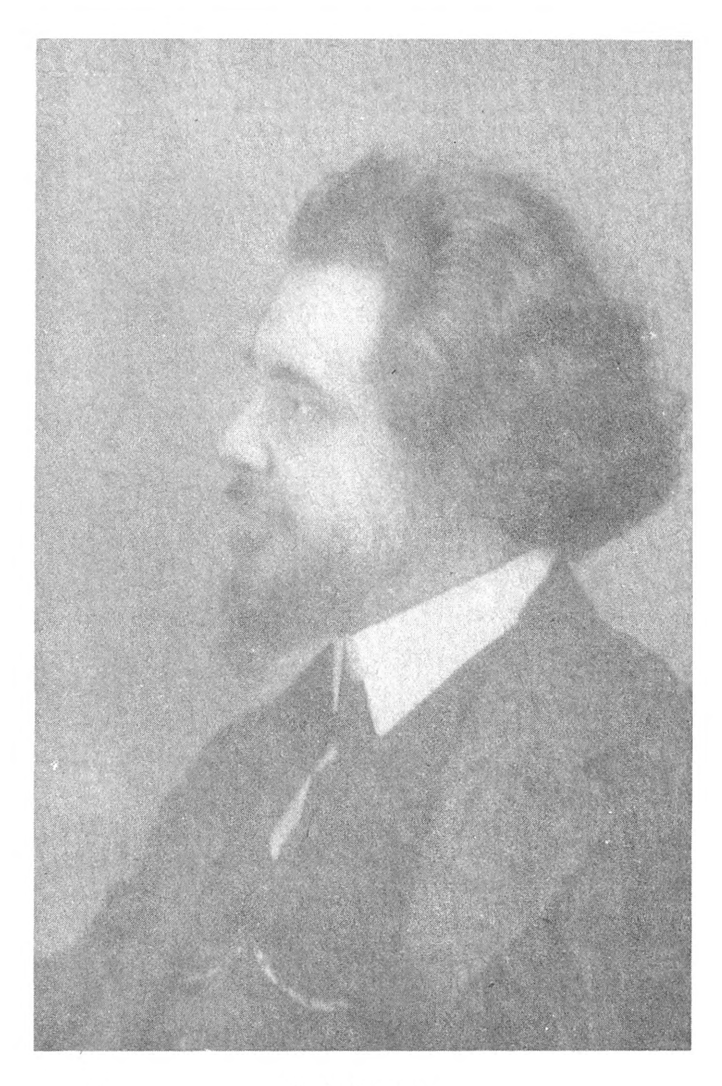
Д. Е. Жуковский

На "башне" у Вяч. Иванова.
1-й ряд: А. Р. Минцлова, Вяч. Иванов, М. Кузмин.
2-й ряд: Е. К. Герцык, М. М. Замятнина, В. Шварсалон

М. Волошин. В Крыму

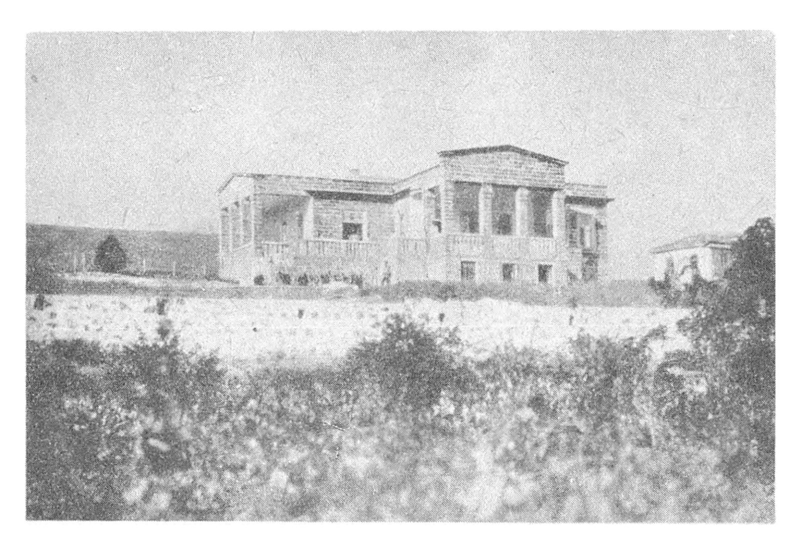


М. О. Гершензон

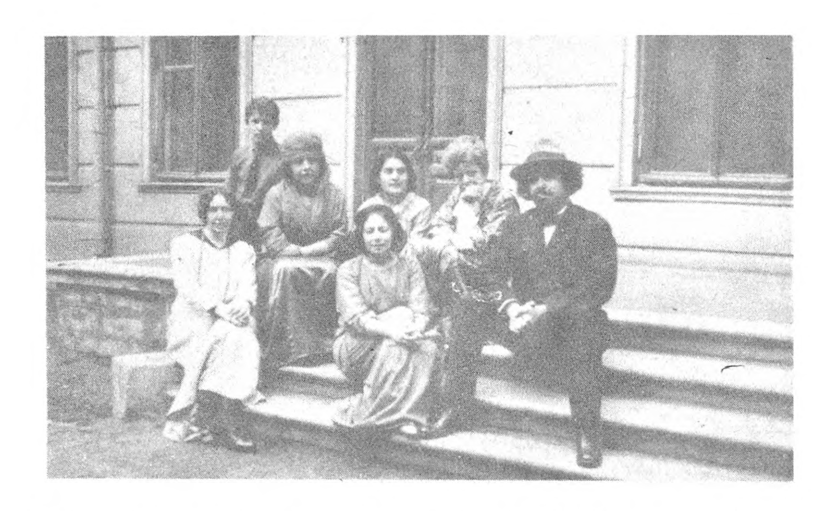


Н. А. Бердяев

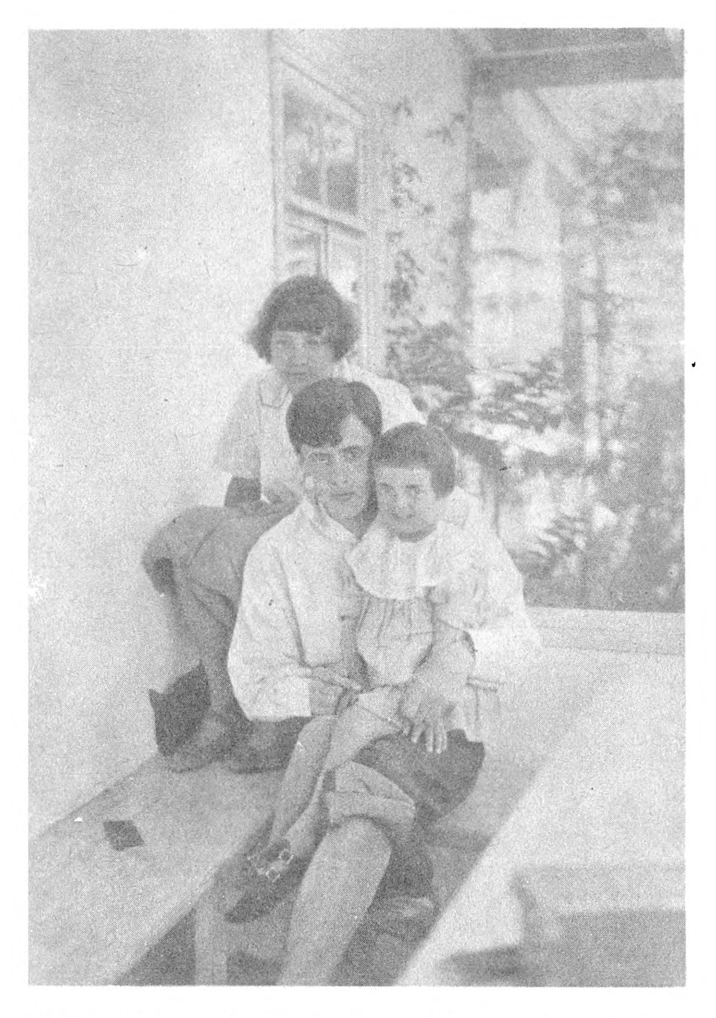
Власьевский переулок. Церковь Успения на Могильцах.
Рядом, в доме № 4, долгое время жили Бердяевы



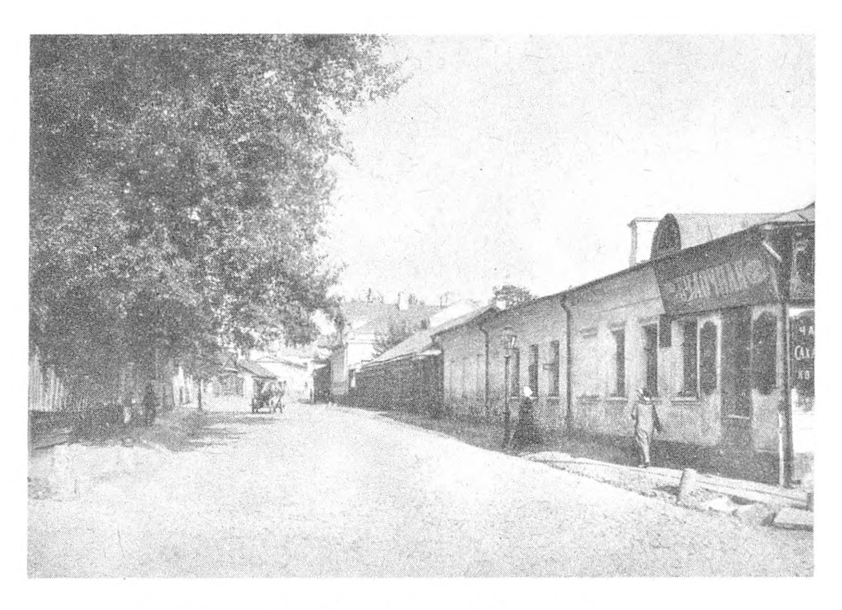
Строящийся дом в Судаке. В настоящее время
Судакская музыкальная школа



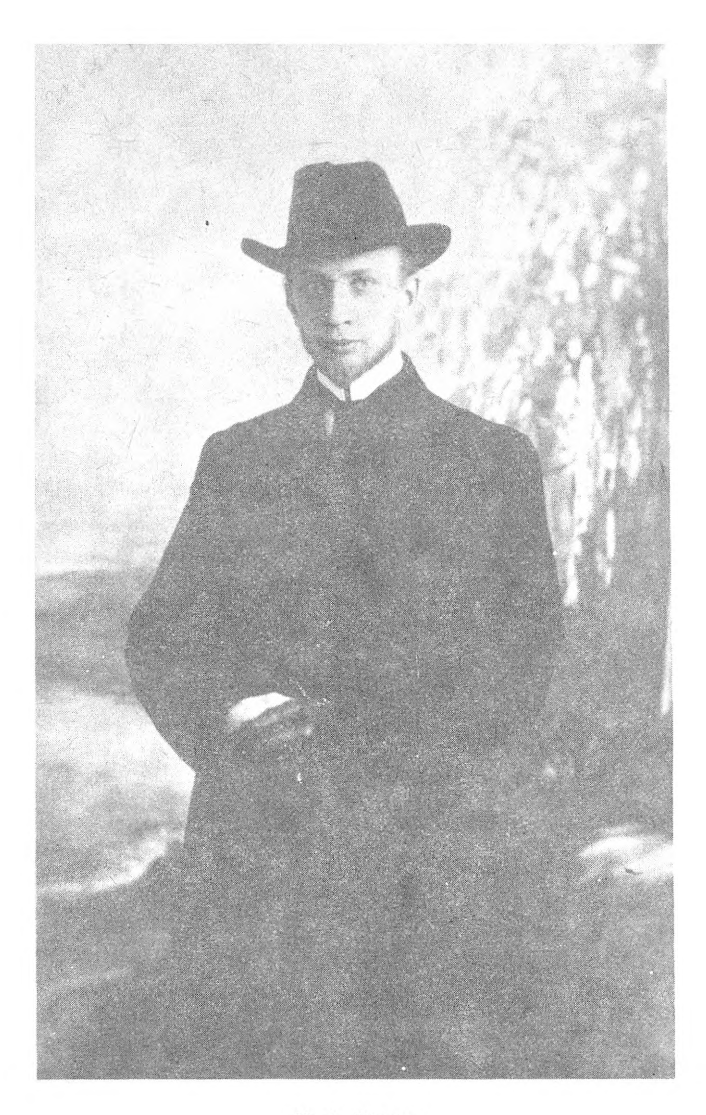
Во время существования школы им. Вл. Соловьева. Остоженка, 1913 г.
Слева направо: Е. К. Герцык, Ю. П. Гриневич (сын В. С. Гриневич),
Л. Ю. Бердяева, в центре — две неизвестные, В. С. Гриневич,
Н. А. Бердяев



М. Цветаева с мужем С. Эфроном и дочерью Ариадной в Крыму



Кречетниковский переулок от Новинского бульвара



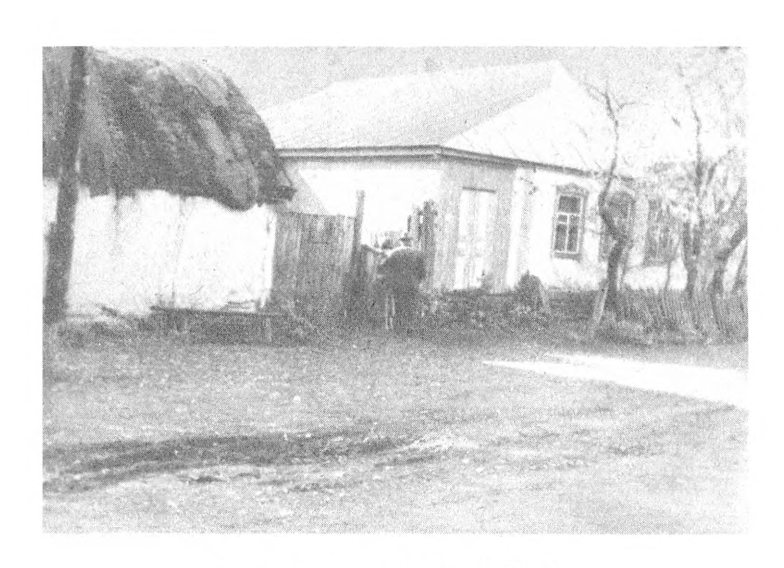
И. А. Ильин

Слева направо: С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский, М. Новоселов

Г. А. Рачинский

В. Ф. Эрн с женой

Последняя фотография Е. К. Герцык (справа) с друзьями



Дом, в котором умерла Е. К. Герцык

СОДЕРЖАНИЕ

Герцык Е. К.

Г 41 Воспоминания: Мемуары, записные книжки, дневники, письма.— М.: Моск. рабочий, 1996.—443 с.

Герои воспоминаний Евгении Герцык — Вяч. Иванов, Н. Бердяев, Л. Шестов, М. Волошин, М. Цветаева, А. Герцык, В. Эрн, М. Гершензон, С. Булгаков, П. Флоренский и др. — серебряный век русской литературы, русские философы двадцатого столетия. Бердяев воспринимал Е. Герцык как женщину русского ренессанса. Участница знаменитых ивановских "сред", религиозных и философских споров, она оставила после себя замечательные воспоминания. Книга составлена по рукописям, сохранившимся в семье Герцык.

Г $\frac{4702010203 - 3}{М172(03) - 96}$ Без объявл.

ББК 84(0)6

Евгения Казимировна Герцык
ВОСПОМИНАНИЯ

Редакторы
Л. Б. Воронин. Е. В. Леонова, Н. М. Солнцева
Художественный редактор
М. Ю. Кудрявцева
Технические редакторы
Т. В. Климушкина, Н. Г. Новак, С. Б. Устинова
Корректор
Т. А. Семочкина

Лицензия № 010184 от 05.02.92.
Сдано в набор 20.01.95. Подписано к печати 28.12. 95. Формат 84x108 $^1/_{32}$.
Бумага офсетная. Гарнитура "Таймс". Печать офсетная. Усл. печ. л. 23,52.
Усл. кр.-отт. 23,73. Уч.-изд. л. 24,09. Тираж 2000 экз. Заказ №. 3773

Издательство "Московский рабочий",
101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.

Типография издательства "Слово",
410601, Саратов, ул. Волжская, 28.

Ан. Седых

ДАЛЕКИЕ, БЛИЗКИЕ

16 л. Обл.

Андрей Седых — эмигрант первой волны, уникальный свидетель былого: за 70 с лишним лет существования русской эмиграции не было в ее среде события, с которым не соприкоснулся бы Ан. Седых — главный редактор нью-йоркского "Нового русского слова", сотрудник "Парижских новостей". Герои воспоминаний — И. Бунин, А. Ремизов, М. Алданов, А. Глазунов, П. Милюков и другие. Составитель книги — американский профессор-славист Конст. Каллаур.

Морис Метерлинк

РАЗУМ ЦВЕТОВ

28 л. Перепл.

Мировую известность бельгийскому драматургу и поэту М. Метерлинку принесла пьеса "Синяя птица". Его натурфилософская проза известна не многим. "Разум цветов", "Жизнь пчел" полны тонких наблюдений над жизнью насекомых и растений, книги эти неотделимы от размышлений о человеке и обществе.

Н. Солнцева

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕЛЬ

14 л. Обл.

Книга посвящена творческой судьбе замечательного русского поэта и прозаика Сергея Клычкова. Читатель узнает немало нового о литературном мире и быте 20 — 30-х гг., о ближайшем окружении поэта — Сергее Есенине, Николае Клюеве, Сергее Коненкове... Книга иллюстрирсвана редкими фотодокументами из архивов.